

М. Горький

М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТ  
ВЕННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕ  
НИЯ

11

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР**  
**ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
**ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО**



# **М. ГОРЬКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

---

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»**

# **М. ГОРЬКИЙ**

**ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ**

---

**ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ  
ОЧЕРКИ, СТИХИ**

**1907 — 1917**

**МОСКВА • 1971**

**7-3-1**  
**Подписное**



**А. М. ГОРЬКИЙ**  
**Капри, 1910 г.**



I

---





## ЖАЛОБЫ

### I

Мой собеседник — офицер, он участвовал в последней кампании, дважды ранен — в шею, навывлет, и в ногу. Широкое курносое лицо, светлая борода и ощищенные усы; он не привык к штатскому платью — постоянно оглядывает его, кривя губы, и трогает дрожащими пальцами черный галстук с какой-то слишком блестящей булавкой. Подозрительно покашливает, мускулы шеи сведены, большая голова наклонена направо, словно он напряженно прислушивается к чему-то, в его глазах, отуманенных усталостью, светится беспокойная искра, губы вздрагивают, сиповатый голос тревожен, нескладная речь нервна, и правая рука всё время неугомонно двигается в воздухе.

— Чудесно! — говорит он, положив ладонь на стол, — маленький стол наклоняется, поднос с чашками и стаканами едет к нему на колени. — А, чёрт! Извините. Хорошо-с, чудесно! Значит — народ? Не верю!

Дернув головой вверх, он сечет рукой воздух, как бы отрубая что-то, и внушительно продолжает:

— Я служу одиннадцать лет, я-с видел этот самый ваш народ в тысячах и в отборном виде, так сказать, всё экземплярички в 20—26 лет — самые сочные года — согласны? Так вот-с — не верю!

Он пристально смотрит в лицо мне, усмехаясь тяжелой, тоскливой улыбкой.

— Вы думаете, я скажу — глуп? Ах, нет, извините, он не глуп — ого! Очень способные ребята, да, да, очень. Даже эти татары и разная мордва — отнюдь не глупы и превосходно шлифуются в строю среди

русских. Но всё это народ, который не чувствует под собою земли — не в каком-то там революционном или социальном смысле — в этом смысле у него земля есть! И работать он на ней мог бы! Китайцы, батенька мой, на площади в десять сажен квадрата кормятся превосходно, э-э? Нет, это вы сочинили насчет земли и прочее, это вы — чтобы подкупить его! Земля у мужика есть в этом смысле, в почвенном, хозяйственном. Но у него нет земли в... как это сказать? в духе, что ли бы? У него нет ощущения собственности, понимаете? Он не чувствует России, русской земли, вот в чем суть! Спросите мужика — что такое Россия? Ага! У русского мужика нет ощущения России — вы это понимаете? Он, например, скверно работает, как доказано, он и сам знает, что работает хуже, чем мог бы. Почему? А зачем работать хорошо человеку, который не знает, кто он, где он и что с ним завтра будет, — зачем? Ему — лишь бы покормиться. Он и не живет, а — кормится... Больше ничего! Позвольте, дайте сказать!

Он поднял обе руки к небу, надул щеки и несколько секунд помолчал, словно молясь в отчаянии.

— Я знаю — вы хотите сказать: образование, культура и так далее. А зачем ему образование и культура, если он не имеет угла, нет у него... пункта, куда он мог бы приложить эту культуру вашу? Он — ничего не хочет, он не любит учиться, не нужно ему это... не нужно!

Быстро выпив стакан вина с водой, он продолжал торопливо, точно усталый раздевался, чтобы поскорее лечь.

— Весь русский народ — нигилист! Резко? Верно-с! Он ни во что не верит. Он — в воздухе висит, народ этот. Он? Самый противогосударственный материал, и никакого чёрта из него не сделаешь, хоть лопни. Дресва. Рыхлое что-то, навеки и век века — рыхлое...

Видимо, он много думал о том, что говорил, и хотя его слова были истерты, безличны, стары, но в голосе и в каждом жесте чувствовалась та сила убеждения, которая дается многими бессонными ночами, великой

тоской о чем-то, чего страстно хочется, по что, может быть, неясно сознает человек.

— Мне кажется,— говорил он, дергая шей и прикрыв глаза,— что я однажды видел весь народ в аллегорическом человеке — в запасном солдате, новгородце. Странный случай, знаете, но бывает это — перейдет вам однажды человек дорогу, а вы помните его почему-то всю жизнь. Так и тут — мне пришлось быть в Старой Руссе, во время мобилизации; стою на платформе, сажают солдат в вагоны, бабы ревут, пьяные орут, трезвые смотрят так, точно с них кожу сдирать будут через час. Сразу, знаете, видно, что народ, понимаете — народ! — собирается защищать свою страну от коварного врага и так далее. Чёрт! Между прочими прискорбными рожами вижу одну — настоящий эдакий великорус: грудища, бородища, ручищи, нос картофелиной, глаза голубые и — это спокойное лицо... эдакое терпеливое, чёрт его возьми, лицо, уверенное такое... уверенное в том, что ничего хорошего не может быть, не будет никогда! Держит за плечо свою оплаканную, раскисшую в слезах бабенку и внушает ей могильным голосом, но — спокойно, заметьте, спокойно, дьявольщина, внушает, кому что продать, сколько взять и прочее. Никаких надежд на возвращение, видимо, не питает, и не мобилизация это для него, а — ликвидация жизни, всей жизни, понимаете! Очень приятно видеть эдакое... этот анафемский фатализм, с которым человек отправляется на бой, на борьбу! Вы понимаете — фатализм и борьба, а? Соединение огня с водой дает пар, а тут уж чистый нигиль! Нуль, дыра бездонная! Я ему говорю: «Что ж ты, братец мой, так уж, а? Отправляешься на эдакое дело, а духа — никакого! Надо, братец мой, дух боевой иметь, надо надеяться на победу и возвращение домой со славой! Надо, мол, исполнять долг с жаром, с огнем и страстью! Для родины это, пойми...» — «Мы, говорит, ваше благородие, это понимаем! Мы, говорит, согласны исполнить всё, что прикажут». — «Да ты, говорю, сам-то как — хочешь победы?» — «Нам, говорит, не то что победа, а хоть бы и совсем не воевать». Тьфу! Тут его унтер пихнул в вагон.

Офицер волновался почти болезненно: на лице у него выступили багровые пятна, щеки дрожали в нервных гримасах, в глазах неукротимо разгоралась скорбь и правая рука билась в воздухе, как разбитое крыло большой раненой птицы.

— Чудесно! Подал я прошение о зачислении добровольцем в действующую армию. Зачислили, дали роту, еду догонять ее. Догнал в Челябине, смотрю — этот новгородец тут. Ба, думаю. Почему-то сделал вид, будто не узнаю его, а он сразу меня узнал и — ест голубыми спокойными глазами. Неприятно это, знаете. Разумеется, дисциплина, полное подчинение начальнику — это необходимо, но — вложи сюда немного своей души, своего разума, не садись ко мне на плечи, не выдавай себя за дитя какое-то... Вообще — будь жив! Будь человеком несколько... сколько можешь! А так, знаете, когда на тебя смотрят двести с лишком пар голубых глаз и каждая без слов говорит — делай со мной, что хочешь, — мне всё равно... это, знаете, ни к чёрту не годится! Это сразу налагает на вас как бы тяжелейшие цепи ответственности за всех и каждого... это уж требует Наполеона, которому тоже всё равно! Наполеон — с единицами и сотнями не считается, Наполеон живет Францией, ради Франции. Среднему человеку — не по силам такое отношение к нему двух сотен взрослых людей, хотя бы он и жил Россией. Я, впрочем, не знаю, что такое — средний человек, может быть, лучше, чтоб его не было. Чёрт знает... вот я, например, люблю Россию, сердечно люблю, ей-богу, желаю ей славы, богатства, счастья, готов на всё для этого... что там! Но — что же я все-таки могу? Средний человек, я иногда с изумительной ясностью чувствую, что у меня нет головы, нет мозга, — понимаете? Это не смешно. То есть идиоту или нахалу это может показаться смешным, но — идиоты и нахалы все-таки, мне кажется, еще не большинство населения империи нашей. Да, так вот: голова, а в ней что-то шевелится, словно кошка играет клубком серых ниток и перепутала их, дрянь адакая! Разве это — смешно? Эх, батенька, чёрт его знает как иногда жалко себя и всё это вообще... всю эту жизнь... Я, знаете, консерватор, в Европы не

*Удостоверено*  
1909. 3 Января 1909

*1851*

*М. Горький*



М. Горький.

# ЖАЛОБА.



(Эпизодъ изъ японской войны).

Разрешить къ печати  
не можено въ виду  
разрешено  
Валентинъ Кефове  
С. Неваля

М. ГОРЬКИЙ. Т. X.

10  
4/11 1914

## «ЖАЛОВЫ».

Шмуцтитул из т. X Собрания сочинений М. Горького в издании «Жизнь и знание» с заключением цензора.

верю, — впрочем, я не знаю, во что верю... я простейший консерватор, черносотенец, по газетам. Но иногда вдруг мне кажется, что я отчаяннейший революционер... да! Революционер, потому что всех жалко — всех этих средних, ошарашенных людей, которые делают революции, реакции, погромы и всякие гнусные штуки в обе стороны, направо и налево. Потому ясно видишь — всё это на песке, всё в воздухе: в России нет фундамента духовного, нет почвы, на которой можно строить храмы и всякие дворцы разума, крепости веры и надежды, — всё зыбко, сыпуче, всё дресва и — бесплодно. Хочется сказать какое-то слово — братцы, что вы делаете? А вдруг они спросят — что надо делать? Издыхаешь в тоске и — молчишь. Такая страшная скорбь схватит за сердце, так нестерпимо жалко Россию эту — кричать хочется, орать, бить башкой об стену... Стена — живое человеческое тело, в случае, о котором вся речь, — это моя рота.

— Еду я с ней по Сибири — смотрю, какой хороший, серьезный народ! Немножко печальны, подавлены — это допустимо, это естественно, я понимаю, бог мой! Обо всем, что касается деревни, судят резонно, ясно, с глубоким знанием дела. Но! Сейчас же является эта окаянная петля, это кольцо — чёрт его знает, что оно такое — нигилизм, фатализм восточный? Жалуются мужик — овраги одолели, рвут и рвут пашню. Укрепи! Да как его укрепишь? Научись! Молчат. Вздыхают.

— В вагоне грязно, накурено, насорено — если не указать на это, они не видят, расковыривают зачем-то скамьи, соскребают со стен краску, плюют куда попало. Отношение ко всему — мерзейшее: на станциях отламывают крышки кадок с водой, чёрт знает зачем хлопя ими во всю силу; ломают деревья, гадят везде безобразно и вообще имеют вид чужих людей в чужой земле. Так себе — проезжают мимо. Мимо! Дорогой приходилось разговаривать с ними и, знаете, хотелось! Ведь с этими людьми назначено мне жить и умирать, я должен руководить ими в борьбе против врага и прочее... До некоторой степени я зависим от них. «Итак, ребята, говоришь им, мы едем защищать Россию». Смотрят внимательно, а глаза — чужие, и нельзя

понять, что думают эти люди. «Вы понимаете — что такое Россия, родина?» — «Так точно», — говорят некоторые. «Что же такое родина, Швецов?» — это тот самый новгородский, голубоглазый. Надо вам сказать, что он сел мне в голову сразу и глубоко... да я уж говорил это! «Ну, Швецов?» — «Никак нет, ваше благородие!» — отвечает он — правдиво говорит, чёрт побери, сразу видно, что от души. Надо объяснять. А признаться, я сам до той поры об этом предмете не думал: Россия, ну и чудесно! Границы такие-то, царствующий дом, армия и прочее. Не более. Но о том, что армия из народа выщеплена, и о том, что такое этот народ по своему духовному строю, — не приходилось думать... «Русский народ добродушен и белокур» — это я, конечно, знал, но что он не весь белокур и не совсем добродушен, это мне не приходило в голову. Чудесно. И вот, сидя на станции в ожидании дальнейшего движения, веду я речь о России, о ее целях в Тихом океане — газеты я читал и насчет Тихого океана что-то знал тогда. Говорю-с. Кончил. «Поняли?» — «Так точно, ваше благородие!» — отвечают мне эти русские люди, которым необходимо выйти на берега Тихого океана, отвечают — дружно, а я вижу, что — врут: ничего не поняли и нимало не интересно им всё это. Швецов этот, так он, знаете, демонстративно ничего не понял: прижимает меня голубыми глазами своими в угол и, видимо, что-то хочет спросить, но — не решается, что ли. «Ты понял, Швецов?» — «Никак нет». — «Почему?» — «Так что, ваше благородие, ежели взять всю землю, как волость, примерно, то хоша деревни разные, однако ж мужики везде одинаковы, и все, стало быть, вроде как шабры на земле, а ежели деревня против деревни в колья пойдет, то, надо думать, никакой жизни и выгоды никому не будет, а только драка и кровопролитие...» Ох!

Офицер схватился за голову и, качаясь, застонал.

— Ну — глупо же! Может быть, с вашей точки зрения это... очень добродушно и по-христиански, но ведь дико же это! Мертво это! Врет ведь, чёрт его дерн, — пойдет он в колья, ходил ведь против шабров и — пойдет... И я вижу, что его — понимают, а на



меня смотрят так, как будто хотят сказать: «Что, брат? Ну-ка?» Чужие, чужими глазами смотрят — желал бы я вам это почувствовать. Да-с! Но — бросим это, бросим! Я скоро прекратил свои беседы, потому что однажды слышу — говорят про меня эти люди:

«Ничего он, так себе, только вот душу вытягивать любит. Присосется и — сверлит языком и сверлит!» «Чёрт вас побори», — думаю. Да...

— Другой раз, во время стоянки, вижу — собралась кучка моих ребят, в середине — Швецов, на ладони у него — земля, он растирает ее пальцами, нюхает, словно старуха табак, и говорит какие-то корявые слова. «В чем дело?» — «А вот, ваше благородие, Швецов насчет состава земли разъясняет». — «Что ты тут разъясняешь?» Он спокойно — спокойно! — начинает говорить незнакомыми мне словами о землице, которая как-то там землится, о землистой земле, о землеватости, и все с ним соглашаются, а я ничего не понимаю, и все это видят. Начинаю я свою речь о необходимости защиты земли, боя за землю, а они мне: «Мы, говорят, за нее, ваше благородие, всю жизнь бьемся, мы ее защищать готовы!» Выходило смешно, жалко и досадно.

— Одним словом, мне вскоре стало совершенно ясно, что я еду драться с людьми, которые не понимают, зачем нужно драться. Я должен внушить им боевой дух... должен! Они же не верят ни единому слову моему, и как будто в глубине души каждого живет убеждение, что эта война — мною начата, мне нужна, а больше — никому. Иногда очень хотелось орать на них. А главное — этот спокойный Портнов... Швецов — смотрит и — молчит. Молчит, но рожа такая — на всё готовая: я, дескать, всё сделаю по твоему приказанию, всё, что хочешь, но мне — ничего не надо, я ничего не знаю, и отвечай за меня — ты сам.

— И вот с этими на всё по чужому приказанию готовыми людьми попал я в свалку: наш батальон прикрывал отступление из-под Мукдена, сажу я со своей ротой в кустах и ямах на берегу какой-то дурацкой речки; вддали, по ту сторону, лезут японцы — тоже очень спокойные люди, но — с ними спокойствие созна-

ния важности того, что они делают, а мы понимаем свою задачу как отступление с наименьшими потерями.

— Береги патроны,— говорю я своим. Берегут. Оборванные, грязные, усталые, невыразимо равнодушные, лежат и смотрят, как там враг перебегает поле цепь за цепью, быстро и ловко, точно крысы... Где-то сзади нас действует артиллерия, справа бьют залпами, скоро и наша очередь, дьявольский шум, нервы отупели, голова болит, и весь стораю, медленно и мучительно поджариваясь, в эдакой безысходной, ровной, безнадежной злобе.

— Сзади меня убедительно спокойный голос Швецова слышу: «Народ — легкий, снаряжение хорошее, а главнейше — свои места, всё наскрозь они тут знают, каждую яму, всякий бугорок — разве с ними совладаешь? И опять же — на своем месте человек силен, на своем-то, на родном, он — неодолим, человек этот!» Люди сочувственно крикают и сопят, слушая его рассуждения.

— Ну, знаете, я сказал этому господину, что если он не перестанет, так я его — и приставил к деревянной роже револьвер. А он вытаращил голубые свои глаза по обеим сторонам дула и говорит: «Зачем же вашему благородию трудиться, меня и японец убьет!»

— Стало мне стыдно, что ли... и не знал бы я, как выйти из дурацкого положения, но тут явился приказ — отойти нам глубже. Отошли, как и пришли, без выстрела, и вообще мы — моя рота некоторое время играла странную роль: всё водили нас с места на место, точно речи Швецова были известны высшему начальству, и оно, понимаете, заботилось поставить роту именно туда, где бы мои ребята почувствовали себя на своем месте. Ходим голодные, оглушенные, усталые, видим, как летают казаки, прыгает артиллерия, едут обозы Красного креста... Хорошо-с!

— Ночь пришла. Лежим в каких-то холмах, а на нас — лезут японцы. Лезут как будто не торопясь, но — споро, отовсюду, без конца. И вот вижу — это, знаете, как сон было: идет полем к нам какая-то часть, а на правом фланге ее вдруг вспыхивает огонек, и я

с ужасом вижу — освещенное этой вспышкой круглое монгольское лицо, — курит, дьявол! Зачем он закурил — я не знаю, было ли это сделано, чтобы доказать своим солдатам — вот, мол, как я храбр, или он обалдел от страха, но — курит! Со всех сторон жарят залпами, моя рота тоже, конечно, а эти идут, и, знаете, страшно медленно шли они, как мне казалось, изумительно! Как будто они там все знают, что их дело верное, беспрюирышное дело и торопиться — некуда. Конечно, на самом деле было иное, но мне так казалось, говорю я. И эта дьявольская папироса там, в темноте, горит, вспыхивает так ровно, уверенно и спокойно — видно, что она доставляет удовольствие человеку. В нее стреляют, и я советую — ниже братъ, чтобы в грудь, в живот ему всыпалось несколько штукек, — идет! И видно — докурил, бросил в сторону, кругло эдак очертилась в воздухе огненная полоска. Вам это кажется несерьезным, пустяками, ну да, оно и несерьезно, незначительно, оно просто указало мне, что я — не закурил бы перед тем, как скомандовать в штыки. У меня нет спокойствия, необходимого для того, чтоб покурить перед смертью, нет уверенности, что... д-да... Я — чужой своим людям, и ни страх пред смертью, ни что другое не связывает их со мною. Мы — люди разных племен по духу, они — солдаты, я — их начальник, больше ничего. Я их не понимаю, они — меня, нам друг друга не жалко, мы — сказать правду — не любим и немножко боимся друг друга...

— Был случай: поймали китайца-шпиона, и вот — сидит он на земле, около него двое конвойных — Швецов этот и Хубайдулин, татарин. Слышу — Хубайдулин ведет с китайцем вполголоса, на эдаком дурацком языке, дружескую беседу: «Твоя земля хоруша есть...» Китаец отвечает, точно Швецов: «Ваша моя чисто зорил — кончал моя». А Швецов говорит: «Мы, брат, тут ни при чем... Приказано — иди! Вот и пришли. Мы сами — земляной народ. Мы понимаем. Мы» — и так далее... совершенно в том тоне, как говорят мужики из рассказов старых писателей. И — врет, наглайше врет. Потому что мне лично слишком часто приходилось видеть, как они — не он, его я не обви-

няю,— но вообще они, наши солдаты, зорили хозяйство маньчжур... без необходимости, бессмысленно и с какой-то тупой злобой. Вырубали десятки деревьев, когда нужен был один сучок, жгли фанзы, топтали посевы, ломали мебель... да, да. Всё это было, вы знаете, должны знать. Об этом ведь писалось много. Я повторяю, что и дорогой в Россию они вели себя так же — портили всё, что могли испортить. «Нищему — ничего не дорого» — есть корейская пословица, так вот... может быть, несколько оправдывает этих... У меня выболела душа и на языке вертятся слова, нехорошие, больные слова...

— Я слышу всё это и думаю: «Хорошо, милые мои. Всё это так, всё это — по-христиански, но — отдаленно от нас... Мы — воюем».

К вечеру дело этого китайца было решено; позвал я унтера и приказал: «Возьми Швецова, Хубайдулина и — расстрелять шпиона!»

— Пошли. Спокойно! Я, издали, за ними. Был вечер, половина неба в огне, около какой-то стенки стоял этот китаец, лицом к солнцу... рослый такой молодчина! Против него, затылками ко мне — эти двое. Выстрелили, китаец посунулся вперед, точно кланяясь им — прощайте! — и упал, лицом в землю. Опустили ружья к ноге, стоят. Всё вокруг красное, и — они тоже. Там, знаете, закаты солнца всегда зловещие какие-то, точно оно, уходя, злобно грозит: спрячься — навсегда! Навсегда!..

— Ночью этой не спалось мне. Играли в карты, скучно стало, бросил я, вышел. Долго ходил как во сне, потом вижу — Швецов около какого-то дерева стоит и — молится. Так, знаете, согнул шею, как подъяремный вол, наклонил голову к земле и тыкает рукой своей в лоб, плечи, в грудь себе. Не торопясь. Услыхал мои шаги, обернулся, вытянулся. Подошел я к нему — вижу парень как всегда, в порядке. Спросил о чем-то. «Так точно. Никак нет». Тогда я говорю в упор ему: «Жалко китайца-то, а?» Подумавай, отвечает: «Маленько жалко будто». — «А не убить — нельзя ведь?» — «Так точно». — «Почему нельзя?» — «Как, значит, шпиён...».

— И я чувствую, что он говорит то, с чем не согласен, что ответственность за эту смерть он целиком возлагает на меня, да, только на меня одного. Его деревянное лицо по-своему вполне красноречиво, и тупой этот, покорный, воловий взгляд — осуждает меня.

— Ах, я много мог бы рассказать мелочей, подобных этой, и не об одном Швеце, конечно... Но это его молчание, его покорная готовность сделать всё, что прикажут, и во всем оправдать себя, и ото всего отодвинуться... Он наиболее типичен... да.

— Видел я в Нагасаки одного французского военного корреспондента — он был, что ли, или какой-то агент. Бог его знает! Знаете, у французов есть такие лица — острые, точно чеканенные, — взглянешь на него и — думаешь: вот умный человек, прежде всего — умный. Как это у них — *spirituel, intelligent?*<sup>1</sup> Так вот, такой *spirituel* — стоит на перроне, сунув руки в карманы, и смотрит зоркими глазами сквозь пенсне, как наше пленное воинство садится в вагоны, и — насвистывает похоронный марш, чёрт побери! Да! Я подумал тогда — *finie l'alliance!*<sup>2</sup> Какое удовольствие и польза быть в союзе с людьми, которых бьют, а они — равнодушны? Которые не понимают, за что их бьют, за что они должны быть, и — вообще ничего не хотят понять? С той поры прошли годы, альянс — существует. *Vive la France, vive la Russie*<sup>3</sup> — всё в порядке! Но — поверьте мне, скоро мы останемся одни-одиношеньки, представляя собою болото, которое будет ограждать Европу от нашествия монголов, как ограждало ее в давние времена, и в этом наша роль вовеки и век века. И ограждать будем мы пассивно: дойдут до нас монголы и увязнут среди нас, точно в болоте, — вот так же, как мордва увязла. Пессимизм? Нет. Просто я соприкоснулся со своим народом и стал фаталист. Мы все — фаталисты, нигилисты — ах! Довольно...

— ...Знаете, иногда во время ученья ротного по-

---

<sup>1</sup> умный, интеллигентный?

<sup>2</sup> конец союзу!

<sup>3</sup> Да здравствует Франция, да здравствует Россия

смотришь на эту холодную стену чужих тебе людей и, тоскуя, пошутишь: «Эй, ты, фаталист, подбери живот!»

— Как я попал в Нагасаки? Очень просто. Этот самый Швецов великодушно сдал меня в плен японцам. Именно — сдал. Случилось так, что меня ранили в шею вот и в ногу, да колено ушибли прикладом, что ли, ну — лежу я очнувшись, шея тряпками обмотана, ослаб, двигаться не могу. Утро, около меня, вижу, сидит этот герой и еще двое лежат, все ранены. Мертвых довольно много насыпано и наших и тех. Швецов хозяйственно обряжает чью-то голую ногу японским материалом, лицо у него тоже испорчено, в крови всё, на голове что-то вроде колтуна. Спрашиваю — куда ранен? Отвечает охотно так: «В обе ноги, в бок да голову, ваше благородие!». «Отделался, слава тебе господи!» — подумал я тогда о нем. Слышу — хрипит он: «Покричать надо японцам-то, шли бы скорей, забирали нас, а то его благородию вредно лежать тут, как бы не помер».

— Я не могу сказать ни слова, даже кровь изо рта не в силах выплюнуть. Ну, он и начал кричать, так, знаете, просто, по-новгородски, что ли: «Эй, иди сюда! Эй!» И машет руками, точно приятелей зовет. Пришли приятели: эдакие аккуратненькие санитарики, один немного лопочет по-русски, Швецов ему объясняет: «Вот, говорит, офицер, подобрать его надо, перевязать...» Тот обошел как-то вокруг Швецова и вежливенько говорит: «Позвольте, сначала вас надо перевязать!» — «Нет, говорит, сначала его благородие».

— И сказано это было как-то так, что в словах этих не почувствовал я жалости человеческой ко мне и не возбудили они во мне, в душе моей, ни тени благодарности...

— Перевязали меня, дали чего-то глотнуть, положили и унесли. Легкораненые пошли со мной, а Швецов этот остался. Потом умер он в море, на транспорте, по дороге в плен.

— Умирал деловито и спокойно, точно исполнял самое важнейшее своей жизни, а я наблюдал за ним, и — злила меня эта деловитость. «Что, спрашиваю, не хочется умирать, Швецов?» — «Дело не наше — божие...»

— ...Я, кажется, не сумел обрисовать этого человека достаточно ясно... я не могу этого. Фактов — нет у меня... действий его я не знаю. Тут всё дело в спокойном взгляде эдаких бездонно голубых глаз... в одной их искре, которая порою вспыхивала где-то в самой глубине взгляда. Это — искра затаенного несогласия со мною, начальником, со всем, что я говорю, приказываю, в чем иногда пытался убеждать.

— ...Лежим, помню, в траншее, мороз, неистово садит ветер, где-то бухает артиллерия, и вся земля эта проклятая, напоенная нашей кровью, вздрагивает, гудит — у-у-у! «Что, Швецов, холодно?» — «Так точно, ваше благородие...» Спокойно говорит, спокойно, понимаете.

«Вот начнется бой — теплее будет, а?» — «Так точно. Перед смертью, конечно, ни жара, ни холод не страшны...» — «Почему же перед смертью? Надо о победе думать, а не о смерти...» Молчит. И все, искоса поглядывая на меня, молчат. Солидно так молчат, точно камни.

— Чувствуешь себя среди этих существ дьявольски одиноким и обиженным... Что-то ребячье шевелится в душе... в голову лезут странные мысли... хочется закричать этим людям:

«Братцы! Я тоже — русский... я ведь человек вашей земли... родные мои люди! В чем дело? О чем вы молчите?»

— Они ежатся, покрякивают от холода и — смотрят вперед, в холодный, сизоватый эдакий туман, где притаился враг. Спокойно смотрят, да.

— Делается страшно. Не боюсь сказать — страшно...

Его измученное лицо перекосилось нервной улыбкой, усталые глаза полузакрылись, и, шевеля пальцами правой руки, он тихонько, хрипло продолжал:

— Надо что-то делать, государь мой... Как вы думаете? Надо что-то сказать им... такое, что сдвинуло бы нас с этими людьми... надо же понимать свой народ! И — чтобы он тоже понимал меня... А иначе нельзя жить... право же нельзя!..

— ...У меня был вестовой Чухнов, пьяница и вор,

зараженный сифилисом. Украл однажды сапоги мои — я его простил. Он продал татарину погоны старые. Отодрал я его за ухо, как мальчишку, — простил. Хорошо-с.

— В то время я состоял... в романе с соседкой, женой одного чинуши. Сады смежные, и она, по ночам, приходила ко мне через отверстие в заборе, сделанное этим... мерзавцем. Доску, знаете, вынуть, и — готова узенькая дверца, можно без труда пролезть. Однажды является она — вся испачкана какой-то гадостью, стыдно ей, испугана, едва не истерика... Оказывается — она полезла в этот тайник, а к забору была пристроена жестянка, налитая дегтем, и когда Саша отняла доску — ее облило с головы до ног. Что такое? Зову Чухнова и — как-то сразу, по воровским его глазам, вижу — это его дело! «Ты?» — говорю. Отнекивается. Потом — сознался. Я был убит... даже ударить его не мог. Потом, на другой день, говорю: «Слушай, — зачем? Я тебя дважды спас от суда, ведь ты знаешь, как строго судят вашего брата за кражу. Зачем? Что я сделал тебе худого?» Молчит. Ну... прогнал я его в роту.

— Другой вестовой — Миловидов, хороший слесарь, грамотен, газеты читает, а — к строю, к дисциплине совершенно, органически неспособен. Умен, сметлив, но — отчаянный задира и драчун. Всё ему нипочем и жизнь — копейка, но вся эта удасть направлена как-то криво, в пустое место... Числился в разряде штрафованных, и грозили ему разные беды, мне жалко стало парня и выпросил его у ротного в вестовые себе. Сначала — ничего, жили дружно, служил он хорошо, но — однажды как-то бреюсь я и вижу в зеркале его рожу — оскорбительно косится на меня из угла комнаты эдакое лицо... врага, презирающего меня... Что за дьявол? Начинаю следить за ним и всё чаще ловлю эти возмущающие душу мою гримасы.

— Наконец однажды, в хорошем расположении духа, ласково так говорю ему: «Слушай, Егорка, ты почему это рожу мне строишь за спиной моей, а?» Сконфузился сначала, виновато заморгал глазами, вытянулся, я еще более мягко, с хорошим чувством к нему, с эдаким, знаете, искреннейшим желанием установить



к человеку человеческое отношение, понять его — спрашиваю, дружески, как могу...

— И вдруг вижу — вырос Егорка, усмехнулся как-то всем телом, с головы до сапог, и — оскорбительно панибратски, с явным наслаждением говорит:

«Потому, что Александра Петровна с поручиком таким-то обманывает вас вот уже больше месяца, я сам видел, как он в саду, за беседкой...» — и так далее, всё такими, знаете, грубейшими мужицкими словами...

— Было в этом, говорю вам, раздавившее меня наслаждение моим стыдом, моею унижительною ролью. Выгнал я его...

— После спрашиваю: «Почему ты, Миловидов, сразу, когда узнал, не сказал мне об этом?» — «Не могу знать...»

— Врет! Он прекрасно знал — почему: ему нравилось видеть меня дураком, смешным болваном... ах, конечно, так! Нравилось, и он наслаждался...

— Это, государь мой, народ, среди которого живем мы, интеллигенция... Мы в нем — как этот остров среди темных волн. Вот они извечно толкутся вокруг него, гложут, гложут и — тихонько, незаметно, медленно уничтожают...

— Это — камни, а мы — живые люди, и нас — отчаянно мало, поймите! Нас — до ужаса мало... Кажется, только наш брат, офицер, ясно видит — как ничтожно тонка корочка людей, желающих добра миру, над этой массой непримиримо враждебных существ... которые живут своим, недоступным нам, углубленным разумом и... и, может быть, бессознательно ждут какого-то момента, когда они встанут все, везде, по всей земле и — уничтожат нас... Надо бороться с ними... надо победить это!..

— Фантазия? Разве есть фантазии без опоры в действительности, без корней в жизни?..

— ...Я не верю в социализм: его выдумали евреи, это просто попытка рассеянного в мире народа к объединению. Социализм, сионизм — это, вероятно, одно и то же для них. Я не знаю, но я так думаю.

— Русский не может быть социалистом — ему чего-то не хватает для этого. Я, батенька, видел социалистов русских и беседовал с ними и даже иногда увлекался

перспективами будущего... но потом быстро трезвел... Социалисты, которые терпеть не могут друг друга, не уважают личности, товарища, который, скажем, картавит, произнося имя Марксово... ну какой там социализм! Это у нас — на день, на праздник... Сегодня — социалист, завтра — чёрт знает кто... Этого вы не отбросите, это наше! Вспомните провокаторов... Ну, хорошо, они надоели... Но — вот что: кто виноват в эпидемии самоубийств? Это те, которые вчера учили молодежь — вперед! а сегодня — командуют ей: стой! шаг на месте! Да, да, это... в массе случаев они виновники самоистребления... Учили, убеждали, настроили юные души на идеалистический лад и, проиграв партию, спокойно отошли в сторону, а те — остались одни и разбиваются насмерть... насмерть! Я знаю смысл слов: «надоело жить», о, батенька, я это знаю! За этими словами — разочарование, значит — люди были очарованы; где же те, которые очаровали людей и — обманули их?

— Конечно, они тоже — русские, и это, может быть, оправдывает их слабость, их измену. Нельзя только найти оправдание тому, что, будучи нигилистами, они так долго обманывали юношество, играя роль верующих и даже фанатиков.

— Вера требует дисциплины; если я верю: так надо! — я подчиняюсь, сознательно и свободно ввожу мою волю в общий поток волей, одинаково направленных, имеющих одну со мною цель. Этого мы не умеем делать... недавние рабы и холопы, мы все сегодня хотим быть владыками и — командовать...

— Не ошибались древние, говоря про нас, славян: «Ни в чем они между собою не согласны, все питают друг ко другу вражду, и ни один не хочет повиноваться другому»... Да, да, я понимаю, но я говорю о необходимости повиновения идее... о скреплении своей личной воли с волею всей нации, это нам незнакомо...

— Я кое-что читал, знаю немецкий язык, видел немцев — у них есть дисциплина, они — активны и — знают, чего хотят. Я не знаю, как там... социалисты ли они в глубоком, еврейском смысле... то есть — насквозь, до костей... с этим дьявольски развитым чувством

общности, с умением помочь друг другу... но у немцев есть дисциплина, вот это я знаю! Дисциплина — не за страх, поймите, а за совесть! Общая работа — общая сознательная ответственность...

— А мы, мы потому и некультурны, что органически не способны к дисциплине. Мы — подчиняемся, пряча свою волю в уголок куда-то, в темный, глубокий уголок души. Кто-то командует: «Равнение налево, м-арш!» Идем налево. «Равнение направо!» Равняемся. Но всегда есть что-то подневольное в этом... шумное, крикливое и — неискреннее, лишенное веры, пафоса... Наша личная воля спрятана в уголок, легко подчиняется всем движениям тела и — не согласна ни с одним... В народной песне поется:

Мы не сами-то идем — нас нужда ведет...

— Это очень национально! Уверяю вас... Мы, я сказал бы, прирожденные анархисты... все! Но — пассивные анархисты...

Он устал, побледнел, закрыл глаза, как бы вспоминая нечто мучительное, и тихо, хрипящим голосом сказал:

— Страшный народ... несчастный и страшный, знаете...

И качнул головою так, точно его мстительно ударила тяжелая невидимая рука.

## II

Лицо у него — сухое и хитрое, маленькие глазки цепко обнимают всё, на что падает их острый, осторожный взгляд. Говорит — бойко, с этой чисто русской, веками воспитанной добродушной откровенностью, в которой, однако, бесполезно искать искренности. Каждое неосторожное словечко вызывает паузу, живые серые глазки, остановясь, как бы соображают:

«Так ли сказал-то? Надо ли было это слово говорить?»

И гибкий язык тотчас хоронит неосторожное слово, быстро насыпая над ним целый холм чего-то ненужного.

— Как живем, спрашиваете? — говорит он, а по

морщинам его серого лица бегут рябью мелкие, короткие улыбочки.

— По-русски живем, конечно, как господь на душу положит, без заранее обдуманного намерения. Уха-бисто и тряско, то направо кипет, то влево мотнет. Раскачались все внутренние пружины, так что механизм души работает неправильно, шум и судороги — есть, а дела — не видно...

Его маленькие ручки с темными и очень тонкими пальцами кажутся особенно ловко приноровленными для ловли мелкой серебряной монеты. Он запустил их в седенькую бородку, поправил, расчесал ее и шевелит ими, ощупывая воздух, чашку чая, ложку, свое колено, скатерть, раскидывая глаза во все стороны. И говорит, согласно кивая небольшой суздальской головкой:

— Со-овершенно так! Черносотельник нам, людям образа жизни мирного, весьма вреден. Левый революционер, он — побывал, набросал разных намеков и ушел, куда ему занадобилось; он ушел, а правый с нами остался и продолжает шум в очень неприятном смысле, даже весьма мешая делу. Теперь, скажем, еврей — сейчас: почему еврей? Измена! А измены, конечно, никакой, просто человек из Гамбурга за дубовой клепкой для винных бочек прибыл, и как ему не разрешено ездить свободно, то он несколько скрывается. Тоже немец: почему немец? Нехорошо-с...

Помолчал, соображая, не выговорил ли чего излишне, и успокоенно продолжает:

— Конечно, черносотельник, как русский человек, привыкши к жизни тихой, очень напуган происшествиями, оттого и шумит. У меня сват председателем нашего дрёмовского «Союза русских людей» состоит, всё как надо, знак на груди носит, а в сердце — страх. В шестом году это с ним случилось, когда пошли эспроприации, а по-нашему — грабежи; надулся он тогда шаром, побагровел, выкатил безумно глаза и так с той самой поры и — орет! Один на один, в тихую минуту спросишь его:

«Кричишь?» — «Кричу, сват!» — «А чего кричишь?» — «Боюсь!» Даже плачет иногда, поверьте. «Конеч, говорит, России пришел, крышка! Одолеют нас!..»

— Для нас, промышленных людей, опасность, действительно верно, — есть! Народ — неприготовленный, вдруг всё это сразу пришло, ну и... замялись! Для промышленного народа впереди всего дело: у свата — кожаное, у меня — дубовая клепка, для кума Василья Кириллыча — кудель. Раньше очень просто было: придет веселый жидочек из Гамбургу, и кум спокоен, а ко мне являлся марсельской фирмы агент Осип Моисеевич Шехтель, жулик чище нас, грешных, то есть не жулик, а эдакий ловкий и удобный человек. Он очень честный в деле, это я так, ласково, жуликом его. Придет и всё возьмет, увезет всю клепочку, оставит деньги, и всё это так налажено было, а теперь вот, извольте видеть, сам я из Дрёмова в Геную попал и... Вообще, знаете, кум, например, такое мнение имеет, что торговое дело — всеобщее и превыше всякой политики, так что начальство в торговле — ни при чем! В ней — рубль начальство...

— Язык? Мне племянник языком служит, он очень даже ловок в этом. Пошел музеи глядеть, а меня вот здесь пришел, один-то я опасаясь гулять. Хотя — здесь сторона простая, и ежели бы по-русски разумели, так совсем хорошо — приятнейший народ! Вон как половой улыбается — мы с ним приятели даже. Бабам нашим такого жука показать — бо-ольшое волнение чувств может быть от эдакого архангеля. Простая сторона, ничего... И, побочно со своим, завел я тут дельце с иконами, — иконы здесь греческой по старым лавкам, это я вам скажу — удивительно сколько и — нипочем! Намедни зашел я с племяшом в подвальчик, гляжу — на стенке Николай Святитель, Мир Ликийских, отменнейшего письма! Кванта коста? Трента<sup>1</sup>. У меня даже коленки дрогнули. Чинква?!<sup>2</sup> За десять серебряных монет приобрел, а у нас цена этой вещи будет не менее, думаю, трех сотен целковых. Посеял я на это дельце лиров — тыщи с полторы и так полагаю, что лира мне перевернется на круг рубля в два. Вызвать есть затруднение, ну, мы способ знаем. На низ,

---

<sup>1</sup> Сколько стоит? Тридцать.

<sup>2</sup> Пять?!

к югу думаю спуститься, там, племян говорит, грека больше было и, стало быть, иконы тоже больше. Простота!

Помолчал, внутренне взвешивая сказанное, потом, вздохнув, продолжал с некоторым умилением:

— Много здесь приятного русской душе: иду в Марселе мимо огромного магазина колониальных товаров, глядь — чай лежит Поповский и Боткиных, а здесь муку видел русского помола, высоких клейм. Это, знаете, очень трогает за сердце!

— Сват? — смеется дробным смешком, покачиваясь сухопарым тельцем, напоминающим неуклюжий изогнутый гвоздь. — Как — чего испугался? Все испугались, и причины для того были, когда окрест города мужичок, знаете, нахмурился и попер, без разумения, на все законные преграды — давай ему земли! Сам говорит — земля ничья, божья земля, и сам же ее у бога отнять хочет, а? У бога! Да-а... очень грозное столботворение было, и наш брат, промышленник, человек тонкого дела, от этих грубостей больше всех пострадал, конечно...

— Почему? Потому, что — как это теперь всякому понятно — самое чувствительное место в государственном, так скажем, теле — карман-с, а они, пролетары эти, всего усерднее по карману норовили ударить. Им бы тише, им бы сначала спросить сведущих людей — какими способами проще получить облегчение прав и начальственной тяготы? А никто их этому не научил, и вместо умаления начальства вышло совсем обратное — разродилась его сила еще обильнее, и вот пошло вмешательство во все стороны, и община тут затрещала, и попов разогрели, и... да что уж говорить!

Он задумался — точно серенькую маску надел на острое свое лицо, глаза остановились, углубясь в какое-то воспоминание, потом вздохнул и завертелся на стуле, чем-то уколотый.

— Спросимте еще уну бутылку? Камергерэ, анкора уна бутылья бьянка... <sup>1</sup>И язык какой простецкий, глядите! Н-да, умных бы людей на эту их простоту...

---

<sup>1</sup> *Испорч. итал.*: Официант, еще одну бутылку белого...

Оглянулся вокруг и, наклонясь вперед, таинственно понизил голос, торопливо говоря:

— Сын мой Николаша, подобно дятлу, всё в одно место стучит носом — рано, дескать, мы, старики, направо свернули! Очень он этими словами свата удручает и жену тоже, так что она плачет даже и просит: «Коля, не серди ты тятеньку Христа ради, с им удар будет!» А Николай упрям, строг, и всё твердит: поторопились! Сват, действительно, сердится, ну а сам как будто понимает, что, пожалуй, Николай-от не зря говорит. Как-то раз, будучи очень им расстроен и раздражен, заплакал сват, сморкается и жалобно таково просит: «Оставь меня, не говори про всё это! Погоди — умрем, останетесь вы, щенки, хозяевами...» А Николай — дерзок он у меня — не дослушав речи, и бухнул: «Али, говорит, я для того родился, чтобы ваши ошибки править? Это какая жизнь? Одни — путают, другие — распутывай, и все на одном месте толкуются, а между тем соседи не ждут — глядите, вон как иностранный капитал прет на нас...»

— И начал, знаете, доказывать. Политика иностранная для меня не вполне понятна, однако — забавно видеть, как собственное твое чадо двадцати шести годов всей жизни первого умника в городе обставляет, доводя его даже до лишения языка... А кроме того — тяжело...

Он замолчал, посасывая золотое вино и чмокая тонкими губами, снова спрятал глаза куда-то под череп и слепо уставился узкими щелками в стену, пустую и холодную.

— Дума? Что ж Дума? Она ведь нашими делами не занимается, и толка от нее не заметно пока... — неохотно проговорил он и, вдруг завертевшись на стуле, молвил, сердито улыбаясь:

— Мечтательность распространяет Дума эта и смущает многих... Вдруг, к примеру, какой-нибудь бродячий столяр говорит о государстве, России и прочее. Откуда? Вот именно от Думы этой. В ней говорят, а в газетах всё сказанное пишется, ну и проходит в средину населения, но — как проходит? Конечно, в испорченном виде всё. Разве когда в Думе говори-

лось, что от несоответствия возрастов дети неудачны бывают? Видите! А в народ, между прочим, проникло такое...

— Да уж поверьте! Этому я сам свидетель и могу рассказать...

Бойко, со странным соединением тяжелой пошлости и тонкого ума, он рассказал:

— Поехал я с работником летом, около Успеньева дня, в город по делам некоторым, и вдруг схватывает работника холера. Я, конечно, испугавшись, — домой, а дорогой лошадь у меня расковалась, пришлось остановиться в деревеньке, и так запоздал я значительно — дай бог у себя к полуночи быть... Тороплюсь, лошадка молодая, горячая, вдруг вижу — приступает на левую заднюю, заковал ее мерзавец кузнечиска. Жалко животное, придерживаю, еду потихоньку, а уж темнеет, душно, пыльно и жутковато. Времена, как знаете, беспокойные, озорника расплодилось множество, а иной, конечно дело, и с голодухи, в отчаяние вшавши, ценит человека дешевле козла. Народ у нас характера слабого и скучающий народ, многие, как это бесспорно известно, со скуки и озорничают, заслуживая даже тюрьму и Сибирь. Так и еду проселочком мягким...

— Вдруг, знаете, в ракетнике невысоком что-то зашевелилось, закачалось — бог знает что там, — испугался я да и зыкни на лошадь, а она сама тоже, видно, испугалась и — понеси! Да так понесла, что верст с пяток — как пуля она летела, а у меня уже и руки затекают, не могу держать... Тарантасик мой прыгает мячом, едва сижу — беда, разобьет! И вот вдруг на дороге, словно черный прыщ вскочил, явился человек у самой у морды лошадиной, вижу — подпрыгнул как-то, вцепился и волочитя по дороге, а я совсем ошалел: пистолет достать нельзя — боюсь вожжи выпустить, сижу и кричу что есть мочи. Однако слышу заботливый и вежливый эдакий голос с хрипотцой: дескать, не беспокойтесь, и вообще — ничего, слава те господи, не худой, видно, человек... это ведь сразу, по воздуху передается...

— Присмотрелся я к нему, пока лошадь он охаживал: сухой такой человечек, голодного вида, лицо



длинное, клином, и бородка эдакая ненужная. В руке тонкая палочка, на спине котомка легонькая... а первое всего — голос располагающий: спокойный, тихий и уважительный. В одном слове сказать — пригласил я его — садись, мол, подвезу, потому оказалось, что он идет в мое село... Так-то... Едем. Жметя он, как бы стараясь не стеснить, не касаться меня, а мне эта его великатность нравится. Слово за слово — узнал я, что столяр он и резчик, а теперь — без работы, шагает к нам, услышав, что у нас ремонт иконостаса предполагается. Верно, предполагали...

Спрашиваю его: «Что ж так запоздал?» — «Да всё, — говорит, — народ интересный встречался, с тем слово, с этим два, а время идет, а душа цветет». Фигурно говорит и ласково. «Какой же, мол, интересный народ?» — «Да — мужики...» — «Это верно, — говорю, — весьма они интересны!». Я пошутил, а он — не понял. «Человек, — говорит, — самое интересное всегда». — «Сколько тебе годов?» — «Двадцать семь».

— Едем да говорим, и вижу я — парень не пустой и хоть молод, а разумен, мысли у него смиренные и располагающие к беседе. На грех, мне в ту пору столяр нужен был по разной починке домашней, есть у нас свой — пьяница, вор, да и мастер неискусный. И предложи я этому, что вот, пока он там насчет иконостаса толкует, поработал бы у меня, я ему полтинку в день положу, а то, коли хочет, сдельно. Ничего, согласился. Приехали, я его прямо к себе, ночевать чтобы... н-да, удивительно это! Разное в руку берешь, а чем палец занозишь — неведомо! Осторожный я человек будто бы, а тут расположился, неизвестно почему. Пачпорт его оказался в порядке, и значилось в нем, что парень мещанин из Починок — всё как надо. Имя его забыл я... Ефим, кажись, а то — Ефрем... Ну, всё едино...

Его личико сконфуженно сморщилось, пальцы побежали по столу, выбивая дробь, маленькая головка виновато опустилась над столом, стало видно, как жидки и тонки серые волосы на желтой коже черепа. Под этой кожей что-то шевелилось, бегало суетливо и беспокойно, заставляя вздрагивать сухие, острые уши.

— Просто даже удивительно, до чего несуразен этот русский народ, даже непостижимо уму... Всё какие-то мимоидущие люди, идут мимо всего, а куда, к чему — неизвестно! Отношения нету никакого — одно любопытство, словно бы вчера они поселились на земле и еще не решено у них — тут будут жить али в другом месте где? Беда! То есть положительно — беда! Так всё ненадежно, и так все требуют... укрощения... не кулаком, конечно, это не по времени и цели не служит, как видим... Нет, тут внутреннее укрощение нужно, чтобы внутри себя человек успокоился и встал на свой пункт. Забить человека до дурака — это очень просто, так ведь жизнь не дураками строится и держится — верно-с? Ты мне найди способ, как внутренне укротить, ума — не тронь! Ум, он — деньги выдумал, а деньги — вот, я держу в руке маленькую цветную бумажку, и в ней — всё! Тут и скот, и дом, и раб, и жена, и всякие удовольствия, и непререкаемая надо всем власть, вот как-с! А ведь просто — бумажка или золотой кружочек с каким-нибудь изображением...

Он вспотел от волнения, охватившего его, вскинул голову и, отдуваясь, вытер лицо большим, смятым в комок платком. Затем, вздохнув, оглянулся, подвинулся к столу и, спрятав руки, продолжал жалобно, в тон скучному вою сирены, разрывавшей дымный воздух порта:

— Работал этот Ефим достойно звания, умеючи, но, однако, так, как будто не это его главное дело и не столляр он, а просто любопытствующий человек; чистит шкаф, а глаза у него преспокойно, не спеша гуляют по всем предметам и направлениям... Меня в работе не обманешь, я вижу с первой минуты, каков есть работник! Иной — как музыкант в своем деле — вопьется в него, прилипнет к своему инструменту и уж ничего не понимает, ни о чем, кроме дела, думать не может, — редки такие! А этот — он и споро работает, однако видно, что мысли у него не в деле, а где-то около...

— Подкатился к нему сынишка мой — он у меня в креслице ездит по случаю слабых ножек, — Ефим

ласково поговорил с ним... н-да, а тут супруга моя подошла... я, видите, на второй женат, шестой год живем. Сейчас этот воззрился на нее, ощупал глазами — а глаза у него эдакие пристальные, хотя и кроткого взгляда... «Супруга ваша?» — спрашивает. — «Именно, мол». — «Молоденька для вас». — «Молодая-то лучше, сам знаешь». — «Это для кого же, — спрашивает, — лучше?» — «А для меня...» — «Так. А вот, говорит, для сына — лучше?»

— Что такое? Заинтриговался я этими его словами, расспрашиваю, а он мне безо всякого сомнения и доложил, что хотя молодая женщина и приятна, но сын мой лишен ног по причине несоответствия моего возраста жениному. Несответствие, действительно верно, есть: мне, видите, пятьдесят четыре, а ей двадцать два, и взял я ее шестнадцати. Но — разве это редкость? И кому до этого дело, окромя меня да ее? Поразил он меня, однако, этими словами, и хоть виду я не показываю, но рассердился, а жена, по глупому любопытству, вытаращилась на него. Я, конечно, посмеиваюсь, а он, стоя на коленках, трясет своей бородежкой, на куриий хвост схожей, и всё гвоздит: «Вот, говорит, вы, хозяйева, живете в свое удовольствие, достигая для себя всего, чего вам хочется, а про государство, про Россию, кто из вас думает?» — «Подожди, как же это ты до государства махнул?» — «А очень просто! — говорит. — Вы где живете — в России? От кого всем пользуетесь? От России! А что ей даете? Вот — даже и ребеночек у вас уродец, по жадности вашей... А коли и здоровый он родится — воспитать, добру научить не умеете!»

— Тут я, знаете, вспылил. «Ты, — говорю, — кто?» А он — ничего, спокойно так, учительно и досадно всё свое толкует: «Ежели-де я вижу что вредное али нечестное — должен на это указать...» — «Да кто тебя слушать согласен?» — «Сто человек не услышат — сто первому скажу...»

— И лицо у него упрямое эдакое, как топор, примерно.

Старик торопливо выпил вино, закашлялся, закрыл рот платком и, встряхивая головою, замычал, как

от боли. Мутные слезы потекли из его глаз, покрасневших от натуги.

— Так, знаете, с утра да вплоть до полуден мы с ним и беседовали, и наговорил он мне такого, что даже не знаю, как и назвать! Жену я, конечно дело, отстранил, но чувствую, что она из другой комнаты слушает споры наши. Женщина тихая, была из бедности взята... н-да... Конечно, понимаю я, что за пичужка прилетела, нет их хуже, этих смирных бунтарей, я вам скажу! Иной, настоящий революционер, накричит, наговорит, и — ничего, а эти, вот эдакие кроткие, это — зараза прилипчивая, ой-ой как! Они, видите ли, по наружности кротки, а внутри у него — кремни насыпаны... В полдень я ему говорю: «Вот что, возьми-ка ты с меня четвертачок за работишку твою и — ступай с богом! Ты, брат, видно, сектант какой, что ли, а может, и хуже кто, так уйди-ка лучше!»

— Ушел он тихо и смирно, а я за делами успокоился да и забыл про него. Только, замечаю, жена чего-то не в себе будто, я к ней со всем вниманием по супружескому делу, а она — отказывает: нездорова, дескать. Раз нездорова — ничего, два — допустимо, а в третий уж и на мысли наводит — что такое? Женщина молодая. К тому же приметил, что куда-то уходит она поспешно и возвращается сумрачная. И спрашивает несуразное и непривычно по характеру своему о разных разностях... Притих я, слежу, выжидаю ясности... Прошло эдак неделки с две время — слышу, объявился у нас проповедник. Кто? Столяр, который иконстас чинит. Так! Где проповедует? В церковной сторожке. Потянуло меня, дай, думаю, пойду, еще послушаю этих речей...

Он выпрямился, положил руки на край стола, точно на клавиши пианино, и, перебирая пальцами, четко и строго продолжал рассказ, прихмутив седенькие брови.

— Выбрал вечером свободный час, иду... Церковь у нас б то время вся в лесах стояла, щикатурку подновляли, около сторожки груда всякой всячины навалена, и сторожка хорошо укрыта. Подошел я из-за уголка и слышу встречу мне Матрешин, Климова мясника

дочери, голос, сочный такой: «Как же надо жить?» — спрашивает. «Что такое? — думаю. — При чем тут Матреша?» Заглянул в дверь-то, а там, в уголку, и супруга моя изволит сидеть, и еще две дамы наши, да парней человека четыре, да старик Зверков, тоже полоумный. Ошибло меня. А столяр этот вежливо так приглашает: «Пожалуйста, входите!» — как в свой дом всё равно. Вскипел я несколько, но сдержался, вхожу. Спасибо, мол, но я бы и без приглашения твоего взшел... да... Супружница, вижу, сомлела от испуга, прячет голову в платок. Сел я рядом с нею и шепнул: «Выздоровела, сукина дочь, а?» А этот козел разливает-блеёт то и се и не знаю что! Уж я, конечно, не мог слушать, помню только одни слова его: дескать, наступило время, когда мы все должны подумать друг о друге и каждый о себе, и прочее. Всё ясно и без слов, разумеется. Гляжу на него, глазенки играют, бороденка трясется — пророк, за шиворот да за порог!

«Должна, — говорит, — Русь наша, если она жива душой...» Всё в горячительном роде и с примесью Евангелия даже... Взорвало меня: «Ты, — говорю, — как хочешь, милый, думай про себя, а людей смущать не дозволено! И я тебе это докажу...» Взял жену за руку и — домой, а по дороге — к свату да и говорю ему: «Что сидишь, друг? Чего ждешь?» Испугал. Ну, он сейчас стражников, и всё своим порядком пошло — расспросили парня этого, как и что, свели в кутузку, а потом — в город, с парой провожатых...

Старик устал и тихонько засмеялся, но ни довольства собою, ни веселья, ни злости в смехе его не прозвучало, смех этот, ненужный и скучный, оборвался, точно гнилая бечевка, и снова быстро посыпались маленькие, суетливые слова.

— Случай, конечно, маловажный, и кабы один он — забыть его да и конец! Кабы один... Что значит один человек? Ничего не значит. Тут, сударь мой, дело именно в том, что не один — эдаких-то вот, мимоидущих да всёзадевающих людишек довольно развелось... весьма даже довольно! То там мелькнет да какое-то смутьянское слово уронит, то здесь прошел и кого-то по дороге задел, обидел — много их! И у каж-

дого будто бы свое — один насчет бога, другой там про Россию, третий, слышишь, про общину мужикам разъясняет, а все они, как сообразить, — в одну дуду дудят! Я, собственно, не виню людей огулом — ты думай, ничего, валяй, но — про себя! А додумаешься до конца — можно и вслух сказать: вот, мол, добрые люди, так и так! А уж мы разберем, куда тебя за твою выдумку определить — в каземат или на вид поставим, это наше дело! Ты додумай до конца, а не намеками действуй, не полусловами, ты себя сразу выясни и овцою кроткой не притворяйся... А тут, понимаете, ходят какие-то бредовые люди, словно сон им приснился однажды, и вот они, сон этот сами плохо помня, как бы у других выспрашивают — что во сне видели? Этот столяр — он, конечно, не более как болван и не иначе что за бабами охотится, есть эдакие, немало. Но вообще взять — очень беспокоило в народе стало. Мечтатель народ и путаник, всегда таким был, а уж ныне — не дай бог! Раньше, до пятого года, поглядишь на человека — насквозь виден, а теперь — нет! Теперь он глаза прячет, и понять его трудненько...

— В чем перемена? Как это сказать? Вообще, чутьем слышно — не те люди, с которыми привык жить, не те! Злее стали? И это есть, а суть будто не в этом. Умнее бы? Тоже не скажешь. Раньше как-то покойнее были все, не то чтобы озорства разного меньше было, нет — что озорство? А внутри себя каждый имел что-то... свой пункт. И было ясно — вот Степан, а желает он лошадь купить, вот Никита — ему хочется в город уйти, Василий — всего хочет, да ничего не может. Ныне всё это осталось, все прежние хотения налицо, а главное-то словно бы не в них, а за ними... в глубь души опущено, спрятано и растет... Кто его знает, что оно! Говорю — вроде сна! Проходят люди мимо дела, а куда — нельзя догадаться. Были вот урожаи, приподнялось крестьянство, привстала торговлишка, — радоваться бы — а радости настоящей нет. И песни играют и частушки кричат, а что-то легонько поскрипывает и — невесело скрипит...

— Ненадежный народ, ежели правду сказать, ожидающий какой-то стал он, очень это неприятно в нем

и опасно. Главное же, вот эти мелькающие, проходящие мимо, вроде столяра...

Он зачем-то приподнял руку и, растопырив пальцы перед лицом своим, задумчиво оглядел их маленькими, отуманенными печалью глазками.

— Трудная сторона Россия наша, — сказал он тихонько, — трудно в ней жить под старость лет... меняется всё, а самому примениться — позднечко. Позднечко, сударь мой, да...

В стакан его попала муха, он окунул в янтарь вина темный, тонкий и кривой мизинец, ловко поддел утопшую, стряхнул ее на пол и аккуратно раздавил ногой, говоря как бы себе самому:

— Когда отец мой умирал — мне тридцать два года было, призвал он меня ко смертному своему одру и говорит: «Василий, как думаешь жить?» Я, стоя на коленках, отвечаю: «Как вы, тятенька, жили, ни в чем не отступая!» — «То-то, — говорит. — А иначе я б тебе и благословенья не дал...» Вот как бывало! А ныне мой сын мне преспокойно внушает: все мои дела и приемы — неверны, все мои мысли — негодны. Теперь, говорит, другое время, другой народ и — всё другое. Слушаю я, смотрю — верно! Всё покачнулось... Другой народ...

— Был у меня приятель, мельник, хороший человек, начитанный, достаток имел, уважением пользовался, вообще — не из дюжины стакан... И как-то вдруг — точно подменили ему душу...

— В шестом году, после того, как разорили у него мельницу, является он ко мне и — «не желаю, говорит, участвовать!» — «В чем?» — «Во всем! Ни в чем не желаю участвовать!» И так, с той поры, действительно верно, ничего не делает, ни о чем не заботится, семью бросил, пьет и рассуждает. Бородища до пояса, сыну двадцать лет, дочь в Питере картины писать учится, а он: «Всё это, говорит, не надо! Всё это — участие во грехе!» А сам — пьян дважды в сутки. И во все дела путается — после столяра этого пришел нетрезвый и — изругал меня. Должен был я с ним разойтись и теперь к себе его не пускаю... Он, к тому еще, и жену мою смущать насыкался... н-да! Пошатнулся народ...

Везде это заметно, в нашем крепком быту нельзя бы неожиданностям бывать, а они — случаются, и всё чаще, сударь вы мой!.. По внешности — всё как будто исправно и идет своей тропой, а внутри каждого, чувствуется, живет чужое и неожиданное, и вдруг — хороший бы человек, издавна знакомый и доверия достойный, объявляет — не хочу! Что такое?

— В девятом году, на крестинах у сына моего — внука мне родил сын — наш бородулинский учитель, пожилой уже человек, тихий и больной, встает с рюмкой в руке и — просто убил нас! «Хорошо, говорит, почтенные, будет, когда вы все подохнете, и пью, говорит, за наступление скорейшее смертных часов ваших!» Это на крестинах-то! А после того — свалился на пол да — реветь, с час ревел, едва отходили... Конечно — выпито было, но — ведь и раньше пили, а эдаких поздравлений — не слышать было... нет!

— И в то время как солидных лет люди ломаются в душе, молодежь — смотрит на них чужими глазами и без жалости. Хоть в лес иди — землянку рой от их взглядов!..

Схватив стакан, он глотнул вина, поперхнулся и, изгибаясь в припадке кашля, затрясся — багровый, синий, нестерпимо жалкий.

А когда кашель отпустил его, отдышавшись, он сказал тихонько и безнадежно:

— Да, неясна стала жизнь человечья... и люди — непонятны...

### III

— Вам странно слышать, что я говорю о судьбе, о роке?

Человек сконфуженно усмехнулся, глядя куда-то в сторону рассеянным взглядом беспокойно мигающих глаз. Глаза у него серые. Я помню — недавно они смотрели на мир с добрым чувством, с живым интересом, помню, как славно горели они радостью и гневом. Теперь же взгляд их холоден, сух, слишком часто вспыхивает обидой, бессильным раздражением, а угасая, покрывается тенью тоскливого недоумения.



На его лице, маленьком, костистом, тонкими чертами, но глубоко и неизгладимо написано нечто, говорящее о большой усталости, о неизбывной, злой боли в сердце. Худое тело угловато, движения нервны и неловки, как будто человек этот был изломан, а потом неудачно и небрежно склеен.

Похрустывая тонкими пальцами желтых рук, он говорит сипловатым голосом, глядя исподлобья, усмехаясь искусственной усмешкой:

— Это меня знакомый жандармский ротмистр научил. Комическая история. Если не скучно вам, я расскажу...

— Три года тому назад я жил в деревне — двадцать две версты от города по железной дороге — и почти каждый день ездил утром с дачным поездом. Тут я и встречался с этим ротмистром... Я его знал и раньше, «по делам службы», — был я членом общества грамотности — помните? После обыска у нас в народном доме меня арестовали, допрашивали и прочее, по порядку... На допросах этот человек очень удивлял меня своим механическим, безразличным отношением ко мне и другим; это отношение казалось мне тогда хуже злобы, в основе его была какая-то мертвая безучастность, каменное убеждение в ненужности, бессмыслии всего, о чем он спрашивал, в чем старался обвинять. Старался — это неверно, нет, он не старался, а действовал именно как механизм, предназначенный высасывать из человека то, о чем человек не хочет говорить. После этого знакомства он, во время какого-то ночного обыска, сломал себе ногу. Мне было неприятно встречать на перроне нашей маленькой станции его длинную фигуру, видеть, как она покачивается, точно готовясь упасть на левый бок, и как по темному лицу бегают гримасы не то боли, не то брезгливости. Я, конечно, не раскланивался с ним, но однажды он, входя в вагон впереди меня, поскользнулся, охнул и — упал бы под колеса, но я вовремя поддержал его. Вот-с...

— На площадке вагона он кивнул мне головой и молча оскалил белые мелкие зубы, а в вагоне сел против меня и как-то особенно, непередаваемо сказал: «Бла-

— Вамъ странно слышать, что я говорю о судь-  
 бѣ, о рокѣ?

Человѣкъ сконфуженно усмѣхнулся, глядя  
 куда-то въ сторону, разсѣяннымъ взглядомъ беспо-  
 койно мигающихъ глазъ. Глаза у него <sup>сѣрые.</sup> ~~и~~  
~~онъ~~ <sup>помню-недавно</sup> они, смотрѣли на мръ ~~съ~~  
 добрымъ чувствомъ, съ живымъ интересомъ, помню,  
 какъ давно ~~они~~ <sup>горѣли</sup> <sup>радостью.</sup> ~~и~~  
~~теперь~~ <sup>теперь</sup> ~~они~~ <sup>они</sup> ~~смотрѣли~~ <sup>смотрѣли</sup> ~~на~~ <sup>на</sup> ~~мръ~~ <sup>мръ</sup>  
 холоденъ, сухъ, слишкомъ часто вспыхиваетъ  
 обидой, безсильнымъ раздраженіемъ, а угасая, по-  
 крывается тѣнью тоскливаго недоумѣнія.

На ~~его~~ <sup>его</sup> ~~лицѣ~~ <sup>лицѣ</sup>, маленькомъ, костистомъ,  
 тонкими чертами, но глубоко и неизгладимо напи-  
 сано нечто, говорящее о большой усталости, о  
 неизобынной, злой боли, въ сердцѣ. Худое тѣло  
 угонато, движущія нервы и мускулы, какъ будто  
 человекъ этотъ былъ изломанъ, а потому неудачно, и  
 небрежно склеенъ.

годарю вас!» Я приподнял шляпу. А он, помолчав, снова неприятно оскалил зубы, спрашивая тем же странным и волнующим тоном: «Не каетесь, что могли жандарму?»

— Смутился я, что-то пробормотал, а сам вдруг почувствовал прилив отвращения к жизни, взрыв почти дикой, звериной злости на эти «условия», которые мучают, терзают людей и ставят их друг против друга непримиримыми врагами. Истерзанные, с разбитой, ноющей душою, эти люди разных мундиров тратят всю жизнь, все лучшие силы души, весь ум и знание на борьбу друг с другом, — необходимую, ах, я понимаю! Но разве она менее отвратительна, менее унижает нас оттого, что необходима?

Он вытер свой широкий лоб, исписанный мелкими морщинами, торопливо закурил папиросу и, глотая дым, продолжал:

— С той поры каждый раз, когда я видел эту падающую фигуру, я испытывал повторные толчки в сердце, новые приливы ненависти к чему-то бесформенному и злему, что губит, ломает, душит людей — меня, его, всех. И вас, конечно, хотя вы, я понимаю, не пожелаете сознаться в этом, но — убежден! — и вас!

Тихонько, не без торжества, он засмеялся и впервые посмотрел прямо в глаза мне напряженным, ищущим взглядом. Вздыхнул, оглянулся, подумал и, спрятав улыбку в усах, покручивая их, тише и спокойнее говорил:

— Ну, познакомился я с ним за время этих поездок в город. Сначала раскланивались, перекидываясь парюю любезных слов; меня это знакомство смущало, здороваясь с ним, я незаметно оглядывался по сторонам, — ведь мы все — трусы, боимся выскочить из клеточки традиционного, ох уж эта боязнь!

— А он — умник, и я вижу, что мое смущение понято им, смешит и задевает его. Он старался быть со мною преувеличенно вежливым и еще издали, с демонстративной поспешностью, с подчеркнутым почтением, снимал передо мною фуражку, оскаливая несокрушимые зубы. И садился в один вагон со мною. Беседовали мы мало, больше о мелочах или об отда-

ленном, о внешней политике и так далее. Старались, конечно, избегать тем, которые неизбежно вызвали бы спор.

Он задумался, болезненно наморщив брови, почесал ногтем мизинца нос, вздохнул.

— Но однажды, в дождливый серый день, когда вся земля напоминает скользкую холодную жабу, этот человек, сидя против меня, наклонился, упираясь в свои круглые колена, и сказал приблизительно следующее: «Ну, что же, господин Иванов, теперь, когда народ показал вам себя, — поняли вы, что мы знаем эту Россию и этот русский народ лучше, чем вы?» — «То есть?» — спросил я, помню, чего-то испугавшись. — «Вы меня понимаете, конечно!» — молвил он, гримасничая и махнув рукою.

— И тотчас после этих слов его охватил припадок тихого бешенства — он посинел от напряжения, налившись темной кровью, зашаркал подошвами по полу вагона и, махая руками, начал осыпать меня градом злых слов. Я не стану воспроизводить его речь, но суть такова: нет страны, в которой положение человека, желающего ей добра и счастья, было бы более трагично и смешно, чем у нас, в России. У нас нет нации, а есть аморфная, бесформенная масса людей, нет классов, а только группы, неподвижно, мертвой хваткой вцепившиеся в свои интересы, слишком мелкие, узко понятые, и потому эти группы не только не способны к большой национальной работе, но даже не умеют активно защищать то, до чего они додумались. У нас нет людей, которые видели бы и понимали трагизм современного положения страны, окруженной извне врагами и совершенно не организованной, отравленной враждою внутри, — нелепой враждою всех со всеми. В этом хаосе неосознанных интересов, в этом вихре разнообразных маленьких течений бьется, как щепка разбитого корабля, интеллигент — единственное лицо, — сказал он, подчеркивая, — единственное лицо, которое могло бы работать с великою пользою для всех, если бы оно умело работать! Но русская интеллигенция неизлечимо больна устремлением в дали будущего, она не хочет знать настоящего, она ничем не связана с наро-

дом и не может связаться с ним, ибо русский народ — гнилая, изработанная материя.

— Всё это было бы скучно, если бы не страсть, с которою он говорил, — его озлобление интриговало и возбуждало меня.

— У нас есть только народ и его судьба! — шептал он, задыхаясь, сердце у него, видимо, было больное. — Русский человек выработал себе, в процессе своей уродливой истории, непоколебимое представление о некоторой, ничем неодолимой силе, она управляет всеми его намерениями и делами так, как ей нужно, а ее намерения непонятны никому, ясно лишь одно — они не имеют в виду интересов людей. Судьба относится к людям жестоко, но — неуловимая, незримая, она непобедима, и бороться с нею бесполезно, дерзко, смешно.

— Вот против чего должны вы бороться! — внушал он мне. — Вот где ваш враг — он в душе народа! Правительство — это механизм, создаваемый нацией, соответственно ее потребностям, для ограждения ее интересов.

И он сослался на правительства Запада, постепенно и непрерывно поддающиеся изменениям к лучшему.

— А у нас на Руси правительство — самостоятельный, живой организм! — крикнул он торжественно и угрожающе и стал доказывать, что пока народ верит в Судьбу — нет причин бороться против правительства, единственной культурной силы в стране, силы, которая имеет намерение приучить народ к самостоятельности, помогает ему кристаллизироваться в точные сословные формы.

— Да, да, я понимаю, что всё это не ново, скучно, избито! — воскликнул рассказчик, нервно подскочив на стуле, — но вот эти его слова о вере народа в непобедимую силу судьбы, как источника всех наших бед, всех мук, — эти слова показались мне и новы и важны. Я их запомнил, приютил в сердце, они — так мне теперь кажется — делают для меня загадки русской жизни более ясными...

— Под этим углом зрения я посмотрел на нашу историю и свою личную жизнь, и, знаете, я убежден — есть что-то, чего я не замечал ранее, что-то темное,

тяжкое и всегда враждебное воле моей. Это нечто — и есть вера народа в бытие Судьбы, это создано русским народом, этим заражен и я... Иногда я, вы, вообще мы, интеллигенты, на время возбуждаем друг друга до того, что как бы излечиваемся от недуга, поразившего нашу волю, и в эти моменты перестаем видеть жизнь такую, какова она есть, наполняем воображаемую нами душу народа нашим содержанием и далеко, невидимо далеко, отходим от него! А он остается тем, что он есть, всегда тем же самым! Мы ему не нужны, он нас не знает...

— Да, конечно, это старые жалобы! Вы правы. Но ведь это перемежающаяся лихорадка — мы постоянно то ощущаем нашу рознь с народом — наше проклятое одиночество, — то снова скрываем всё это от себя за красивую ложью, выдуманную нами же. Старые жалобы, однако — они живы и, поверьте, им суждено еще долго жить!

Он вскочил со стула, прошелся по комнате, оглядываясь подозрительно и тревожно, потом, цепко схватив руками спинку стула и тихонько постукивая им о пол, продолжал более спокойно:

— Никогда в жизни не испытывал я такой холодной, унижающей усталости и никогда не чувствовал себя столь чужим самому себе. Напрягаю все силы, чтобы разжечь в душе угасающее внимание к людям, поднять упавший интерес к жизни, и вижу, что живу по инерции, живу, опускаясь, как пуля на излете, пуля, потерявшая цель. Вы заметили, что у нас в жизни постоянно повторяется одно необъяснимое для меня противоречие: момент наибольшей нужды в людях совпадает с увеличением количества лишних людей? И наши лишние люди создаются отнюдь не внешними давлениями, которые будто бы выкидывают их за борт жизни, — нет, это плохое объяснение! Они изнутри лишние, они такими рождаются — рождаются с отрицанием прошлого, с отвращением к настоящему и с устремлением в фантастические дали...

— Это мысль хромого жандарма? И жандарм может иметь хорошие мысли, почему же нет? Человек во всех мундирах одинаково жалок, бессилен и одинаково

достоин внимания, ну, хоть как некоторый курьез, что ли...

— Я вот хочу рассказать вам одну историю, вернее — роман. Герой — мой приятель, адвокат, а героиня — его горничная; как видите, роман демократический. Мой приятель — человек немного безвольный, как все мы, немножко мечтатель, а вообще — человек не хуже других. Конечно — Дон-Кихот; кстати — Дон-Кихоты встречаются на Руси не только среди культурных людей, у нас в народе, в массе, сколько угодно донкихотизма! Так вот, приятель мой. Он женат, жена — красива, неглупа, зарабатывает он тысяч десять в год, живет — жил, надо сказать — недурно, интересно даже. По четвергам у него бывали журфиксы с разговорами о литературе, с музыкой и прочим.

Господин Иванов прищуренными глазами посмотрел в стену, вздохнул и еще более понизил голос.

— Года два тому назад я заметил, что мой приятель скучает: стал слишком нервозен, много пьет вина, а выпив, становится нарочито вульгарен, спорит некорректно, улыбается криво, саркастически, и всё это не идет к его характеру и доброму круглому лицу.

«Что с тобой?» — «Да так, ничего особенного...» — Настаиваю — скажи!

«Видишь ли, — говорит, — у меня такое ощущение, как будто я попал в некоторый чуждый мне поток и куда-то уплываю от жизни или, вернее, кружусь в нем. На берегах, вдали от меня — и с каждым днем всё дальше, — хлопают выстрелы, падают люди с разбитыми черепами, стоны, крики, вопли и злые слова, рычат торжествующие свиньи, и кто-то огромный, непонятный, неумолчно, полумертвым равнодушным голосом бубнит — бу-бу-бу, возлюби ближнего твоего, как самого себя, бу-бу-бу, не пожелай другому того, чего не желаешь себе, бу-бу-бу! Россия — несчастная страна — бу-бу-бу! Ищите и обряцете — бу-бу-бу! И порою всё это принимает тяжкий, почти осязаемый характер кошмара. Смотрю я на всё и вижу — жизнь вообще отчаянно спутана, нелепа, бестолкова, а самой смешной, бесполезнейшей, нелепейшей точкою в ней является мое личное бытие».

— Задумался, улыбаясь тихой невеселой улыбкой, а потом продолжает:

«Однажды слышал я простые слова, утренние какие-то, заревые слова. Стоял человек у окна, смотрел в сад и говорил — задумчиво, как люди могут говорить только в двадцать лет, — говорил приблизительно так: „Господи боже мой! Сколько на земле хороших мыслей, сколько их! И если подумать, что ведь каждая родилась в живом сердце человеческом, может, после мук великих, в тяжком горе или в радости светлой, от любви родилась, — как драгоценна жизнь наша, если подумать!“

«Так как это говорила моя горничная Анюта, я внутренне усмехнулся ее словам. Она мне всегда казалась наивной дурочкой. Сентиментальная такая она, курпосая, пухлая, с выкатившимися, в некотором удивлении, голубоватыми глазенками. Когда она говорила это, я как раз сидел в саду под окном, отдыхая с книжкой в руках после приема, готовясь к вечернему собранию присных. Ну, и, конечно, позабыл сейчас же слова ее. А вспомнил их долгое время спустя, в конце лета, на даче: собрались гости, было весело, забавно, интересно, и вдруг я чувствую, что устал! Устал ото всего, а главным образом от хороших, остроумных, благородных мыслей. Вижу я, как люди вокруг меня привычно ловко и беззаботно лихо перекидываются „хорошими“ мыслями и словами, точно мячиками, и стало мне жалко и людей и мысли. Вдруг понял, что для всех это просто игрушки, — и чем новее, тем забавнее, — а когда вспомнил молитвенную оценку Анюты, тут уже совсем плохо стало мне, и неожиданно для себя произнес я какую-то сатирическую и разносную речь. Очевидно, что речь моя была и смешна и неуместна, — супруга моя, женщина, как ты знаешь, со вкусом и способная написать толстую книгу о корректности, сильно пробрала меня за эту выходку, бесцеремонно названную ею мальчишеской и недостойной солидного человека. „Ты говорил, как какой-нибудь социальдемократ или анархист“, — сказала она, между прочим. А я, слушая ее, соображал — может быть, и в самом деле анархист я?



«С этого и началось. Вся моя жизнь стала представляться мне какой-то странной, как будто заказанной кем-то со стороны. Пришел некто и приказал: „Ну-с, милостивый государь, вы, кончив университет по юридическому факультету, женитесь на красивой, умной девушке, через год у вас будет ребенок, через три — другой. Вы будете делать то-то и то-то, всегда одно и то же“. Чепуха вообще! Почему-то я показался сам себе ветошником-портным, который всю жизнь перешивает старое, подбирая одноцветные лоскуточки, прилаживая там и тут заплатки на протертые места. И особенно сильно протертым, непоправимо изношенным местом была собственная моя душа, или как это назвать? Как называется в человеке то место, которое думает и чувствует наиболее честно и правдиво? Вот оно у меня незаметно изнашивалось...»

Господин Иванов рассказывал о своем приятеле так живо, страстно и с таким почти яростным сочувствием, что невольно внушал слушателю подозрение — да существует ли приятель-то? Не одно ли это лицо с рассказчиком? Господин Иванов говорил за совесть, даже вспотел и побурел весь, а глаза его остановились, обратясь взором куда-то внутрь себя. И маленькие руки, с неровными, изогнутыми пальцами, нервозно дрожали.

Вздрагивая и захлебываясь словами, он продолжал:

«Шли дни, как нишут в романах, приходил день и кланялся: здравствуйте, я еще хуже вчерашнего! Мне становилось всё скучнее, жене тоже... „Тебе надо лечиться, ты распускаешься!“ — убеждала она меня. Пожалуйста! Гимнастика, обливания холодные, а тяжелый ком скуки в груди растет и давит сердце. И снова Анюта: иду я однажды мимо ее комнаты, дверь не приотворена, и слышу радостно захлебывающийся голос, кстати, шепелявый немножко:

Покуда на груди земной  
Хотя с грудом дышать я буду,  
Весь трепет жизни молодой  
Мне будет вятен отовсюду...

И восклицание: „О господи! Как задушевно, как хорошо!“

«Фет и — горничная! Неожиданно, смешно и, знаете ли, тревожно как-то! Почему тревожно? Не знаю, но — тревожно! Как будто вечером вошел в свою любимую комнату, а там сидит кто-то неизвестный, чужой, и оглядывается, оценивая любимые твои вещи своею, какой-то новою оценкою. В этом роде что-то. Но интересно, не правда ли? С одной стороны люди, которым и сладостный Фет приелся, с другой — люди, начинающие вкушать сладость поэзии с аппетитом детей, пожирающих леденцы. Я очень заинтересовался, и меня потянуло в эту комнатку, где начинают жить.

«И случилось так, что однажды вечером, когда дома никого не было, а в комнатке Анюты звучали чьи-то веселые голоса, я очутился в гостях у своей горничной. Не сразу, конечно, я вошел к ней, а сначала подумал о том, как бы не смутить этих людей, не показаться бы смешным, навязчивым и всё прочее, как следует. Затем, воспользовавшись моим правом хозяина, вызвал ее звонком в кабинет к себе, о чем-то спрашивал и наконец попросил: „А можно мне, Анюта, посидеть у вас, с вашими гостями? Скучно очень, а идти никуда не хочется!“ „А, пожалуйста! — воскликнула она и повторила: — Пожалуйста, идемте!“

«Так это просто и славно вышло у нее, что я развешился, и рефлексия моя исчезла как будто. И тогда же я заметил, что у Анюты вовсе не курносая мордочка, а просто хорошее, человечье лицо, с наивными глазами».

Господин Иванов на минуту остановился, не торопясь, закурил папиросу и, глубоко проглатывая дым, продолжал, причем изо рта его исходили вместе со словами синие струи, отчего и слова казались синими, точно озябли.

«У меня есть знакомый молодой философ, — знаете, теперь многие из молодежи от нечего делать философствуют. Так вот, он однажды сказал неглупую вещь — я не знаю, украл он это или сам выдумал? „Все, говорит, люди наивны — и добрые и злые, и правдивые и лгуны. Все наивны, ибо всё скоропреходяще: нет вечного зла, нет бессмертного добра, и нельзя солгать так, чтобы тебя не разоблачили. Самое приятное, ласковое и выгодное для нас — ложь, но мы так наивны, что всегда

разоблачаем ее в поисках какой-то правды, которая никому не нужна, вредна всем и неизменно мучительна. В сущности, всё человечество наивно, это его и спасает от поголовного вымирания в тоске, от безумия общего и прочих бед...“ Вот... Ну — это в сторону!

«В гостях у Аниуты сидела курсистка Мозырь, брюнетка, с глазами без белков, и господин Александров, смуглый парень, веселый, вежливый и внимательный какой-то. Этакий чужой и непрерывно изучающий. Конечно, социаль-демократ. Встретили они меня как равного, показалось мне. Это меня сразу же превосходно настроило, и распустил я свое адвокатское красноречие, осыпая им все знакомые и незнакомые мне вопросы. Говорю, а они слушают. Лица серьезные, и скуки не заметно, — скуку они славно скрыли из сострадания ко мне, что ли, а может, из простой человеческой деликатности. Иногда и люди бывают деликатны, хотя лучше всех животных в этом отношении собаки. Так мы, или, вернее, я, — так я и беседовал часа два-три, а потом — звонок, жена приехала! Мне показалось, что при жене неловко сидеть в гостях у горничной, и я ушел, кажется, более поспешно, чем следовало бы.

«Ушел я с некоторыми приятными мыслями, в повышенном настроении. Помню, думалось: „Вот оно, непобедимое влияние культуры! Можно ли было вообразить, чтобы десять лет тому назад горничная, фельдшерица и рабочий скептически относились к Писареву? Вот они, те, которые и так далее“. Одним словом, передумал, вероятно, всё, что можно было и следовало передумать по этому поводу. Жене почему-то не сказал об этом, может быть, потому только, что она приехала усталая и тотчас легла спать. А я в давно не испытанном волнении чувств, очень смешном, признаю, вышел в сад и гуляю.

«Гуляю и слышу: из окна Аниутиной комнаты падают в сад тихие слова, порою свет в окне закрывается тенью человеческой фигуры. „Превосходно, — думаю. — Так и надо, милые люди! Именно это — вот эти ночные беседы и есть то новое, то славное, чего хотели, ради чего погибали тысячи неведомых вам людей“.

«И вдруг слышу скептический возглас господина Александрова: „А наверное, сам он ни Добролюбова, ни Писарева не читает и не любит“.

«Я, конечно, понял, что это про меня сказано. И ведь верно сказано. Ну что мне, человеку, изощренному в тонкостях и арабесках мысли, могут дать квадратные суждения Добролюбова и тяжкий писаревский „нигилизм“, возрожденный ныне в таких махровых формах? Остановился под деревом, прислушиваюсь. Это нехорошо — подслушивать под окнами? Что ж делать! Суд должен быть гласным, а тут судили заочно, и я просто корректировал их ошибку. Я их не обвиняю, просто они незнакомы с процессуальной стороной уголовного судопроизводства.

„Странно это мне, — гудит господин Александров, — сами они отступились от старых своих учителей, не найдя в них, должно быть, столько правды, сколько нужно, а нас вот обращают к тому, от чего уже отрекаются“. А моя милая Анюта шепеляво оправдывает меня: „Он очень добрый, только ему скучно. Барыня гордая, строгая, требует, чтобы всё было аккуратно, а он рассеянный и беззаботный такой...“ И густой голос курсистки Мозырь бьет меня по темени тяжелыми словами: „Лицо у него блаженное, но бездарный он, должно быть“. Снова господин Александров: „Теперь вот они опять, кажется, начинают восхищаться — пролетариат, демократия и прочее“. А я думаю: „Очень хорошо, но вы кричали это куда громче четыре года назад тому и разбежались! Как же тут верить?“ Не один я так думаю. Очень это мешает, правду говоря... Я ушел, находя, что достаточно с меня.

«С той поры родилось во мне надоедное желание убедить этих людей в моей искренности, в живом интересе к ним, к жизни их душ. Должно быть, делал я это очень неумно и неуклюже: через месяц, что ли, Анюта смотрела на меня смущенно недоумевающими глазами, почти с испугом, жена обидно поджимала губы и проходила мимо какими-то особенными, изящно отрицающими шагами, — не без брезгливости, как мне кажется. Я чувствовал себя болваном, понимал, что всё это надобно бросить, и не мог...

«Особенно плохо приходилось мне на наших журфиксах, когда добрые знакомые за чаем и ужином начинали разговаривать о росте самоубийств, эволюции театра, о законе 9-го ноября, музыке, стихах, о модных беллетристах и о развитии хулиганства. Одни утверждают: наступил момент всестороннего и общего упадка культуры; другие не менее доказательно говорят прямо противоположное: культура, опустыась сверху, растекается вширь, всасывается почвой. Жена моя утвердительно и благосклонно кивает головой — это у нее выходит очень красиво, но несколько однообразно, ибо всегда благосклонно, всегда утвердительно! Она говорит всему миру одно и то же: „Не надо распускаться!“ Женщина английского воспитания. Прочная материя, но не очень греет. А я сидел и думал: „Всё это не то, и не этим мы утешимся, не этим обманем себя! Необходима другая ложь, более обаятельная...“

«Почему ложь? А видите ли, я не уверен, что выживу, вынесу правду, если ее мне покажут, — вернее — я уверен, что не помирюсь с правдой, и знаю, что бессилён бороться с нею. Непонятно? Вы вспомните хромого жандарма, его слова о нашем одиночестве в стране — вот вам намек на правду, только намек, а сама она необъятно страшнее, как мне кажется... Ибо к одиночеству надобно добавить и разброд между нами и разрыв наш с демократией, враждебный разрыв, хотя и скрываем это мы сами от себя, но — враждебный!..

«Я преувеличиваю? Может быть... Однако скажите: где у нас та идея, что могла бы организовать в непобедимое целое главную силу страны, снова дружественно слить нас с нею, с демократией?»

— Он торжествующе засмеялся, крепко потер руки, потом продолжал тише и значительнее:

«Ведь эти, которые ликуют, утверждая, что мы незаметно, но неустанно двигаемся куда-то, ведь лгут же они! Для самоутешения лгут! Мы топчемся на одном месте в печальной пляске разрухи, и, посмотрите-ка, как мы испортили, изломали, растеряли наши оценки! Посмотрите, какие знакомства и дружбы стали возможны, какие речи ныне приемлемы и не возмущают!

А пока мы тут растерянно валандаемся, за спиною у нас создается нечто, может быть, в корне отрицающее наше несчастное, неуверенное, мятущееся бытие...

«Анюта? Она ушла, и это разумно с ее стороны. У меня к ней создалось странное чувство — смесь зависти и обиды. Как это так — для нее, горничной, жизнь цветет улыбками, а мне скучно? Что-то в этом роде чувствовал я, но значительно сложнее. И мне хотелось, скажу по совести, смутить ее наивность: выберу, бывало, книжонку из современных, эдак попессимистичнее, помрачнее, что-нибудь „овейное злым дыханием безнадежности“, и дам ей — вот, мол, Анюта, прочитайте-ка! А она прочитает, молча положит книжку на стол мне и, когда спросишь: „Ну как, понравилось?“ — отвечает скромно и непоколебимо: „Нет“. — „Почему же?“ — „Так, не нравится“. Только и всего. Разве покраснеет немножко в добавление. Однажды я спросил ее, — так себе, шутки ради: „Вы что, Анюта, думаете обо мне?“ И с великим, несомненно искренним удивлением она ответила: „Я ничего про вас не думаю, что вы, Иван Иванович!“

«Это „что вы“ — характерно, не правда ли? И ведь ясно — она заподозрила меня в том, что я почувствовал отрицательное отношение ко мне. Конечно, это ясно? Да?»

«В день расчета она зашла ко мне проститься и первая протянула мне руку. На голове у нее была старая женина зеленая шляпа, а на руках перчатки жены. „Почему вы уходите?“ — спросил я. — „Так уж, надобно“, — ответила она, усмехаясь. — „Что ж вы думаете делать?“ Удивленно взглянув на меня, она сказала: „Учиться“. — „Нашли себе место?“ — „Нет еще“. И, снова улыбнувшись очень милой улыбкой, успокоила меня: „Я скоро найду!“

— Вот и всё. В сущности — пустая история, верно?»

Господин Иванов поднялся со стула, оглядываясь, как человек, который не уверен, что исполнил всё, что хотел, и соображает — что, собственно, он забыл? Потирал рукою желтый лоб, кусая губы, а глаза его всё бегали по комнате, не останавливаясь ни на чем.

— Я даже готов сказать, что история-то довольно

пошленькая, так себе — маленький прыщик на душе, истощенной жизнью... Но этот прыщик — он, чёрт его возьми, подчеркивает печальное, неизлечимое, то есть неустранимое одиночество человецье в этом наилучшем из миров...

— Мой приятель? — удивленно ответил он вопросом на вопрос. — Какой приятель? Ах да, адвокат! Он застрелился, — я разве не сказал вам? Да, он кончил. Очень пил, кутил и дебоширил, а потом, с похмелья, пристрелил себя. Конечно — записка: «Прошу никого не винить», и, конечно, это ложь — самоубийцы всегда обвиняют, не могут не обвинять, что бы они ни писали! Самоубийство — деяние, обвиняющее всех и вся в безразличном отношении к человеческой жизни.

Подумав, он сказал с невеселой гримасой:

— Читал я рассказ про мальчика, который обо всем, что ему не нравилось, говорил: «Не надо!» Если бы это отрицание имело какую-нибудь действительную силу, я сказал бы — не надо фордыбачить, надо жить скромнее, тише, это разумнее, проще! Не надо шума, не надо красивых слов, они — пустые!

— Да, да, — засмеялся он, — это верно! Давно ли мы кричали друг другу: «Взмахнемте крыльями могучей, вперед на бой со злою тучей враждебных сил», а ныне вот хочется пожить тихонько, без полетов, сложив крылья, даже отложив их — не надо! Осмотреться надо — вот это так!

— А впрочем — я не знаю, что именно надо делать, это я так себе... Господин Александров, Анята и курсистка Мозырь — они знают! Но то, что они знают, знал и я в их годы...

— Знаете, какие записки должны были бы оставлять самоубийцы? «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю» — вот простая правда, и так красиво сказана!

#### IV

...Иногда, по вечерам, ко мне приходит урядник Крехалев, человек, отягченный бременем власти и, конечно, пьяненький. Отворив дверь насколько воз-

можно широко, он ставит на порог сначала одну короткую свою ногу, потом другую и, вметив себя в раму двери, держась правой рукой за пашку, а левой за косяк,— спрашивает:

— Александра,— ты дома?

Это — вне сомнений, я сижу у окна, и он ясно меня видит; мало того — еще проходя по улице, он видел меня и зачем-то подмигнул рыжей кустистой бровью.

— Вались, вались, власть,— говорю я,— ведь видишь, что дома!

Задевая пашкой за косяк, за стул, волоча по полу больные ноги, как слепой, вытянув левую руку вперед, он подходит качаясь, грузно садится, говоря:

— Я обязан спросить...

Сняв фуражку, аккуратно укладывает на подоконник всегда одинаково — на улицу козырьком. Пыхтит, надувая квадратное красное лицо с синими жилками на щеках и тяжелым носом, опущенным на жесткие рыжие усы. Нос у него странный, кажется, что он наскоро и неумело вырезан из пемзы; уши большие, дряблые, в правом — серебряная казацкая серьга: кольцо с крестом внутри. Он весь сложен из кубов разной величины, и череп у него кубический и даже коленные чашки, а лапы — квадратные, причем пальцы на них кажутся излишними, нарушающими простенькую архитектуру урядникова тела.

— Устал! — говорит он и смотрит на меня большими мутными глазами так, точно это я причина его усталости.

— Чаю хочешь? — спрашиваю.

И всегда я слышу в ответ один и тот же каламбур:

— Я уж отчаялся.

Вздыхнув, он добавляет:

— Однако — давай, надо же чего-нибудь пить-то!

Потом сожалеет:

— Как это неделикатно, что ты водку не употребляешь! Или хоть бы пиво...

— А отвалятся у тебя ноги от питья,— говорю я ему.

Он смотрит на ноги — не то с любопытством, не то осуждая их — и сообщает:



— То же и доктор сказал: обязательно потерю я ноги, вскорости даже. Верхом проедешь верстов пять, и так они, брат, затекают, просто — чугуи, право! Тыкнешь пальцем и ничего не чувствуешь — вот как даже!

О ногах он может говорить долго, подробно и картинно описывая их состояние от колен до пальцев. Посылаю сторожа Павлушу, дурачка и злейшего истребителя посуды, к лавочнику Верхотурову за брагой, а Крохалев, расстегивая пуговицы кожаной тужурки, говорит:

— Дознал я, что поп у ссыльных книги берет...

— Ты мне прошлый раз сказал это.

— Сказал уж? Нехорошо.

Он неодобрительно качает головою, а я не понимаю, что плохо: болтливость Крохалева или поведение попа?

С этого — или чего-нибудь подобного — и начинается кошмарное истечение нелепой русской тоски из широкой груди Крохалева: он тяжело вздыхает, поддувая усы к носу, расправляет их пальцем вправо и влево, серьга в ухе его качается.

— Опять я вчера прочитал несколько «Робинзон Крузо» — повесть, — начинает он, и в его мутных глазах, где-то в глубине их, разгораются, проблескивают странные светлые искры, они напоминают железные опилки. — Экой, брат, ум был в англичанине этом, удивляюсь я...

— Да уж ты удивлялся.

— И еще буду! Безмерно буду удивляться, всегда! — настойчиво заявляет Крохалев. — Если человек на острове, один совсем сделал всю жизнь себе — я могу ему удивляться! Пускай выдуманно, это и выдумать трудно...

Он фыркает, сдувая мух с больших усов, снимает тужурку и остается в толстом глухом жилете, который считает «лучше панциря», потому что жилет этот заговорен одним знахарем кузнецом да еще простеган какой-то «напетой ниткой».

Крепко трет ладонью тупой, покрытый густой щетиной подбородок и, понижая сиповатый голос, говорит:

— А у нас вот — иду я вчера улицей, лежит под плетнем Семка Стукалин, ободран весь, морда в крови — что такое? «Устал, отдыхаю». — «Отчего устал?» — «Жену бил». А где там — бил, когда сам весь испорчен...

Крохалев трясет ушами и, ядовито исказив лицо, спрашивает:

— Хорош проспект жизни?

И, точно тени с горы под вечер, одна за другой ползут темненькие картинки; всё знакомо, уныло, дико и неустраимо.

— Сегодня утром поп говорит: «Вы бы, Яков Спиридоныч, внушили вдове Хрущева, чтобы она не избивала столь жестоко пасынков своих». Иду ко вдове, кричу и всё вообще, как надо, внушаю — сидит она, чёрт, в углу, молчит, да вдруг как завывла: «Бери, говорит, их, бей сам, а мне всё равно, я хоть и тебе зенки выцарапаю...»

Крохалев помолчал, вздохнул.

— Конечно — дал ей раз по шее, не со зла, а больше для поддержки переспективы власти, — как тут оскорбление лица службы при исполнении долга, н-ну... Ты скажешь — нехорошо драться, что ж, лучше — арестовать и на суд ее? Женщина — без ума, больная и подыхает с голоду...

Павлуша принес большой туес браги, видимо, очень холодной — деревянный кружок туеса даже вспотел. Администратор наливает густое, тяжелое пойло в стакан и угрюмо бормочет:

— Все это не мое дело — укрощать полоумных баб. А поп суется зря... Тоже и мое начальство: «У тебя, говорит, опять ссыльные гуляют? Гляди, Яков!» Мне что же — связать их али ноги отрубить им?

Выпив сразу три стакана жгуче холодной влаги, он долго сосет усы, тупо глядя в пол, и, сразу опьянев, бубнит:

— Будто бы... будто бы, а?

Моя фигура, видимо, расплывается перед ним — усиленно щурясь, он упорно оглядывает меня, точно собирает, составляет нечто бесформенное и разрушен-

ное, и, похлопывая неверной лапой по ножнам шашки, ухмыляется, говоря:

— Вооружен, а? Воор-ружен властью — без послабления! Александра — могу я сейчас пойти и сказать...

Он подбирает ноги, безуспешно стараясь встать, прикладывает ладонь ребром к виску и рапортует мне:

— Ваше благородие, — Александра Силантьев, учитель, замечен мною в неблагонадежном поведении — чисто, а?

И, уронив на колено руку, хохочет рыдающими звуками.

— Безо всякой причины — могу?

Как будто вдруг трезвеет и, строго двигая бровями, убеждает сам себя:

— Могу! Всякого могу стеснить и даже погубить... Ничего не скажешь против: наделен властью... всё могу, да!

Но это его не радует, а — только удивляет: брови поднимаются к седой и рыжей щетине на голове, он бормочет:

— Пьяный, ноги у меня больные, сердце заходит, а...

Наклоняется ко мне и, мигая большущими глазами, шёпотом говорит:

— Намедни идет мне встречу ссыльный этот, знакомец твой, Быков-слесарь, и — будто не видит меня. Слесарь, а — в шляпе и очки надел — ух ты, думаю, что я с тобой могу сделать! Всё могу сделать — знаешь? Так разгорелся, что хотел писать рапорт: слесарь Быков замечен мной, и — больше ничего! Пришел домой, хватил вина — отлегло. Чёрт с ним. А то — Николка Лизунов этот: его в ссылку назначили, а он — песни поет, прыгает козлом, радуется, стихи читает мне, — остановил около погоста и говорит: «Яков Спиридоныч, отыскал я про тебя стихи — слушай!» И говорит:

У синего моря урядник стоит,—

А синее море, волнуясь, шумит...

И злоба урядника гложет,

Что шума унять он не может!

— Погоди, говорю, запиши мне это своей рукой! Записал — вот!

Взяв с подоконника фуражку, он достает из-под ее подкладки маленький, тщательно сложенный кусок бумаги и протягивает мне, говоря:

— Ему — всё равно, он — как муха, — отмахнешь со лба, а она — на нос. «Знаешь, говорит, кто ты?» — это он мне. «Ты, говорит, погреб — сырой, темный погреб, лёду в нем нет, вся овощь прокисла, и даже крысы не живут». А то — увидит и — орет: «Офеня, ступай в монастырь!»

— Офелия, должно быть.

— Всё равно мне. Я вот соберусь с фахтами да и ляпну рапортик про него: Лизунов Николай замечен мною — готово! Я ему покажу перспективу подальше здешнего верстов на тыщу!..

Он снова пьет и снова жалуется, всё откровеннее обнаруживая трагическую путаницу в своей душе.

— Александра — ты в бога не веришь, ты не понимаешь, как это всё сделано нехорошо — дана человеку власть! За что — дана? Александра — человека бы спросили: «Убить можешь против Евангелия?» Он бы сказал: «Нет, не могу!» А прикажут — пали! — он убьет! Тогда говорят ему: «Вот тебе — на власть, бери еще больше!» Для чего мне? Чтобы люди не убивали друг друга и не грабили. А я их — могу! Ты в бога не веришь — пойду я и скажу: «Учитель не верит в бога, а поп только притворяется, но также не верит», и мне — поверят, а вам — нет!

Вытянув руку, он со внезапной и неожиданной гордостью хлестко бьет кулаком по ладони и рычит:

— В-вот она — власть!

И тотчас же опадает, как перекипшее тесто; болтая кубической башкой, таращит глаза, озирается.

— Это, брат, время — неудобноносимое... Батюшка, отец Павел, милая душа, он правду говорит: «Властвуя кротостью и любовью...»

Снова рычит, оцетинившись и одичав, взмахивая правой лапой:

— А когда так, просто, без любви, без кротости — вы, дьяволы, должны бояться, — сымай шапку издали!

Уступи дорогу, если видишь — бремя, ноша на мне возложена! Я над собой не властен...

— Хрущева не виновата, я ведь знаю. И Стукалин — тоже; жененка у него распутница, краснорожая. И Мишка Юдин — с тоски озорник: погорел, разорен. И — все так, у всякого что-нибудь есть, все пред богом имеют оправдание — понял? А предо мной — нет у них оправдания...

Крохалев, видимо, пробует сжать свое неуклюжее тело: подбирает ноги, сгибает шею, прячет голову в плечи, руки в карманы и, шевеля усами, долго молча смотрит на меня мертвым взглядом, а потом бормочет снова:

— Ты сообрази — пред богом есть причина оправдания, а предо мной — нет! Стало быть — выше бога я, что ли?

Надув синие щеки, он пыхтит, неподвижно глядя на меня померкшими глазами, и потом продолжает:

— Сейчас — выну пашку и буду тебя рубить, как ты не веришь в бога. Спросят — за что изрубил парня? Объясню что-нибудь и — чист! А ведь я же знаю, Лександра, знаю я, что ты для людей — лучше меня, ну — знаю я это!

Опьянение Крохалева всегда останавливается на каком-то неподвижном градусе и как бы замирает на нем, не падая, не повышаясь. Оно — густое, темное, близкое безумию; однажды он, будучи в таком состоянии, зарубил на улице писареву свинью, в другой раз — запалил стог сена, а в третий — как был в форме, пошел пешком через быструю Усу-реку и едва не утонул, зыряне вытащили. В этом же невменяемом виде, с год тому назад, он, неожиданно для села да, вероятно, и для себя самого, — обвенчался с бобылкой Полюдовой, сельской сводней и устроительницей вечеринок, бабой пьяной, хитрой и распутной. К его счастью, она в два месяца супружеской жизни спилась и умерла от удара; Крохалев с честью похоронил ее, шел за гробом трезвый и печальный, а потом поставил над могилой ее дубовый крест, собственноручно написав на нем сажей с маслом:

«Сдезь погребенн прах Матрены Пол» — дальше фамилия замазана черным пятном и дописано так: «Спиридоновой жены Урядника Якова Спиридонова упокой господи с праведниками».

Трезвый, он — угрюм, малоречив и почти не виден на людях, а появляясь, ходит наклоня голову, точно кабан, и здоровается со встречными молча, поднимая руку к шапке, шевеля усами и посапывая. Мужики боятся его, избегают встреч с ним, но, встретив — кланяются низко и почтительно, а за глаза зовут его — «Яшка Комолый», «Дурашный». Напившись, он всегда вспоминает это:

— Тебя, Александра, уважают за твой характер, а меня — я, брат, знаю! — меня — нет! Как вытащили меня из воды зыряне, положили на берег и эдак поглядели друг на друга — дескать, сделали дело, есть чем хвастать, поглядели да — в лес! Так я и не знаю, кто они, откуда. Конечно, они дикой народ — ну, я бы мог рапорт написать, дали бы им награду...

Он снова молчит, а усы его расползаются, открывая губы, красная рожа силится изобразить улыбку и глаза щурятся, точно он на свет смотрит.

— Вот опять: за спасение утопающего — награда, за поимку беглого — тоже, и за убийство — награда, ежели служебный человек убьет. А ежели ты — тебе каторга, да, хоть ты тоже — служебный... И попу — каторга будет, даром что он богу служит...

Схватив туес лапами, он пьет через край, выпячивая кадык, по подбородку текут две рыжие струи, обливая жилет. Пьет долго, заглотившись — фыркает, отдувается и продолжает распутывать свои темные мысли.

— Что я говорил, Александра?

Подсказываю.

— Ну — объясни мне правильно, бесстрашно объясни, как учитель: поп служит богу и народу, ты — тоже народу, а — я? Я вас выше, верно?

В десятый раз я говорю ему как могу дружелюбно и убедительно:

— Бросай-ка свою службу, Яков, а то с этими мыслями натворишь ты великих грехов против людей или попадешь в больницу...

Это его сердит; тяжело ворочаясь на стуле, он начинает ругаться:

— А-а, черти лыковые, думаете — не понимаю, чего вам надобно? Чтобы меня не было, чтобы кто поглупее, попроще меня, обойти бы вам его, в свою веру обратить, н-да? Ну — нет...

И всегда после этого впадает в плаксивый тон:

— Эх — ты, справедливость! Меня не изгонять надо не знай куда, меня надобно пожалеть от сердца, потому несу бремя неудобноносимое, чёрт! Спроси попа, он меня больше понимает, чем ты, злыдень!

Долго и противно — хотя искренно — он говорит жалкие слова, потом неожиданно снова возвращается к своему основному вопросу:

— Откуда мне дана власть?

Он знает откуда и, называя источник власти, всегда почтительно прикладывает ладонь к виску, но тотчас же, понизив голос до таинственного шёпота, говорит:

— Ведь он же меня не знает, не видал, а? Начальству — неизвестно это и даже мне, понял? Кто я такой — кому это известно? Я сам себе неизвестен, а — имею власть, вот револьвер — видал?

Револьвера я боюсь; у него этот инструмент обладает чрезвычайно самостоятельным характером: однажды Крехалев уронил его на пол, а револьвер завертелся, подпрыгивая, и начал сам палить во все стороны, пока не расстрелял всю обойму. Я во время этой баталии вскочил на стол, а мой гость, синий со страха, белкой вспрыгнул на подоконник, опрокинул все горшки с цветами на улицу и, сидя на подоконнике, безуспешно махал рукою на свое расстрелявшееся оружие. Потом, отрезвевший от страха, поднял револьвер, осмотрел его и объявил:

— Это — кузнеца Макарки дело! Не иначе как он пружину спортил колдовством своим, рысьи зенки!

Теперь, вытащив этот самострел, он с презрением вертит его в руках, мигая глазами и насупив брови.

— Смотри, — говорю я, отходя, — опять он у тебя взбесится!

— Не заряжен. Я им теперь орехи колю, видишь — ручка-то?

И, продолжая рассматривать черную тупую штуку, он всё более хмурится, сам тупея и словно линия.

— На тебя он похож! — замечаю я.

— На собаку, — говорит Крехалев, вздыхая; прячет оружие и допивает брагу медленными глотками...

Снова из-под щетины усов выползают сиповатые слова, сырые, тяжелые:

— Ты думаешь — я напился, оттого и говорю? Я, брат, всегда говорю, сам с собой... с попом тоже. Ну, он поп осторожный, из него соку не выжмешь, он — от Евангелия отвечает, дескать — я ничего не знаю, а вот Христос, он так говорил... да! А с тобой я беседую, потому что ты не боишься и от себя иное сказать... хотя мало ты говоришь, тоже!

— Еду я верхом и думаю: боятся все друг друга, оттого и всё это... недоверие, бунт, грабежи, всякое несогласие. Нельзя согласиться, когда все молчат и неизвестно, о чем думает каждый. И все — враги. Так бы поскакал, поскакал и — всех по мордам: живи дружно, сукины сыны, я вас!

Из его рта лезет трескучая цепь ругательств, и в каждом звене тупо звучит отчаяние, бессильная, безумная злость, усталость, тоска.

— Чего расползаетесь во все стороны, как тараканы перед пожаром, так вашу... На место! Смирно-о! Тихо!

Ярость его тяжела, но — сыра, неподвижна и не пугает; он стучит концом пашки по полу, трясет серьгой, надувается, фыркает, брызгая слюной, а оловянные глаза — мертвы и слепы. Потом, усталый, долго отдувается, опадает и молчит, посапывая изрытым ямками, губкообразным носом.

Угнетаемый своими думами, он, видимо, забывает обо мне, смотрит в пол и ворчит, выдувая волосы усов, загнутые в рот ему.

— Отягчили меня, вот! А везде — несоответствие между всем. Тебе дана власть. А поп — свое: несть власти, еще не от бога. Еще... Ежели я донесу, что священник Павел Полиевктов валандается с ссыль-



пыми,— вот те и покажут еще! А не донесу — мне покажут...

И снова впадает в тон жалобы:

— Александра,— это же надо объяснить до самого конца глубины: ведь вот и грехи и бес тоже власть над человеком имеют, а он говорит — нет власти, еще не от бога! И надо мной власть и у меня над людьми — как же, брат, а? Это же надо решить...

На улице темнеет, и он точно растет, разбухая во тьме. Толстая жилистая шея не держит его тяжелой головы, щетина подбородка царапает жилет.

— Ну, Яков Спиридонов, мне надо заниматься,— говорю я.

— Травками, букашками,— бормочет он с укором.— А когда — человеком, а? Когда вы человеком заниматься начнете?

Этих упреков — еще на четверть часа.

Я уж не возражаю, делая вид, что занят гербарием, он шипит, ворчит, всё понижая голос, потом умолкает на минуту, на две и наконец, тяжело поднявшись на ноги, говорит:

— Ну,— иду, иду... Ладно.

Жмет руку и говорит отдельно:

— Не-удо-бо-но-си-мо,—а? Слово-то придумано — с лисий хвост... Прощай, Александра! Спасибо на угощении... Скучно, чай, тебе, а? Женился бы ты, а то так бы завел крадю... Завтра мне в Туран ехать, поймали там какого-то Робинзона в лесу, в стогу жил... Испортили шкуру несколько... К чему тебе жучки эти и травки?

Уходя, он всегда старается сказать что-нибудь насмешливое, а то сообщит нечто служебное; всегда в этих случаях голос его звучит фальшиво и натянуто. И порою я жду, что он обругает, толкнет или ударит меня, а то схватит со стола что-нибудь и бросит на пол.

Наконец он, тяжело волоча по полу больные ноги, вываливается за дверь, а я, оставшись один, смотрю вслед этому кошмару наяву, и мне хочется топтать ногами, плакать и орать в чье-то плоское, безглазое, каменное и тоже кошмарное лицо:

— Что вы делаете с людьми, будь вы прокляты? Опомнитесь!

## Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

Осенью 89 г. я пришел из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная всё сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей — кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком; также мельком видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек — в трезвом виде — чудаковатый, а выпивши, шумно изъяснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине ее, в глубокой, черной борисоглебской грязи, барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

— Вот, видите? — поучительно сказал Василий Яковлевич. — Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идем равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:

— Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошел я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и мое представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимою силою сопротивления врагам справедливости, и, хотя враги усердно вымораживают ему душу, она неистошимо пламенна и — «дондеже есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением — я читал почти всё, написанное им, и только что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия» \*.

И вот я, с трепетом в душе, — как верующий пред исповедью, — тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая черная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришел, откуда, зачем, и ушла, крикнув через плечо свое:

— Николай, выдь сюда...

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую ногу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, — на ворота рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях и тоже не лучше моих, длинные волосы растрепаны так же, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые, и мне кажется, что они

---

\* Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т. 2. <М., 1899>, стр. 364.

видят всё, что я думаю, знают всё, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы я молча киваю головой, говорю «да», «нет», но мне всё приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы — тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дергая ее книзу, — точно он всё время растёт; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста — а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он — тонкий, худой, несколько сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нем есть что-то детское, приятно неуклюжее, я чувствую, что мое смущение замечено им и, в свою очередь, смущает его.

— Ну, идите сюда, шагайте, — приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его больным, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в ней нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

— В'от — пишу тут, надо — скоро, а там жена и С'аша — собираются уезжать и с'уматоха, знаете...

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю комнату была не прикрыта, там черноволосая женщина, с лицом цыганки, гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и груде толстых книг, а другой на спинке стула.

— Скоро? — строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

— Ах, ты не один! — сказала она.

— Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, — предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

— Хотите, значит, сесть н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и, усмехаясь, заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить начистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну а пишет, чтоб я отговорил... А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — идти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты... И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно идти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около него вам будет еще хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил — не лучше ли мне зайти в другой раз?

— Почему? — встрепенулся Каронин. — Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленнее:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму...

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на испи-  
санный лист:

— «Общество имеет свои отрицательные стороны, — да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и — когда всё это надоест — ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое свое чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений», — это говорит один барин в моей повести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провел рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие и в том числе мой герой, — я его не выдумал, это живой, современный, преувеличенный человек — зрелище очень печальное, — он сам каялся мне. Вот, — и, снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не возводить в подвиг и заслугу». Вот о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посредине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К-колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукою и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагаю, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

— Маненков с'ообщает, что вы пишете стихи, покажите — можно? — спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал еще несколько легких ударов

полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было ее и весело, что она оказалась такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал ее Н. Е., желая еще раз посмеяться над моими зловключениями и ожидая, что он тоже посмеется.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

— А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко — на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: «Грозно реют огненные крылья...»

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— П'рочитайте, у него лучше...

И почти шёпотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

— Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:

Кто по земле ползет, шипя на всё змеєю,  
Тот видит сор один. И только для орла,  
Парящего легко и вольно над землею,  
Вся даль безбрежная светла.

Это Апухтин написал Толстому — красиво? И — верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всем говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.

И уговаривал:

— Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, всё читайте! Найдите себе работу и — читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушел, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и черную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошел и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и наконец приветливо воскликнул:

— Это вы, к-колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживленно, помахивая шляпою в свое лицо, с красными пятнами на щеках.

— Я тут часто бываю по утрам — изумительно красивое место, а? Вот — не умею описывать природу — это несчастье! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то — сухо, неискусно.

Заглянул вниз и продолжал:

— Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но — боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто да еще побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон — смотрите, молится один. Странная фигура. Он, должно быть, или так был пьян, что еще не выспался, или убежденный западник, — видите: молится на Балахну, на запад?



— Он сам балахнинский, — сказал я.

— Вы его знаете? — живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. — Расскажите — кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами, и всё время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз, возбужденный чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

— Ну, это уж романтизм!

— Однако вы, барин, романтик!

Меня его веселые попреки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком — весьма непохвально.

— Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, — заметил я.

Он задумчиво сказал:

— Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичок долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришел я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: «Как же это, Федор Васильич, а?» А он: «Да, видишь ты, Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал. Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики, вроде вас, барин. А то еще знал я бузулукского мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казенные деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: «Зачем же ты, брат, оболгал сам себя?» — «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и — готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шёлковые, на солнце, луга.

— Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда

иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах-судоходцах — какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ — хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Всё это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошелся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

— Вот — сзади нас семинария, немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий — почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и — что еще того хуже — не хотим знать ее, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонии, прячемся в хаты с краю...

И с великой печалью он заговорил о сложной болезни того времени — я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и всё оглядывался, словно не желая, чтобы, кроме меня, его слова слышал еще кто-нибудь. Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

— Вот, вы рассказали об этих людях под горою. Но — почему, подумайте, почему у нас люди так легко п'огибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбился с пути». Смотрите — это невольно сказалось: жил и — ничего! Может быть,

именно потому вот, что жил и — ничего! — все ходят как будто по скользкому месту; идет — пошатнулся — упал, и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память — я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

— Часов шесть уже, да? Мне — пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошел по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго — до смешного строго — спросил:

— Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Развожу баварский квас.

— То есть как это, куда развозите?

— По лавкам, по домам...

Он подумал и сказал, усмехаясь:

— Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну — до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал, по поводу «Красного цветка»:

— Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде Евангелия, книгу ко всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших и маленьких писателей, и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев — вот что не забудьте, это очень важно! Русская литература — особенная, это, так сказать, священное писание, и читать ее надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

— Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!

Однажды я пришел к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучной комнате; полу-

одетый, растрепанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

— Температура скачет в гору, — объяснил он, — утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

— Вы читали Кушевского? — спрашивал он. — Нет? Непременно прочитайте «Николая Негорева» — хорошая вещь! Вы о нем слышали, о Кушевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталом, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.

— Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нем пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, — говорил он фельдшеру, — вы лучше дайте мне водки, свечу и бумаги. Жить я не буду всё равно, но — мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом — дайте мне свечку. Днем писать запрещено и мешают, значит — надо писать ночью, а без свечки — темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казенную свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он — плакал! И все-таки — написал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе, — Оверин, которому земля, вся земля — кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и, в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги, и, когда перевортывает страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, — мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю как живое и враждебное ему существо, я уверен, что

только русский. Эх, знаете, сколько в России талантливых людей и как они страшно живут! Вот — посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиною к стене, и стал читать рассказ Куцевского «Самоубийца». До этой поры — а пожалуй, и с той поры до сего дня — я не слышал такого чтения: легкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчеркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозой не давать паспорта и — сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький русоволосый человек», писавший свои рассказы, волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пересыльную тюрьму.

«Пропутешествовав несколько сот верст в ручных кандалах, он очутился перед грозными очами отца, который не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном взносе оброка...

«— На коленях просил я его, — рассказывал Агафонов, — не сечь меня; потом просил высечь да опять в город отпустить. Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на березу залез и розги режет. Отец всё говорит: „Покажу тебе пьянствовать“. А у меня сердце так и бьется; гляжу в окно — розги режут... Пришли. Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и... Я хотел тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня пятнадцать рублей в месяц и опять отпустить в Петербург. А что, если он меня потребует и опять поведут меня в кандалах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали... И опять сечь... я этого не снесу... Вы — дворянин... как хорошо быть дворянином! Но вы — голытьба, вы наш... да!»

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец ему прислали «паспорт» — мужичок из родной

деревни принес длинный сверток, а в нем пучок березовых розог и при этом письмо отца:

«Вот тебе паспорт». И угроза — если «подателю не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытребует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине»\*.

Агафонов повесился.

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лег.

Я спросил — правда это или выдуманно?

— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник ее, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым; настоящая фамилия этого несчастного не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил еще вчера, да вот эта головная боль — от нее и свою фамилию забудешь...

— Не уйти ли мне? — предложил я.

— Ну, вот еще! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвертый день, кроме мух, ничего живого не вижу...

— Все они — Куцевский, Воронов, Левитов и множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили так — насмерть — причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и другие хаты с краю по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую глубину явления — кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «Я умираю оттого, что был я честен». Это — чугунные слова! И нигде, кроме

---

\* Куцевский. «Непзданные рассказы». <СПб., 1882>, стр. 179, 185.

России, эдак не сказано. В этом всей нации, всему обществу упрек брошен, упрек заслуженный. Но если умирали оттого, что были честны, ведь и пить могли оттого же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей,— не уготовано? Общество категорически отвечает: «Не имеешь ты этого права!» Само оно, однако, всегда напоминает поведением своим псалом «Вскую паташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и, вздохнув, сказал:

— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность труденькая. Вот когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя-разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по-русски: возможное — невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны и голова тяжко опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лег, он, видимо, сильно болен, Н. Е., усмехнувшись, ответил:

— Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной,— снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастьях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастью оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии — человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете Казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друг в друга цитатами из Евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антиномии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеваясь крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неумолимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я всё ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперед и убеждающим голосом скажет:



«Довольно!»

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».

Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то из них спросил:

— Что — всё еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник.

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушел, не простясь с хозяином квартиры, а я и еще кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду и тихонько говорил:

— У Слепцова умный его Рязанов говорит: «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть», — вот и этот франт всю жизнь так осветил, что мне на нее стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался все-таки, что «это и не жизнь, а так, чёрт знает что, дребедень какая-то», — пройдет года два-три, и франт тоже увидит, что он выдумал дребедень и чёрт знает что. А может, и не скажет, он — самолюбив; не скажет, а просто пулю пустит в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру напоказ, уж это наверняка\*.

---

\* Пророчество Каронина вскорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Право-

— Положительно, в нем есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, — говорил Каронин медленно и как бы думая о чем-то другом. — Жена моя слушает его и всё толкает меня в бок, шепчет: «Вот, напиши о нем рассказ». Написать — можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «Вера — это любовь, распространенная на весь мир»? Слова непродуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя — созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

— А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подействовала?

Да, я был угнетен всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

— Милости прошу! — сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

— Поехали Андроны на немазанных колесах!

А потом стал отечески убеждать:

— Ну зачем вам? Это после, на досуге почитаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтете Хемницерову басню «Метафизик», — в ней всё ясно. Да и всем нам — рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия — сводка всех знаний о жизни, а мы с вами что знаем? Одно только: вот явится сейчас городской и ответит в участок. Ответит и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, тогда можно пофилософство-

---

славном обозрении», и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротivления злу» выступил со злейшей критикой «нового Евангелия».

вать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии...

Он шагал по комнате длинными шагами, веселый, шуточный, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась мягкая радость.

— Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить — вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим — по-самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но — произведем самоеда от сам себя ест. Это будет верно: наш девиз не «Познай самого себя», а пожри самого себя. Жрем. Возьмите немца: у него философия — итог знаний и действий, а у нас она понимается как план жизни, расписание на завтрашний день. Это — не годится, понимаете? Нет, вы лучше займитесь-ка делом, вон у вас впереди солдатчина — ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив — я возлагаю на нее большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я...

— Здравствуйте! — сказал он, остановясь против меня и поклонившись. — Экая сумятица у вас в голове: колонии, Памиры, изучение философии — замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог... Или — уж лучше идите в колонию, вот, например, в симбирскую...

Пришел какой-то ражий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, — Николай Ельпидифорович засиял, заметался и стал похож на ребенка, не знающего, что ему делать от радости: вместо того, чтобы освободить один из двух стульев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его. Знакомство с ним — одно из самых значительных

впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, — силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей-«народников», зараженных славянофильской мистикой и, казалось бы, чуждым для них настроением «кающихся дворян». Впрочем, эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней» — между полудиким правительством и чудовищно огромной одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

— Надо все-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин...

Поднял палец и, несколько смущенно, прочитал «стишок»:

Есть — мужик и — мужик,  
Если он не прошьет урожая,  
Я тогда мужика уважаю.

— Мужика надо еще сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел, и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать» он сказал угрюмо:

— Эх, заматаются люди на этих поисках места в жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал, ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль взаем.

В один из таких дней я увидел его на балчуге, он продавал старьевщику кожаный пояс и жилет. Сгорбась, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубашке, и убедительно говорил:

— Но послушайте, почтенный,— что же я буду делать с семнадцатью копейками?

— А уж этого я не знаю...

— На семнадцать копеек не проживешь день...

— Живут и дешевле,— равнодушно сказал жулик.

Каронин, подумав, согласился:

— Верно,— живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак:

— А я вот продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть...

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь, да казалось мне, что он и не замечает, как живет, весь поглощенный исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить,— чаще говорил — работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили — народ.

— «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы»,— прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабанив пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

— Конечно. Ну конечно! А иначе — куда? На что мы?

Встал со стула, оглянулся.

— Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека, совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки негодяя. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню «учить народ», а теперь язбнет в Сибири.

Рассказав это, он грустно добавил:

— Жертва. Тяжело ей. Я знаю, тяжело! Но — другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он посоветовал:

— Вы — странная натура. Всё у вас угловато и как-то отвлеченно. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают...

Его интерес к «босьякам» возрастал, раза три я видел Каронина в трущобах Миллионной улицы, и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

— Резкий народ, — говорил он. — Очень интересные типы есть. Конечно — отработанный пар, но все-таки некоторые — думают... А это уже — кое-что...

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе, и эта напряженная, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Всё лихорадочнее горели его глаза, суше звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

— Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить.

## ТРИ ДНЯ

### I

Мельник Назаров, не торопясь, подъехал к воротам, степенно вылез из брички, снял картуз и, крестясь, глядя в небо, сказал работнику Левону:

— Пощупай левую переднюю у коня.

Неласково, подозрительно посмотрел на старый, осевший в землю дом — в два маленькие его окна, точно в глаза человека, кашлянул и грузно опустился на лавку у ворот, помахивая картузом, чтоб отогнать надоевшего шмеля.

— Татьян!

Лысый Левон тенористо ответил со двора:

— На реку пошла, белье полоскать.

— Баню топили?

— А как же!

За рекою, на желтых буграх песка, вытянулся ряд темных изб, ослепительно горели на солнце стекла окон, за селом поднималось зеленое облако леса. По эту сторону, на берегу, около маленького челнока возился мужик.

«Степка Рогачев, пес», — мысленно отметил мельник.

— А ногу-то мерину зашиб ты! — сказал Левон, выглядывая за ворота.

— Позови Дашку. А Николай где?

— Николай — ковши чинит, слышь — стучит? Дарья-а! Она в огороде, поди-ка!

Почесывая болевшую спину о бревна и расправляя усталые ноги, хозяин бормотал:

— Города эти... Зовутся — мощены улицы, а — яма на яме! Как ни съездишь — всё, гляди, чего-нибудь испорчено...

Со двора выскочила Дарья, большая, растрепанная, курносая, с двумя красными опухолями на месте щек.

— Здрастуйти!

Дважды качнула головой и, подняв руки, начала быстро закручивать белесые, выгоревшие волосы.

Назаров, неодобрительно посмотрев на нее, плюнул, отвернулся в сторону.

— Застегнулась бы, лешая, чего с голыми грудями бегаешь! Возьми одёжу, встряхни, да самовар наставь...

— Есть тут когда застегиваться! — сердито ответила девушка, прикрывая грудь большой грязной рукою.

Она надула губы, густые брови ее, сойдясь, опустились на синие маленькие глаза, и, тяжело топя босыми ногами, пошла прочь, шмыгая носом.

Глядя вслед ей, мельник подумал:

«Был бы я моложе, не щеголяла бы эдак-то! Я б тебя застегнул на все крючки...»

С устатку у него ломило кости и тело обняла размычивая лень. Надо бы посмотреть, что делает сын, но старик вытянул ноги, оперся спиной о стену и, полузакрыв глаза, глубоко вдыхал теплый воздух, густо насыщенный запахами смол, трав и навоза.

— Сто-ой! — покрикивал Левон, управляясь с лошадью. В тишине четко стучал молоток по шляпкам гвоздей, на реке гулко ботали вальки, где-то на плотине звенела светлым звоном струя воды. За селом, над лесами, полнеба обнял багровый пожар заката, земля дышала пахучей жарой; река и село покраснели в лучах солнца, а кудрявые гривы лесов поднимались к небу, как темные тучи благоуханного дыма.

Ой, девицы-девушки-и, ой!

— поет Дарья высоким голосом.

— Левон! — слышен негромкий молодой голос.

— Ай?

— Али отец приехал?

— Ну да!

— Что ж ты не сказал, лысый?

— А сам-то не слышишь?



Не ходите бполночь, э-эй!

— заунывно тянет Дарья.

«Хорошо дома!» — думал Назаров в тишине и мире вечера, окидывая широким взглядом землю, на десятки верст вокруг знакомую ему. Она вставала в памяти его круглая, как блюдо, полно и богато отягощенная лесами, деревнями, селами, омытая десятками речек и ручьев, — приятная, ласковая земля. В самом пупе ее стоит его, Фаддея Назарова, мельница, старая, но лучшая в округе, мирно, в почете проходит налаженная им крепкая, хозяйственная жизнь. И есть кому передать накопленное добро — умные руки примут его...

По лесу, по темному-о-о...

«А Дашка напрасно воеет!» — подумал старик, кашлянув.

Мысль о работнице тотчас же вызвала другую:

«Шибко начал я стареть! Пять-то десятков с семью годами — великó ли время?»

Вышел за ворота сын, кудрявый, со стружками в волосах, с засученными по локоть рукавами, без пояса, коренастый, широкогрудый.

— А я тебя ищу — где, мол, батя?

— Разморило меня.

— Ладно съездил?

— Ничего. Лошадь вон приступает...

Оглянув мокрую, выпачканную тиной и смолой одежду сына, потное скуластое лицо его, он повторил:

— Ничего, хорошо!

Темные, немного прищуренные глаза Николая улыбались, — старик не любил эту улыбку. На верхней губе и подбородке парня проросли кустики темных волос — это имело такой вид, будто Николай ел медовый пряник и забыл вытереть рот.

— Починил ковши?

— Завтра доделаю.

— Долго возишься!

— А — куда спешить? Молоть — нечего.

От сына шел горячий запах пота, — старик оглядел

крепкую шею, круглые плечи и ласково расправил сердитые морщины под глазами.

— Привез тебе подарок — понравилась одна вещь! Ты ленишься, а я тебя вот одариваю...

Николай любопытно заглянул в лицо отцу и, следя за рукой, опущенной в карман шаровар, начал вытирать свои ладони подолом рубахи, встряхивая курчавой головой.

— Идите чай-от пить! — донесся громкий голос Дарьи.

Отец осторожно подал сыну маленький сверток и смотрел, как Николай молча и внимательно развязывает узлы платка, бумагу.

— Часы-и! — сказал он, вытягивая вперед руку.

— Я те к Пасхе хотел, да не вышло. Тебе — щеголять полагается. Одиннадцать с полтиной дадено за них!

— Тяжелые, словно кистень!

Пошли тихонько во двор. Николай нес часы на ладони, взвешивая их, они сверкали холодным блеском.

Крякнув, старик хмуро напомнил ему:

— Может, спасибо скажешь?

— Спасибо, тятя! — быстро проговорил сын.

— То-то!

— Стало быть — хоть завтра надену?

— Как хошь.

Гнали стадо. Разноголосое мычание коров, сглаженное далью, красиво и мягко сливалось с высокими голосами женщин и детей. Звучали бубенчики, растерянно блеяли овцы, на реке плескала вода, кто-то, купаясь, ржал жеребцом.

В огороде, около бани, под старой высокой сосной, на столе, врытом в землю, буянил большой самовар, из-под крышки, свистя, вырывались кудрявые струйки пара, из трубы лениво поднимался зеленоватый едкий дым.

— Ну и дура! — садясь за стол, сказал старик. — Комаров нет, а она насовала в трубу травы! Эка дуреха!

— Работница хорошая, — молвил сын, умело наливая чай. — Одиннадцать, говоришь, дал за часы-то?

— С полтиной. А что?

— Так!

Он вздохнул и, глядя в сторону, пояснил:

— Яким Макаров, урядник, продает часы; при-  
торговывал я, так он, в последнем слове, девять про-  
сил. За семь отдал бы...

— Старые?

— Года не носил.

Старик тревожно крикнул, отодвинув пустой стакан.

— Всё, чай, хуже этих, моих-то? — спросил он  
хмуρο и ворчливо.

— Я те принесу, покажу,— предложил сын.—  
Увидишь — не хуже. По пужде продает.

Оба с минуту молчали, неторопливо и громко скле-  
бывая с блюдечек чай; над ними широко раскинула  
темно-зеленые лапы двойная крона сосны,— ее рыжий  
ствол на высоте аршин четырех от земли раздвоился,  
образуя густой шатер.

— Стало быть,— заговорил старик,— зря проки-  
нул рубля четыре.

И, сурово глядя в лицо сына, продолжал:

— А всё ты! Никогда ты отцу ничего не скажешь,  
живешь потайно! Чем бы плановать свои планы про  
себя да тихомолком, тебе бы с отцом-то посоветоваться!  
А так — вот и выходит убыток! Скажи ты мне про эти  
часы вовремя...

Николай усмехнулся.

— Почто ж говорить? Ты бы подумал — напраши-  
ваюсь я...

— Подумал, подумал,— бормотал отец.

Приподняв брови, он беспокойно стучал донцем  
ложки о край стола и смотрел на Николая круглыми  
глазами филина; они уже выцвели, и зрачки их были  
покрыты частою сетью тонких красных жилок. Лоб  
у старика — высокий, со взлизами лысины, восходив-  
шей от висков, обнажая большие, заросшие шерстью,  
звериные уши. С темени на лоб падали клочья сивых  
волос, под ними прятались глубокие морщины, то опу-  
скаясь на лохматые брови, то одним взмахом уходя  
под волоса. Хрящеватый нос, в густой заросли усов  
и бороды, казался маленьким.

— Почему ты знаешь, что бы я подумал? У отца и по-

просить можно, не велик стыд! А ты вот никогда ничего не попросишь. Гордость эта ваша, теперешняя...

— Мне ничего не надо, — отозвался Николай спокойно.

— Как — не надо? — сердито крикнул отец.

Сын поднял узкие глаза и спросил:

— Зачем же сердиться?

Старик поглядел на кружевные гряды, седоватую зелень ветел, радужные окна бани.

— Не сержусь я, — вздохнув, сказал он. — А только беспокою! Вот зимою двадцать два тебе; уготовал я для тебя жизнь хорошую, достаток, и почет, и всё, — а ты холодный ко всему. Подарил тебе вещь — хватъ — в цене ошибся...

На дворе перекликались бабы:

— Дашка-а! Где ж веревки-то, растяпа?

— Да в огороде жа! — глухо, точно из-под земли откликнулась Дарья.

Со стороны села медленно текли возгласы людей, заглушенный лай собак; день засыпал, веяло усталостью и ленивою жаждою тишины.

На скуластом лице Николая лежала тень скуки, он крутил пальцами темный пушок на подбородке, а другой рукой, как бы отсчитывая минуты, часто хлопал себя по колену.

— Ни с девками ты, никуда! — задумчиво продолжал старик. — Оно хорошо, конечно. И вина не пьешь, и грамотен, книжки эти у тебя — я ничего не говорю! Однако — непонятно, — парень такой здоровый...

Он пристально посмотрел в лицо сына, спросив потише:

— Ты Дашку не трогаешь?

— Она, чай, не пара мне...

Старик усмехнулся.

— Не про женитьбу говорю я, знаю, что не пара...

— А ребенок если? — спросил сын, искоса взглянув на отца.

— Эко! Мало девки родят...

— Ну, зачем их трогать...

— Коли бабы есть. Дело — твое! Только, гляди, бабы — подлые. Ехал я — думал про тебя: пора тебе жениться. Чего ждать?

— Не опоздаю.

— Всё пошло иначе: раньше, бывало, оглядят отец-мать девку, на — живи! А теперь вот... И дружбы твоей с разными людьми не понимаю я.

— Говорил ты про это! — сказал сын, смахивая ладонью со стола пролитый чай.

Доили корову, было слышно, как струя молока бьет в подойник. С колокольни сорвался удар колокола, за ним другой и третий — благовестили торопливо, неблагозвучно.

— Говорил, да! — крестясь, молвил старик и, загибая пальцы рук, начал считать: — Ну, учитель, это ничего, человек полезный, сельское дело знает и законы. И Яков Ильич — ничего, барин хозяйственный. А какой тебе друг Степка Рогачев? Бобылкин сын, батрак, лентяй, никого не уважает... Мать — колдунья...

Голос старика гудел однообразно и жалобно, напоминая отдаленное пение нищих.

— Кого ему уважать? — неожиданно и, должно быть, невольно спросил Николай, вздохнув и оглядывая огород скучающим взглядом.

— Это тебе — некого, а он — всех должен...

Над сосною в густом синем небе плыло растрепанное желтое облако. Все звуки разъединились и, устало прижимаясь к земле, засыпали в теплоте ее.

Татьяна, вдова, двоюродная сестра мельника, высокая, с багровым сердитым лицом и большим носом, внесла в огород тяжелую корзину мокрого белья, покосилась на брата с племянником и начала, высоко вскидывая руки, разбрасывать белье на веревки.

— Что не здороваешься? — хмуро спросил мельник.

— Здравствуй...

Николай, не торопясь, встал, спрашивая отца:

— В церковь не пойдешь?

— В баню пойду. У меня спину ломит. Ты бы сам ходил почаще, в церковь-то!

— Когда надо — я хожу ведь...

— Чего станешь делать?

— На село сбегая. Зворыкин приехал, может, денег получу с него...

— Татьян, собери-ка меня в баню!

— Дай вот стираное развешаю...

Назаров сердито ударил рукою по столу.

— Делай что велят!

Женщина, высоко вздернув голову и вытирая мокрые руки подолом, ушла из огорода, а мельник, собрав бороду в кулак, наклонился над столом, точно кот, готовый прыгнуть на крысу.

Выйдя на двор, Николай остановился, покачал головой. Левон, подмигнув молодому хозяину, сказал:

— Воюет воевода?

Хозяйственно осмотрев двор, покрытый слоем черной жирной грязи, глубоко истоптанной скотом, Николай попросил:

— Поди, Левон, прибери в колесе струмент!

Из коровника высунулась растрепанная голова Дарьи.

— В баню он, что ли? — тоскливо спросила девушка.

— Да.

— Ой, господи! — заныла она. — Неужели мне опять мыть да растирать? Николай Фаддеич, соромно мне! Эку моду завел — али я на это рядилась?

Из-под мышки у нее высунул морду теленок и неодобрительно мычал, как бы соглашаясь с нею.

— С ним толкуй об этом, а не со мной, не меня моешь! — сухо сказал парень, уходя со двора.

— У-у, черти! — донеслось вслед ему тихое восклицание.

«Сами вы черти!» — мысленно возразил он и, лениво сплюнув, пошел к реке, держа руки за спиной и покачиваясь на крепких ногах.

Без шапки, босый, в изорванном пиджаке поверх грязной рубахи, в шароварах, выпачканных тиной, он был похож на батрака. Но скуластое лицо, холодное и сухое, вся осанка его показывали в нем хозяина, человека, знающего себе цену. Идя, он думал, что парни и девки на селе, как всегда, посмеются над его одеждой, и знал, что, если он, молча прищурив глаза, поглядит на шутников, они перестанут дразнить Николая Фаддеевича Назарова. Пусть привыкают узнавать попа и в рогоже.

Еще издали он увидал около свай моста маленький челнок, рыбака в нем и, взойдя на мост, крикнул:

— Степан!

Не шевелясь, рыбак отозвался:

— Ну?

— Павел Иванович приехал?

— Приехал.

Сверху был виден череп с коротко остриженными волосами, угловатый и большой, согнутая спина, длинные руки. Из-под челнока бесшумно разбегались тонкие струйки, играя поплавками удочек. Дальше по течению эти струйки прятались, и вода, спокойная, гладкая, отражала в темном блеске своем желтые бугры берега, бедно одетые кустами верб.

Назаров отошел в сторону шага на три и, наклонясь через перила, стал рассматривать свое отражение в воде — видел сероватое мутное пятно, оно трепетало там, внизу, точно хотело оторваться от нее, взлететь вверх. Это было неприятно.

— Берет?

— Семерых поймал. Христину видал?

— Вчера видел, — сказал Николай, закрыв глаза.

Плюнув сквозь зубы, Назаров попал в свое отражение, оно задрожало, точно обидясь, исказилось еще более — Николай сердито нахмурился и пошел дальше.

— Ты — куда? — донеслось до него из-под моста.

— На село.

Рыбак молча протянул руку с удилицем вперед, из-под челнока обильно и быстро побежали струйки, рисуя тонкий узор, напоминавший о распущенной косе девушки.

Поднявшись по съезду, прорытому в песке берега, Назаров снова повернул к реке и встал на краю обрыва, держа руки в карманах, высоко вздернув голову.

Река Болома, образуя темные и тихие заводи и омута, обрывы и желтые пологие мыса, размашисто текла по дну широкой котловины, направляя на запад темные, илстые воды. По левому берегу бесконечно тянулся лес князей Кемских — древний сосновый бор, правильно разрезанный просеками; ряды стволов отражались в реке красноватыми колоннами, окрашивая воду в ржа-

вый цвет. Правый берег мягкими увалами уходил в дали; теплые желто-зеленые волны хлебов были одеты в этот час теньями вечера. С высоты обрыва земля казалась доброй, тучной, богатой сытными злаками, от нее шел здоровый потный запах и будил в груди Николая его любимые мечты.

Вытянув шею, он пристально всматривался в даль, и там, в петле реки, на высоком бугре, увенчанном маленькою рощею осин и берез, воображение его строило большой каменный дом с зелеными ставнями и башней на крыше; вокруг дома — подкова крепко слаженных, крытых железом служб, а от подножия холма во все стороны разноцветными полосами лежат пашни. С крыши дома зоркому глазу будет виден большой круг земли и все работы людей на окрестных полях. На горке перед домом — фруктовый сад; яблони и вишни окурят весною дом медовыми запахами...

Из глубин небесных тихо спускались звезды и, замирая высоко над землею, радостно обещали на завтра ясный день. Со дна котловины бесшумно вставала летняя ночь, в ласковом ее тепле незаметно таяли рощи, деревни, цветные пятна полей и угасал серебристо-синий блеск реки.

Чем темнее становилось вокруг, тем всё более ярко вставал перед глазами Николая красный кирпичный дом, замкнутый в полукольце сада, пышно убранного белыми цветами.

«Каменной стеной обведу сад, — думал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, — а Христина разведет птицу, голов триста, бить будем ее к Рождеству...»

Всё давно было обдуманно, он любовно измерил и разметил всю землю, почти каждый день в свободные часы пересматривал свои планы, вспоминая их, как прилежный ученик свой урок.

Жарко горел перед ним образ будущей хозяйки дома; высокая, на голову выше его, полногрудая, сильная, она гордо и плавно ходит по двору среди крикливой птицы, ее густые брови хозяйственно нахмурены, глаза всё видят, всё замечают. Вот она идет по саду — розовато-белый бархат лепестков осыпает ее крутые плечи; вот он вместе с нею на башне — сидят они обнявшись



и смотрят на свои поля, на свою землю. В доме будет одна большая комната, а среди нее круглый стол, человек на десять, как у Якова Ильича; по праздникам за этот стол сядут лучшие люди округи.

«Вот он, Николай-то Фаддеич,— скажут они,— мужик, а хозяйство устроил не хуже барина!»

Тоскливое желание поскорее увидеть эту свободную, красивую жизнь охватило Назарова душным жаром, он глубоко вздохнул, нахмурился и неохотно поглядел туда, где стояла отцова мельница, надоевшая и ненужная ему.

В ночной темноте приземистые, широкие постройки отца, захватившие много земли, лежали на берегу реки, сливаясь вместе с деревьями в большую тяжелую кучу, среди нее горели два красных огня, один выше другого. Мельница очертаниями своими была похожа на чью-то лобастую голову, она чуть поднялась над землею и, мигая неровными глазами, напряженно и сердито следит за течением своевольной реки.

Сегодня вода плывет спокойно, но — теперь лето, работать нечего, и сила реки пропадает бесполезно; осенью, в дожди, она станет непокорной и опасной, требуя непрерывного внимания к своим капризам; весной — выйдет из берегов, зальет всё вокруг мутной холодной водой и начнет тихонько, настойчиво ломать, размывать плотину. Уже не однажды на памяти Николая она грозила разорением, заставляя непрерывно работать дни и ночи, чтобы побороть ее неразумную силу.

Внизу под обрывом родился тихий плеск — там, по темному лону реки, точно муха по стеклу, скользил челнок.

— Это ты, что ли, Николай? — тихо спросил рыбак.

Назаров не ответил, прислушался к мерным вздохам воды под ударами весел и подумал:

«Не спешит! Некуда ему спешить».

Кончилась всеночная. Был слышен гул и движение людей. Тявкали собаки, топали кони, собираясь в ночное, чей-то унылый голос безответно тянул:

— Ва-анька-а... ужи-ина-ать...

Недалеко от мельницы Назарова, на пути реки Болымы, встал высокий холм — река срезала половину его, обнажив солнцу и воздуху яркие полосы цветных глин, отложила смытую землю в русло свое, наметала острый мыс и, круто обогнув его вершину, снова прижалась к пестрому берегу.

На мысу рос тальник, стояла маленькая грязная водочка, с тонкой высокой трубой на крыше, а за мысом, уютно прикрытая зеленью, встала полосатая купальня, синяя и белая. Берег укреплен фашинником, по склону его полбго вырезана дорожка, он весь густо усажен молодым березняком, а с верха, через зеленую гриву, смотрит вниз, на реку и в луга, небольшой дом, приземистый, опоясанный стеклянной террасой, точно подавленный антресолями, неуклюжей башенкой и красным флюгером над нею.

Николай Назаров обогнул мыс, ловко загребая одним веслом, причалил, взял весла и выскочил на мостик купальни. Посмотрев в воду, как в зеркало, парень пригладил волосы, застегнул вышитый ворот рубахи, падел жилет, взглянул на часы и, взвесив их на ладони, неодобрительно покачал головою. Потом, перекинув через руку новый синий пиджак, не спеша, пошел в гору, двигая мускулами лица, точно выбирая выражение, с каким удсбнее войти наверх.

Но когда, выйдя на площадку перед террасой, он увидел Якова Ильича Будилова, — его лицо само собою приняло выражение почтительное, серьезное и диковатое.

Тихий барин сидел в тени берез за большим столом, в одной руке он держал платок, а другою, с циркулем в ней, измерял что-то на листе ослепительно белой бумаги. И сам он был весь белый, точно снегом осыпан от плеч до пят, только шея, лицо и шляпа — желтые, разных оттенков, шляпа — ярче, а кожа темнее. Над ним кружились осы, он лениво взмахивал платком и свистел сквозь зубы.

Назаров снял картуз, шаркая по земле толстыми подошвами сапог. Яков Ильич выпрямил спину, вытянул

под столом тонкие длинные ноги и несколько секунд молча смотрел сквозь круглые очки в лицо гостя, потом его редкие желтые усы, концами вниз, дрогнули, обнажив черные зубы.

— Ага, это вы? — сказал он глуховато, мягко и в нос.

Николай подвинулся к столу.

— Доброго здоровьица!

— Спасибо! — ответил Будилов, вертя между пальцами циркуль.

— Я вам не помешаю?

— Нисколько! Садитесь. Но вот что я вам скажу: каждый раз, приходя ко мне, вы говорите: «Доброго здоровьица» — и потом спрашиваете: «Я вам не помешаю?» Так?

— Точно так, — согласился Николай, вздохнув.

— Ну, иногда надобно сказать что-нибудь другое, как-нибудь иначе. Например: «Добрый день!» И спросить: «Как здоровье?»

Говоря, барин заставлял циркуль ходить по бумаге, а Николай слушал и рассматривал человека, всегда внушавшего ему стеснительное чувство, связывавшее язык и мысли. Лицо барина напоминало китайца с вывески чайного магазина: такое же узкоглазое, круглое, безбородое, усы вниз, такие же две глубокие морщины от ноздрей к углам губ и широкий нос. Стекла очков то увеличивали, то уменьшали его серенькие глаза, и казалось, что они расплываются по лицу.

— Ну, как живете?

— Ничего-с.

Барин собрал нос в комочек.

— Вот опять слово-ер...

— Привычка, — виновато сказал Николай.

— Дурная!

Глядя в лицо парня усталым взглядом глаз, Будилов загудел скучноватым баском:

— Дурная-с! Это прилично лакею. Вы же не лакей, а крестьянин. Да. Если лакей не скажет слово-ер — ему не дадут на чай.

Сдвинув шляпу на затылок, обнажив голый череп,

сунул руки в карманы и, рассматривая белые башмаки свои, продолжал:

— Ведь вы же не говорите Покровскому слово-ер?

Николай, почтительно улыбаясь, ответил:

— Господин Покровский учитель, он живет за наш, крестьянский счет, значит — человек служащий, а вы — другое дело-с, как же...

Барин распустил нос по лицу, сожалительно чмокая.

— Ай-яй! Ну, какое же, батенька, другое дело? Это же всё равно! Я же вам объяснял: учитель — учит, я строю церкви, вы мелете муку, мы же все делаем дело, необходимое людям, и все мы равно заслуживаем уважения, это же надо понять! Надо уважать всякий труд, это и сделает всех культурными людьми, да, а культурному человеку нельзя говорить слово-ер.

— Я — забыл, — сказал Николай, покраснев и опуская голову под укоризненным взглядом.

— Хотите чаю? — спросил Яков Ильич, сняв и протирая очки.

— Покорно благодарю, не хочется.

— Ну как же не хочется? Потом я покажу вам новый улей.

За стеклами террасы бесшумно мелькала темная фигура, доносился тихий звон чайных ложек. Речь хозяина, гудение пчел, щебетанье птиц — всё точно плавилось в жарком воздухе, сливаясь в однообразный гул и внушая Назарову уныние.

— Что, с отцом — говорили?

Николай приподнял плечи, вертя картуз в руках.

— Нет, не говорил с той поры. Ничего не выйдет, окромя ссоры. Очень уж он привержен к мельнице: «Дед был мельником, и я, и тебе это дано...»

— Глупо!

— Именно что глупо! Нет, уж, видно, надо подождать, когда помрет он.

Яков Ильич кашлянул или усмехнулся и, сняв шляпу, помахал ею в лицо себе.

— М-да — ждать? — протянул он, сморщив нос. — Не очень это удобно мне — ждать...

— Здоровье у него всё слабеет...

— Ну, это, знаете...

— Яша, чай пить,— крикнули с террасы.

Будилов встал на ноги, сухой, тонкий, белый и весь в новом.

«Словно покойник»,— подумал Николай.

— Идемте! Да не надо же надевать пиджак,— моя мать — не барышня; вот если бы барышни были, ну тогда...

На террасе, за столом сидела дородная, большая старуха, лицо у нее было надутое, мутные глаза выпучены, нижняя губа сонно отвисла, седые волосы гладко причесаны и собраны на затылке репой. В ответ на поклон Николая она покачнулась вперед и напомнила ему куклу из тряпок, набитую опилками.

— А не жарко здесь, Яша?

— Везде жарко,— ответил Будилов, усаживаясь в плетеное кресло.— Надо привыкать, мамаша,— в аду будет еще жарче...

— Ну-у,— сказала старуха, подбирая губы.

— Там жара доходит до трехсот градусов.

— Ничего нам неизвестно про ад...

Сын серьезно и укоризненно сказал:

— Вы же не знаете, мамаша, а говорите! Между тем семь лет назад один ученый немец был там и всё измерил и узнал. Его спускали на цепях, просверлили дыру в земле — на Кавказе — и спустили! Да.

Старуха, оскалив большие желтые зубы, закачалась, говоря:

— Никогда не поймешь, Яша, шутишь ты или серьезно! Мне-то ничего, я уж привыкла, а вот он может поверить.

— Я понимаю, что Яков Ильич шутят,— молвил Николай, усмехаясь.

— Шутит! Надо же говорить правильно. Об одном человеке говорится — шутит, а не шутят. Шутят — черти и актеры.

Назарову стало неловко и обидно.

— Н-да-с,— продолжал архитектор, облизав ложку, которой взял варенье из вазы, и опустив ее в стакан.— Вы, конечно, знаете, что все эти черти, лешие, ад и прочее — всё это называется предрассудками, суевериями, то есть — чепуха...

— Павел Иванович объяснял...

— Ну вот, это хорошо. Он серьезный человек, вы его слушайте. Вот видите, — и Будилов постучал пальцем по столу, — я же придерживаюсь совсем других взглядов, чем он, но я говорю — он хороший человек. Это называется воздать врагу должное, и это вы усвойте. Да. Когда Покровский станет говорить о царе, дворянах, начальстве, вообще о политике — вы этого не слушайте, политика для вас не годится. После, когда вы будете хозяином своего дела, — оно вам внушит, какая политика для вас всего лучше. Если у человека нет ничего своего, он не может понимать, что такое государство, и зачем оно, и какой политики надобно ему держаться... Понятно?

— Понимаю.

— Вот, Николай, слушай и помни, — внушительно заговорила старуха, но сын нахмурился, вытянул нос и грустно заявил:

— Чай пахнет мылом...

— Ну что ты, Яша? — беспокойно воскликнула мать. — Пил, пил и вдруг...

— Мамаша! — сказал Яков Ильич, печально показывая головою. — Пора же вам знать, что земля вообще пахнет мылом. И это же естественно, мамаша, она — жирная и, непрерывно вертась в воздухе, омыливается...

— А ну тебя...

Николай тяжело вздохнул, отирая ладонью пот со лба. Ему не нравилось, как эти люди едят: Будилов брал лепешки, словно брезгуя, концами тонких пальцев; поднося кусок ко рту, вытягивал губы, как лошадь, и морщил нос; потом, ощупав кусок губами, неохотно втягивал его в рот и медленно, словно по обязанности, жевал, соря крошками; всё это казалось парню неприятным ломаньем человека избалованного и заевшегося.

Старуха ела непрерывно, сводя зрачки на кусок и жадно осматривая его, прежде чем сунуть в большой дряблый рот, собирала крошки на ладонь, как деревенская баба, и ссыпала их в рот, закидывая голову, выгибая круглый кадык. Всё время ее тусклые глаза ошаривали стол, руки вытягивались за вареньем и лепешками;

короткие пухлые пальцы хватали крепко. Чувствовалось, что она скупая, всё у нее на счету. Иногда, устав жевать, она тяжело вздыхала, закрыв глаза, но тотчас же хватала чашку, быстро глотала чай, и, обтерев губы салфеточкой с бахромою, рука ее снова тянулась за куском, отгоняя мух.

«Мужики, пожалуй, благообразнее едят», — думал Николай, исподлобья следя за движениями хозяев, и думать так ему было приятно. Сам он ел осторожно, немного и старался жевать не чавкая, к чему не привык и что было неудобно для него, а чавкать — не смел, потому что Будиллов однажды заметил матери:

— Мамаша, не чавкайте!

Она возмущенно сказала:

— Что ты, Яша, бог с тобою! Разве это я?

— Конечно — вы!

У Назарова зазвенело в голове, точно барин ударил его в ухо, он пробормотал, виновато улыбаясь:

— Это я...

— Да? — будто бы удивился Будиллов. — Ну, чавкать при еде — не обязательно.

Он долго, нудно говорил о том, как надобно есть, — Назаров слушал его, опустив глаза, и мысленно, с ненавистью кричал:

«Паяц, лыковая жожа!»

Несколько минут молча жевали печенье и пили чай, потом Будиллов отодвинул пустой стакан и заговорил, как бы продолжая начатую речь:

— Нужна не политика, а — культура, нужны сначала знания, потом деяния, а не наоборот, как принято у нас. Да. Если вы не будете пить водку и сумеете выбрать себе хорошую жену — всё пойдет прекрасно. Табак курить тоже не надо. И читайте хорошие книги. Больше всего читайте Толстого, но — будьте осторожны! Когда он говорит: не насильничайте, не обижайте друг друга — это верно, это — голос настоящей христианской культуры, это надо принять и помнить.

Он посмотрел в светлый бок самовара, подкрутил усы и вздохнул, когда они снова опустились.

— Но — его крик: не надо государства, не надо науки — это чепуха! Без науки теперь сапога не шьют,

а без государства вы мне, сударь, голову откусите. Эту философию можно читать под старость, когда у вас будут дети. Тогда, если вы и уверуете в необходимость разрушения,— всё равно это будет безопасно для вас и для других. У вас уже будут привычки, а привычки всегда побеждают мнения и убеждения. Вы кончили пить? Пойдемте. Спасибо, мамаша!

— Спасибо! — повторил Николай, кланяясь, и едва удержался, чтобы тоже не прибавить — мамаша.

Барин взял его двумя пальцами за рукав рубахи и повел в парк, продолжая говорить всё более оживленно:

— Человек должен жить скромно, ничем не гордясь, не хвастаясь, но так, чтобы все, кто вокруг него, ясно видели свои ошибки, свою глупость, жадность, а в его жизни — образец для себя.

В синем куполе неба таяло огненное солнце, потоки лучей лились на зелень парка, земля была покрыта золотыми узорами — и двое людей, тихо шагая по дорожке, были смешно и странно пестрыми.

— Когда, батенька мой, на каждых пяти верстах квадрата будет жить разумный человек — всё будет хорошо! Нужно, чтобы везде жили люди, которые могут научить, как лучше сложить печь, чтобы она больше хранила тепла, какие яблони удобнее разводить вот в этом месте, как лечить лошадей, да...

Он снял очки и, помахивая ими, смотрел на всё вокруг, прищурив сероватые водянистые глаза.

— Нам прежде всего нужны вот такие добрые, всё знающие люди, а крикунов, а заговорщиков — не надо! Нужны культурные люди, которые умели бы любить труд. Вот видите — я уже говорил вам — вот я купил заросшее бурьяном, засыпанное мусором это место и этот дом, с прогнившим полом, проваленной крышей, ограбленный и разрушенный. Рамы поломаны, двери сорваны, всё — раскрадено; это было кладбище какой-то глупой, неумелой жизни. Прошло семь лет — смотрите, как всё хорошо...

Яков Ильич остановился и повел рукою вокруг.

Следя за его жестом, Назаров вспомнил знакомые ему развалины — сначала он, ребенок, боялся их, потом



бегал сюда со Степой Рогачевым добывать медь и железо для грушников. Это они, бывало, отрывали ручки и петли дверей, шпингалеты рам, таскали вьюшки, рылись, как кроты, не боясь сторожа, всегда пьяного или спящего.

— Видите, что может сделать человек? — слышал он мягкий, но уже не скучный басок Будилова.

Всюду вокруг стояли мощные стволы старых, дуплистых лип, к ним подсажены молодые деревья, в густой траве сверкали цветы, там и тут возвышались красные и желтые крыши разнообразных ульев, а людей не видно было, и действительно думалось, что всё это устроил один Будилов. Где-то неподалеку шипела вода, на дворе, за домом, тихонько взвизгивал и охал насос, чуть слышно бормотал гнусавый старческий голос.

Сквозь завесы зелени были видны прочные стены и красные, крытые железом крыши хозяйственных построек, на всем вокруг лежала печать умной человеческой работы, и человек говорил:

— Здесь нет аршина земли, которой не коснулась бы моя рука!

Назаров уважительно посмотрел на эту руку, темную от загара, с длинными пальцами и узкой ладонью, потом искоса и мельком взглянул на тяжелую кисть своей правой руки и сжал ее в кулак.

— Да. И я горжусь тем, что в то время, когда кругом всё разрушается, я умел восстановить часть разрушенной жизни, — он положил руку на плечо Николая, заглядывая в глаза ему. — Вот и вы так же: возьмите кусок земли по силе вашей и обработайте ее, в пример другим. Это вызовет в людях уважение к вам, а вас наградит сознанием вашей особенности. Подумайте, какова может быть земля лет через сто, если каждый из людей сумеет украсить за жизнь свою хотя бы десятину, а? Прекрасным садом будет земля, и в этом именно и скрыт смысл жизни, — понимаете?

Это были именно те речи, ради которых Назаров уже второй год почти каждое воскресенье являлся сюда, к человеку, вызывавшему у него сложное чувство зависти, уважения и с трудом подавляемой обиды. В манере барина говорить, в его странных, не смешных шутках,

в назойливом повторении одного и того же — Николай чувствовал, что епархиальный архитектор считает его парнем глуповатым, это всегда бредило самолюбие Назарова, и он замечал, что действительно при барине становится глупее. Но речи Будилова о смысле жизни, о необходимости умного упорного труда на своей земле были дороги Николаю, они укрепляли в нем его мечты, перерождая их в ясные, твердо очерченные планы будущего.

— А вы, Яков Ильич, подождете продавать ту землю? — спросил он тихонько.

— Чего — подождать?

— Да вот, когда отец...

Будилов искоса взглянул на него и сказал, сморщив желтое лицо:

— Мельники живут до ста лет. Я, батенька, не могу ждать, увы! Мне нужны деньги. Саяновские мужики дают уже две тысячи семьсот. Еще немножко поспорим и — сойдемся! Да! А вы — не горюйте. Земли — много!

— Ах ты, господи, — вздохнул Николай, угрюмо опустив голову. — Не в силу мне отказаться-то от вашей земли, прямо — не могу... Так всё обдуманно, так это просто выходит у меня...

— Мельники долговечны, как слоны, — говорил барин, шаря в карманах, — за это, главным образом, они и считаются колдунами, да-с, милейший мой...

Остановился, вынул сигару, тщательно и долго обрезаю малenькими ножницами конец ее, закурил и, гоня перед собою синюю струйку дыма, пошел вперед по аллее. Николай поглядел в спину ему и вдруг начал прощаться.

— А — улей? — спросил барин, подняв брови.

— Уж в другой раз позвольте, сегодня надо скорее домой, отец там жалуется, грудь завалило...

Он бормотал, опустив голову, не глядя в лицо Будилова, переминаясь с ноги на ногу, — что-то беспокойное слагалось в уме и торопило уйти отсюда.

— Как хотите! — недовольно и сухо сказал Будилов.

Николай быстро спустился с горы, сел в лодку и, широко взмахивая веслами, погнал ее против течения, словно убегая от чего-то, что неотступно гналось за ним.

Весло задевало опустившийся в воду ивняк, путалось в стеблях кувшинок, срывая их золотые головки; под лодкой вздыхала и журчала вода. Почему-то вспомнилась мать — маленькая старушка с мышинными глазками: вот она стоит перед отцом и, размахивая тонкой, бессильной рукой, захлебываясь словами, хрипит:

— Злодей ты, злодей, дай хоть умереть-то мне, не му-учь...

А он, большой и тяжелый, развалился на лавке под окном, отвечает лениво и без злобы:

— Али я тебе мешаю? Издыхай...

Мать трясется вся, растирает руками больное горло, смотрит в угол на иконы, и снова шелестят сухие жуткие слова:

— Пресвятая богородица — накажи его! Порази его в сердце, матушка! Без покаяния бы ему...

Отец вскочил на ноги.

— Вон, ведьма!..

Она выбегает согнувшись, точно маленькая собачка, а вечером, лежа в телеге на дворе, шепчет Николаю:

— Измаял он меня, боров распутный, ославил, душеньку мне истерзал, Николушка, милый, — тошнехонько мне, ой...

Это было шесть лет тому назад.

Цветным камнем мелькнул над водою зимородок, по реке скользнула голубая стрела; с берега, из кустов, негромко крикнули:

— Эй — куда? Здесь я...

Не взглянув на берег, не отвечая, он глубоко вогнал лодку в заросль камыша, выпрыгнул на берег и, попав ногами в грязь, сердито заворчал:

— Нашла место, нет лучше-то?..

Перед ним стояла дородная, высокая девица в зеленой юбке с желтыми разводами, в желтой кофте и белом платке на голове.

— Не всё равно? — сказала она густым голосом.

— Вон, гляди, как сапоги замарал!

— Эка важность!

Отошли в кусты, и на маленькой полянке, среди молодых сосен, Николай устало бросился в тень, под деревья, а она, бережно разостлав по траве верхнюю юбку, села рядом с ним, нахмутив густые темные брови и пытливо глядя в лицо его небольшими карими глазами.

— Опять не в духах?

Николай отвернулся от нее и, сплюнув сквозь зубы, пробормотал:

— Чёртов китаец этот не хочет ждать, продает землю-то саяновским!

Она вздохнула, не торопясь, достала из-за пояса платок, заботливо вытерла потное лицо Николая, потом, перекинув на грудь себе толстую косу, молча стала играть розовой лентой, вплетенной в конец ее. Брови ее сошлись в одну линию, она плотно поджала красные губы и пытливо уставилась глазами в сердитое, хмурое лицо Назарова.

— Что теперь делать? — сказал он, щурясь от солнца, и положил голову на колени ей.

— Не скоро, видно, поживешь, как хорошие-то люди, — медленно проговорила она.

Николай чмокнул, закрыл глаза и сморщил лицо.

— Ну вот! Чем бы ласковое что сказать...

— Лаской дела не подвинешь, милый...

— Эх ты! — тихонько и уныло воскликнул Назаров.

— Что я?

— Так. Мало ты меня, Христина, любишь, вот что.

Она подвела руку под шею ему и, легко приподняв голову парня, прижала ее ко груди.

— А ты полно-ка! Не любила бы, так гуляла бы со Степаном.

— С нищим-то?

— И ты не богат...

— Я — буду!

— Улита-то едет...

— Погоди, отец помрет...

— Кабы это от тебя было зависимо...

Николай открыл глаза, быстро приподнялся,сел рядом с нею и строго, глухо спросил:

— Ты что говоришь?

— Я?

Христина удивленно отшатнулась от него, приподняв плечи и словно желая спрятать голову.

— Что я говорю?

— То-то! — сказал Николай. Сорвал горсть травы и резким движением отбросил ее прочь от себя.

— Ты мне этих мыслей не внушай!

— Каких?

Они посмотрели в глаза друг другу, и первый отвернулся Николай, а Христина, улыбаясь широкой улыбкой, обняла его за шею и, раскачивая, шептала в ухо:

— А ты — полно-ка! Миленок! Ты — не думай...

— О чем? — подозрительно спросил он.

— Ни о чем не думай, кроме дела, как его лучше исделать...

— А вот — как? Вон он, паяц этот...

— Будилов-то?

— Ну да.

— И впрямь — паяц!

— Вон он говорит: «Мельники, говорит, до ста лет живут»... да!

Христина подумала немножко и, вздохнув, сказала:

— Да-а, долголетни они...

И тотчас торопливо заговорила, усмехаясь:

— Намедни Будилов-то, как пололи мы гряды у него, сел под окно и в подзорную трубу смотрит, всё смотрит на нас... Выглядел Анюту Сорокиных, ну, а известно, какова она, ей только мигни...

— Брось, — сказал Николай, — что тебе?

А в памяти звучало двойное слово:

«Долго-летни... долго-вечны...»

Он снова лег на колени ей, а Христина, грустно прикрыв глаза выпцветшими ресницами, замолчала, перебирая его волосы. Молчали долго.

Было тихо, только из травы поднимался чуть слышный шорох, гудели осы, да порою, перепархивая из куста в куст, мелькали серенькие корольки, оставляя в воздухе едва слышный звук трепета маленьких крыльев. Вздрагивая, тянулись к солнцу изумрудные иглы

сосняка, а высоко над ними кружил коршун, бесконечно углубляя синеву небес.

Назаров следил за полетом птицы, и ему казалось, что в нем тоже медленно плавает черный шарик, — никаких мыслей нет, не хочется думать, и жутко следить за этой черной точкой в небе, отраженной где-то глубоко в душе.

Вдруг вспомнились слова Христины:

«Ни о чем не думай — делай...»

«Намекает она али нет? Пожалуй, намекает! Ей — что? Будет удача — ее выигрыш, не будет, пропаду я — с другим начнет гулять...»

А Христина, лаская его, тихонько, жалобно говорила:

— Пожить бы поскорее хорошо-то, миленький ты мой, одним бы, на полной свободе, хозяевами себе...

Он беспокожно повернулся на бок, не желая более смотреть в небо, и, глядя снизу вверх в лицо ей, сердито сказал:

— Что ты, уговариваешь?

— Коленька, — так уж хочется мне с тобой...

— Лучше бы поцеловала!

— Поцеловать-то и хочется, — шепнула она, наклоняясь. Николай закинул руки за шею ей, притянул к себе и закрыл глаза, прильнув к ее губам.

— Ой — пусти! — шептала она, отталкивая его, вырвалась и, легко столкнув парня с колен своих, встала на ноги, томно потягиваясь.

— Задохнулась даже...

Он откатился под сосны и, лежа вниз лицом, бормотал:

— Идет время, идет, а ты — мучайся! Эх! Господи!

Христина молчала, отряхая с юбки хвою и траву, потом, взглянув на солнце, сказала:

— Надобно домой...

— Погоди!

— Нет, надо...

И, помолчав, прибавила:

— Надо идти...

Николай сел на земле, поправил волосы, надел картуз.

— Ну, едем...

Но Христина, отступив в сторону, сказала виноватым голосом:

— Я, Коля, пеше пойду сегодня...

— Отчего?

— Та-ак.

Он поднялся на ноги, оглядываясь, прислушался — где-то неподалеку бил коростель, а Христина тихонько говорила:

— Мне к Мишиным надо зайти...

Глаза у нее разбегались, по лицу расплылась слащавая улыбочка.

— Врешь ты, — тихо сказал Николай.

— Ей-богу — правда! — воскликнула она, прижимая руки к высокой груди.

— Врешь, — повторил парень раздумчиво и, тряхнув головою, подошел вплоть к ней. — Погляди-ка в глаза мне — ну?

Она испуганно выкатила карие зрачки, улыбка сошла с лица ее, и губы вздрогнули.

— Что ты, Коленька!

— Знаю я, о чем ты думаешь! — сказал он сердито. — И почему не едешь сегодня со мной — понимаю!

— Да что ты! — повторила она обиженно. — Что тебе кажется? Господь с тобой, право!

Он подвинулся к ней, тихо говоря:

— Ты на что мне в то воскресенье про Федосью Шилову рассказала?

— И не помню я даже...

— Не помнишь?

Но вдруг покраснев, она взмахнула рукой и, широко крестясь, заговорила торопливо:

— Вот — на! — святой крест — правда это! Все говорят про нее, только доказать нельзя, ведь уж семь месяцев прошло, как он помер...

Она смотрела прямо в глаза ему, речь ее становилась всё многословнее, оживленнее — он подумал:

«Может, ошибаюсь я, свои мысли вижу у нее...»

И вслух сказал примирительно:

— Да я не про это! Нужно ли мне в чужое дело соваться?..

— Так про что же? — спросила она удивленно.

— Да вот... всё вместе со мной в лодке отсюда ездил, а сегодня вдруг будто испугалась чего — иду одна, пешком!

В глазах ее вспыхнули и тотчас погасли зеленые искорки, она обняла его за шею и, поцеловав, шепнула на ухо:

— Не бойся!

— Чего? — спросил Назаров, тоже обняв ее, а она, крепко прижимаясь к нему грудью, томно прикрыв глаза, маня и обещая, сказала:

— Ничего не бойся! Ой, люблю я тебя до смерти!

И, вдруг обессилев, тяжело повисла в его руках.

У него сладко кружилась голова, сердце буйно затрепетало, он обнимал ее всё крепче, целуя открытые горячие губы, сжимая податливое мягкое тело, и опрокидывал его на землю, но она неожиданно, ловким движением выскользнула из его рук и, оттолкнув, задыхаясь, крикнула подавленно:

— Иди, уходи!

Он, шатаясь, пошел к ней.

— Уходи, Николай! — снова крикнула она. — Не могу я... Ну тебя...

Глядя на нее пьяными глазами, обессиленный возбуждением, он пробормотал:

— Доведешь ты меня... додразнишь до греха, гляди, Христина...

И, круто отвернувшись, пошел сквозь кусты к лодке.

Когда он оттолкнулся от берега, то увидел над зеленью кустарника ее лицо: возбужденное, глазастое, с полуоткрытыми улыбкой губами, оно было как большой розовый цветок. Простоволосая, с толстой косою на груди, она махала ему платком, рука ее двигалась утомленно, неверно, и можно было думать, что девушка зовет его назад.

Крепко стиснув весла, он погрузил их в реку и рванул к себе, громко, озлобленно крикнув.

— Вечером-то увидимся ли? — негромко сказала Христина.

Он не ответил, яростно взрывая воду веслами.



### III

Доплыв до села, он выпел на берег и, подавленный смутным, тревожным желанием, которое и запрещало ему идти домой и влекло туда, — пошел повидаться с учителем Покровским.

Павел Иванович, щуплый, сухонький человечек с длинным черепом и козлиной бородкой на маленьком лице, наскоро склеенном из мелких, разрозненных костей, обтянутых сильно изношенной кожей, пил чай со Степаном Рогачевым, парнем неуклюжим, скуластым, как татарин, с редкими, точно у kota, усами и гладко стриженною после тифа головою.

Назаров, вяло улыбаясь, поздравил учителя с приездом, на заботливый вопрос Покровского — почему он такой невеселый? — сообщил о болезни отца и замолчал, а учитель снова стал оживленно и торопливо, мягким баском, рассказывать Степану что-то о кометах, звездах. Николай не слушал, он был уверен, что все речи учителя знакомы ему, как «Господи помилуй», они интересны, но лишние для жизни, — никому не нужны звезды, и всё равно, как вертится земля, это никому не мешает. Нужно — простое, ясное: кусок земли, просторный светлый дом, хорошая, неглупая жена и — чтобы люди уважали, не трогали, — вот что крепко ставит человека на ноги и дает душе покой. Сначала — это, а потом уже всё другое, что кому нравится. Притеснять людей не надо, пусть каждый живет как хочет. Люди ежедневно доказывают друг другу, что жить сообща — не могут они, нет у них для этого уменья, и задачи разные у всех.

«Дешевый человек, — лениво думал он про учителя, — так себе живет, без назначения...»

А Степан вызывал у него неприязненное и завистливое чувство развязностью, с которой он держался перед учителем, смелостью вопросов и речей: следя за ним исподлобья, он видел, как Рогачев долго укреплял окурок стоймя на указательном пальце левой руки, уставил, сбил сильным щелчком пальцев правой, последил за полетом, и когда, кувыркаясь в воздухе,

окурок вылетел за окно и упал далеко на песок, Рогачев сказал, густо и непочтительно:

— А по-моему — никто не верит в способность народа к разуму!

«Это верно», — подумал Назаров.

— Ну-у, — недовольно протянул учитель. — Откуда ты взял?

— Да так уж! Все книжники в народе — как в лесу. Как на охоту выходят — не попадет ли что приятное? Главное — приятное найти...

— Неосновательно говоришь ты, Степан!

— Ну?

— Нехорошо.

Облака, поглотив огненный шар солнца, раскались и таяли, в небе запада пролились оранжевые, золотые, багровые реки, а из глубин их веером поднялись к зениту огромные светлые мечи, рассекая синеющее небо.

Назаров думал:

«Продаст Будилов землю...»

Гудя, влетел жук, ткнулся в самовар, упал и, лежа на спине, начал беспомощно перебирать черными короткими ножками, — Рогачев взял его, положил на ладонь себе, оглядел и выкинул в окно, задумчиво слушая речь учителя.

Его басок лился густою струей, точно конопляное масло; по лицу разбегались круглые улыбочки, он помахивал в воздухе сухонькой рукой, сжимая и разжимая пальцы.

— Понемногу, в сотне тысяч деревень, — захлебываясь словами, говорил он, — ежегодно входят в жизнь молодые, доброжелательные умы, и скоро Русь увидит себя умной, честной.

«И Будилов то же говорит», — думалось Николаю.

— Конечно, — сказал Степан, пощипывая усы, — жизнь обязательно должна идти к лучшему — как же иначе?

Николай встал, протягивая учителю руку.

— Мне пора домой, я ведь только повидаться зашел, а то — нехорошо, отец там...

— И я тоже иду,— сказал Рогачев,— у меня за мельницей рыбки делишки налажены.

— Погодите,— всё еще мечтательно улыбаясь, заявил учитель,— я с вами, мне к отцу Афанасию! Сейчас переоденусь.

Степан потянулся, почти достав потолок руками, и сказал:

— Не люблю батьку!

— За что его любить? — отозвался учитель, суетясь в углу.— Мне по службе необходимо показывать видимость уважения к нему и всё подобное эдакое. Ну, идемте!

Половина темно-синего неба была густо засеяна звездами, а другая, над полями, прикрыта сизой тучей. Вздрагивали зарницы, туча на секунду обливалась красноватым огнем. В трех местах села лежали желтые полосы света — у попа, в чайной и у лавочника Седова; все эти три светлые пятна выдвигали из тьмы тяжелое здание церкви, лишенное ясных форм. В реке блестело отражение Венеры и еще каких-то крупных звезд — только по этому и можно было узнать, где спряталась река.

Лес в темноте стал похож на горы, всё знакомое казалось новым, влажное дыхание земли было душисто и ласково.

«Продаст Будилов землю,— угрюмо думал Николай,— продаст! Эх, отец...»

Рогачев и учитель, беседуя, тихонько шли вперед; он остановился, поглядел в спины им и свернул в сторону, к мосту, подавляемый тревогой, а перейдя мост, почувствовал, что домой ему идти не хочется. Остановился под ветлами на берегу и, обернувшись спиной к неприятным огням мельницы, посмотрел на село, уже засыпавшее, полусонно вздыхая. Редкие огни в окнах изб казались глубокими ранами на темном неуклюжем теле села, а звуки напоминали стоны. Вид села вечером и ночью всегда вызывал у Назарова неприятные мысли и уподобления: вскрывая стены изб, он видел в тесных вонючих логовищах больных старух и стариков, ожидающих смерти, баб на сносях, с высоко вздернутыми подолами спереди, квёлых, осыпанных язвами золо-

тухи детей, видел пьянство, распутство, драки и всюду грязь, от которой тошнило. Люди в этой грязи — точно черви...

Он знал, что всё село ненавидит и боится мельника Назарова и что часть этой ненависти отражено падает и на него. Фаддея Назарова не любили за богатство, за то, что он давал деньги в рост, за удачу во всех делах и распутство.

«Я при чем тут? — мысленно возражал людям Николай, проникаясь враждебным чувством к ним. — Али я виноват?»

И, считая себя несправедливо обиженным, он втайне обвинял отца за это наследство. Бывали дни, когда хотелось мира и дружбы с людьми, а отовсюду на него смотрели косо, недоверчиво или же заискивающе, подхалимисто. Однажды, стесненный этой злобой и фальшью, Николай угрюмо сказал Рогачеву:

— Зря мужики на меня волками-то глядят...

— Н-да, — протянул Степан, опуская глаза. — Торопятся...

Николай не понял его.

— Куда — торопятся?

— Это они — в счет будущего, — подумав и усмехаясь, сказал Рогачев.

— А может, я добра хочу им? — сердито воскликнул Назаров. — Как знать, чем я для них буду?

— Стало быть, не ждут они добра, — снова задумчиво молвил Степан и, вздохнув, добавил: — Гляжу я на всё и думаю: легко быть худым человеком, а хорошим — трудно! Ей-богу, так!

— Обидно это мне! — сказал Николай.

Рогачев не ответил, не взглянул на него, и Николаю подумалось:

«И ты такой же, как все...»

На том берегу, в доме Копылова, зажгли огонь, светлая полоса легла по дороге к мосту, и в свете четко встали три темные фигуры, в одной из них Николай сразу узнал Степана, а другая показалась похожей на Христину. Он посунулся вперед, схватившись рукою за дерево, а люди окунулись в темноту и исчезли, потом стал слышен шум шагов и девичий смех. Назаров, не

торопясь, пошел к мельнице, но тотчас повернул назад, сбежал под мост и присел там, в сырости и запахе гнилого дерева. Чуть слышно журчала вода, шаркая о песок берега, на гладкой полосе реки дрожали отражения звезд, бухали по мосту тяжелые шаги, стучали каблуки женских башмаков и ясно звучал голос Рогачева:

— Вот теперь вы и то и се, капризьтесь с парнями, дурите и будто бы считаете их ровней себе, а как повыскочите замуж, и — кончено! Всё равно как нет вас на земле, только промеж себя лаетесь, а перед мужьями — без слов, как овцы...

— Скажи-ка мужу слово-то! — весело воскликнула одна из девиц, и Назаров по голосу узнал бойкую подругу Христины, Наталью Копылову. — Чать, он — власть, сейчас за волосья сгребет...

— Не допускай!

— Рада бы, да силы не дано...

Они остановились как раз над головою Назарова, — сквозь щели моста на картуз и плечи его сыпался сор.

— Дальше не пойдете? — спросил Степан.

— Я — нету, а вот Крестя, чать, пошла бы, до мельницы, до милёнковой...

— Видала я его нынче, — тихо и медленно выговорила Христина, и Назарову показалось, что слова ее небрежны, неуважительны.

— Ну, я иду...

Рогачев сошел с моста, а девицы пошли назад, и Наталья тихонько запела:

Встретишь милого мово,

Скажи — я люблю его...

— Так ли, Крестюшка?

— Невеселый он у меня, милый-то...

— Невесел, да — богат.

— Ну-у...

— Ничего, раскачаешь! Ох, девонька...

Шаги заглушили слова Натальи.

Напряженно вслушиваясь, Назаров смотрел, как вдоль берега у самой воды двигается высокая фигура

Степана, а рядом с нею по воде скользило черное пятно. Ему было обидно и неловко сидеть, скрючившись под гнилыми досками; когда Рогачев пропал во тьме, он вылез, брезгливо отряхнулся и сердито подумал о Степане:

«Пустобрех...»

А Христину — обругал:

— Дура! Туда же, невесел я для нее... Нищета козья...

И пошел на мельницу, опустив голову, заложив руки за спину, чувствуя себя жутко одиноким в этой теплой, расслабляющей тьме ночной.

#### IV

Он тихонько вошел в сени, остановился перед открытой дверью в горницу, где лежал больной и откуда несло теплым кислым запахом.

На столе горела лампа, окна были открыты, желтый язык огня вздрагивал, вытягиваясь вверх и опускаясь; пред образами чуть теплился в медной лампадке другой, синеватый огонек, в комнате плавал сумрак. Николаю было неприятно смотреть на эти огни и не хотелось войти к отцу, встречу шёпоту старухи Рогачевой, стонам больного, черным окнам и умирающему огню лампы.

— И вот, сударыня ты моя,— певуче шептала знахарка Рогачева,— как родилось у них дитё...

А больной бормотал густым, всхрапывающим голосом:

— Хо-осподи! Да-а, да-да-ай...

— Будто просит чего? — заметила тетка Татьяна.

— Бредит! И как уведомила она...

Николай, шагнув через порог, угрюмо сказал тетке, сидевшей в ногах кровати:

— Поправила бы лампадку-то...

И спросил Рогачеву:

— Хуже стало?

Маленькая круглая старушка, с румяным личиком и мышиными глазками, помахивая полотенцем над го-

ловою больного, приторно-ласково ответила, положив руку на красный лоб старика:

— Не заметно лучше-то, вот уж что буде бполночь...

Перекатывая голову по подушке, старый мельник хмурил брови и торопливо говорил:

— Хосподи, хосподи...

Лицо у него было багровое, борода свалялась в комья, увеличив и расширив лицо, а волосы на голове, спутавшись, сделали череп неровным, угловатым. От большого тела несло жаром и тяжелыми запахами.

— Ничего не понимает? — осведомился Николай, отходя прочь.

Знахарка отрицательно покачала головой и угнетенно вздохнула.

— Будто нет, родимый...

— Меня не спрашивал?

— Спрашивал, как же...

— Когда?

— Да уж давненько...

Николай сел на лавку, глядя, как тетка возится с лампадой и, обжигая пальцы, дует на них, посмотрел на стены, гладко выскобленные и пустые, днем желтые, как масло, а теперь — неприятно свинцовые, и подумал:

«Это неверно, что от обоев клопы заводятся, — клопы от нечистоты. Здесь мне придется прожить года два еще — пока строишься да пока продашь... Перед свадьбой оклею обоями».

И снова привстал на ноги, заглядывая через спинку кровати на большое, вздувшееся тело отца.

Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок, а с воли доносилось кваканье лягушек. Покачиваясь на стуле, Рогачева всё махала полотенцем, и стул под нею тихонько скрипел.

— Кто тут? — вдруг строго спросил больной и тотчас закашлялся.

— Я, батюшка, — отозвался Николай, обходя знахарку и становясь перед глазами старика.

— За доктором послали? — хрипел мельник, высвобождая изо рта дрожащими пальцами усы и бороду.

— Да, — тихо ответил Николай.

— Не слышу!

— Послали.

— Кого?

— Ванюшку Скорнякова.

— А Левон?

— Пьяный.

— У-у! — застонал старик, жадно хватая воздух широко открытым ртом. — Вот — пьяный, издохнуть не дали, началось...

— Праздник сегодня, — напомнил Николай.

— Какой праздник — отец умирает! Хозяин умирает! — плаксиво и зло хрипел отец, хлопая ладонями по постели и всё перекатывая голову со стороны на сторону. Уши у него были примятые, красные, точно кожа с них сошла. Он глядел в лицо сына мутными, налитыми кровью глазами и всё бормотал непрерывно, жалобно, а сзади себя Николай слышал предостерегающий голос тетки:

— Ванька-то, гляди, поехал ли? Недавно еще, незадолго до стада, видела я его около моста, выпивши он, с девками стоял...

— Молчи, тетка! — сказал Николай.

— Чего? — спросил отец, испуганно вытаращив глаза, — чего шепчешь?

— Я ничего, батюшка...

А старик, точно не веря ему, допрашивал, едва двигая сухим языком:

— На чьей лошади?

— Ванюшка-то?

— На чьей?

— На своей...

— О-ох, — застонал мельник, прикрыв глаза, — на нашей надо было, на нашей...

— Хромает...

— Торопить надо, что вы-и...

Он снова начал бредить и стонать.

Николай отошел к окну и сел там, задумавшись; он не помнил, чтобы отец когда-нибудь хворал, и еще в обед сегодня не верил, что старик заболел серьезно, но теперь — думал, без страха и без сожаления, только с неприятным холодком в груди:



«Пожалуй, не встанет. Узнают, что не посылал я за доктором — осуждать будут, нарочно, скажут, сделано это...»

За рекой над лесом медленно выплывал в синее небо золотой полукруг луны, звезды уступали дорогу ему, уходя в высоту, стало видно острые вершины елей, кроны сосен. Испуганно, гулко крикнула ночная птица, серебристо звучала вода на плотине и ахали лягушки, неторопливо беседуя друг с другом. Ночь дышала в окна пахучей сыростью, наполняла комнату тихим пением темных своих голосов.

У постели шептались женщины:

— Умный мужик был Хомутов-то...

— Живи, как все,— не бойсь, никто не тронет...

Николай вспомнил бородатого рослого мужика с худым красивым лицом и серьезными добрыми глазами, вспомнил свою крестную сестру, бойкую, веселую Дашутку, и брата ее Ефима, высокого парня, пропавшего без вести. Слова тетки напомнили ему рассказы Рогачева, обвинявшего отца в том, что он разорил и довел до тюрьмы кума своего Хомутова, и теперь, слушая шёпот Татьяны, Николай испытывал двойственное чувство: ее слова как бы несколько оправдывали его холодное отношение к отцу, но, в то же время, были неприятны, напоминая о Степане, — не хотелось, чтобы Степан был прав в чем-либо.

— Будет, тетка! — сказал он. — Лучше вот — как насчет доктора-то? Не посылал еще я за ним, думал, обойдется без него. Послать, что ли?

Женщины замолчали, слышнее стал зовущий на волю звон воды — потом старуха Рогачева тихонько и как бы с некоторой обидой сказала:

— Что ж — иной раз и доктора помогают...

— Уж лучше позвать бы, коли просит он,— подтвердила Татьяна.

— Тогда придется самому мне ехать — кого пошлешь?

— Дашку можно,— предложила тетка.— Я схожу, найду ее, она на селе шлендает где-нибудь с парнями...

— Нет,— сказал Николай, подумав,— я сам съезжу верхом...

Татьяна удивилась:

— Почто верхом? А доктор как?

— У него лошадь есть. Да, может, еще не застану...

Последние слова вырвались как-то сами собой, Николай тотчас понял, что они — лишние, и добавил:

— Он ведь тоже гоняет день и ночь...

— Теперь, летом-то, не так, — заметила Рогачева.

Николай подозрительно взглянул на нее и вышел из комнаты, а вслед ему, точно подгоняя, текло густое храпенье задыхавшегося старика.

Он вывел коня, бросил на хребет его вчетверо сложенное рядно и шагом съехал со двора в открытые темные ворота.

— С богом, — сказала Татьяна.

— Спаси бог, — ответил он машинально.

Ему не хотелось ехать через мост и селом, он направил лошадь вдоль реки — там, версты на четыре ниже плотины, был брод, а еще дальше — другой, новый мост. Ехал шагом по узкой тропе, среди кустарника, ветки щекотали бока лошади, она пугливо прыдала ушами, качала головой и косилась, фыркая. Справа, по растрепанным кустам, освещенным луною, ползла тень, шевеля ветки, а слева, за черной грядой, блестела вода, вся в светлых пятнах и темной узорчатой ткани. На той стороне, у самого берега, тесно стоял лес, иногда мелькала, уходя глубоко в него, узкая просека, густо покрытая мелкою порослью, и часто там, в черных ветвях, что-то вздыхало, вздрагивало.

Он дергал повод, тихонько чмокал и думал об отце, доискиваясь чего-то прочного, решительного.

За всё время, как Николай помнит себя, он не слышал ни одного искренно доброго слова об отце. Если отец помрет — после него останется много долгов, надо будет собирать их, и Николай знал, что это еще больше восстановит против него людей, хотя — долги платить надо.

«Отказаться разве, — пусть пойдет в поминок ему?» — спросил он себя, но вспомнив, что долги восходят до двух тысяч, тяжело вздохнул.

«Со многих всё равно ничего не получишь», — думал он про себя и вдруг почувствовал, что думает об этом

нарочно, чтобы заглушить другие мысли, более серьезные, — и вот они быстро побежали одна за другой.

«Не жалко мне его, а даже — хочется, чтоб он помер. Христина давеча догадалась об этом, она прямо намекала, чтоб не боялся, — уж, наверно, она об этом. Бедная, а бедные — все жадные; винить их в этом и нельзя, пожалуй...»

Из кустов выпорхнула, перелетев тропу, какая-то птица, лошадь, вздрогнув, остановилась, Николай качнулся вперед и, рассердясь, ударил ее по бокам каблукми сапог, но когда она пошла рысью, он приостановил ее, продолжая думать всё открытее.

«Павел Иваныч и Степан ждут всё, что между людьми образуется связь и все друг другу близки будут, — нельзя в это верить, нет! Если у сына с отцом — у людей одной крови — связи нет и живут они без жалости друг ко другу — чего ждать между чужими? Дети не считаются за людей и сами отцов нисколько не уважают — это везде! Значит — положено это навсегда, если даже между отцами-детьми нет связи».

Впереди река развернулась в небольшое, почти круглое озерко, и в середине его стояла, колыхаясь, черная длинная точка, похожая на рыбу. Николай, потянув повод, остановил лошадь.

«Степан!»

Ему хотелось повернуть назад, и он стал дергать направо, а лошадь топталась на месте и не шла в кусты.

«Услышит», — сердито подумал Назаров, и в то же время челнок вздрогнул, поплыл к берегу, скользя по светлой гладкой воде быстро, бесшумно и оставляя за собою чешуйчатый след.

Николай видел, что ему не миновать встречи с Рогачевым; это рассердило его, он зло ударил лошадь; подбрасывая его, она поскакала, споткнулась, и он перелетел через голову ее в кусты, а когда поднялся на ноги, Степан, разведя руки, стоял на тропе, чмокая и ласково оговаривая испуганную, топтавшуюся на месте лошадь.

— Не ушибся? — участливо спросил он.

— Нет, — сердито ответил Назаров и тотчас прибавил: — Это ты ее испугал!

— Ну вот, — усмехнулся Степан, звучно похлопывая лошадь по шее, — я вон откуда услышал топот и вдруг — что такое? И побежал.

Говорил он ласково и весело, видимо, чем-то довольный.

— За доктором, что ли?

— Да.

— Хуже отцу-то?

— Хуже.

— Ну, садись, поезжай...

Назаров, не торопясь, оправлял одежду и молчал, не вылезая из кустов.

— Да ты, может, ушибся? — беспокойно спросил Степан, присматриваясь к нему. — Ты — вот что, иди-ка домой, а я — поеду, слышь?

— Не надо. Я — сейчас...

Подошел к лошади, взялся за чёлку и, усмехнувшись, с неожиданным для себя приливом добродушия сказал:

— Вот так полетел я!

И Рогачев усмехнулся.

— Бывает! А мне, брат, повезло, да так — прямо на диво! Леща фунтов на пять едва выволок, завтра к Будилову снесу — целковый! Да пару щук — добрые щуки! — попу — полтина! Да еще не всё — в вентерях, поди, есть что-нибудь, и опять перемет поставил. До утра провожусь тут...

Николай вздохнул и неохотно взвалился на хребет лошади.

— Ночь хороша! — задумчиво сказал Рогачев, отступая в сторону. — Просто — не ночь, а милая подруга. Валяй, поезжай, ну!

— Да, ночь хорошая...

И вдруг он пробормотал почти с завистью:

— Простая у тебя жизнь, Степан...

— Скачи, брат!

До брода Назаров ехал тряскою рысью, а когда перебрался через реку и перед ним в ночи жутко встала высокая стена молчаливого хвойного леса, лошадь снова пошла ленивым шагом.

Тихо думалось о Степане — конечно, он стал как будто зазнаваться, слишком явно кичился прямою своих суждений, а все-таки он самый хороший парень в селе и желает всем добра. Ведь и давеча, на мосту, говоря с девицами, он не сказал ничего обидного...

«Он девок добру учил — жене овцой не приходится быть. Да и кто знает, что Христина любит, — меня самого али то, что со мной сытно и не в каторжной работе жить можно? А со Степаном мне надо быть дружелюбней».

Дорога накрыта черным пологом сосновых ветвей, неподвижный, он казался вырезанным из ночной тьмы. Сквозь узорные прорезы на темные стволы мачтовых сосен мягко падал лунный свет, рыжая кора древних деревьев отсвечивала тусклой медью, поблескивали янтарем и топазом бугорки смолы. Шум копыт был почти не слышен на песке, смешанном с хвоей, увлажненном ночною лесною сыростью, лишь изредка хрустел сухой сучок да всхрапывала лошадь, вдыхая густой, смолистый воздух. В немой, чуткой тишине, в темноте, скудно украшенной полосами лунного света, дорога, прикрытая тенями, текла вдаль, между деревьев, точно ручей, спрятанный в траве, невидимый и безмолвный. Иногда она упиралась в толстые стволы и вдруг круто поворачивала снова в лесную тьму, не имевшую, казалось, границ.

Он дремотно покачивался, думал и смотрел вверх на синие лоскутья неба, где иногда блестели едва различные, бледные и маленькие звезды.

Вспоминалось, как отец говорил о Степане, — раньше, когда Рогачев хаживал на мельницу, он говорил о нем часто, но особенно веско легли в память такие слова отца:

— Пчеле муха — не компания, так и тебе не следует водить компанию с парнями вроде Степки. Ты — работой деда и отца — поставлен хозяином у дела, — стой твердо!

Короткая летняя ночь быстро таяла, черный сумрак лесной редел, становясь сизоватым. Впереди что-то звучно шелкнуло, точно надломилась упругая ветвь, по лапам сосны, чуть покачнув их, переметнулась через

дорогу белка, взмахнув пушистым хвостом, и тотчас же над вершинами деревьев, тяжело шумя крыльями, пролетела большая птица — должно быть, пугач или сова.

Назаров вздрогнул, поднял голову и натянул повод — лошадь покорно остановилась, а он перекрестился, оглядываясь сонными глазами. Но в лесу снова было тихо, как в церкви; протянув друг другу ветви, молча и тесно, словно мужики за обедней, стояли сосны, и думалось, что где-то в сумраке некто невидимый спрятался, как поп в алтаре, и безмолвно творит предрассветные таинства.

«Бог даст — всё будет хорошо», — медленно зрела усыпывавшая мысль.

На траве у корней тускло светились капли росы, ночная тьма всё торопливее уходила с дороги в лес, обнажая рыжий песок, прошитый черными корнями.

Лошадь, зябко встряхивая кожей, потопталась на месте и тихонько пошла, верховой покачнулся, сквозь дрему ему показалось, что он поворотил назад, но не хотелось открыть глаза, было жалко нарушить сладкое ощущение покоя, ласково обнявшее тело, сжатое утренней свежестью. Он еще плотнее прикрыл глаза. Он слышал насмешливый свист дрозда, щелканье клестов, тревожный крик иволги, густое карканье ворон, и, всё поглощая, звучал в ушах масляный голос Христины:

«Миленкий, миленкий, думаю я, как мы жить будем с тобой, — хорошо будем жить...»

Он чувствовал на своем лице ее теплое дыхание, щекотавшее глаза, потянулся обнять девушку и — едва удержался на хребте лошади, быстро откинувшись всем корпусом назад.

— Что ты, чёрт, — пробормотал он, щурясь от солнца.

Щупая ногой воду, лошадь, опустив голову, стояла над рекой.

Николай прикрыл глаза ладонью, оглянулся, смущенный, и, рассерженный, стал бить ногами по бокам животное, дергая повод.

— Куда ты, куда, дьявол!

Лошадь тяжело вздохнула и пошла вброд, он бесильно опустил руку, предоставив ей волю, а когда она перешла на тот берег, угрюмо подумал:

«Стало быть, так надо, не зря это...»

И, ласково потрепав животное по шее, погнал его быстрее. Вот снова на розоватом серебре воды виден челнок Степана, большая голова рыбака торчит над ним, слышен негромкий вопрос:

— Съездил?

— Бог на помочь! — виновато сказал Назаров.

— Спасибо! Скоро ты оборотился...

Не остававливая коня, Николай спросил:

— Как дела?

— Шибко идут.

Назаров погнал лошадь быстрее. В кустах хлопотно щебетали птицы, по ту сторону реки ярко горел лес, облитый щедрым утренним солнцем, звенели жаворонки, голова Николая тяжело покачивалась, и он лениво думал:

«Ну что ж? Кабы совсем без помощи — другое дело, а ведь там лекариха есть. Она старушка знающая».

Но в груди неприятно покалывало.

Дома, войдя в комнату отца, он сразу успокоился и даже едва мог сдерживать довольную улыбку: старик, растрепанный, в спутанных седых вихрах, жалкий и страшный, сидел на постели, прислонясь спиной к стене и открыв рот.

«Вот оно! — воскликнул про себя Николай. — Животное-то почувствовало!»

— Ну что? — спросил отец, громко икнув.

— Не застал, — ответил Николай.

— О господи...

— Надо будет еще сгонять, послать еще кого-нибудь, — бормотал Николай, не глядя на больного.

— Пошли-и, пошли-ка, — жалобно просил отец, снова икая.

Николай вышел в сени; у него слипались глаза, и лицо словно паутиной было покрыто, он крепко тер ладонями щеки и слышал, как тетка Татьяна на дворе будит Дарью:

— Вставай, слышь! Дашка, лошадь убери...

— А лошадь-то нисколько не устала, — тихо звучал слащавый голосок старухи Рогачевой, — гляди-ко ты, а?

— И впрямь ведь...

— Взад-вперед двадцать верст! Скоро обернул!

Николай, нахмурясь, слушал, думая:

«Надо Дашку послать, сейчас пошлю...»

И вдруг очнулся от дремоты, вздрогнув испуганно:

«Эдак пойдет про меня слух, что я нарочно — ах, ведьмы!»

Он тотчас вышел на крыльцо, хозяйственно говоря:

— Тетка Татьяна, пускай Дарья запряжет гнедого да сейчас же едет по доктора — живее!

Сел на ступени крыльца и схватился руками за голову, крепко сцепив зубы.

— Икать начал — это нехорошо! — шептала старуха Рогачева, подойдя ко крыльцу. — Это уж всегда перед концом бывает...

— Плохо, значит?

— Бог боле нас знает, а по моему разуму — попа надо бы! Дарья-то пускай бы заехала?

— Скажи ей...

— А ты не убивайся, ведь не маленький остаешься, а — как надо быть — хозяин...

Николай встал и ушел в комнату.

«Надо мне ласково с ними, а то они меня ославят», — думал он угрюмо и вяло.

— Что вы все — где? — встретил его отец.

— Я — вот, батюшка!

— Погодите, успеете меня бросить, успеете...

Николай прижался спиной к косяку двери, исподлобья глядя на больного: за ночь болезнь так обсосала и обгрызла старое тело, что сын почти не узнавал отца — суровое его лицо, еще недавно полное, налитое густой кровью, исчерченное красными жилками, стало землисто-дряблым, кожа обвисла, как тряпка, курчавые волосы бороды развились и стали похожи на паутину, красные губы, масляные и жадные, потемнели, пересохли, строгие глаза выкатились, взгляд блуждал по комнате растерянно, с недоумением и тупым страхом. Больной непрерывно икал, вздрагивая, голова его тряслась, переваливаясь с плеча на плечо, то стуча



затылком о стену, то падая на грудь, руки ползали по одеялу, щипали его дрожащими пальцами и поочередно, то одна, то другая, хватались за расстегнутый ворот рубахи, бились о волосатую грудь. Из открытого рта со свистом и хрипом изливался тяжелый, острый запах, и всё это отравленное болезнью, рыхлое тело, казалось, готово развалиться по постели, как перекишшее тесто.

— Умираю! — хрипел старик, отделяя каждое слово паузой, едва шевеля пересмякшими губами и облизывая их сухим языком. — Умираю, Николай! Вот, живи теперь своим умом, один. Татьяне — сто рублей дай, корову черную, материно там осталось — ей же! Для жены твоей не годится это. Меня хорони — скромно, береги деньги-то! Людям — не верь, гляди, обманут, никому не верь, жене — не верь! Кроме бога — никому! Господь-батюшка да ты. Жену держи в руках, гляди, — кто всего ближе, он всех опасней! Хомутову Василью пошли полста рублей. В Сибири он, Василий Петрович, в Бурнаул-городе. Степана Рогачева — Степку — берегись, гляди! Он тоже — справедливости ищет, а чуть что — за горло тебя! Знаю я это. Вот и Василий тоже — добра хотел людям мужик, травил меня, как пса чужого. Деньги береги! Бог — всё знает. Ему цена копейки известна, он видел, сколько в нее вложено. Жениться будешь — выбирай девку здоровую. Это прежде всего надо — здоровье! Василью деньги пошлешь, напиши, что помер я; несогласен был я с ним, обижал он меня, а я — его. Три года рычали друг на друга, лаяли, а — вот оно! Не было дружков крепче меня да его! За теткой гляди — воровка она...

Николай сидел на скамье, держась за нее руками, слова отца толкали и покачивали его, он слушал их и, чувствуя за ними великое смятение души, сжатой предсмертной тоскою, сам ощущал тоску и смятение.

За окном весело разыгралось летнее утро — сквозь окропленные росой листья бузины живой ртутью блестела река, трава, примятая ночной сыростью, направляла стебли, потягиваясь к солнцу; шелкали желтые овсянки, торопливо разбираясь в дорожной пыли, обильной просыпанным зерном; самодовольно гоготали

гуси, удивленно мычал теленок, и вдоль реки гулко плыл от села какой-то странный шлепающий звук, точно по воде кто-то шутя хлопал огромной ладонью.

Мимо окна, повизгивая и смеясь, прошли девки работать на огороде — Христина, Наталья, Анютка Сорокина и подросток Устинка.

— Тише, дылды! — закричала на них Татьяна.

Николай встряхнулся, подумав:

«Всё — как следует, как всегда было, а отец — помирает...»

— Иди, поспи, ляг, — хрипел отец. — Не спал ты, иди!

Николай покорно встал и пошел к двери, но вдруг отец странно и страшно завыл, захрипел:

— Су-укин ты сы-ин! Али не успеешь выдохнуться, когда помру я? А-а, ах ты, пес, бесстыжая рожа...

Николай остановился, мотнув головою, и уставился на отца испуганными глазами.

— Ты же сам велел, — пробормотал он.

— Сам, са-ам, э-х ты! Сам я... пес, у-у...

Парню показалось, что этот хрип и вой ударил его в грудь, встряхнул и опустошил, — он оглянулся, заметил, что фитиль в лампадке выплыл из жестяного крестика-держальца и синий огонек чуть виден.

«Надо поправить...»

Качаясь, пошел в передний угол, но остановился — отец, привскакивая на постели, грозил ему дрожащей рукою и всё хрипел:

— И мать твоя тоже — тоже всё ждала, когда сохну, — дождалась, а? Нет еще, нет — погодите! Татьяна знает всё...

Какое-то новое, острое и трезвое чувство вливалось в грудь Николая; стоя среди комнаты, он смотрел на отца, а кожа на лице у него дрожала, точно от холода, и сердце билось торопливо.

— Перестань, батюшка! — глухо сказал он.

Разбирая неверными пальцами бороду и усы, мешавшие ему говорить, точно играя пальцами на губах, старик, вздрагивая от икоты, сучил голыми ногами и бормотал, захлебываясь:

— Ведьмин сын, не криви рожу! Она, мать-то твоя, травила меня, оттого вот — ране времени помираю,— а ты рад!

— А я — рад,— неожиданно для себя повторил Николай и сначала испугался, но тут же вдруг весь вскипел злою обидой.

— Рад? — повторил он вполголоса, подвигаясь к отцу. — Чему рад? Что денег много оставишь? А сколько ты мне ненависти оставишь? Ты — считал это? Деньги ты считал, а как много злобы на меня упадет за твои дела — это сосчитал? Мне — в монастырь идти надо из-за тебя, вот что! Да. Продать всё да бежать надо...

— Не смеешь продать! — дико захрипел отец, выкатив красные глаза, бессильно взмахивая руками и хлопая ими по коленям, как недорезанный петух крыльями. Икота, участившись, мешала ему говорить, язык выскальзывал изо рта, лицо перекошилось, а седые пряди волос прыгали по щекам, путаясь с бороδοю. Николай снова двинулся в передний угол, говоря жестко и угрюмо:

— Кто мне запретит? Это не шутка — без вины виноватому жить!

— Прокляну-у,— сказал Фаддей Назаров ясно и громко, но тут же вздрогнул и покатился на подушки, дергая ногами.

Сын остановился, заглядывая через спинку кровати на тело отца, судорожно извивавшееся и хрипевшее.

«Неужто — отходит?» — мельком подумал он, видя, как шевелятся серые волосы вокруг рта и дрожит, всползая вверх, правая бровь. Осторожно, на цыпочках, вышел в сени и крикнул громким шёпотом во двор:

— Тетка Татьяна!

С огорода доносились девичьи голоса и тихий смех, солнце слепило глаза, кружилась голова.

— Идем-ка,— сказал он тетке,— нехорошо с ним!

Потом, точно сквозь сон, он видел, как тетка со знахаркой усадили отца в постели, прислонив его к стене,— он сидел, свесив голову набок и на грудь, как бы разглядывая что-то в ногах у себя одним вытаращенным глазом, досадливо прищурив другой и тихонько мыча.

Это серое тряпичное лицо, искаженное хитрой, насмешливой улыбкой, словно дразнившее кого-то, показалось Николаю чужим и испугало его.

«Пожалуй — зря говорил я», — думал он, покачиваясь на ногах.

— Ты бы пошел, поспал немного, — сказала Рогачиха, дотрагиваясь до его локтя. — Лица нет на тебе!

— А он как?

— Что ж он? Его дело — не в наших руках... В случае — разбудим...

Николай вышел во двор, прошел под поветь, лег там в телегу, полную сеном, и тотчас заснул.

## V

Разбудила его Дарья. Стоя на ступице колеса, она трясла его за плечо и громко шептала:

— Николай жа — отходит! Встань, говорят тебе — экой!

Потный, разморенный сном, он вышел из-под навеса, протирая глаза, приглаживая волосы, — перед крыльцом собрались девки, блеснули карие глаза Христины, на ступенях стояла, что-то тихонько и торопливо рассказывая, старуха Рогачева. Оправив рубаху, он быстро прошел сквозь толпу девок и все-таки слышал, как Анна Сорокина сиповатым голосом сказала:

— Отец — помирает, а сынок — почивает!

Николай мысленно обругал ее, вошел в сени и заглянул в комнату: у постели, закрыв отца, держа его руку в своей, стоял доктор в белом пиджаке. Штаны на коленях у него вздулись, это делало его кривоногим, он выгнул спину колесом и смотрел на часы, держа их левой рукою; за столом сидел широкорожий, краснощекий поп Афанасий, неуклюжий и большой, точно кошна, постукивал пальцами по тарелке с водой и следил, как тонут в ней мухи.

— Николушка-а! — заныла тетка Татьяна.

Николай отступил в сени, а отец Афанасий тяжело поднялся на ноги, топая, вышел к нему, положил на плечо его тяжелую руку и, поталкивая в темный угол сеней, сказал негромко, внушительно:

— Как же это ты, а? Экой ты, братец мой, а? Надо было раньше позвать меня — что же это ты, а? И доктора...

— Не верил он докторам,— глухо сказал Назаров.— Я говорил ему, а он — не надо!

— Как же вот тетка иное говорит?

— Врет она.

— Татьяна! — позвал священник.— Подь-ка сюда! И, когда она вышла, отирая передником мокрое лицо, ласково, тихо спросил ее:

— Звал доктора Фаддей-то, велел звать, а?

Всклипывая и кося глазом на Николая, она ответила:

— Бредил он всё, всюю ноченьку...

— А доктора-то звал?

— Разве поймешь? Бредил...

— Да — погоди! Ты же сказала, что он утром вчера звал еще...

— Не помню я, батюшка, ничегошеньки не помню. Ведь горе-то нам какое!

Священник покачал головою и сожалительно проговорил:

— Эх вы, людие! Экий вы дикий народ! Нехорошо, брат, Николай. Невнимателен ты к родителю! Вот — по вине твоей помирает он без покаяния, видишь, а? «Оправдался матушкин зарок!» — подумал Николай.

— Глухая исповедь-то была, а ты — дрых, да, брат! Вольнодумец ты! Нехорошо.

В сени вышел доктор. Священник спросил его:

— Финик?

Доктор утвердительно кивнул головой, вынул папирску, вставил ее в рот и пошел на двор, а поп за ним, кратко бросив Николаю:

— Вот видишь, а? То-то!

Назаров смотрел через дверь, как сопит и дергается на сбитой постели расслабленное, неприятно пахнущее тело отца, шевелятся серые усы на неузнаваемом лице. Тучей вились мухи, ползали по клейкому лбу, путались в бороде, лезли в черный рот,— он сурово сказал тетке:

— Отгоняй мух-то!

Со двора в сени напалзл тихий говор девичьих голосов — Дарья торопливо, как сорока, рассказывала что-то, а ее перебивали жадные восклицания:

— Неужто?

— Не был?

«Это она про меня, пожалуй, плёха», — сообразил Николай и, отворив дверь в клеть, крикнул:

— Дашка!

Она вбежала в сени на цыпочках, остановилась, заглядывая в избу, откуда истекал густой храп и беспоконное гудение встревоженных мух, вытерла рукам рубахи потное лицо, и оно стало испуганным.

— Ты чего там врешь девкам?

— Я? Ничего не вру, — шёпотом ответила она.

— Слышал я! Про меня!

— Вот те крест...

— Погоди!

Николай задумался на минуту — как лучше говорить с ней? Потом спросил тихонько:

— Знаешь, что не был я у доктора?

— Работник его сказывал...

— А ты разболтала всем? — зло прошептал он. — На́ что?

— Почему я знала, что не надо говорить? Да и не я первая-то, а тетка Татьяна! Чай, смешно всем — поехал, а не доехал!

Она говорила простодушно, и ей, видимо, хотелось улыбнуться: толстые губы дрожали на красном широком лице с овечьими глазами.

— Дьяволы! — тоскливо сказал Николай. И вдруг неожиданно для себя заговорил укоризненно: — Тебе же хуже, что язык распустила зря! Кто знает, что я сделаю? Может, я бы на тебе женился?

«Что я говорю? — спросил он сам себя. — Зачем это?»

А Дарья, удивленно открыв рот и смигнув глазами, шепнула, точно задыхаясь:

— Как же Христина-то?

— Ты — работница хорошая, — смущенно молвил Николай. — Мне что? Моя воля! Кого хочу, того и выберу! А теперь вот...

Он замолчал, продолжая про себя:

«Начнут смеяться...»

Дарья, закрыв рот ладонью, улыбалась, ресницы у нее дрожали, высокая грудь надулась.

— Чему смеешься? — бормотал Николай. — Дуреха! Поди, пошли ко мне Христину, да тихонько, не ори там! А Устюшку пошли на село, пусть найдет Степана Рогачева, шел бы сюда. Он дома, спит, наверно.

И, сделав голос ласковее, добавил:

— Ты — послужи мне честно, за совесть, я тебе замуж выйти помогу, поблагодарю хорошо, — слышишь? Скажи девкам, что соврал докторов работник...

Дарья вздохнула, с сожалением прошептала:

— Да уж разошлось ведь...

— Ну — иди! Ступай! — сердито крикнул Назаров, присев на мешки с мукой.

В клетки вкусно пахло сушеными грибами, хлебом и копченой свининой; Николай вспомнил, что он не ужинал вчера и сегодня тоже не ел, — сразу мучительно захотелось есть, рот налился слюною, он с усилием проглотил ее, стыдясь своего желания. Чуть слышно доносились хриплые вздохи умирающего, тихонько сморкалась Татьяна, а Рогачиха шептала молитвы.

В дверь осторожно заглянула Христина, он схватил ее за руку, торопливо спрашивая:

— Что они говорят?

— Кто?

— Девки, ну?

Тихонько выдергивая свои пальцы из его руки, она прошептала:

— Пусти-ка, нехорошо тебе теперь со мной...

— Что говорят?

— Да — ничего! Пусти, — повторила она и вдруг, странно дернув головою, сказала чуть слышно:

— Неладно, что не съездил ты по доктора-то! Ведь всё одно — умер бы он, али доктор поможет?

У него опустелись руки, неприятная слабость обняла тело. Христина, невнятно прошептала что-то, ушла, и тотчас в дверь сунулось оплаканное, фальшивое лицо тетки с покрасневшим, точно у пьяницы, длинным носом.

— Затворил бы двери-то, мухи набьются!

«Следит, дьявол!» — подумал Николай, а вслух грубо сказал: — Время тебе про мух думать!

Время ползло медленно, точно тяжелый воз в гору, иногда оно как будто совсем останавливалось, и Николай чувствовал тяжесть в груди, она давила все мысли, внушая желание уйти куда-нибудь, спрятаться.

«Придет Степан — скажу ему всё, — соображал он. — Вот теперь хорошо бы покурить, курильщики говорят — табак приводит мысли в порядок». Всё сильнее хотелось есть. Он поставил локти на колени, спрятал голову в ладони, чтобы не видеть съестного, и замер, бессвязно думая о происходившем.

Было слышно, как за воротами спорят поп и доктор, а с крыльца в сени втесал певучий шёпот Рогачихи:

— И вот, сударыни мои, говорит он ему, начальнику-то: эдак вы меня, ваше благородие, ничему доброму не научите, — а у самого кровь-то из носа в два ручья так и хлещет, так и льет — с того времени и курнос он, а вовсе не от французской болезни.

— Дашка! Грей чугуны! — крикнула тетка Татьяна.

«Это — чтобы покойника обмывать», — сообразил Назаров.

— Ну? — раздался на дворе строгий возглас Рогачева.

Назаров вскочил, выглянул за дверь: Степан, поставив ногу на ступень и держась рукою за перила, слушал быстрый шёпот матери и перебивал ее возгласами:

— Ну, так что? Тебе какое дело? А ты брось ерунду пороть, матушка!

Шагнул вперед и, встретя взгляд Николая, спросил:

— Что, брат?

— Про что она говорила?

— Да так, свое, старушечье, — нехотя ответил Степан, подходя.

Назаров ввел его в клеть, затворил дверь и сразу рассказал, как заснул по дороге к доктору, а лошадь поворотила назад. Сначала Рогачев слушал серьезно,



потом — губы его дрогнули, и по скуластому лицу добродушно расплзлась улыбка.

— Во-он что! То-то больно скоро ты оборотился! Ну, ездук!

— Боюсь я — выдумают про меня чего не надо?

— А ты не бойся — уж выдумали.

— Ну-у?

— На это — чтобы деготьком подмазать человека — времени много не надо!

— Как же быть?

— Да никак! Что тебе?

— Что? Хочется жить примерно, чтоб дурного не говорили...

— Не делай — не скажут.

— А что я сделал?

Степан подумал и ответил просто, без упрека:

— Надо было все-таки позвать доктора тотчас, как он лег.

— Да ведь никогда не хворал!

— И умирает — впервой.

Николай замолчал, оглянулся и сконфуженно сказал:

— А тут — есть хочется до смерти!

— Так что ж? Вон еды сколько!

«Да — стыдно!» — хотел сказать Назаров, и сказал: — Отрезать нечем.

— Чудишь ты что-то! — медленно выговорил Рогачев, сунув руку в карман вытертых и заплатаанных шаровар. — Будто ножа в дому нет! На вот!

Он протянул складной нож, присматриваясь к Николаю и говоря:

— Осунулся за ночь-то...

Назарову было приятно услышать это. Кромсая хлеб, он переспросил:

— Осунулся? Тяжело мне!

Потом, сидя на мешках, они смачно жевали хлеб с ветчиной, а через минуту дверь открылась, Дарья сунула к ним свое румяное лицо и, пораженно открыв рот, с ужасом прошептала:

— Смотрите-тко — ест!

— Чего тебе? — спросил Николай, но она уже исчезла, а Рогачев тихо засмеялся, говоря:

— Побежит теперь и всем скажет о жестоком твоём сердце — отец у тебя помирает, а ты — ешь!

Назаров отложил в сторону кусок хлеба, встал, угрюмо оглянулся и вздохнул.

— Надо было дверь запереть!

— Вот! — кивнул головою Степан. — А то не есть вплоть до поминок — ещё лучше!

Снова отворилась дверь — тетка Татьяна пропела голосом нищей:

— Пошел бы ты, Николаюшко, к родителю-то, в остатний раз, поглядел бы, как расстается душенька его добрая с телом-плотью-то!

— Иду, — сказал Николай, отирая рот рукавом рубахи, и, прежде чем тетка скрылась, проворчал:

— Слышишь — добрая душенька! Я те скажу — терпеть она его не может, отца-то, да и он ею помыкал хуже, чем Дашкой, воровкой звал и всё...

— Уж так, брат, повелось, — усмехнулся Рогачев.

Около постели, вздыхая, перешептываясь, отирая дешевые слезы, стояли девки, уже много набилось людей из села, в углу торчал, потирая лысину, Левон, пьяный и скучный с похмелья, а на скамье сидел древний старик Лукачев, тряс желтой бородою и шепеляво бормотал, точно молясь:

— С малых лет знал его, господи Иусе, махоньким знал...

Крепкий запах пота девок, смешанный с тяжелым запахом больного, наполнял горницу, в окна вместе с солнцем смотрели чумазные рожи детей, к спинке кровати были прикреплены две восковые свечи, тихо колебались бледные огоньки с темными зрачками внутри, похожие на чьи-то робкие, полуслепые глаза. Отец лежал спокойно, сложив руки на груди, коротко и отрывисто вздыхая, в черные пальцы ему тоже сунули зажженную свечу, она торчала криво, поднималась, опускалась, точно вырываясь из рук, воск с нее капал на открытую грудь, трепет огня отражался в блестящем конце носа старика и в широко открытых уснувших глазах.

Глаза смотрели сосредоточенно и важно, отражение огня свечи оживляло их, казалось, что свет истекает

из их глубины, что он и есть — жизнь, через некоторое время он выльется до конца — тогда старик перестанет дышать и прекратится это опасное качание свечи, готовой упасть и поджечь серые волосы на груди умирающего.

— Царица небесная, матушка, — всхлипывая, шептала Татьяна, девки сморкались, шелестел голос Лукачева, а Христина, стоя в стороне ото всех, наклонив голову и глядя на руки свои, беззвучно шевелила губами и пальцами.

«Словно деньги считает», — мельком подумал Николай и спросил тетку:

— Где же поп?

— Чай пить пошел с доктором, послали за ним!

— Христе милостивый, — бормотал Лукачев, — со святыми упокой иде же нет печали и вздыхания...

Здесь печали было так много, что Назаров чувствовал, как она, точно осенний туман, обнимает всё его тело, всасывается в грудь, теснит сердце, холодно сжимая его, тает в груди, поднимается к горлу потоком слез и душит.

— Ко-ончился, — неестественно взвизгнула тетка Татьяна.

Николай ткнулся головой в стену и завыл угрюмым, волчьим воем, топая ногами, вскрикивая:

— Батюшка, — как же я теперь? Батюшка, — родной!

И все завыли, точно устав покорно наблюдать тихую работу смерти, хотели как можно скорее оповестить друг друга, что все они остались живы.

Испуганного почти до обморока Николая Степан и Христина вывели на двор, на солнце, и посадили его под окном на завалинке — Рогачев молчал, ковыряя землю пальцами ноги, а Христина, наклонясь к Назарову, плачущим голосом говорила:

— Николай Фаддеич, миленький — как же быть-то? Все помрем! Не убивайся, не надрывай сердечко!

День был жаркий, сухой, солнце смотрело прямо в мокрое лицо Назарова, щекотало веки, заставляя щуриться, и сушило слезы, покрывая кожу точно коростой. Он двигал мускулами, чувствуя всё лицо

склеенным, плакать было неудобно, а перестать — неловко. Да уже и не хотелось плакать.

— Дайте умыться! — попросил он расслабленно.

Христина убежала, а Степан сел рядом и негромко посоветовал:

— Теперь — гляди в оба! Начнут воровать — растащат всё!

— Кто? Тетка? — спросил Николай, настораживаясь.

— Кому удобно, всякий! Ты вот что — позови Христинину мать, она баба честная, да и тещей тебе будет, ей есть интерес добро твое беречь!

— Это — верно, — сказал Назаров, тяжело вздохнув.

Подбежала Христина с ведром воды и железным ковшом.

— Наклони голову-то! Господи, спаси!

Она вылила на голову ему три ковша студеной, как лед, воды, а он, судорожно споласкивая щеки, думал: «Погожу, не буду звать Христинину матку — так сразу в чужие руки попадешь! Кто знает, что я решу? Нет, это нельзя еще!»

А Христина, наклонясь, шептала в ухо ему:

— Ты бы пошел в избу-то — сейчас обмывать станут покойника, батюшку твоего, — ключ-то от укладки с деньгами взять бы тебе!

— Это — надо, — пробормотал Николай и, отжав мокрые волосы, пошел в избу — там, раздевая труп, возились тетка и Рогачиха.

— Да ты согни ему руку-то, экая! — уговаривала старуха Татьяну, а та, покряхтывая, отвечала обиженно:

— Легко сказать — согни, не подниму я его!

Покосившись на большое желтое тело, Назаров спросил:

— Где ключ?

— Тут где-нибудь — погляди под подушкой, — ответила Татьяна, поддерживая тяжелое тело, в то время как знахарка стаскивала с него рубаху.

Ему не хотелось совать руку под подушку, она казалась влажной и липкой, и он знал, что под нею

не найдет ключа,— отец носил ключ на поясе. Видя, как опасливо шмыгает тетка носом, стараясь не глядеть в лицо Николая, он понял, что она уже спрятала ключ, и снова спросил:

— Пояс где?

— Да погоди, батюшка, постыдись, чать, видишь — дело делаю,— укоризненно и громко сказала Татьяна.

Николай смутился, а старуха Рогачева скомандовала:

— Теперь — снизу подними!

Татьяна выпустила тело брата из рук, оно шмякнулось о постель, голова упала на подушку боком, на глаз усопшего напоззла со щеки кожа. Николаю показалось, что отец подмигивает ему, словно говоря:

«Вот, брат, как со мною обращаются, а?»

— Господи, спаси, помилуй,— бормотала знахарка, стягивая штаны с толстых ног покойника.

— Давай ключ,— глухо сказал Назаров, подвигаясь к тетке, она окинула его суровым взглядом и, сунув руку за пазуху, швырнула к ногам племянника грязный шнурок.

— На, бери!

«Выгоню ее!» — решил Назаров, нагибаясь, чтобы поднять ключ.

На двор он вышел сцепивши зубы, угрюмый и подавленный, сел рядом со Степаном на завалинке и сказал, жалуясь:

— Тетка уж подобрала ключ-то!

— Какой?

— От денег!

— Так,— равнодушно отозвался Рогачев. Он резал ножом поплавок из куска сосновой коры, а у ног его бесстрашно прыгали воробьи, поклевывая стружки и разочарованно отскакивая.

Назарову хотелось говорить о похоронах отца — как лучше сделать их, о необходимости прогнать тетку, о Христине и своих планах, но он не находил слов и, отягченный желаниями, вздыхал, почесывая мокрую голову. По двору бегали девки, нося воду, точно на пожар, ими хозяйственно командовала Дарья, бесцельно расхаживал скучный измятый Левон, пиная

ногами всё, что попадалось по дороге. Вот Дарья облилась водою и стала встряхивать юбку, высоко обнажая крепкие ноги.

«Здоровая девка! — задумался Николай, глядя на нее. — Смирная. Что хочешь, то и сделает. Сирота, к тому же...»

И, думая это, вслух медленно говорил:

— Просто как всё!

— Что? — осведомился Степан, не взглянув на него.

— Да вот, — был человек, распоряжался, боялись его, и нет человека!

— Другой будет.

— Это ты про меня?

— Хоть про тебя.

— Да-а, я уж другой!

Степан, взвесив на ладони вырезанный поплавок, обдул с него пыль.

— Не веришь?

— Чему?

— Что другой я буду?

— Конечно, другой! — не сразу ответил Степан, глядя в открытые ворота на реку.

— Не веришь! — сказал Николай, вздыхая, и опустил голову.

Рогачев приподнял свое татарское лицо, поглядел в небо, сощурился глазами, и сказал:

— Полдень.

И обернулся к товарищу боком, глядя на деревню из-под широкой ладони. Назаров почувствовал себя обиженным.

Солнце стояло в зените; посреди села, точно огромный костер, ярко горела красная церковь; от пяти ее глав во все стороны, как иглы ежа, раскинулись, ослепляя, белые лучи, золоченый крест колокольни таял в синем небе, потеряв свои очертания. Над песчаными буграми струился горячий воздух, синеватая пелена покрывала лес, по берегу реки бродили полуголые ребятишки, смешно маленькие издали. Раскрашенные солнцем поля, одетые золотом ржи, казались пустынными, горячая тишина стояла над ними, доно-

сился сытный запах гречихи, и всюду, с нагретой земли, напрягаясь, поднималось к небу живое.

Воробьи, чирикавая, купались в пыли, из окна избы вместе с тяжелым запахом изливались скучные слова тетки:

— Живешь — живешь, работаешь — ломишь спину, да и охнешь — господи!

— Положено мучиться нам...

— Обедать! — крикнула Дарья.

Молчание Степана всё более обижало Николая, в голове у него мелькали задорные, злые слова и мысли, но он понимал, что с этим человеком бесполезно говорить, да и лень было двигать языком — тишина и жара вызывали сонное настроение; хотелось идти в огород, лечь там в тень, около бани, и лежать, глядя в чистое небо, где тают все мысли и откуда вливается в душу сладкая спокойная пустота.

Ему так захотелось этого, что он должен был помнить себе:

«Отец помер...»

Подошла Дарья и попросила:

— Николай Фаддеич, ты в клетки ел, так ты скажи тетке Татьяне, что это ты, чтобы мне не отвечать!

— Она тут — не хозяйка, — сурово сказал Николай.

— Ты все-таки скажи!

— Ладно.

Дарья ушла, а он, глядя вслед ей, думал:

«Не больно статна, да — сирота, вот что! А у Христины — мать, дядья — люди бедные, наянливы будут. Это надо обдумать. И ведь намекала она мне, чтобы я с батюшкой сам покончил — это верно, намекала! А коли у ней к одному человеку жалости нет, и другому тоже не хватит. Всё это надобно обдумать, подробно».

Он сгреб ногами кучу земли, поглядел на нее — она показалась ему похожей на могильный холм, и он тотчас разровнял ее.

«Если дать Степану денег взаймы на обзаведенье, на женитьбу — тогда он, пожалуй, иначе поведет себя со мной».

Под поветью собрались за длинным столом девки,

туда прошла тетка со знахаркой, Назаров проводил их озабоченным взглядом и сам себе ответил:

«Нет, не надо этого. Должник другом не бывает».

С нагретой земли двора поднимались одуряющие запахи, и среди них ясно различался вытекавший из окна запах мертвеца.

«Трудно будет мне! Станут говорить, что я хотел смерти отцу, нарочно доктора не звал, и к его грехам, на меня оставленным, этот прибавят еще».

Ему стало горько думать о будущем, на глаза выкатились слезы, и снова захотелось уйти куда-нибудь.

«Будилова надо известить, что помер отец-то! Вот те и долговечны мельники! Ошибся барин. Как бы и мне не ошибиться в чем».

Жара, сгущаясь, вызывала жажду, он облизал губы и крикнул:

— Дарья, дай квасу!

Там зашумели, несколько раз повторив торопливо и озабоченно:

— Квасу! Квасу просит!

Назаров внутренне усмехнулся, этот шум был приятен:

«Признали хозяином!»

Вышла Дарья с ковшом в руке, шла она не торопясь, вытянув руку и глядя в ковш — подошла и сказала ласково:

— Выпей на здоровье!

Он выпил, отдал ковш, внимательно оглянул ее с ног до головы, как лошадь, и, кивнув головою, кратко бросил:

— Спасибо.

Освеженный, отодвинулся из-под окна, прислонился спиною к бревнам избы и, закрыв утомленные блеском солнца глаза, успокоенно подумал:

«Пес с вами со всеми, проживу и один!»

## VI

Дарья, размахивая лопатой, загоняла во двор куриц; петух шел не торопясь и величественно, а куры истерически кудахтали, метались, растопырив крылья



и пыли. С куском хлеба во рту и огурцом в руке, Дарья топала тяжелыми ногами и мычала:

— У-у, дуй вас горой!

Ее большие груди тряслись под рубахой, как вымя стельной коровы, и живот у нее был велик, как у беременной, а ступни ног, казалось, не имеют костей.

«Неряха,— сердито думал Назаров, глядя на нее исподлобья,— нескладная! Как ее ни одень — всё ступа будет. Такою женой — не похвастаешься! Всё это я — зря... тороплюсь всё...»

Он угрюмо оглянулся: по двору лениво расходились девки, отяжелевшие от еды, Христина шла в обнимку с Натальей и через плечо оглядывалась на него, задумчиво прикусив губы, а Наталья, тихонько посмеиваясь, что-то говорила ей в ухо — был виден ее темный бойкий глаз.

«Покойник в доме, а она смеется»,— подумал Назаров; потом, когда они ушли в огород, встал, поглядел на реку, где в кустах мелькали, играя, ребятишки, прислушался к отдаленному скрипу плохо смазанной телеги, потом, ища прохлады, прошел в сарай. Там, услышав девичьи голоса на огороде, он пробрался осторожно к задней стене, нашел в ней щель и стал смотреть: девки собрались в тени, под сосной; тонкая, худощавая Наталья уже лежала на земле, вверх лицом, заложив руки под голову, Христина чистила зубы былинкой, присев на стол и болтая голою ногой, а Сорокина, сидя на земле, опираясь затылком о край стола, вынула левую грудь и, сморщив лицо, разглядывала темные пятна на ней.

— Ай-яй, как тебя отделали,— качая головою, сказала Христина, тоже кривя губы.

— От милого и боль сладка,— сиповато отозвалась Анна, поглаживая грудь.— А вы думали — как? Погодите, будете замужни — узнайти скуе, да-а! Иной щипок — как огнем ожжет, будто уголь приложен к телу, ажно сердце зайдетя, остановится! Это надо зна-ать!

Наталья медленно и будто сонно спросила:

— Да кто у тебя милый-то?..

— Уж есть такой!

— Где же? Со всяким ты путаешься, кто хочет, — строго и пренебрежительно сказала Христина, отбросив былинку и нагнувшись сломить другую.

— С кем хочу, да-а, — с усилием говорила Анна, спрятав грудь за пазуху и сладостно вытягиваясь по земле. — Я женщина вдовая, бездетная, мое дело свободное, с кем хочу, с тем и лечу! Закрою глаза — вот он и — он, самый желанный, самый разлюбезный!

Повернувшись на бок, спиною к Анне, Наталья, позевывая, выговорила:

— И верно, что живешь ты, закрыв глаза!

— А вижу-то боле вашего, девоньки, — куда боле! Вам и во сне того не видать, чего я наяву знаю, во-от — во сне даже!

Она говорила негромко, почти шёпотом, растягивая слова и чмокая, точно целуя их. Жадно вслушиваясь в речь ее, Николай понимал, что Анна поддразнивает девиц, но ее бесстыдные слова приятно щекотали его. Он неотрывно следил за игрой ее круглого, почти девичьего лица, — немного уже помятое, оно освещалось глазами голубыми, как васильки, и светлыми, точно у ребенка. И рот у нее был маленький, ребячий. Когда она улыбалась, на щеках и подбородке ее являлись ямки, лицо становилось добрым, ласковым и как-то славно, тихо веселым.

«Слова говорит бесстыжие, — напомнил он себе. — А те, дуры, спрашивают! Разве можно с такой водиться? Надо сказать Христине!»

Христина тоже села на землю, рядом с Натальей, тихо спросив ее:

— У тебя как со Степаном?

— Да так всё, — не сразу ответила девушка, вздыхая. — Не в тех он мыслях, — добавила она, подумав, а Сорокина, вдруг приподняв голову, сказала с улыбкой:

— Правда ли, врут ли, а есть будто, девоньки, словечко такое, всё позволяет, по-христиански, как надобно, и ограждает от детей, — ей-бо!

— Ну, врешь, — сказала Христина, хмурясь и строго поджимая губы. Назаров одобритительно отметил: «Ишь какая! Так...»

— Я и говорю — не знай, правда ли, это мне сляновская попадейка говорила.

Над выполотыми грядами жуликовато перепархивали воробьи, на ветвях сидели две вороны и жирно каркали, словно сообщая друг другу что-то очень важное.

— Не в тех он мыслях, чтобы жениться, — потягиваясь, задумчиво повторила Наталья. — Да и я сама, тоже как-то...

— Разонравился?

— Не-ет, зачем! Он парень хороший, — нет! А так, как-то — не знаю, что сказать! Дружба у нас с им.

— Чай, то и хорошо!

— Еще бы! Вот и боязно будто — женимся, да как начнется бедность, да дети и всё это, как положено, — не потерялась бы дружба-то, думаешь...

— Ой, девоньки, девоньки! Не сладка доля рабья, а того горше — бабья! Пожить бы годок хоть без работы!

Анна засыпала — это уж сквозь дрему было сказано ею. Христина заглянула в остроносое смуглое лицо подруги и сказала неодобрительно:

— Мудришь ты чего-то.

Наталья спросила тихонько:

— А вы — скоро поженитесь?

— Торопить буду. Измаялась я от этой сухой-то любви!

— Обнимаетесь?

— Ну а как? Чай, и вы...

— Не охоч Степан.

— А мой — ух как! — хвастливо сказала Христина. — Того и гляди, обабит!

Назаров самодовольно улыбнулся, но тотчас же подумал, невесело и нерешительно:

«Анка, пожалуй, проще их! Это всё Степаново внушенье! А Хриська рано рот разевает, еще кусок не в руке!»

Он рассматривал ее как незнакомую, и, хотя слова ее были неприятны ему, все-таки она была красивее подруг — такая сильная, рослая, с аккуратными грудями.

«Эту хоть в лохмотья одень, не выдаст! И крепости неиссякаемой», — соображал он, вглядываясь в ее лицо с прямым носом и темными, строго сросшимися бровями.

— Я даже думаю так, чтобы сегодня вечером решительно с ним поговорить.

— Чай, погодила бы?

— А чего? Любил, что ли, он отца-то? Я, девка, душу его знаю — душа у него очень жидкая!

«Так!» — мысленно воскликнул Назаров, крепко стискивая зубы.

Анна вздохнула и замычала во сне, а Назаров, откачнувшись от стены, вышел из сарая на двор и остановился посредине, под солнцем, один в тишине...

«Жидкая душа! — с обидой думал он, оглядываясь. — Ладно — погоди!»

На дворе было странно пусто и тихо. Из телеги торчала до колена голая, красная нога Дарьи, под поветью храпел Левон, в сенях точно шмель гудел — ворчала Рогачева.

«Умер отец, — еще раз напомнил он себе, — а всё — как всегда, как следует!»

Это удивляло его и немножко пугало, но удивление и испуг были мимолетны, — всё думалось о Христине. Вдруг он представил себе ее испуганной до слез: стоит она перед ним в одной рубаше, лицо бледное, глаза часто мигают, а из-под ресниц катятся слезы, обе щеки мокры от них и — дрожат.

Он тряхнул головою, усмехаясь, и снова предостерег себя:

«Не надо торопиться!»

В сердце всё более тревожно колебалось беспокойное чувство, вызывая неожиданные мысли, раскачивая его из стороны в сторону, точно маятник, — он всё яснее ощущал, что земля стала нетверда под ногами у него и в душе будто осенний ветер ходил, покрывая ее время от времени скучной мелкой рябью.

Из окна избы на двор, в жаркую тишину, изливался однообразный звук — это старуха Паромникова читала Псалтырь:

— «Что есть человек, яко помниши его, или сын

человечь, яко посещаеши его? Умалил еси его малым сим от ангел, славою и честью венчал еси его и поставил еси его над дела руку твоею, вся покорил еси под нозе его...»

«Первую кафизму читает, — сообразил Назаров. — Очень подходит к отцу: всё покорил он себе, крепко стоял».

Он сокрушенно подумал:

«Рано помер отец-то; все-таки недовольно окреп я!»

Вспомнились обидные слова Христины:

«Жидкая душа».

Но теперь — они не показались обидными, а только всколыхнули сердце завистливым вздохом:

«Умная, чертовка!»

Жара обнимала его, ослабляя мысли, хотелось лечь где-нибудь и подремать, он уже пошел, но в ворота явилась высокая сутулая старуха, с падогом в руке, оглянула двор, остановила глаза на лице Николая и, бросив падог на землю, стала затворять ворота, говоря глухо и поучительно:

— Покойник в дому, а ворота отперты! Али еще смерть ждете?

Назаров подошел и помог ей, потом она сказала, указывая на землю:

— Сделай уважение — подай падожок, наклониться мочи нету, спинушка болит. Рогачиха тут, у тебя?

Ему понравилось, что она сказала — у тебя; подавая ей падог, он ласково ответил:

— Здесь, а что?

— Надо ее! Шла бы к Яшиным, у них девчоночка на зуб бороны наступила, кровь заговорить.

— И Христина здесь.

— Знаю, — пробормотала старуха, заглядывая в окно и крестясь.

У окна явилась Рогачева, они тихо заговорили, а Назаров прислонился к верее и смотрел на старуху, быстро вспоминая всё, что знал о ней.

Одни считали ее полоумной, шалой и ругали, другие находили, что Прасковья — человек большого ума, справедливый и добрый. Некоторые мужики приходили к ней жаловаться на жен своих, другие кричали,

что она портит баб, а бабы почти все боялись и уважали ее.

Она была сухая, плоская, как доска, очень сутула, точно хребет у нее переломлен. Ходила всегда посреди дороги, хотя бы и в грязь, походка у нее была мелкая, спорая — голова наклонена, и лица на ходу не видно, но, останавливаясь, она поднимала голову и смотрела на всё угрюмыми глазами, неласково и неодобрительно. Лицо у нее было тоже плоское, темное, как на иконе, во множестве морщин, нос крючковатый, как у ведьмы, губы тонкие, сухие, а подбородок — острый. Не верилось Назарову, что она мать Христины, и как-то никогда не хотелось думать о ней.

С крыльца торопливо сбежала Рогачева — Прасковья молча повернулась к воротам, но Николай остановил ее:

— Останься на минуту, тетка Прасковья!

Она взглянула на него равнодушно и темно и сказала Рогачевой:

— Ну, иди. Догоню.

— Пойдем-ка, — деловито говорил Назаров, — надо мне сказать два слова, идем на огород.

Когда проходили мимо девок, раскинувшихся под сосною на земле, Прасковья взглянула на них, на солнце и проворчала, остановясь:

— Развалились! Пора вставать, работать!

— Погоди, не тронь, — торопливо сказал Николай.

— Мне — что? Дело не мое — твое.

Он довел ее до бани, присел на завалинке, похлопал ладонью рядом с собою и вдруг — смутился, не зная, о чем и как говорить с нею.

Потом помолчал, приняв солидный хозяйский тон, заговорил, с трудом подбирая слова и запинаясь:

— Вот, тетка Прасковья, ты числишься человек справедливый, хочу я с тобой потолковать... Тетке я не верю, и батюшка не верил ей... а никого больше нет, так вот, значит, ты...

Он плел слово за словом, глядя под ноги себе и точно подбирая рассыпанные мысли, а она долго слушала его, не перебивая, потом спросила коротко:

— Про Христину, что ли, говоришь?

— И про нее, конечно...

— Ну что ж! Дело — на всю жизнь. Только — мать я ей, не поверишь ты мне...

Он сказал, подумав:

— Поверю.

Шевыря в траве концом палки, она вполголоса продолжала, не глядя на него:

— Ну ладно, коли согласишься! Для крепости я тебе скажу — уйду я скоро. Меня в расчетах не имей.

— Куда ж ты?

— На богомолье, ко святым. Нажилась, нагляделась — будет с меня. Мне спокойно это, коли дочь пристроена хорошо. Я те скажу правду про нее, прямо как мать скажу: девка она тебе очень подходящая. Суровая девка, не жалобна, не мотовка, рта не разинет, хозяйство поведет скупое, ладно. Она тебе будет в помощь. Есть девки добрей ее, это — так, а она тебе — лучше. Чего тебе не хватит, у ней это окажется.

Назаров слушал, верил, но чувствовал, что сердце у него невесело сжимается. Эта чудная баба говорила каким-то неживым голосом, однозвучно, устало и словно не надеясь, что слова ее будут приняты.

На ветле против них сидела поджарая ворона, чистила крылья и смотрела избочась, поблескивая вороватым глазом. Николай свистнул, она встряхнулась, расправила крылья, подождала и снова стала чистить перья, покачиваясь.

— А ты — уходишь? — спросил Назаров, глядя на птицу.

— Ухожу. Как, бог даст, устроится она, с тобой ли, с кем ли, я и пошла. Шесть годов думаю об этом. Ты женись на ней, женись, это лучше всего тебе! Мельницу — продай, да в город, лавочку открой там — вот тебе и хорошо будет. Она тоже не крестьянка, Хриська-то. Ей за прилавком стоять — самое место!

«А верно, что справедливая она, — думал Назаров. — Вот как про дочь говорит, словно про чужую! В свахи не очень годится. И насчет лавочки...»

— А за ней надобно будет глядеть хорошим глазом, — слышал он, сквозь свои думы, спокойный ворч-

ливый голос. — Девка красивая, тщеславная, ей надо родить почаще, а то она, гляди, ненадежна бабенкой будет. Ты, положим, парень здоровый, ну все-таки...

— Отчего ж ты уходишь?

— Как это — отчего?

— Ну — жить, что ли, плохо? Отчего?

Искоса взглянув на него, она ответила:

— Ото всего ухожу. Человек я нездоровый, никому не надобный — вот и ухожу. А жить — так это всем плохо, не мне одной.

Замолчала, постукивая палкой по тупому носку тяжелого, мужицкого сапога, изъеденного грязью. Николай тоже молчал с минуту, думая:

«А может, она просто — дурашная, потому так просто и говорит про дочь, — глупая и больше ничего?»

— Будил бы девок-то, — сказала Прасковья, разгибая спину и встав на ноги. — Пора, чего снят?

— Может, ты мне, тетка Прасковья, еще что скажешь?

— Про Христину-то?

— Нет, так, вообще — совет, может, дашь какой?

Передвинув губы вбок и скосив глаза, она сказала другим голосом, как будто ласковее:

— Али у баб советов просят? Вовсе и нету такого порядка — смешной! Какие советы? Я ничего и не знаю!

Ему почудилось, что Прасковье что-то известно, она может что-то сказать ему, и Николай настойчиво заговорил, глядя в ее перекошенное, теперь казавшееся хитрым, темное лицо.

— Я — молодой, надобно мне жить с людьми, — как лучше жить?

— Ничего я не знаю, — повторила она, покачав головой. — Это стариков спроси. А то — никого не спрашивай — живи и живи! Прощай-ка!

Она пошла, покачиваясь, тыкая палкой в землю и ворча:

— Не догнать мне Рогачиху-то.

А пройдя мимо дочери, постучала концом палки по ноге ее, Христина приподняла голову, вскочила:

— Что ты, мамонька?



— Буде спать-то,— сказала баба, уходя,— гляди, где солнце-то!

Христина, заложив руки за голову, закрыв глаза, потянулась, выгибая грудь,— Николай видел, как развязалась тесемка ворота рубахи и под темной полосой загара сверкнуло белое тело, пышное, как пшеничный хлеб.

— Девки, — сонно бормотала она, — пора вставать — эй!

И вдруг, увидав Николая, вскочила на ноги, пошла к нему, улыбаясь и тихонько говоря:

— Эко заспались как, ну-у! А ты, хозяин молодой, чего глядишь, не будишь?

Он взял ее за руку и, оглянувшись на спящих, повел к бане, торопливо говоря:

— Мать твоя была.

— Ну? А я думала — приснилась она мне!

— Говорили мы.

— Про что?

— Про тебя.

— А чего про меня?

Он ввел ее в предбанник, затворил ногою дверь и, обняв ее, прижал к себе, крепко прижимаясь в то же время щекою к ее груди.

— Нехорошо мне, Христя,— не знаю, что делать! Будь родной — приласкай! Поговорим, давай, по дружбе! Страшно мне, что ли? Подумаем — как быть-то?

Она охнула, отталкивая его в плечи и шепча в ухо, быстро, горячо:

— Пусти, что ты? Пусти-ка! Разве можно сегодня тебе? Больно мне эдак-то!

А он, вдруг опьянев, чувствуя, что сердце у него замерло и горячим ручьем кровь течет по жилам, бормотал:

— Христя, приласкай! Ей-богу — тяжело на сердце; прямо — смерть! Вдруг — один очутился, а ничего не понимаю — как надо? Ты — приласкай! Ведь — всё равно женемся, уж это кончено! Никто не узнает, ну, Христина, родимая!

Она всё что-то шептала и билась в его руках, а он чувствовал, как будто ее горячее тело уже крепко

приросло к нему и теперь, отрываясь, мучает его жестокою болью.

— Всё равно,— просил он,— пожалей, что ли, ну? Я ж тебя весь век любить буду!

Она поставила локоть под подбородок ему, а другой рукой прижала голову его к себе — Николай задохнулся, выпустил ее и, шатаясь, потирая руками сдавленное горло, слышал ее трезвый, строгий шёпот:

— Экой бешеный! Что ты это? В такой день — там покойник, а ты...

— Сама ты — покойник,— пробормотал он в отчаянии и в стыде, что она одолела его.— Все вы тут покойники!

Оправляя раздерганную рубаху и следя за ним одним глазом, она говорила, глубоко вздыхая:

— Миленькой, ведь и я не железная, ведь я мучусь тоже, а ты меня горячишь в такое время! Надобно потерпеть до свадьбы!

— А может, и не будет свадьбы-то? — неожиданно сорвалось у него, и, тотчас же испугавшись, он мысленно обругал себя:

«Эх, дурак!»

С минуту Христина молчала, потом, подняв голову, спросила негромко, но как-то особенно внятно:

— Не будет?

— Слышал я, как ты давеча говорила про меня,— бормотал он,— я ведь в сарае был!

— Ну так что?

— Не любишь ты меня!

Она отворила дверь, встала в ней, как в раме, и сказала:

— А коли свадьбы не будет, так ты ко мне и не лезь! Вон, Анютка живет для эдаких!

— Не хуже тебя,— тихо сказал он, а Христина спокойно ответила:

— Вот и ладно, коли не хуже.

Пошла прочь, но, сделав шага три, обернулась и сказала веско, сердито угрожающе:

— Только ты знай — без меня тебе пропасть — появля? Как хочешь. Затравят тебя, заторкают, так и знай! Ты вспомни — чего наделал?

Он сел на лавку, тупо думая:

«Это — верно, без нее пропадешь с моим характером! Вроде пьяного я — отчего это? Христина знает силу свою и меня знает, верно! Сволочь она и несколько меня не любит — врёт! И я ее тоже, видно, не люблю. Матка ее — просто дура, полоумная».

Тело у него налилось ноющей болью и устало от нее, голова кружилась, а в глазах вызывающе волновались голые груди девушки.

«Это она нарочно показывается, — вяло и бессильно думал он, — она хитрая, знает! И верно, что ей всего лучше за прилавком стоять, это вот — верно! Торговка».

Мысль наткнулась на новую тропу — что, если и в самом деле продать тут всё и уехать с деньгами в город, а там исподволь приглядеть тихую девицу, жениться и открыть торговлю? Здесь — жить не дадут, будут дразнить отцовыми делами, будут напоминать, как он сзидил за доктором, а Христина в этом поможет людям, в случае если дело с нею не сойдется, — она не зря говорит, что без нее — затравят! Он долго путался в этих противоречивых мыслях, ставя себя так и эдак и нигде не видя твердой почвы.

Сквозь неприкрытую дверь был виден кусок синего неба и скучный узор ветвей ветлы на нем, в огороде работали девки, Анна с Натальей звонко перекликались, а Христинин сочный низкий голос был слышен редко, звучал сердито и неохотно.

— Николая — не видали? — спросила издали тетка.

Христина ответила:

— В предбаннике сидит.

— Чего он там?

— Поди да спроси.

— Ой, девка, какая ты неуважительная!

Николай слышал, как Христина проворчала:

— Работай на вас да еще уважай!

Анютка сипло и ласково сказала:

— От жары хоронится.

Пахло пареными вениками, гнилью и мылом. Николай стал думать об Анютке: гулящая, а — приятная! Попроси ее приласкать, не просто, как она привыкла, а по-хорошему, душевно — она бы, наверно, сумела

и это. Он пользовался ею не один раз, а она виду не подает, что было у нее с ним. Распутница, а — скромная. Вот позвать ее назло Христине и посидеть с нею, поговорить. Если бы не такой день, он бы сделал это.

«Как трудно одному, — господи!»

Прошла мимо Христина с граблями в руке, покосилась на дверь, исчезла, снова явилась, загородив щель, сунула в предбанник голову и сказала деловито:

— Там мужики пришли, гроб надо делать!..

— Ну?

— Шел бы туда.

— Сейчас. Рассердилась ты?

Она отступила, бросив небрежно:

— Чего сердиться? Я тебе ни жена, ни что.

«Врешь», — устало подумал Назаров, встал и пошел в дом, а впереди его шла с корзиной огурцов на плече Анна, круглая и мягкая, — он смотрел, как изгибается ее стан, вздрагивают, напрягаясь, бедра, и думал:

«Встану я на ноги — давить вас всех буду, как вшей», — и закончил это обещание крепкой, едкой матерщиной.

В проходе из огорода в сарай Анна задела его корзиной, он грубо крикнул:

— Тише!

— Ой, не видала я, Николай Фаддеич, прости!

Назаров тотчас смягчился.

— Не больно.

— А — кричишь?

Он заглянул в лицо ей — Анна ласково улыбалась.

— Так уж это, — смущенно сказал он, — душа кричит!

— Еще бы те молчала! — согласилась Анна.

«Ведь вот, — думал он, идя по двору, — много ль надобно человеку? Отвечай ему согласно, вот и всё, вот он и доволен бы!»

На дворе толклись мужики в синих вытертых портках, в розовых и красных рубахах, босоногие, растрепанные, и, хотя одежда на них была цветная, все они казались серыми, точно долго лежали в земле, только что вылезли из нее и еще не отряхнулись. Молча дергали его за руку, щупали хитрыми глазами, некоторые

мычали что-то, а дурашливый Никита Проезжев, плотник, спросил тенорком:

— Чать, ты, Никола Фадев, поласкове будешь к нам, чем отец был, — ай нет?

— Не время, Никита, этим разговорам! — степенно сказал кто-то.

Николай смотрел на них, как сквозь сон, и не понимал — чего им надо, зачем пришли? Проезжев хвастался:

— Навек домовину сгоношу, вплоть до второго пришествия!

Кто-то сказал угрюмо:

— До страшного суда...

— Панафида будет? — приставал к Назарову высокий старик с большим распухшим носом и царапиной на щеке.

— Тетку спроси, — сказал Николай, входя в сени, и слышал сзади себя пониженные голоса:

— Убило все-таки ж!

— Отец, как-никак...

А в избе однозвучный голос лениво и устало выпевал:

— «Да постыдятся вси кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах свои-их...»

Тетка Татьяна, согнувшись, расстилала по полу полотно, над головой ее торчали ноги отца, большие, тяжелые, с кривыми пальцами. Дрожал синий огонь лампы, а желтые огоньки трех свеч напоминали о лютиках в поле, под ветром.

Дверь в клеть была открыта, и там в сумраке возилась Анна, огребая в угол огурцы, — он вошел к ней и сказал:

— Тяжело у меня на душе, Анна!

— Еще бы, — отозвалась она ласково, как и раньше.

— Ты, — шепнул он, оглядываясь назад, — останься после работы, не уходи!

Она встала на ноги, испуганно прошептал:

— Чего-о?

— Надо мне тебя!

Женщина отодвинулась в угол, махнув рукою.

— Что ты, что ты? — слышал он ее тихий, укоряю-

щий шёпот.— В эдакой-то день? Да я за три целковых не соглашусь — что ты!

— Дура! — мрачно сказал он.— Мне поговорить только, чёрт!

— Знаю я эти разговоры! Ну — охальник ты, ну — бесстыж! Вот я Христине скажу — ай-яй...

«Скажет!» — воскликнул Николай про себя и даже усмехнулся, а потом, вслух, равнодушно проговорил:

— Говори. Это всё равно! Мне тебя не за тем надо, как ты думаешь...

— Ну уж,— ворчала она,— знаю я! Пусти-ка! И прошла мимо него боком.

Он долго сидел один, в сумраке, в сладком запахе свежих огурцов, думая сразу обо всем, что дали эти три дня; смерть отца не удручала его; кроме этого, как будто ничего особенного не случилось, а всё — было страшно; жизнь стала сразу жуткой и запутанной.

«Встану я на свои ноги»,— хотел он повторить угрозу, но не кончил ее, вспомнив Анну.

«Приучилась, шкура, об одном думать и больше ничего не понимает! Христине скажет...»

Ему хотелось плакать, но злоба сушила слезы, он сидел и качал головою.

Снова вошла Анна с корзиной на плече, ссыпала огурцы в угол и, наклонясь подровнять их, точно переломилась пополам.

— Сказала Христине-то?

— И скажу.

— А ты не говори.

— Что дашь?

— Полтинник.

— Давай рупь! Ну?

Он лениво дал, Анна взяла, расправив юбку, сунула монету в карман и сказала, подмигнув:

— Ладно. Молчок.

Ушла. Назаров думал, покачиваясь:

«Дешева правда! Положим — правды нет здесь. В Псалтыре сказано: „Ложь конь во спасение“ — стало быть, на лжи, как на коне, спастись можно. А от чего? Значит — от правды, коли на лжи! Священное писание, а научает спастись от правды!»

Снова в сенях зашлепали босые ступни, теперь вошла Христина и так же, как Анна, наклонилась, подбирая раскатившиеся огурцы.

«Вот — изнасиловать, опозорить и бросить, — думал Назаров, — вот форсить и перестанет...»

— Сидишь? — спросила Христина, разгибаясь и пасмешливо глядя на него, а на глазах ее блестели слезы, — он промолчал, крепко стиснув зубы.

— С Анной заигрываешь? — снова проговорила она, подходя к нему с корзиной в руке.

Николай вскочил, взмахнул рукою, но девица, бросив на руку ему корзину, ускользнула.

— Убью! — пробормотал он, а из двери избы выглянула тетка и тихонько, торжественно сказала:

— Самое время тебе девок щупать, вот, во-от!

Назаров пошел на нее, сопя и размахивая рукою, она торопливо прикрыла дверь.

«Что такое? — думал он, выходя на двор, где бесцельно шатались старики и старухи, бегали ребятишки. — Это — хоть давись! Ну ладно, погодите! Всё это я запомню в сердце!»

Вышел за ворота и пошел к реке, опутив голову, сопровождаемый старческим бормотанием, вздохами и плачущим голосом читалки.

Уже заходило солнце, синяя полоса колыхалась над лесом и рекою. Из-под ног во все стороны скакали серые сверчки, воздух гудел от множества мух, слепней и ос. Сочно хрустела трава под ногою, в реке отражались красноватые облака, он сел на песок, под куст, глядя, как, морщась, колеблется вода, убегая вправо от него темно-синей полосой, и как, точно на шёлке, блестят на ней струи.

Думал он о том, как жесток и безжалостен будет он с людьми, как выгонит тетку и не даст ей ничего, что велел отец. Женится на Христине, будет держать ее скупо, одевать плохо и — бить станет, по щекам, по груди и крепкому животу. Анке тоже устроит какую-нибудь штуку. Он примется за дела эти тотчас, как похоронит отца, сразу поставит себя против людей горно и непримиримо.

Где-то близко ворковала горлинка, а по реке, раз-

рывающая ее шелковую ткань, металась рыба, шли круги и стирались течением. Краснело небо, лес темнел, точно наливаясь чем-то мягким, теплым и пахучим.

— Никола Фаддеи-ич, — крикнула Анна.

Он помолчал, потом сердито отозвался, и она подошла, голоногая, высоко подобрав юбку и рубаху, улыбаясь пухлым, детским ртом.

— Тетка Татьяна велела сказать — поп говорит, что панафида на завтра, на полдни отложил он...

— Его дело.

— Скучаешь? — спросила она, наклонясь к нему.

Он не ответил и не посмотрел на нее.

— Слушай, Колюшка, — оглянувшись, прошептала она, — я согласна, в остатний раз, так и быть, приду ночью, ну — хошь?

— Иди.

— Только ты мне дай пятишну — ты богатый теперь!

— Ладно.

— Ведь — грех тебе это, и мне, конечно, грех. Эх, Колюшка, Коля, какое всё...

— Что? — тихо спросил он, а Сорокина задумчиво ответила:

— Так как-то, — не то — жалко всех, не то — бежать бы без оглядки куда!

Он вдруг всхлипнул, не удержавшись, поддаваясь чувству тяжкой и злой грусти, и забормотал:

— Погодите, я вам покажу всем, я это не забуду!

Из глаз его обильно потекли последние человечьи слезы, он отирал их ладонью и, утвердительно кивая головою, ворчал, как избитая собака:

— Ежели никому никого не жалко, и мне никого не жаль!

— Коль, — шептала Анна, поглаживая его волосы, — мне тебя жалко, ей-богу же, очень жалко!

— Иди, а то увидят!

— Не видать. Эх ты, погодить бы тебе жениться-то, поживи лучше со мной — право! Христюшка девка властная, свертит она тебя, скрутит!

— Я сам всех скрочу, — твердо сказал Назаров и сурово прибавил: — Иди, Анка, иди, знай!



Уходя, она шепнула:

— Смотри, не обмани, пятишну — ладно? Я — в баню приду, гляди!

Он молча кивнул головой, глядя, как в селе над церковью, на красном небе, точно головни в зареве пожара, мелькают галки, — у него в душе тоже вились стаи черных, нелюдимых дум.

Жаркий день догорал, из леса плыл синеватым дымом ласковый и теплый вечер.

## КРАЖА

Осенью ехал на пароходе из Царицына в Макарьев маленький рыжий солдат Лука Чекин, парень тихий, с круглыми, как у сыча, глазами, в больших, не по лицу, жестких усах; он весьма гордился ими, хотя росли они некрасиво, топырясь во все стороны.

Три года с лишком Лука терся в денщиках у пьяного поручика Слепухина, под началом его многолетней черноглазой жены, которую поручик звал Галкой; три года молча терпел ее раздраженные крики и многие обиды, а сам Слепухин нередко — проигравшись в карты или поссорясь с женою — бил Луку по щекам широкими, всегда потными ладонями.

Но когда Лука стал собираться домой, поручик, придя в кухню, спросил его с угрюмой ласковостью:

— Едешь, Лукан?

— Так точно, ваше благородие!

— Ну, с богом!

Поручик был толстый, сальный, с красным оплывшим лицом в темной бороде, с маленькими, скучными глазками; когда он сердился, белки глаз наливались кровью, зрачки зеленели и округлялись, точно у кота, дряблый нос краснел и трясся. От поручика всегда пахло водкой, ваксой, лошадиным потом и еще чем-то. Лука называл его за глаза Тухлым, не любил и боялся его; но в этот раз, когда поручик стоял пред ним в затертой тужурке, с папирсой в зубах и сквозь дым смотрел на него незнакомо пристальным взглядом, солдату вдруг стало жалко себя, и он сказал тихонько, неуверенно:

— Прощайте, ваше благородие! Дай вам господи всего...

— Прощай, брат,— невесело выговорил Слепухин, присаживаясь к столу; вытянул ногу, сунул ладонь в карман брюк и, вытащив измятый кошелек, стал рыться в нем толстыми пальцами, шурясь от дыма папиросы, говоря сквозь зубы и редкие волосы усов:

— И тебе тоже желаю всего хорошего. Спасибо, братец!.. Ты парень смирный, честный, хотя и не больно умен, правду сказать. На-ко вот тебе на дорогу. Дал бы и больше, да — нет! Тут еще жена хотела...

Лука протянул ладонь, и когда кожи его коснулись семь холодных, как вдовьи слезы, двугривенных — у него зашипало в носу, горло сжала судорога, он схватил руку офицера, желая поцеловать ее, но тот встал и сказал угрюмо:

— Ну, не надо! Давай обнимемся...

Обняв солдата, он трижды потерся толстыми щеками об усы Луки и пошел прочь, оттолкнув его.

— Привык я к тебе, братец...

— И я, ваше благородие,— сказал Лука, всхлипнув; застыдился слез и тотчас присел на корточки к своему сундуку.

А поручик, остановясь у двери, спросил озабоченно:

— Что же ты теперь делать будешь?

— Не могу знать, ваше благородие...

— Н-да! Ну, придешь домой, жену побьешь первым делом,— будешь жену-то бить?

— Так точно, буду...

— Распутничала?

— Не слыхал, ваше благородие...

— Наверно — распутничала. Это уж — бабий закон. Четыре года почти обходиться без мужа — это и по природе трудно. Ну, хорошо — жена... А потом что?

Лука перекинулся с корточек на колени и молча глядел в сундук на гармонию, завернутую в полотенце и новые портянки. Он никогда не представлял себе ясно, что будет дома,— прошлая жизнь скрылась в мутном облаке пережитого за эти годы, и он не знал, как ответить барину.

А тот спрашивал всё строже и серьезней:

— Отец — помер?

- Так точно.
- А брат — лавочник?
- Телятами торгует.
- Телятами?

Поручик подумал, почесал шею под бородой.

— Вот видишь! Трудно тебе будет на брата работать, обидно. Работать всегда лучше на чужого, чем на своего. А главное — ты человек смирный, честный, к торговле, наверно, не способен. И тебе нельзя жить без начальства, без руководителя — ты это понимаешь?

— Так точно, — тихо сказал Лука; его очень трогала эта первая забота о нем со стороны Слепухина.

Тут вышла Галка в измятом утреннем капоте с оборванными кружевами и большим узлом в руках, она бросила узел на пол и резким своим голосом сказала в нос, как всегда:

— Это отдай жене, Лука, годится ей. И вот тебе рубль. И спасибо! Не поминай лихом!

Она протянула ему руку, солдат схватил тонкие косточки в смуглой коже и осторожно прижался к ним губами.

— Бог с тобой, — говорила Галка, глядя его по голове; это прикосновение было легко, щекотно и приятно сотрясло сердце Луки.

Она смотрела на него сверху вниз, ласково улыбаясь черными, как угли, цыганскими глазами, ее остроносое истощенное лицо было так хорошо знакомо; Лука вспомнил, что во многом виноват пред нею, и сердечно проговорил:

— Простите меня, барыня...

— Ну, что ты! — выдернув руку, воскликнула она. — Меня извини, я часто кричала на тебя...

— Он же понимает, что без этого нельзя! — уверенно сказал поручик, закуривая еще папиросу, а закурив, продолжал вдумчиво:

— Да, вот говорят то и се... А того не понимают, сколько мы, офицерство, даем России... сколько вот эдаких парней возвращаются к земле... так сказать — новыми людьми, с новой душой...

Помолчав, он с улыбкой предложил Галке:

— А спроси его — будет он жену бить?

Она спросила, тоже с улыбкой:

— Будешь?

— Так точно,— сказал Лука смущенно.

— Ай-яй,— зачем же? — покачивая маленькой головой, воскликнула Галка.

— У них без этого нельзя,— успокоил ее муж.

Когда они ушли, Лука долго сидел на полу, перед сундуком, очень удивленный, с грустной тишиной в душе, сидел и думал:

«Хорошие люди оказались! Вроде малых детей будто. А ведь незаметно было, что хорошие...»

Он оглядывал широкими глазами кухню, третью за время его службы у поручика, смотрел на кастрюли и сковороды, на закопченное чело печи, в подпечек, где по ночам возились мыши, в окно, под которым разросся куст бузины и куда он выплескивал помои, за что Галка топала на него ногами и кричала.

Всё вокруг было знакомо, привычно, срослось с душой и не отпускало ее, тянуло к себе. Как будет он жить в деревне?

Галка тоже казалась близкой; сколько раз он видел ее почти нагою, она не стеснялась перед ним, как не стесняются перед кошкой или собакой. Первое время ее нагота возбуждала его, а равнодушие, с которым она открывалась перед ним, было немножко обидно солдату, но однажды он, войдя убирать комнату, застал ее лежащей на диване в одной рубашке,— вся вздрагивая, она плакала, выла.

— Пошел вон, подлец! — крикнула она ему.

Оторопев, он не мог сдвинуться с места, а Галка, присмотревшись к нему, сказала, тихонько всхлипнув:

— Это я — не тебя... Уйди!

Его очень тронуло то, что вот и в горе, в слезах, она все-таки сказала ему эти слова, и с того времени он стал относиться к ней как-то особенно, с жалостью, точно она была ребенком или уродцем.

Еще раз она тронула его за сердце с год тому назад, после родов; ребенок родился трудно и вышел мертвый; измученная Галка — одни глаза — лежала в постели, и когда однажды в дождливый день он вошел к ней, Галка грустно сказала:

— Вот, Лука, прощай, кажется, умру я...

— Что вы, барыня, зачем же? — испуганно про-  
бормотал солдат и убежал вон, содрогаясь от нестер-  
пимой жалости к ней.

Не много слышал он ласковых слов, — тем более яркими цветами расцветали они теперь в памяти его. Вспомнилось всё только хорошее, а впереди было как-то пусто. Всё же пережитое в солдатах казалось тем самым, ради чего ему и нужно жить.

Вспоминалось, как он укладывал спать пьяного поручика, как прикрывал его мимолетные романы с обывательскими дамами и помогал Галке в ее шашнях с молоденькими офицерами батальона, притворяясь, что он ничего не понимает. Во дни безденежья она за-  
нимала у него рубли на обед.

Здесь, в этом песчаном, жарком городе, в этом доме, битком набитом разными людьми, в тесной квар-  
тире поручика текла неустанно какая-то странно пест-  
рая, всегда пьяная, немножко безумная жизнь, и в ней Лука чувствовал себя на месте, стоял крепко, точно дубом врос. А теперь нужно ехать за тысячу с лишком верст, в небольшое село среди лесов, в жизнь, от кото-  
рой он отвык уже.

И когда пароход, отходя от пристани, задрожал, в груди Луки тоже что-то вздрогнуло, натянулось туго и точно оборвалась живая нить.

Одинокое сидя на скамье третьего класса, он кру-  
тил усы так, что волосы трещали, и ему смутно вспо-  
миналась жена — маленькая, курносая, с бурыми надутыми щеками, а глаза — как голубые бусы из стекла.

«Кабы не она, — остался бы в Царицыне и жил. В трактир поступил бы, повару подручным. Научился бы делу... А ежели выписать ее?»

За четыре года он узнал много женщин — кухарок, горничных и просто гулящих; очень ловкие в делах любви, бойкие на язык и вообще — во всем — особен-  
ные, они стерли память о жене, он помнил ее только в первую ночь, когда она билась в руках его, рвала волосы и царапалась, задыхаясь, вскрикивая:

— Пусти, окаянный... пусти — закричу!..

А когда он одолел ее, она до утра тихонько плакала, и лицо у нее было удивленное, испуганное, как у овцы перед лужей.

Чем дальше уходил пароход, тяжело поднимаясь по темной и холодной осенней реке, между серопесчаных берегов, тем настойчивее звало к себе оставшееся позади, а о деревне и жене думалось как-то сверх всего, порывами.

Еще когда Лука, заняв уютное место в углу, за рубкой второго класса, раскладывал свои вещи, около него явился мужчина в толстой на меху куртке, в картузе набекрень, с бойкими глазами на удалом лице. Внимательно осмотрев соседа, он, для первого знакомства, сказал Луке плясовой прибауткой:

Солдат еде на побывку,  
Припаси жена бока!

— Так, что ли, землячок?

— Как полагается, — неопределенно и нехотя ответил солдат.

— На побывку али отслужил?

— Отслужил.

— Дело!

Человек поглядел вдоль палубы, заглянул на рябую реку, на небо в изорванных тучах и, ударив себя ладонями по коленям, воскликнул:

— Хорош бы день, да — некого бить!

— Зачем же бить? — хмуро спросил солдат.

— Это — поговорка такова есть. Поговорочка, друг!

Снова осмотрев Луку зорким, хозяйским взглядом, он подмигнул ему и встал:

— Пойти поглядеть на людей, каковы они сегодня!

И пошел, скрипя новыми, с набором, сапогами, глядя на всех, как владелец парохода, и словно собираясь сказать людям командуемое слово.

«Ловок», — почтительно подумал Чекин, следя за ним.

С левого борта медленно тянулся песчаный пустынный берег, торчали над водою прутья ивняка и, страшивая остатки желтых листьев, качались, точно секли

реку. Стеклянно-серая волна, отбегая от парохода, шумно лизала песок. Пятна нефти радужно играли на мутной поверхности воды, она казалась густой, как сусло, и шумела под колесами глухо, устало. Глубоко обнажились синие, по-осеннему чистые дали, и казалось, что чем выше всплывает пароход, тем синее и холодней будет этот пестрый и свежий осенний день.

Лука сунул руку в карман за табаком, нащупал круглое зеркало в жестяной оправе, вынул его и стал рассматривать свое мятое лицо, в рыжей жесткой шерсти, вспоминая семилетнюю Гланьку, подарившую ему зеркало; с ее матерью, кухаркой священника, он хорошо жил последний год, а Гланьку любил, как свою дочь.

— Ты тоже Петруха? — спросила его девочка первый раз, когда он пришел в гости к матери ее.

— Я — Лука.

— А прежний солдат мамин Петруха был, только — черный и усы маленькие, а ты — красный! — болтала девочка, доверчиво прижимаясь к нему.

Мать ее сконфузилась, спрятала свои ласковые глаза и шутивно-строго крикнула:

— Ах ты, шабала! Гляди-тко, чево говорит она про мать-то! Ступай, ложись, спи!

После этого всё пошло сразу особенно как-то, — хорошо и просто.

Когда, бывало, Лука жаловался Гланькиной матери на свою трудную солдатскую жизнь, девочка слушала его речи внимательно, как сказку, и, заглядывая в лицо ему серыми глазами, советовала:

— А ты убеги за Волгу!

— Это нельзя мне.

— А ты убеги только!

— Да нельзя, говорю!

— А ты только попросись...

Солдат смеялся, щекотал ее, и она тоже захлебывалась тоненьким рыдающим смешком, — слушать его было приятно. И вся Гланька была особенная среди детей: беленькая, простенькая, она вызывала у всех взрослых тихое внимание к ней, и на нее нельзя было



сердиться. Уезжая, Лука подарил ей красный платок и чижа в клетке, а она отдала зеркалом.

«Усы у меня очень растопырились, это верно Гланька говорила, — думал солдат, надувая щеки. — Надо подстричь — в деревне усы ни к чему. Там борода уважается, солидность...»

Вздохнув, он спрятал зеркало и посмотрел исподлобья на большого монаха, который, сидя против его, аккуратно расчесывал густые длинные волосы костяным гребнем и, улыбаясь добродушно, тоже осматривал Луку маленькими глазками.

— Ну, нагяделся на себя, — хорош ли? — спросил монах, чмокнув мягкими губами.

— Ничего будто, — ответил солдат сковфуженно.

— Вот и слава богу...

Лицо монаха было широкое, бабье, пухлое и белое, как плохо выпеченный хлеб, редкая линючая борода как будто еще больше смягчала его. И сразу, точно он всё время думал о солдате, монах заговорил непривычно Луке мягко, незнакомо приветливо:

— Ну, вот теперь, отслуживши честно царю-отечеству, надобно тебе о господе вспомнить, ему послужить в меру сил...

Под скамьей ползала, гремя и взвизгивая на блоках, черная, жирная рулевая цепь, за бортом сердито плескала вода, плыл серо-желтый берег, и всё грозили пароходу и реке сучья голых деревьев, качаясь в прозрачном воздухе. По берегу тянулись сети, развешенные на кольях, на песке лежали лодки, у самой воды проскакал на коне кто-то в красной рубахе, и всё исчезало в холмистых даях, в холодной синеве осени. Встретился маленький ошарпанный пароход, торопливо били воду его колеса; настигая его, плыла пустая баржа, буксир волочился по воде.

— Старенек, дедушка, — сказал кто-то о пароходе.

— Ты человек, видать, смиренный, — слышал Лука теплый голос монаха, а за спиною его, на другой лавке, спорил бойкий парень:

— Все живут случаем, и боле ничего!

— Это как же?

— А вот так!

- А что такое случай?  
— Случай? Случку — знаешь?  
— Ну, так что?  
— А то: судьба тебе — бык, понял?

Грохнул хохот, хохотало человек пять, и один из них протяжно охал:

— Ло-овко-ой...

— Чу, — тихонько говорил монах, — вон они как! Чему уподобляются? Безбожным скотам...

На палубе становилось всё теснее и шумней; люди собирались обедать, развязывали узлы, мешки, запахло съестным, но Луке не хотелось есть; согнув спину, он слушал слова монаха и думал:

«Это верно, — грубость везде, а в деревне того боле. Али — наплевать на всё, не ездить домой-то? Какой интерес?»

— Эх, братцы, — кричал бойкий парень. — Один господь всю правду знает, да и ему она — польнь, гляди!

— Обитель наша Симбирской губернии, около Алатыря, стоит в лесе, над рекою Сурой, — красота, тишина...

— А трудно в монастыре жить, — не то спросил, не то подумал вслух Лука.

— Кто бога любит, тому не трудно. Ну, а если лентяй, то — конечно. Ты к чему спросил?

— Так себе...

— А ты бы вот зашел до нас. Пожил бы недельку, подумал, как дальше будешь, помолился бы, а?

Потом монах стал спрашивать Луку о его семье, и, когда узнал, что брат солдата торговец, а у Луки есть деньги, около сотни рублей, голос его сделался тише, ласковей, и настойчивее зазвучала убедительная речь.

— Крестьян — много, а господам служители нужны.

«Ишь ты, — заманивает как», — подумал Лука, стараясь не смотреть в сладкое широкое лицо.

Дул верховой ветер, пароход шел трудно, дрожал весь, по щеке монаха беспокойно ползала прядка темных волос; он закидывал ее за ухо, а она снова падала на щеку, к редким волосам бороды.

— Я бы, конечно, зашел,— раздумчиво сказал Лука,— да ведь билет пропадет, билет у меня до места, до Исады-пристани.

— С билетом я тебе устрою дело! — обязательно воскликнул монах.— Стало быть — решил?

— Что же? Можно...

— Ну и — благослови бог!

И, перекрестив солдата большою белой рукой, монах дружелюбно хлопнул его по колену.

— Предоброе дело совершишь!

Лука молча улыбнулся. В груди его спокойно улеглось решение зайти в монастырь к этому добряку; он сразу почувствовал себя бодрее, тверже и, поглядев на всё вокруг доброжелательно, встретился с веселым взглядом зеленых глаз парня в картузе,— держась одною рукой за спинку скамьи, он рубил воздух взмахами другой и кричал:

— Чего жалеть? Отчаливай! Студенты в Казани поют:

Наша жизнь коротка  
И всё уносит с собою...

— Так ли, военный человек?

— Совершенно так,— согласился Лука; парень этот очень нравился ему своей веселой бойкостью.

— А не покушать ли нам? — предложил монах.

Они спросили щей, полбутылки водки, солдат сразу заметил, что монах ест аккуратнее и вкусней поручика Слепухина,— это еще более расположило его к монаху.

«Понимающий человек»,— думал он.

— За твое здоровье! — сказал монах, прикрывая рюмку водки широким рукавом рясы.— И душевно поздравляю с окончанием срока службы миру земному.

— Покорно благодарю! — вежливо откликнулся Лука.

Пообедав, они улеглись спать, а когда Лука проснулся — небо за кормою было красное и берега тоже покраснели в холодном огне осеннего заката. Ветер дул сильнее, черные деревья все склонились в одну сторону, словно убегая к морю и солнцу. Гремела чай-

ная посуда, по ту сторону скамьи стояла тесная кучка людей, из ее темной середины задорно выскакивали удалые выкрики:

— Чей рушь? Получи два! Грабь! Кто ставит, ну?

Деньги — дело наживное,  
Об них нечего тужить;  
Вот любовь — дело другое,  
Ею надоть дорожить!

— Шевелись, честной народ, потихоньку, богатей помаленьку!

Монах, сдвинув на затылок черную скуфейку, тоже стоял у стола; Лука стал сзади его, пригнулся и посмотрел из-под мышки монаха на стол: над коричневым его квадратом летали чьи-то руки, перебрасывая неуловимо быстрыми движениями три измятые карты.

— Король, дама, валет! Ставь, ребята! Полтина на валета? Есть! Дана! Эх, остаться мне сегодня без порток!

— Преопасная забава! — сказал монах Луке.

Бойкий парень снял шапку, ветер трепал его рыжеватые волосы, набрасывая их на белый лоб и крепкие щеки, пред ним лежали кучка смятых бумажных денег и кружки серебряных монет, он бросал их во все стороны, снова собирал к себе, его красные губы неустанно шевелились, и всё время он балагурил, задевая Луку дразнящим взглядом.

— Чисто играет, заманчиво! — бормотал монах. — Вон тот, носатый, целковых двадцать нахватал у него...

Лука посмотрел на безволосое неподвижное лицо носатого человека, ему показались знакомыми исковерканный оспой лоб, изрытые щеки, щербатое, изъеденное ухо. Стоял рябой прямо и крепко, двигал деньги пальцами по столу молча, с небрежением богатого и нежадного. В темных ямах под его лбом спокойно блестели прозрачные, как лед, глаза.

— Оберет он бойкача, — вздохнув, сказал монах и, помолчав, предложил Луке:

— Поставь полтинку, авось возьмешь на счастье солдатское...

Это уже было решено Лукою, он торопливо сунул руку в карман, рука дрожала, вынул три двугривенных и сунул их на стол; парень перебросил карты, две мопеты подвинул к себе, накрыл третью рублем и крикнул:

— Получи, служба, и — проваливай с мелочью! Тут игра широкая, по всю душу! Кто идет, что несет?

— На короля — рубль! — твердо сказал Лука, и его тотчас закружил радужный вихрь острого возбуждения; всё отошло — монах и все люди пропали, но в груди стало как-то приятно тесно и тепло, точно во хмелю. Он видел пред собою только горячие глаза игрока, его неуловимые руки, карты и деньги, — деньги всё подвигались на край стола, к животу солдата, от них исходило пьяное тепло, лицо Луки покрылось потом, он весь разомлел, и у него ослабли ноги.

Он и рябой выигрывали все ставки, куча денег пред Лукою всё росла; чтобы они не смешались с деньгами соседа, солдат снял фуражку, сгреб в нее выигрыш и, устало вздохнув, сказал монаху:

— Ну и здорово же!

Тот, еще более повеселевший, смотрел на стол полуоткрыв рот, странно выпучив глаза, шарил на груди у себя и шептал:

— Ну-кося и я тоже... ах ты...

— Держи, отец, с выигрыша! — сказал Лука, сунув ему трешницу, монах тотчас придавил ее пальцами к столу и, задохнувшись, рявкнул:

— Дама!

— Дана!

Отовсюду, трясясь, тянулись к столу неверные, точно изломанные руки, хватая и швыряя деньги, крутился рычащий жадный гул, всё было точно в дыму и во сне, всё шаталось, а игрок, метавший карты, пел и свистел, разжигая всех, как огонь.

Потом всё сразу оборвалось для Луки, стало просто и холодно: сунув руку в фуражку, он нащупал в ней только серебряный рубль и скомканную пятишницу, привычным жестом бросил бумажку игроку и, вздрогнув, вытянулся, спрятал руки в карманы штанов, — там еще должны быть деньги, но оказалось несколько

пятаков, стертый гривенник, похожий на бельмо, и зеркало.

Некоторое время он стоял одеревенев, не веря, что проигрался; рябой, искоса взглянув на него, отодвинул плечом Луку от стола, кратко и строго сказав:

— Отойди.

Солдат покорно отошел и замер, упершись глазами в изогнутые спины людей вокруг стола; хрипя, они толкали друг друга, их темная куча шевелилась, как толпа овец пред воротами хлева.

— Проигрался? — спросил монах откуда-то издали.

— Да, — сонно и устало ответил Лука.

— И я, семь целковых...

Лука оглянулся, с трудом говоря:

— Ты бы, отец, отдал мне трешницу...

— Али я просил ее у тебя? Ишь ты! Это была твоя охота поставить...

«Верно», — подумал солдат.

Поддергивая штаны — пояс их вдруг ослаб и стал широк, — Лука прошел к борту, заглянул в реку — она была черная и текла очень быстро.

Где-то вдаль небо еще краснело, и туда быстро летели тяжелые облака, чуть-чуть отражаясь в воде. Пароход шел сквозь облака и тени их, как челнок сквозь основу, встречу ему, посвистывая, двигалась ночная тьма, поглощая берега, суживая реку.

Внутри солдата всё дрожало от обиды и скорби, он присел на что-то, застывая от холода.

Прошли мимо двое людей, один сказал спокойно:

— Оба — жулики!

— Конечно! Рябой — в доле.

Шум на палубе становился всё тише, игра кончилась. Неожиданно рядом с Лукою встал молодой игрок, насвистывая что-то, — солдат тяжело поднял голову, поглядел на него и не увидел в темноте бойкое лицо, а только белое пятно на месте его.

— Проиграл я тебе всё...

— Ну, — отозвался игрок, и было непонятно — верит он или нет.

— Всё, как есть.

— Это — плохо!

Парень пошел прочь, скрипя сапогами, но из тьмы спросил:

— Хошь — дам рубль?

— Что мне рубль!

— Как желаешь...

Лука в тоске посмотрел на свое место, там можах чистил гребень: держал в зубах нитку и водил по ней гребнем, на колени ему снегом сыпались серые хлопья.

Сидел он плотно, спокойно, широко расставив ноги в тяжелых сапогах, ряса на коленях у него натянулась, совсем как юбка у торговки на базаре. Лука вспомнил о своем решении идти с ним в монастырь, встал, подошел к нему, — монах приподнял брови и опустил их.

— Нехорошо вышло, — заговорил солдат.

— Ляг да спи, — посоветовал монах сквозь зубы.

— Не хочу. Это ведь ты, отец, присоветовал мне играть...

Вынув нитку из зубов и навивая ее на палец, монах сказал сердито:

— Я и сам проиграл.

Вода под колесами шумела тоже сердито; ночь совсем окутала реку трауром.

Где-то близко раздался сухой и строгий голос рябого:

— А чем же это вы столько хороши? В чем ваша сдержка? Брось вам кто рубль — все перегрызетесь пещадно...

«Вот, — подумал Лука, — в беде я здесь, а пожалеть меня некому! В городе бы меня хоть Гланька утешила».

Мысль эта застыла у него в голове, он долго рассматривал ее, а потом медленно повторил вслух, ожидая, что скажет ему монах, но тот промолчал, неподвижный и черный.

— Приду домой, — вяло говорил солдат сам себе, — спросят: отслужил? Мужики подумают — денег принес. Жена тоже... Брат, конечно, работой давить будет. Теперь мне самое настоящее — заключиться в монастырь.

Последние слова он снова выговорил вслух и посмотрел на монаха, — тот, сидя на скамье с ногами, окутывал их серым одеялом и молчал.

Прошел мимо рябой, с папиросой в зубах, спросив на ходу:

— Что, солдат, продулся?

— Совсем,— сказал Лука покорно и спросил монаха: — А далеко от Симбирска до монастыря?

— Пятьсот верст,— ответил монах глухо и грубо, точно выругался.

Лука понял, что теперь монах не хочет, чтоб он шел с ним в монастырь,— солдату стало обидно и неловко смотреть на монаха. Тихонько, опустя голову и словно желая спрятаться, он пошел прочь, мимо людей, съезжившихся на скамьях.

В мутных стеклах лампочек, похожих на водяные пузыри ненастного дня, дразнились желтые языки огней, всё вокруг напряженно тряслось, в груди солдата было темно, мутно и тоже что-то дрожало, растекаясь по всему телу холодом.

Он долго бродил по палубе, вздыхая, дергая себя за усы, спотыкаясь о чьи-то ноги, потом очутился в узком проходе между фонарем машины и сухопарником. Там, прислонясь спиной к горячему железу стенки сухопарника, стоял рябой, глядя, как за стеклом ворочаются светлые рычаги, качаются шатуны, блестит медь масленок,— увидав солдата, он взял его за рукав шинели, властно поставил рядом с собою и спросил:

— Что не спишь?

— Очень я растревожился,— доверчиво сказал Лука, взглянув сбоку в лицо рябого, и вдруг вспомнил осенний темный вечер, мелкий дождь и это изжеванное большеносое лицо в тусклой полосе света из окна, между двух черных солдат конвойной команды.

— А ведь я тебя видел! — воскликнул он почти с радостью.

— Где? — строго осведомился рябой.

И, когда Лука рассказал, он, подумав, спокойно заметил:

— Пожалуй, это я и был... О ту пору судили меня судом.

— За что?

— За кражу. Оправдан был.



— Напрасно, значит, судили?..

— Судят не напрасно, а чтобы узнать правду...

— Все-таки обидно, поди?

— Чего — обидно?

— В остроге, чать, сидел?.. Конвой...

— Какая ж тут обида? Это всё равно: в остроге, на пароходе — везде люди, одни да всё те же...

Рябой говорил дружелюбно, но в голосе его звучали привычные Луке начальнические ноты, внушая почтение к этому плотному и крепкому человеку. Стоять в темноте рядом с ним было спокойно, и хотя слова его были необычны, малопонятны и похожи на балагурство, но и в них звучало что-то крепкое, приятное и нужное Луке в эту минуту.

Поговорили еще немножко о том, о сем, и Лука вежливо спросил:

— Вы чем же занимаетесь?

— Я? А вот — кражами и занимаюсь.

— Ну-у? — смущенно протянул солдат, не поняв — испугало или только удивило его это признание.

Рябой выговорил свои слова так просто, точно занятие кражами он считал таким же законным ремеслом, как ремесло маляра или слесаря. Его деревянное лицо было неподвижно, пустые глаза упрямо, не мигая, смотрели в машину.

Помолчав, Лука спросил, смущенно улыбаясь:

— А — боязно это?

— Попробуй — узнаешь, — предложил рябой.

— Мне — нельзя!

— Отчего?

— Я — солдат.

— А разве солдаты не крадут?

Лука вспомнил, как он таскал у поручика папиросы, ошаривал карманы пьяного Слепухина, как воровал у Галки чай и сахар и вообще не стеснялся брать чужое, — он пугливо сморщил лицо, и ему захотелось уйти прочь от этого человека, но рябой добродушно сказал, позевнув:

— Ты меня не бойся, ведь у тебя украсть мне нечего, верно?

— Да, — вздохнул Лука.

— Ну вот! А у монаха — есть халтура, а?

— У него — есть!

— Однако — монаху деньги иметь не полагается!  
В карты играть — тоже! Верно?

— Верно, — сказал солдат. — Как он обязан служить богу...

— То-то вот! Ты видел — много у него денег-то?

— Кошелек толстый.

— Кошелек?

— Бумажник эдакой...

Кто-то спешно пробежал по палубе, заскрипела железная дверь в колесо, его глухие удары стали слышнее, пароход наполнился влажным шумом и кипением воды. Пыхтела машина, палуба под ногами дрожала, и эта дрожь непрерывно беспокойно отдавалась в груди.

Рябой говорил солидно, не глядя на Луку и позволяя ему рассматривать свое странное лицо, — солдату казалось, что слова его становятся всё более разумны и понятны.

— И всё на свете — божье, а не твое-мое. Ты со мной поделись, я тебя не хуже; а не поделишься — сам возьму! Вот и кража будет. Понял?

И Лука почти не удивился, когда рябой товарищески предложил ему:

— Ты поди-ка вытаци деньги-то у монаха; десятку мне дашь, за совет, за науку, а всё — тебе! И поправишься добром...

Слово «добром» заставило Луку улыбнуться, он отрицательно покачал головою:

— Я этого не могу, не сумею мне. Добром! Чудак ты...

— Сначала человек ничего не умеет, даже ест плохо, хуже котенка, — сказал рябой внушительно, подталкивая Луку локтем в бок.

Сквозь запотевшие стекла из машины на лицо рябого падал мутный свет, — лицо его казалось еще более каменным, чем днем, но глаза ожили и блестели ясно, покоряюще.

— Хорошо ты обо всем толкуешь, — вздохнув, задумчиво проговорил солдат.

Рябой с гордостью тряхнул головою:

— Мне, брат, сорок лет, я все дела обдумал...

Помолчали. А потом Лука неожиданно для себя согласился:

— Пойду погляжу, авось, что выйдет...

Рябой напутственно молвил:

— Захочешь — всегда выйдет!

Солдат пошел медленно, осторожно, ступая на носки, покачиваясь, глядя под ноги себе. Он думал только о том, что нужно быть как можно незаметней и не шуметь.

Когда он подобрался к монаху, тот лежал вверх грудью и, открыв рот, гудел, как шмель, захлебываясь сырым, холодным воздухом. Брови он поднял, точно слепой, его широкое лицо было радостно удивленным. Одеяло сползло с него, ряса на животе распахнулась, и рыхлое тело его зыбилось, как студень.

Солдат оглянулся назад, далеко от него, во тьме стояла черная фигура, мелькало какое-то белое пятно.

«Это он рукой машет», — сообразил солдат, опускаясь на колени перед спящим и тихонько заводя правую руку под рясу, на груди его. Он сразу нащупал бумажник, теплый и очень тяжелый, но — в эту секунду весь монах сразу подскочил на скамье, страшно ударив солдата погою в лицо, опрокинул его, свалился на грудь ему и дико завыл:

— Караул, батюшки...

Лука ослеп от удара, обессилел от страха и, лежа неподвижно под тяжким телом, старался сунуть бумажник в карман себе. Но кто-то вывернул ему руку, вырвал бумажник, залез в карман, вытащил Гланькино зеркало и тут же швырнул его в лицо вора. Лука поймал зеркало левой рукою и крепко сжал его в пальцах.

Солдата били, топтали, потом, подняв, повели куда-то, он шел покорно, приседая под ударами, и просил тихонько:

— Ну, — ладно, будет! Ну — виноват... что уж! Будет...

И вдруг, вздрогнув всем телом, он остановился, с поражающей ясностью вспоминая, чем он был еще

вчера вечером, сегодня весь день и вот — до этой, последней минуты.

Теперь его нет, есть другой, вор, которого посадят в тюрьму.

— Господи помилуй,— пробормотал он в ужасе и швырнул зеркало куда-то в сторону.

— Чего бросил?

— Смотрите за ним!

— Ты чего отбросил, а?

Кто-то забежал вперед и ударил солдата палкой по голове, палка, хряснув, переломилась, а Лука, взметнув руки выше головы, тычком свалился под ноги людям, точно в реку нырнул.

## М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

«Прекрасное — это редкое», — говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благодатное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра он — «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к добру, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его мягкий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявления человеческого», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение...

Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду

о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо и просто-душно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу так же, как и вы, синьор, но — маленькие люди — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих вместо одного, — ведь он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична, и это хорошо, знаете! Ведь романтизм наиболее человеческое настроение; мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну да! Но — ведь он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай: щенилась, впервые и очень мучительно, большая романская овчарка; щенята рождались мертвыми; собака, истерзанная болью, почти издыхала, и эта тяжелая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера, тоже суки, но еще не рожавшей.

Маленькая, изящная собака поражала напряженностью своих ощущений: с тихим воем бегая вокруг овчарки, она слизывала слезы с ее измученных глаз и сама плакала; мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям и, тихонько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи, и всё плакала, — капали слезы из ее прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного жутко.

— Это — удивительно! — волнуясь, сказал Кюцюбинский. — И я ничем иным не могу себе объяснить такой силы чувства у собаки, как тем, что люди со-

здали уже вокруг себя неотразимую и внушительную атмосферу человечности, которая способна перевоспитать даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбинского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные, ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями ботаника, говорил о них, как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и рассказывал о нем:

— Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его больное сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням, горячо нагретым солнцем, в жарком воздухе, густо насыщенном запахом цветов, но он не щадил себя, гулял много, часто — до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему: «Зачем вы позволяете себе уставать?» — он отвечал, легко побеждая советы благоразумия:

— Хочется видеть как можно больше: мне ведь недолго жить на земле, а я ее — люблю...

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледно-розовые мальвы, — весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

— Здоровеньки були! Як живеться на чужині? Сконфузился и пошутил:

— Знаете — немножко сантиментальным становлюсь! Но ведь и вам, думаю, нередко вздыхается по белой березе, которой вас секли, бывало? Э, все люди — люди, а кто не человек — да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нем:

«Чувствую себя неважно, мне только и хорошо на Капри. Впечатления от каприйской природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что положительно оздоравливают меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный

воздух острова не был полезен ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, — ее скорбями он жил, ее муками мучился.

Бывало, видишь: идет он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем вдумчивым лицом, как на портрете Жука, — видишь и догадываешься: думает о своей Черниговщине.

Так и есть: пришел в свою белую комнату, сел утомленно в кресло и говорит:

— Знаете, там, по пути к Arca Naturale, стоит хата совсем такая, как у нас! И люди в ней — наши: дидусь, такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой и баба такая же, да еще и дивчина с карими очами — полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то — всё — и солнце — как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о будущем ее, о ее людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе загубленной ныне «Просвіти». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всем подумал и то, что знает, знает хорошо.

В июне 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Всё время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на „полонинах“, где гуцулы-номады проводят со своими стадами всё лето. Если бы вы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов! Собираю материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме, из Чернигова, ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью; но было необычайно красиво, а это — главное».



Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты ее, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. «Чувство недовольства собою у меня очень развито», — не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными даже, и как-то совестно перед литературой и читателем», — писал он в 1910 году.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

— Вам нравится «Самотній»?

— Это лучшее из трех ваших стихотворений в прозе, а они все, на мой взгляд, очень хороши...

Он грустно улыбается:

— А я прочитал сегодня утром, и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так нужно писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

— Да там еще в конце гордый крик есть, — это уж и не искренно, а так сказано — для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит — не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему, и всегда он жестоко казнил себя.

— Смотрите, как это хорошо:

Жаль маю до землі,  
Бо тіні, що вкривають її,  
Пересунуться на інше місце —  
І де було тьмяно і сумно,  
Знов ляже золото сонця...

Он усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение...

Однажды ему сказали:

— Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх»!

Он небрежно отмахнулся рукою:

— Да это ж заимствовано! И неумело сделано, — в жизни этот смех страшней и законней.

Иногда было досадно, чаще — больно слышать такие возгласы: много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее — меткое слово, звучную фразу.

— Дорогой мой, — сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, — столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то до слез простых и ласковых песен! Так бы дождем с неба и опрокинул всё это на землю, на людей, а — не удастся, не умеется!

Не удавалось, да, но — он мог бы, он бы сумел написать прекрасные большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и — красиво, оригинально, по-своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства почти в каждом письме его звучала, всё усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то неладно. Сердце работает всё хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет уже сил приняться за что-либо другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит — создалось трудно одолимое препятствие. А между тем вилла в четыре комнаты за 65 лир с доброй хозяйкой манят и улыбаются».

И наконец 9/X — 912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А. М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего — не могу работать. Остается попробовать героическое средство: лечь в больницу на продолжительное время, для чего на днях отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня, наконец, в Киев, уложили в клинику как „тяжелого сердечника“. Однако я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне всё, что я люблю, — цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет, и оттого кажется еще теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово и даже в этот день, сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка, все-таки нашел в душе это слово, милый...

Он знал, что скоро умрет, и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которою многие рисуются столь лживо.

— Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! — сказал он однажды. — Я верю в победу разума и воли человека над смертью, так же как в то, что сам — скоро умру. И еще умрут миллионы людей, а все-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, — мы будем отходить в небытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут ее красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооруженный знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены форм тонко чувствовалась им.

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав и цветов, он говорил:

— Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески...

Он очень умел улыбаться так, всему — улыбкой друга. По поводу смерти Л. Н. Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но — не знаю, стыдиться ли? — и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбинского определилась как тяжелая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок отцвел, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми,— насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

## 〈ЛЕГЕНДА О МУКАННЕ〉

Рассказывают:

— Когда Хаким бен Хеким, прозванный Мокайма, что значит — Занавешенный, — когда этот сын судьбы и случая был на вершине славы своей и весь мир, от Багдада до Самарканда, от Кандахара до Мерва, громко пел о подвигах его меча и тихо говорил о злодействах его, — тогда Хаким Мокайма послал гонцов по всему Туркестану и они возглашали на базарах городов:

— Я, Хаким бен Хеким — Владыка всех владык, Владыка истины. Я всё знаю — все дела и мысли мира. Народы — собирайтесь вокруг меня и знайте: всемирное господство, могущество и слава принадлежат мне. Кто идет со мною, тот будет в раю, кто бежит меня — падет в мрак ада!

И, когда эти дерзкие слова дошли до Бога, Бог улыбнулся, сказав:

— Ничтожен человек воображения, не изведавший восторга добрых деяний!

И, желая наказать человека за гордость его, Бог послал к нему женщину.

Рассказывают:

— Она явилась пред шатром безумца на восходе солнца, и стража приняла ее за сошедшую с неба.

— Кто ты? — спросил ее Хаким, а она, глядя в глаза ему, ответила:

— Ты всё знаешь, как об этом говорят люди, ты должен знать — кто я и зачем пришла!

Тогда он, слепой в душе, сказал:

— Я хотел знать, не солжешь ли ты, отвечая мне. Но я знаю — ты из Хороссана, где цветут лучшие цветы, и ты хочешь быть наложницей моей.

— Я — из Хандагара, — скромно сказала женщина, — но я буду для тебя тем, что нужно тебе...

— Твое имя — Бануки, — решил Мокайма и ввел ее в шатер свой, и полы шатра опустились за ними — с женщиной жарко и в тени.

Рассказывают:

— Семь дней и ночей наслаждался любовью хвастливый безумец, и вот собралось пред шатром его пятьдесят тысяч людей, поверивших в могущество Мокаймы, и стали просить люди:

— Владыка, — покажи нам славу и великолепие твое!

Он повелел сказать им:

— Мойсей хотел видеть меня и не мог вынести лучей света моего, один мой взгляд на земнородных — смертью убивает их!

Но они кричали:

— Мы готовы умереть, только бы видеть лицо твое!

Тогда утрашился Хаким бен Хеким и спросил сам себя:

«Что сделаю я?»

Но Бог открыл женщине мысли его, и она покорно посоветовала господину своему:

— Собери всех жен и наложниц твоих, дай в руки каждой из них зеркало и поставь против солнца на холме за шатром!

Так и сделал он, и, когда лучи восходящего солнца отразились в сотнях зеркал, изумленные люди пали во прах, жалобно взывая:

— Пощади, повелитель! Да не ослепит нас слава твоя!

И еще более возгордился несчастный Хаким Мокайма, а Бануки вопла в народ и, показывая зеркала, говорила всем:

— Вот что делает славу владыки вашего, только это!

Но не поверили ей люди, и тогда Бануки, возвратясь в шатер, сказала Мокайме:

— Они поняли, что ты обманул их, и от горя низверглись во прах. Смотри — встанут они и убьют тебя, а сокровища твои разграбят и смешают с грязью славу твою...

Устрашился Мокайма:

— Что же сделаю я?

— Ты — всё знаешь, — сказала Бануки, — ты знаешь, что Бог за тебя и не даст огню пожрать жизнь твою; вели зажечь костер на горе и войди в пламя его — кто тогда посмеет коснуться тебя? Кто не поверит чарам твоим?

Так и сделал испуганный безумец.

Рассказывают:

— Три дня и три ночи горел костер, а когда янтарные угли его покрылись холодной солью пепла и пришли люди — Бануки сказала им:

— Он вошел в огонь, чтобы очистить себя от лжи, я всё время стерегла, как он выйдет из пламени, но — не вышел он...

Так рассказывают в Самарканде о гибели великого обманщика.

## ЛЕГЕНДЫ О ТАМЕРЛАНЕ

### I

Нет человека, который не хотел бы владеть Самаркандом!

Шир-Али, кривой нищий, тоже мечтал об этом, особенно по ночам, когда тихий степной ветер пахнет травами, опьяняя, возбуждая безумные мечты.

Но и днем нищий нередко говорил беднякам, друзьям своим:

— Ах, если бы я был владыкой Самарканда!

Весь город узнал мечту Шир-Али, и люди, смеясь при встрече с ним, говорили друг другу:

— Вот этот, одноглазый, тоже хочет владеть Самаркандом!

Узнал о мечтах нищего сам Великий Хромой, Тимур-хан, — узнал и удивился жестоко.

— Несправедливо это, — сказал он, — несправедливо, если мечта героя доступна сердцу ничтожного нищего!

И запомнил он в глубоком сердце своем имя — Шир-Али.

И долго спустя, когда стены Самарканда пали под ударами железной руки Тимура и когда благая рука эта восстановила красоту города во всем великолепии его, повелел Тимур-ленг:

— Найдите нищего, по имени Шир-Али!

Привели одноглазого, и сказал Тимур, глядя на него глазами барса:

— Али! Известно стало мне, что небо и звезды любят тебя, и решил я — да будешь ты счастлив на земле, да исполнится мечта твоя!

И приказал:



— Омойте нищего, оденьте его и поклонитесь ему — отныне он владыка Самарканда, как того хочет мой разум, как решило сердце мое!

Вот сидит Шир-Али на коврах, выше всех, весь в шелке и золоте, — сидит, открыв рот, и одинокий глаз его не виден в радужном блеске драгоценных камней.

А пред ним стоят, преклонив головы, великие мурзы, воины, мудрецы и девяносто девять тысяч удивленного народа.

И сам Непобедимый стоит пред ним, прислушиваясь молча, как рыгает чисто вымытый, по горло сытый нищий.

И сказал ему Тимур-хан:

— Скажи нам что-нибудь, Шир-Али, счастливый человек, скажи нам лучшее, что ты носишь в душе твоей, знакомой со всяким горем, — в доброй душе твоей...

Подумал одноглазый и сказал:

— Добрые люди — подайте милостыню одноглазому нищему, подайте...

Долго молчали князья, воины, мудрецы, девяносто девять тысяч народа, и сам Тимур долго молчал.

А потом, вздохнув, повелел:

— Повесьте эту кривую собаку на воротах города!

.....  
Есть люди, которые думают, что одноглазый нищий в последний час жизни своей — только в этот час! — был более мудр, чем победитель мира.

## II

И вот что еще рассказывают о Тимуре.

Когда он насытился славой, как Хороссан зноем солнца, он стал задумчив и немногословен, подобно мудрецу с берегов Ганга.

И, созвав однажды в шатер свой величайших мудрецов земли, кратко спросил их:

— Мне нужно видеть Бога, — как я могу достичь Его?

Разные пути указывали мудрецы Тимур, но он

жестоко молчал, отталкивая мудрых взглядом презрения.

Молодой мудрец далекой страны Средиземного моря указал Тамерлану:

— Только разумный труд приводит к познанию мудрости Божией!

— Это путь рабов,— крикнул Хромой,— укажи мне путь Владыки!

— Бог познается созерцанием,— сказал седой старик из Пешавера.

Усмехнулся Тимур.

— Созерцание — сон души и бред ее, ступай прочь, старик!

Византиец сказал, что путь к Богу лежит сквозь любовь и терния любви к людям, но Тимур не понял византийца, насмешливо возразив ему:

— Тех, которые много любят, мы называем распутными, и они заслуживают только презрение.

Так он отверг все советы мудрецов и много дней был мрачен, точно ворон.

Но однажды, запоздав на охоте, он остался ночевать в горном ущелье, и вот, на рассвете, ворвалась в ущелье буря, осыпая его каменные бока огненными стрелами, наполнив горную щель степной пылью и тьмой.

И в громе, во тьме Тимур-ленг услышал спокойный Голос:

— Зачем Я тебе, человек?

Понял Хромой, кто говорит с ним, но не утратился и спросил:

— Это Ты создал мир, который я разрушаю?

— Зачем Я тебе, человек? — повторил Голос бури.

Подумал Тимур, глядя во тьму, и сказал:

— Родились в душе моей мысли, ненужные мне, и требуют ответов,— это Ты внушаешь ненужные мысли?

Не ответил Голос, или не слышен был Тимуру ответ Его в злом хохоте грома среди камней.

Тогда выпрямился человек и заговорил:

— Вот, я разрушаю мир,— весь он в ужасе пред мечом моим, а я не знаю страха даже пред Тобою. Ты-

сячи тысяч людей видели меня, а я даже в сновидениях не встречался с Тобою. Ты создал землю, посеял на земле неисчислимые племена,— я поливаю землю твою кровями всех племен, я истребляю лучшее Твое, вся земля побелела,— покрыта костями людей, уничтоженных мною. Я делаю всё, что могу, Ты можешь только убить меня, ничего больше Ты не сделаешь мне, ничего! И вот — я спрашиваю: зачем всё это — я, Ты и все дела наши?

Голос спокойно сказал:

— Придет час, и Я накажу тебя...

Усмехнулся великий убийца.

— Смертью?

И Голос ответил:

— Страшнее смерти — пресыщением накажу Я тебя!

— Что такое пресыщение? — спросил Тимур.

Но буря взлетела к вершинам гор, и никто не ответил Тамерлану.

После этого Тимур-ленг жил еще семьдесят семь лет, избивая тьмы людей, разрушая города, как слон муравейники.

Иногда, на пирах, когда пели о подвигах его, он вспоминал ночлег в горах и Голос бури и, вспоминая, спрашивал лучших мудрецов своих:

— Что такое пресыщение?

Они говорили ему много, но ведь нельзя объяснить человеку то, чего нет в сердце его, как нельзя заставить лягушку болота понять красоту небес.

Умер великий Тимур-ленг, разрушитель мира, после великой битвы, и, умирая, он смотрел с жалостью в очах только на любимый меч свой.

## ПОЖАР

Наша улица — Мало-Суетинская — круто спускалась с горы к реке по двум сторонам оврага-съезда, вымощенного, точно на смех, неровно, крупным булыжником. По откосам овраг густо зарос лопухами, полынью, конским щавелем; в гуще пыльного бурьяна, среди сношенных опорков, черепков посуды и битого стекла, грустно прятались синие цветы повилики, розовые кисточки клевера, золотые звезды лютиков и мохнатый одуванчик.

Съезд был непригоден для езды — даже пустые телеги сами собою катились вниз, подпирая лошадей, а спуститься с возом и подавно никто не решался.

Круглый год эта щель в земле была безлюдна, и хотя внизу гудел город, но казалось, что съезд ведет за реку, в синевато-серую пустоту лугов. Только летом, в праздничные дни да жаркими ночами, доможители Мало-Суетинской вылезали из своих жилищ, располагаясь в бурьяне откосов для бесед, пьянства и любви, возбуждаемой не столько игрою здоровой крови, сколько желанием избыть скуку нищей жизни.

Улицей назывались две узкие полоски земли между линиями домов и откосами съезда. Старенькие дома, распухшие от обилия жителей, смотрели друг на друга через съезд водянистыми очами окошек недоверчиво или жалась друг ко другу, не то осторожно спускаясь вниз, к простору широкой реки, не то с трудом восходя вверх, к тихому городу богатых купцов и строгих чиновников.

Тесно, точно кадки огурцами, дома были набиты мастеровщиной, всё — скорняки, жестяники, столяры и портные для лавок готового платья на балчуге. Эти

люди с утра до ночи создавали непрерывный шум — особенно выделялся стук деревянных молотков по листам жести и дробные удары тонких палок по шкуркам меха. Плакали дети, ругались женщины, безумно орали пьяные — жизнь Мало-Суетинской улицы, задыхаясь в тесноте и грязи, пела всем знакомую бесстыдную песню.

Все доможители не любили свою улицу: земля под окнами домов была заплескана помоями, засорена разной дрянью, из подворотен выбегала мелкая стружка, текли грязные ручьи; в траве у заборов блестяли обрезки жести, куски стекла, летом они вонзались в ноги детей.

Только раз в году, на Троицу, домохозяева — не все, конечно, — сметали сор улицы измызганными метлами под откосы съезда.

И на стенах домов грязиросло не меньше, чем на земле. По субботам бабы старательно мыли полы, но от этого только кислый запах гнили растекался в воздухе да с утра до вечера на улице стояли лужи удивительно грязной воды.

Осенними ночами, когда в большинстве окон огонь погашен, а в некоторых еще горит, улица, под дождем и ветром, становилась особенно унылой; дома, разбухнув, оплывали, везде хлюпала и ворчала вода; желтые пятна света ложились из окон на ручьи, ручьи сердито трепали эти пятна, стараясь погасить даже призрак огня. И вообще, всегда огонь в этой улице был тоже как будто нелюбим — мало его, затерян он в тесных клетках домов.

В улице жило человек двести, но наиболее заметными людьми считались трое: лавочник Братягин, бездельный юноша Коля Яшин и печник Чмырёв.

Братягин — вдовец, лет сорока пяти, крепкий мужчина с большими серыми глазами; серо глядя на людей, они, казалось, всё понимали, проникая прямо в душу, но были странно неподвижны — лицо Братягина сплошь заросло желтоватою шерстью, и глаза как будто заплутались в ней.

— Зна-аю я вас! — встряхивая головой, говорил он людям, и люди не сомневались в том, что он их знает.

Он читал «Мямлинский листок», и когда ключья старых номеров вместе с покупками попадали жителям, они тоже читали газету. К лавочнику ходили советоваться о домашних делах, жаловаться друг на друга, он охотно писал прошения мировому и уверенно говорил о России, о боге, о непорядках жизни.

— Живете вы, как свиньи! — веско внушал он суетинцам; голос у него был громкий, и они, покорно вздыхая, соглашались с ним.

Он жил чисто, смиренно, одиноко, стоял среди суеты нашей улицы крепко, точно по колена в землю врыт. Знали, что, когда женщина помоложе и почище просила у него в долг, он, внимательно и молча выслушав ее просьбы и жалобы, приказывал ей, кивая за прилавок, на дверь в свою комнату:

— Пройди туда, что ли...

Через некоторое время он выводил ее оттуда и, брезгливо поплеывая, отпускал ей товара не больше, чем на гривенник. Это — знали, но никто не осуждал вдового человека, а его оценка женской ласки не считалась нищенской в нашей улице.

Печник Чмырёв и Коля Яшин служили улице для забавы и осмеяния.

Над Колей издевались потому, что он был юноша скромный, болезненный, одевался франтовато, и хотя пел в церковном хоре, но не пьянствовал, как все певчие, и вообще в нем не замечали никаких пороков. Это возбуждало ревнивые подозрения улицы и даже несколько обижало людей — все живут во грехе пред богом, все друг про друга знают что-нибудь худое, а он — беспорочен!

— Пройдет с ним, — объясняли наиболее добродушные люди, — он — матери боится, а помрет мать, покажет Коля фокусы!

Он читал книжки и даже — говорили — сочинял стихи барышням Карахановым; их было семь, все они ходили в одинаковых платьях, и — должно быть, за это — улица звала их — «семь дур Карахановых».

Когда Коля в праздники, перед вечерней, тихонько шагал мимо окон — все знали, что он идет к «семи дурам»; их барский ветхий дом стоял первым при

входе из города в нашу улицу, спрятан в саду, среди лип, покрытых лишаями. Стройный, маленький, похожий на подростка, несмотря на свои двадцать лет, Коля шел, сконфуженно наклонив голову, пряча бледное лицо и покашливая в ответ на шутки. В руке у него тросточка с набалдашником в виде лошадиной ноги — наследство после отца, другая рука в кармане брюк, а из грудного кармашка тужурки торчит кончик платка — золотисто-желтый или алый, под цвет галстуху.

Из окон кричат ему:

— Эй, Яшин-мамашин! Чахоточный, эй!

И почти всегда — мальчишки и взрослые — простейшими словами спрашивали об одном и том же:

— Которую сегодня целовать будешь?

Коля идет, как глухонемой, только иногда кашляет погромче да поводит плечами, точно его кнутом бьют.

Но его все-таки не очень обижали, а вот о Чмыреве даже сами суетинцы говаривали:

— Терпелив печник, круглый чёрт! Другой бы на его месте в драку с нами полез, а то — кирпич в окно...

Чмырев был человек коротконогий, толстый, его широкое лицо исчертили красные и сизые жилки, где-то среди них беспокойно и внимательно бегали маленькие черные глаза.

— Сафьяновая рожа! — говорили ему суетинцы, он останавливался и, загибая палец на левой руке, считал серьезно:

— Раз.

— Утюг!

— Два.

Люди солили слова свои всё круче, но печник оставался непоколебим и всё считал:

— Шашнадцать. Ну?

— Пошел...

Чмырев смеялся сильным смехом и говорил:

— Ну, как же вы? Даже разозлить человека не умеете! Чего же вы умеете?

И уходил, куда ему надо, поглаживая корявой рукою толстые волосы бороды, — борода у него точно

из беленых ниток, прямая, серая и тяжелая. Смешной особенностью печника было наянливое стремление внушать людям любовь к чистоте, благообразию, порядку. Это заметили за ним давно: однажды весенние потоки, выворотив булыжник съезда, вымыли на нем глубокие ямы,— печник тотчас же стал учить доможителей:

— Вы ба забили ямы-те мусором, а то сами жа, пьяные, ноги ломать будите...

Он говорил об этом несколько раз, на смех людям, и, наконец, утром воскресного дня сам начал поправлять мостовую: наносил мешком мусора, песку, уложил булыжники и утрамбовал. Смешно и досадно было смотреть, как он возился с этим делом, на пользу городской управы, и много глумились над ним. Тогда и было замечено, что он — чужак.

— Дела надо делать прочно, надолго,— любил он говорить.— Мы на земле не одни живем...

Его спрашивали:

— А кто еще, кроме нас?

— Чай — не все сразу помрем...

— Экой чужак! — удивлялись жители.

Особенно прославился он после своей распри с Братягиным из-за Лидуши Сувойкиной. Это была девушка-подросток, миловидная и очень набалованная матерью. Она считалась не в своем уме, после того как ее мать, торговка старьем на балчуге, умерла в тюрьме, куда ее посадили за сбыт краденого.

Однажды Лидуша, остановив Чмырева на улице, спросила его:

— Как мне быть, Василий Лукич? — она знала, что с печником тоже иногда, шутки ради, советовались.— Лавочник говорит, что я сирота, бесприданница, да и полудурье, так замуж меня никто не возьмет, а шла бы я за него...

Чмырев спросил:

— Тебе который годок-та?

— Пятнадцать скоро...

Через несколько дней в лавку Братягина явилась важная барыня с полицейским и очень напугала почтенного лавочника угрозами отдать его под суд.



Эта история сильно подняла Чмырева в глазах улицы, но через несколько месяцев стало известно, что Лидуша поступила на содержание к мировому судье, — печник был снова жестоко осмеян, а Братягин уверенно говорил:

— Зна-аю я эдаких-то!

И даже обещал доказать, что Чмырев сам сосватал девицу мировому, взяв с него за это пять с полтиной.

В сватовство улица не поверила, но печник навсегда упал в ее мнению.

А кроме всего этого, раз в год — обыкновенно весною — Чмырева настигал дикий запой и мучил его недели две, как черная немочь, валяя круглое тело по земле, в грязи, по камням мостовой.

— Свинья! — говорил Братягин, стоя на страже у двери лавки своей и спрятав руки под передник, всегда — чистый.

Суетинские мальчишки ездили на пьяном печнике верхом, а он, ползая на четвереньках, дико орал:

— Бож-жа мой... Ббо-жа!

Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто становятся мягче.

По вечерам и в праздники суетинцы поднимались к забору Карахановых и на пустырь против него, садились на кучи мусора, торчавшие по пустырю серыми могилами, и смотрели вниз, на реку.

Сбросив серо-синий лед, река разлилась далеко по лугам и покрыла их мутным стеклом до чуть видной на краю земли белой церкви села Толоконцева. Кое-где стекло как бы разбито, и сквозь него проросли кусты, вершины деревьев, высунулись крыши каких-то хижин. В одном месте над гладью половодья стоят три кудрявых дерева — одно к одному, как три брата, утонув вплоть по нижние сучья.

Над рекою, в зеленоватом вечернем небе, между последних облаков зимы сверкает юное солнце, золотые лучи ласково греют воду, местами она — как расплавленное олово.

Белым дымком стремительно бегут по небу клочья

облаков, серые тени легкой кисеей гладят реку против течения, ветер — на север, а река — на восток. В широких далях водной пустыни снуют рыбацкие лодки, как мухи на стекле, буксирный пароход тяжело тащит из затона пустые тупоносые баржи, лебедем спускается по реке белый пассажирский, взбивая пену красными лапами. Сверху реки, звено за звеном, плывут плоты, темные куски эти — точно острова на воде; думается, что земля тает, как лед, отрывается сама от себя и спешит уплыть скорее к теплому морю, ближе к ласковому солнцу.

И как будто всё на земле передвигается — дома, деревья медленно подставляют озябшие бока внешнему солнцу, так же осторожно и скрыто-радостно, как делают это наши суетинцы.

В саду Карахановых набухают почки, рыжеватые ветви становятся желто-зелеными, вороны шумно поправляют гнезда, растрепанные зимними выюгами. По откосам съезда, среди острой щетины робких трав, светятся золотые цветы бедняков — одуванчики, любимые детьми. И даже между серых камней мостовой выползают на солнце какие-то бледные стебли. На пустыре, на серых холмах, среди кусков ржавой жести, высунулись ростки полыни, и в густом запахе гнили уже слышен ее острый горький запах. Скромный подорожник стелется под ногами, раскрашивая грязные тропы своей яркой зеленью, и всюду победно вздымается к солнцу новое, юное, ласковое.

Обновилась земля и стала точно девушка, на крепком теле ее явились тонкие шелковые волосы, радостно и стыдливо волнуя еще не проснувшееся сердце матери. Всюду оживленно прыгают воробьи — самая бесстрашная птица, яростно играют дети, выпущенные из долгого плена зимы, безумно рад солнцу тонконогий народ, и с каждым днем всё больше краснеет кровь его, посилавшая за зиму в ядовитой духоте тесных грязных комнат.

Кричит наша улица. Вылезли тяжелые женщины, зимняя любовь «от нечего делать» наградила их новыми беременностями, стоят они у ворот и, открыв вялые синие губы, жадно дышат новым воздухом, расска-

зывая друг другу о своих болезнях, о болезнях детей, о том, как дороги дрова и хлеб, как изнурительна работа, грубы мужья, хвастаются хорошими сновидениями... Но много есть таких, что и снов не видят никогда.

Мужчины пьют водку на пустыре, играют в карты — в три листика, ругают свою работу, хозяев, а те, кто посolidнее, собрались у лавки Братягина.

Где Братягин, там и Чмырев; враги, они всегда друг против друга, и если Чмырев беседует у забора Карахановых, Братягин сам пойдет туда дразнить его. А где Чмырев, там неизменно Коля Яшин прячется за чью-нибудь спину и слушает акающую речь печника.

— Теперь — возьмем строение, — говорит Чмырев, ковыряя воздух тяжелой рукой с тупыми пальцами. — Что это будет — строение? А понимай — всё. Божий ли храм, дом ли — жилища наши...

Кто-то из доможителей насмешливо вставляет:

— Храм — одно, а дом — другое...

Чмырев сипло кричит:

— Постой, погоди — как другое? Во храме — дети божи, и в доме они жа!

— Какие мы дети божи...

— Погоди — это зависимо от того, как на себя взглянуть...

Тут Братягин вставляет веское слово человека, знающего людей:

— Во храме — ни псы, ни свиньи не живут!

— Во-он что? — кричит печник. — Ты думаешь — коли обругал сам себя, то и прав пред богом, пред людьми?

— Да я — не себя...

Но Чмырев идет на грудь ему, как мордвин на медведя:

— Стой! Ежели все псы да свиньи, тогда — и ты!

Лавочник, видя, что встал на спор неловко для себя, отходит прочь, говоря:

— Эх, обормот!

— То-то жа! — победоносно кричит Чмырев и снова начинает. — Ну, вот, значит — строение. Что такое?

— Вези дальше!

— Ну, трактир, скажем, ну? — торопит публика.

— Отчего же именно — трактир? — смущенно спрашивает печник.

Публика хохочет.

— Эх ты, судак-малосол! — кричит кто-то.

Коля Яшин пробует поддержать печника и, покашливая, напоминает:

— Ведь Лукич — всегда об одном, вы знаете его мысли...

— То-то вот и есть, что всегда юрунду сеет, — кричит со стороны Братягин.

Он рассуждает проще, понятнее Чмырева, особенно крепко звучит его глуховатый голос у дверей лавки.

— Живете вы, как свиньи бестолковые, в грязи, в безобразиях, чешетесь обо что попало. И ежели подохнете все сразу — никакого убытку Россия не потерпит.

С ним соглашаются:

— Верно, не потерпит...

— Кто вы такие для бога?

— Н-да... Не жалко нас господу...

— А за что вас жалеть?

— Конечно... Куда уж...

— То-то вот! Знаю я вас!

Он такой плотный, Братягин, люди чувствуют, что его презрение к ним — необоримо; все они не любят лавочника, но уважают и боятся его ума.

— Вот, — внушает он, потряхивая газетой, — завели, на велик грех, Думу, собрали туда разных этих... Десять целковых в сутки на рыло, а их — около пятисот! Стало быть — в месяц вынь да положь на них полтора ста тысяч, а ежели в год — так это уж восходит до двух миллионов. Да — квартира, да то, да се... Вот они куда идут, ваши деньги, а вы...

Думу он очень не любит и говорит про нее охотнее всего, всего злее.

— Раньше, бывало, эдаких-то в Сибирь да в каторгу засылали, а ныне — получи десять целковых в день и ори все, не сходя с места! Раньше умней было да и подешевле. А теперь — хотим жить, как за границей, в стеснении и со стыдом. Русский должен по-

русски жить, своим умом, а не чужим примером. Заграница-то вся до нас за хлебом идет.

Коля Яшин и Чмырев иногда пытаются возражать лавочнику:

— Дума,— тихо говорит Коля,— это сделано для общего согласия интересов...

Но лавочник сует ему в нос газету.

— На-ко вот, найди мне — где оно, согласие-то!

А Чмырев сипло кричит:

— Ежели люди домыслят — что есть строение... ежели и кирпич правильно положен — крепко лежит...

— Ты «Листок» читать умеешь? — строго спрашивает Братягин.

Чмырев неграмотен и молчит, дергая себя за бороду.

Суетинцы смеются.

Иногда наверху, в начале улицы, точно семь гусынь, являются семь дур Карахановых; впереди — старшая, Серафима, коротенькая и толстая, как Чмырев, лицо у нее обрюзгло, губы смешно надуты; за нею — двоешки: Нонна и Римма, сухонькие, юркие, с накрашенными щеками; потом — косоглазая Софья, черная, как цыганка, и, точно из дощечек, сложена из плоских костей. За нею, пританцовывая и жеманясь, идут младшие — Вера, Надежда и Любовь, — особенно уродлива толстогубая, курносая Любовь, с калмыцкими глазками. Известно, что они живут в постоянных ссорах и одеваются одинаково из ревнивой зависти друг к другу.

Разного роста, они останавливаются у входа в улицу, как солдатики нестройной роты, смотрят на половодье разными глазами и о чем-то шепчутся, поворачивая друг ко другу несчастливые лица.

Может быть, суетинцы за то и не любят их, что все они так некрасивы и напоминают о несчастьях, о тяжелой, запутанной жизни.

На Мало-Суетинской знают их историю. Генерал Исмаил Караханов женился на вдове Люташкиной с дочерью, но оказалось, что вдова еще до свадьбы была беременна и через шесть месяцев, родив двойню,—

умерла. Тогда генерал запил от обиды и женился во второй раз на девушке, дочери тюремного смотрителя Певцова, а Серафима, дочь первой жены, встала в доме за экономку и воспитательницу своих сестер. Вторая жена генерала, родив в пять лет четырех девочек, тоже начала пить и, спившись, умерла в один год с мужем. Так и остались на свете семь дур, одиноки и осмеяны.

Мальчишки, видя смешную линию этих девиц, начинали весело петь песню, сложенную нашей мастеровщиной:

Семь веников идут,  
Сами улицу метут,  
Они шаркают, пылят,  
Уважать себя велят!  
Они гузками трясут...

— Allons, m-elles! <sup>1</sup> — говорит Серафима сестрам, и все они уходят к себе в сад, медленно и важно, как гусыни. За ними виновато шагает Коля Яшин, глядя в землю, а вслед Коле — свист и крепкие слова улицы.

— Сорьё! — кратко говорит лавочник, глядя на девиц.

Жители торчат у лавки Братягина вплоть до позднего вечера, слушая твердые слова умного человека. Изредка они осторожно спрашивают его о чем-нибудь, но больше молчат, поглядывая вниз на реку.

Там быстро, по-весеннему, творятся разные чудеса, навевая на душу задумчивость и лень. Солнце давно окунулось в красное море половодья, вода в лучах — точно багровый бархат, на нем черным узором — ветви затопленного кустарника. Веет сыростью, дымом пароходов, шум города внизу и вверху становится мягче, приглушенный влажным воздухом.

Из далеких лесов за лугами осторожно поднимается ночь, скользит по воде и стирает яркие краски вечерней зари. Вспыхивают звезды, их острые отражения, вонзаясь в реку, кажутся потерянными лучами ушедшего солнца. Потом, выкатываясь из-за черных домов

---

<sup>1</sup> Пойдемте, барышни! (*Франц.*)

города, в синее небо выплывает молодая луна, река блестит медью,— если подплыть в лодке к этой медной полосе и ударить по краю ее веслом, в ночи разольется гулкий, длительный звон.

Ночная тьма приятно ласкает усталые за день глаза, тишина баюкает душу, как родная мать.

Из темной дали, оттуда, где потонуло солнце, с верха реки, тихонько спускаются красные огни; едва заметные сначала, они подплывают всё ближе, становятся ярче, больше, и вот видно, что это горят костры на плотках, радостно мечется густо-красное пламя — в черных космах дыма смеется чье-то здоровое, доброе, мохнатое лицо.

Слышен тревожный бой деревянного била по чугунной доске, слышен радостный звериный рев и вой плотогонов,— они обязаны давать сигналы по ночам и пользуются этим — режут во всю власть души.

Суетинцы смотрят на эти огни, слушают буйный крик плотогонов и негромко говорят друг другу:

— Эко орут...

— Дикбый народ...

— Лесовики... конечно...

Но плоты исчезают вместе с огнями, неутомимое течение темной реки быстро смывает всё. Снова на ней тихо, пусто, и в тишине этой сладостно тонет душа.

Иногда ночь бывает так мило чудесна, что уж не хочется, чтобы миновала она, и не надо солнца, а сидел бы на горе, любуясь рекою, до часа, когда незаметно уснешь на веки веков.

Весенними ночами Яшин и Чмырев нередко оставались на улице до рассвета.

— Мне — тихий воздух нужен,— объясняет Коля свою бессонницу. А печник любил беседы в ночной тишине и во тьме,— тьма и тишина делают улицу, землю и всю жизнь более благообразной.

Там, где забор Карахановых загибался тупым углом к неровной линии домов, у забора лежал толстый

обрубок липы, сажени полторы длиною, он лежал на трех сучьях, ушедших в землю по основанию, и был похож на безголовую лошадь о трех ногах.

На нем и сидели друзья — наиболее бессонные и беспокойные люди Мало-Суетинской.

— Что, Коляга, как дела? — спрашивал Чмырев, поглядывая на реку, а река — точно бездонная пропасть, налитая густым воздухом.

— Да так, ничего, — отвечает Коля, зажигая папиросу. Он тоже смотрит вдаль голубоватыми глазами, его скромное невеселое лицо задумчиво, как всегда.

— Ну, а с девицами — как?

— Всё так же...

— Играешь?

— Со старшими. В винт.

Чмырев добродушно смеется.

— Винт! Это — картеж, я понимаю... Я спросил в простом смысле — как, мол, — трогаешь?

Коля молчит, глядя на красный угасающий огонек папиросы, потом с досадой, жалобно рассказывает:

— Они сами всё заигрывают со мной, особенно — Софья, она и коленками под столом и ногами... А мне она не нравится. Мне — Надежда нравится, она самая кроткая и всему верит. Только — капризная она чрезвычайно: обожаю, говорит, финики. А принесешь ей — фыркает: я, говорит, терпеть не могу фиников, а только винные ягоды... Удивительная... Остальные — бог с ними!

— Вот Надежду и приспособь, — доброжелательно советует печник. — Всё едино — замуж им никоторой не выскочить, перестарки они и немилые...

Ему нравится учить юношу обращению с девицами, он говорит охотно, с большими подробностями, как человек, который знает и любит дело.

Семь звезд Большой Медведицы высоко в небе сверкают так ярко, точно рады видеть весеннюю землю и широкий водный поток среди нее.

Медлительно покуривая, Коля говорит:

— Какой я жених? У меня — чахотка...



— Разве я про то? — удивленно восклицает Чмырев.— Али ты не слушал? Я тебя в женихи не прочу, а так советую — поиграй, веселей будет! Им — всё едино...

Внизу, в городе, еще не заснули — торопливо кажутся пролетки по камням, хлопают двери. Слышится глухое сердитое рычание, тяжелая возня, посвистывают пароходы на реке, кто-то шлепает по воде широкими ладонями.

— Жалко мне их, Василий Лукич! — говорит Коля с тихой досадой.— Кабы можно, то есть если бы я был здоровый человек и распутный, то я бы со всеми ими связался — честное слово!

Печник добродушно смеется.

— Со всеми? Ах ты...

— Ей же богу! С одной, с другой... Вот — покажите! — семь любовниц в одном доме.

— Ну, смешной ты!

— Это ведь верно, я вижу — замуж им очень хочется! Природа требует послушания, на нее не цыкнешь, природа-то — не собака, сами знаете! А мужчин около них — двое, я да штабс-капитан Заточилов, а ему — пятьдесят, и робкий он...

— Добряга ты, Коля! — задумчиво говорит Чмырев.— Доброму человеку — трудно жить!

Коля просто соглашается:

— Да, трудно! Если бы не мамаша, я бы уехал куда-нибудь. В Астрахань, например...

— Отчего — в Астрахань?

— Все-таки... там — персиане!

— Н-да, персиане — другой народ...

— Мамаша очень стесняет меня. Конечно, у нее ноги отнялись и может она только салфеточки вязать, но меня — она связала удивительно. Из-за нее и реального не кончил я, из-за болезни мамашинной. И товарищей нет. Товарищ требует расхода, а я даже в библиотеку записаться не могу...

Чмырев слушает, запустив пальцы в бороду; ночью борода его кажется грязной, как паутина. Внизу, по гладкой темноте ползет большой черный таракан с огненными лапами, — ползет против течения масляной

воды, оставляя за собою серую тень, и дышит искрами. В луга — далеко — выехали рыбаки лучить рыбу, плавают в пустоте огни.

Звучит тихий голос:

— Ежели бы я был здоровый человек, то полюбил бы какую-нибудь очень тихую девушку, и лежала бы она у меня на коленях, а я бы ей рассказывал всё, о чем душа моя думает... Я бы с нею, знаете, стихами говорил обо всем, ей-богу, честное слово!

— Это — ничего, стихи девице всегда по душе, — одобряет Чмырев вполголоса.

— Странно это мне, Василий Лукич, родятся люди, живут в беспокойстве и вопреки судьбе, а — к чему? Какой же смысл? Я думаю — каждая жизнь должна иметь свой смысл...

— Д-да! — говорит печник уверенно, как Братягин, но мягче, ласковее. — Верно, смысл не понять, расчету — не видно! Вся эта улица наша — ни к чему, сгореть бы ей дотла!.. Лавочник — собака в душе своей, а говорит правильно: живут люди наподобие скотов! То есть — до чего я не люблю улицу эту, сказать не могу!.. Грязища, пьянство, распутство, ни тебе дети — при уходе, ни старики — в чести! А — бабы? Дотронуться нельзя! Всякая гулящая аккуратней живет, чище держит себя... Положим — у наших баб работа, а те... ну все-таки жа! Надо жа себя маленько уважать... а то — в деревнях лучше живут! Там, брат, все-таки...

Подумав, он добавляет:

— Там немножко жалости есть друг ко другу...

— Здесь — не жалеют, — соглашается Коля, снова закигая папиросу, и круглыми глазами смотрит в черно-синюю глубину. — Надо мной — смеются, над вами — тоже...

— Смеются — не беда! Кабы умели! А ведь не умеют смеяться-та! Али смешно штаны с пьяного снять, рожу ему смолой намазать или, скажем, обругать человека? В чем тут веселье? Они, брат, не от веселья смеются, а от дикой своей скуки — вот что! Эх, не уважаю эту улицу, гори она дотла!

— И я не люблю, — снова соглашается Коля.

Оба долго молчат. Потом юноша тихо мечтает:

— Как только мамаша скончается...

Но печник безутешно прерывает его:

— С твоей душой, брат, тебе везде одинаково будет, душа у тебя — девичья...

Огонь папиросы, вспыхивая всё чаще, дрожит. Откуда-то из города, сверху, доносится пение, тихий плеск медных струн рояля — неясные, малознакомые звуки другой жизни.

— Я говорю ей, — вдруг начинает Коля, — что же вы, Надежда Измайловна, на рояле не играете? А она — для кого же, говорит, мне играть? Для вас? Так вы в музыке ничего не понимаете.

— Ишь какая, — замечает Чмырев, усмехаясь.

— Да. Они все такие. Очень злые и обо всем говорят прямо, даже стыдно слушать иной раз. Образование получили, а грубостей не презирают... А ведь верно — для кого играть?

— Нет, — говорит Чмырев, — это не так! Всегда кто-нибудь найдется, ты — поищи! Нет, браток, надо размышлять иначе. Человек должен жить сердечно, даже в церкви говорится: возводи сердце в гору! А мы его — в грязь, а то — прячем! Ты сердца не скрывай, эдак-та никакого соединения не будет.

Чмырев говорит долго, с великим напряжением, но понять его трудно. Коля и не заботится об этом — не впервые слушает он запутанную речь, и ему тоже, как Братягину, иногда кажется, что печник говорит «юрунду». Но понимая, что за темными словами живет какое-то доброе чувство к людям, к нему, Коля изредка сочувственно, как можно ласковее вздыхает.

— Да. Конечно...

— Ежели что строится, так оно — не зря. Это — надо понять, а без понятия — всё будет вроде твоих бесплодных девиц, все люди — бесплодные и больше ничего. Понял?

— Да, да...

— Следственно — надо доверять людям. Я не про наших, наши люди — пустяки, пустой народ, без ядра. А кто строит, тот дорого стоит...

В бесформенной русской душе медленно кружатся, путаются косноязычные мысли, это мысли — старые, христианские, заношенные миром, загрязненные, но для печника они — новы, он считает их рожденными его сердцем, они убивают его сон, беспокоя своей тяжелой возней.

Иногда Чмырев вздыхает, глубоко и тоскливо:

— Эх, кабы грамотен был я да кабы научен, доказал бы я все начала, ей-бо-о!..

Коротка ночь, — еще недавно погасла заря вечера, и недавно лунный свет лежал на реке, размахнувшейся по лугам, а вот уже на востоке светлеет и семь звезд Медведицы потеряли свою яркость. Луна где-то сзади, над городом, река под тенью его черна и бархатна, а вдаль — посветлела, и видно, как на рябой воде скользят лодки.

Тянет утренней свежестью, запах ее победно заглушает едкие запахи улицы, и только теперь понятно, как они тяжелы.

В монастыре звонят к заутрене, Коля смотрит в небо и говорит, смущенно улыбаясь:

— Вот когда звон в лунную ночь, так мне кажется, что это по луне бьют...

— Жизнь наша недовольная, — ворчит печник, — улица эта — пропади она... Братягин, побей его бог... Грабитель! Ну — грабь, чёрт с тобой, да — не дави ты мне душу! А он — на душу наступает... Называются люди, туда же... Удивительное дело, до чего противно всё это душе, право...

Точно напевая забытую песню, Коля вполголоса, с напряжением лепечет, покачивая головой в аккуратной фуражке:

...Что час — то жизнь моя короче,  
И с каждым днем трудней она,  
Уже прошел я путь мой краткий  
И ничего в конце не жду!  
Так неразгаданной загадкой  
В сырую землю я сойду.  
Я жил, как тень, среди серых теней,  
Во всем покорствуя судьбе,  
Умру — ни слез, ни сожалений...

— Грустно говоришь, — перебивает печник. Коля сконфуженно и кротко извиняется:

— Да ведь это так только, для забавы...

Зябко передернув плечами, он приподнимает воротник тужурки и, глядя вдаль, молчит; губы его шевелятся, точно юноша считает угасающие звезды, а Чмырев бормочет:

— Ты — черной мысли не предавайся! Все померем, тут хвастать нечем. Помереть и комар — мастер, а ты вот ухитрись, поживи хорошо. Я те докладаю — строение...

Зацвела заря, высоко в зеленоватом небе озолотились края перистых облаков, светлые пятна ложатся одно за другим на половодье. Четкие удары монастырского колокола так странно ясны, что, кажется, можно видеть в воздухе колебания их — сначала медная пыль звука летит облаком, густо и быстро, потом дымок ее становится прозрачнее и пропадает, истончаясь до невидимого, до неслышного...

Пожар на Мало-Суетинской улице возник за полночь, после Успенья, приходского праздника. Загорелось у столяров, в подвале двухэтажного дома скорняка Сычева; огонь выметнулся из окон на улицу вдруг, точно всхлынул из недр земных, и сразу поднял ветхий дом с земли широкими красными ладонями.

Дом, переживший множество зимних вьюг, оципаный морозами, оплаканный дождями, старчески закрихтел, греясь в пламени; затрещала, отскакивая, его обшивка, тес, не однажды покрашенный масляной краской; дом точно раздевался в огне, сбрасывая грязно-рыжие доски, в огненных языках и синих струйках дыма.

Лопались стекла, издавая резкий звук, из темно-багровых окон высовывался подушками тяжелый серый дым, а за ним — огонь, загибавший вверх красные цепкие лапы с острыми когтями.

Кто-то вышибал рамы верхнего этажа, в одном окне появился грубообразный черный сундук и упал сквозь огонь на улицу, в костер теса, наличников и ставен,

горевший у стены дома. За сундуком в окно высунулась волосатая фигура в белой рубахе и тонким голосом крикнула:

— Гори-им!..

По двору забежали темные люди, и вместе со звоном стекол, треском дерева слились истерические, тоже стеклянные, вопли женщин, визги детей.

Большинство мужчин улицы было пьяно, но этот первый внятный крик как будто отрезвил пьяных, разбудил сонных, к дому Сычева стали сбегаться, завертелись перед огнем багрово освещенные человечки. Маленький мужичок схватил горящую доску, сбросил ее под откос в бурьян, уже высушенный солнцем, и тотчас по бурьяну полетели желтые мотыльки, серые стебли полыни унизались жемчугом, алые цветы вспыхнули на метелках щавеля.

Быстро сбегалась публика из города, черной тучей мух она облепила узкую полосу земли по ту сторону съезда и кричала оттуда.

И на той и на другой стороне было весело; шутили праздные люди из города, шутили и наши суетинцы, пьяненькие и беззаботные, видя как на дворе Сычева хозяева и постояльцы суются в огонь и отскакивают прочь, закрывая глаза руками.

На женщине затлела юбка, она приподняла ее и стала мять руками, показывая голые, дрожащие ноги, это — показалось смешным.

Смеялись и над маленьким рыжим Сычевым, — пьяный, в одних подштанниках и рубахе, он прыгал перед домом, плевал в огонь и, рыдая, лаял:

— Гори-и, пропадай, дуй... Кто наживал? Я наживал! Гори, чёрт дери...

Дом стоял, точно котел в костре, сыпались золотые угли, взрывало крышу; в густоте багрового дыма, в красной пыли искр, высоко взлетали головни, падая на мостовую съезда, в бурьян. Как будто все маленькие огни, погашенные людьми этой улицы, тихонько, подземно собрались, соединились в одно непобедимое пламя и вот запели жаркую песню свободы и мести, разрушая грязные, душные клетки людей.

Сычев быком лез в огонь, точно бодая его, волосы

на голове опалило ему, они спеклись, покрылись серо-желтой коркой; он подскакивал, наступая на угли босыми ногами, и орал, грозя кулаком:

— Гори-и!

Кто-то большой взял его под мышки и унес, как чёрт грешника.

Выбежала простоволосая старуха и, махая на огонь иконой в белой ризе, басом запела:

— Ма-атушка, пособница-а, угомони-ка ты силу дьявольску-у...

Ее седые короткие волосы тянулись к огню, шевелились и краснели, точно загораясь, а серебро иконы отражало острые лучи.

Вдруг вспыхнуло еще дома через три, на задворках, люди шарахнулись туда и завывали отчаянно, поняв, что пожар будет немалый. Сквозь горящий бурьян, под откос посыпались ребятишки, но это уже не возбудило смеха и шуток публики.

А через несколько минут загорелось и за спиною зрителей, на другой стороне съезда, — на дворе Братягина, раздался хозяйский, отчаянный рев лавочника:

— Родимые — сарай... керосин, масла...

Черная толстая линия людей разорвалась против лавки, хлынула вверх и вниз улицы — стало видно окна Братягина, дверь лавки. Стекла, отражая пламя, точно приманивали его, а со двора густо и уверенно поднимался к мутным звездам серый жирный дым.

Прошло с полчаса, пока появилась первая пожарная команда, но насосы и бочки воды не могли подъехать близко к домам, воду подавали с мостовой вверх по откосу, охотников качать было недостаточно.

С обеих сторон улицы жители сбрасывали под откосы мебель, узлы, какие-то ящики, всё это катилось под ноги пожарных лошадей, пугая их. Брандмейстер, закинув голову, приставил ко рту медный рупор и кричал направо и налево:

— Не смей бросать ничего, дьяволы!

Съезд был забит темной массой людей, головы у всех красные, лица колебались, под ногами катались

кадки, стулья, подушки, в куче всё прибывавших вещей яростно топтались медноголовые пожарные, трещала мебель, хрустела посуда, тревожно звонили колокольчики, лошади, всхрапывая, трясли гривами и, оскаливая зубы, косились на людей глазами, отражавшими огонь.

Три костра поднимались к небу с веселым треском и воем, дома таяли и плавилась в красных взрывах пламени, по крышам бегали золотые гребни, золотые птицы летали в тучах дыма, и, отчаянно каркая, над садом семи дур Карахановых шарахались большие обеспокоенные вороны, сбивая крыльями с деревьев иссохший лист.

Красная метель гуляла по улице, огонь празднично разыгрался и творил непонятное, чудесное. Вот взвевало в синеватом воздухе широкое полотнище кумача, наклонилось к дереву, и дерево сразу зацвело алыми цветами, а через минуту оно уже — черное, и тонкие сучья его курятся сизыми струйками дыма, точно восковые свечи, только что погашенные чьим-то дуновением. Дымится голубым дымом ярко освещенная крыша, и вдруг откуда-то с неба невидимо спускаются на нее веселой стаей трепетных птиц лоскутья пламени, бегут по тесу до конька крыши и украшают его острыми зубьями. Пламя вздымается снизу, занавешивая стены домов, изгибаясь змеей, заглядывает с крыши в окна, точно вызывая кого-то из дому, черный дым густо течет сквозь переплеты рам, они вспыхнули и сверкают в окнах жемчужными крестами.

Стена дощатого сарая вся разубрана золотым позументом, из щелей выползают гибкие змейки огня, свиваются в пурпуровые клубки и катятся по стене вверх и вниз, падают на черную землю и лижут ее.

Горячий воздух жег лица людей, пытавшихся что-то вытащить из огня, они бегали перед ним по узкой полосе земли, осыпанной углями, под дождем искр, корчились, приседали к земле, вскрикивая, и катились под откос, куда вместе с ними спускался тошный запах горелой кожи, шерсти и тряпок.

Стеклянная дверь лавки Братягина висела на одной петле, из ее черной внутренности медленно истекали



сизые струи дыма, лавочник метался с улицы в лавку и обратно, вытаскивая ящики, жестянки, мешки, и сваливал всё это в кучу, на край откоса, под искры и угли.

— Таскай,— кричал он десятку людей, помогавших ему,— родимые, соседушки — таскай!

И ненужно взмахивал правой рукою, растрепанный, страшный и жалкий.

Было светло, как днем, нестерпимо жарко, душил дым, выщипывая глаза людям, бушевал, всё усиливаясь, шум и гул; в одном месте куча людей, закинув на горевшую стену длинный багор, дергала его за веревку и кричала:

— Ой — раз! Ой — раз!

Коля Яшин, сидя на столбе забора Карахановых, смотрел на всё, прищурив глаза, быстро смахивал слезы, выжатые дымом, кашлял и непрерывно говорил, в радостном удивлении:

— Смотрите, пожалуйста, смотрите!

Дом, где он жил, уже сгорел, его мать лежала в кухне девиц Карахановых. Сад девиц завален имуществом погорельцев, забит женщинами, детьми, везде на жухлой траве одежда, перины, подушки, на них — возятся плачущие дети. Шесть дур носились по саду, возбужденные, растрепанные, утешая женщин и детей, дружески перекликаясь сестра с сестрою, и у всех, у каждой, явилась серьезная, материнская забота о людях, умение помочь им в беде.

Только одна Надежда сидела на заборе рядом с Колей и всё спрашивала его о чем-то, тихонько и пугливо. Но он не слушал ее слов, указывал рукою на улицу, стараясь раскрыть глаза как можно шире.

— Несчастье ведь, а со стороны глядеть — точно праздник, и все играют, удивительно, право... Смотрите — у лавки сидит человек на корточках и ест изюм — вон как! А мальчишки — точно ласточки... Как Братягин суется в огонь... Наша мастеровщина ничего не делает — видите, сколько собралось? Работают люди всё из города, а наши — как чужие сами себе... Ах, господи...

Раздался странный звук — мягко лопнуло что-то, над лавкой Братягина широко взметнулось пламя и покрыло всю ее багрово-желтой шапкой; от лавки отскочило несколько темных фигур, потом еще одна вырвалась из двери, из-под огня, и стремглав сбежала под откос, а вслед за тем несколько голосов крикнуло впереводку:

— Люди в лавке — воды, эй!

Коля тоже крикнул:

— Я говорил...

Он спрыгнул с забора и поспешно бросился к лавке. Из-под откоса, под ноги ему, вылез на четвереньках Чмырев, оборванный, мокрый с ног до головы, страшно блестя глазами, он крикнул в лицо Коле:

— Бегём!

Яшин схватил его за надорванный рукав рубахи, оторвал рукав совсем и вытер на бегу влажной тряпичкой вдруг и обильно вспотевшее лицо.

— Ползи! — снова крикнул печник, ложась на живот перед огненной рамой двери. — Кричи — воды!

И, скрываясь в двери, как огромная жаба, завыл сипло:

— Воды-ы!..

Коля тоже сунулся в мягкий поток дыма; в спину и затылок ему больно ударила струя воды, столкнула с ног, он опрокинулся на четвереньки и полез в жаркий дым, кашляя, вскрикивая:

— Где? Василий Лукич...

— Тащи! — хрипел невидимый печник.

Шипела вода, дым затыкал рот, точно мокрая тряпка, прижимал к полу, наваливаясь на тело горячей периной, бил по голове частыми мягкими ударами, обессиливая с каждой секундой.

Сквозь веки Коля видел багровое, и ему казалось, что он тонет в густой, горячей крови, захлебывается ею и вот сейчас нырнет в жаркую глубину ее навсегда.

— Эх, — взвизгнул он от страха, извиваясь на полу, слепой, обессиленный, и тотчас наткнулся на большой, тяжелый сапог. Приподнял его, нащупал чью-то дру-

гую ногу, впрягся в них, привстал и пошел встречу воды, крепко закрыв глаза, стараясь согнуться как можно ниже.

Точно собака лизнула горячим языком — обожгло ухо, щеку, огонь красно заглянул в глаза сквозь веки, но тотчас же в горло хлынул воздух, теплый, неиспытанно вкусный, он сразу выпрямил скорченное тело, заставил открыть глаза.

— Как из могилы вылез,— сказал Коля кому-то, кто крепко обнял его и повел за собою.

Юношу мучительно бил кашель, кружилась голова, подламывались ноги, сердце трепетало, точно обожженное.

Потом он увидел себя снова под забором Карахановых, на липе, рядом с ним сидел черный печник, без бороды, без бровей, полуголый, весь мокрый и в грязи, только одни глаза чистые.

— Я, брат, с самого начала действую,— говорил он, отплевываясь кровью.— Пьяных вытаскивал, хозяйство, ребятишек. Сил даже нету! Ты ожегся ли?

— Ухо, кажется...

— Ухо — ничего! А меня — гляди, как опалило! Прямо — вроде свиньи... Ну, айда помогать!

Пошли под красным небом, взявшись за руки, Чмырев шагал и отплевывался.

— Зубы мне вышибли, чёрт! Нет, каков народ, драть его горой? Стоят, как у праздника, а боле — никаких! Я кричу: «Братцы, что вы — воду жа качать нада, помогать нада!..» — «Мы, говорят, погорельцы!» Будто — погорели, так уж именинники. И чему погореть? Охи да блохи, и — всё имущество. Не народ, а пустыки, пустое место... А бабы-та? Ну, смешной жа народ, бабы эти...

В небе колебалось зарево, дым как будто подпирал его, поднимая всё выше, внизу сверкала багровая полоса реки. Коля, точно сквозь сон, смотрел, как огонь на земле доедает груды бревен, досок, стропил, грызет раскаленными зубами ворота, заборы, бегаёт по откосам и жнет бурьян золотыми серпами. Колокольчики пожарной команды беспокойно звонили, будто внутри головы, горячая земля под ногами качалась и

плыла. Сетью висели перед сухими глазами искры, и везде по земле живой, веселой кровью растекался огонь.

— Вот и сторела улица, — грустно сказал Коля.

— Не вся, — деловито отозвался печник, — домов пяток отстояли всё ж!

Добрались до насоса, он вскочил на подножку, говоря Коле:

— Становись рядом — легче будет...

Вцепился в ручку насоса кривыми пальцами и, кланяясь, заорал, запел:

— Ка-ачай, ребя, качай!

Коля тоже стал кланяться, мерно сгибая спину, взмахивая руками так, что было больно плечам. Возносясь и падая, перед его глазами заколыхались огромные знамена пламени. Земля тоже поднималась, опускалась, и от этого странно ныло в груди, где-то у горла. Черной волною набегала на город заречная даль — набежит бесшумно и бесшумно схлынет, раскачивая землю взад и вперед.

— Не могу я, — сказал Коля.

— О? — воскликнул печник с сожалением и, перестав качать, сам себе объяснил: — Значит — устал парень! Ну, тогда идем за другим делом, делов тут — конца нет...

Снова пошли куда-то мимо рыжих лошадей с огненными глазами, мимо зеленых бочек и сердитых медноголовых солдат. Непрерывно, досадно звонили проклятые колокольчики, будя смутную тревогу в сердце Коли.

Вышли наверх, в устье улицы, затисканное толпою публики, чернобородый полицейский ткнул Чмырева в живот ножами шашки и закричал:

— Чего шляешься, морда? Прочь!

— Ну, ну, — пробормотал печник, встряхивая животом, — действитель! На пожаре и без тебя горячо...

И сказал, взглянув на Колю:

— Лицо у тебя, брат, даже — синее...

— А ведь мы с тобой человека спасли, — вспомнил Коля.

— Двоих даже, ты — одного, я — одного... Ну,

лавошник, это, положим, не человек, название одно... Он еще экзамена не сдавал на человека-та... А кто — другой?

— Не знаю, — сказал Коля.

— Н-да... ругали мы с тобой, ругали эту улицу, и всё... а как случился пожар... замечательно!..

Печник усмехнулся, потряс головой и, усадив Колю на любимое место, на липу под забором, быстро ушел, говоря:

— Погляжу еще, нет ли чего...

Коля сел на бревно, опираясь спиной о забор, устало поглядывая вдоль улицы и вниз, на реку. В груди что-то мешало дышать, точно туда налили тяжелой воды.

Светало, уже звезды исчезли, как бы сгорев в земном огне, огопь побледнел, стал желтее, но доедал остатки жилищ всё с тою же веселою яростью, как и ночью, когда он был ослепительно красен.

Было странно видеть, как старое дерево, насыщенное грязью, превращается огнем в янтарь и огромные куски янтаря плавают, тают, текут по земле золотыми ручьями. Это было странно — и грустно и радостно.

Темной, тесно уставленной шершавыми домами улицы — не было, и с этим не хотелось мириться. Горели ряды костров, из них во все стороны торчали черные головни, курясь дымом и паром, шипя под белой струею воды. Огромные груды угля сверкали на грязной мокрой земле, среди них торчали закопченные, развалившиеся печи. Как помешанные, около костров с воем бегали люди, взмахивая руками, это напомнило Коле картинку в каком-то журнале — «Жертвоприношение», на ней тоже вокруг костра прыгали темные люди, высоко вздымая руки, открыв круглые рыбины...

Внизу — синяя река, придавленная со стороны лугов к городу песчаным островом, покрытым кустами ивняка. За рекою в серую даль уходили обритые луга, зарево пожара покрыло их рыжей ржавчиной. Кое-где в лугах грустно маячили одинокие деревья, — скоро эти пустынные дали станут еще грустней... С деревьев

сада Карахановых на плечи и колени. Коли падали иссушенные жаром листья, они кружились, точно маленькие, бессильные птицы.

Явился Чмырев, сел рядом и стал дышать тяжело, как лошадь.

— Устали?

— Есть маленько...

Коле показалось, что он беззвучно икнул, в груди что-то тихонько порвалось, и сразу же исчезла тяжесть. Потом он ощутил во рту соленый вкус крови, плюнул, плюнул еще, но кровь всё заполняла рот. Он наклонился, открыл рот и, холодея, стал смотреть, как на землю льется красная тонкая струя.

— Вон как! — неодобрительно сказал Чмырев, тоже поплеывая. — Видно, что устал ты... мм...

— Уж это, пожалуй... — заговорил Коля, но печник убедительно и ласково перебил его речь:

— Это — ничего! Пройдет. Всё, брат, пройдет!

И весело усмехнулся, продолжая:

— Я тоже вот кровью плююся, — мне за ночь два раза по морде дали. Один раз — давеча, пожарный, а теперь вот — барин! На ногу ли я ему наступил, толкнул ли, что ли, как он меня бабахнет! И оба раза по одной скуле, дери их горой!

— Дурак, — сказал Коля так отчетливо, как будто хотел убедиться, что у него еще есть голос.

— Правой рукой бьют, вот и выходит всё в одно место, — объяснил Чмырев, помолчав, и предложил:

— Ты — приляг, положи голову на колени мне...

— Нет, — резко сказал юноша, — не хочу я лежать!

— Как хочешь... А — лучше бы...

Чмырев сунул в рот себе пальцы, ощупывая зубы.

Серыми столбами вздымался дым и пар, в небе тяжело двигались первые осенние тучи, угрожая проливным дождем. Черные мокрые угли плотно вымостили землю, всюду трепетал и злился побежденный огонь.

— Ах, господи! — воскликнул печник, вынув пальцы изо рта и вытерев губы подолом изорванной рубахи. — Не свои мы люди на земле!.. И — вообще, не то всё... Не так нада...

— Да, — согласился Коля.

Кровь всё еще шла изо рта у него, он сидел согнувшись, подпирая голову ладонями, пристально глядя, как по утопанной земле растекается алое пятно и меркнет тихонько.

В щель съезда опустился липкий, едкий чад — оттого и вода реки казалась такой небывало синей...

## II







## 〈О СТАСОВЕ〉

На севере, за Волгой, в деревнях, спрятанных среди лесов, встречаются древние старики, искалеченные трудом, но всегда полные бодрости духа, непонятной и почти чудесной, если не забыть долгие годы их жизни, полной труда и нищеты, неисчерпаемого горя и незаслуженных обид.

В каждом из них живет что-то детское, сердечное, порою забавное, но всегда — какое-то особенное, умное, возбуждающее доверие к людям, грустную, но крепкую любовь к ним.

Такие старики — Гомеры и Плутархи своей деревни, они знают ее историю — бунты и пожары, порки, убийства, суровые сборы податей, — знают все песни и обряды, помнят героев деревни и преступников, ее предателей и честных мирян и умеют равномерно воздать должное всем.

В этих людях меня поражала их любовь к жизни — растению, животному, человеку и звезде, — их чуткое понимание красоты и необоримая, инстинктивная вера исторически молодого племени в свое будущее.

Когда я впервые встретил В. В. Стасова, я почувствовал в нем именно эту большую, бодрую любовь к жизни и эту веру в творческую энергию людей.

Его стихией, религией и богом было искусство, он всегда казался пьяным от любви к нему, и — бывало — слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребенка ждет светлого праздника.

Он говорил об искусстве так, как будто всё оно было создано его предками по крови — прадедом, дедом, отцом, как будто искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать — внуки, и казалось, что этот чудесный старик всегда и везде чувствует юным сердцем тайную работу человеческого духа, — мир для него был мастерской, в которой люди пишут картины, книги, строят музыку, высекают из мрамора прекрасные тела, создают величественные здания, и, право, порою мне казалось, что всё, что он говорит, сливается у него в один жадный крик:

«Скорее! Дайте взглянуть, пока я жив...»

Он верил в неиссякаемую энергию мирового творчества, и каждый час был для него моментом конца работы над одними вещами, моментом начала создания ряда других.

Однажды, рассказывая мне о Рибейре, он вдруг замолчал, потом серьезно заметил:

— Иногда вот говоришь или думаешь о чем-нибудь, и вдруг сердце радостно вздрогнет...

Замолчал, потом, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что в такую минуту или гений родился или кто-нибудь сделал великое дело...

Заговорили при нем о политике. Он послушал немного и убедительно посоветовал:

— Да бросьте вы политику — не думайте о гадо-стях! Ведь от этих ваших войн и всей подлости ничего не останется — разве вы не видите? Рубенс есть, а Наполеона — нет, Бетховен есть, а Бисмарк нет. Нет их!

И было ясно, что он несокрушимо верит в правду своих слов.

Политику он не любил, морщился, вспоминая о ней, как о безобразии, которое мешает людям жить, портит им мозг, отталкивает от настоящего дела. Но одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах, — он говорил о ней с гордостью, уважением и любовью, и каждый арест, о котором он слышал, искренно огорчал его.

— Губят людей. Лучшее на земле раздражают и злят — юношество! Ах, скоты!

Всё, в чем была хоть искра красоты, было духовно близко, родственно Стасову, возбуждало и радовало его. Своей большой любовью он обнимал всю массу красивого в жизни — от полевого цветка и колоса пшеницы до звезд, от тонкой чеканки на древнем мече и народной песни до строчки стиха новейших поэтов.

Порицая модернистов, он обиженно говорил:

— Почему это — стихи? О чем стихи? Прекрасное просто, оно — понятно, а этого я не понимаю, не чувствую, не могу принять...

Но однажды я услышал от него:

— Знаете, вчера читали мне этого, Х., — хорошо! Тонко! Такими стихами можно многое сказать о тайнах души... И — музыкально...

Старость консервативна, это ее главное несчастье; В. В. многое «не мог принять», но его отрицание исходило из любви, оно вызывалось ревностью. Ведь каждый из нас чего-то не понимает, все более или менее грешат торопливостью выводов, и никто не умеет любить будущее, хотя всем пора бы догадаться, что именно в нем скрыто наилучшее и величайшее.

Около В. В. всегда можно было встретить каких-то юных людей, и он постоянно, с некой таинственностью в голосе, рекомендовал их как великих поэтов, музыкантов, художников и скульпторов — в будущем. Мне кажется, что такие юноши окружали его на протяжении всей жизни; известно, что не одного из них он ввел в храм искусства...

Седой ребенок большого роста, с большим и чутким сердцем, он много видел, много знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней.

Искусство создает тоска по красоте; неутолимое желание прекрасного порою принимает характер безумия, — но, когда страсть бессильна, — она кажется людям смешной. Многие в исканиях современных художников было чуждо В. В., непонятно, казалось ему уродливым, он волновался, сердился, отрицал. Но для меня в его отрицаниях горело пламя великой любви к прекрасному, и, не мешая видеть печальную красоту уродливого, оно освещало грустную драму

современного творчества — обилие желаний и ничтожество сил.

Я мало знал В. В. — таким он мне казался, — и эти строки — всё, что я могу вспомнить о нем.

Мне жалко, что я знал его мало, — жизнь не часто дарит радость говорить о человеке с искренним к нему уважением.

Когда он умер — я подумал:

«Вот человек, который делал всё, что мог, — и всё, что мог, — сделал...»

## ФЕДОР ДЯДИН

НАБРОСОК

Черные линии железной решетки окна разрезали мутное небо на шесть квадратных кусков, в камеру со двора густо льются растворенные зноем душные запахи тюрьмы и безличные звуки вялой, подавленной жизни. Время тает медленно.

Дядин осторожно двигается вдоль стены и, быстро взмахивая рукой, ловит мух. Поймав муху, не торопясь, разгибает пальцы один за другим, и, когда насекомое вылетит, он, поднимая брови, смотрит вслед ему сосредоточенным взглядом круглых темных глаз. Иногда, строго поджимая губы, он обрывает мухе крылья и, брезгливо стряхнув ее с ладони на пол, вытирает рукавом рубахи мелкие капли пота со лба и щек.

Его движения гибки и сильны, но спина согнута и голова — должно быть, невольно — опускается на грудь. Солдат с досадой вскидывает ее, хмурясь, оглядывается на дверь камеры и точно слушает глазами — густые ресницы вздрагивают, прикрывая расширенные зрачки, темные усы шевелятся, худощавое лицо каменеет, принимая выражение упрямое и холодное.

В коридоре сонно бормочут — точно молятся — усталые голоса, сливаясь в тихий поток неясного ропота, — это унтер Макаров учит молодых солдат словесности, и порою всплывает его властный сиплый голос:

— Не упирай на он! Говори ча-со-вой! а не чо-со-вой... дура пермская!

Дядин улыбается снисходительно и добродушно, гладит свои усы и стирает с лица улыбку. Потом, оправив рубаху, выбившуюся из-за ремня, он бесшумно

идет вдоль камеры, следя за тревожным мельканием черных мух.

— Смирно-о! — раздается на дворе.

А через минуту, захлебываясь визгом ржавых петель, где-то отворилась дверь, тупо застучали шаги, звякнул штык, и Макаров торопливо повторил:

— Смирно!

Дядин застегнул ворот рубахи, опустил руки по швам и круто повернулся встречу топоту ног и гулкому грому замка, вдруг весь окутанный серой дымкой тупого равнодушия.

Толстая, окованная железом дверь нехотя отворилась наполовину, в камеру суетливо вкатился маленький солдатик, сунулся направо, налево, точно желая спрятаться, отдуваясь, остановился, тихонько ткнул в дверь кулаком и, подмигнув Дядину правым глазом, тихо, занеживающе сказал:

— Крепко! Здравствуйте, землячок! Нара! Давно сидите?

Дядин, улыбаясь добродушно, кивнул головой, а он, не ожидая ответа, быстро прошел до окна, схватился за решетку, подтянулся вверх и, выглянув на волю, мягко спрыгнул на пол. Потер руки, оглянулся и хозяйственно заметил:

— Как же мы спать будем, если одна койка?

— Дадут другую, значит, — ласково отозвался Дядин.

Солдат встал в углу и, направив в лицо Дядина изучающий взгляд маленьких мутных глаз, таинственно зашептал:

— А ведь как будто видел я вас где-то, землячок? Как вы думаете? Моя фамилия — Лукин, зовут Иван, нестроевой речного батальона. А вы будете второй роты Язвинского Федор Дядин — так или нет?

— Так! — сказал Дядин, всматриваясь.

— Ну, тогда — встречались! В овраге, за лагерем, около чугунного завода, на собраниях — очень помню! Еще вы разок говорили руководителю, Василь Ивановичу, что непонятно для солдата листки пишут и что всякая словесность должна быть ясная, простая, — верно? Я — помню.

Федор Дядинь.

Кастрюль.

Черная линия желѣзной рѣсотки она разбивала  
мутное небо на массы бездротныхъ кусковъ, въ камеру  
со двора густо льются разтворенные зносомъ дымные  
запахи тѣрмы и бесчисленны звуки вѣлой, подбавленной  
жизни. Зрѣна таетъ молчаливо.

Дядинь осторожно двигается вдоль стѣны и быст-  
ро взмахивая рукой ловить мухъ. Поймавъ муху, не го-  
рохосе ~~размахиваетъ~~ разгибаетъ пальцы одинъ за  
другимъ и когда ~~крупно~~ <sup>начинаетъ</sup> вылетитъ, онъ, поднимая брови,  
смотреть вѣлѣть въ сосредоточеннымъ взглядомъ круг-  
лымъ темныхъ глазъ. Иногда, строго поджимая губы, онъ  
оборачиваетъ муху краемъ и брезгливо стряхиваетъ ее съ  
ладони на полъ, вытираетъ рукавомъ рубахи мелкія кап-  
ли пота со лба и щекъ.

Его движенія губки и сдвѣсъ, во спина согнута  
и голова - должно быть невольно - опускается на  
грудь. Солдаты съ досадою вскидываютъ ее, хмурясь от-  
кадываются на дверь камеры и точно слышатъ глаба-  
ли - густые рѣсницы вздрагиваютъ, прикрывая расши-  
ренные зрачки, тамные усы жеваются, худощавое лицо  
кременветъ, тринималъ выраженіе упрямое и холодное.

Въ коридорѣ сонно барочутъ - точно молится -  
усталые голоса, слышется въ тахій вѣсточъ колодежа  
ропота - это учитель Некеревъ учить новодѣтъ солдатъ

### «ФЕДОР ДЯДИНЬ».

Страница машинописного текста с правой М. Горького.



Он сыпал словами быстро, точно отвечал заученный урок, и в тихом шелесте его речи звучала вкрадчивая ласковость виноватого.

Дядин задумчиво нахмурился, полуприкрыл глаза и внятно сказал:

— А я тебя не припомню...

Маленький солдат выдвинулся из угла, сел на койку и зашептал:

— Мало ли нас там бывало! Забыть очень можно! Однако — теперь всех позабрали, то есть — совершенно всех!

— Всех? — переспросил Дядин и, выпрямляясь, улыбнулся.

— Окончательно! — подтвердил Лукин и наклонился, снимая сапог. — До последнего человека выловили! Слабость наша! Народ языки распустил, заливают друг друга. Испугались все. Думали — мы сила! А обнаружилось, что бред и — больше ничего. И, конечно, хотя многие приставали к бунту, но ведь больше из любопытства — чья возьмет?

Сняв сапог, он ковырял между пальцев левой ноги, сопел и бормотал:

— Народ — он какой? Для него стараешься, а он разве понимает геройство? Да и вообще все... И эти тоже учителя, господа! Примерно — Василий Иванович. Кто таков он? Неизвестно! Был, ходил, говорил, и — вдруг — нет его! Где? Может, он и не учил нас, а ловил? Говорят — в тюрьме он. А как мы это знаем? Ничего не известно нам о нем...

Дядин повел плечами и строго сказал:

— Ты этого не говори, земляк! Василий Иванович — верный человек, он настоящий апостол наш...

— Кто его знает? — вызывающе спросил Лукин.

Дядин оглянул круглое, скорченное тело и внушительно произнес:

— Я! Даже приму за него смерть.

Тогда Лукин схватил с пола сапог, выпрямился, радостно кивнул головой, тихонько воскликнул:

— Конечно, если вы...

— погоди! — остановил Дядин. — Всех арестовать — нельзя.

— Отчего же? Одних — больше, других — меньше...

— А которых больше? — победоносно спросил Дядин. — Ты — знаешь?

— Конечно, сосчитать не могу, но...

Дядин остановил его движением руки и стал ходить по камере, а Лукин, ворочая головой, щупал его внимательным взглядом и мигал, слушая тихий, уверенный голос.

— Апостолов было совсем немного — двенадцать. Кто победил? Они!

За окном качали воду — визжал и стучал рычаг. Таяние времени ускорилося.

— А теперь — апостолов множество. Они есть дети духа народного. Тайно рожденные дети наши — пойми! Им известны все мысли и желания людей — известны! Апостол правды дорог народу — почему? В его груди мое сердце, и твое, и еще тысяча. Когда тысяча сердец в одном — это сердце апостольское. И тысяча мыслей в одной голове — мыслей, отовсюду взятых, — и моя мысль и твоя. Соединенные, они горят и освещают нам невидимое, неясное нашему разуму. Это и называется — апостол народа. Священнослужитель правды мирской.

Дядин говорил трудно — брал рукой горло, сжимал его пальцами, конфузливо покашливал, с явным усилием сдвигая слова в нестройные ряды. Потемневшее от напряжения лицо стало добрым и мягким.

Положив сапог на колени, Лукин уперся в койку руками, поднял кверху свой широкий нос, сощурился и жевал губами, точно голодный теленок. Кожа его лба и щек, густо окрашенная темными веснушками, морщилась, жесткие волосы рыжих усов шевелились и всё круглое тело вздрагивало, волнуясь под напором какого-то нетерпения. Он старался заглянуть в рот Дядина, точно хотел видеть тяжелые слова, из которых слагалась задумчивая и уверенная речь солдата.

— Давно сидите, земляк? — вдруг спросил он.

На секунду остановясь, Дядин равнодушно ответил:

— Второй месяц... а может, и третий уже.

— До-олго! Отчего же так долго?

— Не знаю.

И, снова бесшумно ступая по полу, он закружился в камере.

— Что исходит из народа, из его великих трудов и мучений,— это уж непобедимо! Навсегда! Это — дойдет до конца...

— А вас за что посадили? — тихо спросил Лукин. Его пестрое лицо стало невинно хитреньким.

— Всё равно за что! — ответил Дядин.

Не выдержав его пристального взгляда, Лукин опустил глаза, вздохнул, но продолжал, настойчиво и вкрадчиво:

— Говорили у нас нестроевые — конечно, может, врут они...

— Что говорили? — строго спросил Дядин, снова останавливаясь и рассматривая солдата.

Лукин беспокойно завозился, начал надевать сапоги, кряхтя, отрывисто бросал слова.

— Вообще они... хвалили вас, земляк. Удивлялись тоже...

— Чему?

— Вы будто арестанта отпустили из-под конвоя и еще там... разное врут!

Дядин выпрямился, провел рукой по лицу и, добродушно улыбаясь, с легкой гордостью сознался:

— Это — правда. Я его отпустил.

Оживленно подскочив на койке, Лукин топнул ногой, трепетно взмахнул руками.

— И стрелять мешали? И не стреляли?

— И это тоже...

— Н-ну! — протянул Лукин, снова садясь на койку. — За это вас и осудят же! Беда! Стро-ого! Ух! Переступили присягу! Тут, знаете, поступок есть-таки! Невозможный поступок, по закону...

В тихих восклицаниях маленького солдата явно звучало боязливое изумление, а его лицо освещалось странным удовольствием, почти радостью.

Дядин негромко и медленно сказал:

— Могу я чувствовать, где правда? Могу, потому что я человек! А тот, арестованный, для меня — апостол правды. Поэтому должен я был отпустить его без

вреда, чтобы он жил дольше, — в нем, говорю, мое и твое лучшее — ты это пойми!

— Ну и любопытный вы! — слащаво воскликнул Лукин. — А-ах, боже мой! И — не боитесь?

Он потирал руки, шаркал ногами по полу, склоняя голову набок к двери, прислушивался к чему-то, а по его пестрому лицу одна за другой растекались улыбки, точно круги по мутной воде, в которую бросили камень.

— Бояться надо греха против народа — а я для него не худо сделал, нет! Я хорошо сделал! — спокойно шагая, сказал Дядин и снова начал медленно составлять слова в ряды:

— Видел людей, которые подобно огню освещают миру правду, понял, что это правда и твоя и всех живущих. Людей таких надо беречь и возжигать сильнее помощью нашей, духом народа — а не гасить их корысти дневной ради. В правде народной — скрыта сила божия, и правда эта есть бог, ибо в ней — свобода от греха.

— Хочется, видно, вам поговорить-то, земляк? — заметил Лукин с удовольствием. — Намолчались, хе-хе — а?

— Да, я теперь могу говорить, думал уже много. Надо поддержать святой огонь, надо!

— Это вы из Евангелия говорите али от себя? — подумав, спросил Лукин.

— Евангелие я читал. И пророков. Ты, земляк, если грамотен, пророков читай! Они провидели все наши дни и грехи даже до сего времени. Когда ты речи древних пророков узнаешь, то будут тебе понятны и наши.

Дядин замолчал, задумался, остановясь у окна. Лукин поглядел ему в спину, на шею, его пестрое лицо стало серьезно, и, громко чмокнув губами, он сказал:

— Да-а, любопытный вы, землячок! Старовер, может быть? Из этих — как их? Их много — эх ты!

— Весь народ — старовер! — ответил Дядин, не оборачиваясь. — Издавна, неискоренимо верует он в силу правды — о рабочем народе говорю, который всё начал на земле и всех породил.

На дворе кто-то считал сердитым голосом:

— Раз, два, три, четыре...

И вдруг заорал:

— Куда швыряешь, слепой чёрт!

Небо темнело.

Дядин отвернулся от окна, тряхнул головой и, улыбаясь, ласково и тихо продолжал:

— Дед мой крепостной человек был. Ушел от помещика, бросил семью — за правдой пошел. Поймали его, били плетями. Выздоровел — опять бежал. И пропал навсегда! Теперь — не пропал бы! Легко стало правду найти. Слышен голос ее отовсюду. Вот мы в тюрьме — и она здесь. Здесь! Хочешь, я тебе покажу это?

Он широко шагнул к двери, а Лукин, недоумевая, вскочил с койки и, встревоженный, забормотал:

— Погодите — что такое? Землячок!

Торжествуя улыбаясь, Дядин взглянул на него, постучал пальцем в железную задвижку глазка и выпрямился, говоря:

— В мыслях люди везде свободны!

— Позвольте! — тревожно сказал Лукин, тоже подвигаясь к двери. — И я желаю выйти... то есть имею нужду в коридор...

Он часто мигал глазами, взволнованный чем-то, шарил в кармане штанов, дергал себя за ус.

— Ты не бойся! — ласково посоветовал Дядин. — Народ надежный, не выдаст! Чего бояться? Вот увидишь.

Заслонка осторожно поднялась, Дядин наклонился, а Лукин, отодвигаясь к окну, сердито ворчал:

— Не желаю... может, вы не в своем уме... и желаю просить, чтобы меня перевели от вас, — да! Чтобы я один сидел, позвольте!

Дядин, видимо, не слышал его голоса, он подставил ухо к отверстию в двери и на несколько секунд замер, прислонясь к ней плечом.

— Правда ли? — глухо спросил он.

И голова его стукнулась о дверь.

— Разные сумасшедшие — а я страдай тут... — возвышая голос, бормотал Лукин. Он вытягивал шею к двери, точно собираясь прыгнуть, и тарашил глаза, свирепо округляя их.

Федор Дядин тяжело выпрямился, встал у двери спиною к ней, опустил голову и, отирая потное лицо, молчал секунду, две, три.

— Я, — высоким голосом воскликнул Лукин, — не желаю с вами — слышали? Желаю выйти! Вы тут говорите разное... я боюсь!..

Он тонко позвал:

— Надзиратель!

И голос его, взвизгнув, оборвался.

Дядин смотрел на него, печально покачивая головой. Лицо у него было серое, он задумчиво кусал губы, а пальцы рук его крепко сжались в кулак.

— Что вы? Пропустите меня в дверь! — потребовал Лукин, понижая голос.

— Вот ты чего боишься! — тихо сказал Дядин.

— И боюсь! — отозвался Лукин, пряча глаза. — Конечно! Может, вы не в своем уме!

— Да-а! — протянул Федор Дядин. — Стало быть, ты выпытывать меня послан?

Лукин приподнялся на носках и снова негромко позвал:

— Часовой! Эй!

— Ну, если ты шпион, — иди, скажи им, что всё сделал я, что я тебе сознался! Иди!

— Заперто же! — вполголоса и сердито сказал Лукин, кивая головой на дверь.

— Отопрут! Только — вот что...

Дядин подвинулся вдоль стены, шаркая по ней локтями, остановился против маленького солдата и увещевающе заговорил:

— Свое, что тебе приказано, ты сделал, значит — обещанное получишь. А о том, что из коридора про тебя сказали, зачем ты ко мне послан, — об этом не говори начальству — слышишь?

— Ладно! — ответил Лукин, не глядя на Федора и поеживаясь.

— погоди! Почему не надо говорить об этом? Ведь сказал мне один и не известно тебе — кто, а в коридоре — девять солдат. Всех начнут бить, стращать. Зря будет мучить людей. Ты сам солдат и должен понять — лишнее это!

— Понимаю! — с досадой отозвался Лукин.

— Ты мне побожись, что не скажешь.

— Чего же я буду божиться? Разве вы поверите теперь?

— Почему не верить?

— Если я взялся... за эдакое...

— Это ты по глупости. Дурак ты — вот и взялся. А теперь, один грех сделав, другой — обойди.

Оба говорили торопливо, но тихо. Один — спокойный, печальный, другой — подавленный и унылый. Оса влетела в камеру и кружилась в ней, путая свое струнное жужжание с голосами людей.

Лукин отвернулся к окну и, глядя вверх, прошептал:

— Ей-богу — не скажу...

— Скажешь только про меня — верно?

Тогда Лукин взглянул в лицо ему и, поводя плечами, воскликнул ноющим от страха голосом:

— Расстреляют же вас!

Дядин отодвинулся подальше от него, спокойно говоря:

— Уж это всё равно — они и без тебя не помиловали бы... Иди!

Быстро сорвавшись с места, Лукин пошел к двери, а Федор плотно прижался к стене и придержал спереди рубаху свою, точно не хотел, чтобы она коснулась платья солдата.

Подскачив к двери, Лукин бил в нее ногой и кричал, раздраженно и тонко:

— Надзиратель! Отпирай!.. Черти!..

Но вдруг, оборотясь к окну, сказал торопливо и громко, чтобы преодолеть шум за дверью:

— Я не Лукин, а — Федосеев...

Дядин махнул на него рукой.

— Это всё равно мне!..

— А-ах! — воскликнул Лукин, толкая дверь руками. — Ну возьмется же!

И пошатнулся: дверь отворилась, в камеру шагнул, сдвинув шапку на затылок, надзиратель Макаров, оттопырил усы и сурово спросил:

— Который безобразит, а?

— Ведите меня отсюда! — перебил его Лукин и, размахивая руками, лез вперед, стараясь оттереть надзирателя с дороги. Макаров толкнул его в грудь.

- Куда прешь!
- В канцелярию...
- Я те дам!..

Из глубины камеры послышался внятный голос Дядина:

— Действительно, господин надзиратель, ему нужно уйти отсюда доложить по начальству, потому что зачем он был послан, то уже исполнил.

Из-за широких плеч Макарова на секунду поднялись две головы, мелькнули две пары внимательных глаз.

— Что же? — спросил Макаров угрюмо и густо. — Сознался ты, Дядин?

— Так точно. Потому — всё равно мне назначена смерть, а они только людей зря портят...

— Ага... ну вот, значит... тогда, конечно...

И Макаров вдруг свирепо крикнул:

— Запирай камеру! Разинули рты... ну!

— Позвольте... — тревожно крикнул Лукин. — А я как же?

— Подожди! Сейчас доложу.

Снова раздался мягкий голос Дядина:

— Вы, господин надзиратель, лучше выведите его в коридор.

— Н-ну, зачем же? — неопределенно сказал Макаров, глядя через голову Лукина.

— О том я вас очень прошу — как ему тяжело со мной и мне с ним тоже. Будьте добры.

— Да, — тупо сказал Лукин.

Тогда Макаров помялся и крикнул:

— Марш! Выходи! Вы двое останетесь при нем — вы!

Лукин согнулся и скользнул вон, а Макаров ушел из камеры, пятясь задом, точно лошадь в оглобли. Дверь, не торопясь, закрылась. Медленно задвинули ее засовом, негромко и не спеша заперли на замок.

Потом за нею начали говорить негромко и сердито, перебивая друг друга. Раздался резкий крик:

— Дураки, черти! Надо было раньше сказать!..

Топнули ногой ó пол.

Дядин выслушал все звуки, вздохнул, улыбаясь, повернулся лицом к окну и выпрямился, подняв голову вверх.

Уже пришел вечер, стало прохладнее.



## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КАЛАБРИИ И СИЦИЛИИ

### I

Бессвязные слова тех людей, которые спаслись от гибели, сплетаются в рассказ одного существа: оно в это утро как бы поднялось над землей, и его взгляд, изощренный ужасом, охватил всю картину восстания стихий на человека.

Накануне катастрофы и всю ночь перед нею выл ветер, море яростно бросало на берега высокие волны; спасаясь от непривычного холода, жители Мессины и прибрежных городов Калабрии плотно закрывали двери и окна домов и спали крепким, предутренним сном.

В 5 часов 20 минут земля вздрогнула; ее первая судорога длилась почти десять секунд: треск и скрип оконных рам, дверных колод, звон стекол, грохот падающих лестниц разбудил спящих; люди вскочили, ощущая всем телом эти подземные толчки, от которых вдруг теряешь сознание, наполняясь уничтожающим разум диким страхом.

Одни метались по комнатам, желая зажечь во тьме огонь и собирая детей и женщин, а вокруг них качались стены, срываясь, падали полки, посуда, картины, зеркала, изгибался пол, мебель тряслась, и, двигаясь по комнате, опрокидывались шкафы, подпрыгивали столы — всё было оживлено паникой, враждебно людям и угрожало смертью. Как бумажный, разрывался потолок, сыпалась штукатурка — всюду скрип и треск дерева, падение камней, шорох разрушавшихся стен, плач детей, вопли страха, стоны боли — люди бегали во тьме, толкая друг друга и не находя выхода из этой бури, которая вдруг уподобила их дома баркам и колебала землю под ними, как волны моря.

Другие — сразу были духовно разрушены потрясением: оцепенев, они сидели на постелях немые и слепые, защищая головы руками и не отзываясь на крики родных; на тело их падали камни, опрокидывались вещи, их душила пыль, и задыхались в ней они, молча сгибались под ударами.

Перекошенные двери невозможно было открыть во тьме, не попадало под руки ничего, чем можно было бы разбить их, выломать рамы и ставни. Когда люди вырывались в коридоры, их встречала густая туча мелко измолотой извести и ослепляла. В темноте всё качалось, падало, с треском проваливаясь в какие-то вдруг открывшиеся пропасти. На месте лестниц зияли темные ямы, из них вздымалась эта страшная пыль разрушения; обезумевшие люди, хватая на руки детей, с криком бросались вниз, ища земли, ломали себе кости, разбивали головы, ползали по грудам обломков, поливая кровью камни и мусор, а вокруг всё дрожало под толчками новых и новых ударов, и отовсюду доносился крик и стон десятков тысяч человеческих голосов. В сумраке одно за другим рушились с грохотом разорванные здания, прыгали камни, сыпалась известь, раздавливая и погребая разбитые, истекающие кровью тела полуголых, дрожащих от холода и ужаса людей.

Вздымалась пыль, ветер рвал ее, бросал ею в безумные глаза, осыпал раны, надевал на окровавленные лица ужасные маски, и, едва порыв ветра с воем и ревом разносил одну тучу пыли, падало здание, и снова взрывался к облакам огромный удушливый серый клуб и катились по улицам камни, отбивая людям ноги.

Земля глухо гудела, стонала, горбилась под ногами и волновалась, образуя глубокие трещины — как будто в глубине проснулся и ворочается века дремавший некий огромный червь, — слепой, он ползет там в темноте, изгибаются его мускулы и рвут кору земли, сбрасывая с нее здания на людей и животных.

Кричат ослы, лают собаки, носятся кошки и крысы, раздаётся ржание испуганных, погибающих лошадей, квочут куры, летают голуби — и над всем этим хао-

сом звуков, заглушая его, течет и бьется страшный вопль людей...

Лопнули трубы водопровода, из трещин земли рвутся фонтаны, шипя и обрызгивая раздетых людей холодной водой; ноги бежавших попадали в ямы, люди падали и погибали при каждой новой судороге разрушаемой земли. Кто имел силы устоять на ногах или ползти — двигался дальше, на берег моря, на площади города, путаясь в проволоках телефона и телеграфа, а земля вновь отталкивала всё; вздрогнув и пошатываясь, здания наклонялись, по их белым стенам, как молнии, змеились трещины, и стены рассыпались, заваливая узкие улицы и людей среди них тяжелыми грудями острых кусков камня, пронзающими осколками изломанного дерева, дробя кости женщин и детей, выдавливая мозг, выжимая внутренности тяжестью своею, безобразно разрывая прекрасное человеческое тело.

Подземный гул, грохот камней, визг дерева заглушают вопли о помощи, крики безумия, стоны раненых. И всё время к небу летят один за другим серые взрывы пыли — она не позволяет дышать, и сквозь ее завесу не видно, где меньше опасности, куда нужно идти.

С балконов скатывались тяжелые горшки цветов, падали куски чугунных и железных решеток; из окон прыгали полуобнаженные люди, сбивая с ног бегущих и разбиваясь о камни; в окнах еще не упавших стен стоят и сидят люди, они прилипли на карнизах и кричат о помощи, едва удерживаясь за выступы окоченевшими руками.

Их сбрасывают порывы ветра, они падают от новых сотрясений; люди и камни смешиваются в кучи, и всё чаще, всё сильнее дрожат дома, церкви, их режет под основание какая-то невидимая коса, — ничто не может устоять пред ее гигантскими взмахами.

Валятся столбы телеграфа, убивая людей, опутывая их тело толстою проволокою; земля волнуется, как море, сбрасывая с груди своей дворцы, лачуги, храмы, казармы, тюрьмы, школы, каждым содроганием уничтожая сотни и тысячи женщин, детей, богатых, бедных, неграмотных и ученых, верующих в бога и отрицающих его.

Люди всё плотнее и крепче жмутся к земле — им хотелось бы углубиться в нее по шею и хоть там найти момент неподвижности и покоя, отдыха...

Хочется пить — пыль вызывает жажду, но фонтаны сухи; люди бросаются на землю и, прикиная к лужам мутной, насыщенной известью воды, жадно пьют, сосут ее, целуя землю, убивающую их.

А в грудях мусора уже сверкают тонкие желтые языки огня — это огни лампад, горевших ночью пред ликом Мадонны, это загорелось от трения сухое дерево балок, подшивка потолков, изломанная мебель, двери, белье. Заваленный мусором дым густ и едок, он смешивается с пылью и обливает людей душною тьмою.

Вот снова гулкий взрыв и грохот, над землею вспыхнул яркий столб пламени — взорвало газ, — и еще не упавшие от разрушения дома медленно рассыпаются от сотрясения воздуха, увеличивая число трупов.

Всюду, из-под развалин, из середины их текут и бьются стоны и крики, и уже слышен хохот безумных, они бегут куда-то, прыгая по грудам щебня, или идут медленно и поют, сидят на грудях камней, плачут, молятся, смотрят в огонь навсегда спокойными глазами и улыбаются страшной улыбкой.

Бегают, ползают, крадутся белые дрожащие фигуры людей, и отовсюду смерть протягивает к ним тысячи жестких рук, давит, дробит, душит и гулко хохочет где-то под землею, сотрясая ее изломанное тело.

Ожила, восстала мертвая материя и, торжествуя в слепой и глупой силе своей, жестоко мстит человеку за его победы над нею, хочет навсегда испугать его и обессилить непокорный враждебный дух — пятую стихию, самую великую, наиболее богатую творчеством.

В мутной мгле утра, в тучах пыли и дыма всё ярче сверкает там и тут торжествующий огонь, он пробивается сквозь впадины между камнями, лижет их, они чернеют, и под ними усиливаются стоны о помощи, моления о смерти, но — некоторым людям суждено сгореть живыми.

На площадях жмутся маленькие группы людей; изувеченные, истощенные страхом, дрожащие от хо-

лода — большинство почти наги, некоторые окутаны одеялами, простынями... Все босы. У каждого — кто-нибудь, у многих — все близкие — погибли.

Узнав друг друга, удивляются:

— Вы живы?

И, крепко обнимаясь, плачут, как дети.

К ним отовсюду несется зов:

— Спасите!

Но они бессильны и только плачут, только стонут, проклиная бога.

Кто в силах, молча бросается на крики и, стиснув зубы, разрывает камни и мусор голыми руками, каждую секунду рискуя быть задавленным новыми обвалами искривленных, изломанных стен.

С воем летает ветер, обнимая голые тела измученных людей, грозя им новой опасностью смерти. Чтобы защитить себя от его уничтожающего дыхания, люди плотно жмутся друг к другу — женщины и дети в середине круга, мужчины вне его. Дрожат раненые, истекая кровью, рвут простыни и перевязывают свои раны.

А земля всё еще вздрагивает, и всё падают, срезаемые ее толчками, церкви и дома, и взлетают к серому небу густые облака пыли.

Ярче разгорается огонь среди развалин, громче и сильнее крики о помощи, обильнее и горячее слезы бессилия — наиболее горькие слезы человека. Гуще и плотнее облака пыли и дыма, они ползут по грудам мусора и душат людей. По одному и группами ползут и прыгают люди, как могут быстро, серединой улицы, по кучам мусора; они хотят выйти на берег, к морю, их сопровождает непрерывный гул и грохот, а вокруг бешено скачут ожившие камни.

Море гневно кипит, сплошь покрытое пеною, тысячи волн, высоко взмахивая белыми гривами, бьются в узком проливе, и глаз прибрежного жителя сразу видит в их пляске, так знакомой ему, что-то необычное, злое: движение зеленых масс воды лишено ритма, в нем нет привычных взгляду правильных взлетов и музыкальных падений — в это утро пляска волн незнакомо дика, полна непонятного и нового смятения,

как будто некто, обладающий неизмеримою силою, подбрасывает воду вверх и тотчас, схватив волну за основание ее, мощно дергает вниз и на месте водных гор роет пропасти.

Всюду, куда хватает глаз, море строит цепи высоких темных холмов, они качают хребтами и рассыпаются, снежно-белые, и пропадают, низринувшись в глубину изорванной судорогами, ревущей водной массы, обезумевшей от страшных колебаний там, глубоко под нею, где тайно живет великий подземный огонь.

Всё море качается, как огромная чаша, готовая опрокинуться на остатки города; оно испугано, побледнело от ужаса, как лицо человека, кажется, что вот сейчас вся смятенная масса его выплеснется на землю до последней волны и капли.

Укрываясь от ветра и холодных брызг за обломками прибрежных зданий, полунагие люди смотрят на судороги моря и чувствуют бешеный ужас водной стихии, безобразно разбитой, лишенной мощной грации своей.

Море для них всегда было поэмой, оно и в бурю не теряло ритма, правильные чередования ударов волн о скалы берега имели свою великую музыку, его прежние буйные песни звучали под куполом небес стройно и могуче, как орган.

В этот час высокие волны, размахивая гривами, рушились на берег с диким ревом страха и, хватая обломки зданий, как бы стремились удержаться на земле, не возвращаясь туда, где враждебные им толчки выбрасывали их тела вон из берегов и мяли и разрывали им груди.

Бешеными прыжками бросаются волны на берег, давя и опрокидываясь одна на другую, разрушая здания, смывая в воду дерево, камень, трупы и снова выкидывая их на землю, еще мельче раздробляя о ребра скал.

Люди смотрят, отступают, кричат.

Поднялась к небу волна высоты неизмеримой, закрыла грудью половину неба и, качая белым хребтом, согнулась, переломилась, упала на берег и страшной

тяжестью своею покрыла трупы, здания, обломки, раздавила, задушила живых и, не удержавшись на берегу, хлынула назад, увлекая за собою всё схваченное — лодки, двери, мебель, женщин, детей, священников, рабочих, солдат, студентов — смыла весь берег и, отступая далеко в море, снова, уже обессиленная, ударилась о скалы, добывая тех, кто еще был жив.

Светало, развалины города дымились во множестве мест, по грудам мусора бегали огненные змеи, порою пламя, торжествуя, вздымалось высоко к небу, всё еще падали здания — они падали в течение шести долгих часов, — в тучах пыли и едкого дыма, насыщенных запахом горелого мяса и жира, носился многоголосый стон умирающих людей.

В море, быстро перескакивая с волны на волну, темными птицами летели суда — уже шла помощь.

Но город погиб, и под развалинами его навеки уснули тысячи надежд, тысячи мыслей, — может быть, между ними были такие, которым предстояло освещать жизнь людей ярким, радостным светом, указать им новые пути к великому будущему.

Убиты сердца женщин, пылавшие любовью, раздавлена масса драгоценного человеческого мозга — четыре стихии нанесли пятой, враждебной им, тяжкий, жестокий удар.

Погибли дети, тысячи людей будущего, пролита лучшая, драгоценнейшая кровь земли, исчезли зародыши множества великих деяний, маленькие начала подвигов творчества, погибли дети — думать об этом всего мучительнее, ибо эта гибель тяжелее всего и — невознаградима.

Невознаградима ничем смерть ребенка.

Нет слов, чтобы выразить горе, нет красок, чтобы нарисовать страшное лицо катастрофы.

Но печаль — бесполезна, и слезы — не нужны, ибо жизнь — борьба.

Да возникнет к жизни гордый человеческий гнев и разбудит в людях энергию мысли и воли и поведет их по пути слияния всех во единую силу, ей же дано покорить всё враждебное человечеству!

## II

Капитан парохода «Вашингтон» следил за ходом катастрофы с моря и рассказывает о ней так:

«Мы подходили из Палермо к Мессине; около мессинского маяка в 5 часов 20 минут мое судно страшно дрогнуло, его высоко подбросило кверху — волна в то время была не высока, и я подумал, что мы ударились о камень. Но в ту же секунду маяк Мессины погас, на море опустился странный, сухой, как пыль, туман, мы потеряли из виду и порт Мессины и берег Калабрии. Со всеми предосторожностями я тихо шел вперед, смущенный, чувствуя, что на земле — несчастье. В 5 часов 25 минут новое сотрясение судна и гул на берегу. Удары и грохот на земле повторялись в 6 часов 15 минут, 6 часов 40 минут, 6 часов 45 минут, сопровождаясь каждый раз грохотом и ревом с земли. В 7 часов мы встали на якорь из-за тумана, он постепенно таял, и вот мы увидели на берегу полуразрушенный маяк со срезанной вершиной. К нам подошли барки, сообщая о несчастье и требуя помощи. Весь вход в пролив был загромажден опрокинутыми лодками, барками, мебелью, обломками дерева. Подойдя к берегу, мы увидели на месте города груды мусора и кое-где среди них полуразрушенные дома».

Аптекарь Фулько говорит:

«Я был на ферри-боте, уходящем из Мессины в Реджио. Было 5 часов 20 минут утра. Вдруг раздался сильный гул, вода сразу низко опустилась, отхлынула, так что судно коснулось дна, затем его подняло сразу больше чем на 8 метров против обычного уровня. Я видел с ферри-бота, как вода хлынула и затопила станцию, залила магазины, Цитадель, где находились казармы артиллерийской бригады, в которой, как я потом узнал, погибли почти все солдаты, находившиеся в ней. Над городом поднялся густейший туман, так что ничего нельзя было видеть, даже лучи рефлекторов не могли пронизать его. Как только рассвело, я опустился на берег и с величайшим трудом мог идти: всё было завалено обломками. Не встречалось мне почти



никого. Попытался я, с несколькими уцелевшими солдатами-артиллеристами, встретившимися мне полуголыми, босыми, дрожащими от холода, приняться за дело спасания из-под развалин, но нам удалось откопать всего двух человек — всё кругом падало, и невозможно было дышать от пыли и дыма начавшихся пожаров».

Прекрасный и богатый город вместе с окрестностями своими вмещал более 150 тысяч жителей. Теперь он был накрыт тучею пыли и дыма, его развалины горели, среди них мрачными скелетами стояли огромные здания муниципии и отеля «Тринаклия». Все почти дворцы — университет, здание почты — исчезли, станция жел<езной> дороги разрушена до основания, железнодорожные служащие и рабочие — задавлены.

Из 400 солдат таможенной службы погибло 350, и почти поголовно исчезли под развалинами казарм 83 и 89 пехотные полки... Солдаты спали, через несколько минут они должны были вставать... Уцелевшие рассказывают, что их казарма сначала была разорвана надвое, и тотчас же обе ее половины страшным ударом сомкнулись одна с другою, рассыпаясь в мелкие куски и давя людей. Немногие выпрыгнули в окна нижнего этажа, над остальными теперь воздвигнут высокий холм камня и мусора. Погибли все офицеры и семьи их, жившие в казармах.

Волна, высоту которой определяют в десять метров, опрокинулась на Мессинский берег, довершая падение прибрежных зданий, изорванных подземными толчками, смывая в море людей, — в проливе плавали сотни трупов, сбитые волнами в страшные гроздья.

Человек из Реджио рассказывает:

«Во сне я был сброшен с постели на пол, с треском на меня обрушились какие-то тяжести; раненный в голову, шею и ноги, я потерял сознание, но когда пришел в себя, мне удалось с великим трудом и мучениями вылезти из-под груды острых обломков, разрывавших мне кожу и тело. На улице я увидел знакомого мне учителя: шатаясь, полуголый, он нес на спине свою

мать и вел за руку жену — все трое молчали. Вот он упал, запутавшись в проволоках, я помог ему подняться, и мы пошли сквозь баррикады обломков на площадь, подпрыгивая и падая от новых толчков земли, окруженные пылью, оглушаемые треском разрушающихся зданий. Выбрались на площадь, и я встретил одного знакомого; заплакав, мы крепко обнялись, и только тут я заметил, что мы оба почти голые. Светало. Перед нами лежали развалины сиротского приюта, кто-то сказал мне: „Все дети — погибли!“ Каким-то чудом уцелел балкон, а с балкона кто-то в белом кричал нам: „Помогите! Здесь засыпано семеро!“ Но, почти в ту же минуту, стена, покачнувшись, медленно рассыпалась, и человек, крикнув еще раз, умолк. Пыль вызывала жажду, люди бросались к фонтану, он был пуст и сух. Я бросился на телеграфную станцию, но она уже была разрушена, остатки ее распадались на моих глазах. Был слышен глухой шум подземных толчков, и, ощущая, как земля зыблется под ногами, я бросился на Корсо, но меня остановил таможенный солдат, предлагая помочь ему отрыть раненого из-под груды мусора. Мы принялись за дело, но — еще толчок — и раненый был задавлен новою грудю камня, упавшею на него. Из-под обломков, из-под развалин неслись крики и стоны. Мимо меня, спокойно и мерно шагая, прошел человек, завернутый в простыню; я о чем-то спросил его, он не ответил, не остановился; взглянув в его мертвое лицо, я почувствовал, что это — сумасшедший. Всюду ползали лихорадочно дрожащие, полуголые люди, разрывая и растаскивая руками обломки и камни, дети искали отцов, матерей, рыдали девушки, плакали маленькие ребята, кричали женщины, проклиная бога. Кто-то сказал мне, что из 105 человек больных госпиталя уцелело 12, но теперь они погибли от холода и задохнутся в дыму пожаров. Помню — двое военных, с невероятною опасностью для себя, лазали по качающимся развалинам, спасая какую-то семью, они уже вытащили семь человек. Все дома вокруг срезаны. Начальник станции сказал мне, что море сначала отхлынуло от берега метров на тридцать и, подняв высокую волну, дьяволь-

ским размахом бросило ее на берег, всё сталкивая ею; отхлынув снова назад, она унесла в море людей, смыла развалины домов. Этим ударом были разбиты о берег два паровых катера, несколько парусных судов — их экипажи погибли. Здания порта опрокинуты. Всюду на берегу жестянки с керосином, мешки хлеба, ящики».

...У всех, кто пережил этот ужас, странно неподвижные, потемневшие лица, глаза чудовищно расширены и точно выступают из орбит. Их голоса — глухи, речь бессвязна, отрывиста, ее разрывают неожиданные, жуткие паузы. В середине фразы человек вдруг останавливается и молчит, прислушиваясь к чему-то, чего никто не слышит.

Вот — девушка по фигуре, старуха, судя по седым волосам и по тусклому блеску широко раскрытых, мертвых глаз.

— Сколько вам лет? — спросили ее.

— Шестнадцать.

Она пролежала под развалинами трое суток вместе с трунами убитых близких и была вырыта моряками «Славы».

Множество помешанных; на судах, во время перехода из Сицилии в Неаполь, приходилось закрывать все люки, ибо люди, увидав провалы в палубе, страшно пугались, а некоторые стремились прыгнуть в них. Видя где-либо огонь, психически больные немедленно бросались на него.

Одна оперная певица рассказывает:

«Вчера вечером я пела Аиду. Мессинская публика, милая и радужная, так много аплодировала мне. Счастливая, я вернулась к себе домой, в отель „Три-наклия“ — жила я в третьем этаже — около двух часов. Долго лежала я, не засыпая, в постели и вдруг почувствовала, что вокруг меня всё шумит, странно качается, вертится, падает. Вскочив на ноги, я громко позвала свою горничную, девушку из Турина, но она уже бежала ко мне с криком: „Бегите, всё проваливается!“ Мы слышали негромкий, но неопишимо ужасный шум вокруг. Обе раздетые, мы бросились по ко-

ридору к лестнице, но ее уже не было, мы стояли на краю какой-то пыльной, темной ямы, под ногами у нас лопался пол, отскакивали кафли и всё, вместе с нами, опускалось вниз. Повинуясь инстинкту, я, закрыв глаза, прыгнула вперед в пустоту, и когда ударились обо что-то, то почувствовала, что обе руки у меня раздроблены и лицо разбито. С силою отчаяния я поднялась на ноги и не помню, как вышла на площадь, — вокруг меня прыгали, задыхаясь от пыли, люди, все в белом, и кричали, плакали, молились; разрушался отель, под ноги нам подкатывались камни, на головы сыпался дождь сухого тяжелого пепла. От боли в костях рук я потеряла сознание и очнулась в одиннадцать часов на палубе „Пьемонта“. Вчера еще мне казалось, что я достигла высшей точки возможного счастья, — сегодня у меня сломаны руки, я урод и нищая: кроме одеяла, которым я укутана, и рубашки под ним да вот этих башмаков, которые кто-то добрый надел мне на ноги, — у меня ничего нет».

Почти вся Мессина построена из мягкого раковистого известняка, облицованного мрамором и другими камнями твердых пород: куски этих пород падали на головы, пришибая людей, известь рассыпалась в пыль и душила. Множество людей, очевидно, погибло не проснувшись, не мало погибало парализованных страхом. Выгибались полы, их квадратные кафли вылетали из гнезд с быстротою и силою камня, брошенного пращою.

Одна женщина рассказывает о смерти своей подруги так:

«Мы жили в одноэтажном доме. Я вскочила с постели от сильного толчка в бок и, при свете лампы, вижу — на меня падает потолок, раздвигается, наполняя комнату треском и расталкивая стены дома. Я вскрикнула и побежала в комнату подруги; она уже проснулась, сидела на постели, но, скованная ужасом, не могла встать. Я несколько раз пыталась увести ее из комнаты и не могла, но вот раздался еще удар, упала часть стены, я бросилась к двери и успела выскочить на двор, а она осталась там, за стеною, и стена

раздавила ее — в моих ушах навсегда останется ее тихий, плачевный вопль...»

Растерявшиеся, пораженные люди в первые часы были совершенно не способны помогать раненым и засыпанным, — даже легко придавленные обломками погибали при повторных толчках.

Вот рассказ одного из уцелевших докторов Мессины:

«Я жил в мебелированных комнатах, в четвертом этаже. В это фатальное утро меня разбудило страшное сотрясение, хотел встать с постели, но был сброшен на пол, среди летящих со всех сторон бутылок, стульев, столов, шкафов. Собрал кое-как и натянул на себя платье, зажег спичку и быстро открыл двери, чтобы спастись — но был принужден остановиться, задохнувшись в волнах охватившей меня пыли, сквозь которую ничего нельзя было видеть. Печальный опыт 1905 года внушал мне остаться, но землетрясение всё продолжалось с глухим шумом. Стали падать стены, делящие дом на комнаты, — поэтому пришлось выбежать в коридор. Там жители разных этажей передавали с одного этажа на другой, что лестница еще цела, и, набравшись храбрости, мы стали спускаться. Сошли во двор. Открыв ворота, мы наткнулись на массу обломков, сквозь которые с трудом стали пробиваться. Только тут мы поняли серьезность положения. Начали рушиться целые дома. Меня ранило падающим обломком в плечо. Царила полная тьма, и со всех сторон неслись крики о помощи, вой и стоны погибающих и раненых, обезумевших от ужаса. Несколько человек вместе со мной пытались пробиваться дальше, но это оказалось невозможным, и мы спрятались в пустой конюшне против того дома, где жили. Пока не взошло солнце, мы переживали ужасные моменты — было страшно слышать эти вопли вокруг себя и не быть в состоянии помочь. Как только стало рассветать, мы решили идти на площадь муниципии, и, разрывая препятствия из обломков, телефонных и телеграфных проволок, всюду преграждавших нам

путь, мы медленно пробирались в удушливом, пропитанном пылью воздухе вперед. То там, то тут по дороге с грохотом обрушивались строения. Помогать погибавшим, стоявшим на балконах, цеплявшимся за рамы окон, карнизов, мы не могли — у нас не было лестниц, а главное — сил. И так шли мы вперед, среди ужаса и отчаяния. Против нашего ожидания, на площади мы нашли немного людей. Площадь была залита водой из лопнувших во многих местах водопроводных труб. Мы подошли к великолепному зданию муниципии; лестница, великолепная, мраморная, представляла собою груды обломков и пыли. Здание пожарных напротив — совершенно разрушено и загромождено обломками. Попытались пробраться на Корсо Гарибальди, но путь туда совершенно загроможден. Площадь начала с рассветом всё больше наполняться народом, каждый рассказывал новые ужасные подробности. Дома вокруг продолжали обваливаться и разрушаться. Из одного дома раздавались вопли о помощи: муж и жена стоят у двери, но эта дверь в третьем этаже, их не достать, и мы видим, как они падают вместе с домом.

Мы пошли на Via Marina, там было тоже немного народу, но уже от крейсера „Пьемонт“ ходили лодки с моряками и подбирали раненых. Вся набережная устлана обломками великолепных дворцов, окружавших ее. По пути подобрали полумертвую, раздетую молодую женщину.

Нас взяли на борт. Капитан крейсера приказал коммерческим судам брать раненых и отвозить их в Villa San Giovanni. Крейсеру пришлось подвигаться с большим трудом и с большою осторожностью: весь пролив был полон плавающими бочонками с маслом, ящичками с апельсинами и финиками, маленькими лодками, рыбачьими барками, опрокинутыми вверх дном, обломками дерева. Уже на крейсере мы увидели, как обрушился собор и заиграли языки пламени во многих местах города. Некоторые говорили, что горят склады керосина, другие, что взорвало газовый завод и газометры. Так мы оставили Сицилию.

Спущенные на берег в Villa San Giovanni, мы нашли

порт и железнодорожный путь совершенно разрушенными, станция развалилась. Во всей области царило то же отчаяние, те же крики о помощи неслись со всех сторон, те же исковерканные здания. Мы двинулись вдоль железнодорожного пути, дошли до Баньяры, чтобы быть свидетелями нового горя,— город был охвачен пламенем».

Привожу также характерный рассказ опрошенного мною мальчика-сироты:

«Мы жили в маленьком доме на окраине; дом старый, одноэтажный, хозяева жили наверху, а я и подмастерье — внизу, в мастерской. Подмастерье спал на лавке, на матраце, а я на полу. Вдруг — уже пришла пора вставать — слышу: всё трясется. Он говорит: „Это что?“ А я вскочил да бежать на двор. А рядом был большой дом; и вдруг — он валится. Шумит всё, ничего даже не пойму, что такое. А подмастерье бежит и ревет: „Землетрясение!“ Я слышу, что он кричит, а ничего не вижу и дышать не могу. Сел на землю и сижу. Голову мне сильно ушибло чем-то. Стало рассветать; кругом всё камни лежат и никого нет. Я посидел-посидел, встал, пошел, а ноги у меня дрожат. Потом вернулся опять,— думаю, может быть, живы хозяева. Только их засыпало, а у них двое детей, хозяин, хозяйка и старуха. Пришел, зову — нет никого. Я походил-походил, пошел прочь. Пришел к морю, а там много уже народу. Плачут все. А у меня голова очень болела. И уже вечер стал. Я хоть и одетый спал, а босой, и холодно мне очень было. Потом меня посадили на пароход, я никогда не ездил на пароходе. Потом повезли. Сперва в Неаполь привезли, а потом вот сюда, на Капри. Детей мне очень хозяйских жалко, очень хорошие дети. Неужели они все умерли? Я вот теперь, как закрою глаза, всё слышу — шумит. И всё мне кажется — качает меня.

Спрашивают все очень — как случилось? А говорить — тяжело. Мне ничего: там шил сапоги и здесь шить сапоги буду. Только очень жалко хозяйских детей. Такие хорошие дети. Двое их было».

Наиболее полно рисует это страшное утро рассказ ныне живущего на Капри отставного капитана — Де-Анжелиса.

«Я жил в местечке Контемплационэ в пяти милях от Мессины. Семья моя состоит из меня, моей жены и двух сыновей — мальчиков двенадцати и восьми лет, да нашей служанки, Августы Ломбарди, живущей у меня в доме уже пятнадцать лет. Мы все спаслись, и никто из нас не был ранен, только у жены легкая рана на ноге, от упавшего камня.

Дом наш из пяти комнат да кухни и комнаты, в которой жила Августа. Мы с женой спали в крайней комнате, а рядом с нами находилась детская, где спали наши мальчики.

В ночь на 28-е, в 5 часов 20 минут утра, нас разбудил страшный толчок, который сбросил меня и жену с наших постелей. Едва я немного опомнился, — мне уже не впервые приходится переживать землетрясения, я около восьми лет живу около Мессины, — я схватил одеяло, закутал жену и бросился, таща ее за собой, чтобы встать в арку двери, ведущей из нашей комнаты в умывальную, из которой шли двери в комнату наших детей и в коридор, смежный с кухней. Всё это происходило в полной темноте, среди падающих потолков, треска мебели, в облаках пыли. Я старался прикрыть жену своим телом. Всё кругом нас качалось, пол то поднимался, то опускался, и в то же время всё здание точно вращалось вокруг себя. Дверь, в арке которой мы стояли, тоже тряслась и скрипела. Это длилось секунд двадцать пять, тридцать, может быть — больше, не знаю. Затем колебания как будто немного прекратились, и я, придя в себя, стал звать детей. В ту же минуту весь передний фасад нашего дома обвалился, вся передняя стена рухнула на улицу, а нас с женой накрыла, как палаткой, обвалившаяся крыша. Боковая стена нашей комнаты тоже обвалилась. Подземные толчки сопровождались глухим, но сильным гулом.

Когда я закричал, младший сын мой ответил:

— Папа, не бойся, мы живы!

Мы с женой вошли в умывальную, ощупью добрался я до двери в детскую и пытался ее открыть. Но дверь



завалило обломками, мне пришлось разбить стекло и пролезть через верхнюю половину двери. Когда я встал на ноги, уже чуть-чуть забрезжило и прямо передо мной я увидел небо и море, отступившее от берега по крайней мере на полтора-два метра, — наш дом находится всего в сорока метрах от моря. Это зрелище так поразило меня, что я на несколько секунд точно остоленел. Придя в себя, осторожно пробираясь по кучам обломков и разбитой мебели, добрался до того места, где стояли кровати моих детей. Их спасло то, что в комнате стоял огромный шкаф, железная балка легла как раз на этот шкаф и удержала потолок. Младший сын мой инстинктивно сжался в маленький комочек, подобрав под себя ноги, — это сохранило его от ужасной судьбы быть искалеченным: куски камня легли вплотную к его коленям. Я схватил детей и пробрался с ними к жене. Служанка наша, как я уже упомянул, спала в маленькой комнате, смежной с кухней. Минут за десять до катастрофы она была разбужена неистовым мяуканьем нашей кошки, которая бросалась на стены, царапала их и вообще, по выражению Августы, вела себя так, точно в нее залез дьявол. Служанка зажгла свет и пошла в кухню успокоить кошку — в этот самый момент ее застигло землетрясение. Свеча выпала у нее из рук. Опомившись, она кинулась обратно в свою комнату, снова зажгла свет и прежде всего пошла помогать нам, — только с ее помощью нам удалось выбраться из дому.

Наш дом был расположен на склоне холма, фасад его представлял два с половиною этажа, а задняя стена — один, так что мы прямо из кухни вышли на двор, и в ту же минуту едва-едва успели вскочить обратно — со всех сторон рушились стены смежных с нами домов, засыпая наш двор. Толчки всё продолжались, хотя с меньшею силою.

Наконец мы решились вылезть через окно кухни наружу. Тут мы с изумлением увидели, что кладовушка, в которой держали грязное белье и всякие старые вещи, совершенно уцелела, и так как все было в одном ночном белье, то прежде всего надели на себя кто что мог. Младшему сыну моему не хватило сапог — Ав-

густа отдала ему свои старые башмаки. Затем я постарался найти более или менее безопасное местечко у нас во дворе, чтобы дожидаться рассвета...

Когда раздался первый удар — мне кажется, что их было три, но, право, я не в состоянии был бы сказать это наверняка, так всё у меня смешалось в голове, — всё кругом сразу наполнилось страшным грохотом падающих стен и домов и характерным подземным гулом. Затем наступило секунд тридцать пять — сорок, — может быть, минута, не знаю, — какого-то невероятного молчания, какой-то неистойвой тишины, и вдруг раздался такой вопль, такой хор человеческих криков, воя, плача и вопля о помощи, который покрыл весь грохот вновь начавших падать стен.

Пока мы сидели, отовсюду неслись крики: „Помогите, ради бога, помогите!.. Папа, где ты?.. Мама!..“ — Кричали имена, молили о помощи, выли от боли и ужаса.

Потом мне рассказывал один рыбак, — имени его я не знаю, — он был в море, ловил рыбу. Вдруг море начало кипеть и подниматься острыми волнами. Тогда старый рыбак сказал им: — „Смотрите, от Калабрии буря идет!“ — Они схватились грести, но в это время их подхватила огромная волна, понесла к Мессинскому берегу и вышвырнула с невероятною силою на берег. Как они не погибли все — он понять не может. Эта волна бросилась на берег, опрокидывая и заливая всё на своем пути, а потом хлынула назад и понесла за собой барки, лодки, людей, мебель, обломки, унося их далеко от берега.

Должно быть, именно этот момент я увидел из комнаты своих сыновей.

Этот же рыбак говорил мне, что прошло гораздо больше часу, прежде чем море приняло свой обычный уровень, и что весь пролив был полон разбитыми и опрокинутыми лодками, барками, плывущими обломками, людьми, животными, снесенными с берегов Мессины и берега Калабрии. Когда немного рассвело, мы пошли искать своих друзей. На вилле Сандерсон мы узнали, что капитан Паван и его жена тоже спаслись, также как и их служанка, но их великолепная вилла совер-

шенно разрушена — остались только боковые стены и крыша, весь дом провалился. Все мы принялись помогать тем, кто пострадал больше нас.

Люди были так оглушены, что многие здоровые, сильные, с плачем молили о помощи, но сами не догадывались или не находили в себе сил приняться откапывать своих близких. Ужасно, что под руками не было ни лопат, ни кирок, ни даже больших кусков дерева, железа — всё превратилось в мелкие осколки.

Жена моя, при виде инертности этих людей, сама принялась рыться в развалинах дома рядом с нашим, откуда неслись стоны и мольбы о помощи. Молодой человек, кузнец, недавно только пришедший с военной службы — артиллерийский солдат, — сидел, охватив голову руками, и качался из стороны в сторону, ничего не предпринимая. Я накинулся на него, ругая и стыдя, что вот, мол, женщина работает, а он сидит сложа руки и допускает, чтобы люди задыхались под землей. Он сбросил с себя охватившую его апатию, и должен сознаться, что у меня не было более ретивого помощника, как этот парень.

Капитан Паван, без шапки, в каком-то белом колпаке на голове, таскал раненых, его жена делала первые перевязки, как только могла и умела. В их саду из всяких обломков, ковров и тряпья мы стали строить палатки. Все боялись быть на берегу из страха нового сотрясения и новой страшной волны и поэтому лепились на склоне холма. В нашей деревеньке было, приблизительно, больше пятисот человек жителей — из них погибло более половины. Наименее пострадало местечко Парадизо, больше всего Пажи, Санта Агата и Фаро Супериоро, — там из двух тысяч жителей уцелело едва ли двести-триста человек.

Только около семи часов утра стали показываться беглецы из Мессины, — у большинства зажиточных мессинских жителей виллы и дома в окрестностях, — от них мы узнали, что Мессины более не существует, разрушена до основания. Почти все беглецы были ранены, в крови, безумно испуганы.

Мы, жители маленьких местечек, уцелевшие и не

раненые, разделились на группы и так, на свой страх и риск, старались помочь друг другу.

Около трех часов пополудни дети стали жаловаться на голод. Мало у кого из нас сохранилось что-либо съестное. У меня оказалось немного вина, которое мы давали тем, кого вытаскивали из-под обломков. Мне сказали, что в колониальном магазине нашего местечка разбита дверь, но сама лавка уцелела. Там был и рис, и бобы, и мука, и хлеб... Мы, начальники групп, посоветовавшись, решили завладеть этим магазином, хозяин его был в это время в Мессине. Пошли и взяли товар, а потом стали возможно целесообразнее распределять его. До самого позднего вечера мы откапывали заживо погребенных. Все, кого мы откапывали, в первую минуту были не в состоянии говорить, у всех вид ужасный, цвет кожи свинцовый с фиолетовым оттенком, глаза страшно опухшие, полны пыли, слезятся и кровоточат, все лица тоже опухшие, вздутые. Если люди говорят, то отрывочно, не находят слов, похожи на сумасшедших, у многих пропадал голос, выпадали буквы, слога. Мне пришлось вытащить одного старика, которого целиком засыпало пылью, но он остался жив, благодаря тому, что на него упал стол и закрыл верхнюю половину его туловища. Его дочь прибежала ко мне и с плачем умоляла отрыть ее отца. Я сейчас же, конечно, побежал. Спрашиваю ее: „Как отца зовут?“ — „Франческо!“ Я принялся кричать: „Франческо, Франческо, где вы?“ Слышен стон. Я опять кричу: „Можете вы сказать нам, где лежит ваша голова?“ Опять стон. Вдруг видим: сквозь маленькое отверстие просовывается старый, корявый палец. Ну, тут я посмотрел, какой палец, какая рука, и мы принялись его откапывать. Порыв немного, видим — дело плохо: если еще копать, всё рухнет и старика задавит. Стол прикрыл его голову и туловище, но если тронуть этот стол, то вся масса обломков и пыли рухнет на человека. Думали-думали, наконец догадались, стали отбивать ножом куски стола и понемногу отсыпать мусор. Отрыли таким образом старика до самых ног, а дальше совсем нельзя трогать. Что делать? Тогда я и другие схватили старика за плечи и стали тянуть его. Он

кричал ужасно; мы стиснули зубы и всё тащили. Кожу с ног его совсем содрало; мы его все-таки вытащили, и он остался жив.

Так прошел этот день, и наступила темнота. Ни огня, ни света у нас не было. К вечеру пошел дождь. Мы, кто мог, забралась в палатки, сели на земле, кое-как прикрыли детей и стали ждать. Время длилось ужасно. Только у моей жены оказались часы, так как она носит их в браслете на руке. Спрашиваем ее: „Который час?“ — „Девять!..“ Проходит много-много времени, спрашиваем ее опять: „Который час?“ — „Девять с половиной!“ И так бесконечно тянулась эта первая ночь после катастрофы.

На другой день я на лодке поехал в Мессину, чтобы искать помощи и самому видеть, что случилось с городом. Там уже были три русских судна и одно английское, энергично взявшиеся за благородное дело помощи. Каждое судно брало себе какую-нибудь определенную часть города, и матросы партиями шли на раскопки.

Англичане устроили себе амбулаторию в доме электрической станции. Четыре русских врача перевязывали раненых на месте — на открытом воздухе — и, после перевязки, их относили в наскоро устроенный в портовой казарме госпиталь.

Нет слов, чтобы рассказать, с каким самоотвержением работали русские матросы! Где только было опаснее всего, куда никто не решался идти, они шли и спокойно делали свое дело. Нас, итальянцев, поразило, что у них всё оказалось: и топоры, и кирки, и веревки, и даже полотняные перчатки, чтобы солдаты не ранили себе рук и не заражались. Удивительно трогательно относились они к детям и женщинам! Надо было видеть, с какою осторожностью и нежностью они относились к ним, говорили что-то, никому не понятное, но испуганные дети шли к ним на руки без страха, так чувствовалось их горячее желание утешить и приласкать. Мне самому пришлось быть свидетелем такого случая. Я вместе с другими своими соотечественниками, среди которых были и официальные лица, шли мимо дома префекта Мессины. Кругом всё представляло собой одни развалины, и вдруг, в одном из разрушенных

домов, в третьем этаже, каким-то чудом уцелела комната, в которой за окном виднелась голова женщины. Нельзя было рассмотреть, стара или молода она. Увидя нас, она стала кричать нам: „Помогите, помогите, ради бога! Спасите меня, спасите!“ У нас ничего с собою не было, ни лестниц, ни веревок, и мы стали кричать ей: „Не отчаивайтесь, мы вас спасем! Мы придем и спасем вас, подождите немного!“ Но она не верила и стала ругать нас. „Негодяи, негодяи, вы хотите, чтобы я околела от голода и холода! Вы хотите бросить меня погибать без помощи!“ Пока мы шли, она всё кричала. Неподалеку мы встретились с отрядом русских моряков из четырех человек; они направлялись в ту сторону, откуда мы шли. Не прошло и десяти минут, как кричавшая женщина оказалась спасенною и на земле. Как они это сделали, я, право, не знаю; у них, как и у нас, не было ни лестниц, ни веревок с собою.

...Пришлось мне быть свидетелем, как спасли трех детей. Наш отряд шел на раскопки, на этот раз это были итальянские солдаты. Шли и, как всегда, кричали: „Эй, нет ли тут кого? Откликнись! Кто тут живой, эй!..“ Вдруг слышим — из одних развалин раздается тоненький голосок: „Мария!“ Солдаты бросились туда. „Эй, кто там?“ Молчание. Потом опять чуть слышно: „Мария, Мария!“ Значит — кто-то там есть! Принялись лихорадочно рыть и вдруг видим: из маленького отверстия — лезет попугай, весь в извести, жалкий, растрепанный, испуганный... Сперва мы расхохотались даже. Но потом поняли, что если попугай кричал „Мария“, значит — там она! Стали рыть дальше и откопали маленькую девочку — ее-то и зовут Мария. Спрашиваем ее: „Есть там еще кто-нибудь?“ „Да. Со мной были мои братья. Они всё время разговаривали, но вот теперь замолчали!“ Стали рыть еще и откопали двух маленьких мальчиков. Больше там никого не было. Так попка и спас три человеческие души, за что его с торжеством отнесли на броненосец „Королева Елена“.

Мне пришлось столкнуться самому с теми пресловутыми ворами, о которых так много пишут в газетах.

Не могу не сказать, что все эти рассказы в высокой степени, на мой взгляд, преувеличены. Конечно, что говорить, нужда у нас в Сицилии, как и в Калабрии, огромная, — очень естественно, если бедняки приняли обрушившееся на город несчастье за удачу для себя и тащили всё, кто что мог. Конечно, могли быть случаи, о которых говорят, могли быть вырваны серьги из ушей, отрублены мертвые пальцы — может быть, — но ведь нельзя же забывать, что из разрушенных тюрем бежали арестанты, женщины и мужчины, всё это голодное, голое, обезумевшее. Я натолкнулся на нескольких людей с мешками на спине, погнался за ними, когда они пустились бежать от меня, одного поймал, обломал об него свой зонтик, а у него в мешке оказался каравай хлеба да пара старых штиблет. Лично я не знаю ни одного случая грабежа.

В Мессине — когда я был там во второй раз — мне рассказывали о королеве Елене. Она, действительно, ухаживала за ранеными, как простая сестра милосердия. На ее руках в буквальном смысле этого слова умерли три женщины, и одна из них, в страшных конвульсиях, так ударила королеву в грудь, что грудь распухла и сильно болит. Король тоже всё время на своем посту и работал, как простой военный начальник, всюду поспевая, целыми днями без устали.

К вечеру я вернулся в Контемплационэ с мешком галет и обещанием прислать помощь. Там жена рассказывала мне о спасенных. В этот день в Пажи своими односельчанами был вытащен из-под развалин один унтер-офицер с женой, матерью и двумя детьми — трехгодовалым и грудным младенцем. Они живы, хотя и ранены все.

На третий день в Контемплационэ пришла миноноска и в восемь с половиной часов утра привезла шесть мешков галет и полмешка хлеба для детей и больных; всё это тотчас же было роздано, причем взрослому человеку давалось не более двух галет.

Я было приготовил лодку для перевоза на миноноску раненых, но оказалось, что она не возвращалась в Мессину, и приходилось ждать другого случая. В это время хозяин лодки, рыбак, заявил мне, что

в его деревне Пажи вот уже третий день его семья и односельчане не имели ничего съестного, и просил меня дать ему что-нибудь, чтобы он мог свезти в свою деревню. Я потребовал, чтобы и ему дали с миноноски мешок галет, взяв с него слово, что как только он раздаст галеты, немедленно вернется в Контемплационэ. Всё это время жена моя и другие уцелевшие женщины старались подавать помощь раненым, и, собравшись на берегу, мы с нетерпением ждали, не покажется ли еще какое-нибудь судно. Действительно, вскоре на горизонте показался броненосец, медленно двигавшийся вдоль берега по направлению к Мессине. Мы принялись махать платками и простынями, но броненосец не обращал на нас внимания и продолжал свой путь. Тогда я, собрав вокруг себя всех находившихся на берегу, стал вместе с ними громко кричать: „Помощи! На помощь! Помогите!“ И вот мы с радостью увидели, что броненосец повернул ближе к берегу и бросил якорь. Это был „Виктор Эмануил“, на котором шли король с королевою, но никто из нас, конечно, не знал этого, тем более что королевского штандарта не было видно.

Как раз к этому времени, весь в поту и задыхаясь, вернулся мой рыбак, и я, вскочив в лодку, направился к броненосцу; только совсем близко к судну я заметил штандарт и тут же увидел отчаливший от борта паровой баркас, в котором сидели король и королева. Я направился к баркасу и обратился к королю:

— Ваше величество! Маленькие местечки по берегу моря пострадали не менее Мессины, но у нас нет ни врачебной помощи, ни людей для раскопки заживо погребенных, ни даже хлеба. Я пришел просить помощи!

Король сидел страшно бледный, у королевы я видел слезы на глазах.

— Всё, что только возможно, будет сделано! — ответил мне король.

И баркас направился к берегу, а я поплыл к броненосцу и пристал к трапу.

На трапе меня встретил командир Паладини. Он немедленно принял от меня раненых, их было четверо,



среди них одна женщина особенно тяжело. Распорядился спустить на берег пятьдесят человек команды под начальством трех офицеров и врача, совсем еще молодого человека, неаполитанца родом,— к сожалению, забыл его фамилию.

На берегу все немедленно лихорадочно принялись за дело помощи. В зале летнего курзала устроили перевязочный пункт, куда целый день сносили раненых. Доктор работал до поздней ночи без устали; перевязывая, ампутируя, уговаривая больных, утешая измученных людей.

У большинства раненых были разбиты головы, сломаны руки, ноги. У многих страшно изранены спины, так как первым инстинктивным движением каждого, должно быть, было согнуться, подставить спину под удары падавших обломков, которые сдирали кожу, а у многих даже мясо; затем, вторым толчком, человека бросало на землю, накрывая камнями и пылью. Еще тяжелее было положение тех, кто падал на спину, так как падали они на те же осколки и обломки и умирали придавленные сверху, засыпанные. У многих спина представляла собою сплошную рану, у некоторых даже кости были обнажены. И всё это засорено, гноится и кровоточит.

По всему побережью видны были снующие от броненосца лодки, направлявшиеся с помощью. К сожалению, очень быстро не хватило носилок, раненых приходилось таскать на импровизированных, кое-как связанных из разных остатков.

Солдаты работали без устали весь день, офицеры наряду со всеми; я помню, что, когда с броненосца раздался рожок, призывавший к обеду, ни один человек не тронулся, и все остались на берегу без пищи, пока совсем не стемнело.

Многих раненых мы находили сидящими на развалинах своих домов. Это были те, которых откопали их родные или люди, оказавшиеся после землетрясения сверху развалин. Многих уже свои же родные устроили кое-как на берегу в лодках. Их тоже брали и относили в походный госпиталь, наскоро устроенный в одном из уцелевших домов.

Помню, откапывали мы дочь одного из наших рыбаков, двадцатичетырехлетнюю молодую женщину. Она лежала в кровати с маленьким двухлетним своим сыном. Ребенка мы освободили из-под обломков довольно легко, но бедная женщина совершенно была покрыта мелкими обломками, при малейшем неосторожном движении сползавшими и грозившими раздавить ее. Она больше всего беспокоилась о том, что она голая, и просила нас:

— Подождите! Не вытаскивайте меня, я совсем голая! Накройте меня сперва чем-нибудь!

Мы откопали ее живую, но через 24 часа она умерла.

В течение целого дня приходили люди из окрестных селений, прося хлеба и помощи. Пришел делегат муниципии наиболее пострадавшего Фаро Супериоро, с ним крестьяне его коммуны. Они говорили, что уцелевшие двести-триста человек умирают с голоду. Им дали тринадцать мешков галет, и они поспешно ушли.

В первые дни, естественно, всё внимание было обращено на Мессину и большие города; маленьким местечкам трудно приходилось от отчаяния, голода и отсутствия помощи. Положение осложняла та болезненная апатия, в которой находились уцелевшие люди. К вечеру на третий день появились пешие войска — берсальеры из Неаполя — и начали обслуживать пострадавшие селения.

Вечером этого дня я подплыл на лодке к броненосцу „Виктор Эмануил“ и просил взять на борт моих сыновей. Плохо одетые, утомленные и измученные, они всё время должны были жить, как и все, в палатке под открытым небом, на дожде и ветре. Капитан, отнюдь не отказывая мне, посоветовал лучше отправиться в Мессину и попытаться устроить их на одном из отходящих в Неаполь пароходов, так как на броненосце не знают, сколько еще времени им придется провести здесь. Я послушался. И вот все мы, жена моя, служанка и дети, пошли в Мессину. Страшно мучительными показались нам эти пять километров пути. Жена моя шла в мужских ботинках с опухшею от удара камнем ногой, у Августы босые ноги сильно изранены и поре-

заны стеклами, когда она помогала нам спастись, дети едва шли. Только очень поздно доплелись мы до Мессины. По дороге проходили мимо трупов, едва прикрытых всякими лохмотьями.

К великому моему огорчению, для моей семьи не оказалось места ни на одном из пароходов, и мы принуждены были идти обратно, несмотря на сильный дождь, полную темноту и грязь, спотыкаясь о порванные телеграфные и телефонные проволоки. Изредка лучи прожекторов с судов на мгновение освещали путь, и мы шли полумертвые от усталости — две женщины, двое детей и я, единственный сильный и здоровый человек. Когда мы пришли обратно, то увидели, что имеющиеся у нас два матраца в палатке заняты нашими товарищами по несчастью, надеявшимися уснуть в эту ночь поудобнее, ввиду того, что все-таки пять человек выбывало. Конечно, всё это пустяки по сравнению с теми ужасными страданиями, которые были всюду кругом, мелочь, но нам было очень тяжело, особенно потому, что началось уже сильное разложение трупов, воздух был наполнен удушающим зловонием, и мы с женою трепетали за детей. На четвертый день началась посадка раненых на суда. Стало сильно заметно, что рыбаки и крестьяне предпочитали устраниваться на бивуаках, жить впроголодь, но оставаться на месте, весь же пришлый элемент — ремесленники — бросились бежать хоть куда-нибудь, только бы скорее прочь от места катастрофы.

На многих лодках рыбаки поставили кое-как устроенные палатки, принялись варить себе пищу и вообще пытались наладить нарушенное течение жизни.

Весь этот день я почти целиком провел в Мессине, в поисках за разными медицинскими принадлежностями. Когда я вернулся, жена моя рассказала мне, что днем пришли два французские броненосца и, едва встали на якорь, немедленно спустили людей на берег. Одна лодка пристала к берегу почти у самого нашего дома, и жена видела, с каким необыкновенным одушевлением французские матросы принялись за дело.

Рядом с нашим домом находился дом Орланди, от которого шло страшное зловоние, так как в нем оста-

вались засыпанными четыре человеческих трупа и лошадь. Мы не могли ничего поделать: слишком опасно было прикасаться к этому дому, он ежеминутно грозил обрушиться и засыпать живых. Французы сразу бросились к нему и с безумной храбростью принялись разламывать его. Увидев это, жена моя, которая хорошо говорит по-французски, бросилась к матросам и закричала:

— Что вы делаете? Этот дом сейчас упадет, задавит вас!

— А там никого нет живых?

— Нет, нет! — отвечала жена. — Никого! Идите спасать живых, но не рискуйте собой для мертвых! Французы поблагодарили ее и энергично бросились на помощь другим.

На пятый день капитан Паладини прислал мне сказать, что может взять к себе на борт мою жену, детей и служанку, теперь он обещает отвезти их в Неаполь.

Я взял лодку, связали мы свои несчастные пожитки, у кого рубаха, а у кого и того нет, так как рискованно было входить в наш дом: он мог ежеминутно обрушиться. Поплыли мы на броненосец. Приняли нас на нем, как братьев. Капитан предложил и мне поехать на броненосце, ввиду того, что пришли войска и моя помощь перестала быть необходимою в местечке; я с благодарностью принял его предложение и только попросил разрешения съездить на французские суда просить их о посылке съестного на берег, в чем всё еще чувствовался недостаток.

Отправился на французское судно; чтобы не приняли меня за мошенника, показал свое удостоверение личности и просил от имени населения прислать съестных припасов.

Офицер очень любезно обещал мне, что, как только будет готово горячее, он пошлет еду и людей на берег.

Я поблагодарил и поплыл к берегу проститься со своими односельчанами. Спустя несколько времени, когда я уже вернулся на броненосец „Виктор Эмануил“, я видел, как с французских судов спускали огромные

котлы с супом, отходили целые лодки, полные хлеба и еще каких-то припасов.

Я утверждаю, что уже на второй день к вечеру с парходами прибыли итальянские солдаты, что у них уже были с собою кирки, лопаты и кое-какие медицинские принадлежности. Всего их прибыло в этот день три тысячи человек.

Еще утром второго дня прибыли военные суда: „Королева Елена“, „Сицилия“, и к полудню, должно быть, „Виктор Эмануил“.

Первые два судна были в плавании приблизительно в полутораста милях от Палермо и прибыли раньше, „Виктор Эмануил“ прибыл из Неаполя и, как я уже упоминал, имел на борту короля и королеву. В этот же день, как мне говорили, были посланы из Неаполя суда к берегам Калабрии.

В самой Мессине была миноносная станция в составе десяти миноносок; несмотря на ужасную погоду, представлявшую огромную опасность для таких судов, эта станция немедленно принялась за дело помощи, разделяясь на два отряда, — одна часть отправилась обслуживать Мессинское побережье, а другая — берег Калабрии. Море всё время было страшно бурное, команда на миноносках маленькая; понятно, что их помощь представляла собою незаметную каплю в море, но я считаю своим долгом упомянуть, как очевидец и свидетель самоотверженной работы матросов и офицеров, что они отдавались делу помощи пострадавшим с изумительным самоотвержением и страстностью.

Затем, я сам видел, что уже на второй день частные парходы пришли с довольно большим грузом дерева для постройки временных барачков. Я сам видел, как из многих деревень и местечек Мессинского побережья подплывали лодки и брали этот лес.

Я забыл упомянуть, что большое затруднение при ходьбе в местностях, пораженных землетрясением, представляли собою всюду протянувшиеся трещины, правда, не очень широкие, но некоторые из них я измерил — они были от одного метра двадцати до шестидесяти и даже семидесяти пяти сантиметров глубины. Там, где были мостовые, камни во многих местах сдви-

нуты и нагромождены один на другой более или менее высокими кучами, точно кто-то взял и стиснул с двух сторон линию дороги так, что камни выперло вверх. Поражало меня то, что часто приходилось видеть, как одна колонна ворот представляла собою груды щебня и камней, в то время как другая оставалась совершенно целою, несмотря на расстояние между ними в два-два с половиною метра.

Те, кого мне пришлось видеть из переживших Мессинское землетрясение, почти все казались мне ненормальными. Мало кто из них мог связно говорить, многие не понимали вопросов. Очень многие люди, члены одной и той же семьи, не знали об участии друг друга. Многие выражали полную апатию при спасении и никакой радости.

Положение в Мессине было тем более ужасно, что даже люди, выбежавшие из домов на улицу, не могли спастись, так как, стиснутые с обеих сторон высокими домами, эти улицы представляли собою нечто вроде коридоров, а принятая в Мессине манера облицовывать дома тяжелым мрамором, украшать их богатыми карнизами, делала эти узкие проходы во время землетрясения, когда всё это рушилось на головы несчастных спасающихся, настоящими западнями; часто падали целые фасады, погребая массы людей. Всего этого, конечно, не было в маленьких местечках; этому, я думаю, надо приписать большее количество спасшихся там от гибели.

Очень трудно вспомнить, а тем более хотя несколько связно передать всё, чему пришлось быть свидетелем за эти ужасные дни...

Помню, что когда я, прийдя в Мессину, попал во дворец префекта, — великолепное здание, его называют Палаццо Реале, так как он принадлежал прежде бурбонскому дому и был резиденцией королей, с 1860 года он стал собственностью государства, — так вот, прийдя во дворец, я увидел в вестибюле несколько трупов, лежавших у самого входа. Тут же, в углу, я узнал сидящего доктора Оскара Ферро, одного из врачей Красного Креста; с ним был его сын, молодой человек лет девятнадцати, спасший жизнь своего отца, — мать

и брат его погибли. Отец сильно страдал, у него было раздроблено плечо. Тут же я увидел префекта; он сохранял полное самообладание, надо отдать ему справедливость, несмотря на то, что дочь его, молодая девушка, сильно ранена. Сам он и жена его остались невредимыми. Дворец почти совершенно цел, кроме приемного зала, в котором повреждения довольно значительны.

В этот первый раз я побывал на вилле Мадзини около того же дворца. Там, с самого утра 28-го декабря, уцелевшие более или менее здоровые мессинцы устроились лагерем. Сотни людей, спасенных ими, израненные, полураздетые, кое-как прикрытые кто одеялом, кто лохмотьями, на каких-то подобиях матрацев, лежали и сидели, скорчившиеся от боли и холода. Многих из своих знакомых я не мог узнать, так они были обезображены. Так я прошел мимо одного человека с синим лицом и ужасными ранами на голове. Меня остановил за руку другой, здоровый, знакомый мне человек и спросил меня:

— Разве вы не видите, ведь это же адвокат Кардуччи!

— Где?

Он указал мне на человека с синим лицом, сидевшего на земле.

Я опустился рядом с ним на колени и спросил его о семье. Не знаю, понял ли он меня, — он только отвернулся. Мне сказали, что его семья — жена и четырнадцатилетняя дочь, прелестная девочка, — убиты.

Ужасно было положение в первые дни: ни воды, ни перевязочных средств, ни лекарств, ни врачебной помощи... Ничего не хватало на сотни больных. Да и какая могла быть врачебная помощь в эти первые минуты? У каждого врача, при всем горячем желании забыть свое собственное горе — каждый из них потерял кого-либо из своих родных, сам был болен или тяжело ранен...

Выйдя из этого горестного места, я направился на Корсо Гарибальди, место, где жили Арно — мои друзья. Огромный дом оказался разрушенным до основания. Большой двор, бывший в середине дома,

представлял собою груды камней и пыли. Тщетно я искал и звал, надеясь, что услышу какой-нибудь голос и смогу помочь своим друзьям. Пришлось убедиться, что они погибли. Только по прибытии в Неаполь я узнал, что сам Арно и его жена спаслись, погибли три их дочери, девочки 16, 14 и 12 лет. Отца вытащили первым, как мне сказали, и, так как он был ранен, его унесли на перевязочный пункт. Жену его откопали потом — у нее оказались раздробленными ноги. Обоих их доставили в Неаполь на разных судах, причем муж мог двигаться сам и пришел в дом своего друга лейтенанта Бонетти в матросских брюках, в солдатской шинели, рыбацком колпаке и босой. Лейтенант Бонетти после долгих поисков нашел в одном из неаполитанских госпиталей г-жу Арно, принесенную, конечно, на носилках.

Очень многие семьи в эти первые дни полной растерянности и апатии рассеялись по разным местам, и я верю, что еще не один человек найдет впоследствии своих близких.

Мне хочется сказать еще несколько слов о тех ворах и разбойниках, злодейскими подвигами которых так много занимались газеты. Конечно, в эти мрачные дни могли случаться сцены тяжелые, даже отвратительные, но — сколько было психически ненормальных, сколько голодных людей и, конечно, таких, для которых, несомненно, удачными днями поживы должны были казаться эти грозные, для более счастливых людей, дни. Я, в бытность мою лейтенантом дисциплинарного батальона, видел этих людей, называемых преступниками, и, как бывший тюремный начальник, знаю их более, чем кто-либо, — дайте им возможность жить, говорю я, и они покажут себя хорошо.

Рушились тюрьмы, в которых содержалось более трехсот арестантов, мужчин и женщин, многие из них были убиты, раздавлены, погребены под развалинами. Но те, кто спаслись — ведь многим из них нечего было терять — разве не естественно, что они бросились грабить? Это не есть особенность этого землетрясения, всегда и всюду было так, и чем страшнее несчастье, тем крупнее цифра мародеров.



Почему они скорее других опомнились от ужаса и принялись за свое дурное дело? Нельзя скрывать, что вообще бедняки скорее приходили в себя, им немного приходилось оплакивать, да и не так сильно, надо полагать, дорожат они жизнью. И это плохо, очень плохо для всех, если некоторые низко ценят жизнь.

Я лично должен удостоверить, что все попадавшие мне вору, на мой взгляд, отнюдь не были профессиональными, скорее всего это полудикие, голодные пастухи, спустившиеся с окрестных гор. Ведь Мессина снабжала всю окрестность съестными припасами, возможно, что первоначально они пришли вниз просто, чтобы раздобыть себе пищи, и только потом соблазнились легкой добычей.

Я лично позволяю себе думать, что все ужасные рассказы об отрезанных у живых людей пальцах, чтобы украсть кольца, о вырванных у женщин ушах с серьгами — по крайней мере — преувеличены. У мертвых — да, может быть, да и то... не знаю, не знаю!

Не могу не упомянуть о том необычайно радушном, дружески нежном приеме, который мы с семьей встретили здесь, на маленьком Капри.

Когда мы сошли с парохода, отовсюду к нам тянулись руки, люди со слезами обнимали нас, приглашали к себе, каждый спешил хоть чем-нибудь выразить свое участие, многие предлагали свою помощь.

Тот же ласковый прием встретил и других, приехавших из Сицилии. Их разбирали нарасхват, старались доставить им возможность оставаться вместе, так как, естественно, люди теснились друг к другу. На Капри приехал преимущественно небогатый народ, ремесленники, крестьяне — коммуна всем им гарантирует возможность существования; для маленького местечка, с небольшим количеством местных жителей, приехавшие шестьдесят человек составляют не малую жертву, приносимую ими на алтарь братской помощи пострадавшим!»

Странно, о грабежах, даже о «битвах» и «перестрелках» солдат с мародерами, а также о насилиях над

женщинами — более других писали корреспонденты русских газет.

Не знаю, чем это вызвано, но мне кажется, что непреходящий ужас русской жизни играл здесь роль возбудителя фантазии, очевидно, уже в корне пораженной и расшатанной безобразными явлениями той непрерывной социальной катастрофы, которую в России, видимо, привыкли считать нормальной жизнью — видимо, если принять во внимание ничтожность сопротивления общества насилиям над ним.

Может быть, здесь сыграла свою роль и разлагающая психику проповедь садизма, принимаемая русской интеллигенцией тоже без протеста и отпора, но, во всяком случае, гг. представители русской прессы допустили некоторое преувеличение: нагромождая ужасы, они придали им характер массового явления.

Что бывали случаи краж и попытки грабежей, итальянская пресса этого не отрицает, напротив, она очень тщательно регистрировала все такого рода факты. Вот, например, телеграмма газеты «Mattino»:

«В Канителло арестован священник, некий Санто Санторо, который, как мне сообщили, был пойман на грабеже при раскопках. Этот достопочтенный отец был членом комитета граждан для помощи пострадавшим. Это уже второй случай воровства священниками, но о другом подробных сведений не имеем».

Вот один из рассказов на тему о разбойниках, напечатанный в одной из сицилийских газет:

«Баритон оперы в Мессине, спасаясь, накинул на голое тело один из своих театральных плащей, на голову такую же „шляпу с пером“, и в этом виде бросился бежать по улицам. Как раз ему встретились несколько ребят, бежавших из тюрьмы; они приняли его по костюму за разбойника, единогласно избрали его своим предводителем и, с радости, устроили вокруг него веселый танец. Дважды испуганный баритон молчал, боясь отказаться от чести, предложенной ему столь радостно и весело. Но на крики не вовремя развеселившихся людей прибежали матросы с какой-то миноноски и немедленно арестовали шайку. Несчаст-

ный певец едва успел убедить солдат в том, что он не разбойник».

О судьбе его товарищей — газета не упоминает; вероятно, их расстреляли, как это делалось в Сан-Франциско в 1906 г., где каждый, уличенный хотя бы в ничтожной краже, немедленно и без всякого подобия суда расстреливался солдатами на месте — мера отвратительная, но никого не поражающая своим бессмыслием там, где существует дикий и зверский суд Линча.

Когда потерпевших мессинцев и калабрийцев спрашивали, как часто бывали случаи мародерства, они отвечали:

— Часто ли? О нет, синьор, не думаем. Первые дни бежавшие из тюрем начали рыться в мусоре, но их скоро переловили патрули. Люди искали хлеба, вина, масла — чего-нибудь, что можно съесть, это так. Это было. Но, конечно, были такие люди, которые в несчастье этом увидели свое счастье, они были. Пришли с гор. О, синьор, наш народ так беден! Там, под мусором, миллионы денег, масса дорогих вещей и — везде огонь. Он идет, огонь, по обломкам и уничтожает то, что могло бы дать человеку годы и годы безбедной жизни — не так ли? Спасенное от огня не пропадет, пусть спаситель — вор, — я так думаю!

— Мне кажется, — сказал другой, — что о золоте заботились гораздо больше, чем о людях, оттого и говорят про воров, тогда как надо говорить о героях. Воры — разве их меньше среди министров и богатых, чем среди народа?

— Явились разбойники? Да, я видел одного, который работал с солдатами, они не знают его, а я — знаю. Было много войска, и разбойники не могли пройти в город. Собаки были хуже разбойников: отведая мяса людей, они уже не могли есть ничего другого и грызли раненых; тоже и кошки.

— Обижали мародеры женщин?

Сицилианцы удивляются, негодуют, смеются.

— Мы не слыхали об этом! Не думаем, что было возможно. Как могло случиться такое? В первый день — некому. А затем — везде матросы, солдаты. Сицилианку можно взять насильно только мертвой. Ве-

роятно, это выдумали монахи, а может быть, они сами делали такое!

Сестры милосердия не передавали ни одного случая преступлений против женской чести, а их опрошено несколько.

На мой вопрос о возможности случаев насилия над женщинами почтенный профессор Вильгельм Мейер возмущенно ответил:

— Что за дикая фантазия! Разве это возможно в Италии, где народ так здоров и культурен? Не могу себе представить подобных явлений, ни от кого не слышал о них, и не считаю возможными.

Я всё время внимательно просматривал пять больших и наилучше осведомленных газет: «Corriere della sera», «Mattino», «Roma», «Tribuna» и «Avanti!» Просматривал и газеты Сицилии, но не нашел в них ни одного факта насилия над женщинами, несмотря на то, что среди спасенных девушек и женщин были, конечно, истерички, которым не нужно особенного напряжения фантазии для того, чтобы рассказать такого рода истории. Да и вообще — не представляешь себе чудовище, кое было бы способно «срывать цветы удовольствия» среди стонов задавленных людей, молений о помощи, в одуряющем запахе трупов, с неустрашимым риском быть убитым новым обвалом какой-нибудь стены, падением камня. Люди боялись входить в город, рылись на окраинах его и на виду солдат. А внутри города всюду работали матросы, солдаты, сами жители. И надо заметить, что случаи преступлений против женской чести не так часты в Италии, как в других странах.

Не менее странно и даже несколько смешно было читать в русских газетах усердные указания русских корреспондентов на недостаточно умелую и быструю организацию помощи пострадавшим и на промахи итальянской администрации. Для борьбы со стихийными бедствиями, которые в несколько минут уничтожают города, убивают тысячи людей, не создано никаких организаций, — разумеется, государства, в которых подобные бедствия часты, повинны в том, что забывают о них. Стихии — страшнее человека, однако против последнего созданы огромные армии — дорогие

орудия для уничтожения его: вот лишнее доказательство мудрости командующих классов, которые, разжигая борьбу человека с человеком, истощают силы народа и оставляют его беззащитным пред лицом стихий.

Разумеется, итальянская администрация должна была растеряться. Как всякий орган, оторванный от целого организма и враждебный ему, она должна была обнаружить свое бессилие — это трюизм. Где оно, государство, которое дорожило бы жизнью граждан? Стремилось бы как можно лучше вооружить народ в его борьбе с природой? Заботилось бы о расширении знаний массы — знаний, необходимых ей в труде и борьбе? Где существует «администрация, организованная в интересах народа, а не в целях порабощения его»?

Ничего подобного нет и не может быть, пока сам народ не почувствует себя главной силой земли и хозяином ее.

Но — невольно думается: что было бы в России, случись у нас такая катастрофа? И вспоминаешь то, что бывает у нас во дни Ходынок, сызранских пожаров и прочих «событий русской жизни».

А читая русские корреспонденции об несчастных и трогательных днях Мессины, можно было думать, что именно в России существует образцовая бюрократия, всегда стоящая на высоте своих задач, именно русская администрация идеально работоспособна во всех таких случаях, как пожары, уничтожающие целые города, эпидемии, голодовки, сменяющие одна другую, и все те бесчисленные явления нашей жизни, которые делают из нее бесконечную и сплошную социальную катастрофу, постепенно разлагающую страну. Критика итальянских порядков была весьма придирчива, но — вопрос, насколько она тактична и уместна, ибо, усиленно подчеркивая бессилие и неспособность бюрократических организаций, гг. корреспонденты не позаботились в должной мере ярко осветить работу самого народа, удивительные примеры быстроты и силы, с которою создавались организации помощи самим населением. Очевидно, что единодушные похвалы итальянской печати и народа нашим матросам несколько вскружили

головы почтеннейшим представителям русской прессы, сии последние тоже восчувствовали себя героями и умниками, призванными судить и решать в стране, где им следовало бы прежде всего учиться, где можно многое узнать и о чем должно рассказать многое, что для русского общества было бы полезнее, чем страшные истории о насилиях над женщинами, битвах с разбойниками и обличения итальянской администрации в бездеятельности пред лицом образцово деятельной администрации российской — как бы в поощрение и утешение последней.

Едва ли уместны и щедрые похвалы гг. русских корреспондентов по адресу тех русских, которые работали на месте несчастья. Было бы, пожалуй, тактичнее предоставить оценку этой неоспоримо прекрасной и мужественной работы самим итальянцам, что и сделано ими в выражениях, способных удовлетворить самое требовательное честолюбие.

Будь всё это так, у итальянцев не сложилось бы впечатления, что русские матросы интеллигентнее, скромнее и тактичнее гг. русских корреспондентов.

Как писались корреспонденции — примером служат следующие строки: «В Реджио погиб депутат Дмитрий Триппени, погиб в страшных муках, раздавленный обломками, но агонизировавший несколько часов. Его последние часы были вдвойне трагическими. Какой-то грабитель потребовал у него отдать, что было. „Я Дмитрий Триппени, — отвечал умирающий, — я отдам тебе всё, что у меня останется; оставь меня, я еще могу выздороветь, еще имеются живые люди ведь...“ Нам сообщали об этом очевидцы, и коллега англичанин рыдал, слушая этот рассказ. Грабитель ударил депутата по голове и бросился бежать. Через несколько часов Триппени умер».

Обращаю внимание читателя на этот рассказ; опираясь на подобные показания «очевидцев», корреспондент говорит:

«Грабители убивали и силою похищали. В моей записной книжке сотни рассказов очевидцев. Приводить их — дело трудное: надо бы написать огромную книгу и озаглавить ее — „Ад“...»

Но посмотрите, какой странный грабитель: он подходит к раздавленному, умирающему человеку и «требуем у него отдать, что было». А что же, собственно, могло быть у депутата, лежавшего под обломками, вероятно, в ночном костюме? Потребовал, ударил раненого по голове и — убежал.

Не больной ли этот грабитель? И какую роль играли в этом загадочном случае «очевидцы»?

На основании таких бессвязных и не очень умело изложенных корреспондентом показаний очевидцев, корреспондент бросает позорную тень на целый народ, рисуя его зверем, чудовищем и совершенно забывая о многовековой культуре, которая не могла не отразиться в душе этого народа.

За последние годы гг. русские литераторы обнаружили скверную тенденцию прикрывать кровь народа слоями грязи, и грязь эту они черпают преимущественно в темных ямах фантазии своей.

Вообще русская интеллигенция быстро утрачивает лучшее, что у нее было, — свой когда-то творческий и украшавший ее демократизм. Делается это сознательно — из желания угодить тем, кто стремится разрушить идеи демократизма, торопясь устроить жалкое свое житышко в западноевропейском стиле, или — по легкомыслию — всё равно: мода постыдная.

И скоро она — пройдет: как тогда посмотрят гасители правды в суровое лицо ее?

### III

Степень культурности народа измеряется количеством мысли, кристаллизованной им в труде, искусстве и науке, высотой чувства собственного достоинства каждой личности и глубиной сознания своей связи с народом — чуткостью единицы к жизни целого.

Измеряя народ Италии этой строгою и требовательной мерой, всякий, кто наблюдал благородный дух итальянского народа в моменты его возбуждения, в те дни и годы, когда психика прекрасного организма, полного действенной и яркой крови, творила жизнь коллек-

тивно, — всякий, видевший и знающий это, почтительно назовет итальянцев воистину культурным народом.

Через полчаса после известия о бедствии синдик Неаполя распорядился о снаряжении частных пароходов и тотчас же принялся за организацию сбора денег, платья, пищи.

Город откликнулся на его призыв, как одна душа: это бедный город, но в течение первых двух суток он собрал 500 тысяч лир; давали буквально все: во дни таких несчастий копейка нищего имеет цену тысяч богача, ибо она с невероятною силою возбуждает в людях прекрасное стремление давать. Но в тот день пали социальные перегородки, разъединяющие людей, не было более богатых, бедных, — явился объединенный общим горем великий народ.

Он вышел на улицы в этот враждебный югу дождливый и холодный день, и немедленно всюду явились ораторы, они встали на площадях и перекрестках улиц, к их ногам полетели отовсюду пиджаки, фуфайки, брюки, сапоги, люди торопливо раздевались на улице, сбрасывая с тела своего всё, что можно сбросить, чтобы не стать смешным. В шляпы ораторов-сборщиков падали деньги, кольца, серьги, часы, булавки галстуков — всё это в день горя стало лишним и оскорбляло глаза своим блеском.

Собирали даяния студенты и буржуа, собирали солдаты, женщины, офицеры — все они отличались друг от друга только платьем, во всех грудях билось одно сердце.

Часть студентов под руководством врачей и профессоров немедленно формировались в санитарные отряды, все остальные — взяли на себя службу носильщиков-факино, они упаковывали груды пожертвованного платья, хлеба, отовсюду снося в порт тюки.

Из порта уже выходили пароходы, нагруженные платьем и хлебом. В первую же очередь было отправлено, по распоряжению Джиолитти, 50 тысяч солдатских порций, 800 сапер и 20 тысяч лир от имени правительства в распоряжение префекта Катании. На пароходе «Иона» отправились отряды Красного Креста, 20 делегатов «Общественной безопасности», инженеры,



добровольцы-рабочие всех классов и среди них русские студенты Неаполитанского университета.

Тотчас же были мобилизованы семь больших судов флота и отдан приказ летучей дивизии миноносек — идти в пострадавшие местности, а всем судам Неаполитанского порта стоять под парами. Отправлены на место несчастья все суда-цистерны и пароход «Лигурия» с аппаратом Маркони — восстановить прерванное телеграфное сообщение.

Пароходы грузились добровольцами из народа; зажиточные люди, интеллигенты, солдаты легко и свободно подчинялись в работе указаниям профессионалов-грузчиков порта; общее воодушевление, охватившее всех, сказочно быстро создавало умные и стройные организации, и работа шла музыкально красиво, с поражающей продуктивностью.

Эта стройная и умная работа кипела всюду, изменив старое, злое и черствое лицо жизни на новое и прекрасное, пылающее могучею силою духовного слияния всех в одном порыве — на помощь братьям.

Весь Неаполь превратился в госпиталь, способный принять десятки тысяч больных и раненых, немедленно были открыты его бесчисленные церкви и королевский дворец, из квартир сносили в них кровати, койки, столы, посуду, постели, постельное белье, вино — по всем улицам бежали сотни людей, нагруженные узлами, мебелью, бариллами с вином, корзинами хлеба.

Частные больницы заявили синдикату о своей готовности отдать для пострадавших все свободные койки, и в первые двое суток организовались по инициативе публики тридцать новых госпиталей в частных домах.

Клуб автомобилистов отдал все свои автомобили под перевозку раненых из порта в больницы; так же поступили собственники конных экипажей, и можно было видеть по улицам города богатые ландо, наполненные рабочими, автомобили, нагруженные узлами, солдат в каретах.

Знаменитый неаполитанский терапевт Каstellини становится во главе одного из медицинских отрядов

и едет в Мессину, отдавая в распоряжение города свою клинику.

Были случаи сбора денег среди арестантов, сидящих в тюрьмах за уголовные преступления; люди отдавали свои последние гроши, заработанные подневольным трудом, или отказываясь от своего дневного пайка и коллективно жертвуя его в пользу пострадавших.

Давали все: солдаты, рабочие, нищие — собранную милостыню, — были дни, когда вся Италия горела яркою радугю лучших человеческих чувств, возбуждая картиною своего единения веру в добрый разум людей, вдруг как бы освободившийся из тьмы социальных противоречий.

На вокзале и в порту — группы сицилианцев и калабрийцев, возвращающихся на родину, и надо видеть, как сердечно и трогательно провожает их Неаполь.

Особенно ярко вспыхнул и разгорелся в эти темные и ненастные дни глубокий, благородный демократизм Италии. Герцог Аостский, двоюродный брат короля, член «Центрального комитета помощи», целые дни на шумных улицах Неаполя, герцогиня занята устройством приюта для спасшихся и раненых. Они оба на улице среди граждан, их свита в эти дни ежеминутно меняется — здесь около них солдаты, там толпа студентов, тут носильщики. Никто не удивляется, видя герцогиню жестикулирующей на тротуаре, под дождем, в группе полураздетых, забрызганных грязью людей, никого не удивляет, что все говорят с нею свободно, без глупейших внешних знаков почтения, но глубокое уважение к женщине не нарушается ни словом, ни жестом.

Людам некогда пойти домой, чтобы пообедать, на улицах собираются маленькие группы и торопливо едят. Буржуа, солдат, рабочий и студент пьют вино из горлышка одной и той же бутылки, передавая ее от уст к устам. Живой темперамент Неаполя дает себя знать: всюду крики, споры, громкий говор, все с горячим нетерпением смотрят в море, ожидая судов с пострадавшими.

Первое судно, прибывшее в Неаполь, — наша «Слава», — воистину команда этого судна оправдала его имя, как о том единодушно и горячо свидетельствует

пресса всей Италии. Воистину моряки нашей эскадры героически работали в эти дни горя Италии. Отрадно говорить об их подвигах, и да будет знаменательным и вещим для эскадры это первое ее боевое крещение, полученное ею не в страшном и позорном деле борьбы человека с человеком, а в деле братской помощи людям, в борьбе против стихии, одинаково враждебной всему человечеству.

На «Славе» прибыли женщины и дети. Матросы сходили на берег, неся на руках ребят и женщин. О подвигах матросов уже знали в Неаполе, и Неаполь встретил русских восторженными рукоплесканиями.

— Да здравствуют русские моряки! Да здравствует Россия! — гремел город.

Неаполитанцы, рыдая, обнимали и целовали моряков; кто-то из русских сказал по-итальянски:

— Вы помогли нам в Чемульпо, мы вам в Мессине. Все люди должны помогать друг другу, все люди братья!

Это вызвало общий восторг экспансивного Неаполя. Рассказывалось о матросе, который, передавая в толпу снесенного им с борта ребенка, завязал в уголок своего платка, которым был закутан ребенок, русскую золотую монету; нашлись люди, пожелавшие сейчас же купить эту монету, и на глазах у моряка ценность этой лепты его в пользу сироты возросла в десять раз. Писали об офицере, который во время двадцатичетырехчасового перехода кормил грудного ребенка с пальца сахарной водой, так как ребенок не принимал искусственного молока, — и нельзя исчислить всех восторженных отзывов милого народа, который умеет так высоко ценить всё воистину человеческое.

Одно за другим в порт Неаполя входили суда с пострадавшими; началась горячая перевозка раненых: ее исполняли берсальеры — легкая итальянская пехота, рекрутируемая по преимуществу из Пьемонта и других провинций Севера. Это удивительно красивые, ловкие и картинные люди, берсальеры, и работали они до самозабвения. Несмотря на резкий холод и дождь, они сбрасывали с себя плащи и куртки, укрывая ими раненых и оставаясь в одних рубашках, с поражающей быстротой и ловкостью, осторожно и нежно носили

и укладывали изувеченных людей в экипажи, автомобили и омнибусы.

С ними вместе работали мальчишки колледжей и средних школ; устроив себе самодельные носилки, они носили детей, легкораненых. Нужно видеть, как ловко, просто и красиво делалось всё это, чтобы навсегда полюбить народ Италии неугасимую любовью!

Сколько трогательных сцен! Бедняки со слезами просят дать им сирот на воспитание.

Одна крестьянка в Торре дель Греко, местечке близ Неаполя, когда туда привезли партию пострадавших из Мессины, схватила на руки двух сирот, обхватила руками какого-то старика и, обнимая, плачет.

— Зачем я пережил всех своих, дочь моя? — говорит старик. — Зачем?

Она громко отвечает:

— Ты будешь моим отцом, эти дети — твоими детьми! Будем все братьями — и с нами тоже бог жесток, с нами, живущими около Везувия! Будем помогать друг другу!

Сирот утешают, кричат им:

— Вы будете детьми города, который не менее красив, чем Мессина!

Отовсюду несутся крики:

— Бодрее! Горе лечит дружба! Бодрее!

И по всем улицам тянутся процессии носилок, медленно едут автомобили и кареты, развозя раненых по церквам, во дворец, в госпитали.

Вид окровавленных, изувеченных, полуодетых людей, дрожащие молчаливые дети, испуганные, раздетые женщины с неподвижными глазами — всё это еще более зажигает сердца, — сборы денег и вещей усиливаются, звучит призыв:

— Неаполитанцы, на помощь Калабрии и Сицилии!

Гневно потрясая кулаками, какие-то ораторы громят правительство за медленность его действий, церковь — за то, что ее молитвы не доходят до небес, бога — за его равнодушие к людям, самую смерть — за страшные игры ее с жизнью.

Русские слушают нападки на правительство с недоумевающей улыбкой: они знают, что военный министр

распорядился отправить на родину всех солдат, уроженцев Калабрии и Сицилии.— Разве это возможно у нас? — думается им.

Перед ними энергично разворачивается ничем и никем не стесняемая инициатива граждан — они невольно вспоминают мудрые распоряжения родных властей в те дни, когда хроническое недоедание русского мужика превращается в острый голод и голодный тиф выкашивает десятки и сотни людей, а те, кто хотел бы помочь умирающему народу, не имеют права подать ему руку помощи.

Их удивляет взаимоотношение граждан и членов королевской семьи, проникнутое взаимным уважением, чувством собственного достоинства — и воображение россиянина рисует ему грозные фигуры отечественных урядников, станowych, околоточных, исправников, полицейских приставов и иных властей, им же несть числа.

Странно видеть русскому человеку, как постовой полицейский офицер, исполняя требование граждан, одинаково с ними принимает горячее участие в общей работе, не щадя ни сил, ни красивого мундира, уже забрызганного грязью до воротника.

Непривычно русскому это полное устранение с улиц города командующих жизнью людей, устранение, которому командиры подчиняются вполне свободно, не видя в этом ни нарушения своих прав, ни нарушения порядка.

Исключительные условия? Нет. То же самое происходит на всех праздниках, когда полумиллионное население выходит на улицы и живет на них как хочет; в эти дни веселого безумия охранители внешнего порядка так же отходят в сторону, передавая свою власть в руки граждан.

Конечно, если празднует рабочий народ, отношение властей несколько иное.

Да, странно и до боли завидно наблюдать эту яркую, свободную, прекрасную жизнь экспансивного и сердечного народа.

В похвалах, которые расточались русским матросам, итальянские газеты, кажется, допустили даже некоторые преувеличения, в явный ущерб справедли-

вности по отношению к морякам других наций, а главным образом по отношению к самим себе.

Указывалось с гневом на недостаточную подготовленность судов флота к помощи, на неполный состав команд на судах, на малое количество провианта и воды, но потом вспомнили, что несчастье разразилось на праздниках, а по обычаю, принятому во флоте Италии, матросы уходят встречать и проводить праздники в своих семьях. Делается это в две смены: сначала отпускают одну часть экипажа, а когда она вернется — уходит другая. Катастрофа застала на судах неполные команды, но, несмотря на это, летучий отряд немедленно отправился на место, быстро сделал переход, тотчас же, не щадя сил, взялся за опасную работу. И эта горячая самокритика так же характерна для страны, как и быстро сознанная несправедливость критики в данном случае: то и другое говорит о действительной культуре народа, о действительной свободе его живого духа.

С той же энергией, как Неаполь, так же дружно бросилась на помощь Калабрии и Сицилии вся страна, все ее города, от Рима до маленькой коммуны Капри и от Милана до глухой горной деревни Альп. Милан собрал в 24 часа  $\frac{1}{2}$  миллиона лир; газета «*Corriere della sera*» — около миллиона.

В Риме был устроен «Плебисцит горя». Огромная, быстро сложившаяся организация граждан выставила на площадях столики с подписными листами, простые деревянные ящики из-под разных товаров для сбора денег: целый день у столиков сменялась толпа и несла свою лепту. Листы покрылись десятками тысяч подписей, на них рядом с известными всей стране именами и каллиграфически выведенными подписями — каракули простонародья, дрожащие буквы стариков, неуверенные подписи детей. Женщины в роскошных туалетах и простые крестьянки поднимают ребят, чтобы они могли положить в ящик деньги. Вот подходит старуха и кладет монету в две лиры. Отходит. Ей кричат:

— Матушка, надо подписать имя!

Она отмахивается рукой, плачет и уходит со словами:

— Было бы больше — всё бы отдала. А что писать? Пусть каждый отдает всё — вот что надобно писать!

С серьезным лицом подходит какой-то детеныш, в сопровождении няньки, и высыпает из копилки всё, что в ней было, — даже карабинер не выдерживает, нагибается и целует его.

На площади Испании продает цветы «чочара» натурщица, в костюме крестьянки Кампаньи. Какая-то богато одетая иностранка платит ей — видимо щедро, — девушка немедленно бежит и кладет свою лепту в ближайшую урну.

Большинство римских школ, вместе с учителями и учительницами, записаны на листах. Ученики народной школы улицы Тибуртино явились в полном составе во главе с директрисой, в количестве около шестисот человек, и торжественно положили в ящик подаренные им на праздник деньги.

Во многих секциях рабочие после того, как давали деньги, спрашивали: что надо сделать, чтобы получить на воспитание кого-нибудь из осиротевших детей? Им отвечали:

— Только заявить ваше желание, дать имя и фамилию.

И они заявляли.

На площади Рустикуччи один молодой рабочий задает тот же вопрос; ему отвечают.

— Так вот я хотел бы взять.

— Вы каких лет хотите взять ребенка?

— Да всё равно! Только чтобы от груди был отученный. У меня ведь нет этого аппарата.

Ему обещают. Рабочий добавляет еще две лиры из того же кошелька, с довольным лицом кладя их в урну, и уходит.

На площади Магдалины огромная толпа народа — рабочих и простонародья.

В ящики дождем льются медяки и мелкие серебряные монеты.

На Пинчио, благодаря ясной, хотя и холодной, погоде и воскресному дню, собралась многочисленная толпа. И здесь, как всюду, «Плебисцит горя» выставил свои столики и урны, около каждого — наполовину

спущенные флаги — национальный и флаг города Рима. При входе во все аллеи, у всех ворот стояли эти столики. Как и всюду, у столов члены комитета, мужчины и дамы, карабинеры и муниципальная гвардия. Студенты университета, после того как, собравшись во дворе университета, внесли деньги, рассеялись по городу и ходили в толпе, раздавая листки с воззванием, убеждая и приглашая публику подходить к столикам, записываться и вносить деньги.

Повсюду на стенах города расклеены плакаты различных организаций, предлагающих публике свои услуги.

Клуб циклистов указывает, что в таких-то и таких-то пунктах города будут дежурить его члены, готовые исполнять поручения публики, направленные на дело помощи. Извещается, где принимаются пожертвования одеждою и пищевыми продуктами, в чем наибольшая нужда, куда надо идти, чтобы записываться рабочими на раскопки, и тут же вывешены условия, которые должны соблюдаться желающими взять на воспитание сирот.

По улицам города ездят военные фургоны, солдаты, сопровождая их, трубят в трубы, из домов выбегают люди и забрасывают фургоны мужским и женским платьем, бельем, выносят съестные припасы, бутылки вина и масла.

Быстрота, с которою придуманы, разработаны и расклеены все эти правила и указания, облегчающие работу массы людей, единодушие и оживление народа производят впечатление сказочное, изумляющее в такой степени, что гнетущее душу впечатление трагедии, разрушения и смерти невольно тает, исчезает при виде этой могучей картины жизни, полной в сей день глубоким чувством братского единения всех со всеми, жизни, которая образно и ярко говорит о возможности в будущем великих дней, годов и веков соединенного дружного строительства новых форм бытия, о возможности единодушной, упорной и победоносной борьбы всего человечества против главного и сильнейшего врага — стихии.

И, очевидно, это не только мое субъективное впечат-



ление, ибо вот что говорит «Messagero» в передовой статье номера от 5-го января «Объединенные горем»: «Все равны пред горем!

Оглянитесь кругом... Плебисцит человеческого братства в едином порыве утешающей доброты и горячего милосердия объединился, объединил весь мир, всё человечество, известное нам!

Короли, социалисты, императоры, республиканцы, папа, президенты республик, генералы, епископы, масоны и священники, матросы, солдаты, монархисты, богатые, бедные... словом, люди всех положений и всех цветов,— всё это разнообразие, которое всегда существует в мире, рушилось; перестали существовать различия каст и партий, вчера еще существовавшие и воздвигавшие непереступаемые границы,— всё это смешалось и растаяло в великом деле сострадания и долга. Начинает казаться, что трепет братского чувства людей проникает даже неодушевленные предметы. Посмотрите на эти броненосцы, эти идеальные чудовища, созданные для дела гибели и разрушения, одним видом своим они созданы внушать мысль о тех бедствиях и страданиях, которые способны извергнуть на людей, и вот — они превращены в послушные и быстрые орудия спасения и поддержки, объединившись под единым знаменем человечности.

А несгораемые кассы банков и богачей, всегда наглухо запертые, ревниво охраняющие кровь жил своих, слепые и глухие к стонам обыденного горя,— посмотрите, как широко раскрылись они, и золото льется обильным ручьем, чтобы утолить страшное народное горе.

Рядом с значительными суммами бесчисленные медяки бедных текут обильно из карманов тех, кто, может быть, этим лишает самого себя возможности пообедать завтра, кто не знает, что будет есть сегодня.

Командир одной из миноносок телеграфировал о том, что землетрясение изменило очертание берега местностей, пораженных им. Мы скажем, что оно изменило самые очертания страны нашей. Где она ныне, эта граница? Разве не вся Европа, не весь мир стал ныне единой Италией? Так горячо и искренне сочувствие

каждого из народов земли, так сильно братское стремление слиться в порыве милосердия. Как стали одиноки, жалки в настоящий момент голоса всех этих Эренталей и Титтони пред могучим и надежным чувством человечности, которое пробуждается и напоминает нам, что, помимо всех национальных розней, сердца людей бьются чувством братства и что земля была бы раем, полным любви, если бы души народов всегда могли заглушать своим мощным голосом — голоса дипломатии.

Этот момент в трагическом величии своем не может длиться долго, потому что он слишком прекрасен; мир снова примет свой обычный вид — суровый и грозный, — снова восторжествуют хищнические тенденции. Но это мгновение светлой зари, то самое, которое остановиться призывал Фауст, мы сохраним в памяти своей, как дивный весенний цветок возможного братства, как предутреннюю грезу о заре лучших дней, таких, увы, от нас далеких».

Редактор «Nuova Antologia» Джюванни Чена, автор переведенного на русский язык романа «Обреченные», пишет в своей брошюре о Мессинско-Калабрийском землетрясении:

«Слова являются выразителями опыта, а мы в настоящий момент переживаем период нового опыта, приобретенного человечеством.

В эти ужасные дни тоски, охватившей всех нас, итальянцев, при виде страданий пораженных горем, потрясенных катастрофой, еще, кажется, невиданной миром, особенно ярко почувствовали мы свое единение. В страстном желании помочь возникло единство воли, направленной к одной цели».

Почти все газеты поместили статьи такого тона, и они чутко и верно воспроизвели преобладающее настроение страны. Вот отрывок беседы, свидетелем которой был один мой близкий знакомый. В ресторане спешно завтракает группа интеллигентов, и один из них, отбрасывая газету, говорит:

— Вы замечаете, начали писать о равенстве людей и какими новыми словами!

— Да! — соглашается старик. — Несчастье заста-

вило людей думать. Произошло что-то огромное, кажется мне. Вероятно, вот так чувствовали себя французы в 89 году. Я стар для того, чтобы оценивать слова выше того, сколько они стоят, и — вы знаете — я не умею, не могу петь дифирамбы. Но, господа, на моем веку я не переживал таких дней. Смотрите, как ведет себя наш король! Республиканец, я говорю: этот человек — достойный сын Италии и прекрасный гражданин.

Третий, улыбаясь, рассказывает:

— Сегодня утром я видел королеву в больнице. Плачет мальчик; она спрашивает его: «О чем ты?» — «Да у меня же пропали там, в Реджио, все мои игрушки». — «О, я тебе сделаю их!» — говорит она и, садясь на койку, выстригает ножницами фигурки из бумаги.

— Сколько таланта, сколько душевного блеска сметено с лица земли в несколько минут! — вздыхая, замечает первый.

— Наши аристократы, — продолжает старик, — тоже красиво ведут себя, это скажешь невольно.

Со стороны вмешивается какой-то человек со спокойным лицом:

— Извините! Вами было упомянуто о революции 89 года; дни, переживаемые нами, я ставлю выше по их значению; они указывают всем людям одного врага...

— Это на несколько дней, единодушие, подъем социального инстинкта, всё это завтра пройдет, господа!

Разговор становится общим, бурным.

— Ничто не проходит, не оставляя следов в живой душе человека, ничто!

— Не мечтать, но работать!

— Мы должны запомнить эти дни!

— Забыть, забыть скорее!

— Навсегда запомнить!

И из среды группы раздается нервный, горячий голос:

— Пора признать страшную опасность разъединения, надо же подумать, что ведь мы не знаем друг друга, не знаем, какие силы ума и сердца хранит в себе голодный уличный мальчишка — чистильщик сапог. Дорогу людям, говорю я...

— Bravo!

— Дорогу людям! Долой всё, что мешает им жить, — все неравенства, привилегии! Забыли вы, что величайшие гении наши — люди низшего класса? Не о революции 89 года мы должны говорить, а — о другой, той, которая будет, охватит весь мир, весь! И ради нее надо жить, для нее работать, ей встречу идти — вот дорога великих радостей!

Разговоры такого тона и сцены, рисующие общее возбуждение мысли, не исключительны, они везде, они охватывают всех.

И они как нельзя более естественны: раздался сокрушающий жизнь и великие труды людей подземный грозный удар, вызвал панику, ужас, овеял людей холодной тоскою одиночества, осветил всю жизнь новым трагическим светом, люди увидели свою беззащитность, слабость своих сил и — бросились друг к другу возбужденные, на минуты забывая о социальных пропастях, глубоко вырытых между ними исторической необходимостью, о пропастях, которые так печально, безобразно и пагубно разъединяют их.

Десятки тысяч людей превращены в трупы, десятки тысяч дружно и сразу воззвали о помощи; пред глазами всего народа встали тысячи окровавленных, изувеченных, сотни и сотни осиротелых детей. Человек испугался, почувствовал в ближнем своего брата и друга, бросился на помощь ему и воистину — братски помог.

При этом невольно вспоминается, что ведь и до несчастья в Сицилии и Калабрии жизнь миллионов людей — непрерывное несчастье, дни их — вместелища горя и злобы, что в этот день эта страшная жизнь — не изменилась в существе своем, что она идет и будет идти так же мучительно, так же унижительно для человека, как шла и до 28-го декабря.

Об этом непрерывном несчастье всего мира вспомнили и торопливо заговорили о позоре людей, вооруженных божественным разумом, но живущих зверскою жизнью вражды и злобы, всё более и более растущей в мире, в том мире, который якобы исповедует заповеди любви и братства.

Многие, видимо, почувствовали, что будничная жизнь и так называемый существующий строй общества

есть медленная и грандиозная катастрофа, которая, изнуряя людей в безумном неосмысленном труде, сеет в человечестве болезни духа и тела, грозит ему вырождением, всё более быстрым, грабит, искажает душу человека, делая его уродом и духовно нищим.

Людей схватили за сердце большие требовательные мысли, великие, творческие чувства проснулись в них.

Надолго ли?

Увидим. Но уже теперь можно сказать, что многие и многие из молодых и сильных духом не пойдут далее по путям старым, но встанут на путь, ведущий к слиянию всех людей в единую творческую силу.

— Возвратитесь к богу! — зовут священники.

— Вперед, к народу! — назревает в стране новый великий призыв, увлекающая сердца к равенству, справедливости и любви. И чувствуешь в этом взрыве, как много сил в прекрасной стране, и веришь, что она накануне нового «Возрождения».

А в какой степени мощно сжато новым настроением сердце Италии, об этом красноречиво говорит приводимый ниже факт.

Австрийская военная газета «Armée Zeitung» поместила на своих страницах циничную статью; вот выдержки из нее:

«Пробил час. Война неизбежна. Никогда еще не было более справедливой войны, все принуждают к ней: Россия, которая торопится организовать противоавстрийскую балканскую конференцию; Италия, которая тайно лихорадочно готовится к длинным морским переходам; Сербия, оскорбляющая нас; Турция, будирующая нашего посланника».

Затем статья специально занимается Италией.

*«Австрия должна воспользоваться великим несчастьем Италии, которое парализует ее силы на многие месяцы, лишив страну сотен и тысяч человеческих жизней и уничтожив на миллиарды национального имущества. С точки зрения человечности эта катастрофа вызывает чувство сострадания, искреннего и глубокого, но политика — жестокое ремесло, и мы должны холодно извлечь свою долю пользы из Мессинского землетрясения, как из выгодного для нас обстоя-*

*тельства. Пять лет тому назад мы были достаточно наивны, чтобы уважать несчастья русских на крайнем востоке. Теперь мы вылечились от этого великодушия и не будем откладывать сведение счетов с Италией даже и в период ее национального горя».*

Статья заключается словами:

«К императору взываем!»

В таком же диком тоне писали и еще некоторые газеты союзной Италии «культурной страны». Эти позорные выходки в другие дни, вероятно, вызвали бы справедливый гнев, негодование и заслуженную отповедь итальянцев, но теперь их отметили молчаливым презрением да двумя-тремя насмешками.

Сопоставляя всё то, что думалось, говорилось и писалось Италией во дни ее страшного горя, с голосами «людей XX века», доносившимися в эти дни из страны «великого Меттерниха» в страну, родившую человечеству столько рыцарей духа и великих художников, ясно видишь ту трясиину культурного одичания, в которую постепенно и неуклонно погрязает класс людей, живущих в непрерывных судорогах жадности и чело-веконенавистничества.

Стихийное бедствие заставило вздрогнуть всё человечество, грозно указав ему, как мало сделано им для того, чтобы обеспечить себя от ужасных взрывов непознанных им сил природы.

Поразительно ярко освещено наше одиночество во вселенной, раздались разумные призывы к единению, заговорили о необходимости вовлечь всю массу людей в круг культуры, вооружить каждого всем опытом человечества, накопленным за века его борьбы с природой.

И вдруг слышишь эти звериные голоса:

— Бей! Бей итальянцев, пока они еще не оправились от удара судьбы!

Не позорно ли?

#### IV

Первую помощь пострадавшим подали команды отряда миноносцев, который стоял в порту Мессины, граждане Катании, прибывшие на пароходе «Вашинг-

тон», и русская эскадра. Она крейсировала неподалеку от берегов Сицилии. Разделясь на небольшие отряды, наши моряки, не обращая внимания на ежеминутные обвалы всё еще падавших зданий и новые, хотя слабые толчки, сотрясавшие землю, храбро лазили по грудам мусора и кричали:

— Эй, синьор, синьор!

И если в ответ им раздавался стон или крик, они принимались за работу, покрикивая выученные слова:

— Subito! Corragio! <sup>1</sup>

Вскоре были вырыты две девочки; они сидели под кроватью, играя в пуговицы, а все их родные были задавлены насмерть.

Матросы с «Макарова» увидели в развалинах женщину: почти обнаженная, она сидела среди обломков, держа в руках оторванную от туловища детскую голову, прижимала ее к груди своей и напевала какую-то грустную песенку. Хотели взять у нее эту голову и отвести женщину куда-нибудь в более безопасное место, она пришла в бешенство, стала драться, кусаться, кричать. Когда от нее уходили, она успокаивалась, снова качала голову и пела. Матросы позвали итальянцев, и те сказали, что женщина эта — жена офицера, считалась одной из первых красавиц Мессины, а в руках у нее — голова сына, мальчика Уго, она поет колыбельную песню и говорит:

— Ты спишь, Уго? Что ты молчишь, мой сын? Не бойся, крошка, всё кончилось уже, не надо бояться!

Вся семья этой женщины убита.

Лил дождь, было холодно, на площадях жались раненые, не имея ни хлеба, ни воды. Те из уцелевших, кто мог работать, присоединились к морякам, указывая, где под развалинами живые, вызывая криками ответы засыпанных. Помощь, в лице здоровых, вооруженных кирками и лопатами, отчаянно смелых людей, вдохновила тех, кто пережил катастрофу, и даже легкораненые начали работать с бешеной энергией, как говорят об этом сами они, а матросы подтверждают их слова.

---

<sup>1</sup> Сейчас! Держитесь! (*Итал.*).

Страшную картину представлял разрушенный город: всё еще вздрагивали развалины, падали и, погребая живых и мертвых, вызывали у раненых на площадях панический ужас, дикие крики.

Горит разрушенное здание муниципалитета. Его фасад почти цел, а внутри здания — крошево дерева и камня. Из окон вырываются, торжествуя, снопы пламени. Из-под развалин несутся неистовые вопли о помощи, но помочь нет возможности: обломки здания обнимает огонь, они рушатся, и нельзя подойти к ним, не теряя жизнь, столь необходимую для спасения сотен и тысяч людей, чьи крики несутся отовсюду. В муниципии сгорает весь архив ее, а также имеющий огромную научную ценность старый архив времен испанского главенства.

Вот что писал житель Катании:

«Если бы я сам не был в Мессине, я не смог бы, наверное, представить себе, каким страшным ударом поражена была дорогая сестра наша — Мессина. Выехал я в ночь 28-го с вспомогательным отрядом кружка Вашего имени, а также членами камеры труда. В Мессину мы прибыли в 11 часов утра 29-го.

Тяжел был наш переход, тяжело было смотреть на воду: плывет труп молодой белокурой женщины, а рядом с нею несутся по воде тысячи обломков мебели, разбитые лодки, плавающие на поверхности воды, а там, вдали, Мессина, объята пламенем. Всех на пароходе охватила тревога, страстное желание скорее прийти на помощь.

Погода была ужасная, по небу тянулись густые черные облака, как бы одевая его глубоким трауром. В 10 с половиною часов наш пароход „Вашингтон“ вошел в порт. Пока капитан энергично отдавал приказания команде, мы собрались на носу парохода и с ужасом смотрели на то, чего не может представить себе никакая человеческая фантазия.

Разрушенная муниципия охвачена огнем, набережная опустилась и находится под водой, отовсюду к ней стекается шествие мужчин и женщин, голых и полуголых, с поднятыми кверху руками, с воплями, и всё время гудят сирены на судах русских моряков, подавая



непонятные нам сигналы. После многих затруднений мы, на лодке, достигли берега.

Целые толпы обезумевших, оглушенных людей, с глазами, вылезавшими из орбит, женщины, одетые в мужское платье, мужчины в юбках, священники в военных фуражках — обнимали и целовали нас.

Из их обнаженных грудей, покрытых ранами, рвался крик:

— Хотим хлеба!

Наш отряд отправился на работу вместе с другим, под предводительством депутата Карнацци, в котором была наша знать: князь ди Ребурдоне, кавалер Пьетро Масса, адвокат Карло Карацци и адвокат П. Киаренци.

Так же, как и мы, они несли с собой пищу и медикаменты.

Мы видим — среди обломков — ужасный труп женщины лет сорока, с лиловым израненным телом. Повсюду слышатся стоны, крики боли, мольбы о помощи; казалось, что всё это поднимается из самых недр земли.

У нас не было ни шестов, ни каких-либо других орудий, чтобы начать раскопку.

Часто нельзя было трогать развалины из опасения, что они, рухнув, всей тяжестью своею придавят еще крепче заживо под ними погребенных, моливших о помощи.

Один депутат указал господина, искавшего людей, чтобы спасти свою семью.

Тотчас поспешив на помощь, мы увидели, что дом его весь разрушен и осталась только часть фасада, ворота и развалины великолепной лестницы.

Прерывающимся от слез голосом он кричал:

— Мария! Джузеппина!

Но никто не отвечал несчастному отцу, даже стонов не было слышно.

Через несколько минут слышались револьверные выстрелы и крики:

— Спасайтесь, спасайтесь!

И — обрушился кусок стены от сильного подземного толчка.

В это время меня позвал человек, он кричал: „Спасите ее, спасите!“ Вместе с двумя солдатами я отправился на улицу св. Мартина, и нам удалось спасти жену этого человека, оказавшегося контролером Итальянского банка.

Со всех сторон просили о помощи. На каждом шагу лежали мертвые, массы раненых; улицы стали неузнаваемы, да и не существовало их больше, вместо них стояли остатки домов и горы обломков.

Когда я шел по улице Милле, я заметил, как один грабитель пытался сломать ящик; я прицелился в него из револьвера, приказывая ему бросить банковые билеты, которые он уже держал в руке. В ответ мне он стал что-то бормотать, грозя ножом, но тут показались артиллерийские солдаты, схватили его и увели.

Когда его вели солдаты, все встречающиеся плевали на него, а жители хотели убить этого жалкого человека.

Только когда мне удалось пригласить с собою двух русских моряков, стала продуктивнее моя работа.

О, эти русские, какой героизм!

Среди этих моряков я видел много контуженных, раненых, продолжавших работать, рискуя своею жизнью при каждом случае спасения. Они взбирались на такие места, где, казалось, смерть несомненно угрожала им, но они побеждали — и спасали людей.

Я снова вернулся на улицу Милле с русскими матросами, — нас умоляла идти туда молоденькая девушка; с большими усилиями нам удалось спасти там двух людей.

На русских судах раздались призывные свистки, и славные русские матросы, распроцавшись со мной, возвратились на борт. Тут я остался всего с одним товарищем. Идя далее, мы услышали под обломками голоса — зывали о помощи — и мы принялись за спасение, но в руках у нас были только обломки железных перил.

Не приняв в расчет, что я нахожусь на тростниковой крыше, через несколько минут я провалился, ударившись о большую балку. Меня тут же вытащили, но нога оказалась вывихнутой и сильно ушибленной. Тут мы спасли еще одну женщину лет тридцати.

Всё время дождь лил, как из ведра, и густая тьма наступающей ночи опустилась на место смерти и страданий. Продолжать раскопки стало очень трудно, почти невозможно, ибо не было даже необходимых факелов.

Вернулись в порт и оттуда, в компании голодных и мерзнувших, отправились на станцию. Какое мучение! Повсюду лежали мертвые, раненые, некоторые на матрацах, многие на голой земле. Только несколько факелов освещали бледные лица и остатки станции.

Раздали раненым немного вина и воды — ничего другого у нас не было, а когда силы начали оставлять нас, мы забрались в товарный вагон и там, сидя на ящиках с апельсинами, провели часа два, отдыхая.

На следующий день отправился в Гагу, там работал вместе с пожарными из Катании. И всё те же муки, то же горе, от вида которого рвется сердце. Великое мужество и благородное самоотвержение проявили русские моряки в Мессине; я видел проявления высокого милосердия, заявить о котором считаю высоким для себя счастьем. Так же великолепно работали наши пожарные. И — чтобы быть справедливым — я не могу не свидетельствовать о том, что в новой тюрьме, где приютилось около 500 беглецов, я имел случай наблюдать и восхищаться работой благородной женщины баронессы Ромео делле Торрацци. Чем только могла, не щадя себя, помогала она своим братьям мессинцам. Целый ряд избалованных жизнью аристократических дам и девиц работали, как простые сестры милосердия, не гнушаясь самой черной работы; тут была и герцогиня ди Палацци, и баронесса Царалла, баронесса ди Пильки, графиня дель Градо и многие другие.

В эти благородные дни общего единения не было ни богатых, ни бедных, ни аристократов, ни плебеев, но одна семья страждущих и спешащих на помощь им!»

Несчастье народа, как видите, организовало в деле помощи ему все слои общества, но никто ничего не говорит о роли самой мощной и обширной организации Италии — а может быть, и всего мира, — я говорю о католическом духовенстве. За все эти дни говорилось только о двух священниках, работавших, как простые

рабочие, но нигде не было речи об организации монахов и священников католической страны.

... Вот бродит по улицам шансонетная певица Жанна Перуджиа; ей предлагают есть — не может. Она забыла свое имя, мертвыми глазами смотрит на людей, остановивших ее, и не умеет сказать им, кто она.

У двери развалившегося дома лежит навзничь труп молодой женщины, ее засыпало так, что видно только лицо, плечо и одна грудь. Из-под нее текут ручьи крови, над нею сидит кошка и жалобно мяукает.

Здесь из-под обломков высунулись чьи-то две руки, вцепившись пальцами в землю, недалеко от них — двуспальная кровать, а на ней — головы мужчины и женщины. Тел не видно, — только подушки и два спокойные лица в серой маске пыли.

На остатке балкона пространством не более метра, зацепившись рубашонкой за изломанную решетку, висит девочка лет шести. Только половина ее тела на обломках, а голова и грудь в воздухе; девочка молчит и смотрит вниз. Снять ее почти невозможно: обломок стены едва держится, достаточно толчка лестницы, приставленной к ней, и тяжести человека, влезającego по лестнице, — стена упадет, и ребенок погибнет.

Матросы действуют, точно акробаты, они ставят лестницу, не касаясь ею стен, на вершину ее влезают двое, один садится верхом на другого, горизонтально вытягивает свое тело и — снимает девочку. Это было сделано так ловко, что среди стонов боли и криков о спасении раздался, может быть, неуместный, но неудержимый крик победы и радости.

Из-под высокой груды развалин слышен вопль: он вызывает лихорадочную работу отряда, и с огромными опасностями люди вырывают юношу лет семнадцати, совершенно невредимого.

— Пить, пить, ради бога! — просит он.

Русский священник, всё время разносивший воду для раненых, дает ему несколько глотков. Юноша смотрит на всех и плачет.

— Все мои погибли! — говорит он. — Все!

Матрос, обнимая его, утешает:

— Ничего, брат, ты — молодой, не плачь, ничего!

И отводит его в сторону, тоже отирая слезы.

Не понимая языка друг друга, люди великолепно объясняются жестами, и работа кипит, — обломки зданий быстро разбираются, открывая глазам ужасающие картины смерти и увечий.

Дует ветер, идет дождь, пахнет дымом. Всюду по улицам идут маленькие группы людей и, услышав зов о помощи, наклоняются к земле.

На высоте четвертого этажа висит вниз головой человек, ущемленный за ногу, снять его нет возможности. Ветер срывает с него рубашку, развеивает волосы, его руки качаются, он кажется живым, в судорогах холода и боли.

Вот молит о помощи молодой человек; ему придавило ноги, но нет возможности вынуть его из-под обломков — они убили бы спасающих. Пришел хирург и отрезал юноше обе ноги. Когда его положили на носилки, он попросил пить, сказал: «Благодарю, друзья!» и — умер.

Мистер Меткальф, бывший главный морской врач американской эскадры в год войны с Испанией, провел в Мессине пять дней, с 30-го по 6-е, и, возвратясь, говорил мне:

«Великолепный народ ваши моряки! Большие, здоровые парни, работают спокойно, уверенно, точно англичане: неустомимы, бесстрашны и — веселы. Приятно видеть их открытые лица и странно знать, что такой живой и добрый народ так плохо устраивается у себя на родине. Хорошие парни! Оговорюсь, однако: я не даю предпочтения русским перед другими, нет. Все работали, как герои и умные люди, проявляя массу инициативы, изумительное бесстрашие и трогательную нежность к пострадавшим, особенно — к детям и женщинам. Я наблюдал работу пожарных команд Италии — из Генуи, Милана, Болоньи, Рима, Неаполя и других городов, — всё это удивительные люди, скажу вам! Я кое-что видел на своем веку... это прекрасная работа, да! Это — выше похвал. Великолепно организованы общества Красного и Зеленого Креста; у них оказалось всё необходимое, и они обнаружили тонкое умение обращаться с больными и массу энергии. Иногда в ра-

боте заметно было смятение, перерыв, сказывался недостаток инструкций, влияло и то обстоятельство, что все стремились скорее откапывать засыпанных, но никто не торопился сносить раненых на пункты. Была заметна непроизводительная затрата труда в сухопутных войсках, — вероятно, это объясняется тем, что большинство офицеров и много солдат — местные уроженцы, каждый потерял всю семью или несколько человек родных, — горе несколько мешало работать. Многие из работавших были засыпаны обвалами, получив легкие поранения и увечья, это не мешало им продолжать раскопки. На мой взгляд, все уцелевшие от смерти — психически ненормальны. Несомненно, что многие из больных, вернее безумных, принимались за грабителей, их арестовывали — и открывалась печальная истина. Обезумевшие люди рылись в обломках; когда им запрещали это, указывая на опасность для их жизни, они бросались драться. Очень многие не могли сказать, кто они. Нередко больные бегали от патрулей и отрядов помощи. Думаю, что девять десятых рассказов о грабежах нужно отнести к недоразумениям, которые создавали именно психические больные. Из одного здания с великим трудом откопали двух старух — они были засыпаны в комнате, где сохранялось много хлеба и вина, и превесело провели под развалинами 8 дней. Вылезли обе в пыли, но глаза — веселые. Наверное, эти остались самыми здоровыми людьми из всей Мессины».

Можно слышать такие разговоры:

— Вы много потеряли?

— Шесть человек детей и жену.

— Я счастливее вас, моя жена жива, но дети погибли все трое.

— Мои погибли все — муж и дети, и прислуга, весь дом!

Отрыли старуху 102 лет, но она не хочет уходить из могилы:

— Все мои молодые померли — я тоже хочу умереть, оставьте меня!

Говорят, что в первые дни много девушек и женщин погибло под развалинами уже после того, как они были

откопаны и получили возможность выйти из могил. Но они были наги и не хотели выйти нагими перед лицо мужчин. Новыми сотрясениями их засыпало насмерть. Их уговаривали — они слышали неизвестный им, чужой язык и пугались. Их пробовали вынимать насильно, они в ужасе отбивались, и часто во время борьбы их калечил упавший камень.

То же говорит и Джиованни Чена:

«В одном местечке, не доходя до Реджио, мы встретили итальянских солдат, работавших над раскопками и спасением заживо погребенных. Унтер-офицер жалуется нам: — Представьте себе, что многих жещин нам приходилось вытаскивать за шею: они ни за что не соглашались вылезать, так как были голыми. В Реджио солдаты придумали просовывать им мешки и так вытаскивать их наружу, иначе они предпочитали умереть, но не показываться нагими».

«Я не знаю, чему научит людей это несчастье, — закончил свой рассказ мистер Меткальф, — но чему-то должно научить их, это так. Это не может пройти бесследно, не может!»

Мистер Меткальф привез с собой на Капри двенадцать женщин и несколько детей, поместил их на своей вилле и — лечит.

На пятый день отрыли человека, лицо и руки которого изгрызаны собакой. Он не мог отогнать ее иначе, как только криком, и когда это перестало пугать ее, она начала есть его тело.

Собак и кошек стали убивать, и они увеличили своей массой количество разлагающихся трупов.

Уже на третий день стал распространяться сильный запах гниения, смешанный с запахом горелого мяса и жира. Работающим на раскопках пришлось наложить на рот и нос антисептическую вату; работа разгоралась с каждым днем и часом, становясь всё более энергичной и торопливой, — из-под развалин всё еще неслись, не умолкая, стоны и крики.

Люди проявляли невероятную, изумительную живучесть и терпение — их откапывали живыми на седьмой, восьмой, девятый день и даже позднее!

Так, на девятый день солдатам порта Мессины уда-

лось отыскать живым своего капитана, — они искали его долго, несколько раз принимаясь раскапывать здание, где он жил; им запрещали работать, ввиду угрожающего положения развалин, ежеминутно готовых обрушиться и раздавить их. Но они продолжали работать тайно, почему-то уверенные, что капитан жив, хотя он и не подавал признаков жизни. Наконец они его нашли, раненого, истощенного голодом.

Один из выкопанных рассказал:

«Мы, несколько человек, мужчины и женщины вместе, провели под развалинами три дня, некоторые ранены, все — живы, и с каждым часом надежда на спасение исчезала у нас. Старались пробиться на воздух, но при малейшем движении на нас падали камни, сыпалась пыль, удушая нас. Наконец удалось пробить маленькую щель, и это нас спасло: в нее мы поочередно звали на помощь. От духоты и пыли мы ослепли, потеряли голоса, страшная, мучительная жажда заставляла нас смачивать горло уриной, и вдруг — слышим чьи-то странные голоса, непонятные слова чужой речи. Кричим — в ответ радостные возгласы, и вот над нашими головами начата спешная, осторожная возня. Какой это был момент, когда, выползая из могилы нашей, мы попадали в крепкие объятия людей, никогда нами не виданных, а они, смеясь и плача, поднимали нас на руки, точно детей, кричали что-то радостно, давали нам воду и хлеб — три кружки было протянуто мне, и япил из всех!»

У одного старика убито три сына. Их трупы вынимают на его глазах, он сам молча укладывает их в ящики, засыпает известью. Вытащили младшего, его голова расплющена, лица нет, мозг вытек.

— Это был красавец! — строго говорит отец и — падает на землю.

Солдаты поднимают его — он мертвый.

Ко всему привыкшие за эти дни солдаты гневно плачут, и грозят кулаками в небо, и с новой силой бегут среди развалин, в дыму пожаров и в удушливом запахе гниющих трупов на новое место к новым ужасам.

Реджио и Мессина получили помощь быстро, маленькие местечки и города Калабрии и Сицилии первое



время сильно нуждались в хлебе, воде, медикаментах и рабочих руках.

Берега Калабрии энергично обслуживала английская эскадра с Мальты. К некоторым городам Калабрии, в их числе и к Реджио, можно было подойти только с моря — весь берег, все пути разрушены, изорваны глубокими трещинами.

Один из русских, работавший по берегу Калабрии с отрядом студентов Неаполя, рассказывает:

«Население маленьких городов погружено в апатию; они равнодушно смотрят, как солдаты раскапывают развалины, и — молчат. Первый день они даже не говорили, где под обломками засыпаны люди, и только с утра другого дня стали просить о раскопках, указывая на ту или другую грудку мусора и безнадежно говоря:

— Здесь — моя семья.

— Моя мать тут.

— Жена и дети.

— Брат.

— Мои сестры.

И когда выкапывали живого человека, первые минуты он вызывал у своих родных только удивление, и лишь потом люди обнимались, радостно плакали.

В доме одного из граждан солдаты нашли ящик с деньгами. Когда известили об этом хозяина дома, он равнодушно сказал:

— А я думал, они пропали...

— Посмотрите, все ли они целы.

— О да, все! — сказал он, не глядя.

Денег было несколько десятков тысяч лир, как говорят.

И всюду, в городках, в деревнях, убитые горем люди печально сидят на площадях, не зная, что делать, и не имея сил не только приняться за работу, но даже позаботиться о пище для себя.

Затем голод уничтожил апатию, они раздраженно кричали:

— Хлеба!

Странное впечатление произвели на меня жители совершенно разрушенной Сциллы: все, кто мог рабо-

тать, раскапывали мусор, а более слабые варили пищу, ухаживали за ранеными, занимались с детьми и вообще уже снова начали жить, несмотря на то, что весь день 4-го января подземные толчки сотрясали землю под ногами у них. Как будто они — иной народ в сравнении с окружающими их, подавленными ужасом и горем людьми. Из 8 тысяч жителей Сциллы убито 300, ранено 650, как нам сказали. В Полистрине из 10 тысяч убито 150, ранено 500, но там настроение ужасно. Должно быть, состояние духа жителей влияет на солдат, медицинский персонал и вообще на всех, подающих помощь: где граждане бодрее, там и работа идет энергичнее, хотя сами граждане не всегда принимают в ней участие, а только указывают места, где засыпаны люди. А где люди подавлены и апатичны, там заметна апатия и в работе сапер, и инженеров, медиков, всех прибывших на помощь. Наш отряд, как мне кажется, везде был лишним: дней пять мы, 50 человек, ходили с места на место, отыскивая себе работу, и не нашли ее, но несколько человек отряда всё время работали на одном месте и очень продуктивно».

В одной из горных деревень Калабрии была отрыта девочка лет десяти с раздробленной ногою. Она долго лежала на груде мусора, нужно было сделать операцию очищения загрязненной раны, вырезать куски уже пораженного гангреною тела.

Видя среди медицинского отряда женщин, девочка сказала:

— Я хочу, чтобы меня лечили женщины. Не нужно мужчин!

И, настояв на своем желании, она сказала еще:

— Дайте мне платок, я положу его себе в рот, чтобы не кричать. Я не хочу кричать!

Платка чистого не нашлось — ей дали бинт. Она не крикнула во время операции, но перекусила бинт пополам, так велика была боль и сила воли этого ребенка.

Сицилианцу крестьянину делает операцию знаменитый хирург; лицо, присутствующее при операции, чтобы ободрить больного, шутит:

— Потерпи, брат! Ты знаешь — тебя лечит знаме-

нитый доктор. Богатые синьоры заплатили бы ему тысячи за то, что он делает для тебя даром.

Больной перестает стонать и насмешливо отвечает:

— Ах, бедный синьор! Мне жалко, что ему пришлось заняться трудом, непривычным для него!

Чувство собственного достоинства тонко развито в итальянском народе, и оно с особенною яркостью пылало в эти дни.

В местечке Арки, как передавал офицер, работавший там с отрядом солдат, жители отказались от милостыни и просили только пока дать им хлеба, так как они сами могут справиться с бедою: у них скоро поспеют бергамоты, через неделю они примутся за работу; пусть, если можно, им дадут дерева, бараки они построят себе сами. Эти люди сами отрыли тех, кто был засыпан обломками и камнями, сами похоронили умерших.

В одной из хижин на берегу моря отрыли старика и старуху; он, положив свою голову на грудь ей, умирал. Когда их хотели поднять, старуха сказала:

— Оставьте, прошу! Он — уже умирает, я тоже хочу умереть, оставьте нас. Все наши дети, все родные погибли. Мы жили долго, довольно! Идите спасать молодых, идите!

Ее долго уговаривали — она стояла на своем.

В Реджио одна женщина просидела три дня под обломками, и всё время на нее сверху лилась и капала кровь ее мужа и детей, раздавленных в комнате над нею. Она сама сильно изранена и, конечно, сошла с ума.

Четвертого января в течение всего дня продолжались подземные толчки на побережье Калабрии и Мессины. Эти толчки, разрушая развалины всё более, приводили переживших катастрофу в панический ужас.

Первое время не было палаток, раненые полуодетые люди лежали под открытым небом — много простуженных. Затем сразу было привезено 4 тысячи палаток, дерево для барачков; толпа измученных холодом людей бросилась их разбирать и смяла, едва не сбив с ног присутствовавшего при этом короля.

Король и королева, судя по отзывам всей прессы, в том числе и социалистической, а также по рассказам лиц, видевших их на месте несчастья, в данный момент

самые популярные люди Италии. Они оба вели себя всё время, как итальянцы, как граждане, которые искренно и глубоко почувствовали горе родного им народа.

Они оба выехали из Рима на место катастрофы тотчас же, как была получена страшная телеграмма о разрушении Сицилии и Калабрии, и в продолжение нескольких суток подавали людям пример энергии и хладнокровия, столь необходимого в момент общей паники, растерянности и ужаса.

Королева работала, как простая сестра милосердия; простота и сердечность ее отношения к людям засвидетельствована десятками рассказов, рисующих королеву как женщину прекрасного сердца. Сам король лично объехал все пострадавшие города и, раньше всех заметив печальное положение маленьких местечек, телеграфировал Джиолитти: «Обратите внимание на отдаленные коммуны Калабрии».

Он не стеснялся вмешиваться в толпы людей, нервное состояние которых часто возвышалось до раздражения, крайне грозного, как это было в Мессине при раздаче пострадавшим палаток, и в Реджио, где король, сойдя на берег, был окружен толпой, кричавшей ему в лицо:

— Хлеба! Мы голодны!

Цивильный лист короля Италии не велик, но это не помешало Виктору Эмануилу дать пострадавшим миллион двести тысяч лир. Королей, которые не боятся своего народа, не много на земле.

Около Мессины срезано с лица земли несколько деревень; в одной из них, Гандзири, жителей было 1700, более тысячи — убито, до 500 раненых, невредимых физически осталось менее 200 человек.

В Калабрии, кроме совершенно уничтоженного Реджио, разрушено около 18 местечек и деревень, имевших населения от 14 тысяч до трех.

В Реджио жило 46 тысяч человек; считают, что 22 — убито, не менее 10 ранено.

Привожу письмо депутата Наве от 7-го января:

«Могу с точностью описать вам события и настоящее положение 6-го января во всех местечках Калабрийского побережья к северу от Реджио, как-то: Катона,

Вилла Сан-Джиованни, Канителло, Сцилла, Фавадзина и Баньяра — все они разрушены почти совершенно.

Все эти местечки, даже и более крупные из них, оставались изолированными со стороны суши, вне всяких сношений с миром, так как телефоны и телеграфные сообщения порваны. Они не могли, как не могут и сейчас, получить помощь иным путем, как со стороны моря.

Всё время помощь всем этим местностям подавали английские крейсера „Эксмут“ и „Дункан“; деятельность их — выше всяких похвал, изумительна. С героизмом, самоотверженно, сохраняя величайший порядок и плодотворную распорядительность, работали они, снабженные всякими необходимыми для оказания помощи средствами.

Ходили среди развалин, грозящих ежеминутным риском, прислушиваясь к стомам раненых и заживо погребенных, среди опасностей они спокойно делали свое дело. Немедленно устроили палатки и госпиталь — всё в величайшем порядке. В Катано перевязывали раненых, организовали посадку на суда, работая вечером, при наступлении темноты, при свете рефлекторов. Посадив на суда раненых, их немедленно отвезли в Катанию и Сиракузы, и уже на следующее утро суда опять вернулись обратно, привезя с собой большой запас съестных припасов. Имена славных английских моряков навсегда останутся жить в благодарной памяти местного населения.

Под вечер второго января прибыла в Виллу Сан-Джиованни с коммерческим судном „Неаполь“ экспедиция, организованная муниципалитетом Генуи, изумительно хорошо обставленная, снабженная полевым госпиталем, с пятью врачами, инженерами, пожарными, рабочими и членами Зеленого Креста, привезя с собою большой запас материалов и съестных припасов. Эта экспедиция творила положительно чудеса. В ночь со второго на третье января они поставили свои палатки, устроили госпиталь и перевели раненых из английских палаток в свои. Весь день 4-го был посвящен посадке раненых на „Ломбардию“, что представляло собою колоссальные трудности, ввиду недостатка перевозочных средств.

В это же время пехотные войска принялись за подачу помощи жителям окрестных холмов, что представляло трудность сугубую, так как раненых приходилось свозить на мулах.

Совершенно лишенными помощи до прихода пехотных войск оставались коммуны, расположенные в горах — Кампо Калабро, Сан-Роберто, Фиумарэ, Каливэ. Катона тоже находится в гористой местности, и туда тоже не доходило до тех пор помощи. Нельзя без содрогания вспомнить, каково было положение этих местностей все эти ужасные пять-шесть дней.

Третьего числа министр Бертолини посетил Виллу Сан-Джиованни, 4-го он был в Баньяре; там дело помощи шло немного лучше, и с необыкновенной энергией работал миланский комитет. Только начиная с 4-го января всё это побережье стали вполне обслуживать итальянские суда.

С 5-го января организовалась правильная доставка съестных припасов и необходимых для жителей материалов.

По счастью, с 1-го января стоит хорошая погода, но все-таки люди нуждаются буквально в самом необходимом, так как тысячи людей живут под открытым небом, ничего не имея, чтобы одеться.

В некоторых местностях народонаселение хотя и сильно поражено несчастьем, но не разорено окончательно.

Положение все-таки всюду очень тяжелое, в особенности потому, что многие лишены крова; таковых целые тысячи.

В Канителло, которое буквально срезано с лица земли, до сих пор помощь была минимальной. Некоторые раненые были перевезены вчера морем в Вилла Сан-Джиованни с величайшими трудностями.

Со всех сторон прибывают санитары, депутаты, сенаторы; все питаются одним хлебом и галетами, спят под открытым небом или в палатках. Санитаров больше чем достаточно, но, к сожалению, не хватает всего остального необходимого, как-то: пищевых продуктов, палаток, леса для барачков.

В Сан-Джиованни спасли женщину, — после 8-днев-

ного пребывания под обломками она жива и не ранена. Спасение ее, в котором принимала участие генуэзская экспедиция, было до крайней степени опасное, каким-то чудом надо считать, что никто при этом не погиб. В Сцилле тоже вчера отрыли женщину, была еще жива, несмотря на то, что под землю перенесла выкидыш, но спустя немного часов она в жестоких страданиях умерла».

А ранее депутата Наве — Одно Моргари, редактор «Avanti!», рассказывал:

«Пишу вам из казармы карабинеров и таможенников — четырехугольный сарай, в котором мне оказали гостеприимство. Странно видеть собравшуюся компанию: маршал в форменной шляпе и статском платье, лейтенант береговой стражи, совершенно голый, — он спасся только тем, что схватился за дерево, когда его несла в море нахлынувшая на город огромная волна, — одет как попало, как и все другие, почти все ранены.

В 7 часов утра я покинул Сциллу, и едва успел я отойти, как послышался страшный грохот — в море обрушилась расшатанная землетрясением скала, на которой стоял замок.

В Фаваццине мертвых только 17, раненых 31 — на 1700 человек жителей это немного. Дома едва держатся, жители поселились в построенных на скорую руку бараках. Одна женщина ранена в десяти местах. Все дрожат от холода.

А дождь льет, льет.

Пришли в Канителлу — это был прелестный городок в 3000 жителей, скорее деревенька — всего два ряда домов по берегу моря. Летом тут много купающихся, прелестный пляж, с тонким мягким песком. Улицы по берегу моря, тянувшиеся на полторы тысячи метров, не существуют более, уцелел всего один дом, а все остальные сметены с земли и точно измолоты.

Пройдя метров триста, вижу бледную, точно из воска руку, нагнулся: женщина, одетая, лежит лицом в воде. Прошел еще немного и встретил наконец живое существо — служащий в коммуне ассессор. Плачет: потерял всю свою семью, дом, всё. Ведет меня к разва-

линам дома, в котором в течение уже семидесяти часов под обломками живут женщина и ребенок. Упавший потолок накрыл их живыми, несчастной женщине прищемило ноги, словно капканом. Но ей можно подавать пищу.

— Ваш сын жив?

— Джиовануццо! — зовет женщина.

— О! — отвечает голосок из мрака в глубине развалин.

Вошел в дом, где уцелел нижний этаж, и очутился в присутствии пяти-шести человек.

— Чего хотите?

— Скорее вы мне скажите, — что вы тут делаете? Как вы можете оставлять живых людей под обломками! — кричу им.

Идут со мною к только что оставленным двум жертвам, и я убеждаюсь, что если тронуть развалины над ними — их немедленно раздавит. А так — они в сухом месте, накормлены и напоены. Надо подождать, пока подойдут на помощь техники.

Встретил синдика, — он ходил босой и без шапки в Вилла Сан-Джиованни — там полное разрушение. На лодке он добрался до Мессины, привез 120 килограмм галет и 4 мешка муки. Разрывал раненых.

— Нет людей! Не знаю, что и делать! В кармане таскаю несколько пакетов с ватой — что с ними сделаешь? Моя семья вся погибла, 28 человек. Вчера умер брат. Если бы ему ампутировать руку, может быть, уцелел бы!

Плачет.

Низко поклонившись ему, иду дальше.

Проходя мимо муниципии, вижу, что развалины ее еще дымятся, несмотря на три дня дождя.

Смотрю вдаль, через пролив, по ту сторону его — горит Мессина».

...И журналисты и пострадавшие единодушно отзываются о работе, сделанной в эти страшные и великие десять дней, как о подвиге сказочном, поражающем своею красотой, своим единодушием. И даже сами работники с изумлением говорят друг о друге, группа о группе.



— Совершенно непонятная выносливость! Они работали первые семьдесят два часа совершенно без отдыха и без сна, день и ночь, и только на четвертые сутки люди начали падать в обмороки!

Так велик был нервный подъем, так чудесна сила единицы, когда она представляет собою элемент батареи, заряженной одною и тою же энергиею, единым настроением, связующим всех людей в гармонический организм.

Работа с каждым днем становилась всё более и более трудной и опасной, но энергия людей не падала...

Разлагались десятки тысяч трупов людей и животных, удушливый запах гниения, смешанный с густым и тяжким дымом, окружал людей заразною тучею. Горела шерсть, материя, масло, мясо, дым выбивался из-под развалин в десятках мест, не было возможности погасить глубоко скрытый огонь. Раскапывали тысячи людей, работая не только весь день, но и ночами, при свете факелов. Раскопки становились невозможны: все, кого можно было отрыть с наименьшим риском, отрыты, а из-под обломков всё еще доносились голоса и стоны, но уже в массе пунктов инженеры и администрация, оберегая жизнь работающих, запретили трогать развалины, готовые разрушиться и раздавить людей при первом же прикосновении; запрещение это было вызвано случаями обвалов и поранений, случаями, которые повторялись всё чаще.

Но, несмотря на это, люди тайно продолжали рыться по ночам, работая с завязанными ватой ртами, ослепляемые дымом, всюду находя раненых и извлекая их. Однако это было свыше сил человеческих: уже на седьмой день не только раненые, но и здоровые, будучи извлечены на воздух, часто умирали.

6-го января духовенство отслужило над городом Мессиной панихиду.

Одна из неаполитанских газет писала:

«Конец! Умерла Мессина, прекрасный, старый город. Погибли драгоценные произведения искусства, библиотеки, прекрасные образцы старой архитектуры, древний собор, купол которого представлял незаменяемую художественную ценность. Над развалинами — могилой тысяч людей — явилось духовенство, начали

служить панихиду, и, может быть, погребальное пение слышал кто-то, еще не умерший, и, быть может, слышал — не один.

Стоят рабочие и солдаты, вооруженные лопатами и кирками, готовые продолжать свою работу — дело жизни.

По грудам мусора стелется серый дым, страшный запах трупов насытил воздух и душит живых. Архиепископ дрожащим голосом благословляет вечный сон усопших; молитва его тонет в рыданиях людей.

Горе клонит к земле головы живых, тихо звучит многоголосое последнее прости.

Кончено!»

Но снова среди развалин идет трудная и опасная работа. Город непрерывно обходят многочисленные патрули, прислушиваясь, не раздастся ли под обломками стук или глухой зов на помощь.

На девятнадцатый день одному из отрядов удалось извлечь трех людей, девушку двадцати, девочку двенадцати и мальчика девяти лет.

Это дети бедной семьи, мать их убита обломками — она лежала в той же комнате, разлагаясь и отравляя воздух. В течение девятнадцати дней дети питались оставшимися у них луком, оливковым маслом, вином и водою. Все трое очень истощены, но, несмотря на это, мальчуган сам вылез на воздух, как только солдаты проделали небольшое отверстие в обломках. Когда его спросили: есть ли там кто-нибудь еще, — у него хватило силы объяснить, что мать убита, но живы еще две сестры, только те сами не могут двигаться.

А в Реджио неаполитанский пожарный Эрнесто Пелоцци вытащил из-под развалин в улице Фата Моргана живого пятилетнего ребенка, сына швейцара дома депутата Доменико Триппени. Отец спасенного мальчика в настоящее время находится в Генуе.

Маленький Нетти находится в довольно хорошем, сравнительно, состоянии; о времени, проведенном под развалинами, он ничего не помнит, ран на нем никаких нет, но все эти четырнадцать дней он провел без еды и питья.

Пожарный Пелоцци единолично спас по крайней

мере 20 человек, многократно рискуя своею жизнью.

Его спросили:

— Сколько людей спасли вы?

— Этого не считают, синьор, — ответил он.

На той же улице и в тот же день капитан Девьер откопал трехлетнего ребенка живым и здоровым.

Войска уже приступают к очистке главных улиц и восстановлению электрического освещения, чтобы можно было непрерывно работать день и ночь. Те граждане, которые спаслись и не захотели покинуть развалины родного города, понемногу начинают строить новую жизнь; пользуясь обломками и деревом, присланным на судах, они строят по окраинам шалаши.

«Avanti!» сообщало от 16-го января:

«Мало-помалу вновь начинают оживать люди.

По утрам появляются мелкие торговцы, выкрикивая свои незамысловатые товары, другие построили себе кое из чего лавчонки, поставили палаток, — так мало-помалу возникает промышленность. Продаются хлеб, вино, сыры, фрукты. Началось слабое движение экипажей и даже одной общественной кареты».

Из Реджио тоже сообщают:

«Многие семьи начинают занимать построенные гражданскими инженерами бараки. Всюду установлено строгое наблюдение, чтобы цены на съестные припасы по возможности не повышались».

По всему побережью Калабрии построены бараки, в которых временно живет население, и Дживованни Чена рассказывает, как живут в них люди:

«Мы остались переночевать в наскоро построенном бараке, длиною метров в десять; нас в нем сорок человек. Наступает вечер, качается подвешенный к перекладине маленький масляный фонарик, в бараке царит полумрак. Люди просят какого-то старика: „Мастер Пеппе, расскажите нам сказочку!“ Мастер Пеппе заставлял долго упрашивать себя, — время не такое. Потом соглашается. Широко раскрыв глазенки, слушают дети, как ведьма приложила ухо к земле, а оно попало в западню; сказка блестит яркими пословицами, прерывается песенками; все молча слушают... мало-помалу засыпают.

Полночь. Все спят. Нет-нет — тяжело вздохнет кто-нибудь, застонет, вздрогнув во сне, женщина. Вдруг раздается глухой подземный гул и толчок... залаяли собаки, долго лают. Встает один крестьянин, берет ружье и выходит из барака. Через несколько минут возвращается, не разрядив ружья,— пожалел хозяин свою старую собаку. Лай всё продолжается.

Отовсюду приходят корабли, много иностранных, присланных из Америки, Франции, Испании, Англии, с большими запасами съестных припасов, платья, лекарств, медикаментов.

Врачам часто приходится наталкиваться на недоверчивое отношение к себе, особенно у крестьян в горах Калабрии; с особой антипатией население встречает все дезинфекционные средства сильного запаха, но тем, кто говорит по-итальянски, а особенно говорящим на местном диалекте, люди верят довольно быстро, и надо видеть, с какою благодарностью и верою смотрят эти добрые души на тех, кто несет помощь в их заброшенные дикие углы.

Многие тяжелобольные, с разбитыми, переломленными членами, жалеют врачей и членов комитета за то, что они сделали такой трудный путь, забравшись к ним в их «медвежьи норы».

Коммунальные власти приступили к систематическому обслуживанию населения санитарией. Тиренский комитет обходит местность в поисках,— за детьми-сиротами; эти ребятишки собираются в Реджио, впрямь до распоряжения «Национального патроната».

Относительно сирот предпринят ряд мер: флот Италии образовал комитет призрения всех детей моряков, погибших во время катастрофы, как состоящих на службе, так и отслуживших сроки. А морской министр разрешил считать все убытки моряков, уроженцев пострадавших местностей, находящихся на службе, как убытки, понесенные во время исполнения служебных обязанностей и подлежащие возмещению полностью за счет государства.

Из Франции пришли многочисленные предложения усыновить сирот. Итальянское правительство с благодарностью отклонило это предложение, указав на то,

что народ считал бы себя оскорбленным, если бы его дети принуждены были искать прибежища вне родины.

Королевой Еленой издан декрет, в котором говорится, что призрение, установление личностей и воспитание детей — честь и дело нации и что отдача сирот в иностранные государства совершенно исключается.

Директор Итальянского банка в награду за то, что экипажи судов «Геркулес» и «Гранатиер» отыски и доставили банку найденные ими сокровища его, назначил по тысяче лир; матросы попросили морского министра передать эти деньги сиротскому приюту королевы Елены.

Главный комитет помощи назначил в награду войскам, работавшим в местностях, пострадавших от землетрясения, 20 000 лир. Генерал Мацца распределил эти деньги таким образом: 12 000 солдатам, работавшим в Мессине, и 8 000 тем, кто работал в Реджио. Войска отказались от своей доли награды и пожертвовали их в пользу пострадавших от землетрясения.

Грандиозный коллективный человек поспешно заживает свои раны, готовясь к новой борьбе за жизнь, а земля под ногами его всё еще вздрагивает время от времени.

Великолепный Человек эта Италия: умеет она работать и умеет жить.

Неизмеримо горе прекрасной страны, и нет в сердце слов и красок, которые могли бы исчерпать скорбь и гнев человека, пораженного злым ударом слепой, враждебной людям стихии.

Но над развалинами городов Сицилии и Калабрии вспыхнуло великое пламя единения итальянского народа в его скорби о погибших братьях; этот творческий огонь быстро спаял все сердца страны в одно сердце, и, открыл сознанием единства, — с какою силою и страстью ринулось оно на помощь страдальцам!

Тяжело ранена Италия, но — жива ее душа, во дни национального горя она показала миру чудеса мужества, любви, и ярко горел в эти дни факел благородного демократизма итальянцев!

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

РАССКАЗ

Антон Матвеевич Паморхов всю ночь не спал, чувствуя себя как-то особенно, по-новому плохо, — замирало сердце, от этого большое дряблое тело, холодея, разваливалось, расплывалось по широкой постели, и хотя давняя ноющая боль в ногах исчезала в эти минуты, но утрата привычного ощущения тоже была неприятна.

Темнота в спальней жутко шевелилась, как туман над болотом, создавала неясные, пухлые фигуры, и Паморхов напряженно слушал, как червь точит дерево зеркального шкафа, всё ждал, что кто-то позовет его тихонько:

«Антон...»

Особенно тревожно ожила темнота на рассвете, когда спряталась по углам, открывая понемногу зеркало в двери шкафа, и в зеркале постепенно росло, выяснялось отражение чего-то огромного, — оно ворочалось, взбухая и опадая, дышало со свистом и приглушенно стонало.

Паморхов не скоро понял, что это — он, его тело; а когда понял, то почувствовал себя в небывалом раздвоении с самим собою, как будто он — одно существо, а его тело — другое, неприязненно отделившееся от него, всосавшее из темноты множество тягостных и тревожных ощущений, оно живет ими, а всё настоящее Паморхова — его веселые мысли, игривые желания — всё вытеснено из него.

Рядом с ним крепко спала Капитолина, лежа, как всегда, вниз лицом, крепко окутав голову одеялом и не дыша, точно мертвая.

На рассвете Паморхову показалось, что в кресле у шкафа сидит рыжий змей-удав,— сидит, изогнувшись вопросительным знаком, неподвижно нацелив в лицо Паморхову большой тусклый глаз цвета меди.

В этом тягостном раздвоении Паморхов лежал почти до полудня, закрыв глаза, стараясь не двигаться, чтобы окончательно не разорвать себя надвое.

Поздно утром он задремал и не слышал, как ушла женщина; его разбудил дождь, настойчиво стучавший в ставни спальни.

Встал он с тем же ощущением разлада, раздвоения, умылся, надел серый халат с бархатным малиновым воротником и такими же обшлагами, долго удивленным взглядом выпученных глаз рассматривал в зеркало небритое, сизое, плюшевое лицо, смотрел, ни о чем не думая, и всё взбивал рукой густую шапку сивых вихрастых волос.

— Бодрись, Антон! — неожиданно для себя сказал он и жалобно усмехнулся.

Потом, неохотно выпив чашку кофе в столовой, он прошел в пустоватый холодный зал, тяжело передвигая непослушные ноги в меховых туфлях, засунув большие пальцы за шнур-пояс. Идя, он запел, сипло и фальшиво:

В час, когда но-о...

Пел и думал:

«Не надо ничего показывать ей... Написать сестре...»

Остановился, задохнувшись,— легкие точно водой были налиты. Он кашлял, встряхивая тяжелой головой, лицо посинело, цвет шеи стал одинаков с воротником халата, глаза выкатились из орбит стеклянными шариками, толстая нижняя губа отвисла, обнажив расщепленные кабаньи зубы. Но, прокашлявшись и отдохнув, он снова запел:

Тихо ля-я...

Остановился и сказал, заглядывая в дверь сумрачной гостиной:

— Три ноты осталось, слышишь?

Негромко и точно сквозь сон Капитолина ответила:

— Слышу.

Тихо. Паморхов, стоя среди зала, озирается, сморщив лицо. Вдоль стен чинно стоят стулья с выгнутыми ножками и спинками в форме лир, в простенках — два зеркала, в тускло-золотых рамах, точно болевшие оспой; на одном подзеркальнике бронзовые неуклюжие часы под стеклянным колпаком, их синий маятник неподвижен; на другом — фарфоровая дама жалобно показывает уродливо маленькую ножку. Налево у стены оскалилось пианино, в углу безобразно развесил темные листья и серые воздушные корни огромный, до потолка филодендрон.

— Н-да,— сказал Паморхов, повернувшись спиной к зеркалу и глядя в черную дыру камина.— Вещи...

В час, когда-а...

На камине лоснится, точно маслом смазанное, киштымское чугунное литье: бедуины верхом на тонконогих лошадях размахивают длинными ружьями. Черные квадратики фотографий и гравюр на стене — точно окна, прорубленные во тьму. По обеим сторонам камина стоят фикусы, нищенски бедные листьями.

— Р-ра,— рычит Паморхов, снова передвигаясь к окнам,— рамы зимние пор-ра вставлять...

Небо туго обтянуто сердитой, одноцветно сизой тучей, земля — полиняла, зелены и ярки только сосны, чисто вымытые осенними дождями, да — чуждо всему — качаются красные гроздья рябины на голых ветвях. Кроны сосен и ветви рябин высунулись в небо из-за бурой, похожей на крышку гроба, крыши земского барака для заразных детей.

Дом Паморхова на угорье, из окон виден почти весь город Дремов — темные домики сползают к реке Пьяной, сталкивая под гору две церкви, когда-то белые, теперь облупленные и точно избитые. Реки не видно за крышами, видны луга и поля за рекою; скучно чередуются черные и рыжие полосы пашен, торчат деревья, точно нарисованные неумелой рукой ребенка. Галки и вороны черными шарами повисли на черных ветвях.



По сырым пашням мнутя коровы, ходят маленькие, игрушечные лошади, а людей — нет, только по темной ленте дороги маячит кто-то одинокий. Идет он быстро и, словно измеряя землю, машет палкой, закидывая ее вперед.

— Что ж? — обиженно бормочет Паморхов, мигая и хмурясь. — Все умрут...

Вся земля как будто напитана обидой, тоскует, готовая каждую минуту завывать, застонать, облиться слезами, как женщина. Этот одинокий человек на дороге тоже убегает от обиды, сказав кому-то:

— Ну, бог с тобой, коли я плох — я уйду...

Паморхов, мигая, следил за ним и соображал: этим ходом часа через полтора он придет в Тычки, часам к восьми — в Храпово, а к полуночи — на станцию Лисий гон. Если в четыре часа утра сесть в товаро-пассажирский и ехать налево — завтра будешь в Арзамасе, а там, через Нижний, в Москву... Но если и направо ехать, тоже можно попасть в Москву.

— Дурак! — громко сказал Паморхов вслед человеку и, отхаркнув, спросил:

— Капочка, сколько времени?

— Два, без... семи. Вы, кажется, на пол плюнули?

— В цветок. Скажи, чтобы затопили камин. Ты что читаешь?

— Тушар-Ляфос, «Летопись круглого окна».

— Не знаю...

Он стоит в двери гостиной, держась за косяк, и смотрит: комната, обитая серовато-голубым сукном, тесно заставлена мягкой, пузатой мебелью с высокими, вспухшими сиденьями. Под окном на изогнутой кушетке лежит Капитолина Викентьевна — она тоже в стиле этой пухлой мебели. Из-под ее голубого капота высунулись короткие, круглые ноги в туфлях красного бархата с золотым шитьем; она поставила толстую книгу на грудь себе и, неудобно согнув шею, бегаем светло-голубыми глазами по страницам мелкой печати в два столбца. Руки по локоть голые, тоже коротки и круглы, а головка — маленькая, хотя белокурые волнистые волосы буйно встрепаны. Лицо у нее розовое и крепкое, точно яблоко анис. Одурающе пахнет ду-

хами и теплом женского тела. Паморхов сопит, крутя багровым носом, идет к женщине, садится в ногах ее и говорит, вздыхая:

— Самый интересный писатель все-таки Александр Дюма...

— Не щекотите. Их — двое.

— Александр, я разумею...

— Оба Александры. Ах, не трогайте...

— Ну, чёрт с ними! Какая ты капризная сегодня...

Женщина, подобрав ноги, прикрыла их капотом — капот распахнулся на груди. Паморхов угрюмо говорит:

— Придет доктор, а ты в одной рубашке...

— Успею одеться...

— Он, вероятно, скоро.

Женщина, отложив книгу на кривоногий столик, говорит, обиженно и в нос, звуками кларнета:

— То вы говорите, что кутаюсь, то почему не одета? Вам нравится, то есть, Помпадур?

— Мне ты нравишься, — со свистом шепчет Паморхов, склоняясь к ней, а она деловито упрекает:

— Вот видите, а говорили — почему не одета? Не для доктора же...

Паморхов хрипит:

— Доктор умный человек, но — свинья! Это даже сказано кем-то про него...

Он хохочет, всхлипывая, но вдруг, посинев, выпрямляется и, закрыв глаза, мычит:

— Мне... мне — худо...

Капитолина судорожно тычет пальцем в кнопку звонка, топая ногою, вскрикивая:

— Чирков, зовите доктора...

Теперь, стоя в распахнутом капоте, она похожа на старинное бюро рядом с нею, — оно такое же низенькое, широкое, ящики его так же выпуклы, как живот и грудь Капитолины.

— Ничего, прошло, — рычит Паморхов, растирая грудь. — Ты не волнуйся...

А через несколько минут он, сидя рядом с женщиной на кушетке и обняв ее, говорит, усмехаясь:

— Это всё от неподвижности, от спокойной жизни... Распустился я очень...

— Вы очепь много пьете.

— Э-с, так ли пьют!

— Но — не в ваши годы...

Опрокинув ее на колени себе, он просит хриплым голосом, облизывая губы:

— Ну, расскажи мне — за что ты меня полюбила?

— Ах, господи, опять! — капризно восклицает женщина, а он тянет, точно ребенок:

— Расскажи-и...

И женщина, не торопясь, спокойно, как бы отвечая хорошо знакомый урок, говорит, прижмурив глаза:

— Первый раз я была поражена вами, когда в городе стали говорить, что только один подполковник Паморхов не был в соборе на молебне, когда читали манифест. Я подумала: «Какой храбрый человек! Вот настоящий человек, — подумала я. — Если он может один против всех — это герой...»

Ее кукольное лицо не оживает, но цвет глаз стал гуще, она смотрит в потолок и словно читает написанное там и произносит слова медленно, всё тем же скучным тоном кларнета. В окно стучит дождь, на воле взвизгивает ветер.

— Потом я увидела вас, когда разгоняли с площади революционеров. Было очень страшно, когда на них поскакали наши и вы впереди всех, а они закричали и бросились в разные стороны.

— Точно грязь потекла, — с гордостью вставил Паморхов.

— Да. А вы — за ними. Это было самое лучшее, что я видела в настоящей жизни, самое...

Не находя слова, она молчит, потягивается и поднимает вверх руки, сжав маленькие пухлые кулачки. Паморхов целует руку ее в сгибе локтя.

— Щекотно! Мы с тетей тогда говорили: «Вот кто спасает нас». А она сказала: «Помолимся за него, а потом ты напиши ему письмо...»

— Разве ты не сама придумала написать мне? — спрашивает Паморхов, откашливаясь.

— Господи, вы спрашивали меня об этом десять раз! Не могу же я сочинять, чего не было...

— Ну, да... хорошо! Дальше.

— Потом вас стали ругать в газетах, и я плакала, когда тетя сказала, что ругают. Подруги в институте тоже ругали, некоторые, даже — только две: Яхонтова и Сикорская. А я — злилась: как это несправедливо. Один против всех, а его — ругают. Тогда уж я сама написала вам, что понимаю вас и что вы — спасли Россию...

Она озабоченно разглядывает заусеницу на указательном пальце, лижет палец языком и всё говорит, скучно, как дождь, а Паморхов, покачивая ее на руках, как ребенка, смотрит в пол, через нее, и бормочет:

— Ах ты, искорка моя золотая...

— Слышите — звонок! Это доктор...

Соскочив на пол, она уходит мелкими шагами, большой старый человек смотрит вслед ей, сморщив брови, мигая, и ворчит:

— Она не меня любит... разумеется! Чёрт ее знает, кого это она любит... Ну что ж? Я — всё знаю, но — ничего не вижу...

Он встает и, грозно сдвинув брови, глядя в зал, рычит:

В час, когда ночные тени  
Тихо лягут на поля...

— Бон суар, доктёр! <sup>1</sup>

Доктор Рушников — мужчина высокий, тонкий, с подстриженными усами и темной бородкой клинышком; виски у него седые, в бороде под губою тоже серебряный язычок. Лоб выпуклый, а нижняя челюсть коротка, от этого кажется, что доктор понурил голову, хотя он держит ее прямо и весь напряженно, как бы вызывающе прям. Его узкие, глубоко посаженные глаза скошены, он смотрит на всё недоверчиво и словно из-за угла.

— В чем дело? — спрашивает он сухоньким баском, грея руку у камина, где яростно трещат дрова, брызгая искрами.

---

<sup>1</sup> Добрый вечер, доктор! (*Франц.*).

— Задыхаюсь, брат...

— На то и астма. А печень?

— Ничего, но вот сердце...

Доктор притиснул бородку ладонью, загнул ее к носу и внимательно рассматривает, а Паморхов, сидя в кресле, рассказывая о себе, смотрит на него жалобно вытаращенными глазами и улыбается, эта улыбка еще более расширяет его отекавшее лицо.

— Так, — говорит доктор.

Он ходит по комнате журавлиным шагом, отчетливо постукивая каблуками. Полы шуртук, развеваясь, показывают длинные, тонкие ноги.

Стекла в окнах стали мутно-синими, на паркете пола трепещут отсветы огня, из камина выскакивают золотые искры, и доктор говорит, указывая на них глазами:

— Еловые дрова не годятся для камина!

Хозяин обиженно молчит с минуту, за окном пошвыстывает ветер.

— Вот ты велел снять драпри, комната стала нежилой...

— Пыли меньше.

— Я тебе рассказываю, что чувствую, а ты молчишь...

— Думаю.

Входит Капитолина, одетая в тяжелое платье из бархата какого-то пивного оттенка.

— Здравствуйте, — кивает она доктору пышно причесанной головкой, ее невинные глаза смущенно хмурятся.

Доктор жмет ей руку и спрашивает, глядя в сторону:

— Как живем?

— Прекрасно. Я сказала, чтобы обед подали здесь...

Она тотчас исчезает, а Паморхов смотрит в лицо доктора.

— Э-с?

— Н-да, цветет...

— Она, брат, любит меня...

— Ты спрашиваешь?

— Нет, я знаю.

Доктор снова шагает, равнодушно говоря:

— Выдумала она тебя.

— Что? — сердито восклицает Паморхов. — Как это — выдумала?

— А как всегда: мы выдумываем их, они нас...

— Ну, это, брат, плоско! И ты врешь...

Толстая рябая горничная вносит поднос с посудой и бутылками вина.

— Тише! — сердито кричит Паморхов и вдруг улыбается, невнятно говоря:

— Я всё знаю, но ничего не вижу...

— Как? — спросил доктор, прислушиваясь.

— Какие же новости в городе? — спрашивает Капитолина, снова входя.

— Дьякон скоро помрет.

— Ах, боже мой! Это вы нарочно, чтобы позлить меня?

— Какие же новости могут быть у врача? Ну, Головиха собирается родить.

— Садитесь, пожалуйста...

— Опять дождик, — бормочет Паморхов, наливая себе херес. — Будемте, господа, веселее, чёрт возьми мою наружность.

Доктор глотает водку, говоря:

— Ну, это уж напрасно — вино для тебя вредно!

— Яд, знаю!

— Как хочешь...

Капитолина прилежно кушает и сладостно вздыхает от удовольствия. Доктор ест неохотно, как будто брезгливо; Паморхов, отщипывая кусочки пшеничного хлеба, глотает их, точно вороп, и, покашливая, наливает себе еще вина.

— Все-таки должны быть новости! — говорит Капитолина, откидываясь устало на спинку кресла. — Вы читаете газеты, ходите в собрание.

— Молодая вы, вот вам и кажется, что должны быть новости, — цедит доктор сквозь зубы, искоса заглядывая в глубокий вырез платья на груди женщины. Лицо Паморхова блаженно тает, но глаза его, отражая огонь камина, блестят жутко, безумно. Он судорожно проводит пальцем по серебряной щетине верхней губы и, глотнув вина, каждый раз сладко жмурится.

На столе — кофейник, синее пламя спирта колыхается под красною медью.

— А что, если я — сигарну? Э-с?

— Это очень вредно тебе, — равнодушно говорит доктор, закуривая.

Серая улыбка расплывается по плюшевому лицу Паморхова, он вздыхает, покачивая головой, и гонит ладонью дым сигары в лицо себе.

— Ты, брат, удивительно сух! Как ты жил? Не понимаю...

— Жил, как все, — скверно.

— Как все? Ну, нет... я жил не скверно... нет! Я, брат, еще отроком чувствовал себя уже... как это сказать?

— Ах, говорите без вопросов, — просит женщина, наливая себе коньяк в маленькую рюмку на длинной ножке.

— Это невозможно, Капочка! Накапай и мне коньячку — можно?

Доктор молча приподнял плечи и брови.

— Предо мной всю жизнь горели вопросы, как свечи пред иконой, — хорошо сравнение, доктор?

— Кошунственно.

— А тебе что?

— Истории о живых людях так интересны, и понимаешь их лучше, чем книги, но эти вопросы ужасно путают всё, — говорит Капитолина.

— Подожди! — воскликнул Паморхов. — Ты говоришь, доктор, что меня выдумали, что я сам себя выдумал... Это — вздор! Я себя — знаю. В сущности, я превосходный человек...

— Это... неожиданно! — сказал доктор, с любопытством взглянув на хозяина. — А впрочем, продолжай...

— И буду. Очень жаль, что никто не догадался вовремя, какой я интересный человек, какой оригинал, — торопливо и задыхаясь говорит Паморхов.

За окном темно. В сумраке комнаты, в углу неприятно выделяются изломанные очертания филодендрона, воздушные корни, точно длинные черви, черные листья, как уродливые ладони с расплюсченными пальцами.

— Еще в отрочестве, — тяжело кипят слова хозяина, — меня, так сказать, взял в плен вопрос — почему нельзя? И я всю жизнь пытался найти последнее нельзя, дальше которого — некуда идти...

Доктор искоса, сквозь дым смотрит в лицо хозяина внимательно и недоверчиво, взглядом следователя, а Капитолина, глядя в огонь, дремотно улыбается.

— Мои якобы безобразия — только попытки понять — а почему нельзя?

— Ты что читаешь? — спросил доктор.

— Читаю? — удивился Паморхов, но, тряхнув головою и хрипло смеясь, сказал: — Ага, ты думаешь, что я из книг? Ну, брат, я не глупее писателей...

— Продолжай, — попросил доктор, спокойно вытягивая ноги к огню. — Только не философствуй. Факт — выше философии.

— Я иду к фактам... Мне, брат, сегодня хочется говорить про себя — это мое право!

Он угрожающе выкатил глаза, багровое лицо его возбужденно лоснилось; глядя через плечо доктора в сумрак зала, он покачивался и говорил:

— В юности я был очень дерзок, может быть — зол, В зубах разных «нельзя» не почувствуешь себя добреньким, а? То-то! У инспектора гимназии жила девчонка, лет пятнадцати, года на два моложе меня — какая-то дальняя родственница; инспектор держал ее в позиции горничной, хотя она тоже училась, гимназистка. Однажды, во время большой перемены, я вижу — ее обнимает в сарае некий семиклассник, эдакая, знаешь, революционная шишка, эдакий... Чернышевский, что ли. Ну, нигилист и... вообще я его не любил. Его фамилия — Брагин, Павел Брагин...

Доктор поднял брови, вынул сигару изо рта, как будто желая спросить о чем-то, но промолчал.

— Весна, девушка, мне — девятнадцать лет, я был солидно осведомлен по амурной части, а тут еще — человек противный. Почему же он может, а мне — нельзя? Изо всего этого в сумме получился скандал, чёрт их возьми! Зная, что девушку держат строго, я поймал ее и предъявил серьезные требования, а иначе, говорю, ваше дело — швах! Я был парень видный,



и меня очень удивило, что она заартачилась, мы поссорились, и нечаянно я разорвал ей кофточку на груди. Конечно — крик, люди, заседание педагогического совета, и меня — исключили... да. А этот осёл — остался.

— Брагин? — спросил доктор.

— Ну да.

— А девочка? — спросила Капитолина.

— Ей, вероятно, пришлось солоно... Я тогда же перебрался в юнкерское...

Он нахмурился, задумавшись, сердито оттопырив губы. Потом налил коньяку, выпил и пошел к двери, шаркая туфлями.

Взглянув на его отражение в зеркале, женщина, краснея, опустила глаза, доктор взял ее руку и потянул к себе, она, покорно склоняясь, прошептала:

— Ой, не надо...

Не спеша, властно, доктор прижался губами к ее губам, потом встал и начал шагать, громко стуча каблуками.

— Зачем ты позволяешь ему пить? — тихонько спросила женщина.

— А тебе не всё равно?

— Ночью у него будет припадок, я не люблю возиться...

— Скоро конец.

— Фи, как ты говоришь!

— Как?

— Странные вы, мужчины...

— Да?

— Страшные...

— Вот как...

Капитолина закинула руки за голову и сказала вполголоса:

— А ты, ты — положительно способен на преступление.

Доктор взглянул на нее, говоря:

— Испортила ты себе голову разным вздором. Ну что ж, напишет он завещание в твою пользу, да?

— Не знаю...

— Если ты не сумеешь заставить его написать заве-

щание — будет глупо. Что ты будешь делать, когда он умрет?

— С тобой жить.

— А жену — отравить прикажешь?

Капитолина засмеялась тихонько:

— Ты — удивительный! Ты даже и говоришь, как преступник...

— Слушай,— сердито сказал доктор, глядя в зеркало, где отражалась дверь,— если ты не сумеешь обеспечить себя...

— Ах, перестань! Ну, сделаюсь кокеткой — это очень интересно, почитай-ка...

— Вздор!

— По-твоему, и madame Дюбарри — вздор? И Диана де Пути? — спросила женщина.

Доктор, загнув бородку к носу, молчал, а она говорила с удивлением:

— Просто ужас, какой ты невежда, как мало знаешь историю и женщин... Когда мы будем жить вместе, я тобою займусь. Нужно читать, а то и говорить не о чем, согласись...

В стекла бил дождь. Сухо скрипел паркет под ногами доктора. Отражение огня, ползая по ножкам стола, странно оживляло его, казалось, он раскачивается и сейчас тоже пойдет по комнате, звеня рюмками и стаканами.

— Я попробую поговорить с ним о завещании,— говорил доктор.— Но он относится ко мне подозрительно. Он сильно болен. Следовало бы его уложить...

Усмехаясь, Капитолина сказала:

— Уложить — это говорят преступники. Я его уложил, уложу...

Пошатываясь и мыча, вошел Паморхов, высоко подняв брови, прислушиваясь и спрашивая:

— Вы — о чем?

— Капитолине Викентьевне необходим массаж, если она не хочет полнеть.

— Да, я не хочу. Уж я и так кубышка...

— Э-с,— сказал Паморхов, опускаясь в кресло,— массаж, да... Не перейти ли в гостиную?

— Здесь больше воздуха,— заметил доктор.— И во

всех хороших романах беседуют у камина — так? — спросил он женщину.

Она кивнула головой.

— Что же ты хотел сказать этой историей с девушкой? — спросил доктор, усаживаясь против хозяина.

Паморхов усмехнулся, оглядываясь, и, помолчав, сказал:

— Да, я понимаю, что не вышло у меня. Я хотел рассказать что-то благородное, героическое, а вышло — озорство... Тут пропущены детали, вот в чем дело... Детали — это иногда самое главное...

Он задумался, опустив голову.

— Может быть, ты ляжешь отдохнуть? — спросил доктор.

— Да... со временем, — ответил Паморхов и снова замолчал.

Ветер шаркает по стене дома, стучат болты ставен, гудит в трубе. По большой пустынной комнате, в сумраке ее, торопливо растекается сиповатый, угрюмый голос.

— Я — революционер, повыше сортом этих, обычных, цеховых! Они передвигают с места на место внешнее, хотят переместить центр власти... как-то там расширить власть, раздробить... Это штука ординарная, механическая! А я старался расширить пределы запрещенного в самых основах жизни, в морали... и прочее там... Против каждого «нельзя» я ставил свое — «почему?» Я, так сказать, мирный воин... Жизнь — странная штука. Это, кажется, Достоевский сказал. Или — Гоголь? «С холодным вниманьем посмотришь вокруг — жизнь странная штука». Можешь представить — выхожу я из училища в полк, а этот гусь, Брагин, там же! Чёрт знает что... оказывается, кончил медицинскую академию и служит младшим врачом... пользуется вниманием, уважением, да...

— Ну — что же? — спросил доктор.

— Ничего. Зачем нам встречаться, а? Говорят — мир велик.

— Ты, кажется, что-то устроил ему?

Паморхов сердито взглянул на доктора, спросив:

— Почему ты знаешь?

— Я встречал его. Вместе жили в Вологде.

— Ну? Он сослан был?

— Да!

— Гм... Какой же он?

— Хороший врач. Пил сильно...

— Пил? Э-с... Удивительно — все встречаются...

Он рассказывал про меня?

— Нет. Впрочем, не помню...

— Рассказывал, значит...

Капитолина сидит, неподвижно глядя перед собою, точно спит с открытыми глазами. Лицо ее сильно покраснело, рот полуоткрыт, она дышит бурно; косые глаза доктора уперлись в грудь ее и точно прижимают к спинке кресла.

— Факты! — бормочет Паморхов, наливая коньяк. — Собственно говоря, я растратил себя по мелочам. Кажется — жил, жил, и даже очень, а вот вспоминаешь — и всё хлам, пустяки всё... И как будто нет, не было фактов, а только одна философия... Чёрт возьми мою наружность!

— Ты бы лег, в самом деле...

— Не хочу, — грубо говорит Паморхов, оглядывая комнату. — Капочка, прикажи зажечь огонь, что тут за погреб! И этот дурацкий цветок... когда висели драпри, он не лез в глаза так... нахально!

Капитолина протянула руку к звонку на столе, но не достала его и, бессильно уронив руку на колени, улыбнулась сонно.

— Не хочется света... так уютнее!

Паморхов хрюкнул и снова заговорил:

— Это, говорят, нехорошо, но я не люблю честных людей, так называемых передовых и честных. В некрологах всегда пишут: «Это был человек передовой и честный». Они меня раздражают... чёрт их знает чем, но — нестерпимо! Был еврей, держал лабораторию для исследований каких-то... ну, вообще химик! Чахоточное такое существо, глаза огромные и, знаешь, эдакие... с выражением затаенной муки, как пишут в стихах. С упреком всему миру и мне. Мне особенно! Все дудят о нем: честнейший человек, святая душа... Невыносимо!

Я живу на одной улице с ним, встречаемся... Идет гулять с детьми, девочка у него — превосходная девочка, такая, брат, красавица, лет семнадцати... Два мальчика... Бывало, встречу его, и даже дрожь пройдет, — ах ты, думаю, козявка! И не потому, что он еврей, а так, вообще раздражает...

— Ну, чем же кончилось? — тихо спросил доктор.

— Погубила его химия... знаешь, седьмой год, тогда не церемонились...

Паморхов помолчал, вздохнул и спросил глухо:

— По-твоему, злой я или нет?

— Вероятно, нет, — сквозь зубы сказал доктор.

— Нет?

— Но бываешь не злой, а хуже злого.

— Хуже, да?

— Ты очень возбужден, иди, отдохни, советую...

— Не хочу же! Д-да... так вот, всё у меня на пустяки и пошло. Бабы, конечно... Это, брат, вопросище — бабы, а? Капочка, я не про тебя... ты дана мне судьбой не в наказание, а в награду.

— Что ж, — сказал доктор медленно и неохотно, — и за грехи должна быть награда. Грешить не легко, когда занимаешься этим серьезно.

— Э-с, — вскричал Паморхов и хрипло засмеялся, — я грешил серьезно! Забавные бывали истории. Был у меня приятель, товарищ прокурора Филиппов, удивительно остроумная скотина... Мы с ним на пари гимназистку одну травили, кто первый? Изящная такая гимназисточка, дочь учительницы, француженки... рахат-лукум! Досталось мне. И триста рублей выиграл. Плакала, конечно, просила — женись, говорит! Я говорю: «Mademoiselle, надо было вести себя осторожно!..» А у Филиппова была пассия, жена одного судейского, дама с нервами и принципами...

Паморхов задохнулся, схватившись за ручки кресла, и неожиданно громко сказал:

— Сейчас...

— Что? — спросил доктор, глядя в камин, но Паморхов продолжал торопливо, точно сбрасывая с себя воспоминания:

— М-монархистка, проповедовала и даже писала

что-то, печатала... Надоела ему. «Хочешь пошутить?» — спрашивает. Пошутили, знаешь... Пригласил он ее к себе и меня... подпоил... я... Ах... ну, знаешь, мы смеемся... Едва удержался я в городе...

— Брось-ка ты всё это,— заговорил доктор, наклонясь и разбивая головню в камине.

Паморхов повернул к нему синее, вздувшееся лицо, оно ошетинилось и дрожало. Ухватившись пухлыми пальцами за ручки кресла, он покачивался, вздыхая, как загнанная лошадь. Зрачки его вытаращенных глаз расширились и потускнели, белки налились кровью, он словно прислушивался к чему-то, испуганно и жутко.

Стряхнув дремоту, Капитолина прижала пальцами глаза и спросила:

— Ну, что ж дальше?

Паморхов засопел, рознял руки и, взмахнув ими, повалился на пол, вперед головой.

— Чёрт! — вскричал доктор, вскакивая, но не успев поддержать падавшего.

Женщина, открыв рот, упираясь руками в стол, медленно, точно приподнимая тяжесть, вставала, спрашивая шёпотом:

— Он, уже? Неужели?..

— Позови людей,— тихо сказал доктор.

— Господи, неужели...

Паморхов дергал ногой, толкая стол, звеня бутылками, и вытягивался на полу, освещаемый танцующим огнем камина.

— Говорил я тебе,— заставь написать духовную,— сердито бормотал доктор, поднимая с пола тяжелую голову Паморхова.

— Не смейте об этом! — крикнула женщина, топнув ногой, и убежала.

Положив на колено себе голову Паморхова, доктор отвернулся в сторону от синего лица с высунутым языком и туго налитыми кровью торчащими ушами. Один глаз Паморхова был закрыт, другой выпученно смотрел в сторону зеркала, а верхняя губа мелко дрожала, сверкая серебром волос.

— Кондратий стукнул,— сказал доктор сердито и озабоченно, но когда ему не ответили, поднял голову

и оглянулся. В стекле зеркала, ниже подзеркальника, он увидал себя и больного, два тела плотно слепились в бесформенную кучу, доктор съежился и быстро спустил голову Паморхова с колена на пол.

Вбежали двое мужчин, горничная, Капитолина, впятером они подняли тяжелое, расплывшееся тело и, громко топая, вынесли его. Капитолина, открыв рот, пошла за ними, в дверях остановилась, оглядывая комнату, и вдруг — взвизгнув, точно ее кто-то ударил, выскочила вон.

Трещал и шелестел огонь, отражения его дрожали на паркете жирными пятнами кипящего масла. Однотонно ныл дождь за окнами, в глубине дома возились, визжали, чей-то голос глухим басом крикнул:

— Беги в погреб... лёду тащи...

В пустой темной комнате вздохнуло эхо.

## ВОРОБЬИШКО

У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь — живет своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое божий мир и годится ли он для него?

— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хватался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив, чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

«Чем чванятся — червяка с ножками дали — чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо, — беспокоилась мать, — смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем? — спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадешь на землю, кошка — чик! и — слопает! — обьяснял отец, улетаая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер — Пудик спрашивает:

— Что, что?



— Ветер дунет на тебя — чирк! и сбросит на землю — кошке! — объяснила мать.

Это не понравилось Пудик, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идет мимо бани мужик, махает руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка, — сказал Пудик, — одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые! — сказала воробьяха.

— Почему?

— У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...

— Чушь! — сказал Пудик. — Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.

Пудик не верил маме; он еще не знал, что, если маме не верить, это плохо кончится.

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

Эх, бескрылый человек,  
У тебя две ножки,  
Хоть и очень ты велик,  
Едят тебя мошки!  
А я маленький совсем,  
Зато сам мошек ем.

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьяха за ним, а кошка — рыжая, зеленые глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь...

А воробьяха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...

Страх приподнял с земли воробышку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, раз, и — на окне!

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж! — сказал Пудик. — Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробыхины перья, смотрит на них — рыжая, зеленые глаза — и сожалительно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста...

## СЛУЧАЙ С ЕВСЕЙКОЙ

Однажды маленький мальчик Евсейка, — очень хороший человек! — сидя на берегу моря, удил рыбу.

Это очень скучное дело, если рыба, капризная, не клюет. А день был жаркий; стал Евсейка, со скуки, дремать и — бултых! — свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывет тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг — очень хорошо!

Ползет не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут-качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, и над ее тяжелым щитом играют две маленькие зеленые рыбешки, совсем как бабочки в воздухе, и вот по белым камням везет свою раковину ракотшельник. Евсейка, глядя на него, даже стих вспомнил:

Дом, — не тележка у дедушки Якова...

И вдруг, слышит, над головою у него точно кларнет запищал:

— Вы кто такой?

Смотрит — над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно ее уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

— Это вы говорите? — спросил Евсей.

— Я-а...

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

— Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

А сам думает:

«Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается: плавает вокруг него разноцветная игривая рыбешка и — смеется, разговаривает:

— Смотрите-ко! Вот чудище приплыло: два хвоста!

— Чешуи — нет, фи!

— И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

— Хорош-хорош!

Евсейка обиделся:

«Вот нахалки! Будто не понимают, что пред ними настоящий человек...»

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

Под камнями рак живет,  
Рыбий хвостик рак жует.  
Рыбий хвостик очень сух,  
Рак не знает вкуса мух.

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

— Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!  
«Серьезный какой», — подумал Евсейка.

Большая же рыба пристаёт к нему:

— Откуда это вы взяли, что все рыбы — немые?

— Папа сказал.

— Что такое — папа?

— Так себе... Вроде меня, только — побольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый...

— А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест! Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зеленое небо и солнце в нем, желтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

— Нет, он не ест рыбы, костлявая очень...

— Однако — какое невежество! — обиженно вскричала рыба. — Не все же мы костлявые! Например — мое семейство...

«Надо переменить разговор», — сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

— Вы бывали у нас наверху?

— Очень нужно! — сердито фыркнула рыба. — Там дышать нечем...

— Зато — мухи какие...

Рыба оплыла вокруг его, остановилась прямо против носа да вдруг и говорит:

— Мух-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается! — подумал Евсейка. — Съест она меня, дура!»

И, будто бы беззаботно, ответил:

— Так себе, гуляю...

— Гм? — снова фыркнула рыба. — А может быть, вы — уже утопленник?

— Вот еще! — обиженно крикнул мальчик. — Нисколько даже! Я вот сейчас встану и...

Попробовал встать, а — не может: точно его тяжелым одеялом окутали — ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать», — подумал он, но тотчас же сообразил, что, плачь не плачь, в воде слез не видно, и решил, что не стоит плакать, — может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг — господи! — собралось разных морских жителей — числа нет!

На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросенка, и шипит:

— Желаю с вами познакомиться поближе...

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит, — укоряет Евсейку:

— Хорош-хорош! Ни рак, ни рыба, ни моллюск, ай-я-яй!

— Погодите, я, может, еще авиатором буду, — говорит ему Евсей, а на колени его влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

— Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики, одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки, — запутались в волосах и дергают их.

«Ой, ой, ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мамаша сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы — множество! — поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные, как алгебра, бормочут:

Как он может жить на свете без усов и чешуи?  
Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить хвосты свои!  
Не похож он ни на рака, ни на нас — весьма во многом!  
Не родня ли это чудо безобразным осьминогам?

«Дуры! — обиженно думает Евсейка. — У меня по русскому языку в прошлом году две четверки было...»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но — оказалось — нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

— Нравится вам у нас?

— Нет... то есть — да, нравится... У меня дома... тоже очень хорошо, — ответил Евсей и снова испугался: «Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть...»

Но вслух говорит:

— Давайте как-нибудь играть, а то мне скучно...

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

— Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!

— Поплывемте наверх! — предложил Евсей.

— Зачем? — спросила рыба.

— А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, — мухи.

— Мух-хи! Вы их любите?..

Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

— Да...

— Ну что ж? Поплывем! — сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цап ее за жабры и кричит:

— Я — готов!

— Стойте! Вы, чудище, слишком засунули свои лапы в жабры мне...

— Ничего!

— Как это — ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

— Господи! — вскричал мальчик. — Ну, что вы спорите всё? Играть, так играть...

А сам думает:

«Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уже я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поет во всю мочь:

Плавниками трепеща,  
И зубаста, да тоща,  
Пищи на обед ища,  
Ходит щука вокруг леща!

Маленькие рыбешки кружатся и хором орут:

Вот так штука!  
Тщетно тщится щука  
Ущемить леща!  
Вот так это — штука!

Плыли,плыли, чем выше — тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух.

— Ой!

Смотрит — ясный день, солнце играет на воде, зеленая вода заплескивает на берег, шумит, поет; Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

— Ух! — сказал он, улыбаясь солнцу, — вот я и вынырнул.

## САМОВАР

Было это летней ночью на даче.

В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо, горячо распевая:

Замечаете ли, чайник, что луна  
Чрезвычайно в самовар влюблена?

Дело в том, что люди забыли прикрыть трубу самовара тушилкой и ушли, оставив чайник на конфорке; углей в самоваре было много, а воды мало — вот он и кипятился, хвастаясь пред всеми блеском своих медных боков.

Чайник был старенький, с трещиной на боку, и очень любил дразнить самовар. Он уж тоже начинал закипать; это ему не нравилось, — вот он поднял рыльце кверху и шипит самовару, подзадоривая его:

На тебя луна  
Смотрит свысока,  
Как на чудака,—  
Вот тебе и па!

Самовар фыркает паром и ворчит:

Вовсе нет. Мы с ней — соседки,  
Даже несколько родня:  
Оба сделаны из меди!  
Но она — тусклой меня,  
Эта рыжая лунишка,—  
Вон на ней какие пятна!



Ах, какой ты хвастунишка,  
Даже слушать неприятно!

— зашипел чайник, тоже выпуская из рыльца горячий пар.

Этот маленький самовар и вправду очень любил хвастаться; он считал себя умницей, красавцем, ему давно уже хотелось, чтоб луну сняли с неба и сделали из нее поднос для него.

Форсисто фыркая, он будто не слышал, что сказал ему чайник,— поет себе во всю мочь:

Фух, как я горяч!  
Фух, как я могуч!  
Захочу — прыгну, как мяч,  
На луну выше туч!

А чайник шипит свое:

Вот извольте говорить  
С эдакой особой.  
Чем зря воду-то варить,  
Ты — прыгни, попробуй!

Самовар до того раскалился, что посинел весь и дрожит, гудит:

Покиплю еще немножко,  
А когда наскучит мне,—  
Сразу выпрыгну в окошко  
И женюся на луне!

Так они оба всё кипели и кипели, мешая спать всем, кто был на столе. Чайник дразнит:

Она тебя круглей.

Зато в ней нет углей,

— отвечает самовар.

Синий сливочник, из которого вылили все сливки, сказал пустой стеклянной сахарнице:

Всё пустое, всё пустое!  
Надоели эти двое!

И света и тьмы не зная и боясь ни,  
 Рядом с его-светилами и молотом  
 Святи и диме, и коас ему не бо гогоит  
 А што тлом легко вид мотной фотии!..

Тузичкина - ворадовалася, коас аетас. Во фа  
 вает по атиому и звенит:

- Ах, што аетас тино!  
 Што аетас аетно-  
 ед-ва аетине галина!  
 Ах, как интересно!

Но туичи - крак! - разваелиас самоваро на  
 и часом, бако его ао туичаси аетии на коасом,  
 крак туичинас вь паццу и разонит гетрфе  
 ао кривкой вьацуаеас вберхь, ковоаоас-поа  
 паоас и чьаоа ко бака, аиоаоаи аиоаоаи  
 туичу, туичинас вьацуаеас на тоам, завресеа  
 фом, небугаааине, поаии, а аокаринна, ии  
 ато не воеа, аиоаеа и коаа:

- Мичи-баи самоварь  
 Маленский во ташин  
 Но адиоади не арикраи  
 Самоварь туичинвой.

В аиь во аети аиоаой фотии,  
 А воеи-не аиоао,-  
 Рааааи самоварь!  
 Туича аиу и аароги,  
 Туича и во-ро-го-а-!

М. Гарокин

Тор аети ариоааеас кодрети аитор  
 ао коасом и вь ааоаоаи.



«САМОВАР».  
 Страница автографа.

Да, их болтовня  
Раздражает и меня,

— ответила сахарница сладеньким голосом. Она была толстая, широкая и очень смешлива, а сливочник — так себе: горбатенький господин унылого характера с одной ручкой; он всегда говорил что-нибудь печальное.

— Ах, — сказал он, —

Всюду — пусто, всюду — сухо,  
В самоваре, на луне.

Сахарница, пожившись, закричала:

А в мезя залезла муха  
И щекочет стенки мне...  
Ох, ох, я боюсь,  
Что сейчас засмеюсь!  
Это будет странно —  
Слышать смех стеклянный...

— невесело сказал сливочник.

Проснулась чумазая тушилка и зазвенела:

Дзинь! Кто это шипит?  
Что за разговоры?  
Даже кит ночью спит,  
А уж полночь скоро!

Но, взглянув на самовар, испугалась и звенит:

Ай, люди все ушли  
Спать или шляться,  
А ведь мой самовар  
Может распаяться!  
Как они могли забыть  
Обо мне, тушилке?  
Ну, придется им теперь  
Почесать затылки!

Тут проснулись чашки и давай дребезжать:

Мы скромные чашки,  
Нам всё — всё равно!  
Все эти замашки  
Мы знаем давно!

Нам ни холодно, ни жарко,  
Мы привыкли ко всему!  
Хвостун самоварко,  
И не верим мы ему!

Заворчал чайник:

Ф-фу, как горячо,  
Жарко мне отчаяно.  
Это не случайно,  
Это чрезвычайно!

И — лопнул!

А самовар чувствовал себя совсем плохо: вода в нем давно вся выкипела, а он раскалился. кран у него отпаялся и повис, как нос у пьяного, одна ручка тоже вывихнулась, но он всё еще храбрился и гудел, глядя на луну:

Ах, будь она ясней,  
Не прячься она днем,  
Я поделился б с ней  
Водою и огнем!  
Она со мной тогда  
Жила бы не скучая,  
И шел бы дождь всегда  
Из чая!

Он уж почти не мог выговаривать слов и наклонился набок, но всё еще бормотал:

А если днем она должна ложиться спать,  
Чтоб по ночам светлей сияло ее донце,—  
Я мог бы на себя и днем и ночью взять  
Обязанности солнца!  
И света и тепла земле я больше дам,  
Ведь я его и жарче и моложе!  
Светить и ночь и день ему не по годам,—  
А это так легко для медной рожки!

Тушилка обрадовалась, катается по столу и звенит:

Ах, это очень мило!  
Это очень лестно —  
Я бы солнце потушила!  
Ах, как интересно!

Но тут — крак! — развалился самовар на кусочки, кран клюкнулся в полоскательную чашку и разбил ее, труба с крышкой высунулась вверх, покачалась-покачалась и упала набок, отколов ручку у сливочника; тушилка, испугавшись, откатилась на край стола и бормочет:

Вот смотрите: люди вечно  
Жалуются на судьбу,  
А тушилку позабыли  
Надеть на трубу!

А чашки, ничего не боясь, хохочут и поют:

Жил-был самовар,  
Маленький, да пылкий,  
И однажды пе прикрыли  
Самовар тушилкой!  
Был в нем сильный жар,  
А воды немного;  
Распаялся самовар, —  
Туда ему дорога,  
Туда и до-ро-га-а!

## ПИСЬМО

Душной ночью, в купе вагона, мой сосед, маленький нервный человек, рассказал мне странную историю.

Покашливая и задыхаясь, он закинул тонкие руки за голову, вытянулся на нижней койке, полуголый, точно ограбленный; а я смотрел сверху на его худенькое лицо, в темные, тревожно открытые глаза и слушал тусклый голос, минорные слова:

«Это было в мае, цвела черемуха, гудели пчелы, качаясь на цветах.

«Я подошел к берегу реки, — со скамьи, под липой, быстро встала женщина в белом платье и пошла прочь от меня по запущенной дорожке парка, по золотым пятнам солища; идет и оттирает на ходу глаза концом газового шарфа.

«Маленькая, стройная, она была похожа на девочку, и я знал, что она плачет, — я уже видел ее однажды на этой скамье, она сидела и плакала, читая измятое письмо. Знал я и причину ее слез: она — вдова, увлеклась журналистом, он изменил ей; вот и всё. Мимолетный роман зимнего сезона, — стоит ли об этом плакать?»

«Тогда, в первый раз, смущенный, я незаметно для нее и тихо спустился под гору, к реке, но мне было досадно за нее, — нелепо плакать в мае. И теперь — вторично; я снова почувствовал острый прилив досады: день был великолепен, парк пронизан золотом солнечных лучей, насыщен сладкими запахами весны, воздух — как вино. В пышной зелени берегов полосой синего бархата лежит река; в траве у берега блестят ленивые струйки, всё так ласково, тихо, а женщина — в слезах. В этой певучей тишине нужно думать о ра-

достях, в такие праздничные дни рождаются надежды на счастье».

Закрыв глаза, он помолчал, продолжая шевелить губами; потом, слепой и сердитый, заговорил ворчливо:

«Ненавижу страдание, злую обезьяну, которая, кривляясь, насыщает жизнь болезненными фантазиями! Отвратительно болтливое, богатое мутной ненавистью ко всем радостям жизни, оно завистливо ненавидит красоту... и, подобно скользкому осьминогу, выпускает на всё грязную злость, чтобы скрыть в ней свое безобразие и ничтожество. Орет, визжит оно, как бездарный актер, который способен лживой декламацией исказить и оболгать все чувства людей».

Он вскочил, словно укушенный, встал на ноги и, неприятно усмехаясь, продолжал говорить прямо в лицо мне:

«Уходит эта женщина всё дальше, дальше, ее уже не видно за поворотом дорожки, только между деревьев облаком плывет ее белое платье. Я сел на скамью, где сидела она, и — вдруг вижу в траве это глупое письмо, над которым она плакала.

«Я даже испугался, — должно быть, потому, что сразу почувствовал — сделаю нелепость! В следующую минуту я поднял письмо, положил его на лавку рядом с собою, зажег спичку, — бумага расцвела желтым цветком и нехотя сгорела. По черной кучке пепла быстро пробежали красные змейки, потом пепел посерел и на нем явились черные узоры слов. Я наблюдал всё это внимательно и злорадно. Не помню, что я думал в эту смешную минуту, — ну да, я знаю, — тут всё смешно! Но, пожалуй, я ничего не думал, а просто смотрел на пепел и, помню, почему-то боялся, как бы он не улетел со скамьи».

Человек торопливо закурил папиросу. Синий свет ночной лампы освещал это детское лицо; нос, удлинённый тенью, печально вытянулся.

«Вдруг — слышу шорох шагов, взглянул — недалеко от меня остановилась эта женщина и тоже смотрит на пепел. Я встал, снял шляпу. — „Извините, — сказала она негромко, но как-то требовательно, — я, кажется, оставила здесь...“ — „Ваше письмо сожжено“, — сказал

я, указав на пепел, и услышал в ответ ее нервный возглас: — „Это очень... странно“. Она круто повернулась, пошла и, снова остановясь, сказала резко: — „Это больше чем странно! Ведь вы же видели, что я сидела тут... Стыдитесь, сударь!..“ — И — ушла. Ушла. Я долго смотрел вслед ей, не надевая шляпы».

Он нервно засмеялся и лег на койку, а через минуту спросил меня:

— Вы думаете — это поступок юноши? Это случилось в прошлом году, в конце мая. Мне сорок три. Да. Смешно?

— Не очень, — сказал я.

— Но все-таки... забавно...

Он долго лежал неподвижно, закрыв глаза, и мне казалось, что он уснул.

Мимо окна, плохо прикрытого занавеской, стремительно неслась предрассветная мгла, изрезанная огнями; мелькали деревья, мохнатые и черные; черным потоком лилась земля, качались, поднимаясь и опускаясь, проволоки телеграфа; в сердце этого бешеного движения скрипел и грохотал наш поезд.

Вдруг тусклый голос моего соседа снова прозвучал задумчиво, но четко:

«Удивительно милое лицо у нее и такие ясные, ясные глаза».



# МАЛЬЧИК

РАССКАЗ

Трудно рассказать эту маленькую историю, — она так проста.

Когда я был юношей, то по воскресеньям — весной и летом — я собирал детей нашей улицы и с утра уводил их в поле, в лес: мне нравилось жить в дружбе с маленькими людьми, веселыми, как птицы.

Дети были рады покинуть пыльные, тесные улицы города; матери снабжали их кусками хлеба, я покупал что-нибудь вкусное, наливал большую бутылку квасу и, как пастух, шел сзади беззаботных ягнят городом, полем, до зеленого леса, прекрасного и ласкового в уборе весны.

Мы почти всегда выходили из города утром, во время благовеста к ранней обедне, нас сопровождал звон колоколов и облака пыли, поднятые быстрыми ногами детворы.

В жаркий полдень, устав играть, мои товарищи собирались на опушке леса, потом, закусив, те, что поменьше, спали на траве в тени орешника и калины, а десятилетние молодцы, тесно собравшись вокруг меня, просили рассказать им что-нибудь, и я рассказывал им что-то, болтая так же охотно, как они сами болтали со мною. И часто, несмотря на всю самонадеянность юности и на присущую ей смешную гордость знаниями, я чувствовал себя ребенком среди мудрецов.

Над нами — синий покров вешнего неба, пред нами — в мудром молчании — богатое разнолесье; пробежит ветер, пронесется тихий шёпот, поколеблются душистые тени леса и снова благодатная тишина ласкает душу.

Белые облака медленно плывут в синеве неба; с земли, нагретой солнцем, небо кажется холодным, и странно видеть, что облака тают в нем.

Однажды, когда я выходил из города в поле с толпою детей, — навстречу нам вывернулся никому не знакомый мальчик — еврей, босый, в изорванной рубашке, чернобровый, тоненький и кудрявый, как барашек.

Был он чем-то взволнован и, видимо, недавно плакал, веки его матово-черных глаз опухли и покраснели, резко выделяясь на бледном до синевы, голодном лице.

Наткнувшись на толпу детей, он остановился среди дороги, крепко уперся ногами в прохладную утром пыль, темные губы его красивого рта испуганно полуоткрылись, — в следующую секунду он легким прыжком очутился на тротуаре.

— Держи его! — закричали дети весело и дружно. — Жиденок! Держи жиденка!

Я ждал, что он убежит, — его худенькое, большеглазое лицо выражало страх, губы дрожали, он стоял в шуме насмешек и странно вытягивался, точно вырастал, прижимаясь к забору плечами, спрятав руки за спину.

Но он вдруг сказал, очень спокойно, внятно и правильно:

— Хотите я вам фокусы покажу?

Я понял это предложение как способ самозащиты, а детей оно сразу заинтересовало и отодвинуло от него; только наиболее взрослые и грубые смотрели на маленького еврея недоверчиво и подозрительно: наша улица враждовала с детьми других улиц, наши ребятишки были крепко убеждены в каких-то своих преимуществах перед детьми других улиц и не любили, не умели замечать преимущества других детей.

Маленькие отнеслись к этому прощ:

— Показывай! — закричали они.

Красивый тоненький мальчик отступил от забора, изогнул назад свое худенькое тело, коснулся руками земли и, взметнув ноги, встал на руках, крикнув:

— Гоп!

И завертелся, как обожженный, легко и ловко играя своим телом.

Сквозь дыры его рубахи и штанишек просвечивала сероватая кожа худенького тела, острыми углами высовывались кости лопаток, колен и локтей. И ключицы его были точно удила.

Казалось, что вот он перегнется еще раз, и эти тонкие косточки хрустнут, ломаясь.

Он старался до пота, рубаха на спине его взмокла; сделав какое-нибудь упражнение, он заглядывал в лица детей с нарочитой, мертвой улыбкой, и неприятно было видеть его матовые глаза, — расширенные точно от боли, они странно вздрагивали, и много было во взгляде их недетского напряжения.

Ребятишки поощряли его шумными возгласами, многие уже подражали ему, кувыряясь в пыли, падая, вскрикивая от боли неловких движений, от неудач, успехов и зависти.

Но эти веселые минуты сразу исчезли, когда мальчик, перестав упражняться в ловкости, посмотрел на детей с благосклонной улыбкой опытного артиста и сказал, протянув тонкую руку:

— Теперь — дайте мне что-нибудь.

Все замолчали, кто-то спросил:

— Денег?

— Да, — ответил мальчик.

— Ишь какой!

— Мы бы за деньги-то и сами сумели...

Эта просьба вызвала у маленькой публики враждебное и пренебрежительное отношение к артисту, — дети пошли к полю, насмешничая и поругиваясь. Конечно — денег ни у кого из них не было, а у меня — только семь копеек. Я положил две монетки на пыльную ладонь, мальчик пошевелил их пальцем и сказал, хорошо улыбаясь:

— Благодарю...

Он пошел прочь, и я увидел, что рубаха на его спине вся в темных пятнах и прилипла к лопаткам.

— Постой, — что это?

Он остановился, обернулся, внимательно посмотрел на меня и с такой же хорошей улыбкой сказал четко:

— Это — на спине? Это мы упали с трапеции в балагане, — отец всё еще лежит, а я уже здоровый...

Я поднял рубаху — на коже спины с левого плеча вниз и к боку лежала широкая темная ссадина; она засохла толстым струпом, но во время упражнений струп лопнул в нескольких местах и теперь из трещин сочилась алая кровь.

— Сейчас уже не больно, — сказал он, улыбаясь, — не больно, а только чешется...

И мужественно, как подобает герою, взглянув в глаза мне, он продолжал тоном серьезного взрослого человека:

— Думаете — это я для себя работал? Честное слово — нет! Отец... у нас нет ни кусочка! А отец так разбился! Знаете — приходится работать. А тут еще — еврей мы, и все над нами смеются... До свиданья.

Он говорил с улыбкой, весело и бойко.

Кивнув мне кудрявой головою, он пошел очень быстро мимо глазастых домов, они смотрели на него стеклянными глазами равнодушно и мертво.

Это так незначительно и просто — не правда ли?

Но не однажды в жизни моей, в трудные дни ее, я с благодарностью вспоминал мужество мальчика.

И теперь, в эти скорбные дни страдания и кровных обид, падающих на седую главу древнего народа, — я вспоминаю мальчика, ибо в нем олицетворилось для меня именно мужество человека — не гибкое терпение раба, живущего неясными надеждами, а мужество сильного, который уверен в победе.

## ВСЁ ТО ЖЕ

### ПОВЕСТЬ

В начале октября, ранним утром, по дороге к городу Мямлину лениво виляла по выбоинам колеи деревянная телега, на ней между двух чемоданов качался, скорчившись и подремывая, молодой человек в сером пальто, измятой шляпе; боком к нему сидел растрепанный мужик в дырявом полушубке и тоже дремал, вздрагивая на толчках, тихо понукая лошаадь:

— Ну, тт-ы, у-ть!

В сером воздухе над холодной землей неподвижно висело осеннее безмолвие.

Маленькая шершавая лошааденка втащила телегу по мерзлой грязи на вершину холма, уперлась дрожащими ногами в землю, посоленную инеем утренника, тяжело задышала и окуталась паром. Ее встрепанный хозяин соскочил на землю, прихрамывая, зашел вперед, вытер полою армяка пену с морды лошади, поглядел вдаль, вниз и глухо сказал, протягивая туда чугунную руку:

— Вот он, Мямлин...

В котловине, ограниченной лесом, среди седых покосов, зеленых кочьев озими и темных пашен, тесно сучились вокруг трех церквей приземистые домики, и по их бугристой массе, как по грязной коже нищего, красными и желтыми нарывами поднимались пятна каменных домов. Курилась синеватая река, окружая город полукольцом, и уходила по лугам в лес, скупно расцвеченный желтыми пятнами ольховника и осины.

С первого взгляда всё это не понравилось проезжему, но, чтобы не обидеть возницу молчанием, он сказал вполголоса:

— Просторно!

Мужик, постукивая кнутовищем по спице переднего колеса, спокойно возразил:

— Видимость; издаля просторно, а поживи — не покажется!

Сгоняя дрему, проезжий тряхнул головой, — слова мужика показались ему неприятно знакомыми.

Подпрыгивая по кочкам межколесицы, телега покатилась с холма, возница отрывисто говорил о тесноте жизни, — молодой человек, прищурив серые глаза, смотрел, как растет город, освещенный холодным солнцем осеннего утра, и беспокойно думал:

— Откуда я знаю это? Читал, что ли, похожее?

Неясно вспоминался рассказ о человеке, который, после долгой жизни в столице, возвращался в родной город с добрыми намерениями и тоже слушал рассказы ямщика о тесноте, о бедности, — слушал сочувственно. Других воспоминаний не нашлось; сам он никогда не жил в уездных городах и впервые подъезжал к городу вот так — осенним утром, в деревенской телеге. А ощущение знакомства с тем, что он видел первый раз, всё разрасталось, тихонько насыщая сердце грустью. Сняв шапку, крестясь тяжелыми движениями руки, возница недоуменно проговорил:

— Будни, а звонят. Знать, богатый помер. По́ что в город?

— По делу, — ответил седок, потом прибавил: — На службу. Зейделя знаете?

— Лесопилку? Как не знать. Его на сто верст кругом народ знает.

— Хороший человек?

— Он-то? Хороший, богатый человек!

Пышные султаны розовато-серого дыма поднимались из трубы в низенькое небо, в купол его, густо замазанный пепельными облаками; в холодной тишине охал и гудел колокол, на пашне трсчала сорока. Встали с земли маленькие домики окраины города, вытаращив на дорогу мутные окна, недоверчиво рассматривая приезжего. Он тоже внимательно приглядывался голубоватыми глазами к неровной линии домов, связанных плетнями и заборами.

В маленькой рощце квелых берез раздался сухой

костяной треск. Седок, недоуменно прищурился, глаза, посмотрел в сторону звука.

— Что это трещит?

— Сорока,— сказал мужик, тоже немного удивленный,— али не узнал?

— Не узнал,— повторил седок, сконфуженно улыбаясь,— я ведь городской. Очень городской... в деревнях не жил!

— На постоянный ехать али к Цыганову?

— К Цыганову,— повторил седок последнее слово, заглядывая вперед по кривой улице.

— Ладно. А ты из каких будешь?

Седок усмехнулся и сказал не сразу, как будто смутясь:

— Зовут меня Павел Николаев Смагин...

— Из духовных? — спросил мужик, но, не дожидаясь ответа, свистнул и, ударив лошадь вожжами, пустил ее вскачь.

Картинно шла женщина с ведрами воды на расписном коромысле; новенькие ведра равномерно покачивались, белая жесть сияла на солнце серебром. Женщина шла легко, как по воздуху, по черной земле, прослоенной тонким льдом замерзших луж. Несмотря на холод утра, она была одета в старенькую ситцевую кофту, белую, с толстым узором, и коричневую измятую юбку. Была она большая, стройная; с ее круглого розового лица ласково смотрели синеватые глаза; заметив, что проезжий любуется ею, она перевела коромысло с плеча на плечо, маленький детский рот ее расцвел улыбкой, она потупилась и, ускорив шаг, свернула за угол,— точно последний день лета прошел по улице, а Смагин почувствовал, что его охватило веселой бодростью.

— Надежная,— сказал возница, обернувшись и подмигивая Смагину.— Бабы тут — первый сорт, останешься доволен...

Крякнул и, помолчав, добавил:

— Заботливая, на ключ ходила по воду, это, значит,— для чаю... Колодезная вода не скусна здесь.

Смагин вздохнул и, улыбаясь мягко, проговорил негромко:

— Очень красивая. Настоящая русская красота.

По избитой улице, среди вывороченного булыжника, въехали на площадь и остановились перед двухэтажным домом, окрашенным ржавой краской; в верхнем этаже — восемь окон, в нижнем — шесть, а посередине их — крыльцо с перилами.

— С приездом! — сказал возница, крестясь на церковь.

С крыльца сошел не торопясь толстый кривой человек, в переднике из мучного мешка, в опорках, отхаркнул, плюнул под ноги лошади и, взяв два чемодана, неохотно сказал приезжему:

— Пожалуйте!

Смагин выбрал себе маленькую угловую комнату с двумя окнами на площадь и в сад, густо засыпанный осенним листом; разделся и, умываясь, спросил слушающего:

— Вас как звать?

Протирая концом передника стекло зеркала, выпачканное киселем или соусом, тот поглядел на Смагина и спросил обиженным голосом:

— Думаете, я хозяин?

— Нет, я просто хочу знать — как вас зовут?

— Макар Петров. Да что — имя? Я ó полдень расчитаюсь, уйду отсюда, — всё так же обиженно и уныло говорил кривой, поплеывая в зеркало.

— Так вот, Макар Петрович, давайте мне чаю, — весело попросил Смагин.

— Пачпорт надо, — напомнил Макар, уходя.

Открыв окно, Смагин выглянул на площадь: в ограде, на белом фоне церкви, три больших клена протягивали друг другу полуголые сучья; лагчатые золотисто-рыжие листья падали на землю; в холодном высоком небе быстро двигались белые облака с розовыми краями, они были так прозрачны, что сквозь них просвечивала голубая глубина неба. Изогнутая линия домов за церковью вспыхивала яркими красками, напоминая Смагину картины столичных выставок, всегда несколько смущавшие его своею пестротой.

Теперь, разглядывая цветисто выкрашенные дома, крыши, пятна вывесок, отблески солнца на стеклах окон, Смагин подумал:



«Вот почему город показался мне знакомым!»

На одном из белых столбов церковной ограды желтая афиша извещала, что «По желанию публики повторяется тяжелая драма из современной жизни». Смагин невольно усмехнулся, вспоминая женщину с ведрами:

«Тоже, вероятно, ходит смотреть тяжелые драмы...»

Тишина висела над площадью и городом. Мимо гостиницы осторожно шагал бородатый мужик в лаптях, с котомкой за спиной; он оглядывался, точно заплутавший в лесу, под ногами его мягко хрустел осенний ледок. Макар внес бурно кипевший самовар и, расставляя посуду, держа голову набок, заговорил:

— Это самолучший номер, в нем даже Маймачинский стоит, когда из дому убегает...

— Как же это он стоит, когда убегает? — пошутил Смагин, но Макар, поглядывая одиноким глазом на свое отражение в тусклом зеркале, продолжал медленно и неохотно, как бы исполняя скучную обязанность:

— Побранится с женой и убежит. Озорной он. Это вот он самый, каклетой в зеркало...

— Кто же он такой? — спросил Смагин и предложил кривому: — Вы бы присели?

Кривой недоверчиво отодвинулся от стола, ухмыляясь, прикрыв тусклый глаз:

— Благодарствуйте, я — не хозяин...

— А вы садитесь, давайте чай пить, — весело настаивал Смагин. Но Макар не соглашался.

— Я пил. Я постою, ничего. Вам, конечно, как вы чужой, всё интересно, ну, я могу, стоя, сказать. Меня все выспрашивают, такая должность, — кончил он вздохнув.

Когда наконец Смагину удалось усадить его к столу, он вздохнул еще более глубоко.

— Да, так что же этот Маймачинский-то?

— Чадит.

— Чудит, вы хотите сказать? — поправил Смагин, по кривой повторил:

— Чадит, озорует; обиженный он, ну и сам обижать привык...

— Вот как?

— Да. Судья он, что ли, по должности своей, только его отставили ото всех дел. Жена у него здешняя — Богомоловых, купчиха и придурковата, а он — в чинах. Ну, — стыдится жены, не может в столицах жить с ней, прибыл сюда.

Сонное шершавое лицо Макара осветилось улыбкой, он погладил ладонью редкую, неровно остриженную бороду и заговорил оживленнее.

— Дом выстроил на Людской и приделал на крыше высокий шест с веревочкой. Ежели сам дома находится, велит дворнику поднимать на шест сапоги, чтобы всякий видел — Маймачинский дома! Метко придумал: господа на улицу без сапог не ходят...

— Это вы серьезно? — спросил Смагин, улыбаясь.

— А зачем шутить? С меня требуется правда. Ему бы только хохотать, а над чем — это всё едино... Он тут одну женщину масляной краской окрасил в арапку...

В коридоре задребезжал звонок. Макар вытер губы ребром ладони и ушел, напомнив виновато:

— Пачпортк приготовьте, с меня спросят...

Смагин оглянулся; маленькая комната, недавно оклеенная желтыми обоями, казалась нежилой, серое одеяло на узкой железной кровати напоминало больницу. Захотелось выйти на волю. Облака разошлись, не таяли; в голубой чаше неба ослепительно цвело беловатое солнце, разжигая пестрые краски города, чисто вымытого дождями. В садах, в огородах сверкали коралловые гроздья рябины, резко видные в прозрачном воздухе. Отовсюду бросалась в глаза золотая ржавчина осени; красные и зеленые крыши, синие ставни, и над этой пестротой жирно таяли в небе золотые луковицы церковных голов. Хороши были темные деревья без листьев, — опи казались нарисованными неумелой рукой ребенка и сквозь их незатейливый узор так славно просвечивало красное, зеленое, рыжее.

Городок напоминал Смагину лавки торговцев восточным шёлком на ярмарке в Нижнем, — в этих лавках вот так же ослепительно, красочно. Привыкший к темным тонам каменной столицы, всегда окутанной дымом или облаками гнилого тумана, Смагин, внутренне улы-

баясь, любовался веселой порою осеннего утра, прозрачностью далей; в нем росло чувство бодрости, умиления, хотелось остановить кого-либо из горожан и сказать:

— Красив ваш город!

Вспоминались какие-то трогательные стихи и думалось, как хорошо будет узнавать жизнь города, понимать ее, причащаться к ней.

Прохожие встречались редко. Выскакивали из ворот и, крестясь, бежали на базар пожилые, желтолицые женщины, кутаясь в серые шали.

Серый голодный мямлинец сметал измызанной метлою грязь с тротуара, беззаботно обрызгивая ноги прохожих; они поругивают его, но не очень злобно, как будто убеждены, что этот человек имеет право пачкать им сапоги и платье. Человек, занятый своим делом, нем, глух и сам обрызган грязью до колен. Идет в школу унылый мальчик — мямлинец нарочито шаркает метлою по его сапогам.

— Сволочь, — безгневно, но уверенно говорит мальчик, убегая; мямлинец гонится за ним, разъяренно взмахивая метлою.

Посвистывая тихонько, глубоко вдыхая воздух, насыщенный запахом осеннего листа и сыростью, напоминавшей о грибах, Смагин повернул за угол и очутился в неглубоком тупике, перед одноэтажным домом в пять окон, с мезонином в два окна; на крыше мезонина торчал полосатый — синий с красным и белым — шест, а на конце его неподвижно висела пара рваных сапог.

«Ага, здесь живет этот — Маймачинский», — сообразил Смагин, нерешительно усмехаясь.

«Остроумно это чудачество, забавно?» — спросил он себя и не сумел ответить.

Во дворе дома негромко ржала лошадь и что-то шаркало. Одно окошко мезонина было закрыто сплошной зеленой ставней, в другом выпучилось мутно-красное, как будто мезонин, закрыв один глаз, другим рассматривал приезжего. За домом, на высоких вязах, черными шапками торчали вороньи гнезда, из-за крыши сарая высунулась зеленая скворечница.

Мимо Смагина прошел, пошатываясь и бесцеремонно заглянув ему в лицо, высокий человек, в сером стареньком пальто, с широким хлястиком на поясице, в измятой каскетке; прошел, остановился в пяти шагах и, воротясь, сняв каскетку дрожащей рукой, любезно спросил:

— Не можете понять?

На голове у него росли во все стороны серые жесткие вихры, среди удлиненного лица торчал большой дряблый нос, пьяные глаза добродушно улыбались.

— Приезжий, — догадываюсь? Костюм выдаёт. Позвольте рекомендоваться — портной Щукин, Иван Савельев...

Почесал мизинцем бровь и спросил, указывая на крышу:

— Как вы понимаете этот фокус?

— Забавно, — сказал Смагин.

— Нисколько, — воскликнул портной, спотыкаясь и толкнув Смагина. — Ни на пяточок не забавно, а просто — знак презрения ко всем людям города и ко мне, в том числе...

Шли рядом по гнилым доскам узенькой панели, толкая друг друга, а портной всё говорил тенорком:

— Господин Маймачинский, знаете, великий самобытник. Здесь таковых — множество. Им бы только самим было хорошо, а все другие хоть в болоте утопись...

Светлая тишина стояла над городом, в улице тоже было тихо и пустынно; из подворотни высунулась рыжая собака с мордой лисы, понюхала следы прохожих и скучно зевнула.

— А где здесь полицейское управление? — спросил Смагин.

Портной откачнулся от него, остановился и сказал:

— Вот — за углом.

— Мне нужно зайти туда, — сообщил Смагин, сняв шляпу.

Портной, не подавая ему руки, быстро повернул назад, но остановился, с размаха ударил себя в грудь, крикнул:

— Раскаиваюсь! Ошибся...

И зашагал еще быстрее, качаясь, как тонкая жердь

под ветром. Смагин недоуменно пожал плечами и пошел в полицию.

В грязной комнате, густо оклеенной пожелтевшими квадратиками циркуляров и объявлений, его встретил удивленным взглядом круглых глаз низенький широкоплечий человек с большой головой в седой щетине. Сидя в одной рубаше, он пришивал к пиджаку оторванный рукав, пред ним стоял графин кваса. Приподняв брови, он пошевелил большими ушами и спросил строго:

— Что вам угодно?

— Вы — сторож?

— Писарь.

— Извините.

— Ничего.

Смагин подал ему проходное свидетельство, писарь заглянул в бумагу одним глазом, а другим ощупал лицо Смагина и пробормотал:

— Ага... Порядок знаете?

В нечистые стекла окон отчаянно бились синие мухи, опоздав умереть; в теплом углу стоял на коленях тоненький стриженный мальчик, бесшумно складывая в стопку исписанные бумаги. Писарь как будто задремал, прикрыв свидетельством нечеловечье лицо, но вдруг отрывисто зевнул и сказал решительно, громко:

— Дайте мне пять целковых, я вас избавлю от всех хлопот!

— Пожалуйста, — торопливо согласился Смагин, несколько смущенный и в то же время благодарно улыбаясь.

— Ну, вот, — приняв деньги, сказал писарь и добавил, рассматривая бумажку на свет. — Это и вам удобнее и мне полезно. Представляю: Финогенов, Константин Матвеев, человек дешевый, но могу пригодиться в случае нужды. Руку протягиваете? Весьма польщен...

Он усмехнулся неприятно, мягко пожал руку Смагина толстыми пальцами, вздернув верхнюю губу, опустив нижнюю. Усы у него были подстрижены, на подбородке густо торчал толстый серебряный волос.

— Симпатичное лицо у вас, — вдруг объявил он. — Позвольте узнать, вы — законнорожденный?

Смагин удивленно взглянул в круглые, точно у филина, как студень дрожащие, глаза неуловимого цвета и сказал суховато:

— Да, законнорожденный. А почему это нужно знать вам?

— Это — мой вопрос, персонально интересуюсь. Желаю хорошо устроиться!

Когда Смагин подошел к двери, писарь встал на ноги, говоря:

— Если не сняли квартиру, — посмотрите у Коптева.

Он подробно разъяснил, как найти дом Коптева.

— Изволили усвоить?

— Благодарю вас!

— Рад служить!

«Какой неприятный человек, — думал Смагин, идя по улице. — Циник, должно быть. Странное лицо...»

Подул свежий ветер, в небе явились облака; тени их, точно старые тряпки, упрямо стирали краски города, ползли через улицу, влачились по растаявшим лужам.

На пологой крыше сарая стоял бородатый мужчина, босой, в жилете поверх розовой рубахи и оглушительно свистел, размахивая длинным помелом. Над ним неохотно летала стая голубей, поднимаясь кругами всё выше, сверкая серебристой белизной крыльев. Где-то гулко выбивали ковер или шубу, точильщик точил ножи.

Пьяный кузнец в кожаном переднике вышел со двора, спустился в лужу, зачерпнув опорком грязи и громко крикнул:

— Ладно же!

Сел на тумбу, вылил из опорка воду и стал пальцем выбирать из него грязь, сбрасывая ее с пальца на ворота дома.

Было уже около полудня, но человеку, привыкшему жить в неутомимой суете столицы, казалось, что город еще не проснулся. Звуки жизни рождались неохотно, жили не слитно; прозвучит крик, растает в тишине, подобно облаку, и снова тишина будит желание услышать еще что-то. Это желание, новое для Смагина, было приятно ему, но иногда промежутки между звуками были так длительны, что он испытывал удивление.

Вспоминался непрерывный шум большого города, бодрый шум, возбуждающий мысль, шум большого бесконечного дела.

«Тихо живут люди...»

Он повернул в узенький проулок, взползавший между заборов на бугор, покрытый жухлой, протоптанной травой.

На вершине бугра стоял маленький серый домик, с голубыми, решеткой, ставнями на трех окнах, — Смагину вспомнилось, что еще утром, въезжая в город, он заметил этот чистенький домик с большим садом за высоким крепким забором.

Он нарочито громко стукнул кольцом калитки и вошел во двор, — среди двора, у колодца, стоял с метлою в руках тощий остробородый человек, лет пятидесяти, и вопросительно, не здороваясь, смотрел в лицо Смагина, сдвинув золотистые брови над горбатым носом.

«Тоже птичье лицо», — невольно отметил Смагин, вспомнив писаря.

— Здравствуйте! Это дом Коптева?

— На воротах написано чей, — ответил человек недружелюбно.

— Здесь сдается комната?

— Кто сказал? — спросил человек, вскинув голову, выгибая острый красный кадык.

— Писарь в полиции.

— А! Сдается. Мезонин.

— Вы сами г. Коптев?

— Я сам, — гордо подтвердил хозяин. Аккуратно приставив метелку к обрубу колодца, он пошел к дому, четко говоря:

— Хорошая комната, шкатулочка! Четыре целковых в месяц, не дешевле.

Смагину понравилась светлая комната; двойное окно ее смотрело в луга, за реку.

— Весной здесь, должно быть, великолепно, — вслух подумал он.

— И зимой хорошо будет, — сказал хозяин, бесцеремонно разглядывая Смагина. — Тепло. Чем занимаетесь?

— Буду работать у инженера здесь.

— Ага, это у Зейделя, болото сушить...

— В нахлебники не возьмете?

— В нахлебники?

Коптев задумался, всё разглядывая нанимателя. Глаза у него были странные,— в сероватой массе выпуклых белков купались и точно таяли золотистые зрачки. И голова его тоже казалась позолоченной,— рыжеватые, негустые, но волнистые волосы отливали металлическим блеском шёлка; в бороде и усах они были еще светлее. Не дождавшись его ответа, Смагин сказал:

— Должен предупредить вас,— я выслан административно из Петербурга...

Коптев спросил, ухмыляясь:

— За политику?

И еще раз усмехнулся, говоря:

— Это не боязно,— не прежняя пора. Я вот думаю, сколько взять за хлеб, чтобы и мне и вам безобидно было...

Договорились быстро, и, видимо, Смагин понравился хозяину,— провожая его за ворота, Коптев отечески сказал:

— Видать, вы не больно деловит человек, так я посоветую: кривому на чай — двугривенник, извозчику сюда — четвертак. Это — за глаза!

Закрыв калитку, он крикнул:

— Таисья!

Женский голос невнятно ответил откуда-то из сада.

— О...

— Ступай, прибери мезонин...

«Дочь или жена?» — лениво подумал Смагин, поглядывая, как над крышами города качаются черные ветви деревьев.

Встречу ему поднимался, чмокая копытами, большой козел, вот он остановился, упираясь передними ногами в цепкую землю, косо поглядел на человека старым, выцветшим глазом, сердито встряхнул грязной бородой и, боднув воздух, отскочил в сторону к забору.

Смагин снял шляпу, поклонился козлу и сказал:

— Вы очень любезны!



Он чувствовал себя мальчишески весело, ему хотелось шутливо разговаривать, а память настойчиво подсказывала задумчивую песню:

Размахнулись зеленые поля  
Через реки да скрозь темные леса.  
Эх, пойду я, мал-сиротка, по полям,  
Поищу я доли-счастья для себя...

«Ну, счастья здесь — не найдешь, а отдохнуть можно», — решил он.

В гостинице, уложив вещи, он дал Макару полтинник, — кривой внимательно осмотрел монету темным глазом и, опустив ее в карман штанов, раздумчиво поблагодарил:

— Спасибо за милость. А вы — куда теперь?

— Вам надо знать это? — шутя спросил Смагин.

— Надо бы, спросят меня.

— Кто?

— Полиция. Обязан я знать, кто куда...

— Да ну? — воскликнул Смагин, любопытно осматривая его тяжелое, сонное тело. — А если я не скажу, куда переезжаю?

— Они сами узнают, — равнодушно заявил кривой. — Тут люди — наперечет, как цыплята в решете.

— Так? Ну доложите, что я снял квартиру у Коптева.

— Вон как, — почтительно пробормотал Макар. — Коптев у нас человек видный...

— Я сам — тоже видный человек! — шутил Смагин; кривой, наклоня голову набок, внимательно осмотрел его и согласился:

— Это — точно, вы господин надолго, крепкой масти...

Потом, держа себя за мочку уха, предложил:

— Ежели что запонадобится по женской части, так я могу исполнить, я тут знаю, которые женщины...

— А — грех? — испуганно воскликнул Смагин, едва скрыв улыбку, но кривой всё так же равнодушно утешил его:

— Не всякая зря грешит, иная ведь по бедности...

Смагин удивленно взглянул на него и уже серьезно спросил:

— А по бедности можно грешить?

— Первый способ,— сказал кривой.— От бедности всё наше нахальство. Вот он, извозчик...

Уложив в пролетку чемодан Смагина, он поклонился ему, говоря:

— Счастливо! Будьте при себе!

«Это хорошо сказано,— думал Смагин, покачиваясь и подпрыгивая в пролетке.— Будьте при себе! Значительно. И про бедность — хорошо!»

Мысленно рассматривая шершавое деревянное лицо кривого, он вздохнул:

«Странно, — человек с виду мертвый, а говорит таким языком...»

Когда он вошел во двор Коптева, — на крыльце его встретила та самая женщина, которую он видел, въезжая в город.

— Пожалуйте,— звучно сказала она, протягивая к его чемодану по локоть голую, красную руку; от этой руки исходил пар и тошнотворный запах серого мыла. Другую руку, тоже влажную, она отерла о мокрый фартук, в то же время одергивая ею высоко подобранную юбку.

«Вот странный случай!» — мелькнуло в голове Смагина.

Он выпустил из руки тяжелый чемодан с книгами и, растерянно улыбаясь, смотрел в синеглазое хорошее лицо; женщина, тоже узнав его, покраснела до плеч, опустив глаза, и повторила тише:

— Пожалуйте! Муж — в городе, он скоро приедет.

— Да мне его не нужно,— сказал Смагин.

Мелкий пот блестел на лбу женщины и на висках; она была в рубаше деревенского холста, собранной складками на полной белой шее и завязанной красной тесьмой; глубокая прореха на груди раскрылась, обнажая розовое тело.

— Вы — хозяйка? — протянув ей руку, спросил он.— Познакомимтесь: Павел Николаев Смагин.

Она не приняла его руку, а только поклонилась, тихо сказав:

— Благодарствуйте...

И, легко подняв чемодан, пошла по лестнице на чердак.

— Позвольте, я сам,— бросился за нею Смагин, но она отстранила его левой рукою.

— Как можно, что вы?

Он пошел к воротам за другим чемоданом, спрашивая себя:

«Это чему же я обрадовался? Глупо. И странного ничего нет в этой встрече; сказано: как цыплята в решете...»

Но все-таки ему было весело и приятно.

Он снова встретил ее на середине лестницы, женщина посторонилась, пропуская его, спрятала руки за спину, грудь ее подавалась вперед; заметив это, она тотчас же легко и быстро снова пошла вверх.

— Ведь я уже видел вас,— вы узнали меня? — спросил Смагин.

К его удивлению, она сказала, остановясь наверху лестницы:

— Нет, я вас не знаю...

— А помните,— утром? Вы несли воду, а я — ехал, и вы еще улыбнулись мне?

— Что это вы, господин,— негромко и обиженно сказала она.— Как же я могу улыбаться незнакомому? Ее густые темные брови сошлись над переносьем, губы, тревожно дрогнув, вытянулись в ниточку.

— Вы при муже не скажите такого, срам будет мне,— договорила она строго.

«Ах, вот что»,— сообразил Смагин и весело солгал:— Ну, значит, я ошибся...

Она улыбнулась нерешительной улыбкой, ее синие глаза влажно потемнели, а маленький рот расцвел еще более красиво, чем утром.

— Устраивайтесь как лучше,— сказала она, снова кланяясь ему с порога, и ушла, плотно прикрыв дверь, обитую войлоком и клеенкой.

Смагин щелкнул языком, думая вслух:

— Ну, и — хороша же! Однако, Павел,— будь при себе...

Недели две, день и ночь, шли упрямые дожди, неиссякаемо посыпая землю ртутной пылью, неутомимо шурша по железу крыши, шаркая по стеклам окна. Мокрые деревья точно стеклом облились, на улицах стояли рябые лужи, лениво текли ручьи, безуспешно смывая грязь.

Перестанет дождь на час, на два, посветлеет небо, — за рекою над лугами встанет серая паморха, скрывая от глаза лесные дали, сжав землю в небольшой круг; мокрый город в центре его плотно прибит непогодой к раскисшей земле и немощно, жалобно тих. Земля покрыта, как свинцовой крышею, бесконечным облаком, с каждым днем оно становилось всё плотней, опускалось всё ниже, выдавливая свет, сокращая часы дня, грозил навеки покрыть город серой, влажной ночью, без луны и звезд.

В столице жизнь, не считаясь с погодой, без усталости течет по широким каналам улиц; яркий огонь, пойманный человеком, широкими пятнами ложится на панели, изливаясь из окон, из витрин магазинов; там, под неукротимым дождем, в густоте тумана, радужно цветут призрачные шары фонарей, вспыхивают синие молнии трамваев, неустанно бегут, мелькают разноцветные огни, — в больших городах человек всегда видит себя, чувствует вокруг неиссякаемый запас света, созданного им, служащего ему покорно и радостно.

Здесь, возвращаясь вечером с работы, Смагин, привыкший ходить быстро, шагал во тьме по избитым тротуарам с великой осторожностью, задевая зонтом за невидимые заборы; расчетливо переходил улицы, освещая дорогу ручным фонарем, а все-таки являлся домой грязный, с мокрыми ногами и раздраженный, несмотря на свое гибкое добродушие.

Было и досадно и обидно шагать мимо окон, плотно закрытых ставнями, в окружении мокрой тьмы; эта тьма, хлюпающая грязь, ворчливое течение ручьев, сердитый плеск луж, разбуженных его ногами, — всё возмущало Смагина и тем, что было так победоносно, и тем, что отнимало много времени, которое он привык ценить.

За вечерним чаем или за ужином он говорил хозяину:

— Ведь это — пустыки, грязь и темнота; это — легко устранить, а вы — подчиняетесь пустыкам!

Золотистые зрачки Коптева насмешливо поблескивали, около ноздрей ястребиного носа дрожали тонкие морщинки.

— Верно, — пустыки, — соглашался он. — Но — жители мы бедные, а фонари — денег стоят. Раз. Зря ходить друг к другу мы не охочи, — два. А в-третьих, касаемо грязи, — видимо нам, что и столицы грязью богаты, совокупно со всем прочим вавилонством.

С первых же дней Смагин почувствовал, что этот сухонький, жилистый человек относится к нему свысока, покровительственно и насмешливо. Приглашая его к столу, он говорил:

— Кушать пожалуйста, господин столичный политик!

А за обедом спрашивал:

— По вкусу ли уездная пища наша?

Пища была отменно жирна и обильна, — Смагин шутил в тон хозяину.

— При таком питании, уважаемый Степан Ильич, надо бы работать часов двенадцать в сутки.

— Вот как? А мы — поедим да — спать. Особливо пельмени да пироги ко сну гонят, и сон от них тоже особый: всегда снится что-нибудь круглое — бочки, колеса, гири. А одна раз приснился мне; и видел-то я его на картинках только, а вживе — на ярмарке, в цирке, один раз всего. Пришел ко мне этот слон, дергает хоботом за ухо и говорит: «Ильич, у тебя в саду мальчишки яблоки обивают, беги скорей!» А было это великим постом. Вот и верь снам...

Он усмехнулся, ощетинив жесткие, аккуратно подстриженные усы, показав мышинные зубы.

Смагин узнал, что Коптев почти три года был председателем местного союза «истинно-русских людей», но — отказался от этой почетной должности.

— Можно спросить — почему?

— Можно, — сказал Коптев. — Секрета нет. Я, сударь мой, свежее яичко, только что снесено, тепленькое; на какой хошь огонь смотри меня — ни пятнушка! А ушел я единственно потому, что народ у

нас не надежен: до полудня честен, а к вечеру — вор!

Вскочив со стула, он обеими руками одернул вниз теплый жилет, надетый поверх ситцевой рубахи, подтянул штаны и зашагал по комнате, мягко шаркая петстрыми туфлями цветных шерстей.

— Предложили нам отечество к порядку приспособить, буйство погасить, а мы сейчас давай с казны портки снимать, — говорил он, сердито усмехаясь. — Ну, я не политик, я человек честный, бездетный, — воровать мне не для кого. Я сказал им что следовало и — шабаш!

Коснувшись левой рукой правого плеча, он резким движением по горизонту отсек, срубил что-то и гордо указал на окно, выходившее в сад.

— Я сыт, кормилец мой — вот он! Дедом посажен, отца кормил и меня хорошо кормит. Знающие люди хорошо оценили, что ранет Коптева — самолучшее яблоко!

Он ткнул пальцем в стену — там, за стеклом, в рамке черного бархата висела серебряная медаль «За трудолюбие и искусство», — потом он указал кивком головы на подзеркальник, где в раме золотого багета красовался диплом на звание почетного члена, выданный обществом садоводов.

— Так-то вот! — добавил он.

Говоря спокойно, Коптев постепенно понижал голос почти до шёпота и чем тише, тем более уверенно и четко выговаривал слова. А волнуясь, он одергивал жилет, подтягивал брюки и вообще дергал сам себя, точно желая сорвать с тела всё, надетое на нем, и говорил торопливо, беспорядочно нанизывая слово на слово, взвизгивая, не следя за своей мыслью. В эти минуты он как-то трещал и брызгал, напоминая печь, в которой горят сухие, но не жаркие еловые дрова.

Другим вечером, когда дождь садил в ставни окон мелкую дробь, а в кухне угрюмо гудел самовар и гремела посудой Таисья, Коптев, крикнув ей: «Затвори дверь!» — обернулся и вдруг заговорил, глядя в лицо нахлебника исподлобья, острым взглядом:

— Вы, конечно, о черной сотне по левым газетишкам

судите, а сами нас, черносотенцев, в глаза не видали, так вот, поглядите! Леваки эти в русском народе столь же мало понимают, как волки в ягодах...

— А правые? — спросил Смагин.

Хозяин подошел к нему и сказал, искренно удивляясь, сожалея:

— Неужто вы, не из политики, а в самом деле, не видите, что правые и есть самый корень народа, настоящий народ? Вы бы поняли простую суть: ежели народ в бога верует, власть нездешнюю над собой признает, — он и здешнюю власть может отрицать только по временному неразумению. Наш народ по душе не властен и своевластия не понимает. А что и дерзко и смешно — ставить человечье хотение против божия закона, — это он понимает!

Он повторил убежденно:

— Понимает, да!

И добавил спокойнее:

— Конечно, против вас — мы люди необразованные, однако ж хотя и в невежестве и без ума живем, но за совесть!

Смагин не ощущал потребности возражать ему, а только мягко выпрашивал, стараясь понять ход мысли, игру неясных ему чувствований хозяина. Но на этот раз он напомнил Коптеву:

— Вы недавно сказали, что народ не надежен: до полудня честен, к вечеру — вор! Как же это примирится с совестью?

Коптев ударил себя ладонью в грудь, против сердца, и крикнул:

— Здесь всё примиряется! Ведь кто сказал бы про парод зазорно? Я, черная сотня! Не со стороны сказано, а из сердца. Сердце, сокрушенно и смиренно, вот это малоумное русское сердце — неугасимая лампада совести! Так-то-с! Чему нас Христос учит? Он учит жить по совести, а не по разуму. Где сказано в Евангелии, что разум руководствует жизнью? Нигде этого не сказано, и не этому учит церковь наша, а мы все церковно живем, церковно думаем...

Таисья внесла самовар, и Коптев почему-то сразу остыл. Смагин видел, что почти ежедневно после обеда

хозяин читает столичную реакционную газету, но прячет ее от нахлебника.

«Не хочет, чтобы я пил мудрость из одного источника с ним», — соображал Смагин, внутренно усмехаясь.

Кроме газеты, хозяин читал исторические романы; в углу комнаты, на полке, лежала стопка потрепанных книг, среди их были «Князь Серебряный», «Кудеяр», толстый роман Казанцева «Против течения», книги Салиаса.

— А «Войну и мир» не читали? — спросил Смагин.

— Это — графа Толстова, Льва? Не читал.

— Почему же?

— Не довелось. Да и неохота. Знаю я его мысли!

— Может быть, не все?

— Всех листьев на большом дереве не сосчитать, это верно! Да зачем же мне чужие-то мысли? От своих иной раз покою нет, — сказал Коптев, пытливо поглядывая в лицо нахлебника.

Смагин чувствовал, что хозяин хочет заставить его разговориться и думал:

«Подожди, старик!»

Пощипывая белокурые усы, он оглядывал маленькую, в два окна комнату, с большим зеркалом в простенке, тесно заставленную сборной мебелью. В этой комнате всё блестело, точно смазанное маслом, и всегда стоял запах кухни. Тяжелый стеклянный шкаф был тесно набит чайной посудой, множеством пасхальных яиц из сахара, серебряными ложками; рядом с ним не торопясь и осторожно тикали круглые часы, под ними — медаль и ломберный стол на изогнутых ножках; казалось, что он с каждым днем всё больше и больше подгибает их и скоро сядет на пол, как садятся верблюжата на землю. Вокруг стола собрались тяжелые стулья со спинками лирой и малиноватыми сидениями. Изразцовая печь блестела так холодно, что думалось — ее никогда и ничем нельзя нагреть. Все вещи хвастливо лезли в глаза, беспокоя свою несхожестью, но всё было крепко и точно вросло в крашенный рыжий пол. Среди этой пестрой тесноты, безмолвно и ловко, точно большая рыба, извивалась хозяйка, прикрыв длинными ресницами свои чудесные глаза, не замечая нахлебника



и часто ласково улыбаясь печке, шкафу, иконам в переднем углу, черному зеленоглазому коту на лежанке.

Муж относился к ней странно,— казалось, что он едва терпит ее присутствие. Говорил он с нею мало, кратко, ее деловые речи о хозяйстве выслушивал молча и часто, не дослушав, прерывал их отталкивающим движением руки или краткими возгласами:

— Ладно! Знаю! Ступай!

Иногда после ужина хозяин и нахлебник сидели за столом час, два, шупая друг друга словами или взглядами; Смагину очень нравилось это.

Таисья, убравшись в кухне, открывала дверь и, невидимая, спрашивала:

— Степан Ильич, я ложусь?

— Ладно!

Спальня помещалась рядом с комнатой, где обедали, и сквозь тонкую переборку было слышно, как хозяйка, вздыхая, шепчет молитвы, раздевается, как скрипит под тяжестью ее тела двуспальная кровать с пятью подушками, накрытая толстым одеялом из пестрых лоскутков шёлка.

— Тише, ты! — кричал Коптев на жену, как на лошадь.

Смагин представлял эту женщину в мохнатых руках деловитого мужа и невольно брезгливо возмущался, но жалости к ней не почувствовал.

Однажды, сойдя вниз к чаю, он застал хозяйку у стола; она не пошевелилась, сидя перед самоваром и разглядывая лицо свое, отраженное медью.

— Любуетесь? — весело и громко спросил он.

Таисья вздрогнула, вскочила, испуганно оглядываясь, потом, улыбнувшись, сказала:

— Заспался хозяин-то!

И ушла в спальную.

— Степан Ильич, вставай, — просила она.

Коптев помычал и ясным голосом воскликнул:

— Ах! Знатный сон видел я!

Тихонько охнув, Таисья торопливо прошептала что-то.

— Эка важность! Чай, я тебе муж, — сказал Коптев.

Громко, словно пощечина, прозвучал поцелуй, а затем ворчливые слова хозяина:

— Дурында! Пятый год замужем, а поцеловать как следует не умеешь. Калоша!

Таисья вышла из спальни, нахмурясь, потупив глаза, а Коптев — веселый.

— А вы уже сошли? Что ж ты мне не сказала? — упрекнул он жену и тотчас начал балагурить.

— Люблю сны, уж очень ловко в них правда с неправдой связана...

В Покров, спустившись ужинать, Смагин увидел за столом хозяев Финогенова; писарь поздоровался с ним как со старым знакомым и тотчас спросил:

— Довольны ли квартирой?

— Очень.

— И хозяином?

— И хозяевами.

Коптев, усмехаясь, поглядел на Смагина, говоря гостю:

— Господин Смагин — человек тонкий!

Усмехнулся и писарь. В сером, мохнатого драпа пиджаке он еще более напоминал филина. Ужинали с выпивкой; хозяин очень хвалил настойку на яблоках.

— Яд! — восхищался он, смакуя и щурясь; усердно наполнял рюмки гостя и нахлебника, а сам всё краснел, весело разгораясь. Когда Таисья, прибрав со стола, скрылась в кухне, он подмигнул вслед ей, спрашивая Смагина:

— Хороша баба-то?

— Да, — сказал Смагин, невольно вздохнув.

— Гляди — вздыхает! — вскричал Коптев и засмеялся, а писарь пошевелил ушами, на его плюшевом лице явились жирные складки, задрожали серебряные иглы волос, он расправил плечи, выпятил грудь и наконец тоже захотел густым масляным звуком.

— Моя да Маймачинская — первые в городе, — хвастался Коптев.

Писарь привел лицо в порядок и строго сказал:

— У Маймачинской рот велик, а когда так, то уж...

Он отрицательно покачал головою.

— Она толще моей — моя березкой гнется. Я в церк-

ви нарочно становлю свою поближе к той, пусть люди видят, чья больше взяла.

Они говорили о женщинах долго, но в их словах не было ни умствующей чувственности, свойственной людям их возраста, ни пресыщения, которое хотят одолеть острыми воспоминаниями. Они беседовали так же просто, с таким же интересом, как незадолго перед тем говорили о яблочной настойке, о пирожках с налимьей печенью, жаренной в сливочном масле.

«Вкусовое отношение», — определил Смагин.

Он чувствовал себя неловко, эти люди как будто вдруг забыли о нем, не разговаривали с ним.

«Уйти, что ли?» — спрашивал он себя.

Но писарь и хозяин возбуждали в нем острый интерес. Уже несколько раз он испытал желание спорить с ними, хотелось раздражать, задирать их, а все-таки сдерживался, глядя на квадратное мягкое тело писаря, на его круглое лицо в белой плесени волос, на упрямо-неподвижные глаза ночной птицы.

«Это дерево не зажгешь!»

А хозяин не нуждался во внешних раздражениях, становясь с каждой минутой всё более многоречивым, подпрыгивая на стуле и одергиваясь. Его золотистые зрачки расширились, белки покраснели, басок звучал мягко и чувствительно.

— Стоят они по колена в воде, дождь их сечет, ах ты, боже, — дотронувшись пальцем до локтя Смагина, он объяснил:

— Это я про рабочих, которые на болоте. «Пора бы кончать, ребята», — говорю. «Нет, говорят, нельзя, а то весной вся работа прахом пойдет». Вот пойми, Павел Николаев, людишки работой живут, значит, чем больше работы, тем для них выгоднее, так? Ну, и пускай по-ловодье заливаает работу, пускай портит всё, верно? Деньги получил и еще получишь, а они говорят, — нет, нельзя! Почему нельзя?

И снова подавшись к Смагину, он умиленно ответил на свой вопрос:

— Совесть запрещает! Вот он, сердечный, наш народ. Это — густой народ, на день, на два, на год можно его замутить, но он скоро опять устоится... Он стоек!

Коптев зажмурил глаза и, покачивая головою, пропел:

— Люблю свой народ, цены ему нету! Намучен он, жалко его; всё наше жительство жалко до того, что иной раз сердце перехватывает, ну — ладно! Выстоим свое, дождемся, дотерпимся...

Смагин слушал хозяина с изумлением, — голос его звучал задушевно. Коптев не казался пьяным.

— Я так полагаю, — вдруг и очень громко начал писарь, но Коптев остановил его резким взмахом руки справа налево.

— Пстой!

И сказал Смагину:

— Я ведь и вашего брата понимаю, я знаю, что и в левых есть совестные русские люди, и знаю — быть им правыми!.. Русь всякую кривую кость выправит.

В теплой комнате, хорошо освещенной огнями двух ламп, стоял жирный запах пищи, спирта, яблок. Вошла Таисья с кипящим самоваром в руках. Пар со свистом бил в лицо ей; красиво изогнув шею, она смотрела вбок и кому-то ласково улыбалась. Сладкий жирный запах стал гуще.

— А реформы, пистолеты, революции, — всё это черная немощь, — возбужденно говорил Коптев, поддергивая штаны. — Это всё от Франции, она, ядовитая крапива, обожгла нас; от нее ваша братия, леваки, волдырями вскочили по русской коже! Выполоть бы ее со света, да и выполют, — погоди! Это с Наполеоновых годов пошла зараза, ну, теперь — шабаш!

Он отсек воздух любимым своим жестом и замолк, отирая потное лицо.

Таисья села рядом со Смагиным, толкнула его коленом, испуганно выронила чашку на поднос и, зардевшись, сказала:

— Извините...

— Не беспокойтесь, — молвил Смагин, отодвигаясь, а Коптев, поочереды взглянув на них, спросил:

— Что такое?

— Толкнула нечаянно я их...

— Я их, я их, — передразнил Коптев жену. — Возись осторожно!

— Беда невелика,— сказал Смагин.

— Чашку разбить могла...

— Я так полагаю,— заговорил писарь, потирая щеки короткой рукой,— все бунтующие люди, как-то: сектапты, политики, пьяницы и даже многие воры, грабители — незаконнорожденные, дети от гражданских браков и других случайностей распутства, то есть незаконного смешения кровей.

— Вот, прислушайтесь,— посоветовал Коптев —на хлебнику, усаживаясь на стул покрепче, а Финогенов, глядя круглыми глазами прямо в лицо Смагина, продолжал, словно читая казенную бумагу:

— Лицо, рожденное вполне законно и воспитанное в духе своей семьи, своего сословия, должно быть признано действительным человеком. Всех же незаконнорожденных надобно принимать за подделку и лишать их прав состояния, обращая как бы в крепостных людей государства и общества.

«Шутит филин?» — подумал Смагин, разглядывая убежденно-мрачное лицо писаря.

Но тот продолжал лениво и упрямо, как осенний дождь.

— Еще в четвертом году, будучи помощником смотрителя иноподческой семинарии в Казани, я обращался в одно высокое учреждение с докладной запиской по необходимости этого дела, и записка была одобрена одним из тамошних ученых профессоров.

Смагину казалось, что в комнате густо падают тяжелые хлопья сырого снега. Ровный, бесцветный голос писаря не заглушал ни осторожных ударов маятника, ни шороха дождя за окном. Стало кошмарно скучно.

Таисья бесшумно пила чай из блюдечка и смотрела на свое отражение в самоваре. Коптев чистил яблоко, аккуратно снимая перочинным ножом тонкий слой розовой кожи.

— Только в детстве люди живут счастливо, потому что жизнь детей беззаботна и на них работают взрослые. А посему надлежит озаботиться, чтобы детское состояние чувств и мыслей пребывало в человеках до конца дней. Изволили усвоить? Деторождение же, то есть собственно зачатие, должно быть взято под наблю-

дение особых комитетов, дабы, во-первых, люди не дерзали размножаться превыше законного числа, во-вторых же, необходимейше-необходимо наблюдать за чистотою крови родителей. Ежели возможно улучшать породы собак и даже кур, то и порода людей может быть улучшена, то есть упрощена в направлении к детскому. Это есть единственная мера, способная изменить жизнь коренным образом, а все другие реформы — просто обман и фантазия, потому что ничего не изменяют внутри людей, в душе...

— Надо успокоить ум, — строго заметил Коптев, до-еда яблоко.

— Позволь, Степан, — остановил его Финогенов и продолжал всё так же ровно, бесцветно.

— Никакого улучшения не может быть, кроме упрощения, а — разум не упрощает обстоятельств жизни, это известно, от времен Адама. Изволили усвоить?

Смагин чувствовал, что писарь может говорить неопределенно долго и всё более удушливо.

— Что же, — спросил он потирая лоб, — этот план жизни только для России?

— Обязательно — для всех народов земли, — ответил Финогенов. — Только установив повсеместное единство, достигнем покоя и порядка.

— Не согласятся с вами народы, — сказал Смагин.

— Заставим, — крикнул Коптев, ударив кулаком по колену. — Так ли, как Финогенов надумал, иначе ли как, а — вся земля должна жить нашим бытом, по-русски, по совести...

— Когда я жил в Могилеве, — начал Финогенов, но хозяин перебил его, крикнув еще раз:

— Заставим!

Смагин попытался возразить, но Коптев, не слушая, хватал первое попавшееся слово и кричал:

— Вы поучаетесь по иностранным книжкам, а вы бы поучились от мыслей русских, заглянули бы в душу народу-то. Перестроить, кричите, а из чего строено, знаете? У нас народ из чугуна литой, на долгие века народ, он не ради пустяков на земле, а Христа ради!

Смагин тоже начал кричать, негодуя на себя за то,

что не может не сердиться, но Коптев не слушал его, брызгая словами, как ружье дробью.

— Неверно! Иван Грозный извергом считается вами — книжниками, а что говорит про него сам народ?

Отвалившись на спинку стула, помахивая рукою, он нараспев проговорил:

Ой, настало времечко счастливое,  
Стал наш Грозен царь Россеюшку любить,—  
Стал Россеюшку любить, чужи земли с ней сводить.

— Вот что народу надобно, чтобы царь чужи земли свел с ней, чтобы, значит, место завоевал! Вы о Грозном говорите — зверь, а народ говорит — Прозритель! На чем помиритесь? Ага, в народе у Грозного слава добрая, а вы... знаете вы, как он боярина Никиту Романова наградил за спасение сына?

Коптев снова запел, сверкая зрачками:

А вот тебе грамота охранная:  
Кто церкву покрадет, мужика убьет,  
А кто у жива мужа жену уведет  
Да сбежит в село боярское  
К тебе, старому Никите Романову,  
И быть им у тебя, не к выдаче...

Писарь, поглаживая свое каменное лицо ладонью, покачивал головою в лад стихам, а Смагин, чувствуя себя бессильным остановить вихрь слов хозяина, стал слушать его пламенную речь молча и всё с большим интересом.

— Кто бы у нас бунтов ни начинал, все начинали царским именем: Гришка ли Отрепьев, Разин али Пугачев, даже дворяне, и те супротив Николай Павлыча за Константина встали! Это надо понять: не свою власть утверждает народ, а над собою!..

Исторические воззрения Коптева не нравились писарю; нахмурясь, он сказал угрюмо:

— Однако всякий бунт — бунт! Ты, Степан, не то говоришь...

— То! — взвизгнул Коптев,— может — по разуму не то, а по сердцу — то самое...

Но писарь повторил:

— Бунт есть бунт! Закрывать глаза не надо...

Смагин взглянул на него и понял, что писарь тяжело пьян; лицо его распустилось, обплыло; студенистые глаза еще более помертвели и выпучились. Что-то жуткое, грозное явилось на этом каменном лице ночной птицы, — Коптев взглянул на него и присмирел, повторив его слова:

— Конечно, бунт — бунт...

— Вот,— сказал Финогенов.— Ради царя, ради Христа — всё одно! Не смей...

Розовое лицо немой хозяйки покраснело, покрылось потом, она отирала его платочком, спрятанным в рукаве кофты. Ее словно не было в комнате.

Коптев, расстегнув жилет и ворот рубахи, сунул в рот конец бороды и мял его губами.

— Изволили усвоить? — вдруг спросил Финогенов, разглядывая свою ладонь,— хотел приподняться со стула и не мог.

Тайся усмехнулась, муж тихонько погрозил ей пальцем и сказал:

— Ступай спать!

Она встала, поклонилась гостям и покорно, как подросток, ушла.

— Перегрузился я,— выговорил Финогенов, глядя вслед ей.

Помолчали с минуту, потом Коптев спросил писаря:

— Зонтик у тебя есть?

— Да,— не сразу отозвался писарь,— пора домой...

Осмотрел комнату и повторил:

— Домой...

— И мне пора,— сказал Смагин, вставая, но хозяин мигнул ему и отрицательно покачал головою.

Точно слепой, держась за край стола, Финогенов поднялся на ноги, расправил плечи и, посмотрев на Смагина, глухо произнес:

— Надеюсь...

Но, не договорив, на что он надеется, сунул руку Смагину и, покачиваясь на коротких ногах, тяжело



пошел к двери, посапывая. Коптев отправился провожать его, а Смагин, присев на лежанку, думал:

«Какие люди!..»

Из двери в кухне высунулось лицо хозяйки.

— Ушли? — тихо спросила она.

— Да. Надоели мы вам?

— Ничего. Они иной раз до света сидят, — сказала она, исчезая.

Воротился Коптев, подошел к нахлебнику и объяснил:

— Кабы вы первый ушли, так он бы остался, вот я и мигнул вам, — погодите, мол! Таисья, дай квасу, — квасу хотите?

— Нет, спасибо.

— Не надо, Таисья! Большого ума человек, но — пропал зря!

— Дойдет он?

— Дойдет! Он — привычен, ночной человек, летом до утра шляется. Сын у него был, — осудили в каторгу за грабеж, в седьмом году. Жена вторая — распутница, сбежала от него; девчонка совсем была, семнадцати годов, пять месяцев всего и жила с ним. Так вот и остался он — не бритый... Остро боится — ножей, вилок, шильев...

Схватив руку Смагина цепкими грязными пальцами, хозяйка потряс ее:

— Хороший вечерок провели, а? Я, грешник, люблю побаловать...

— Вы во всем согласны с ним? — спросил Смагин.

Коптев сморщил лицо, говоря:

— От ума многое у него, а ум — раздраженный обидами. Это верно, — жизнь надобно исправлять изнутри, от семьи. И чистая кровь — великое дело! Тут у нас живет чужак один, прокурор Маймачинский, образованнейшее лицо, — так он кому хотите докажет, что турки и китайцы погибают от многоженства, от смешения кровей. Ну, а кому же приятна турецкая судьба?

— Покойной ночи, — пожелал Смагин.

Он поднялся к себе, зажг свечу и, медленно раздеваясь, испытывая чувство тяжелой усталости, думал:

«Далеко всё это от знакомого мне, далеко...»

Вытянулся на постели вниз лицом, погасил свечу и стал смотреть, как тает тусклое пятно луны, потерянной в облаках. Было так совершенно тихо, что казался громким и беспокоил даже стук часов в кармане жилета, висевшего у двери на стене.

«Я держался неумело, — соображал Смагин. — Неужели у меня не хватает идей и фактов для спора с ними?»

Он чувствовал себя смущенным, вспоминая горячие речи, снисходительные насмешки Коптева.

«Дед мой жил при лучине, при сальных свечах, отец — керосин жег; я могу электричество запалить, ну так что? Лучше я деда и отца, спокойнее живу? Пустяки всё это, детские забавы! Вот граммофоны выдумали, синематографы, я вижу — это забавно, ну так что? Игрушки же это! А для души — где облегчение?»

Глухо, как деревянное било, звучал голос Финогенова.

«Жить надо замкнуто!»

Серебро в облаках за окном растаяло. Окно заткнула тьма, на железо крыши тихонько посыпался дождь.

Внизу, у хозяев, упало что-то тяжелое, потом хлопнула дверь, тишина тотчас захлестнула звуки, но через минуту сквозь пол просочилось странное бульканье, — кто-то заговорил торопливо и громко.

Закрыв глаза, Смагин представил себе красивое лицо хозяйки, всегда полусонное и как бы уставшее от сновидений, вспоминал ее мощное тело. Как, должно быть, скучно ей жить!

Не спалось. Под тихий шумок дождя сердце мягко сжимала грусть.

Он бессонно лежал до утра, а когда в комнату взглянуло белесоватое осеннее солнце, — встал, подошел к окну и долго смотрел в поля, за рекою, следя бездушно, как на полосе яркой озими мелькает, прыгая, заяц.

Скоро солнце утонуло в облаках; мокрый город посерел, разбухшая земля потемнела.

Зима встала сразу, круто; с вечера густо повалил мокрый снег, а поутру он лежал на крышах, на земле плотным слоем, сжатый бодрим морозом, распушив голые деревья белыми цветами, и по всей земле, чудесно окутанной в шелка и атласы, расцвел белый тихий праздник.

Крыши приобрели странное сходство с крышками гробов, обитыми сверкающим глазетом, дальний лес поседел, а река, отразив сизоватые тучи, стала густосиней. Скворечни, вершины деревьев, трубы домов одели пушистые чепчики, и всё печальное, ограбленное дождями и ветром осени, тепло оделось толстым слоем пуха.

В квадратной раме окна явилась новая картина — тихо-светлый полукруг земли, неподвижный и безлюдный. Смагин стоял пред окном и любовался, наслаждаясь, как будто впервые видел первый день зимы.

«Хорошо, если бы солнце ударило на всё это», — пожелал он, следя, как из трубы поднимается дым, в одном месте серый, тучный, в другом — голубоватый и едва различимый на сизой завесе неба.

Он многое переживал здесь впервые, но неохотно сознавался в этом пред собою, — ему было тридцать лет, он привык думать, что знает жизнь, и было неловко, обидно почти ежедневно спотыкаться обо что-то непонятное, хотя и знакомое смутно по литературе, по газетам и рассказам приятелей, которые жилали в глухих уездных городах.

Всё чаще он ощущал, что его знание бытовой стороны жизни недостаточно широко, несвязно и что многое в городе чуждо ему, как, наверное, было бы чуждо иностранцу. Он замечал, что в его запасе сведений о провинции гораздо больше идей, чем фактов, а факты, известные ему, в большинстве имеют характер анекдотов. Эти анекдоты, смешные и грустные, часто — отвратительные, возбуждавшие брезгливость и скорбный гнев, раньше очень удобно укладывались в рамки известных, привычных обобщений, объяснений, но теперь, когда анекдоты создавались на его глазах, он чувствовал, что психика творцов уездной жизни мало понятна ему.

— Нет, вы погодите, — кричал Коптев за обедом. — Когда вот мы, маленькие города, выдвинемся, вопремя в дело, — мы вам покажем себя! Мы с вас, столичных, спесь собьем, мы — не столичные, а — единоличные, — у нас одно лицо у всех! Мы свои порядки возведем, свои города нагородим, — нас семь тыщ, да все губернские с нами, да села тоже, — так это такая будет туча народу! Что-о-с? Полтораста миллионов у нас?..

Он удивился, недоверчиво поглядел на Смагина, резко одернул жилет.

— Да верно ли сосчитано? Надобно в календаре посмотреть...

Но его очень обеспокоила цифра населения империи; помолчав, повертев шеей, он снова заговорил, пренебрежительно улыбаясь.

— Инородство тут впуталось — армяшки, жидишки, киргизьё. Так ведь всю эту челядь — вон выжать али обратить в крепостное состояние, только и дела! Не давать им никаких прав, — сами разбегутся кто куда. Вот — в Китай можно, земля огромная...

Однако и этот план не успокоил его, он стал настойчиво расспрашивать Смагина — сколько на Руси русских?

— Пятьдесят пять миллионов великой-то Руси! Сорок три процента... мм, скажи, пожалуйста! А я считал — больше. Н-да...

Он приуныл, но за ужином, снова добрый и веселый, внушал Смагину, показывая маленький, крепко сжатый кулак.

— Сила не в цифре, число ничего не обозначает, — сила в крепости! Иной — с тысячью целковых па десять оборот имеет, а другой с десятью — на пятьсот. Главное — разум!

— Да ведь вы разум не цените! — напомнил Смагин.

— Как это?

— Вы же говорите, что жить надо не по разуму, а по совести, а где ж тут совести место, если вы на всех инородцев гонение проповедуете?

— А они — живи нашим бытом, так я их не трону, может! Совесть для всех должна быть одинакова. Не мне же по закону калмыцкой совести жить, пусть калмык

по моему закону живет, я его умнее! Кроме того: одно дело — дело, а другое — вера! Да и что такое совесть, если вдуматься? Тут — совместное, советное, вестимое, значит: всем известное, принятое за правило всеми вместе! Вот что — совесть! Стало быть, если все вместе пятьдесят пять миллионов примут совместно решение, — все другие должны уступить!..

Смагин ясно видел, что в этой путанице слов и понятий его мыслям, его идеям — нет места. Всё, что он говорил, не доходило до сознания хозяина, останавливаясь перед стеною устойчивого недоверия, насмешливого невнимания.

Сначала, сгоряча, он определял рассуждения хозяина резкими словами:

— Чепуха, дичь...

Но, присматриваясь к нему, чувствовал, что этот бойкий человек — не глуп, а только неуклюже, неумело облакает свои органические мысли в чужие, неудобные для них слова, и слова эти росли на чем-то, как плесень на сыром дереве.

Сын банковского служащего, который женился поздно, а умер рано, Смагин еще во дни отрочества начал жить трудной жизнью, столь обычной для людей его слоя: упрямо бегал по урокам, желая помочь матери и сестре, и ясно понимал, что образование для него — единственная почва, на которой можно встать твердо. Не замечая в себе особенных дарований, одолевал препятствия упорным трудом; средний человек, он не рассчитывал на многое, но привык верить в свои силы и уважать себя.

В разнообразных столкновениях с жизнью он дошел до сознания личной ответственности за ее безобразия, и, когда наступил бурный год возмущения всех здоровых сил страны, он, в ту пору студент второго курса, спокойно и деловито вошел в крутой вихрь событий. Не отличаясь радикализмом, терпимый, гибкий, как все, непосредственно познавшие драматическую сложность человеческих отношений, он все-таки был увлечен событиями далеко налево и, потерпев за увлечения меньше других, вышел из неудачного боя сравнительно мало изувеченным духовно.

Ему удалось воспитать в себе немножко юмористическое отношение к жизни, к людям, к своим эмоциям, и хотя это несколько раздваивало его, но очень помогало в трудные дни. Он спокойно пережил гнилые годы развала социальных идей и чувствований, сохранив свою веру в правду, созданную историею человечества, в ту правду, которую западноевропейский мир неустанно творит из крови и нервов бесчисленных поколений в крепкие мыслеформы, на которых строится храм всемирной, планетарной культуры.

Но теперь, в этом деревянном городе, тихом, как густой лес, под низким небом, он начинал чувствовать нечто непримиримо враждебное его правде — другое мирозерцание, темное, запутанное и жуткое. Его мозг словно растворялся в чем-то жирном и липком, подобно клею, он чувствовал убыль энергии и утешал себя:

«Это — результат временного преобладания впечатлений отрицательных; раньше впечатления были обильные, чередовались, а теперь они не богаты и одноцветны. Очень уж скоро скучать начали вы, сударь! Будьте при себе!» Но шутки не утешали.

Вечерами Смагин стал уходить из дома в гостиницу и там играл на бильярде с портным Щукиным.

В трезвом состоянии портной смотрел на всё и на самого себя — грустно, он всё жаловался, вздыхая, шмыгая носом.

— В молодежи здесь интерес только к модным вещичкам и, конечно, к бабству; бабство съедает людей, как мух, знаете, — рассказывал он, нацеливаясь кием в шар, крепко зажмутив один глаз, широко раскрывая другой. — Красного в участок направо! Когда заговоришь о чем-нибудь сверх обычного — смеются: штанов, говорят, шить не умеешь, а политикой занимаешься, рыло! Конечно, врут, я шью на всех именитостей здешних, и они мною довольны, хотя всё это люди без фигур. Животы очень одолевают их, — замечательно жирный народ против Петербурга.

Изгибая над бильярдом свое тощее тело, далеко отставив длинную ногу, он долго ерзал кием по пальцу, а после неверного удара лизал палец языком.

Смагин обыгрывал его; тогда портной, становясь еще

более грустным, встряхивал пеньковой головою и продолжал свои жалобы:

— Не везет мне! Молодость потеряна в пустых пространствах рассуждений, ума особенного не накопилось, а в сердце — едущая скука. Что — так и что — не так? Глядишь на все стороны между событий жизни, а где правильная колея? Не видно. В мыслях — одиночество, в жизни — тоже. В Питере одиночество не окружает, там везде — свои люди; хотя и незнаком человек, но по взгляду видно — свой, тогда как здесь смотрят на тебя с простым вопросом: в какой мере ты жулик?.. Жениться? Об этом я думаю, но женщина здешняя пугает объемом и отсутствием души. И сверх того, я не верю в прочность жизни, — вдруг придется бежать куда-нибудь? А может быть, и не придется, но захочется, потому что я смотрю на мою жизнь, как на ссылку.

На темных улицах, провожая Смагина, он говорил смелее:

— В Питере я все-таки книжки читал, в театры хаживал, был членом профессионального союза и думал об исполнении заветных желаний. Здесь — книжки не в чести, да и некогда читать, безделье мешает! Там — свобода слова в трактирах, а здесь — ну-ко поговори! По-матерному можно, а по правде — нельзя! Очень странно, а допускается условиями жизни.

Посмеиваясь, он сказал смущенно:

— От всех столичных привычек — одна осталась: полицию побаиваюсь. И как тогда свернули вы в полицейское, я даже обомлел, думаю: ловко познакомился!

Однажды он предложил Смагину, сняв шапку, стоя с непокрытой головой:

— Зайдемте ко мне чай пить, пожалуйста!

Он жил в двух комнатках маленького домика, спрятанного за палисадником; в первой помещалась мастерская, а рядом с нею, за перегородкой, не доходившей до потолка, стояла кровать, стол, два стула и старенькая фисгармония.

— Играете? — спросил Смагин.

— Учусь; купил по случаю у татарина и учусь. Зимой, знаете, очень утешает; на улице — стон, вой, адово безобразие, так я присяду и заглушаю...

Он достал из ящика стола две книги в черных переплетах, хлопнул ими друг о друга и сказал, мило улыбаясь:

— Вот, тоже для самозабвения хорошо служит, — Дон-Кихот, читали? Замечательная вещь! С картинками. — И засмеялся, ласково поглаживая книгу, точно кошку.

— Мне чудится, что я сам заметно похож на Дон-Кихота, особенно — носом, а также — худобой, только бородки нет. Пробовал я и бородку завести, но она начала расти рассеянно и всё направо... Смеяться стали, сбрил...

И наклонясь к гостю, сидевшему у окна, он сказал серьезно:

— Не надо ведь позволять, чтобы они смеялись над нами? Так?

— Так, — сказал Смагин, улыбнувшись и чувствуя, как быстро портной возбуждает у него симпатию.

Маленькая круглая старушка с плутоватыми глазами внесла самовар, комната сразу наполнилась запахом углей. Щукин поморщился и вопросительно сказал:

— Ильинишна, а ведь опять с угаром?

— А ты, батюшка, форточку открой, — посоветовала старушка и ушла.

— Слыхали? — спросил Щукин, иронически подмигнув вслед ей. — Вот этак они смотрят на все неудобства своей жизни: им, знаете, кажется, что ежели существует форточка, так уж надлежит пускать всякий чад...

Смагин засмеялся, а портной, прибодренный его смехом, оживленно продолжал, заваривая чай и, кстати, обливая себе пальцы кипятком:

— Домохозяйева у меня замечательно простые люди, льют помой по всему двору, в палисадник, под деревья. Я говорю: запахи от этого, мухи, болезни! Но они возражают: а солнышко на что? Хорошо понята должность солнца? То есть ежели бы опустить его пониже, так они на нем грибы станут жарить, как на сковороде.

Он печально покачал вихрастой серой головой. Было в нем нечто беспомощное, смешная и милая неуклюжесть подростка. Его длинные, тонкие пальцы



попадали не туда, куда следовало, торопливо и неловко хватая не то, что нужно. Налив гостю стакан чая, он отставил его в сторону, а Смагину почтительно подал сахарницу, не переставая говорить певучим тенорком:

— Удивительно трудный народ для всего и для самих себя! И сверх того — озорники! Конечно — озорства и в Питере сколько угодно, но — тамошнее другого сорта, там я чувствую корни раздражения, там человек и без очков видит, как его замаяли, заторкали, там он законно негодует, хотя бы и дикими приемами. Жизнь наглая и сразу видно: вот — я, вот — не я, и начинается отчаяние по причине множества обид. А здесь жпвут без негодования, в неподвижном равенстве глупости и без волнующих желаний. То есть они, конечно, волнуются, но до первого куса, заткнул себе глотку и — молчит, набил кишки и — дремлет. А в свободный свой час — озорничает зверским бытом, без всякого резона...

Он забыл завернуть кран самовара и сделал это после того, как сплеснул кипяток с подноса на колени себе. Не смутясь, он встал, оттянул брюки на коленях и, придерживая их руками, сплетенными из синих жил и тонких костей, согнувшись, продолжал:

— Обижают меня эти поступки своею ненужностью, и, знаете, поглядишь вокруг, подумаешь, да вдруг и поймешь со страхом: так вот что значит чужая сторона, о которой в песнях поется!

Пищал самовар, точно в нем мыши играли, ветер дергал ставню, толкался в стену, гудело в трубе. Смагин молча слушал трепетный голос портного и чувствовал, как изголодался этот человек, как жадно торопится он насытить свою потребность общения с подобными себе.

«Чужая сторона? — думалось Смагину. — Нет, это нелепость...» Мимолетно, отрывочно он вспоминал другие комнаты, столь же бедные, неудобные, но — полные ясных признаков более широкого интереса к миру, к жизни. На стенах тех комнат висели фотографии известных людей, на полках стояли книги. Там кипели жаркие споры о великих вопросах, о событиях Европы;

звучали в памяти иные слова, гневные речи, и было ясно, что там, в маленьких клетках огромного города, растет другая жизнь, ничем не связанная с этой. Впечатления бытия там обильнее, разнообразней, уколы их острее, и человек, раздражаемый ими, растет быстро. Жизнь бьет с размаха железным молотом, слабые исчезают под ее ударами, сильные становятся крепче. А вот здесь жизнь как будто устала смертельно, движется медленно и слепо, напоминая таяние осенней бесконечной ночи. В сумраке этой сырой, худосочной жизни рождаются, как плесень, странные фантазии Финогенова, Коптева, мысль вертится вокруг будничных пустыков, и есть в ней что-то бескрылое, испуганное, тоскливо-озлобленное и противочеловечное.

Щукин, становясь всё более интересным, словно умнея с каждой минутой, изливался, посмеиваясь:

— А что они друг с другом делают, — понять невозможно этих сенсаций! Например, в Успеньев день мещанин Шишов гоняет своих голубей, — у него очень хорошая стая, и за нею всегда охотится Лукин, богач-купец, тоже азартный голубятник. Увидал он шишовскую охоту и сейчас же выпускает свою, да, второпях, и сломай помело. Дело охотничье, горячее; вот он сорвал с себя штаны, и на грех вместе с подштанниками, стоит на крыше, гогочет, как в бане, и, знаете, размахивает. Праздник, время предвечернее, на улице — женщины; некоторым вовсе неприятно видеть мужчину на высоте и во всех подробностях, они, конечно, визжат, как собачки, а сосед Лукина, акцизный надзиратель Старокумов, известный своей ревностью к жене, схватил двухстволку и давай палить в купца из окошка. Пять раз выстрелил, и хотя дробь не донесла, однако купец испугался, сидит на крыше и орет: «Убийство!» Толпа собралась, хохот, пальба...

— Это анекдот, — сказал Смагин, смеясь. — Кажется, я его слышал или читал...

Портной обиделся, привскочил со стула и горячо возразил:

— Помилуйте, зачем же я анекдоты сказывать стану? Они — судятся. Спросите Финогенова, — он Лукину прошение писал, обвиняя акцизного в покушении на

убийство дробью среди бела дня, а Старокумов обвиняет Лукина в нарушении всех приличий.

Смешно взмахнув руками, портной с грустью продолжал:

— Легко сказать — анекдот! Если бы — среди прочего, ну, допустимо назвать анекдотом, а когда ничего прочего незаметно и подобный случай возбуждает интерес всех жителей, то уж это, знаете, вовсе не анекдот, а — историческое событие из действительной жизни. Вы всё по-своему меряете, а здесь действует местный сантиметр.

Исторические события потекли из уст Щукина, как из водосточной трубы; он торопился, захлебывался словами и выкрикивал:

— А это анекдот? Господин Маймачинский пьяную кухарку свою раздел донага и, выкрасив коричневой краской, которой полы красят, выгнал со двора в этом виде. Она жалобу на него, а он обвинил ее в краже, и конечно... Ее же под арест посадили.

Просидев далеко за полночь, Смагин стал прощаться, но портной попросил его:

— Позвольте, я провожу вас!

Была оттепель, черная ночь плотно окутала город сырым тяжелым трауром. Редкие фонари, сгущая тьму, казались толстыми гвоздями, и это они крепко пришили ее к земле. Гвозди — толстые, а золотые шляпки уродливо малы, тьма обсасывает их, и они становятся всё меньше.

Щукин тоже, напоминая фонарь, засасываемый тьмою, мял длинными ногами темный мягкий снег и бормотал задумчиво:

— Если бы мне задали географический вопрос, что такое город Мямлин, — так я бы, не стесняясь, ответил: «Мямлин — это местность, населенная чрезвычайно одинокими и весьма одичавшими людьми, из которых каждый занимается не своим делом!» Честное слово! Господин Маймачинский — паяц, а всю жизнь служил прокурором, городской голова Богомоллов — купец, а характер у него монаший, и ему бы архиереем быть. И всё в этаким роде, знаете.

Помолчав, он добавил тихонько:

— А вот я музыку обожаю, а между тем — портной!  
Однако до свидания! Душевно спасибо за визит...

Смагин стал радушно приглашать его к себе:

— Заходите, а? Хоть завтра!

Но Щукин, почмокав губами, вздохнул и сказал смущенно:

— Нет, уж лучше вы ко мне пожалуйте! Я, знаете, несколько побаиваюсь вашего хозяина, не люблю его медную морду... Это такая ехидна...

Длинный, желтолицый, он стоял перед Смагиным, покачиваясь, и снова напомнил ему фонарь, который засасывает холодная липкая тьма. Смагину было сердечно жалко портного; неудовлетворенный, тоскующий, этот человек был понятен ему, он светился трепетным и неясным, но знакомым светом.

— Нравитесь вы мне очень! — сердечно сказал он Щукину, а тот ответил так же просто и сердечно:

— И вы мне тоже. Я, знаете, как заметил вас тогда перед домом Маймачинского, вижу — стоит человек, смотрит и не верит. Ах, думаю, бедный... Я ведь очень знаю, как трудно интеллигентному человеку в здешней необыкновенной жизни...

Это неожиданное сожаление рассмешило Смагина, он так и пришел домой, с улыбкой в сердце.

Как всегда, ворота отперла Таисья, в полушубке, накинутом на рубаху, в тяжелых валяных галошах, обшитых кожей.

— Извините, беспокою я вас, — тихо сказал он, заглянув в лицо ее, измятое сном, — она отозвалась так же тихо:

— Ничего.

И, задвинув засов ворот, пошла рядом с ним, вздыхая.

— Вам бы прислугу завести, — посоветовал Смагин, останавливаясь у лестницы, протянув ей руку. Она запахнула полушубок на груди, должно быть, не замечая его руки, и ответила равнодушно:

— Не хочет мой-то! Ты, говорит, вон какая, сама справишься...

— Покойной ночи.

— Спасибо, — не сразу ответила женщина.

Раздевшись, Смагин лег на постель, тишина тотчас окутала его толстым слоем. Чувствуя себя на дне темного озера, под тяжелым давлением теплых вод, он полежал с полчаса, вскочил и зажег огонь. Тьма, дрогнув, бросилась в углы, сгустилась там клочьями грязной ваты.

Ему вспоминалась недавняя беседа с инженером Зейделем. Маленький, сухой, черный человечек, в рыжей куртке шведской кожи, сидел на диване, подогнув тонкие ноги калачиком, жег одну за другой дорогие папиросы и задумчиво, разбитым голосом говорил так же многословно, такой же голодный, как Щукин.

«Старая русская литература совершенно правильно рассматривала личность как необходимейшую жертву, обреченную всей русской историей для заклания на алтаре общественности. Что хотите возражайте, но именно здесь правда всей философии русской истории, здесь! Эта милая, но глубоко несчастная, насквозь анархическая страна требует самозабвенной работы многих поколений. Работа должна быть непрерывна, ибо мы живем на зыбкой почве, способной засосать Хеопсову пирамиду, чуть только наши руки опустятся, вследствие усталости или по причине ошибочного представления, что интеллигенция страны сделала всё, что могла и должна была сделать. Судорожная жизнь интеллигенции является сплошным лучеиспусканием разумной энергии в пустоту, благодаря этим постоянным колебаниям от общественности к анархизму и социальному нигилизму».

Он покачивался, окружая себя сладко пахучим дымом египетского табака, лысоватый, горбоносый, с темными, как вишни, глазами. Следя за спиралями и кольцами дыма, точно желая скрыть за его пепельной завесой свое нервное лицо и тревогу взгляда, он поглаживал пальцами ребенка черные усы, острую бородку и рассуждал как бы сам с собою:

«Работа, упорная работа сознательного восприятия принципов и форм западноевропейской культуры — вот наша задача, вот в чем наше спасение! Это не ново, конечно, но это забывается. Если мы хотим жить, нам пора перестать внутренне качаться между Азией и Европой. Тем более пора отказаться от этого вреднейшего занятия,

что за последние годы маятник наших желаний заскакивает всё глубже на Восток, всё менее на Запад».

Он завозился на диване, разгоняя дым, и нервно воскликнул:

«Как это старо и как страшно, что вот приходится снова повторять очевидное, необходимое! Удивительный народ вы, русские! Никто другой не возбуждает такой любви, такого интереса к себе, как русский, и нет народа, с которым жилось бы так трудно, так бесполезно! Ах, пускай трудно, — трудное интересно, но бесполезно, бесполезно жить среди вас, вот драма!»

Соскочив с дивана, Зейдель быстро зашагал по комнате, рассказывая с усмешкой:

«Тут живет один самодур, некто Маймачинский, подагрик, и, в сущности, скот. Доказываю я ему, что его участок леса — превосходный лес! — будет года через два заболочен, если он теперь же не разрешит мне работать на его земле, смежной с участком, который я осушаю. Нет, говорит, работать не разрешу, а за то, что предупредили о пакости, ожидающей меня, спасибо! Вызову, говорит, весной гидротехника, установлю, что ваши работы грозят гибелью моему имуществу, а когда ко мне в лес пойдут воды, предъявлю к вашему ведомству иск об убытках. Убеждаю, что, пока он будет судиться, его лес замокнет, — таковы станут условия местности, измененной нашими работами, указываю, что водонепроницаемый слой имеет наклон к его границе, — хохочет! Я, говорит, юрист, я свое право умею доказать и в силах защитить. Его правам угрожает не казна, а природа, которая не считается даже с юристами! И какой он юрист? Он анархист!»

Смагин встал с постели, подошел к окну; стекла были замазаны матовой серой мутью, сквозь ее сырую ткань чуть виднелись беловатые пятна снега на крышах. Он отвернулся и в маленьком светлом круге зеркала увидал свои озабоченно прищуренные, серые, ясные глаза.

— Лицо обыкновенное, — пробормотал он, пощипывая русую бородку и усы, прикрывавшие мягкие губы небольшого рта.

— Лицо, едва ли пригодное для необыкновенной жизни, — пошутил он, но тотчас с досадой сказал себе:

— Не паясничай, дружище; ложись и спи!

Лег, погасил огонь, но не спалось. Раздражала эта чугунная тишина, гостеприимно, как смерть, поглотившая все звуки, все намеки на жизнь.

«Ну, что ж тут особенного? — недовольно соображает Смагин, — это очень обычно...»

...Ехал по грязной улице мужик с возом сена, лошадь упала и ожеребилась. Молча он распрягает больное животное и, не замечая, топчет свою шапку в грязь, в кровь. Закатив глаза, лошадь тяжело, трепетно дышит, всхрапывает, слезы текут из ее добрых глаз, в бок ей упирается сломанная оглобля и, кажется, сейчас прорвет кожу. Под передними колесами телеги дрыгает ногами скользкий жеребенок, бьется головою о шину колеса, сует морду в грязь и удивленно мигает узким полураскрытым глазом. Десятка два мужчин, женщин и ребятишек смотрят на эту возню и обстоятельно ругают мужика:

— Облом, не видел, чего запрягал? Подлец. Дикой чёрт... Вот, дать по шее...

Никто не хочет помочь мужику, и только, когда Смагин, подняв из грязи шапку, сунул ее в сено, какая-то старушка, подоткнув юбку и перекрестясь, наклонилась к жеребенку.

Это неприятно вспоминать, но, помимо воли Смагина, картины уездной жизни плывут и плывут, точно радужные пятна по темной воде реки.

...Старенький благообразный точильщик точит ножи, а по другую сторону точила стоит рыжий мещанин, в тужурке студента, в кастановой широкой шляпе, похожий на шарманщика, стоит и озабоченно стачивает на сером камне свои черные звериные ногти.

— Гляди, сорвешь ноготь, — предупредил его точильщик, но мещанин ехидно осведомился:

— Что тебе — камня жалко?

И тотчас, вскрикнув, грязно выругавшись, сует палец в рыжий свой рот, обсасывает его, сплевывает кровь и кричит:

— Это ты на смех мне сделал!

— Господь с тобой...

— Врешь, это ты нарочно...

Он бьет старика левой рукой по лицу, тот, покачнувшись, садится на землю, а мещанин, посасывая палец, поплеывая, идет прямо на Смагина и, глядя в лицо ему, ругается:

— Паршивый чёрт...

...Идя на работу, Смагин почти ежедневно встречает девочку лет десяти, неприятно похожую на насекомое.

— Подайте милостыньку Христа ради, — равнодушно и тихо поет она.

Вся она какая-то бесцветная, бескровная, вялая, но на ее худеньком личике горят недетские жгучие глаза; мучительно понятно, что в этом маленьком теле неудержимо разрастается звериная злоба на всех людей, и злобу эту некому погасить.

Ключья жизни плывут один за другим, сливаются в одноцветную тучу; из нее сочится, как осенняя паморха, убийственный вывод: в людях не только не развито сознание общности своих социальных интересов, но даже чувство зоологического родства — неясно для них. Все враждебно друг другу, но это не живая вражда противоречий сословных — вражда на почве роста запросов тела и духа, в широту, — это какое-то мертвое, тупое недоверие человека к человеку, пугливая подозрительность людей боязливых, нищих духом, людей, которым всего дороже покой.

Смагин возмущенно завозился в постели, закинув руки на голову, — его угнетало и раздражало то, что этот темный вывод слагается помимо его воли, как-то механически, сам собою.

И, стараясь одолеть это наваждение, привести себя в порядок, он снова напомним себе речи Зейделя, — мечтательно улыбаясь умными глазами, инженер влюбленно поет:

«Измумительна интенсивная талантливость русского человека! Какая чудесная способность побеждать без оружия! Народ, идейно невежественный, теоретически безграмотный, он действует исключительно догадкой, этой таинственной смекалкой своей. „Но сколько он тратит лишней энергии, лишнего времени“, — заметил Смагин. „Это другой вопрос. А, боже мой, если б этот



народ был вооружен культурным опытом Европы, он, с его природными данными, в сотню лет совершил бы чудеса!“»

Смагину хотелось что-то возразить, но сдержался, — неловко и нелепо говорить с евреем, когда он искренно поет свою любовь людям страны, где ему живется наиболее трудно, где его ставят так унижительно те, которых он любит.

Под утро, когда ночь за окном стала пепельно-мутной, Смагин заснул и увидел кошмарный сон: в полутемной комнате, со сводчатым потолком, к нему подошел Коптев, одетый монахом, в бархатной скуфье, с большим гребнем в руке, подошел вплоть и сказал:

— Ну-кась, я тебя причешу!

Смагин покорно уселся на лавку, покрытую ковром, а Коптев снял с его плеч голову, положил ее в колени себе и, разглядывая, как арбуз, сердито забормотал:

— Погоди-ка, погоди, да это моя голова!

Сшиб ударом руки свою голову вместе со скуфьей и насадил на шею себе голову Смагина тем движением рук, каким протоиерей надевает камилавку.

— Видишь? моя!

Без головы тело Смагина сделалось легким, как пустое, он крепко ухватился за скамью, чтоб не улететь, но все-таки не удержался и подскочил вверх, тупо ударившись плечами о потолок. Явился пьяный Щукин и, отрывая пуговицы от своего пальто, стал разбрасывать их во все стороны, дико напевая:

— Сейте разумное, доброе, вечное...

Потом Смагин лежал в саду, на сырой траве, над ним к стволу дерева прилепился черный желтоголовый дятел и, глядя вниз веселым рыжим глазом, спрашивал:

— Изволили усвоить?

Ходила по саду Таисья и, улыбаясь, рассказывала шёпотом:

— Уж и чайник вскипел, даже крышечка хлюпает, а я гляжу и рукой двинуть не могу... Пора вставать, пора!

Смагин открыл глаза, — перед ним стоял хозяин, озабоченно говоря:

— Пришел взглянуть — здоровы ли вы? Полдень, а у вас тихо. Может, угорел, думаю? Вы что же не запираете дверь-то на ночь?

— Зачем? — спросил Смагин, приходя в себя.

— Да так... Запершись, спокойней спится.

Он пошел из комнаты и на пороге, щупая железный крюк, сказал:

— Запор порядочный...

Смагин стал одеваться, чувствуя себя больным, раздавленным кошмаром.

---

Через несколько дней, идя на работу, Смагин встретил девочку-нищую; она молча протянула ему красную ручонку и, получив монету, сказала простуженным голосом сердито и громко:

— Мать велела привести тебя.

— Куда? — удивленно спросил он.

— К ней.

Он посмотрел на голодное лицо ее, на растоптанные башмаки.

— Кто твоя мать?

— Баба здешняя.

— А что она делает?

— Хворает, — угрюмо ответила девочка, переступив с ноги на ногу, потом добавила:

— Запилась винищем.

— Эх ты, птица, — грустно сказал Смагин, положив ей руку на плечо, но она тотчас вывернулась из-под его руки, грубо спросив:

— Идешь, что ли?

— Далеко живете?

— За углом.

— Идем. Ты что такая сердитая?

Девочка на ходу взглянула в глаза его и тоже спросила:

— Ты не здешний?

— Нет, а что?

Она пошла быстрее. Вошли во двор старенького дома, покачнувшегося на левый бок, потом Смагин очутился в темной конуре, отделенной от кухни углом печки и

двумя ящиками, которые заменяли шкаф. Под окном, на полу, сидела, прислонясь спиной к стене, тощая печесаная женщина в лохмотьях, с босыми ногами; держа руку на коленях, она спросила надорванным голосом:

— Привела?

Желая встать, она тяжело перевалилась на бок, упираясь руками в пол, встала на колени, безнадежно говоря:

— Господин, верно, что вы у Коптева живете? Скажите вы ему, Христа ради,— племянница я его, а дочь моя внучкой приходится ему,— так скажите, помираю! Слепла, едва вижу. Вы добрый господин, всегда подаете доченьке, я и велела ей узнать — кто таков? Что уж казнить меня? Дочь-то не виновата. А он, бездетный, может, возьмет ее...

Говорила она натужно, с глубоким равнодушием и, видимо, не придавала значения своим словам, не думала, что человек поверит ей. От нее пахло гнилью, водкой и хреном. Вокруг ее, в этой темной узкой щели, было как-то особенно, победно и торжественно грязно, а среди грязи угловатой кучей возвышалась сама она, глядя в ноги Смагину тусклыми глазами. Он, отвернувшись, смотрел, как девочка, сняв башмаки, растирает руками ступни ног и дергает пальцы, точно отвинчивая их.

— Я скажу,— обещал он, протягивая женщине деньги.— Она не видела его руки, глаза ее оставались неподвижны.

— Деньги дает, принимай,— сказала девочка негромко.

— Спаси вас Христос!

Приняв милостыню дрожащей рукой, женщина стала ощущивать монеты пальцами, как это делают слепые.

— Рая, натри хрену,— попросила она.

— Зачем вам хрен? — спросил Смагин.

— Глаза лечу, примочку делаю,— объяснила женщина равнодушно, а девочка, постукивая пятками о пол и морщась, сказала ей тоже равнодушно:

— Нет хрену...

Смагин ушел; они обе ни слова больше не сказали ему. Он много видел нищеты и был не очень жалостлив,

но на этот раз впервые испытал отвращение к нищете и тоскливый, тупой гнев при виде торжества ее.

Вечером он рассказал Коптеву о его племяннице и внучке, стараясь говорить убедительно и спокойно; хозяин выслушал его молча, тихонько барабанил пальцами по столу, Таисья слушала с испугом в глазах и осторожно вздыхала: вздохнет и тотчас же искоса взглянет на мужа, а он, внимательно следя за движением своих пальцев, сидел непроницаемо спокойный.

— Помирает? — сказал он, когда Смагин кончил рассказ.— Ну что ж! Обыкновенно в таких разгах говорится: собаке — собачья смерть! Я этак не скажу. Не нам судить. Пускай помирает...

Подумал, поиграл бровями и снова заговорил гладко и как бы нарочито вычурно:

— Уважением вашим дорожа, сударь Павел Николаевич, нужно мне рассказать эту историю подробно, — не желаю я, чтобы человек молодой и образованный, которому долго жить, судил обо мне неправильно...

Он крикнул, покашлял легонько и сказал жене, кивком головы указывая на дверь:

— Выдь!

— Строго держите вы супругу вашу, — заметил Смагин, когда Таисья скрылась в кухню, а Коптев пошевелил бровями и продолжал, одергиваясь, сжимая свое сухонькое, жилистое тело:

— К тому же, будучи старше вас, вижу я, что коренную жизнь вы не знаете, главные упоры ее неизвестны вам; вы всё от книжек судите, а мы — живем по той мудрой старине, на которой вся жизнь крепкие века стоймя стоит. Не спорю, — в некоторое отдаленное время, может, и ваши мысли стареньки будут для новых порядков жизни, но покамест до нас эти новые порядки не дошли еще, так мы уж поживем по-своему.

Хозяин говорил, не торопясь и всё понижая голос. Это вызвало у Смагина особенное внимание, и ему казалось, что только сейчас он понял, как складно и кругло может говорить Коптев, как ловко и умело он владеет голосом.

— Конечно, можно сломать дом и раньше срока, не давши ему дослужить свой век, но это оправдывается лишь

тогда, когда есть на что новое жилище построить, а ведь для построения-то нового жилища ваш брат, новичок жизни, средств не показал...

— На это времени не дали,— заметил Смагин.

Коптев тихо и осторожно засмеялся:

— Хе-хе! Как же это можно позволить — ломай, не зная, что и на какие средства строить будем. Во всяком деле расчет — хозяин. Ведь вот правда, у всех на глазах: Думу придумали, а делов никаких Думой не надумано...

Усмехнувшись, он прислушался к чему-то и, подняв голос повыше, начал сразу, строго:

— А история Татьянина такова будет. Брат мой Савелий, отец ее, от времен младых ногтей, как говорится, явил себя никудышником, этаким мечтатель о жизни и всё спрашивал: как, да что, да зачем? От этого качества и все другие: ленив стал, выпивать начал, в орлянку поигрывал, в картишки. Отец у нас скончался рано, я — старшбй. До солдатства Савел дожил с грехом пополам, а из полка пришел — хуже прежнего. Покамест он там действовал левой, правой, я работал. Воротился он — давай делиться, и притязает на половину. Судились; правда, конечно, оказалась на моей стороне, а он, получив присужденное, тотчас женился и начал этакое праздничное житье: всё у него пиры да пирушки. А на третий год, будучи пьян, купался в нашей омутной Ватаракше и потонул, оставив женку нищей с этой вот самой Танькой.

Коптев снова прислушался, тихонько встал, подошел на цыпочках к двери в кухню, внезапно растворив ее, сердито крикнул:

— Ты чего без дела сидишь? чего слушаешь?

Воротясь к столу, он объявил:

— Бабы, по доброте своей,— он очень подчеркнул «по доброте»,— плохо понимают эти дела.

Смагин посмотрел на него с любопытством и вдруг подумал:

«Дразнит, что ли, он меня, обращаясь с женою всё грубее? Зачем бы дразнить? А похоже, дразнит...»

— Н-ну-с, вскоре за ним последовала на кладбище и супружница его; бита была, конечно, да и вообще не

крепка. Осталась после нее Татьяна по четвертому году, я, конечно, взял ее себе и висела она на шее у меня тридцать лет. Здоровьем вышла в мать, характером в отца; подумал я и пустил ее по грамотной части, авось учительшей церковноприходской будет, соображаю. Тихая она была, миловидная, богомольна, училась хорошо, и худого за нею до времени не замечалось. Вдруг зайцем под ноги является к нам псаломщик Яшка Тихорецкий, женатый человек; гитарист, косоглазый этакий, голь отчаянная и весельчак. Читатель, книжки ей дает, а грамота, как болезнь, делает людей интересными друг другу; чахоточные тоже допрашивают один другого: как живете да что чувствуете?

Лицо Коптева играло, становясь то насмешливым, то парочито скучным, а голос всё время звучал ровно, как механическая пила, лишь изредка и коротенько взвизгивая на сучках. Он мельком поглядывал на Смагина, вздрагивали ресницы, сверкали золотые искры в глазах; Смагин, слушая, как журчит в тишине ручей слов, думал: как страшно непохожа та женщина, которую он видел, на ту, о которой говорит Коптев.

А тот продолжал еще тише, весь как-то нахмурясь, заершившись:

— Конечно, вопрос плотский — дело запутанное, не вполне ясное. По божьему — плоть, до самой смерти своей, темница духа, а по дьяволу — от нее первые приятности жизни! И опять же надо бы ей со смертью окончательно разрушиться, исчезнуть, яко дым от лица огня, но доказывается многими, что она может воскреснуть. Вникнуть в это трудно. Здесь тайна божья, для испытания сильных духом, как читаем в житиях святых отцов; мы — люди, не рассуждающие об этом. Вот Яшки разные суесловят, ну, зато и обречены поганой жизни; мы же знаем, что для одоления плоти установлены посты, молитва, а против собачьих порядков церковный брак — нерушимая стена. Даже из ваших некоторые, как граф Толстой, восставали против женского, но это просто продерзость вольномысленного барина, я полагаю. Ежели архиереи не женаты, в миру живут, так не всем же в архиереи идти. Конечно, — на всё должен быть закон, ко всему нужна

печать. И когда Финогенов говорит свое, он говорит правильно. Нельзя хорошую борзую с дворняжкой слушать, иначе — явятся щенки, которых и понять нельзя, а порода — пропадет! Вот по такому смешению родятся дети без всякой скрепы с законом родителей. Вы попросите-ка Финогенова объяснить вам, что значит слово — аристократ...

Коптев вдруг багрово налился кровью до того, что даже уши напряжились и вздулась шея, точно в нем лопнуло что-то. Он жадно выпил стакан кваса и продолжал глухо, путаясь в словах, бессильный сдерживать волнение.

— Связалась она с Яшкой, а здесь всё видно, как под стеклом люди живут. Я ее допрашивал, — она мне врет. Я ее в чулан, под замок, а она ухитрилась убежать, — была у меня старушка глухая прислугой да работник, — не досмотрели! И вдруг слух идет по городу, будто я, Степан Коптев...

Он гулко ударил себя в грудь и взвизгнул:

— Я девство ее нарушил, да и после греха ее с Яшкой пользовался ею, и будто когда она спать ложилась, так я осматривал ее подробно, вроде бабки-повитухи! По городу — смех, вой собачий, на улицу выйти нельзя, хоть топись! Н-ну, этакое не прощается...

Он захлебнулся и, внезапно постарев, сморщившись, торопливо забормотал:

— Не прощается, нет! Научили ее подать на меня жалобу за истязание — какое истязание? За косу потряс, на улицу выгнал...

Он вспотел, у него тряслась борода, щелкали зубы, — он раскачивался, потирая колени свои и точно собираясь перепрыгнуть через стол.

— Тут, слава богу, подоспел пятый год, вскипело всё, и на большом-то огне высохла грязная лужа вокруг меня. Вот как! — закончил он, вставая на ноги и отряхиваясь. Прошел по комнате до порога и оттуда повторил, грозя Смагину пальцем:

— Этакое не прощают! Умирает? Готов похоронить на свой счет, а на земле задерживать не буду-с. Такое мое право!

И рассек воздух. Смагин был подавлен. Он не думал о том, сколько своей правды и лжи вложено хозяином в этот рассказ, чья бы ни была эта правда, она давила горло грязной цепкой рукою. Как будто Коптев показал ему огромное поле, заросшее сорными травами, поле, которое трудно и некому перепахать.

— Тяжелая история,— пробормотал он. Больше сказать нечего было да и бесполезно.

Коптева трясла злая лихорадка.

— Да-а,— неестественно запел он, прислонясь к печке.— Из всех щелей клопом ползет это самое,— как оно называется у вас? Нет крепости в жизни, разрушаются люди.

Смагин молча встал и ушел на чердак, чувствуя себя угоревшим... Он обрастал впечатлениями, точно лишаями, они его раздражали, вызывая беспокойный зуд в сердце, нервную тревогу. Жизнь открывала пред ним всё новые страницы, и каждая из них была густо испещрена траурными знаками старого.

Как все люди его чувств и мыслей, он считал это старое бессильным, оно казалось ему легко устранимым; сложатся новые формы жизни, и всё злое, гнилое, ядовитое будет подавлено, уничтожено. Но теперь он спрашивал себя, думая обо всем, что видел:

— На чем здесь укрепятся эти новые формы, где тот крепкий духовный стержень, который, как магнит, притягивал бы к себе человеческое, здоровое, красивое?

И ему казалось, что старое разлагается только сверху, а корни его глубоко в почве и неустанно дают всё новые ростки. Эти ростки вянут быстро только там, где жизнь идет ускоренно, где трения ее противоречий бурны, по давлению и там они, разлагаясь, образуют слой каких-то азиатских чувств и мнений. До времени этот слой незаметен, мертв, но каждый раз, когда движение жизни замедляется, жирная почва старого, неискоренного дает обильный урожай трусливых мыслей, робких чувств, деспотической восточной жестокости. Смагин начинал думать, что именно силою этих неизбежных чувств и мнений можно объяснить все тяжкие драмы последних лет: повальное ренегатство и взрыв дикой



жестокости, безумное увлечение вопросами пола, принявшее характер грязного распутства; эпидемию самоубийств и всеобщий механический поворот назад от движения к покою. Он вспоминал, как фокуснически быстро изменялись его товарищи и люди, которым он верил; как проповедники действенного отношения к жизни превращались в равнодушных скептиков, а пламенный интерес к вопросам общественным сменялся торжеством социального нигилизма, восточным равнодушием к великому делу жизни.

Но там, в крупных центрах, где жизнь сама в себе имеет силу к бесконечному росту, где работают стальные жернова капитала, где всегда кружатся вихрем желанья лучшего, — там явления застоя не могут быть длительны, не так опасны.

А вот в таких извечно застойных местах, сотнями облепивших землю, окруженных чугуною стеною боязни настоящего, насыщенных недоверием к будущему, в городах, забытых жизнью, где люди живут без веры в себя, в таких гнилых местах сопротивление жизни надолго необоримо.

«Мы своих городов нагородим», — вспоминал он хвастливые слова хозяина и думал, что люди, подобные Коптеву, упрямые изуверы, подобные протопопу Аввакуму, долго будут сопротивляться веяниям нового, и есть у них чем сопротивляться: они терпеливы, точно камни.

В начале марта Коптев схоронил племянницу. Это случилось в день бурный; по улицам свистел ветер, летели белые облака тяжелых хлопьев снега. Коптев, подвязав уши платком, шел за розвальнями, в которых стоял гроб, окрашенный охрой, тряс головою, сбивал шапкой эполеты снега с плеч и говорил Смагину:

— Въедет это мне не меньше, как в две красных бумажки, но я не жалею!

Смагин провожал гроб из желания видеть, как станет вести себя Коптев и девочка; она сидела на розвальнях, в ногах гроба, укутанная лохмотьями матери и залепленная снегом. Рядом шагал огромный чернобородый извозчик, а Смагин с хозяином шли сзади розвален в белой, беззвучно кипевшей кашнице.

До могилы гроб несли извозчик и двое сторожей. Смагин вел за руку девочку и ворчал:

— Зачем вы ее взяли?

— Как же иначе? — удивлялся Коптев. — Мать померла, а не кошка.

Могила оказалась почти до половины засыпанной снегом. Коптев заглянул в нее, поморщился и сказал:

— Надо бы снег-то выбросить, а, ну, всё равно! Райка, что не молишься?

Девочка поглядела на него, слизывая снег с губ, перекрестилась маленькой грязной лапой и снова взглянула в оживленное, почти веселое лицо его.

— Кидай землю, — командовал он, и когда комья земли застучали по дереву гроба, сказал, вздохнув:

— Вот и вся наша жизнь! А мы спорим, вздорим, мешаем друг другу...

Когда пошли с кладбища, он повторил задумчиво и хмуро:

— Мешать друг другу не надо, к этому и законы установлены. А она, покойница, как помешала мне? Без нее я бы на таких высях был, ой-ой! А тут только крыльями размахнул, — бац! Как из ружья. Яшка в газете про меня напечатал, вот, дескать, каков председатель патриотов... Сукин сын!

— Ведь вы ушли из союза по другим основаниям, говорили вы? — напомнил Смагин.

— Основаниев я получил много, — сказал Коптев, спотыкаясь, искоса разглядывая девочку.

— Садись, Райка, — приказал он ей, когда вышли из ограды, и сам свалился в розвальни, крикнув.

— Куда же вы ее? — спросил Смагин.

— А тут есть одна старушка, знакомая Финогенова... Вы домой? Я тоже скоро буду! Езжай! Подвинься, Райка...

Розвальни поплыли, исчезая в снегу, а Смагин тихонько пошел в улицу, едва заметную среди белых облаков, и думая, как это всё просто, как убийственно просто. Он раза три заходил к племяннице Коптева, она немного привыкла к нему и, осмелев, рассказывала о себе надорванным шипящим голосом, часто повторяя:

— Конечно, я виновата...

Из ее нескладного рассказа Смагин понял, что этот человек однажды поверил во что-то, чего-то пожелал и был раздавлен, как лягушка.

— В чем же вы виноваты? — спросил он ее.

Она ответила, прикрыв свои слепые глаза:

— Да ведь как же, конечно, виновата.

О дочери она ничего не говорила и ни о чем не просила Смагина; девочка тоже молчала, как немая; кажется, она умела говорить только:

— Подайте милостыньку, Христа ради!

На лестнице, у себя, Смагин встретил Таисью с тряпкой и веником в руках.

— Схоронили? — спросила она.

— Да. А вы — не пошли?

— Не велел, — ответила женщина, улыбаясь. — Снегу-то на вас сколько, батюшки!

И тряпкой, которой она стирала пыль, Таисья принялась сбивать снег с пальто.

— Спасибо, — сказал Смагин, шагая вверх мимо нее, она задела его бедром.

С некоторой поры Смагин стал замечать, что это покорно безмолвное существо интересуется его, — не как женщина, уверял он себя, но — как человек, никогда не виданный им, непонятный ему.

Спокойная, точно масло, налитое в большой красивый сосуд, она была так странно покорна окрикам мужа, всегда смотрела в глаза ему собачьим взглядом, внимательно подстерегавшим желания хозяина. Этот кроткий взгляд вызывал у Смагина досаду. Женщина напоминала ему картину какого-то художника-немца, — картина изображала рабыню, стоящую у колодца. Но нередко сквозь ее покорность и немоту Смагин чувствовал проблески сознания ею власти над мужем, — когда хозяин ругал ее за какой-либо беспорядок, она не волновалась, не возражала и, не обнаруживая страха перед ним, стояла в эти минуты как будто выше мужа.

Приятно было смотреть, когда она, подняв голову от питья, чуть улыбаясь ласковыми глазами, слушала что-то не слышное никому, глядя сквозь стекла окна в пустое серенькое небо.

Как-то раз, сойдя к вечернему чаю, Смагин застал

хозяйку одну: Коптеву нездоровилось, он спал в кухне, на печи, а она сидела за столом на его месте спиною к окну, лицом к двери и, подперев скулы ладонями, радостно улыбалась.

— О чем задумались? — спросил Смагин.

Она тихонько охотно ответила:

— Так. Иной раз и сама не знаешь, о чем думается.

— Скучно вам живется?

Красиво изогнув шею, она прислушалась, глядя на дверь в кухню, и сказала четко, внятно:

— Конечно, кабы он помоложе был — веселее бы!

«Ого!» — мысленно воскликнул Смагин и тотчас рассердился на себя, а она продолжала, наливая ему чай:

— Всякая женщина хочет, чтоб ее молодой любил. Конечно, не всё про это думаешь, а тоже и про это.

Взглянула на него с улыбкой и спросила:

— Думать-то не грех?

«Грешно, когда про грех люди знают, — ответила она сама себе, — когда о твоём грехе другие соблазняются, а думочки наши кто может узнать?»

Смагин почувствовал, что не может, не умеет поддержать эту беседу, и смущенно умолк.

После этого разговора ему стало казаться, что хозяйка смотрит на него ласковее и даже заигрывает с ним, но он насмешливо обрывал себя:

«Павел, это в тебе действует мучнистая и жирная пища!»

Таисья была неграмотна, но иногда, во время его споров с Коптевым, она слушала его речи с таким напряженным вниманием, что он желал:

«Если б в этой красоте проснулся разум!»

Как-то утром, открыв свою дверь, он увидел, что хозяйка, стоя против слухового окна, развешивает мокрое белье; руки ее были подняты вверх, и он видел правую голую до плеча. Его взволновала эта сильная розовая рука, темное пятно под мышкой, он смущенно притворил дверь. Но через минуту дверь отворилась, и женщина, стоя в ней, как в раме, сказала, улыбаясь:

— Что же чай пить нейдете? Мой-то уж почайничал и в город ушел.

— Экая вы — красавица, — воскликнул он, лаская ее глазами, — а она согласилась с ним:

— Говорят, красива!

Несколько секунд они смотрели друг на друга молча, потом она притворила дверь, не торопясь, а Смагин, причесываясь перед зеркалом, размышлял:

«А ведь другой, на моем месте, влюбился бы в нее!»

Спустясь вниз, он увидел, что Таисья стоит среди комнаты, заложив руки за шею и закусив губы. Как всегда, по утрам, кофты на ней не было, а только глухая холщевая рубаша, завязанная на шее тесьмой, ситцевая юбка и фартук. Не опуская рук, она сказала:

— Долго спите!

— Засыпаю поздно, — объяснил он, отводя от нее глаза с некоторым усилием.

— Всё книжки читаете? — тихо спрашивала она. — А я — люблю спать, сны люблю. Во сне иной раз счастливой себя видишь.

Вздохнув, она отошла за стул Смагина и встала у окна. Он чувствовал, что Таисья смотрит на него, это было приятно, тревожно.

— Опять цветы забыла полить, — вдруг сказала она и медленно ушла на кухню.

«Скучно ей, хочется поговорить со мною, а я — не умею», — попытался Смагин объяснить себе что-то, но ничего не объяснил. Коптев заметно изменял свое отношение к нему — раньше он любил поддразнивать, старался раззадорить его, но за этим Смагин чувствовал острый беспокойный интерес к себе со стороны хозяина; теперь Коптев стал говорить суше, осторожнее, как будто он боялся нахлебника.

— В газеты не пишете? — спросил он как-то раз совершенно неожиданно.

— Нет. Раньше писал немного.

— Все-таки писали же...

Он не однажды пытался начать беседу о женщинах, допрашивая Смагина:

— Как это вы так живете — монахом, а? Тут у нас такие бабенки есть...

Смагин уклонялся от бесед на эту тему и видел, что это удивляет хозяина, даже — обижает его.

— Дело — мирское, всенародное, — бормотал он, шевеля бровями.

Изредка, вечером, Смагин заходил к портному, тот всё жаловался, разводя длинными руками:

— Окончательно ввергаюсь в кабацкое житье, знаете! Нет никакого утешения, кроме кабалистики. На фисгармонии веселого не сыграешь, а только «Не велят Маше за реченьку ходить», да «Полоса ль ты моя, полоса». Благочестивый инструмент, чёрт его дер! Прочитал вашу «Войну и мир».

— Ну, что же?

Виновато улыбаясь, портной сказал:

— Не знаю, как вы полагаете, но для меня — Дон-Кихот лучше! Знаете, — объяснил он, подумав, — человеческого больше в Дон-Кихоте; смешно и даже будто глуповато, а очень человеческое. И Санчо и сам рыцарь — около людей, а в этой — «войне» — хоть она и русская книга, но люди где-то позади... Мысли предводительствуют...

Щукин стал еще более встрепаным и беспокойным, на серых щеках, около носа, явились красные жилки, глаза улыбались виновато и тревожно.

— Есть у меня некоторое обстоятельство, хочу я с вами посоветоваться, — несколько раз начинал он и, не договаривая, уклонялся в сторону к любимой своей теме — рассказам о жизни города.

Смагин понимал, что в груди портного родилось чувство иное, влюбленное, — оно так красноречиво горело в его добрых глазах:

— Женитесь? — спросил он.

— Не совсем, — сказал портной, сияя и зачем-то расстегнул ворот рубахи.

— Влюбились?

— Вот именно! Тронут... Имеется тут одно обстоятельство. — Он подвинулся к Смагину, заглядывая в лицо его робким взглядом собаки, которая устала жить без хозяина. — Сделайте мне одолжение, сходите со мной в один дом, что, знаете, вроде веселого дома, но — не вполне. Собирается там молодежь обоего пола, как бы, примерно, в деревне, на посиделки...

Смагин охотно согласился, хотелось сделать прият-

ное портному, и было интересно посмотреть, как веселится в городе Мямлине «молодежь обоего пола».

И вот темной ночью капризного марта он шагает по кривым переулкам города под закрытыми окнами немых, точно вымерших домов. За воротами рычат невидимые собаки, на крышах яростно орут коты; в небе, среди быстрых облаков, золотым мячом катится луна, рождая тени. Тянутся заборы, плетни; за ними торчат деревья, похожие на большие метлы, поднимаются с земли домишки и снова ложатся, пригнетаемые тенями.

— Осторожнее,— предупредил Щукин, идя впереди с двумя кулками в руках.

У Смагина странное впечатление: как будто он идет по кладбищу, отыскивая чью-то могилу.

— Собственно это даже не дом, а бывшая баня,— таинственно рассказывает Щукин.— Дом сгорел. Было большое купеческое хозяйство, но все случайно вымерли, и место отказано городу на благотворительные дела. До делов еще не дошло, а уцелевшую баню — сдали одной женщине, которая, пользуясь своей бедностью, и устроила у себя веселые вечера эти. Она же тут — за сторожа над землей. Сюда!

Через пролом в заборе вошли на пустырь; среди его торчала полуразвалившаяся печь, с обломанной трубою, из черных куч мусора высывались обгоревшие балки и бревна.

— Была еще печь, но ее расхитили,— деловито объяснял портной.— Осторожно, тут везде ямы! Воруют здесь доблестно, замечательно, усердный народ в эту сторону!

В конце пустыря, среди группы деревьев, возвышалась темная хата; сквозь щели в ставнях ее окон золотыми копиями упирался в землю свет; хата шумела, точно водяная мельница.

Отворив дверь в сени, освещенные маленькой жестяной лампой, вошли в длинную комнату; в переднем углу ее качалось желтое пятно огня, под ним на столе сверкал в облаке пара большой самовар. За самоваром сидела плоскогрудая женщина в красной кофте, по бокам ее — две девицы; одна — толстенная, черногла-

зая, похожая на поповну, другая — потоньше, с льяными волосами и сердитым лицом.

— А Маши — нет? — удивленно, с тревогой воскликнул Щукин, здороваясь с бритым господином, выглянувшим из-за печки.

— Знакомьтесь, пожалуйста: Геньков, Егор.

— Георгий, — басом сказал бритый, стиснув пальцы Смагина.

— Наш музыкант. Любезная хозяйка обители, Прасковья Семеновна, — торопливо представлял он Смагину; толстую девицу назвал Пашей, — потоньше — Степой; они обе безмолвно поклонились гостю и начали шептаться.

— А Мишенька сегодня не будет, его в полицию посадили, — сказала хозяйка.

— Оч-чень рад! — воскликнул Щукин и тотчас объяснил Смагину: — Это враг мой, совершенно дикий человек, драчун и печеные яйца с кожурой ест.

— А ты — не можешь! — раздался звонкий голос из угла, где стояла кровать.

Портной шепнул Смагину:

— Городского головы сын, Алеша Богомолов...

На кровати полулежал, заложив за спину подушки, светловолосый кудрявый паренек лет семнадцати. Его круглое миленькое личико казалось нарисованным на белой наволоке подушки, но тот, кто рисовал, слишком слащаво и чувствительно подчеркнул красоту юноши.

— Что уставился, — говорил Богомолов портному. — Попробуй съешь яйцо со скорлупой, — не сможешь!

— Не смогу, — согласился Щукин. — Не всякий может свиньей быть...

— Панька, поди сюда, — крикнул юноша, а хозяйка вполголоса объяснила Смагину:

— Алексей Семеныч нынче сердитый, у них головка болит...

Дверь с размаха отворилась, и на пороге встала, щурясь, невысокая стройная женщина, в черном гладком платье, похожая на цыганку.

— Вот она! — радостно крикнул Щукин.

— Здравствуй, дурачок, — поздоровалась с ним женщина, сбросив платок с головы куда-то в угол.



— Вот Павел Николаевич,— потирая руки, знакомил портной.

Она осмотрела Смагина оценивающим взглядом и спросила:

— А чем этот Павел себя прославил?

Все засмеялись, а она, покусывая красные губы, подошла к зеркалу и стала оправлять темные востриженные волосы.

Щукин тоже молодецкато взял свои серые вихры, но взглянул на Смагина и густо покраснел.

Было скучно, натянуто. У печки, в темном углу, сидел гармонист, тихонько наигрывая: «Любила меня мать, обожала», на кровати возился и хрюкал юноша, тихонько взвизгивала девица Паша, умоляя:

— Ленечка — не щиплитесь! Что это вы?

Щукину, видимо, хотелось развернуться, показать свою удаль; он громко кричал, приказывал хозяйке развернуть кульки с закусками, толкал локтем и плечом сердитую девицу Степу, но, вспомнив о Смагине, виновато заглядывал в лицо его и, смущенный, отрицательно мотал головой. Это сердило Смагина, он старался не замечать портного.

— Паша,— попросил Щукин,— песенку бы спеть! Степа?

— Можно,— сказала сердитая девица, внимательно осматривая Смагина раскосыми глазами.

— Я — отсюда,— крикнула Папа, и они запели в два голоса, стройно, протяжно:

Гляжу ль я безмолвно на черную шаль,  
И халадную душу терзает печаль...

Спев два стиха, Паша замолчала, а Степа, сдвинув глаза к переносью, начала мрачно, низким голосом:

Когда легковерен и мо-о...

— Ой,— взвизгнула Паша, точно ее ножом ударили; со свистом втянула воздух сквозь зубы и удивленно застонала:

— Ма-атушки, как он меня-а...

Подруга Щукина поставила чашку на стол, вытерла платочком губы, не спеша, подошла к юноше и, схватив его за кудри, стала трясти, приговаривая:

— Не озорничай, не озорничай...

Он дрыгал ногами, совал в воздух кулаки, стараясь ударить ее, и кричал:

— Пусти!

Но, ловко увертываясь, отбивая правой рукой бестолковые взмахи его рук, она всё поучала юношу:

— Мы тебе, щенку, не собаки, не куклы, не игрушки!

Все осторожно смеялись, хозяйка тоже ухмылялась, но глаза ее беспокойно бегали, то и дело задевая Смагина, а Щукин возбужденно шептал ему:

— Характер, а?

— Странно здесь веселятся, — тихонько сказал Смагин, с трудом подавляя желание уйти.

— Веселье — будет! — уверенно обещал портной.

Борьба на постели кончилась. Богомоллов хныкал, а Паша и Марья, обняв его, утешали:

— Стыдись плакать-то!

— Я — шутил, а она...

— Кто дерется, того надо бить, — поучительно говорила Марья, приводя в порядок его кудри.

Запах угля стоял в комнате. Бревенчатые стены ее были черны от копоти, глубоко вьвшейся в дерево, из пазов торчала смоляная пакля; потолок лоснился, точно крытый лаком, а новый пол был желт и гладок.

Юноша прыгнул с постели, подошел к зеркалу и стал причесывать свои картинные кудри беленькой гребенкой.

— Грубиянка ты, Машка, — упрекал он, красуясь, покачиваясь на тоненьких ножках, в черных брюках навыпуск. Был он худенький, узкогрудый, на его острых плечах некрасиво висела шелковая голубая рубаха, — он был похож на трактирного плясуна.

Степа села рядом со Смагиным, толкнув его локтем и вопросительно заглядывая в глаза; он спросил:

— Споете еще?

— Можно. Вы какие песни любите, — городские?

— Деревенские.

— Деревенских не знаем. Мы только новые знаем.

— Той песне, которую вы начали петь, скоро сто лет.

— Врете,— просто сказала девица.— Ее на моей памяти стали петь, а мне всего двадцать два...

Марья села на колени Щукина, обняв его за тонкую шею, и спросила Смагина:

— Скучно, барин?

— Нет,— любезно солгал он.

Взбивая рукою вихры Щукина, она сказала:

— Я тоже не люблю старых песен — враки много в них. Всё — ох да — ох...

Заведя глаза под лоб, она гнусаво запела:

Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь...

— Сверните ему шею, чтобы не стонал! Мы — девки удалые, мы любим песни нижегородские, с ярмарки. Из наших песен голубочки-то давно улетели, одна правда осталась. Егор, ну-ко...

Соскочив с колен Щукина, Марья встала среди комнаты и под негромкие голоса гармоники запела, вскинув голову, упершись руками в бока:

Я-а-й не помню, когда девушкой была,  
С десяти годов с рук на руки пошла...

Девицы и Богомоллов дружно подхватили:

Целовалась, с кем попало, день и ночь...

— Эх,— тенорком крикнул Щукин:

Удавалось — воровала...

Взвизгивая всё задорнее, гармоника четко наигрывала мотив Камаринской, а Марья, учащая темп отчаянной песни, пошла по комнате, закрыв глаза:

Была девушка себе на уме,  
Жила весело на воле и в тюрьме.

Хозяйка играла на гребенке, обернутой бумагой, Щукин, хлопая ладонями, самозабвенно цел:

Любите, губите меня!

А Марья, дробно пристукивая каблуками, рассказывала правду:

Н-никому я не отказываю,  
Н-никого с собой не связываю.

Ни о чем я не думаю!

— яростно крикнул Щукин и засвистал, вложив в рот пальцы, а Марья, повернувшись к Смагину, высоко вскидывая черные ноги, бесстыдно и красиво извиваясь, взвизгивала.

И завывло, застонало горестное русское веселье, никогда еще не виданное Смагиным во всей драматической красе удачи и отчаяния, во всей дикой силе его неутомимой, азиатской тоски.

Дребезжала посуда на столе, сотрясался заслон печи, над столом подпрыгивала, приплясывая, лампа, гнусавые голоса гармоники точно милостыню просили.

Когда пляска кончилась, портной горячо поцеловал руки плясуньи и стал угощать ее какой-то темно-красной наливкой, но она, оттолкнув его руку, крикнула, сверкая темными глазами, задыхаясь:

— Водки, милый, водки!

Начали пить. Смагин не мог отказаться и тоже пил вместе со всеми, чувствуя тревожную боязнь обидеть этих людей, и без его участия до смерти обиженных. Хотелось уйти на воздух и тяготило желание остаться.

Юноша Богомоллов терся около Марьи и говорил ей со слезами:

— Кабы ты не такая была, то тебя бы — убить!  
Убить!

Потом Паша и Степа спели рыдающую песню:

Куплю на три копейки я спичек,  
В горячей воде разведу,  
Умру я в мучениях страшных  
И буду навеки в аду...

Плакали, плясали, снова пили, и среди трех девиц, обезумевших от надсадного восторга, от страха пред непонятной жизнью, от неясной тоски о чем-то другом

п от жалости к себе, в этой закопченной бане, похожей на подземную пещеру, неприкаянно болтался тоненький, бледный и потный подросток в голубой рубашке. Натякаясь на девиц, он цинично хватал их, хохотал пьяным смехом и грозил Смагину кулаком, предупреждая:

— Мою — не тронь, убью!

Красивое личико его было глупо и жалко, детские глаза болезненно мутны, а встрепанные кудри смешно пристали к потным вискам.

Смагин смотрел и думал:

«Этот ужас, — погуще, пострашней того, арзамасского ужаса, который однажды пережил Лев Толстой...»

За полночь он попытался незаметно уйти, но на пустыре его догнал Щукин и торопливо, виновато заговорил:

— Уходите? Ну, извините! Я — понимаю, для вас это — не обедня!

И понизив голос, присунувшись к Смагину, он спросил:

— Ну — как, что вы скажете про нее?

— После, когда-нибудь!

— Нет, уж пожалуйста, сейчас!

Портной был так возбужден, что не казался пьяным.

— Погубит она вас, — выговорил Смагин, оглядывая пустырь.

Медленно прошло несколько секунд неприятного молчания, потом Щукин заговорил, твердо и трезво:

— Это очень может быть. Характер у нее — вот какой! Еж на месте души. Но, знаете, я решил окончательно. Слышать не могу песню эту — «С десяти годов с рук на руки пошла», а? Реветь готов и даже каяться в чем-то, хотя сам не виновен в этом направлении, я девушек не портил. Я — решился...

— Пропадете, — сказал Смагин, тихонько и грустно.

— А может, хоть одному человеку помогу, а? — Знаете, — горячо воскликнул он, положив руки свои на плечи Смагина, — я так чувствую, что обязан за всех обиженных женщин одну какую-то божественно любить! Беспомощно, безобразно живут все и сам я тоже. Пускай я помучаюсь за человека, ведь больше ничего я не сумею сделать в жизни, так вот — хоть помучаюсь, а?

Смагин подавленно молчал.

— Эх, Павел Николаевич, — не дождавшись ответа, сказал портной, глубоко вздохнув. — Хочется мне отдать себя кому-нибудь, а большие наши дела, мечты наши рассеялись, ну, и... Не могу жить один! И она тоже. Я говорю: Маша, умница, разве можно так жить? А она: я, говорит, ни на какую жизнь не надеюсь. Каково, а? Не надеется, а ей всего-навсе — двадцать пять лет...

Со стороны бани, из-под деревьев, раздался насмешливый возглас Марьи:

— Скоро исповедуешься, дурачок?

Щукин всхлипнул и пошел прочь, говоря:

— Извините, решил я это...

— Что — решил? — спросила Марья.

— До свиданья, — крикнул ей Смагин, но она не ответила, напевая громко и задорно:

Занапрасно, мальчик, ходишь,

Занапрасно ножки бьешь...

Угрюмо шагая по переулкам, Смагин чувствовал себя отвратительно; пред ним стояла большим тусклым пятном эта черная пещера мучений, набитая бесноватыми, в ушах звучали отрывки бесстыдных и уродливых песен, вспоминался гнусаво-торжествующий вопль гармоника, и всё, вместе с людьми, стремглав летело куда-то в черную пустоту. Он слышал эти песни и раньше, но никогда еще не чувствовал ужаса, скрытого в них; он видел пирушки, подобные этой, но впервые понял, как мало в них радости, как богаты они отчаянием и тоскою.

Ему вспомнилось, как он, гимназист седьмого класса, пришел наниматься репетитором к внучатам какой-то богатой старухи и вдруг под ноги его изо всех углов и дверей бросилась стая маленьких и злых собачек. Они кусали ему ноги, рвали брюки, он бил их козырьком фуражки, отшвыривал и мучился, чувствуя себя беспомощным, смешным.

Вот и теперь на него отовсюду лезли злыми собачками зубастые мысли, кусая за сердце.

«Собирался я отдохнуть здесь», — напомнил он себе, усмехаясь.

«Дон-Кихот» — неприязненно подумал он о Щукине, и стало неловко перед собою за эту неприязнь, когда он вспомнил, что подвиги русских Дон-Кихотов редко поднимались выше поступка портного.

«Помучиться — умеем, а помочь — не научились! Видно — легче помучиться, чем действительно помочь...»

По городу всё еще гуляли тени облаков, на льду луж, на сосульках крыш жемчугом сиял свет луны.

«Битая посуда два века живет, — размышлял он. — Когда же, однако, мы прекратим починку разбитых душ? Когда родится крепкая, цельная душа?»

Память подсказала умные слова портного:

«Им кажется, что если есть форточка, так уж можно терпеть всякий чад!»

Он крепко задумался о том, как много сказано и говорится на Руси умных, глубоко сердечных слов и как бесполезны эти слова для жизни: плавают, горят они где-то высоко над людьми, украшая жизнь, как звезды, но — как звезды, ничего не изменяют в ней, ничего! Этот мягкий, гибкий родной язык самочинно, своей внутренней силой слагается в добрые, круглые, толстенькие поговорки и сладкие, как патока; теплые, вкусные словечки легко и ловко замазывают глубокие царапины сердца, заставляют забывать обиды жизни, обманно утоляя голод нищих духом.

«„Будьте при себе“, — советует человек, которого, в сущности, нет на земле...»

Как всегда, ворота Смагину отперла хозяйка, полуодетая, окруженная теплым запахом.

— Простите, беспокою я вас, загулялся, — сказал он привычные слова.

— Молодому и гулять, — ответила она, тихо задвигая засов.

Подождав ее, он пошел рядом, плечо в плечо с нею и впервые заметил, что она выше него ростом.

— А мой-то захворал, не спит...

— Что с ним?

— Поясница ноет... Спокойной ночи!

Он поднялся к себе и, удрученный пережитым, провел еще одну бессонную ночь, неотвязно думая о жизни города.

Может быть, эта жизнь не совсем похожа на устоявшуюся густую воду давно не чищенного пруда. Не потому не похожа, что поверх воды, украшая ее мелкой кружевной рябью, скользят какие-то ленивые букашки, но потому, что на дне пруда, в пахучем иле бурно совершается разложение всего, что отжило и опустилось на дно.

«В новых песнях—правда»,— говорит буйная Марья, и рядом с этим вспоминаются слова умного Коптева:

«Правда, правда! Я вам какую угодно правду сам придумаю. Это слово только — правда. Каждый верит в ту правду, какой хочет, а одна для всех — бог! Найдите-ка мне другую, чтобы для всех явной была? Нет, на всех людей одну рожу не наденешь...»

Коптев — не отжил; если он и разлагается, то — медленно, как разлагаются камни гранитных пород.

«Арий — слово древнее, — поучительно говорит Финогенов. — Слово это одинаково со словом Авва, отец. Ари-сто-крат, значит: стократно отец человеков. Изволили усвоить? Отсюда истекает, что люди должны подчиняться лучшим из своего стада.»

Он предостерегающе поднял палец, похожий на морковь, и ощетинился, продолжая:

«Не в вашем, политическом смысле, как, например, Дума, это фальшь и обман; нет — лучшие люди должны быть рождены в трудах и муках всего народа. Тихона Задонского читали?..»

Этот человек несомненно многое знал, упрямо думал и в нем жило что-то темное, жуткое.

Однажды Коптев, подмигнув нахлебнику, сказал:

— Не доверяет парикмахерам!

— Чего же?

— Ну-ну, — воскликнул Финогенов, приподняв широкие плечи, — мало ли что может быть! Водит человек бритвой по твоему горлу, да вдруг в пустой башке явится мысль — дай попробую! Человек подвержен соблазнам. Да и без этого — закричат на улице «Пожар!» или «Караул!», рука у него сорвется с испугу — чик тебя!

Он ткнул пальцем под скулу и объяснил:

— А тут — сонная жила, питающая мозг!

Перед Рождеством Смагин встретил писаря на базаре



около свиных туш; приоткрыв рот, сладостно ухмыляясь, Финогенов осторожно водил пальцем по глубокому разрезу вдоль хребта, ковыряя сало, мерзлое до твердости камня, а в его студенистых глазах светилось такое жуткое умиление, что Смагин даже вздрогнул под толчком темного предчувствия. Видя Смагина рядом с собою, писарь повел плечами и сказал, вздохнув:

— Превосходно у нас свиней откармливают!

После этого Смагин стал относиться к нему подозрительно, с непобедимой брезгливостью.

А Коптев, признавая за другом своим превосходство ума и знаний, слушал его медленные речи с великим вниманием, советовался с ним о домашних и городских делах, выспрашивал о новостях города и уезда и безусловно верил рассказам писаря, которые всегда густо и мрачно подчеркивали склонность людей к убийству, воровству, распутству, ко лжи...

— Человек подчинен особому наваждению, — проповедовал он, — некоторые умники именуют это наваждение пытливостью разума, который, будучи извечно слеп и слепо натываясь на всё, говорит сам себе: дай — попробую! Эта слепая Адамова пытливость требует, чтоб ее крепко взнуздали...

— Верно, — соглашался Коптев.

Но он не всегда был согласен с философией приятеля и говорил Смагину:

— Насчет лучших людей неясно мне, сомневаюсь — так ли? В мире — как в болоте: все квакают одинаково, я-ста, да я-ста! Лучшие-то люди, сударь мой, от мира всегда бежали, а не валандались во грехах, подобно ребятишкам в луже...

Коптев был гласным Думы, но на заседания ходил редко.

— Канитель одна, — насмешливо говорил он. — Конечно — почет, а это, как солдату медная пуговица, — издали всякий видит, что солдат.

Но когда зимой городской голова поставил на разрешение вопрос о постройке женской прогимназии, Коптев горячо выступил против этой затеи, доказывая необходимость для женщин ремесленного образования, и вечером, после заседания, хвастался Смагину:

— Провалили голову! На кой она, прогимназия? Романы читать? Нет, а вот чтобы жена моя сама себе башмаки шить умела — это так!

Он был влиятелен в городе; на улицах жители кланялись ему почтительно, с уважением, а он им едва кивал головою. К нему часто являлись мещане обсуждать городские дела, в его доме составлялись планы разных предприятий и кампаний против головы, сторонника широкой грамотности.

Смагин еще и еще убеждался, что хотя в словах хозяина логика неуловима, но чувство его очень зорко подмечало всё, что пыталось хотя бы немного изменить порядок жизни, усилить ее движение.

Он неоднократно пробовал объяснить хозяину творческую роль науки, Коптев внимательно слушал его, а потом говорил:

— Я ведь против науки не спорю, я знаю — без нее и замка не сделать. Ну, а в конце-то концов все-таки ученый хочет выше бога быть, этого — не скроешь!

Однажды Смагин с досадой сказал:

— Азиатские мысли у вас!

— Вы не сердитесь, — отозвался Коптев, усмехаясь. — Нас не мысли разъединяют, а — дела. Мысли — что? Они вот вроде иinea на стеклах...

Когда Смагин уговорил его прочитать несколько книг Толстого, умненький хозяин сказал, усмехаясь:

— А ведь граф-то совершенно против ваших чувств и мыслей. Это — Финогенову больше подходяще, а никак не вам, по моему разумению. Тут очень просто доказано, что Бонапарт ни к чему, а вот Кутузов, понимающий направление народа, всегда одолеет, хотя и кривой.

Смагин долго объяснял хозяину великие красоты книги, но его слова, как всегда, не доходили до сознания Коптева — золотоглазому человеку была важна учительная часть книги, а обо всем остальном он говорил:

— Я понимаю, написано ловко! Особенно — бабы, не любил он их, видно...

— В чем же, по-вашему, главное поучение Толстого? — спросил, наконец, Смагин. Хозяин ответил, не затрудняясь:

— А — не беспокойте народ умственностью своей, потому что он умнее умного. Вот Безухов-то понял это и покорился...

«Китайская стена,— думал Смагин,— китайская стена!»

Он начинал понимать, что живет где-то на узкой и опасной полоске, между двух непримиримых мироощущений, одно — покорствуется тайнам жизни, другое — стремится познать их; одно — жаждет покоя, хочет видеть человека праведником во что бы то ни стало, другое — ускоряя движение жизни силами воли и разума, воспитывает человека борцом за его власть над планетой; одно — верит в чудо и ждет его, другое — создает истину.

## ЯРМАРКА

ИЗ ПОВЕСТИ «ВСЁ ТО ЖЕ»

Весна запоздала; со второй половины апреля подул холодный ветер, загрозил небо тучами, пошли дожди. Воды реки Ватаракши, разлившись по лугам вокруг города, всё прибывали, по-осеннему темные, сердито морщась под ветром.

Незаметно, сквозь дожди, подошел май, но злая погода не уступала ему, деревья в садах стояли, едва пожелтев, не решаясь раскрыть почки, в унылом ожидании солнца, а оно плутало где-то высоко за тучами, лишь иногда освещая плотный сизый полог тусклым серебром. И только дня за три до Николы, бурной дождливой ночью, облака иссякли, стерлись ветром, — наутро в голубом небе торжественно расцвел золотой цветок солнца, изукрасив празднично и чудесно пестрый город Мямлин. Девятого мая в Мямлине ярмарка.

Еще с полудня накануне Николы к маленькому городу со всех сторон потянулись, качаясь в глубоких колеях, утопая в лужах, крестьянские воза, выстроились цепью вдоль по Въезжей, по Людской и образовали на выгоне широкое кольцо, устроив в нем конский торг. Весь день стаями шли к Мямлину голоногие девки и бабы, до колен подобрыв цветные юбки; шагали мудрые старики, с ореховыми падогами в руках, одетые в кислую, ордынскую овчину и рыжее, дома валянное сукно.

Город загудел, как пчелиный улей; утром, в Николин день, когда Смагин вышел на площадь к собору, — он не узнал жизни, приятно взволнованный ее новизною.

Площадь ярко расцветилась балаганами торговцев ситцем, игрушками, сладстями; сверкали на солнце медь и сталь; алые полосы кумача слепили глаза,

победно сверкало синее, желтое, красное и требовало жаркого солнца, восточного зноя.

Молодая, свежая зелень, кружевно вздымаясь над линиями заборов, осеняла прозрачным узором крыши домов; пьяный запах весны стоял в теплом воздухе. Звонили колокола трех церквей, весело звенели косы, внося в людской говор крепкий, боевой звук металла. Певуче зазывали торговцы, с поля доносилось лошадиное ржание, в садах возбужденно свистели скворцы, над головами людей серебристо звучал щебет ласточек; пищали дудки в губах ребятишек и, неизбежная, как нищий, назойливо гнула гармония.

Этот пестрый шум, медный звон красиво сливался в песню, молитву солнцу; от него приятно кружилась голова и возникало желание сомкнуться с ним, плавать в нем весь день.

С широкой паперти собора, под веселый гул колоколов, сливались в ограду черные и серые фигуры мужчин; женщины в ярких платьях украшали толпу, как большие цветы; серое, темное уступало свое зимнее место ярким краскам благодатной весны.

Сойдя в ограду собора, горожане-мелочь выстраивались на мягкой, молодой траве в два ряда, образуя улицу, а по ней чванно пошли первачи города с женами и детьми.

Прошел исправник, добродушный носатый старичок, изукрашенный орденами, с дочерью — длинной девицей в дымчатом пенсне; прошел голова Семен Богомолов, угрюмый рыжебородый купец в сюртуке ниже колен; его опухшее лицо похоже на подсолнух, маленькие умные глазки остры, как шилья, а за ним лениво, покачиваясь на тонких ножках, тихо следует ангелоподобный Алеша, бледненький, скромно потупив бабьи глаза.

Вот Кирилл Матвеевич Маймачинский, — он на голову выше всех, идущих впереди его, он в синей поддевке, приподнятой на животе, вздувшемся, как пузырь; в его багровой, затекшей руке — дворянская фуражка с красным околышем, а в другой — толстая палка с резиновым наконечником и серебряной рукояткой, головою орла, высунувшего свой клюв между толстыми пальцами кукишем.



Большой, кругом лысый череп Маймачинского масляно блестит на гладком, досиня выбритом лице, выпукло торчат черные полуседые брови, большие глаза немножко выкатились и смотрят на всех и на всё спокойно, чуть-чуть насмешливо. Под глазами — мешки, переносье глубоко вдавлено, сизоватый конец носа вздернут кверху, показывая широкие ноздри и черный волос внутри их. Маймачинский дышит тяжело, носом, волосы, точно пауэьи ножки, высовываются из ноздрей и прячутся; губы у него толстые, как у негра, верхняя насмешливо или брезгливо вздернута, нижняя — отвисла, обнажая красную полосу десен и желтую кость лошадиных зубов. Больные ноги плохо слушают его, он качается, осторожно передвигая их; вздрагивают пухлые щеки, отпадая от мохнатых, медвежьих ушей.

«Какое чужое и умное лицо», — подумал Смагин, внимательно разглядывая городскую знаменитость.

Этот большой кусок жирного мяса вызывает у всех чувство боязливового почтения, люди опасливо сторонятся, словно боясь, что оно раздавит массой своей, всякий старается увильнуть от прикосновения к нему, вокруг Маймачинского — пугливая суэта, и кажется, что он всё больше разбухает в ней, наслаждаясь почтением и страхом людей.

А когда кто-нибудь замешкается пред его высоким животом, Маймачинский, не останавливаясь, сталкивает неловкого со своей дороги пристальным взглядом и движением челюсти. Под боком у него вьется, сверкая улыбочками, Степан Ильич Коптев, быстро сует направо и налево руку и непрерывно, громко говорит:

— Красота и благолепие, Кирилл Матвеевич, возышают душу, это верно, но и соблазна множество от них! Древнего благочестия люди, как читаем, молились в храмах простеньких и даже в пещерах, понимая, что господь наш Иисус Христос — прост и беден...

— Ну, ври, ври, — снисходительно, басом одобряет Маймачинский.

— Ежели богатство на вид выставляется...

— Позови-ко моих лошадей, — приказал Маймачинский, остановясь, и всё живое, что медленно плыло вслед за ним, тоже остановилось.

За Маймачинским павами стоят жена его и Таисья Коптева, похожие, как сестры, только Маймачинская выше Таисьи, дороднее, серовато-голубые глаза ее живее и умней спокойных глаз Коптевой. Она одета в оранжевое платье китайского шёлка, богато украшенное кружевами, а Таисья в гладкой старомодной кофте голубого цвета, в гладкой же сиреневой юбке и в коричневой с золотой искрой шёлковой головке на пышных русских волосах. На высокой груди ее — золотая цепь часов, в маленьких ушах — жемчужные серьги. Мямлинцы тесно окружили женщин и молча, сосредоточенно любят ими.

— Вечером — чай пить ко мне, — приглашает или приказывает Маймачинский, влезая в коляску, запряженную парой тяжелых черных лошадей.

Коптев кланяется ему и, надев картуз, несколько секунд смотрит вслед коляске, шевеля бровями.

— С праздником, — крикнул он, заметив Смагина у ограды, и живо подскочил к нему.

— Видали, какова человечина? Воевода.

И, понизив голос, точно сообщая секрет, он продолжал торопливо:

— Ему предлагают: желаете в предводители дворян уезда? «Не желаю, дворян больше нет». В председатели земской управы? «Земства, говорит, не признаю!» И верно, он ничего не признает, он живет шутя, отъединенно от всего, только вот бабы... Что ж ты руку не даешь, — обратился он к жене, заметив, что она в ответ на поздравление Смагина лишь поклонилась молча.

— Забываю всё, — сказала Таисья, не протягивая руку.

— А ты — не забывай.

— Кабы они всегда чистые были, руки-то, я бы привыкла, а то они всё в саже, да сале, да мыле.

— Ишь ты ведь! — воскликнул Коптев насмешливо и подмигнул Смагину. — Это она к тому ведет, чтоб я кухарку нанял! Погоди, успеешь барыней пожить... Обойдем ярмарку, да — домой, обедать; так, что ли?

— Я обедаю у Зайделя, — сказал Смагин.

Хозяин искоса взглянул на него и заметил:

— Такой день надо бы с русскими прожить.



Солнце стояло почти в зените, обливая город потоками золотого тепла, крылатый звон плескался над шумной площадью, и всё ныряли в воздухе неуловимые ласточки. Трое слепцов, прислонясь к ограде собора, заунывно и угрожающе цели:

— Она при-йдет...

Один из них, молодой, румянощекий, с белыми волосами, устремив опаловые бельма в небеса, заканчивал стих рыдающим возгласом:

— ...нежданно-негаданно!

— Она схватит, — выводили его каменницы товарищи печально, а он звонко угрожал:

— ...тея прямо за сердце...

Пред ними стояла без шапок кучка мужиков и много баб, слушая пение умиленно и задумчиво, а две молоденькие мещанки грызли семена подсолнуха, сплевывая шелуху на ноги слепцов, и шептались весело.

«Про смерть поют, должно быть», — подумал Смагин, идя сзади Коптевых, любуясь плавной походкой Таисьи.

— Разыгрался господь в честь угодника своего, экой день подарил людям! — рассуждал Коптев, никому не уступая дороги и часто останавливаясь поздороваться со знакомыми. Останавливалась и Таисья. Смагин дважды нечаянно толкнул ее, хотел извиниться, но она не оглянулась на него, и оба раза он промолчал.

Шум ярмарки, разрастаясь, густел, оглушал; за церковью, в балагане акробатов рычали нескладно медные трубы, отчаянно выл корнет-а-пистон, бухал барабан; тонко свистели мальчишки в глиняные дудки; рыжий парень, с пестрым лицом кукушки, стоя на дороге у всех, самозабвенно играл на губной гармонии, красивая баба, торговка оладьями, пронзительно кричала:

Аладышки с медом!

Грош заплотишь —

Язык проглотишь!

Цветными кучами плыли молодухи и девки, осыпая дороги пред собою шелухою семян; в толпе, как мыши, мелькали ребятишки. Шли двое стариков, один — в по-

ярковой шляпе гречневиком, другой — в новом картузе, шли и кричали, не внимая друг другу.

— Ты — постой, клюква...

— Ежели твоя дочь...

— Погоди, — я что говорю?

— Ежели она не уважат...

— Снохачи, — сказал Коптев, оборотясь на ходу и подмигнув Смагину.

— Православные христиане, внимайте гласу просящего, — гудел маленький черный человечек в подряснике, кривобокий и растрепанный, точно после драки.

Земля, истертая сотнями ног, кутала людей пылью, золотистой в лучах солнца.

Смагину ни о чем не думалось, ничего не хотелось, он потерял себя в этом жарком шуме и только изредка, сквозь дремоту души, чувствовал приятное утомление, не мешавшее ему безвольно плыть в густом потоке людей туда, куда, не спеша, плыли все они, огибая ограду церкви.

В этом состоянии полусна он очутился у ворот ограды, на куче бревен, всё глубже уходя в созерцательное настроение, еще не испытанное им с такою полнотою. Мельком подумалось, что в этой веселой тесноте можно незаметно прожить много солнечных дней и, вероятно, вот такой дремотной жизнью созерцателей живут тихие люди Востока в своих караван-сараях, на базарах душных городов, среди ослепляющей пестроты ярких тканей. Где-то близко крикнули в два голоса:

— Стой! Держи...

Люди ринулись на крик, сразу сбились в плотную кучу, а в середине ее тоскливо завыл чей-то испуганный голос:

— Не я-а... это не я! Что вы?

— Вора поймали, — спокойно сказал солдат, церковный сторож, сидевший рядом со Смагиным, покуривая махорку. — Сегодня, перед обедней, староста говорит мне: гляди, Кусок, когда с тарелкой пойдешь, тут такие найдутся, что копейку положат, а пятак сдачи возьмут.

— Нашлись?

— Жулики-то? Они везде найдутся, как мыши...

Шум затих, толпа расплылась, кто-то крикнул весело:

— Да это наш, из Кулиги!

— Не того вздули, — сказал сторож, отхаркнув.

«А меня это не возмущает», — мысленно отметил Смагин и улыбнулся.

Появились пьяные и шли мимо; одни — весело распевая, другие — молча и мрачно глядя в землю, третьи — сердито ругали баб. Большой парень в зеленой рубахе шел, повесив на шею себе новую писаную дугу, и, держась за концы ее, громко, пьяным голосом считал:

— Семь по пяти да семь по три... это сколько? Боле полтины. Али — сколько?

Мотая головой, как лошадь, он захохотал и повернул назад, крикнув:

— Ах, вот, а!

В городе как будто орган играл, — всё пело, звучало, и добродушно, хвастливо сверкали стекла в окнах домов. Смагин сидел долго, наблюдая и слушая, и наконец почувствовал голод. Идти к Зайделю было уже поздно, он пошел в гостиницу, наскоро поел там и снова вышел на волю, а кривой Макар, проводив его до крыльца, благопожелал:

— Счастливых удовольствий!

Вспомнив, что кривой недавно угрожал уйти работать на кирпичный завод, Смагин спросил его:

— Как же вы, — уходите?

— Обязательно ухажу! — сказал Макар серьезно. — Услужение не по характеру мне. Один на сто — не работник...

Смагин прошел на выгон и долго смотрел, как недоречивые мужики покупают лошадей, разглядывая им зубы, щупая репицу, тыкая пальцами в добрые глаза.

Высокий кудрявый старик хлопал старого мерина тяжелой ладонью по шее и кричал:

— Ты гляй, али это конь? Это — дьякон!

На Смагина наткнулся тощий мещанин в пиджаке с оторванным рукавом, рукав он нес в одной руке, а в другой — новый ременный кнут. Его костлявое лицо было разбито, под левым глазом вздулась опухоль, на темной бородке засохла кровь.

— Барин, — взвизгнул он, взмахнув рукавом, — можешь прошение написать? Угощу!

— О чем прошение?

— Вот — избili меня зря, незаконно изувечили.

Он указал кнутовищем на лицо и добавил:

— Бороду выдрали!

Лицо у него было вороватое, перевозное, незапухший глаз сверкал задорно. Пока Смагин соображал, что ответить ему, он стегнул кнутом землю и пошел прочь, говоря:

— Не защита ты мне, — по морде твоей вижу.

Смагин усмехнулся и тихо пошел за ним. Мещанин, видимо, искал кого-то, он всё присматривался к людям, вызываясь останавливаясь под носом у них, постегивая землю кнутом. Рукав он сунул за пазуху рубахи.

«Испанец жаждет мести», — вспомнил Смагин слова какой-то песни.

На земле, у телеги с горшком, сидел толстый парень с круглым лицом в цыплячем цухе и, не торопясь, жевал хлеб; рядом с ним, на земле, в шапке, лежала пара печеных яиц.

Мещанин сразу остановился пред ним, как пред стеною, и деловито предложил.

— Мордаш, дай я тебя кнутом вдарю?

Не переставая жевать, парень поднял водянистые глаза, смерил ими человека и спросил:

— За что?

— Так. Для праздника.

— Я те вдарю...

Но мещанин подвинулся к нему и, тише, убедительно снова предложил:

— Слушай, я — не даром. Сколько возьмешь?..

Парень, проглотив жвачку, опустил глаза.

— Ступай себе...

Смагин не замечал, что предложение мещанина удивляет или обижает парня, а мещанин, всё разгораясь, украшивал, почти со страстью:

— Один раз, ну? Что тебе? Разве так тебя отец бил? Ведь били тебя, а? Мордаш, ну?

— Давай двугривенный, — сказал парень, не глядя на него.

Мещанин вздрогнул, вытянулся, торопливо сунул руку в карман, вынул беленькую монету, показал ее парню и, бросив на землю, прижал ногою.

— Видел? Подставляй спину...

Парень подумал, хотел что-то сказать, но махнул рукою и устоял на ногу забавника, склонив голову, выгнув спину, а мещанин, отступая на шаг, размахнулся, со всею силой хлестнул его кнутом по спине и тотчас быстро пошел прочь. Даже не взглянув на него, парень горячо крикнул, передернул плечами, поднял монету и стал вытирать ее о штаны, делая всё это не спеша, равнодушно. Но вдруг он вытянул шею, лицо его налилось кровью, он сунул руку за спину и безобразно выругался, почесываясь.

— Фальшивая? — спросил Смагин, чувствуя, что эта нелепая сцена до тоски удивила его.

— Копейка, — глухо ответил парень. — В свинец обернута была...

— Зачем ты согласился на это?

— Показывает, будто двугривенный, — сердито пробормотал парень и, обернувшись задом к Смагину, спросил:

— Рубаху не просек?

— Нет...

— Жулье...

«Что же это такое?» — думал Смагин, идя берегом реки, в тяжком изумлении, но не возмущаясь. Непонятно было озорство мещанина, да и думалось о нем как-то неохотно, лениво.

Обок синела река, сверкая на солнце; по гладкой, ленивой воде плыли одна за другою лодки с девицами в светлых платьях, под частыми ударами весел звучно всплескивала вода, еще звучней — девичий смех. В одной лодке звенела балалайка, и девицы дружно пели:

Не красива я, бедна,  
Плохо и одета,  
Никто замуж не берет  
Девушку за это...

«Не праздничная песня», — подумал Смагин, ощущая тихий прилив грусти.

Ржали кони, пастух пробовал свирель, всюду звучали крики, песни, тараторили гармоники; шел впереди Смагина мужик и, размахивая шапкой, чувствительно, но неумело кричал:

Ой, да не допахано-о  
Не допахано оно-о...

Остановился, передохнул и, взметнув головою, продолжал, спотыкаясь на ходу:

Да, всё бурьяно-ом,  
Буй-ной травкой заросло-о!..

Снова остановился, с размаха шмякнул шапку о землю и еще выше поднял голос, завывая:

Эх, чуж-жая сторона-а...

«А что — немец поет о Германии, как о чужой стороне?» — спросил себя Смагин, направляясь в город.

У ворот крайнего, к реке, дома в кругу девиц и баб ходила, приплясывая, чистенькая старушка и покривала, разводя игрушечными ручками:

Не спасибо те, большому пирогу,  
Что я тебя сразу слопать не могу!

Звонкие женские голоса хором подхватывали:

Ох, не могу, не могу, да не могу.

Звонили к вечерней; город выл и стонал, заглушая звон. Теперь на улицах стало еще теснее и цветистей, — вышли гулять горожане.

Встретился маленький Зайдель, рядом с дородной женою Маймачинского, — он был при ней, точно изящная собачка.

— Вы что же не пришли? — спросил оп. — Увлелись? Да, удивительно красиво, удивительно.

Смагин снял шляпу перед дамой, — она поглядела на него и отвернулась, облизав губы кончиком языка.

— Вы посмотрите, как мило ребячлив и красив своей простотою этот народ, как он умеет веселиться! И какое обилие красивых женщин! Нет, батенька...

— Борис Леоптьевич, — напомнила о себе Маймачинская.

Они пошли дальше, и Смагин услышал, как дама Зайделя говорила:

— Какой странный, не знаком, а кланяется...

— Он обязан поклониться даме...

— Незнакомой?

Смагин чувствовал, что он несколько тяжелеет, насыщаясь этими сценами, как губка влагой. Что-то мутное просачивалось в мозг, стирая краски и радость дня, и невольно вспоминались смешные слова Щукина:

«Легко сказать — анекдот! Кабы среди прочего, ну — еще допустимо, а когда ничего прочего нет...»

Усталый, подавленный, он пришел домой, когда уже зашло солнце и вода в реке, отражая пожар зари, покраснела кумачом.

Смагин прошел к себе, разделся, лег на постель, потягиваясь. Легкая, не обидная грусть тихонько трогала сердце, являлись мягкие мысли, — в другое время он счел бы их наивными.

«Удивительные люди. Какое чувство преобладает в моем отношении к народу, — люблю я его, верю в его способность к жизни?»

Мозг, утомленный впечатлениями дня, подсказывал старый, знакомый, добродушный ответ. Но тревожное ощущение какой-то тяжести в душе мешало принять этот ответ. Он давно чувствовал, что в суждениях городских людей о душе, о силе русского народа слишком много влияния доброй и мягкой литературы: он знал, что в своем стремлении утешать литература сильно прикрашивает народ.

Эти, прежде неясные, догадки Смагина теперь перерождались в точные мысли, он чувствовал, что под каждую из них мог бы подложить широкое основание фактов истории, опыта личной жизни.

Но сознание своей вооруженности было неприятно ему, и, в странном раздвоении с самим собою, он старался разбить, рассеять печальную силу правды. Раньше это сознание вызвало бы у него иное чувство, теперь он рассматривал ход своей мысли с недоверием к ней.

«Может быть, и в этом мнении литературное влияние сказывается не меньше, чем в другом обычном».

И тут же он думал:

«Что подкупает меня к оправданию этой жизни? Я хочу примириться с нею? Нет, мириться не с чем, но и осудить не хватало сил».

«Я не осуждаю, я думаю», — подсказывал он себе, но это не успокаивало.

«Странная у меня позиция, — где-то посредине между... явно непримиримыми да и нет...»

В ленивом борении с самим собою он провалился на постели до темноты, и хотя был жестоко голоден, но не решился сойти вниз, где, он знал, хозяйка оставила ему холодный обед, как она всегда заботливо делала, уходя вечером в гости.

В думах, нахлынувших на него, он не слышал, как воротились хозяева, и только когда заскрипела лестница под чьими-то ногами, вскочил с постели.

— Спишь? — стоя на пороге со свечой в руке, спросил Кошнев пьяным, веселым голосом.

Смагин сердито взглянул в его красное, тающее лицо, — хозяин впервые обратился к нему на «ты». Спотыкаясь, размахивая свечой, Кошнев дошел до кровати, грузно плюхнулся на нее рядом с нахлебником и заговорил, сладко прижмурив глаза, чмокая губами, мотая встрепанной головою.

— Идем чай пить, а то — квас... Ну, я тебе скажу: Маймачинский, это — голова! Вот бы тебе поспорить с ним, — загонял бы он тебя, ей-богу. Это — господни без страха!

Смагин взял свечу из его руки и молча поставил ее на стол, а Кошнев, ухмыляясь до ушей, восхищался:

— Этот еврейчик твой, Зайдель, приухлыстывает за Лидией и так и эдак, — прямо как спичка о кирпич трется! Ну, и она тоже — сделай милость: на грудях — кружевцо, чулки — тоже, дразнит, понимаешь! Максим Савельев, земский начальник, и говорит: гляди, говорит, Кирила! А тот: это, говорит, даже очень хорошо, когда у жены ухажер есть — он ее раздражит, разогреет, а мне, мужу, от этого праздник, я в прямом выигрыше. Каково? Тот — свое: гляди, говорит, ловок очень Зайдель! А Маймачинский ему: ежели что замечу сверх полезного мне, так я жида выпорю! И его выпорю и ее.



Чисто? Он, брат, из китайских татар кровью, у него дедушка так и помер татаринном, а отец крестился посреди жизни, лет сорока...

Смагин молчал, не веря в возможность такой беседы, а Коптев, как будто трезвея, воскликнул:

— И выпорет! Он — не побоится... Чего ему бояться? Павел Николаев, — ежели честно говорить, — чего боимся? Конец — всем один, и обидчикам и обиженным — верно?

Чувствуя, что хозяин расположен философствовать всю ночь и что от него не отвяжешься, Смагин угрюмо пошел с ним вниз; там, у стола, пред большим графином кваса, сидела Таисья в широкой белой кофте, обмахиваясь платком и мутно улыбаясь, краснолицая, со встрепанными волосами.

— Пожалуйте, — сказала она певуче, наливая в стакан пенный ядреный квас. — Так вы и прожили весь день не пимши, не емши?

— Я в гостинице закусил...

— Непорядок! — крикнул Коптев, рассекая воздух рукою. — А Маймачинский спрашивает: как, говорит, у тебя нахлебник? Я говорю — ничего, привыкает, ну — еще молод! Так и сказал, — извиняй меня, — молод еще ты! Не понимаешь в сутях, в самых...

Он навалился грудью на стол, говоря жене:

— Я ему сказываю, что Маймачинский про Лидию говорит, а он морщится дико...

— Про женщин разное говорят, — сказала Таисья, усмехаясь и опустив глаза.

— Нет, Пал Николав, — укоризненно и строго воскликнул Коптев, пристукнув ладонью по столу, — нет, сударь мой, — ты молод! Все живут тихонько, каждый со своей судьбой, а ты — один и гордишься. Хоть и стал ты молчалив — да ведь я вижу: бунтуешь ты! Я, брат, понимаю, — бунтовать можно и молча... И — чистенький ты, даже до того, что неприятно видеть...

В открытые окна из города тихо втекал полусонный, замирающий гул, издали он казался грустным и красивым. Смагин вслушивался в эту песню уставшего дня, слушал слова хозяина и, с неприятным удивлением,

чувствовал, что эти слова трогают его какой-то далекой, забытой правдой. Он встряхнулся, стал внимательней и вдруг понял, что пьяненький хозяин повторяет те мысли, которые час тому назад тревожили его сердце, когда он лежал у себя, на чердаке.

— В грешниках живешь, так не гордись; праведные тоже подлежат соблазну. Ты можешь знать, что с тобой завтра будет? То-то! А ежели молодая гордость твоя такова есть неуступчива,— уйди, не мешай! В монастырь иди, в пустынножители, скажи богу: хочу молиться о грехе людском, господи! Скажи: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!» Лучшее этого ничего не скажешь.

Коптев вдруг всхлипнул и, быстро смахнув слезу, повторил тише, с великой силой и отдельно:

— Гос-споди, Иисусе Христе, помилуй нас!

И замолчал, опустив голову, поеживаясь, но через минуту насмешливо проговорил:

— Да, ведь ты в бога не веришь, забыл я! Нет у тебя пристанища душе...

Он стукнул кулаком по столу и вдруг сердито закричал:

— А кто в бога не верит — тот миру не нужен...

Смагин, вздрогнув при стуке, тоже неожиданно обозлился.

— Вот что, Степан Ильич, — сухо и холодно начал он, но в эту секунду тихий, сплошной гул города, подобный жужжанию множества шмелей, разорвали частые удары колокола, они падали торопливо и тревожно один за другим, и уже ничего не было слышно, кроме их медного воя.

— Н-ну, — тихо воскликнул Коптев, привстав со стула, испуганно вытаращив глаза, а Таисья тихонько крикнула:

— Ой, набат...

Жалобно мигая глазами, она уставилась на мужа, лицо ее побурело и губы распустились, точно у ребенка, готового заплакать.

Дверь из сеней открылась, и Лукьян, просунув в щель лысую голову, сказал сердито:

— Пожар на Въезжей...

— Ох, — вздохнула Таисья, отняв руку от груди, — я думала, близко.

Коптев, сразу отрезвевший, засуетился, покрикивая:  
— Стоялые дворы там. Тайка, картуз! Кум Егор, Замятины, Лукины, а, боже мой!

Надев картуз, он приказал жене:

— Из дома — ни ногой, слышала? Воду качайте из колодца, чтобы везде вода была! Не дай бог — голову перекинет...

И убежал, покрикивая на дворе:

— Лукьян, гляди в оба! Воду наготове держи...

Колокол кричал всё тревожнее. Смагин пошел наверх одеваться, за ним поднималась Таисья, говоря:

— С чердака хоть погляжу...

Он посторонился, пропуская ее, а женщина, поравнявшись с ним, спросила, заглянув в глаза его:

— Любите пожары?

— Как сказать...

— А я — очень люблю. Боюсь, а — люблю.

В слуховом окне колыхалось и таяло красное небо; Смагин подошел к окну вслед за хозяйкой и увидел, что там, внизу, в тесной куче темных домов, размахивает большая красная метла, вздымая густую тучу черной пыли, и кто-то могучий быстро, как в сказке, возводит к небу островерхий терем из пламени. Багряное пламя качалось в тихом воздухе, всё разрастаясь вширь с неуловимой быстротою, строило новый город и, скользя по гладкому стеклу половодья, зажигало на реке еще пожар. Смагину хорошо видно было, как таяли, исчезали темненькие домики, точно сами собою вдвигаясь в огонь; острые красные пальцы царапали их темные ребра, а над огнем возникала шапка черного дыма, всплывая в безлунное звездное небо; он потерял охоту идти на пожар, увлеченный красотой видимого, не желая оторваться от нее ни на минуту.

— Жалко людей, а вот любишься их несчастьем, — сказал он хозяйке, чувствуя, что надобно что-то сказать ей.

— Пускай горят, заново построятся, — весело ответила Таисья и, высунув руку за окно, стала рассказывать ему, чьи дома горят.

— Смотрите, смотрите, — вскрикивала она негромко, — сено занялось! Вон серый дым густо пошел, это — сено!

Он стоял сбока ее и немножко сзади; уже несколько

раз она задевала его локтем и плечом, но ему не хотелось отодвинуться. Красиво плавала в воздухе ее рука и еще красивее стало лицо ее, освещенное заревом. В саду на кудрявых яблонях, едва открывших почки, трепетал розоватый отсвет рдяно-красного неба, и казалось, что яблони быстро растут, распускаются их бело-розовые цветы. А там, в городе, дымились одна за другою ярко освещенные крыши, красные плечи огня, словно из земли восходя, раздвигали их в обе стороны, сотни красных рук цепко хватали дома, мяли, ломали их, и эта буйная игра мягко повторялась на черной воде реки. Чудесно возникал на краю города огненный сад, призрачные деревья пышно цвели желтыми, синими и алыми цветами; золотой цветень пыльно и густо летел по воздуху, всё вокруг радостно трепетало, и снова казалось, что черные постройки людей сами рвутся в огонь.

Вдруг вставала целая роща золотых елей, вонзая остроогненные вершины в тяжелый покров дыма; взмывал вверх алый дождь, взлетали черные лесные птицы и, обожженные, падали на землю, в бархатную воду реки, — шёлковый блеск струился по реке.

Через минуту всё изменялось, на месте огненной рощи вспыхивали десятки горнов; невидимые кузнецы длинными черными руками куют глыбы меди, щедро осыпая дымный покров над собою крупным градом красных искр.

Доносился странный гул, как будто множество голосов баюкали беспокойного ребенка.

— Оо-ó!.. Оо-ó!..

Набат умолк, но белая колокольня, четко видимая на красном фоне пожара, всё еще качалась, встревоженная ударами колокола.

Всё ниже нахлобучивал дым свою теплую мохнатую шапку над городом, и чем темнее становилась земля, прикрытая ею, тем ослепительней играло красно-желтое пламя.

— В Мордовский переулочек кинуло, — рассказывала Таисья. — Вон как полышет! Ветер, видно, поднялся...

Отчетливо выросла сосна, постояла минуту темной и вдруг вся сразу вспыхнула мелкими золотыми цветами, они взлетели вверх, осыпались, исчезли, исчезла

с ними и сосна, опутанная огнем. Выгорбилась, докрасна раскалась, железная крыша, а под нею невидимая рука наклеивала на светло-серую стену дома пурпуровые лоскутья шёлка; вот из окна густо повалил дым, а вслед за его черным султаном хлынул поток расплавленной меди.

Маленькие черные фигурки муравьями суетились в огородах и на берегу реки; у некоторых головы тоже сверкали и горели, точно медные.

— Оо-ó, оо-ó!.. — глухо ныл усыпляющий стон.

На дворе скрипел блок, гремела цепь, — это Лукьян черпал бадьями воду из колодца. Везде, поблизости, было приятно тихо, только где-то далеко, точно баба-плакальщица, заунывно выла собачонка.

— Вот когда началась ярмарка, — тихонько сказал Смагин, видя, как среди горящих домов разворачиваются, размахивают широкие полосы кумача, ярко-желтых шелков, взмывают пучки алых и синих лент.

Таисья посмотрела в лицо ему и улыбнулась, словно сквозь сон, — он сам тоже чувствовал себя, как во сне. Было немного жарко под железом крыши, нагретым за день солнцем; остывая, железо потрескивало. Смагин хотел достать платок, чтобы отереть вспотевшие виски, и нечаянно коснулся рукою талии хозяйки. Тогда она сказала негромко и просто:

— Ну, будет, не совестись, господь нам простит...

Обнимая ее, Смагин все-таки успел спросить сам себя:

«Что я делаю?»

Женщина знала это лучше его.

— Я ведь давно догадалась, давно вижу всё, и тоже — так-то ли намаялась, — говорила она тихонько в ухо ему и торопливо шла с ним к его комнате, поталкивая его плечом, обняв за шею крепкой рукой. Смагин слушал ее слова и чувствовал, что она говорит правду. Потом они снова вышли посмотреть на пожар, и хозяйка говорила Смагину, крепко прижимаясь к нему:

— Роднуша моя, касатик мой!.. И чего же мучились мы? Только молодое время даром теряли! Размилая ты моя нежнуша, тихий свет...

Он улыбался, усталый и хмельной, не зная, что ей сказать? Эти неслыханные им, ласковые слова были

очень смешны, но они звучали детски-искренно и очень шли к ее побледневшему лицу, к ее удивленно благодарным глазам. В нем тоже странно спуталось чувство испуга, удивления, благодарности; тихая радость обнимала его, сердце билось небывало быстро и легко.

Уже светало, пожар затихал. Там, где вихрилось красное пламя, сметая дома, теперь сверкали ряды костров, отрезанные друг от друга черными полосами. В темных грудях обломков и головень торчали лезвия топоров, ножей и кос, кованных из меди и золота. Там было тихо, но людней, чем раньше. И опять казалось, что это — горны, стоят над ними дымные кузнецы и куют мягкую, пламенную медь, выбивая из нее неслышными ударами языки синих и зеленых огней, взметая каждым ударом алый вихрь искр. Таисья сладостным шёпотом причитала:

— Завела тебя к нам судьба твоя, как Ивана-царевича.

В тон ей Смагин спросил, улыбаясь:

— А ты — Василиса Премудрая?

— Как хошь, — покорно сказала она, — кто хошь...

Яблони зацвели.

Сад Коптева весь окутался бело-розовым пухом нежных цветов, как будто снова густо выпал снег — душистый, трепетно живой снег весны, рожденный веселым кудесником маем. Белые холмы деревьев, напоминая о зимних сугробах, светло и мягко серебрились на зеленом шёлке трав, таяли, нагретые солнцем, и насыщали воздух тонким горьковатым запахом.

С утра до вечера среди стройных рядов яблонь, не спеша, похаживал Коптев, купаясь в белых волнах, разговаривая с Лукьяном вполголоса, словно боясь разбудить кого-то, чему-то помешать. В его золотых глазах, в морщинах лица неугасимо светилась какая-то особенная улыбочка, и весь он олицетворял собою напряженную заботливость удачливого хозяина, гордую радость человека, который умеет украсить свою землю. Подпирая отягченные цветами ветви, отламывая мелкие сухие сучья, он поглаживал ладонью шершавую кору стволов, зорко смотрел, нет ли гусениц, и тихонько напевал что-то церковное. Чудилось, что весь белый

сад подпеваает ему тихим шелестом цветов. Дразнились скворцы, тонко свистели пеночки и славки, струной звенел яблник; на ветвях липы, еще желтой, качались тонконогие зорянки, и всеми голосами живого своего земля благодарно молилась солнцу — богу и царю жизни.

По утрам, выходя из своей комнаты на чердак, умываться, Смагин смотрел в слуховое окно на хозяина и думал: «Живет. Да, он устроил себе умную жизнь: труда в ней — мало, удовольствия — много».

Теперь он думал о Коптеве без досады и раздражения и уже не опасался, что этот умненький человек может задеть его достоинство своим острым языком, — теперь у Смагина явилось новое, снисходительное и немножко юмористическое отношение к хозяину. Это отношение несколько смущало его, он философствовал:

«Человек не стал хуже, оттого что ему изменила жена...»

Но философия не мешала росту нового чувства, и оно тихонько росло, создавая другую философию.

Первые дни связи с хозяйкой Смагин чувствовал себя неловко, тревожно и всё пытался что-то объяснить себе, в чем-то оправдаться.

«В этом приключении моя воля была застигнута врасплох. Голодная женщина сама взяла меня в плен. Я просто не успел сказать ей, что она — ошиблась, я не питаю к ней никаких серьезных чувств...»

Но плен был сладок, и скоро Смагин почувствовал, что оправдываться — стыдно.

Как всегда случается с людьми здоровыми, но сдержанными, теперь, когда у Смагина не было причин сдерживать себя, он переживал бурю, всё нарастающую в силе своей. Он понял, что пред ним горит праздничное чувство, которое ничего не боится, и это трогало его.

Почти каждый день Таисья находила случай обняться с ним, и нередко, когда Коптева не было дома, она целые часы целовала нахлебника с неутолимой жадностью женщины, которая долго жила намеками на возможность испытать что-то неведомое и наконец впервые испытывала потрясающую радость жить любовью, чувствовать себя способной давать счастье и принимать его.

Задыхаясь от пережитого, она плакала и шептала:

— Господи, господи, что же это?

И тотчас же, заглядывая влажными глазами удивленно, испуганно в лицо мужчины, просила его, всхлипывая:

— Родненький мой, ну — поцелуй еще...

Потом — спрашивала его:

— Одолела я тебя?

— Одолела, — отвечал Смагин, прижимаясь к ней, как ребенок к матери.

Красивое лицо Таисьи тоже становилось детским; казалось, что и сквозь кожу ее щек проступает радость.

В эти минуты она совершенно теряла то небольшое городское, что было нажито ею, воспитано в ней, становилась простой деревенской бабой и с наивным бесстыдством зверя ставила Смагину вопросы, которые заставляли его краснеть в смущении.

Она очень хвасталась своей красотой и, показывая себя, сама искренно восхищалась:

— Гляди, какая я — на сто лет!

Всё, что она делала и говорила, было пропитано жарким чувством, которое ничего, кроме себя, не знает, ко всему слепо и ничего не ищет, стремясь насытить себя.

Только о муже она рассказывала насмешливо и немножко брезгливо.

— Знаю я теперь, какой он муж для меня, — жулик он, а не муж!

И вздохнула, нахмурясь, добавляя:

— Старики эти, законники, людоеды — не люблю их, никого!

А однажды она сказала Смагину:

— Люблю глядеть, как ты споришь с ним, глаза у тебя в то время хороши! Так часто-часто хлещешь его словами-то, а я сижу, думаю: матушки, слов-то сколько у него! И как ты помнишь их все, милуша моя?

Он сконфуженно усмехался, лаская ее, и думал: «Если б она была немножко умнее».

Другой раз, говоря о муже, она сердито прошептала:

— Думаешь — не жил он с племянницей-то? Наверно, уж пожил с ней, сластена! Оттого и доченьку ее не взял себе, — боится, как бы люди не догадались, что девочка может быть его. Праведники они с *⟨Не закончено.⟩*



## НЕСОГЛАСНЫЙ

В пустоте над тюремным двором остановилось мутное солнце, — ночью в городе был большой пожар, небо немножко закоптело, солнце — тоже.

Жарко; кирпичная стена тюрьмы кажется раскаленной докрасна; серый булыжник источает липкую духоту, в воздухе висят синие мухи, толчками рвутся куда-то, падают к нагретой земле, взмывают вверх, — следить за ними нестерпимо скучно, а больше делать нечего. Тихо на дворе; кое-где в коротких полосках тени прижались у стены растерзанные арестанты, дремлют, спят, лениво беседуют. За стеной сухо трещит деревянный город, иссыхая под жестоким солнцем. В квартире зрителя звучит пианино, — Миша Зимин, чухоточный вор, выгнув длинную шею, поднял в небо серое с красными малежами лицо и, надув губы, смотрит в окно, слушает музыку.

— Я человек меланхоличный, — вполголоса говорит мне надзиратель Курнашов, сидя со мной на ступенях крыльца тюрьмы. — Есть люди взрывчатого характера, а я — смирно-умный, короткого поведения...

— Кроткого, — поправляю я.

— Всё едино, — кроткое и есть короткое поведение, без затяжки, без спора.

И, раздавив окурок папиросы о подошву сапога, он продолжает, точно чулок вяжет:

— Мне всё равно, хоть так, хоть этак, меня не обморочишь. Ваши, утверждающие, будто человек нуждается в свободе поведения, премного ошибаются. Этого нельзя. Вон они, свободники, у стенок притулились, а некоторые даже и в кандалах. Никак нельзя. Свинья —

свободна, ну что ж? Ей никакого уважения нет. И человек в свободном ходе своих чувств тоже освиняется.

Сняв тяжелую фуражку, он приглаживает красной ладонью волосы цвета земли и потом внимательно смотрит на свои пальцы.

Мне давно и упрямо хочется знать — как прожил свою жизнь этот суздальский человечек, сухонький, спокойный, похожий на икону угодника божия? У него зоркие, приметливые глаза желтоватого цвета. Они смотрят на всё и всех прямым, взвешивающим взглядом. Он часто говорит:

— Я — человек смиренный, меланхоличный.

Но он говорит эти слова подозрительно часто. Товарищи явно не любят его и боятся. Арестанты — тоже не любят, но не боятся, хотя исполняют его краткие приказания как будто послушней и охотней, чем крикливую команду других надзирателей.

Он стоит как будто ближе к арестантам, чем к начальству, но в то же время как бы опасается близости к людям или пренебрегает ими, считая себя выше всех. Ему — 59 лет, он крепкий, ловкий и легок на ногу, — ходит по двору и коридорам быстро, бесшумно, как по воздуху. Чистенький, аккуратный, желтоватая бородака правильно подстрижена, но рот у него противен, — кривой, с толстыми губами, он кажется чужим на постном, благообразном лице.

Основной лад его души — спокойное безразличие, однако я несколько раз видел Курнашова в странном состоянии внутреннего напряжения, возбудившего у меня острый интерес к этому человеку.

Как-то ночью, заглянув в глазок моей двери, я увидел, что он стоит в коридоре против камеры малолетних, под огнем тусклой лампы, его лицо жутко, невероятно искажено, — как будто человека внезапно схватила острая боль, он хочет дико закричать и — не может.

Это искаженное, кричащее и немое лицо было до того ужасно, что я, отшатнувшись, закрыл глаза. Но через минуту, вновь заглянув в глазок, увидел его всё в том же оцепенении, с тем же немым криком в глазах и в судороге полуоткрытого рта.

Я позвал его:

— Павел Степанович!

Пошатнувшись, он спросил:

— Кто это?

— Я, шестая камера.

— А... Не спите?

— Нет. Что с вами?

— А все спят. Господи помилуй...

— Что это с вами?

— Так, задумался...

Он ушел.

Не один раз я просил его:

— Расскажите, как вы жили!

Глядя на меня снизу вверх, он спрашивал:

— К чему это?

— Я — молодой, мне учиться надо.

— Я жил меланхолично, — говорил он, — вроде отшельника, остерегаясь суеты напрочь...

Философствовал он охотно, но о событиях своей жизни не говорил, как будто их не было. А однажды прямо сказал мне:

— Рассказы — не научат, научает рассуждение. Рассказать можно всё, что хочется, и будет — ложь, а рассуждение — тут не всякий соврать может. Голое слово обязует, как цифра, а цифра — не совет, как ее ни поворачивай.

Ко мне он относился покровительственно и с любопытством, которого не мог скрыть, хотя и сдерживал его.

Как-то ночью, разговаривая со мной через глазок камеры, он спросил:

— Слышал я, что писанием зарабатываете большие деньги и живете без нужды, — верно?

— Да.

— Мм... Пьете?

— Нет.

— Картежничаете?

— Тоже нет. А — что?

— Тогда — не понимаю: зачем же бунтовать? Ежели бедный бунтует, — это доступно уму, а если образованный и сытый человек, тогда уж это — баловство.

Я пытался объяснить ему, но, послушав немного и неохотно, он ушел от двери, сказав:

— Каждый сам себе воевода и хозяин...

В этот жаркий скучный день я решил добиться толка от Курнашова и добился; осторожно, точно идя в темноте и оглядываясь во все стороны, загромождая свою речь ненужными размышлениями, он начал рассказывать.

— Мещанское сословие, не имеющее в земле никакого корня, — самое худородное и ни к чему, — меланхолическая часть людей. Отец мой, например, старьем торговал на балчуге, а я с восьми лет птицеводством занимался, а «рыбаки да птицеловы только врать здоровы». По десятому году отдали меня в учение к скорняку. Учение, конечно, пустое слово, научиться от людей ничему нельзя, кроме пьянства, распутства и как по морде бить. К пьянству я, по счастью слабости здоровья, не привык. Баб до самой женитьбы, до двадцати шести годов, — тоже не касался. Был случай — лет семнадцать было мне, — но в этом случае я не причинен; просто сказать — насильничала надо мной хозяйнова сноха, баба пьяная и бесстыдница. Пришла ночью, — мне, конечно, по глупости лет, любопытно, однако с того разу возымел я к этому занятию отвращение и даже страх.

Курнашов сморщился, плюнул, потом, вынув папироску, закурил и продолжал, выпуская слова вместе с дымом.

— Отец, проторговавшись, свихнулся со стези, попал в историю с ворами и поскорости отдал душу богу, сидя в тюрьме. Всё равно — и живой пропал бы, потому что кража со взломом. За отца надо мной смеяться стали, дескать — воров сын. Терплю, конечно. Куда убежишь от людей? Никуда не убежишь. А, ну вас, думаю!

Зимин, наслушавшись музыки, сел под окном и славно поет мягким мурлыкающим голоском:

На сосне сидит —  
На густой сосне —  
Пестрая пташечка  
Вор-кукушечка...

К нему идет толстый рыжий подагрик Иванков, открыв сомовый рот, идет и гудит:

А под той сосной —  
Добры молодцы,  
Удалы, честны  
Вор-разбойники.

И оба вместе они смело поют:

Ой, да ку-ку, ку-ку,  
Бездомовница...

— Цыц! — строго кричит Курнашов, пристукнув концом пашки о ступень. — Что здесь, трактир вам?

Погасив песню, он говорит мне с досадой и легким удивлением:

— Привыкли, сукины сыны, совсем как дома! Им — наказание, а они поют. До чего люди беззаботны сами о себе — ни страха, ни ужаса!

В тюрьме, построенной еще при царице Елизавете, тихо, как под землей. День — будний, большинство арестантов угнали на работу, осталось десятка полтора, все одинаковые, каждый чем-нибудь болен, и все удивительно тихие люди. Они напоминают поросят, потерявших матку, отчаявшихся найти ее и заранее покорных всему, что случится с ними.

У смотрителя играют «Молитву Девы». Иванков и Зимин, подняв рожи вверх, слушают и смеются.

— Рассказывайте, — прошу я надзирателя.

— Никогда я не рассказывал, нескладно выходит у меня, — говорит он. — Главное — согласия с людьми не было у меня ни в чем. Забавы ихние не отвечали мне, а больше взять нечего. Читающие Евангелie и разные книги священного писания — становятся еретиками, секты составляют, что тоже не годится для меня. А со всех других сторон обида, для каждого нет ничего приятнее, как обидеть человека. Бывал я на прениях о вере, в семинарию хаживал, там тоже ругаются. Один говорит о писании, а другой — встречу ему — говорит: «Дурак!» И так везде — самое неосторожное обращение друг с другом. Конечно, пустяки, но ежели везде, — тогда

уж и вся жизнь — чепуха... А меня обижали особенно много, потому что я был терпелив. Терпение требуется от каждого, но которые нетерпеливы, тех оно доводит даже до безумства.

Курнашов не рассказывает, а рассуждает, я слушаю его невнимательно; заметив это, он спросил:

— Что, скучно? То-то вот...

Тщательно высморкался в траурный платок, белый с черной каймой, вздохнул.

— Правда — скучновата, — ничего не сделаешь против нее. Был случай — привязался ко мне один человек, Сысоев, покойник, Константин Васильич, лицо распутной жизни, но домовладелец и богач, — в полном уважении человек. Он меня из кости в кость, я — молчу, думаю — устанет и отвяжется. Он меня в ухо — молчу. Он — за волосы, стараюсь в глаза ему глядеть, — когда собака, например, бросится на вас — глядите в глаза ей, — отстанет. Но тут этого не случилось, а вижу я, распаляется человек до того, что даже и убить может, — стащил меня со стула и возит по полу, ничего не щадя. Схватили его, меня отняли, омылся я, иду домой, вдруг — опять он. «Ты, — говорит, — переломить меня хочешь?» А с ним еще кто-то. Схватили за руки, за ноги, несут под гору, на реку; тут догадался я, что хотят они меня в прорубь сунуть. Ну, конечно, завыл, взмолился. «Ага, — говорит, — сдаешься!» Отпустил меня и даже трешницу дал. «Получи на пластырь, спорить же со мной не смей никогда!» А весь мой спор только в том и заключался, что желал претерпеть его зверство.

Курнашов вздохнул и пояснил:

— Терпение — оно тоже, знаете, довольно опасно, иногда в нем такая гордость скрыта, что сил нет снести ее. У нас, года три назад, мальчишка сидел за убийство вотчима, так это было лицо хуже дьявола. С виду — кроткий, красна девица, вежливый со всеми, а — сделат с ним ничего невозможно.

— Не сознавался? — спросил я.

— Зачем? В убийстве он сразу сознался, еще дома. А в гордости своей, действительно, не сознавался. И били его и в карцер сажали — всё! Молчит, ни просьбы, ни жалобы, никакого страха. Еле на ногах держится,

а смотрит мимо всех. Даже я, спокойный человек, и то не мог терпеть его. «Ты что, — говорю, — во святые метишь? Я для тебя — нипочем?» А он — ручки назад и тоже в глаза мне смотрит. Дашь ему, бывало, раз, другой, а сам знаешь — это без толку. Так и не согнулся до самого суда, а после — умер незаметно... Человек любит поспорить.

Курнашов улыбнулся, — нерешительно поджал губы, приподнял мускулы щек, желтые глаза его, не изменяя блеска и выражения, окружились полувенцом морщинок. Первый раз видел я улыбку на его дубленом лице, и было в ней что-то неумелое, трудное.

— От скорняка перешел я к часовщику, был такой часовщик Цехановский, Ладислав, кривой. Три года прожил у него, гляжу — а он монету чеканит золотую. Конечно, это мне не мешает: «Делай что хошь, меня не трожь». Однако он и меня начал тискать в это дело. Ну, тогда я заявил в полицию, накрыли кривого. Делают обыск у него, а он гонор показывает: швырнул пятирублевик на стол, кричит: «Чем наши хуже ваших? И звенят, и блестят, и по рукам ходят!» Веселый был старик и довольно деликатный со мной. Ну, засудили его. А еще до суда сыскной полиции начальник взял меня к себе на службу. «Всё равно, — говорит, — тебе». Положим — не всё равно: в этой должности очень нелегко себя сохранить. Вор — не глуп, на то он и вор, а себя — всякому человеку жалко. Приходилось и ворам уважение оказывать. Да и вообще... глядишь, как люди друг на друга лезут, подобно слепым щенкам, и думаешь: «А — ну вас, делайте что хотите, только я с вами в душе моей не согласен»... После того взяли меня в солдаты, около года в пехоте служил да два при госпитале писарьком...

Курнашов внезапно оживился, торопливо закурил папиросу и, дергая левым плечом, точно стараясь стряхнуть с него что-то, спросил прищурившись и тихонько:

— Вы смерти боитесь?

— Нет.

— Я тоже до госпиталя не думал про нее — ни про нее, ни про бога. В церковь, конечно, ходил, а бога не чувствовал, без страха жил. Знаю — есть бог, а — не

боюсь. В душе-то у меня не было его. Ну, а тут, в госпитале, смерть у каждого на часах стоит; сегодня — одного долой, завтра — другого, а то и двух, трех сразу. Бьет людей, как дамка простые шашки.

Он закачался, крепко потирая ладонями острые колени, и опять трудно улыбнулся.

— Был там фершал, Личков, крещеный еврей, умница и деловик, вдовый, а у него — племянница жила, русская, дочь жениной сестры...

Он надолго замолчал, разглядывая свои сапоги.

— Ну — влюбились вы, — подсказал я.

— Это — глупости, влюбляться, — искоса взглянув на меня, сказал он почти строго, — это баловство со скуки. Я — простой человек, разумный, не барин, не шалыган какой-нибудь. Вовсе я не влюблялся, а тут выходило так: вот — человек, хотя, скажем, и солдат, вот — нет человека. Сегодня одного снесут, завтра — другого, барабан трещит, — ух, не любил я этого барабанного бою! Как будто по моей спине палками щекотят. Стало это беспокоить меня: позвольте, думаю, в чем же суть? И даже по ночам не сплю, — боязно, мерещится, что скоро все перемрут и я тоже. Привык я к этим мыслям до безобразия; бывало, узнаю, что какой-нибудь солдат отходит, иду глядеть. Личков — смеется: «Что, — говорит, — учишься? Учись, — говорит, — этот экзамен и тебе неизбежно сдавать». Он привык, тыщи на тот свет отправил, а мне жутко. Не знаю даже, что и делать, — душу тянет из меня.

— Тут я сошелся с девицей этой, с племянницей его, — вздохнув, продолжал надзиратель, нелепо вытянул правую руку и указал пальцем в землю. — Так, знаете, слово за слово — то да се, а потом говорю: «Давай станем жить потихоньку, кончу службу — женюсь». Она сначала не соглашалась, потом согласилась. Первое время, когда всё в новинку, мне даже веселее стало, мысли отступились, и страх прошел. Интерес явился, как будто в прятки играешь, и Личкова боязно, и чтобы другие не заметили. Она — шитьем занималась.

— Красивая?

— Ничего. Беленькая. Худощавая, а правильная, и груди и всё, хотя бабья краса у всех одинакова, так



я понимаю. Одна — постарше, другая — помоложе, а лучше всех — которую положишь, — говорится. Ну, вот... Заберусь я, бывало, в конурку к ней, когда Личков на дежурстве, побалуемся, устанем, — поговорим. Иной раз заснет она, я гляжу и думаю: «Вот и ей помереть, может, и не проснется — помрет!» Послушаю, бьется ли сердце, разбуджу и говорю шутя: «Ты, Танька, смерти боишься?» Не любила она этого. «Ну ее», — говорит. «Нет, погоди, — говорю, — вот — жива ты, а завтра — ударит тебя неизвестная болезнь и — каюк!» Она сердится. А я того пуще донимаю ее, — не люблю я бабьего разума, птичий разум. Приятно возмущать ихние мысли. До того доводил, что она даже унывала и плакала; жалуется: «Что это, — говорит, — ты — какой, словно сторож с кладбища, никакого разговора не знаешь, кроме про покойников». А то — рассердится, шепчет: «Пусти меня, я уйду!» Ну, уйти — некуда, ночь...

— Кончивши службу, я поступил в полицию — паспортистом, устроил меня Личков, он у полицеймейстера любимец был — банки ставил ему каждую субботу. С Татьяной я повенчался, как и обещал, Личков три сотни дал за ней. Сняли светленький чердачок, живем — ничего, дружно, детей родить я ей воспретил до поры до времени. Хозяйствует она аккуратно, умненько, но — вижу, задумываться стала не к месту. Шьет, шьет да вдруг на коленки шитье опустит и оцепенела. «О чем?» — спрашиваю. «Так», — говорит. И ночью тоже, замрет, уставит глаза в потолок и лежит, не дышит. Я к ней — со своим, а она «подожди», — говорит. Ну, это мне скучно. «Ах ты, птица», — думаю. И шучу, играю: «Что, — говорю, — боишься?» Молчит.

Нахмутив брови, Курнашов заговорил строго и внушительно:

— «Ежели ты мне жена, то по закону не имеешь права скрываться от меня, а обязана говорить мне всё, начистоту!» — «Да я, — говорит, — не знаю, что со мной, а только — тоска приступает. Мне бы дитя надо!» Я говорю: «С тобой муж, а больше ничего не полагается; насчет ребенка — подожди!» Ребенок — это пятнадцать лет лишнего расхода, раньше от ребенка ничего не

получишь. «А ты мне скажи — о чем думаешь, ты не вилай!» Не говорит.

— Конечно, это больше в шутку я. Забавно было, как она боится меня. Сам-то я уж не очень вдавался в эти мысли, ну — умрешь, так умрешь! И святые смерти не обходят. К тому же мысли эти я в нее переместил. Однако как сам я вынес страх, то, конечно, хочется, чтобы и другой боялся. Вскоре она ошиблась, — а может, и нарочно — забеременела. Ну что ж, думаю: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Подтруниваю над ней: «Гляди, — говорю, — умрет ребенок-то в тебе, и будешь ты ходить сама живая, а в животе — покойник!» Ребенка она скинула на шестом месяце.

— Любил я бить ее, грешен. Бывало, избыю, истерзаю, лежит она на полу али на кровати, платьишко изодрано, в дырках, просвечивает тело ее живенькое...

Курнашов заговорил тише, как бы воркуя:

— Ножки голенькие видно, ласковые — даже вспомнить сладко. Женщину бить — это, сударь мой, большущее удовольствие! И не столько бить, сколько жалеть избитую, — это, знаете, ох как за сердце берет! Лежит она эдакая обиженная, замученная, а я вспоминаю, как меня обижали да мучили в разное время, — плачет сердце. Ей-богу... плакал ведь я над ней, — что вы думаете? — как маленький плакал! Да. Ноги ее глажу, бывало, целовать начну, утешаю всяко, даже прощения просил сколько раз. «Ты, — говорю, — прости меня, ведь меня тоже мучили и били, и всё». Это она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. И вижу — всё хуже да хуже задумывается, а глаза блестят эдак... Ничего не обнаруживает, а я понимаю, что стала она гордиться своей жизнью, то есть тем, что бью ее и тревожу. Как мальчишка этот, — я ее по щеке, а она мне в глаза смотрит. «Вот как? — думаю. — Ну, этим меня не одолеешь, я не хуже других... Эту игру я знаю!»

Пошмыгав носом, поморщась, Курнашов торопливо закончил:

— Однако заигрались мы с ней вплоть донельзя. Весною, в апреле, проснулся я, чуть солнышко взошло, утро веселое, — а ее нет рядом со мною. Сразу понял я, что это нехорошо, вскочил, бегу на чердак, а она висит,

заслонив собой слуховое окно, и пальцами на ногах шевелит. Обомлел я, ни крикнуть, ни двинуться, стою и гляжу, как она крутится.

Он замолчал, вынул папиросу, дважды глухо кашлянул.

— Ну, и что же? — спросил я с трудом.

— Что же... конечно: признаю себя виновным...

Мне захотелось ударить его кулаком по маленькой узколобой головке, но его копченое лицо было до такой степени искажено болью, так кричало, что мне снова показалось — вот сейчас этот человек безумно завоет, завизжит и покатится по земле, как собака, накормленная иголками.

Я отвернулся, а он грубо сказал:

— Вот и весь мой праздник... всё тут! Жил я с ней двадцать месяцев и девять ден. А после ее — еще дальше отшибло меня ото всего. Ну, вот...

Курнашов встал, оглянулся, как чужой, и пошел к воротам, где серые фигуры арестантов сбились в тесной куче.

Ночью, долго спустя после поверки, он неслышно очутился у двери моей камеры и спросил в глазок:

— Не спите?

— Нет.

— Чего же?

— Думаю.

Он пошаркал ногами и, невидимый мне, сказал в глазок, как в рупор:

— Вот вы всё внушаете — учиться надо, а чему у людей научишься? Не согласен я с вами, ни в чем не согласен...

Исчез.

Я долго слушал — не родится ли какой-либо звук, мне почему-то думалось, что сейчас хлопнет выстрел револьвера. Медленно тянулись минуты, темные и тихие, как монашенки. Потом я вспомнил слова Аристотеля:

«Кто не может жить в обществе, тот не составляет никакой части государства и есть или зверь, или бог».

Сквозь грязные стекла окна трепетно-яркие звезды жгутся тусклыми и круглыми, как фальшивые жемчужины. Я встал на подоконник и начал протирать стекла рукавом рубахи.

## БАРЫШНЯ И ДУРАК

РАССКАЗ

Стертые камни панелей покрыты холодной слизью; над улицей колышется мокрая кисея тумана, а сквозь нее лениво сочится полуснег, полудождь — какой-то грязноватый пепел. Голубые шары фонарей освещают темный измятый снег, сырые стены домов, слезные потоки на тусклых стеклах окон. Столбы фонарей не видны в тумане, круглые шары огня скучно и непонятно висят в воздухе, насыщенном запахами дыма и конского навоза.

Барышние грустно почти до слез, до тихого отчаяния. Она трижды прошла взад и вперед всю улицу от моста до площади, — никто из мужчин не пригласил ее, сегодня все бегут в туман, точно желая скорее спрятаться или боясь опоздать куда-то. А уже скоро полночь и пора домой, где ждет ее брат, сердитый пьяница и бездельник. Сам он всегда возится с проститутками, но сестру презирает за ее ремесло.

Медленно передвигая ноги, боясь, чтоб не свалились растоптанные галоши, барышня идет и щурится, глядя на огни в воздухе, — когда прищурисься, голубые шары фонарей покрываются серебряными иглами. А если на ресницах осядут капельки тумана — эти иглы горят радужно.

Из переулка, прямо на нее, вышел мужчина и остановился под фонарем, оглядываясь, как заплутавшийся. На нем широкая шляпа, мокрые усы обвисли, закрыл рот. Он похож на военного. Барышня улыбнулась ему, он, приподняв шляпу, тоже ответил улыбкой.

— Пойдете? — спросила барышня.

— Если позволите, — глухо сказал он.

— Почему же нет?

Он наклонил к ней костлявое лицо, тихо спросив:

— А куда?

— Куда хотите.

— Вы далеко живете?

— Да, очень. Ко мне — нельзя!

— Тогда — как же?

— А тут, близко, есть такие комнаты, — сказала барышня и, шагнув вперед, поскользнулась.

— Осторожно, — тихонько воскликнул он, подхватив ее под руку, и тихонько, неловко повел.

Барышня поглядела на него из-под намокшей шляпы опасливо; она знала мужчин, — в этом чувствовалось что-то неясное, непривычное ей: он говорит вежливо, даже ласково, и смотрит в лицо ее как-то особенно, словно влюбленный. Глаза у него серые, усталые и кроткие, как у комнатной собаки. В нем есть что-то смешное.

«За сорок», — подумала барышня и деловито сказала:

— Я дешевле трех не беру!

— О! — воскликнул он, шевеля усами. — Сколько хотите, сколько угодно.

Это возбудило у барышни чувство тревоги.

«Распутник, должно быть», — подумала она и даже вздрогнула от брезгливости.

Улица, задушенная туманом, бесконечно плыла в даль. Миновали площадь, пронесся одноглазый автомобиль, проехал извозчик, среди улицы черным столбом стоял полицейский.

Было тихо, и в этой мокрой тишине — точно лилась вода по водосточным трубам — звучал глуховатый, воющий голос.

«Жалуетса, что ли? — соображала барышня, вслушиваясь в звук и не улавливая связи слов. — Врет, наверно...»

Остановились у высоких ворот пред серым домом без огней в окнах; барышня толкнула рукою калитку, в темной дыре под воротами кто-то завозился, закашлял и сказал хрипло:

— Черти носят...

— Трущоба, — пробормотал мужчина, выпустив руку барышни и вытягивая ее вперед, но тотчас споткнулся и схватил барышню за плечо.

— Не надо падать,— сердито посоветовала она, ускользнув из-под его руки, открыла дверь в стене, под ноги ей легла полоса серого света, она нерешительно потопталась на нем и, сказав: «Ну?» — вошла в узкий коридор с дверями направо и налево, как в тюрьме.

Из серой стены выпрыгнул лысый старичок в очках, с папиросой, воткнутой в грязную бороду, уставился на них стеклянными глазами, вытирая ладони рук о ляжки.

— В рубль? — спросила барышня.

— Что?

— Комнату?

— Получше,— тихо сказал мужчина.

Тогда старик лягнул ногою дверь сзади себя и проговорил детским голосом:

— Три целковых. Что подать — лимонаду, чаю?

— Чаю,— приказала барышня.

Вспыхнул холодный белый огонь, осветив маленькую комнату с диваном, двумя креслами, столом, широкой кроватью у стены и умывальником.

— Грязновато,— сказал мужчина, сняв шляпу.

— Дорожке — нет,— отозвалась барышня. С этим человеком не хотелось говорить, и в то же время он возбуждал желание сказать ему что-нибудь обидное.

Вот он снимает мохнатое пальто, украшенное серебряным инеем тумана, и бормочет, раздражая:

— Здесь пахнет старым одеялом и бараниной...

Поправляет длинными пальцами слежавшиеся под шляпой волосы. Он — худой, угловатый, лицо унылое. Но одет чисто — в темно-синюю пару дорогого сукна, в хорошие ботинки с гамашами, а в галстухе — булавка с бирюзой.

«Какой-нибудь по электричеству»,— сообразила барышня, усевшись в кресло, осматривая мужчину.

— Вы по электричеству служите?

Он круто обернулся к ней.

— Почему вы так думаете?

— Догадываюсь.

— Нет, я по другой части...

Старичок внес два стакана чая, положил на стол локот от двери.

— Больше ничего?

Барышня, не ответив старику, взяла стакан чая в ладони.

— Холодно!

— Да, холодно, — слишком торопливо повторил мужчина, садясь в продавленное кресло и потирая колени. — И главное, — внутри холодно, в душе холодно и пусто. Даже как будто и вовсе нет души, — это бывает с вами?

— Бывает, отчего же нет? — солидно отозвалась барышня.

— Вы боитесь этого?

Она посмотрела на него исподлобья, не отвечая. Мужчина улыбался, и это было неприятно: говорит грустно, а сам улыбается. Всё шло не так, не обычно. Другой бы сел рядом, обнял и весело заговорил о разных пакостях. А этот сидит где-то далеко, не обращая внимания на даму, тянет слово за словом, как полусонный; время идет медленно и скучно. Улыбается он какой-то раздавленной улыбкой, — это не улыбка веселого человека, который собрался пошалить, и не улыбка привычного распутника, презирающего женщину.

Выпив стакан горячего чая, барышня спросила, перебив его речь:

— Ну, что же, будем раздеваться?

Он вскинул голову; смешно, с явным удивлением посмотрел на нее и вдруг задержался, ощупывая карманы, торопливо говоря:

— Нет... Извините меня! Я ведь хотел только побеседовать. Иногда, знаете, ужасно хочется поговорить с незнакомым человеком. Потому что знакомые, видите ли, — как это вам сказать? Всё ужасно опустошено. Неужели — все так, а? У всех эта пустота в душе? Ужасная жизнь!

— Ужа, ужи, — вполголоса повторила барышня, сдвигая брови. — Почему вы такой скушный?

— Да, я, должно быть, очень скучный.

Ей стало немножко жаль этого чудака.

— Вы — женатый?

— Нет...

— Да? Конечно, бывают и веселые. Но у всякого свой характер — верно?

— Иногда — нестерпимо хочется чего-то...

— Чего, котик?

— Чего-то небывалого, особенного.

Барышня подозрительно отодвинулась, а он, хрустнув пальцами, сказал:

— Всё так знакомо...

И опустил голову.

«Вынет пистолет да и...» — вздрогнув, подумала барышня и тотчас, сделав ласковое лицо, кокетливо прищурилась, говоря:

— Разве я вам не нравлюсь?

— О нет, — сказал он вполголоса, не поднимая головы. — Нет, не в этом дело!

Подвинулся к ней, сжав кулак до того крепко, что побелела кожа на суставах пальцев, виновато выговаривая:

— Видите ли, — поймите меня! — я хотел просто поговорить... с человеком...

Усмехнувшись, он разжал кулак. Барышня спросила:

— Это мне?

И двумя пальцами взяла с ладони красную бумажку.

— Пожалуйста! Вы извините меня! Я — уйду.

Барышня расправила билет, подергала его за углы и великодушно предложила:

— А то — останьтесь?

Но он, уже одетый, сунул ей руку:

— Прощайте!

Барышня ласково кивнула головой:

— До свиданья, котик!

Сунув ноги в галоши, он с треском растворил дверь, обернулся и, заглядывая в комнату, сказал:

— Вы — не беспокойтесь, я сам заплачу старику...

— Ф-фу, — вздохнула барышня, услышав, как хлопнула наружная дверь.

Потом, посмотрев бумажку на свет лампы, сказала вполголоса:

— Какой дурак!..

И начала, не торопясь, одеваться, напевая:

Что он ходит за мной,  
Всюду ищет м-меня?



## СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕМЕЙНЫХ ДРАМ

ТЕМА ДЛЯ РОМАНА

Интересную историю рассказал мне однажды, весенним вечером, мой добрый знакомый Модест Кумарин, человек солидный и благоразумный.

Пришел он ко мне, взволнованно выкурил три папиросы одну за другою, поговорил — очень умно и едко — о текущих пустяках и вдруг, усевшись в темный угол комнаты, точно прячась, смущенно сказал:

— А у меня, знаете, неприятность... Я выкинул преглупую штуку...

— Это не похоже на вас, — любезно сказал я.

— Ну да, не похоже, а однако...

— В чем же дело?

— Да — женщины, знаете. Романтизм, истерия и вообще, всё это...

Он печально махнул рукою, глядя в окно, на яблоню в цвету, подобную сугробу снега, на красноватый диск луны, обломанный с одного края, неподвижный в голубовато-серебряной мгле вечера.

Он и женщины? Мне почудилось нечто юмористическое. Он был женат и даже — весьма. Его жена — врач, дородная женщина купеческой семьи, спокойная и умная, как слон. Сам он — рационалист, точно китаец, непоколебимо уравновешен и более двадцати лет читает «Русские ведомости».

— Вы ничего не замечали за мною последнее время? — спросил он обиженно, как показалось мне.

— Курите вы много...

— Вот. И вообще — в беспорядке. Дело в том, что я влюбился.

Я промолчал, не зная — поздравить его или выразить сожаление?

— Это странно? — спросил он, подождав.

— Почему же? Бывает.

Кумахин потрогал себя за бороду, поправил усы и медленно провел рукой по сухощавому лицу, как бы желая стереть с него выражение искренней горечи. Его сутулая, но крепкая фигура в раме окна, освещенного тусклою луной, казалась тенью своей тени, распростертой на полу. Он говорил тоном человека, который чувствует себя несправедливо обиженным.

— Я прожил двенадцать лет в прочном мире с женой. У нас прекрасные отношения, дети... но я не могу рассказать жене об этом — об этой глупости... Да, я и не понимаю ничего! Никогда не испытывал влечения к другой женщине, и вот — извольте! Я должен рассказать это вам, друг мой. Мне необходимо проверить себя...

— Готов слушать, — сказал я, подчиняясь закону, по силе которого все мы считаем друг друга самым удобным местом свалки душевного мусора.

Кумахин снова опустился на стул, в темном углу, и оттуда загудел его негромкий, глуховатый голос:

— Хороший роман не нуждается в предисловии, дурной — не заслуживает его. Я начну без предисловия, — предупредил он, и тотчас же, как это почти всегда бывает у рассказчиков, которые заботятся о точности, начал с предисловия.

— Сорок лет прожито мной, а обращаться с женщинами я не умею, тогда как сказано: женщина и сигара требуют умелого обращения. Это, конечно, шутка, и вовсе не в моем духе. У меня нет свободы отношения к женщине — не той свободы, которой в совершенстве обладают нахалы, а другой, которую дает сознание равенства. У меня нет этого сознания, я всегда чувствую себя зависимым от женщины, виноватым перед ней в чем-то. Одна бойкая дама сказала мне: «Вы слишком джентльмен с женщинами, это подозрительно!» Фраза двусмысленная, но в ней есть какая-то правда, — к сожалению.

Он встал и, осторожно шагая по комнате, прищурив близорукие глаза, заговорил более спокойно:

— Это началось весной прошлого года; не помню, при каких условиях, но как-то внезапно я заметил, что Елена Марковна, — вы знаете, о ком я говорю, — инте-

ресует меня более, чем следовало бы. При встречах с ней я начал испытывать удовольствие, раньше незнакомое мне. Ее легкомысленные речи, умение всюду видеть смешное и даже ее общественный нигилизм — всё это стало волновать меня. Я не мог не задуматься над этим, потому что она вообще не нравилась мне, я знал ее еще девушкой, и когда Иван женился на ней, — я был очень огорчен. Мы с ним друзья со школьной скамьи, как вам известно; я очень высоко ценю его талант, влюблен в это мягкое, милое сердце и немножко завидую его легкому, детскому отношению к жизни. Мне казалось, что, выбирая подругой веселую капризную девушку, развращенную эстетизмом нигилистов, он подвергает себя опасности пережить драму. Эта опасность казалась мне неизбежной, я даже говорил ему что-то по этому поводу, а он, конечно, смеялся и отвечал мне дерзостями, вроде того, что: «Благоразумие — добродетель нищих духом», и доказывал, что «если живешь один раз, — любить надо тринадцать». Почему именно тринадцать? У него — всё неожиданно... Так вот... Представьте же себе мое положение: я уважаю Ивана и ни в каком случае не хотел бы вводить в его жизнь разные волнения, тревоги и прочее; наоборот, — я считаю своей обязанностью отстранять от него всё подобное и, не хвастаясь, скажу, несколько раз успешно достигал этой цели, с удовольствием исполняя долг друга. И вдруг я с ужасом чувствую, что Елена Марковна всё более соблазняет меня, возбуждая эмоции самого низкого тона. Вы знаете, — я человек сравнительно уравновешенный, привык считаться с собой, не люблю необдуманных шагов и ничего внезапного, неясного. А тут — сидишь с женой лучшего друга и, слушая ее болтовню, думаешь только о том, что хорошо бы поцеловать ее. Даже гимназистом я не испытывал ничего подобного, никогда не таял перед барышнями. Приходишь домой — тебя доверчиво встречает жена, человек, уважаемый тобой, умевший создать для тебя приятную и приятную жизнь. Неловко смотреть ей в глаза, чувствуешь себя жуликом, который крадет у нее ее собственность, необходимое для нее, — я говорю о своем чувстве любви к жене...

— Понимаю,— сказал я, очень восхищенный той уверенностью, с которой он признал свою любовь необходимой для его жены.

— Да,— продолжал Кумахин, раскуривая папиросу.— Разумеется, я чувствую, что у меня нет ничего серьезного в отношении к Елене, а только голое влечение к женщине, которая не прочь пошалить. Что она — не прочь, это было ясно для меня, слишком многое определенно убеждало в ее готовности на поступок, который унизил бы меня в моих глазах, внес бы в жизнь Ивана и моей жены идиотскую путаницу... Да мало ли что могло быть? Вы знаете, как часто последнюю точку в романе ставят пулей...

Почесав висок, Кумахин швырнул папиросу в окно и сморщился, точно у него зуб заныл.

— Но роман — не здесь. Он только начинается. Вы, конечно, понимаете, что, чувствуя себя влюбленным в другую женщину, я не мог позволить себе пользоваться ласками жены, отклоняя их под разными предлогами, а природа безжалостно настаивала на удовлетворении ее требований, и я переживал постыдные физические муки, испытывая в то же время к себе самому величайшее моральное отвращение. В этом состоянии нервной расшатанности, когда задерживающие центры становятся почти бессильны, я и совершил глупость, которая — прямо скажу — опрокинула меня. Суть в том, что однажды, уходя от Елены, сильно возбужденный ею, я не решился идти домой,— уважение к жене не позволяло этого. И вот, встретив знакомого,— вы знаете его: Моногласов, служит в сенате, грубый семинар, циник и, в сущности, неприятная личность,— так вот я с ним и отправился в загородный сад, чёрт его возьми...

— Ну, я немножко выпил, это было необходимо в моем состоянии, он смешно болтал, а потом мы очутились в отдельном кабинете и с нами две дамы. Одна из них — наивнейшее существо, лет 20-ти, немка... удивительно глупая. Я не верил в сентиментализм немки, теперь принужден поверить. Н-ну-с, случилось, что после двенадцати лет вполне приличной и дружеской жизни с честной женщиной...

— На этом и нужно было кончить... Но, должно быть, это обидная правда, что я слишком стараюсь быть джентльменом. Дело в том, что девица эта, такая милая, еще неспорченная и — как это сказать? — физически приятная, — оказала мне услугу, на которую я, разумеется, не рассчитывал, но которая сразу стала очевидной для меня, — она, ее ласки послужили противоядием обаянию Елены Марковны, — понимаете? Я с радостью заметил, что после этого печального случая мое отношение к жене Ивана приняло более спокойный характер, хотя сознание вины перед моей женой весьма тяготило меня, как это разумеется само собой. Но все-таки я был рад, и в радости мне захотелось поблагодарить немку за ее услугу. Собственно говоря, тут действовало не одно только чувство благодарности, но и желание порядочного человека загладить свою вину. Я — не распутник, женщина для меня не игрушка. Я понимаю, что заплатить 25 рублей за ласку — это глупо. Мне трудно было простить себе мой поступок. Я придумал сделать этой немке подарок, — купил кольцо с опалом в бриллиантах и отвез ей.

Он засмеялся — не очень весело.

— Это было глупо, но страшно поразило ее. Видели бы вы, как она была тронута, несчастное существо! Она смотрела на меня и кольцо с таким изумлением, с такой благодарностью, что даже и я смутился. Горько знать, что вещь в сто рублей ценой может обрадовать человека до слез. «Но этого никогда не делают, — воскликнула она с паивной жестокостью. — Дают деньги и уходят обыкновенно, навсегда, а подарить и так, без ничего, — это же не бывает!» Ее всего более поражало то, что я не желал ее ласк, и она усиленно добивалась, — почему? «Я вам не понравилась, да? Почему? Ведь я такая молоденькая!» Это была удивительная сцена, батенька мой!

— Она так жалобно убеждала меня в том, что молоденькая, чистенькая и только недавно занимается своим непохвальным ремеслом. «Послушайте, — говорила она, — вы так обрадовали меня, вы такой благодарный, точно из синемаатографа». Я смеялся. Но, сознаюсь, мне было приятно, — никто никогда не благо-

дарил меня так горячо, так искренно. Было невозможно убедить ее словами в том, что она нравится мне. Я ушел от нее в сознании, что не исправил, а еще более усугубил мою вину перед самим собой. Трогательна эта девица, господь с ней!..

— Вторая встреча с ней еще более отодвинула меня от Елены и физически и морально. Не говоря о том, что мои вожделения, будучи удовлетворены, притупились, теперь я уже и нравственно не мог думать о возможности романа с Еленой Марковной, — настолько-то я уважаю ее, чтобы не касаться ее после проститутки. И естественно, что чувство благодарности к немке, которая отвела меня от проступка против моего друга, жены моей и себя самого, от нелепой семейной драмы и даже двух драм, — естественно, нахожу я, что благодарность к немке еще более возросла у меня, — вы понимаете?

— Да, — сказал я, — понимаю!

Я был в восторге. Нет, — как интересен и умен человек, когда он лжет!

— Вы в третий раз пошли к этой девице? — спросил я.

— Третий раз она сама повела меня к себе, — поправил Модест. — Но, не скрою, до этого я раза два, три посылал ей конфеты с посыльным. Потом я встретил ее на улице, она выходила из кондитерской. «Вы! — сказала она вполголоса и оглядываясь. — Как это хорошо! Представьте, я знала, что сегодня увижу вас». Она сообщила мне, что празднует день своего рождения и поэтому я непременно должен быть у нее. Вечер у меня был занят. «А сейчас? — предложила она. — Ах, да, вам неудобно ехать со мной, вас могут увидеть знакомые, да? Но мы поедем на разных извозчиках». Я снова был тронут; этот потерянный ребенок заботится о моей репутации! Тогда я послал ко всем чертям и знакомых и репутацию, — это было мальчишество, но ведь человек же она! Не правда ли?

— Разумеется, — сказал я.

— И, в сущности, славный человек. Я поехал к ней.

— На одном извозчике?

— Нет, на разных. А что?

— Это — осторожно.

— Что ж делать? Уж очень все они, эти, крикливо одеваются, а у меня, вы знаете, полгорода знакомых.

Закурив, он продолжал, не торопясь, видимо, озабоченный тем, чтобы передать происшедшее возможно точнее.

— Мы очень мило провели с ней часа два за чаем и беседой, но вдруг,— ах, истеричны все они! — вдруг, знаете, она бросается ко мне на колени и просит: «Милый, возьмите меня на содержание!» Я опешил от испуга, а она — убеждает: «Это будет стоить вам недорого, рублей полтора в месяц,— хорошо?» Подбираю возражения и слышу слова ее, до ужаса простые:

«Я не хочу жить так, я не могу, я хочу жить только с одним мужчиной. Ведь даже кошке и собаке не всё равно, кто дотрагивается до них, а я — человек, я должна иметь право выбирать свои симпатии! Я никогда не привыкну к этой жизни! За всё время, за два с лишком года, я встретила только одного симпатичного,— вас, а ведь я знаю уже сотню мужчин! Вы подумайте, почувствуйте себя на минутку женщиной,— это ужасно! Пожалейте меня немножко, чуть-чуть, ах, даю вам честное слово, что это будет стоить вам дешево!»

— Может быть, она говорила не буквально так, как я передаю, но — смысл совершенно точен. Говорит и плачет, ее слезы капают на грудь мне, на руки и, знаете, смывают всё то разумное, что я хотел и должен был сказать ей.

Успокаивая ее, я, кажется, дал ей какие-то обещания, конечно, очень неопределенные и лишь для того, чтоб успокоить. Я был взволнован, как был бы взволнован каждый порядочный человек на моем месте. Проституция — это действительно проклятый вопрос, из тех, решить которые мы, очевидно, не в состоянии. О нем думают меньше всего, но когда он встает вот так, как встал передо мной,— чувствуешь себя совершенным идиотом! А она, эта девица, всё говорит, и красноречие ее убивает меня. «Вы, говорит, первый отнеслись ко мне по-человечески, и я стану носить кольцо ваше не на руке, а на груди, как носят крест, как носят подарок жениха. Ведь вы немножко уже любите меня — кто же

делает подарки, не любя! И вы прислали мне конфеты. Не любя — не делают этого!»

— Опа была обаятельна в своей неуверенной радости, в робком ожидании моего ответа. Сознаюсь, это был хороший момент и для меня, — если забыть необходимые соображения. Она умиляла меня своей искренностью. И тут я рассказал ей о том, какую, в сущности, благостную роль сыграла она, спасая меня от некрасивого поступка, спасая от развала две семьи. Говорил я об этом долго, горячо, с увлечением. Я был вполне искренен. Кажется, она не много поняла или поняла превратно, — она вскочила с колен моих и, хлопая в ладоши, закричала: «Вот — видите! Видите — и я на что-то гожусь! Честное слово, я недурная девушка, вам будет хорошо со мной. И — дешево, дешево! Уж я позабочусь об этом. Милый мой, дорогой мой, мне так хочется иметь только одного мужчину». Ах, боже мой...

Он ткнулся в угол и замолчал, отдыхая. Над деревьями сада тяжело повисла скучная луна. В ее мутно-желтом диске четко рисовалась сухая ветка в форме ижицы. Влево от луны лениво курилась фабричная труба — огромная сигара. Лунный свет покрыл восковые цветы яблонь зеленоватой окисью меди. Глухо, добродушным зверем рычал город, источая запахи гари, дыма, пыли.

— Это было всего три недели тому назад, — мое последнее свидание с ней. Я собирался написать ей, но — что скажешь? И потом все-таки, знаете, опасно дать письмо в такие руки... даже напечатанное на машинке и без подписи. Хотя — почему без подписи? Я не сказал ей своего имени. Послать денег? Неуместно и обидно. Так и раздумывал эти три недели, а сегодня — вот...

Он вынул из внутреннего кармана пиджака кусок газеты, расправил его и попробовал читать при свете луны.

— Зажечь огонь? — предложил я.

— Нет, не надо! Словом, она вчера пробовала отравиться и теперь лежит в лечебнице...

Положив газету на подоконник, он спросил:

— Что же мне делать? Пойти к ней, да?

— Нет, не надо, — решительно повторил я его слова.

— Я тоже думаю, а с другой стороны... она, несомнен-



но, оказала мне большую услугу, а? Если рассказать всё это жене, — как вы думаете?

— Не надо.

— Пожалуй, вы правы! И Ивану не говорить?

— Да.

— Но, согласитесь, невозможно же оставить эту девочку без помощи! Не возьметесь ли вы помочь? Мне кажется, это всего более в вашем характере, а? Я был бы очень благодарен. В газете сказано, что ее здоровье вне опасности. Но — помочь ей необходимо. Вы согласны?

Я согласился.

Что же делать? Любовь к ближнему, вероятно, обязывает служить ему и в том случае, если он немножко напакостит, — ведь пакостит он тоже ближнему своему.

## ИЗ ДНЕВНИКА

В мире живут две мысли: одна, смело глядя во тьму загадок жизни, стремится разгадать их, другая признает тайны необъяснимыми и, в страхе пред ними, обоготворяет их.

Для одной — нет непознаваемого, существует только непознанное, другая — верит, что мир непознаваем навсегда.

Первая идет сквозь хаос явлений бытия, бесстрашно касаясь всего на трудном пути своем и всё оживляя энергией своею, даже немые камни заставляет она красноречиво рассказывать о начале жизни; вторая — пугливо бросается из стороны в сторону, безуспешно пытаясь найти оправдание своего бытия.

— Существою ли я? — спрашивает она сама себя, тогда как первая говорит:

— Я — действую!

Первая нередко сама отдает себя мукам сомнений в силе своей, но холод скептицизма только оздоравливает ее, и, еще более сильная, она снова видит цель бытия в деянии; вторая — всегда живет в страхе пред собою, ей кажется, что, кроме нее, есть нечто высшее — начало, родственное ей, но — враждебное и грозно охраняющее тайну своего бытия.

Цель первой — бесконечное движение от одной истины к следующей и сквозь все — к последней, какова бы она ни была; цель второй — найти в мире вечного движения, вечных колебаний мертвую точку и, утвердив на ней непререкаемый догмат, сковать дух исследования и критики железными оковами внушения.

Одна — философствует из любви к мудрости, будучи мужественно уверена в силе своей; другая — размышляет со страха, в чаянии победить страх.

Они обе свободны, одна — как всякая энергия, другая — как бездомная собака, она визжит пред каждой дверью, за которой чувствуется тепло, покой и дешёвенький уют.

Чаще всего эта вторая мысль пресмыкается на папертях храмов, умоляя о милостыне внимания к ней — силу, созданную ее же страхом.

Это она, разлагаясь, отравляет землю ядами метафизики и мистики, первая же мысль на пути своем украшает мир дарами искусства и науки.

# III

---

**СТИХИ, НАБРОСКИ  
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА**



## «...НА РЕКЕ РАЗДАЛСЯ...»

...На реке раздался равномерный плеск весел — Нина устало подняла отуманенную голову. Зазвучал веселый смех, и вода тоже как будто смеялась.

Брезгливо вздрогнув, Нина бросила книгу на стол и закрыла глаза — ей стало физически неловко, тело ее бесстыдно обнял липкий страх. Страницы книги — яркие картины безумий страсти — сначала дышали хмельным запахом тела, охваченного горячим желанием любви, и это увлекало Нину, вызывая в ней жажду познать любовь с тою жуткой, стихийной силой, о которой каждым словом говорила книга.

Но дальше страсть, чем-то отравленная, теряла крылья здоровой красоты и разбито, противно падала на плоскость извращенной похоти. Тело человека судорожно извивалось в корчах ненасытности, в отвратительных безумствах разнузданного инстинкта. Лишенный энергии, бессильный удовлетворить себя человек, алчно опьяняясь дикой игрой развращенного воображения, всё ниже опускался в темную трясиину большого разврата и в муках бессилия, пресмыкаясь у источника наслаждений, стонал и выл, как изувеченное животное.

Воображение, разбуженное пряным ядом книги, назойливо рисовало картины мучений тела, выпукло написанные умелой рукой автора, тоже, видимо, зараженного проказой, которую он так безнадежно и тонко рисовал.

Женщина потянулась в кресле, желая порвать и сбросить с тела своего клейкие путы нездоровой истомы, отгоняя прочь больные тени рабов, замученных циничной силой бешенства плоти. Усталым жестом подняв

руки, она поправила прическу и выглянула в окно. Пахучий воздух ласково погладил ей лицо.

«Денисов прав, — подумала она, — существуют только мужчина и женщина, всё остальное от них и для них... Но — это ужасно...»

Мысль вдруг оборвалась, как паутина, и исчезла в ленивом созерцании. Потом явилась снова.

«Существуют только мужчина и женщина... конечно...»

Нина любила такие изречения, они казались ей круглыми и емкими, легко и просто, как мыльные пузыри воздух, они обнимали жизнь, отражая пестрый смысл разноречивых явлений.

Но думать не хотелось — широкое пространство приятно утомляло глаз, блуждая в нем, мысль таяла и растворялась в тепле пустыни между небом, полем и лесами, пустыня наполняла грудь, желания дремали, и было хорошо, как в постели, когда нисходит сон, нежно обнимая уже безвольное тело.

Усадьба дяди Эраста солидно укрепилась на тупом глинистом мысе реки Пьяной, — с террасы Нине было видно, как за рекою широко, до края неба, размахнулся лес. В его темной мягкой раме застыла холмистая долина, по холмам квадратными сочными мазками лежали черные, зеленые и желтые поля, запутанно тянулись дороги, точно серые веревки. Среди полей к земле темно и плотно прижимались две деревни — Собакина, далеко на краю долины, как будто вышла из лесу и, растерявшись, остановилась, а Вольная лежала в полуверсте от усадьбы на луговом берегу реки. Огибая усадьбу светлой дугой, с двух сторон, река сверкала, извиваясь по долине, и уходила в лес. Против террасы, за узким палисадником, покато сползала к реке и на мост пыльная дорога. Слева ее ограждала стена молодых сосен, с правой стороны под гору спускались кудрявыми рядами яблони фруктового сада, богато осыпанные снегом цветов. На мягком ложе серой пыли, на яблонях и соснах недвижно лежали лучи предзакатного солнца. Рдел и таял жаркий безветренный день, в чуткой тишине звуки вырастали кругло и полно, исчезали медленно, сами себя слушая и любясь собою.

В долине, на дорогах и в деревне темно и устало копошились люди, но они казались лишними в спокойной гармонии сочных красок вечера. Тишина пела крепкими запахами яблонь, смолы и нагретой земли. Вечер шел из леса по холмам, точно юноша, тихий и влюбленный, он ласкал землю сумраком задумчиво ласкающего взгляда, и, казалось, вся земля подвигается встречу ему.

Сладко кружилась голова, бездумно грезилось, и душа точно омывалась в теплом море красок, запахов и певучих звуков, смягченных далью. Нина приехала сюда два дня тому назад, после трехлетней жизни за границей, утомившей ее, ей теперь нравилось не чувствовать себя. Хотелось и было нужно многое понять, иное позабыть...

...На мосту появился человек, он шел неуклюже, точно темный <ком?> катился по слани моста. Впереди его бежало что-то, собака, видимо. На реке снова засмеялись сильно и мягко.

Хотелось тихо петь песню без слов встречу вечера. Проснулся дядя Эраст, был слышен его влажный, сиповатый голос:

— Что?.. Да... на террасу...

Тонко зазвенело стекло чайной посуды.

По дороге к усадьбе тяжело шагал низенький, коренастый мужик, без шапки, босый. Голова у него была большая, кудлатая, руки длинные, ноги короткие. Он двигал ими по дороге, и пыль вскидывалась почти до колен ему. Впереди его ползла густая тень, в ней бежал поросенок и взвизгивал. Мужик круто наклонил голову, точно рассматривая движения своей тени, в руке он держал длинный прут и порою подхлестывал поросенка ленивым, ненужным движением. Левая рука его казалась лишней, болтаясь с бока, она только увеличивала уродливость тени, расширяя ее.

Нина улыбнулась — мужик был странен и смешон. И непонятно было, кто поднимает пыль — поросенок, ноги мужика или тяжелая тень его?

— Ты здесь, Нина?..

— Смотри, какой мужик...

Эраст Петрович, целуя Нину в лоб, скосил глаза и пренебрежительно заметил:



— Ага... это Котел...

— Как сильно ты надушился...

— Меньше кусают комары. Ходила гулять?

— Нет, читала...

— Мирбо...

Он повертел в руках желтую книжку и, не открыв, положил на стол.

— Ты читал это? — лукаво и смущенно спросила Нина.

— Нет...

Он пододвинул к столу плетеное из прутьев кресло и, усаживаясь, говорил:

— Я, когда лег, читал... Аксакова «Семейную хронику»... хорошая книга — знаешь?

— Да, — ответила она.

Его розовое лицо, немного смятое послеобеденным сном, было озабочено, карие глаза мерцали устало, веки вздрагивали.

Погладив белой холеной рукой седые пышные усы и мягкий круглый подбородок, он взял со стола сливочник, понюхал и спросил:

— Ты любишь запах холодных сливок?

— Не знаю...

— Чудесный запах...

Она чувствовала в нем подавленную тревогу, и весь он был не таков, как раньше, поседел, осанистая стройная фигура сгорбилась, плечи опустились, выцвела красивая, внушительная самоуверенность родовитого барина, которая так нравилась ей в тоне, глазах и жестах дяди. Он стал хуже говорить, раньше речь у него была твердая, плавная, богатая словами, и слова всегда плотно укладывались в звучно-округленные фразы — он говорил, как человек, который ясно видел то, о чем думает. А теперь речь прерывалась, путалась, часто он останавливался, не находя слов, и порой в его речах звучало раздражение, удивлявшее Нину. Ей становилось скучно с ним и было немного жалко его.

«Постарел», — думала она, наблюдая, как вяло двигаются пальцы его рук, разламывая бисквит.

— Когда же мы с тобой побеседуем о делах, Нина? — неожиданно спросил дядя Эраст.

— Когда хочешь, мне всё равно! — ласково ответила она. — Но ведь я ничего не понимаю!

Он странно усмехнулся.

— В наши дни, мой друг, обладая собственностью, нельзя ничего не понимать. Во времена предков — это было возможно, а теперь...

В двери, на фоне мягкого сумрака комнаты, явилась круглая фигура Дуни, вся в розовом.

— Титов пришел! — сказала она.

— Ты бы, Авдотья, отучилась кричать прямо в уши! — заметил Эраст Петрович, сморщив лицо. — Что ему нужно?

— Вас...

— Ну... пусть идет сюда.

— Почему крестьяне так любят розовый цвет? — спросила Нина.

Он выпил чай крупными глотками, подвинул свой стакан и, вытирая усы, заговорил с недоумением или досадой, как показалось племяннице:

— Крестьяне любят... это странно слышать. Я вот живу с ними — сколько? Более двадцати лет... а что они любят — право не знаю... Впрочем — водку любят, это несомненно...

Становилось скучно. А за окном на стволы сосен легли багровые пятна, цветы яблонь зарделись румянцем и на реке дрожали алые отсветы заката.

Настроение дяди не сливалось с общим тоном вечера и мешало Нине, заражая ее унынием.

Подойдя к нему, она села на ручку кресла и, обняв его шею одной рукой, другою погладила кольца мягких седых волос.

— У тебя что-нибудь неприятное? Скажи! — сделала над собой усилие, спросила она. Он поцеловал ее руку, вздохнул.

— Определенно — ничего нет, а вообще — как-то неуютно в душе. Время — чумное.

Говорил он медленно, и ей хотелось попросить:

— Скорее!

— Видишь ли... наше гениальное правительство, всячески стесняя самостоятельность культурных людей, накопило в стране массу энергии... энергии воображе-

ния, так сказать. Люди жили не реальной жизнью, а мечтами и в мечтах залетели далеко вперед нормального хода истории. Развелось множество фантазеров, холодных фанатиков, приводимых в движение пружинами софизмов...

Ноты раздражения в голосе Эраста Петровича не обещали Нине ничего хорошего — она нетерпеливо прервала его речь.

— Ты говоришь о революционерах? — спросила Нина.

— Ну да!

Из комнаты вышел на террасу и согнулся, низко кланяясь, длинный и сухой человек с острой черной бородой и голым черепом в форме яйца.

— Что, Титов?

— Действительно, Ераст Петрович, Котел пригнал поросенка...

— Ну?

— Только это, разумеется, обыкновенная деревенская свинья, тогда как наш боров был ценной породы и вес имел уже около двух пудов, этот же едва в половину веса...

Говорил Титов без пауз, и казалось, что, если не остановить его, он так и будет низать слова одно за другим на бесконечно длинную нить жалобы. Голос у него был высокий, тонкий и одноцветно-ровный, глаза большие, странно выкатившиеся из орбит, тусклые и неподвижные.

Эраст Петрович пожал плечами и сказал:

— Об этом вы должны говорить с Петром Ивановичем.

— Они, как известно, уехали в город и...

— Ну, так скажите этому Котлу, чтобы он убирался вместе со своей свиньей... что я ему прощаю! Идите!

— Мужик этот, извините, милости не достоин.

— Н-но! Я знаю лучше вас, кто чего достоин! — внушительно сказал Эраст Петрович, вставая из-за стола.

Титов поклонился и исчез в двери.

— Это смешной мужик? — спросила Нина.

— Да... Тут, видишь, такая история — он убил нашего борова. Управляющий, не желая судиться, предложил ему уплатить стоимость животного или заменить его таким же... ну, вот...

Он говорил неохотно, медленно и начинал раздражать Нину.

— Ты постарел... сильно! — сказала она.

— Я думаю! Ты не видела меня почти четыре года... в моем возрасте это много времени...

Она взяла его под руку и, дразня, говорила:

— Становишься брюзгой? Вот — уже ругаешь революционеров, а ты ведь сам держался крайних мнений... Помнишь, как ты ликовал, когда убили министра?..

Он пожал плечами и сухо отозвался:

— Надо различать, Нина! Даже и римляне — не все были героями...

— Знаешь что, — пойдем гулять! — ласково прижимаясь к нему, предложила Нина.

— Пожалуй... Скоро должен приехать Денисов...

— Мы посидим над рекой...

За окном раздавалось глухое ворчание и кашель — они оба выглянули, и Нина невольно отшатнулась — глаза ее упали на чье-то лицо, темное, круглое и плоское, как тарелка.

Курчавые и, должно быть, жесткие полуседые волосы мелкими кольцами густо покрывали щеки, подбородок и короткую толстую шею. Равномерно мигали маленькие темные глаза — точно этот человек дышал глазами.

— Что тебе нужно, Котлов? — строго спросил Эраст Петрович.

Мужик пошевелил всем телом и с напряжением, сипло выговорил:

— Покорно благодарю... за поросенка...

— А зачем ты моего убил?

Котлов опустил голову, покачнулся, тень его тоже пошевелилась, точно желая вползти на террасу...

— Он огород у меня разорил...

— Так ты сказал бы в контору...

— Осердился я...

— Смотри, я тоже сердит!.. Ступай!..

Не двигая головой, мужик медленно перевел глаза на лицо Нины — ей показалось, что этот глубокий темный взгляд тяжело коснулся ее губ, груди. Подняв руку, она провела по лицу ладонью. Он наклонил голову, шагнул вбок. Тень легла на землю с левой стороны и поползла. Но вдруг Котлов остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал, вздыхая:

— Это — Титов...

— Что?

— Титов меня послал... поклонись, говорит, барину-то...

— Да. Ну что же?

— Ничего.

— Сам ты не пошел бы, — так, что ли?

Мужик помолчал, присматриваясь к чему-то под ногами у себя, потом сипло сказал:

— Прощайте!

И, неуклюже качаясь, пошел...

— Какой... жуткий! — воскликнула Нина.

Эраст Петрович вынул портсигар и, закуривая папиросу, с легким возбуждением заговорил:

— Я думаю, это — идиот... ненормальное существо. Понимаешь — калечит животных, — однажды лошадь мою хватил колом, переломил ей левую переднюю, в другой раз — быка. Вероятно, и быка — он. Говорят, он вообще любит бить животных... и убивать. Хорошо еще, что не людей...

Он круто повернулся к племяннице, продолжая всё более нервно:

— Ты, Нина, сразу поймешь драму момента, если представишь себе фигуры действующих лиц. Вот — мужик, получеловек, полуживотное, с неразвитой психикой, без идей, без плана. Смысл драмы — борьба правительства и так называемых революционеров за власть над народом, за право свободной эксплуатации его сил. Революционеры — среди их есть, я допускаю это, наивные мальчики, искренно мечтающие о благе народа, но настоящие режиссеры революции — голодные честолюбцы, ловкие авантюристы из инородцев — это доказано, Нина, это неопровержимо! Они не знают, что такое народ, они не могут понять его душу, им нет

дела до его блага, мотивы их действий — грубый эгоизм людей, которые, видя бессилие старой власти, желают занять ее позиции. Они шепчут в уши мужиков: вся земля, вся власть принадлежит народу, — ты понимаешь, конечно, что в переводе на язык разума этот лозунг значит — смерть культуре!

Нина задумчиво слушала его речь и смотрела в окно — Котлов спускался по дороге к мосту. Он так же пылил ногами, не поднимая и не сгибая их. На красной завесе заката фигура мужика была еще более жуткой, и тень ползла за ним, точно одежда его, упавшая с плеч.

— Против них — наше правительство. Морально бессильное, лишённое доверия всех истинно культурных людей, оно ослепло от страха потерять свою власть и в слепоте озлобления мечется направо и налево, всё более ясно обнаруживая свою бездарность. Вокруг центра власти группируются какие-то незнакомцы, люди вчерашнего дня, с фамилиями, чуждыми уху русского человека, не имеющие духовной связи с русской историей, неспособные понять дух народа, задачу времени — вокруг центра власти тоже эгоизм авантюристов, Нина. Где же рыцари духа, где потомки тех, которые дали стране людей 14-го декабря, Тургеневых и Толстых, Аксаковых и Хомяковых, где же внуки и дети тех, кто внес на своих плечах культуру в Россию? Слишком чистые и брезгливые для того, чтобы вмешаться в эту кровавую свалку, слишком гордые для ролей демагогов, они стоят в стороне, о них забыли; знаменосцы истинной культуры, они молчат, одиноко страдая за всю страну...

Эраст Петрович казался Нине красивым и крупным человеком, который, стоя на горе, всё видит и всё осуждает с высшей, романической точки зрения. Он стал бодрее, в его позе было много красоты и в голосе звучала гордая скорбь мужественного человека, это трогало Нину, и она смотрела в лицо дяди с доверием и вниманием, смотрела любуясь.

— Дуня, шляпу барину! — негромко сказала она и, взяв его под руку, молча пошла с террасы, прижимаясь к нему.

— Историю делают люди с развитым чувством собственного достоинства, ты, конечно, знаешь это. Ты должна понять, что люди, которые возбуждают народ, обещая ему всю власть, или обманывают его, или настолько глупы, что не понимают своей мысли, не видят ее конца. Разумеется, вероятнее первое, потому что второе — явно невозможно, — представь себе, что будет, если власть попадет в руки мужиков, лишенных уважения к человеку, с неясными представлениями о праве собственности, без чувства самоуважения?

Он вдруг наклонился к лицу Нины и, улыбаясь, сказал:

— Я тебе расскажу... одну пикантную историю. Ты знаешь, твой вотчим был человек... с фантазией. Между ним и этим Котлом однажды разыгралась драма или, вернее, водевиль. Дочь Котла, довольно смазливая девица, работала в экономии и обратила на себя внимание твоего вотчима...

Он замолчал, взглянул в лицо Нины и спросил мягко:

— Тебя не смущает начало?

— О, нет! — быстро ответила Нина. — Пикантные истории неразрывны с памятью о нем.

— О, конечно! Я имел в виду тебя...

— Я — женщина! — с гордостью сказала Нина.

— И милая, прибавлю. Да... так девица Котлова приглянулась Владимиру Павловичу, во время молитвы он пошутил с ней, а отец ее сделал ему какое-то не очень вежливое замечание. Владимир вспылил, прогнал их с работы и целым рядом действий заставил через некоторое время отца прийти к себе просить прощения. Но прощения он не дал, а сказал — давай дочь! И вот представь себе картину: в тот же вечер Котлов вел свою дочь к барину, причем вся деревня и все в усадьбе знали зачем, он сам же всех оповестил. Мне рассказывали: идет девица и плачет, а сзади идет отец и утешает ее — не реви, дура! Надо. Не пойдешь — он нас с голоду уморит... Надо... Владимир прогнал их, конечно.

Нина вздрогнула, охваченная брезгливым чувством, и заметила:

— Я это вижу... Он гнал ее тогда, как сегодня поросенка...

— Вот именно! И вот именно в таких людях будят зверей, обещая им всю власть... ты понимаешь?

---

Вдруг всего стало много...

Как на прогулке, дошли до горы... и хотя с вершины ее, вероятно, открывается красивый вид... но идти туда лень.

— Я хотела бы всю жизнь любоваться людьми, мыслями, природой, искусством. Так много красивого, интересного.



## «ДЯДЯ ВИТЯ»

...На террасу отеля пришли люди, русские, пятеро: две дамы, мужчина, мальчик и девочка, видимо, погодки, лет семи-восьми, все в белом. Войдя в тень, дети взялись за ручки и, выдвывая голыми ножками смешные па, запели:

Говорила нянька Маньке:  
— Манька, встань-ка!  
Отвечала Манька няньке:  
— Нянька, глянь-ка!

Утомленно опускаясь на стул, одна из дам — по-старше, рослая, полная — сказала в нос:

— Перестаньте! Не смейте петь это... Ступайте в сад! Я запрещаю...

Дети, как большие мячи, скатились по широкой мраморной лестнице, а дама продолжала:

— Ах, Виктор, ты внушаешь им ужасные вещи...

Мужчина приподнял плечи, небрежно отвечая:

— Ну, пустяки! Невинная детская песенка...

— Невинная? С ножками...

— Подожди, Таня! — сказал он, сел верхом на стул, сбросив с головы шляпу, и задумался, кусая губы.

— Спросите пить, Христа ради, Виктор!

Другая дама — помоложе, тоньше; у нее острое, задорное лицо, капризные губы, а глаза скептически прищурены. Она рассматривает свои руки в кружевных рукавах и говорит:

— Вик, ты снова оседлан вдохновением? Спроси пить — слышишь?

Он встряхнул головой.

— Что?

— О господи! — вздыхает старшая. — Пить спроси!

Мужчина взял со стола колокольчик и начал звонить, болтая кистью руки так, точно она у него была вывихнута. В обшлага рубашки играет бриллиант, — человек, улыбаясь, смотрит на игру камня и всё быстрее трясет рукой.

— Довольно же! — остановила его молодая. — Я, кажется, татуирована солнцем, как...

— Индейка, — подсказал он.

Старшая дама охотно засмеялась, а молодая заметила равнодушно:

— Это не удалось, Вик!

Тогда старшая обиженно поджала губы, и лицо ее скучно вытянулось. Она сидела грузно, лениво распустив свое, видимо, усталое, большое тело, а та, другая, качалась на стуле и гримасничала, точно на нее смотрели десятки глаз.

Лицо, шея и даже руки мужчины усеяны красными точками прыщей или комариных укусов. У него широкий, но низкий лоб, большие татарские уши, редкие линючие волосы и значительная лысина на темени. Глаза бесцветные, беспокойные, всё время бегающие, губы тонкие, большой нос с горбиной, острый подбородок и выдвинутая вперед лошадиная челюсть. Лицо некрасивое, незаконченное, с неожиданностями в линиях, но привлекающее внимание.

— Мир создан был из ничего? — неожиданно спросил он.

Обе дамы взглянули в лицо ему.

— Ничто — вот стоимость его! — ответил он на свой вопрос и усмехнулся, а потом облизал губы.

— Bravo! — похвалила молодая. — Это сейчас?

А старшая, качая головой, неопределенно сказала:

— Удивительно, как это ты, Витя, вдруг всё!

— Это — не вдруг, — заметила молодая.

— Точно из пистолета выстрелишь...

Молодая вынула из сумочки зеркало, помуслила палец и стала приглаживать темные густые брови.

— Можно сказать иначе, — задумчиво соображал мужчина:

Всё создано из ничего,  
Ничто — вот стоимость всего!

Молодая дама убежденно посоветовала:

— Нет, оставь «мир», — мир понятнее...

Ей не ответили. Пришел почтительный человек во фраке, дамы долго догадывались, что им нужно пить, Виктор решил сразу:

— Пер ме — шерри е аква сода!<sup>1</sup>

Полная дама вздохнула:

— Совсем ты, Виктор, англичанином становишься!

Задумчиво потирая лоб, Виктор, белый и развинченный, точно полишинель, сообщил молодой даме:

— Знаешь, Надин, я, кажется, напишу стихи со звуком ща в каждом слове, — понимаешь? — в каждом!

— Это трудно?

— Ну да! Например:

Тщетно тщится щука  
Ущемить леща...

Дальше, конечно, пищи ища, а вот как всё это расставить?

— А ты бы, Витя, что-нибудь серьезное выдумал, — предложила старшая дама.

— Призвание Виктора — юмористика! Он по природе юморист...

Тогда полная дама обиделась:

— Ну, уж это, матушка Надежда Петровна, извините. Природа у нас...

Виктор прервал их:

— Серьезное? Слушайте! Басня! Эпиграф:

Был дом,  
Где под окном  
И чиж, и соловей висели...

— Я продолжаю:

Повесив под окном чижа и соловья,  
Наш вешатель смотрел на них ежеминутно  
И думал: «Хорошо устроил это я!

---

<sup>1</sup> Искаженное: «Мне — вина и содовой!»

Как тихо стало в доме, как уютно!»  
И, сладко уязвлен любовью к тишине,  
Супругу он свою повесил на стене.  
Но за сие его тотчас в тюрьму забрали.

Читатель! Не ищи здесь для себя морали:  
Сам знаешь: на Руси давно уже тюрьма —  
Приют оригинального ума...

Дамы засмеялись — старшая громче и охотнее, чем Надин, а Виктор поглаживал усы и пресыщенно улыбался.

— Положительно тебе пора печататься! — сказала Надин, а полная дама, тотчас перестав смеяться, встала:

— Только фамилию другую выдумай!

— Ах, вы всё с вашей фамилией!

— Это не шутка!

— Совершенно не понимаю!

— А подумай — и поймешь, может. Муж покойник объяснил бы тебе...

— Пойдите! — озабоченно сказал Виктор, протянув руку. — Покойник! Какая рифма?..

Весь я в повом, как покойник,  
Весь я вымыт, как усопший...

— Ой, господи! — воскликнула старшая дама. — Ну, что тут смешного? Удивительно!

Сердито поднялась на ноги и закричала в сад:

— Дети! Лена! Они тоже, поди, пить хотят. Спроси им воды, Виктор, да только, пожалуйста, не говори при них стихами и анекдотов не рассказывай, я прошу! Сиропу спроси какого-нибудь сладенького. Дети! Воля!..

Она, переваливаясь, сошла в сад, а юморист позволил и наклонился к молодой даме, говоря:

— Сейчас же, как вернусь домой, начну хлопотать о журнале, я уже придумал название ему: «И смех и грех» — хорошо?

— Ах, скорее бы! Так скучно, ску-учно!

— Э,— воскликнул он, пожимая плечами. — Отчего же мне не скучно?

— И тебе скучно!

— Не могу же я утопить ее!

И, откинувшись на спинку стула, сжимая затылок руками, прищурил глаза и покачиваясь, стал мечтать вслух:

— Подожди, будет весело! По воскресеньям, в дни выхода журнала, мы станем устраивать журффиксы...

— Ах, боже мой, дала бы она поскорее денег! — вздохнула Надин.

— Даст! На журффиксах будут и сотрудники, которые попримечнее, — вот и развлечение...

Вбежали дети, красные, растрепанные; девочка прыгнула на колени дяде, раскинулась вся, закрыла глазки и застонала:

— Пи-ить!

— Мама ушла к себе? — спросила Надин мальчика.

— Да. Она опять сердитая.

Девочка, расправляя усы дяде, спрашивала тонким обиженным голосом:

— Я забыла, дядя Витя, про Иуду, а Волька не хочет сказать...

— Мама запрещает слушать дядины песенки, — замотила Надин.

— Мамы же нет! Дядя Витя, — ну!

Он пошептал ей на ухо, и, подпрыгивая на его коленях, мило гримасничая, девочка запела на мотив «Прибежали в избу дети»:

Ах, Иуда, злой Иуда!  
Поступил ты очень худо!  
Продал за тридцать Христа,  
Мог бы взять не меньше ста!

Надин, тихонько смеясь, любовалась ею и говорила:

— Тихе, Лена, мама услышит...

Принесла воду и сироп, она стала готовить питье детям, а юморист, дядя Витя, погладил лоб и сказал:

— Надин, вот что сложилось:

Мы все учились понемногу  
И всё забыли, слава богу!..

Жена одобрительно сказала:

— Очень едко! Я же говорю, что твой жанр именно этот: двустихия, четверостишия, эпиграммы...

— Одна строка чужая? — с некоторым сомнением сказал он.

— Чья?

— Мм... Пушкина или Лермонтова, не помню.

— Ну, это ведь хорошие поэты! — успокоила она его.

А мальчик, болтая ногами, говорил сестренке дразнящим голосом:

— А я еще знаю смешнее, только тебе не скажу, ты — девчонка, а дядя Витя говорит...

— Врешь!

— Мама идет! — прошептала Надин, сделав страшное лицо.

Дядя Витя оседлал стул и, мечтательно улыбаясь встрече сестре, говорит:

— Когда мы отчихаемся от этой революции, насыпавшей всем перцу в нос, тогда, клянусь дедушкиной лысиной, жить будет весело!

Плотно усаживаясь на стул, плотная дама сказала, вздыхая:

— Ох, скорее бы прошло всё! Я так устала!..

Подвигаясь к ней вместе со стулом, дядя Витя сделал серьезное лицо:

— Надо смешить людей, надо, чтобы в жизни люди видели возможно больше веселых пустяков, вот о чем я хочу позаботиться...

И начался тихий деловой разговор.

\* \* \*

Евгений!

Дарю тебе сию тетрадь.  
Ты — на стихи ее истрать,  
Но — не пиши галиматьи,  
Как, например, стихи сии.

До свидания!

Алексей

Дано во Флоренции 910 года 6-го октября.

## УТРО

Самое лучшее в мире — смотреть, как рождается день!

В небе вспыхнул первый луч солнца — ночная тьма тихонько прячется в ущелья гор и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, окропленной росой, а вершины горы улыбаются ласковой улыбкой — точно говорят мягким теням ночи:

— Не бойтесь — это солнце!

Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные красавицы своему королю, кланяются и поют:

— Приветствуем вас, владыка мира!

Доброе солнце смеется: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и теперь они такие растрепанные, их зеленые одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны.

— Добрый день! — говорит солнце, поднимаясь над морем. — Добрый день, красавицы! Но — довольно, тише! Детям невозможно будет купаться, если вы не перестанете так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не правда ли?

Из трещин камней выбегают зеленые ящерицы и, мигая сонными глазками, говорят друг дружке:

— Сегодня будет жарко!

В жаркий день — мухи летают лениво, ящерицам легко ловить и есть их, а съесть хорошую муху — это так приятно! Ящерицы — отчаянные лакомки.

Отягощенные росой, шаловливо покачиваются цветы, точно дразнят и говорят:

— Напишите-ка, сударь, о том, как мы красивы утром, в уборе росы! Напишите-ка словами маленькие



портреты цветов! Попробуйте, это легко — мы такие простые...

Хитрые штучки они! Превосходно знают, что невозможно человеку описать словами их милую красоту, и — смеются!

Сняв почтительно шляпу, я говорю им:

— Вы очень любезны! Благодарю вас за честь, но — у меня сегодня нет времени. Потом, может быть...

Они гордо улыбаются, потягиваясь к солнцу, его лучи горят в каплях росы, осыпая лепестки и листья блеском бриллиантов.

А над ними уже кружатся золотые пчелы и осы, кружатся, жадно пьют сладкий мед, и в теплом воздухе льется их густая песня:

Благословенно солнце —  
Радостный источник жизни!  
Благословенна работа —  
Для красоты земли!

Проснулись красногрудые малиновки; стоят, покачиваясь на тонких ножках, и тоже поют свою песню тихой радости — птицы лучше людей знают, как это хорошо — жить на земле! Малиновки всегда первые встречают солнце; в далекой холодной России их называют «зорянками» за то, что перья на грудках этих птичек окрашены в цвет утренней зари. В кустах прыгают веселые чижи, — серенькие с желтым, они похожи на уличных детей, такие же озорники и так же неустанно кричат.

Гоняясь за мошками, мелькают ласточки и стрижи, точно черные стрелы, и звенят радостно и счастливо, — хорошо иметь быстрые, легкие крылья!

Вздрагивают ветви пиний — пинии похожи на огромные чаши, и кажется, что они налиты светом солнца, как золотистым вином.

Просыпаются люди, те, для которых вся жизнь — труд; просыпаются те, кто всю жизнь украшают, обогащают землю, но — от рождения до смерти остаются бедняками.

Почему?

Ты узнаешь об этом потом, когда будешь большой,— если, конечно, захочешь узнать, а пока — умей любить солнце, источник всех радостей и сил, и будь весел, добр, как для всех одинаково доброе солнце.

Проснулись люди, и вот они идут на свои поля, к своему труду,— солнце смотрит на них и улыбается: оно лучше всех знает, сколько сделано людьми доброго на земле, оно когда-то видело ее пустынной, а ныне вся земля покрыта великой работой людей — наших отцов, дедов, прадедов,— между серьезным и, покуда, непонятным для детей, они сделали также и все игрушки, все приятные вещи на земле — синематограф, между прочим.

Ах, они превосходно работали, наши предки, есть за что любить и уважать великую работу, сделанную ими всюду вокруг нас!

Над этим не мешает подумать, дети,— сказка о том, как люди работали на земле,— самая интересная сказка мира!..

На изгородях полей рдеют розы, и всюду смеются цветы; многие из них уже увядают, но все смотрят в синее небо, на золотое солнце; шелестят их бархатные лепестки, источая сладкий запах, и в воздухе, голубом, теплом, полном благоуханий, тихо несется ласковая песня:

То, что красиво,— красиво,  
Даже когда увядает;  
То, что мы любим,— мы любим,  
Даже когда умираем...

День пришел!

Добрый день, дети, и пусть в жизни вашей будет множество добрых дней!

Я скучно написал это?

Ничего не подделаешь: когда ребенку минет сорок лет — он становится немножко скучен.

\* \* \*

Читают Пушкина, а тень поэта стонет:  
«Слова — у всех в устах, но дух — никем не  
понят!»

10.XI.911

М. Горький

## 〈НАБРОСКИ К РОМАНУ О РОССИЙСКОМ ЖАНЕ ВАЛЬЖАНЕ, ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ КАТОРЖНИКЕ〉

### 〈№ 1〉<sup>1</sup>

В первой половине 80-х годов А〈лекса〉ндр Вас〈ильевич〉 бывал в Галиче, в Заволжье и в Н. Новгороде у Головастиковых, Солонина, старухи Сироткиной. Петр Вас〈ильевич〉 рассказал мне эту историю в 93 или 4 годах.

Рябинин умер в тюрьме до суда. Защищать его должен был Павел Малянтович, который...

### 〈№ 2〉

Рассказ П〈авла〉 Малянтовича о Рябинине.

Мое личное впечатление от встреч с ним в 83—5 годах у Салабанова, Головастика.

Рассказ Сироткиной в 94—5 годах.

Уголовный сыщик Яков Як〈овлевич〉 Котельников, сын известного в Н〈ижнем〉 купца Якова Вас〈ильевича〉 Кот〈ельникова〉, «несчастливого банкрота»; его слежка за «кораблем» Болотовой; встреча его с «Петром Васильевичем» и «Рябининым» в Дивеевском монастыре, кутеж с монахинями, изнасилование слепой послушницы Яковым, — пьяным, — его самоубийство.

Вполне допустимо, что слепую изнасиловал Петр В〈асильевич〉 или Ряб〈инин〉, а Яшку — они запуга-

---

<sup>1</sup> В тексте газетной заметки «Каторжанин — патриарх всея Руси», на полях которой написан Горьким 1-й набросок (газета «День», 1914, № 254, 19 сентября), писателем подчеркнуты слова: Пав〈ел〉 Рябинин 〈стал зваться〉 Александром Васильевичем.

ли, убедив его, что сделал это он. В<асилий> В<асильевич> Розанов, кажется, слышал об этом, будучи в монастыре, или от кого-то из нижегородцев.<sup>1</sup>

Рассказ следователя Святухина А<лександр> И<ванович> Ланину.

Мои попытки познакомиться с «патриархом» в 901 году. «Патриархом» никто его не именовал.

Поездка по Ветлуге, в Воскресенское; встреча на пароходе с Пахомием. «Тропа над пропастью уныния души». Найти «стих». <sup>2</sup>

Спор с В<ладимир> Г<алактионовичем> Короленко в трактире Травкина о законности — естественности — суеверий, о «эклектизме» рус<ского> сектанства, мистического — особенно. В<ладимиру> Г<алактионовичу> надобно написать: не помнит ли он нашего собеседника — как звали и откуда.<sup>3</sup>

Дело скопцов и князь Ал<ександр> Урусов у Ланина, — неожиданное открытие связи Рябинина — Устинова со скопцами.

Распутство Болотовой, убийство ее в магазине, в 2 ч<аса> дня, в воскр<есеень>. Странно: магазин помещался под городской читальней, мимо двери и окон его в читальню прошло, наверное, много людей — день праздничный — никто не заметил трупа до 5 ч<асов> вечера. При таких же обстоятельствах — убийство менялы, скопца.

Уголовный сыщик, еврей Герман. Околоточный Эске. Тюремный инспектор Топорков и г-жа Каспари — отсюда какая-то связь с «кораблем» Болотовой через Устинова и возможность знакомства с нею Рябинина.

Святухин, его рассказы перед смертью, убеждение, что его «отравили сектанты» за «Дело Болотовой». Маниакальное настроение. Темная история Устинова. Не одно ли это лицо с Рябининым?

[Впечатление Малянтовича.

Гудим-Левкович, член Ниж<егородского> окр<уж-

---

<sup>1</sup> Фраза написана на полях синим карандашом.

<sup>2</sup> Эти два слова вписаны красным карандашом.

<sup>3</sup> Эти слова приписаны на полях. Судя по цвету чернил, это более поздняя запись.



ного) суда; справиться — не председательствовал ли в уголовном отделении?]<sup>1</sup>

Достать след(ственное) произ(водство) по делу Болотовой и менялы.

Просить Мал(янтовича) достать копию обвин(ительного) акта по делу Рябинина и копию его показаний.

Привычка потирать руки так крепко, что кости трещат. «Глаза в бороду», «Домик для души». «Было тело, да время съело». Поиски «неведомого слова». Словарь Даля: «книга вредная — оголяет мысли».

А. С. Пругавин. Ошибается. Всё — «бесталанно». Брат его, Виктор, был даровитый.<sup>2</sup>

Сочинения Иринаея. Иречек «История Болгар», — о богомилах.<sup>3</sup>

Прохоров:

Помолюсь в тишине ночной  
Господу богу,

Шутка!<sup>4</sup>

Чтоб он не шутил со мной,  
А помог немного...

Не надо это.<sup>6</sup>

[Что ведь надобно мне?  
Только отдохнуть бы,  
Только бы..? Как?

Мои грустные — тяжелые. Судьбы?]<sup>5</sup>

Напечатай четверостишие на машинке, а бумажку возврати, не потеряй!

А(лексей).<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Зачеркнуто красным и потом синим карандашами.

<sup>2</sup> Этот абзац написан красным карандашом.

<sup>3</sup> Эти фразы написаны синим карандашом.

<sup>4</sup> Слово подчеркнуто красным карандашом и обведено простым.

<sup>5</sup> Стихотворный текст написан простым карандашом.

<sup>6</sup> Эти слова относятся, очевидно, к вычеркнутому тексту.

<sup>7</sup> Это указание написано красным карандашом другого оттенка; оно относится к первому четверостишию.

День сгоревший хороня,  
Ходит Ночь в немой тревоге  
От огня и до огня  
По дороге, без дороги.

Потеряв от скорби разум,  
Смотрит Ночь печальным глазом  
Во дворцы и окна хат —  
Всюду, где огни горят.

Встанет тихо под оконцем:  
«О, зачем горят огни?  
Умер день, рожденный солнцем,  
Не зажечь другие дни!»

Вот — глядит в мое окно:  
«Слушай, — спать пора давно.  
Боль — бессонницей не лечат!  
Погаси же свои свечи!»

Я — смеюсь: «Ошиблась ты!  
Разве здесь свеча пылает?  
Здесь горят мои мечты,  
Это — сердце догорает!»

Слышу тихий вздох вдовы,  
Шелест шёлковой травы,  
Птицы, вспугнуты совою,  
Осыпают сосен хвою.



Листья черные латаний,  
Точно пальцы злой руки,  
Разрывают Ночи ткани.  
Как шаги ее легки!

И под нежными шагами  
Светят росы жемчугами,  
Шепчет росная трава  
Ночи нежные слова.

...Так, до самого рассвета,  
День сгоревший хороня,  
В бархат траурный одета,  
Ходит Ночь вокруг меня.

Иду межой среди овса  
На скрытую в кустах дорогу,  
А впереди горят леса —  
Приносит леший жертву богу.

Над желтым полем — желтый дым,  
И крепко пахнет едким чадом.  
Еж пробежал, а вслед за ним  
Крот и мышонок мчатся рядом.

Ползут ватагой муравьи  
И гибнут на земле горячей.  
В пыли дорожной колеи  
Навозный жук свой шарик прячет.

Желтеет робкий лист осин,  
Ель — рыжей ржавчиной одета,  
А солнце — точно апельсин —  
Совсем оранжевого цвета.

Тяжел полет шмелей и пчел  
В угарном дыме надо мной.  
Вот — можжевельник вдруг расцвел  
Неопалимой купиной.

Огней собачьи языки  
Траву сухую жадно лизут,  
И вижу я, что огоньки  
Ползут ко мне всё ближе, ближе...

Смотрю на них, едва дыша  
Горячей, едкой влагой смрада,  
И странная моя душа  
Поет, чему-то детски рада.

Рыжая, как ржавое железо,  
Высохшим пятном горячей крови  
Распростерлась предо мной бескрайно  
Знойная песчаная пустыня.

Ни единой птицы в синем небе,  
Только — солнце, точно рана в сердце.  
А в песчаном море — ни былинки,  
Только я один блуждаю зверем.

Посреди пустыни — колокольня, —  
Маленькая, серая монашка, —  
Стонет над песками медный голос,  
Стонет, замирая безответно.

Тоненькая змейка цвета стали  
Смотрит изумрудными глазами  
На монашку эту — колокольню —  
И смеется над бесплодным зовом.

...Это мне приснилось вьюжной ночью  
Средь лесов Финляндии холодной.  
Смысла в этом сне не нахожу я,  
Но — печаль его душе понятна.

Взлет в окно стучится.  
В сердце — холодная дрожь.  
Нет, никогда не случится  
То, чего жадно ждешь!

Ткут свои липкие нитки  
Черные сомненья — пауки.  
Скоро ли конец этой пытке?  
Скоро ли конец тоски?

Взять бы сердце в руки,  
Взять бы и до смерти сжать.  
Нет страшнее муки —  
Ждать, ждать, ждать.

Ему скажут:  
— У Гёте — лучше:  
«Нет, только тот, кто знал  
Свиданья жажду,  
Поймет, как я страдал  
И как я стражду»  
и т. д.

\* \* \*

Когда бездейственная тишь  
Холодный камень гор объемлет  
И у волны морской стоишь,  
Душа великим тайнам внемлет.  
Диск солнца в море погружен,  
И облака кроваво красны  
..... напрасный  
    <Не закончено.>

## В ФИНЛЯНДИИ

Под медным оком злой луны  
Лес и болото — жутко немы.  
Средь кочек — камни-валуны  
Лежат, как рыцарские шлемы.  
Колышут спутанные травы  
Султаны темные свои,  
И тускло блещут сталью ржавой  
Седые мхи и лишай.  
Как много странной красоты  
Возникло этой ночью странной!  
Горбины кочек — что щиты,  
А мох на них — узор чеканный.  
Березы тень кольчужной сеткой  
На камень выпуклый легла.  
И в эту тень вонзился метко  
Сучок, как гибкая стрела.  
Меж кочек, в желтом лунном свете,  
Красно сияет медь воды.  
Уходят к лесу пятна эти,  
Злой битвы жуткие следы.  
Лес — точно крепкая стена,  
Воздвигнутая силой ночи.  
И видно, как за ней луна  
Иззубренные копыя точит.  
Как смерть, беззвучен сон земли,  
И тени ночи ей на лоно  
Покровом бархатным легли,  
Как будто черные знамена.



Как зверь какая-нибудь ожесточился.  
Ежели бы не германец, то мы бы его землю скрозь  
прошли.  
Чужие дела — по полю, а свои по миру.  
В воде масло не тонет.

[По желанию публики тяжелая драма.  
«Ужасы германских зверств»  
«Только в смерти покой»  
«Вера умирает — паралич настает <?>»]

Томашевский, Сер<гей> Пет<рович>, сифилидолог,  
Яновский, проф<ессор>, терапевт.

Муравьи говорили мне  
О том, как их жизнь тяжела.

А она не пришла.

Подружися он с песней  
И всю жизнь — с ней <?>  
интересней  
тесней

Смешно.

Хочет дико гром орудий  
И тысячами гибнут люди  
Мир этот в пустоте затерял  
железный  
И, чью-то злобу веселя,  
Уничтожает бесполезно  
Свой мозг безмозглая земля.  
Свой мозг —

И обезумевшие люди  
Покорны воле не своей.



И зверь, доньше благородный,  
Стал ныне бешеным скотом

Что ж будет дальше?

В лохмотья пестрые одета,  
И безобразна, и бедна,

Насилью дикому дана.

Хочет смерть, оскалив зубы,  
Сыта  
И умирает в грубом  
О жизни праведной мечта.

Напоена обильно кровью

Разрушен многих поколений  
Великий и красивый труд  
И смерть велений  
ждут.

Свернув с пути к добру и счастью,  
И хрюкает кровавой пастью

неумолима  
клубы дыма.

Огни городов в ночи,  
Точно созвездия в небе

Ночные разорвав покровы,  
горит  
багровый  
подарит.

И строит пышные чертоги  
Из

строгий



Купить мадонн — }?  
Джотто, Дуччио, Чимабуэ, }?  
Дж. Беллини

*Мазаччио*, капелла Бранкаччи.  
Учелли. Потоп.  
Франческа Пиетро. Смерть и погр(ебение)  
Адама. Видение Константина.  
В S.-Croce.

Tempio Malatestino. Римини.

[Ботичелли из Сикстинс(кой) кап(еллы)?]

[Успение — в Глазго]

Августин — фреска Ognissanti.

Филиппино Липпи. Есфирь.

Тинторетто. Тайная вечеря из Duomo, Лукка.

Фасады — Duomo, С. Микеля, Лукка.

Пиза. Площадь Duomo, Duomo, Кампанилла,  
Баптистерия.

Сиена. Общий вид города, Duomo, Palazzo pubblico,  
Torre della Mangia.

Сиена. Мадонна Дуччио в соборе.

Уф(фнц). 1111 Мантонья 1300 Пиетро Франческа  
1302 Гоццоли 1269—281 Вазари.  
310 Джентилле

Б. Куперштейн. Крещатик 5, 25. Г. И. Дику.

Брунесье (?). Сальпетриер.

[Rimaldi] Rembaldi boulevard.

И грустные осенние цветы  
Головками печально помавают.

# IV

---

## ПЕРЕВОДЫ



*Янка Купала*

**«А КТО ТАМ ИДЕТ...»**

А кто там идет по болотам и лесам  
Огромной такую толпой?

Белорусы.

А что они несут на худых плечах,  
Что подняли они на худых руках?

Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,  
А кому они несут напоказ свою?

На свет божий.

А кто же это их, не один миллион,—  
Кривду несть научил, разбудил их сон?

Нужда, горе.

А чего же теперь захотелось им,  
Угнетенным века, им, слепым и глухим?

Людьми зваться.

## **ИЛЕРМИ**

### **БАЛЛАДА**

Илерми, суровый воин,  
На коне в храм Божий въехал  
И сказал, средь храма стоя:  
«Не таков я, как другие!  
Во грехах моих не каюсь,  
Не нуждаюсь в силах Неба!»

Со стены он слышит голос,—  
Молвил слово образ Девы:  
«Ты покаешься, увидев,  
Как твой дом пожрет огонь!»

Илерми, упрямый рыцарь,  
Звякнул, брякнул медной броней,  
Поспешил из храма в поле,—  
А на месте дома пепел!  
Крикнул Илерми упрямый:  
«Я воздвигну здесь дом новый,  
Лучше прежнего гораздо!»

Илерми, бесстрашный рыцарь,  
Въехал к самому амвону,  
Дерзко хвалится во храме:  
«Не таков я, как другие!  
Не склоню главу покорно  
Пред неправым наказаньем!»

Со стены он слышит голос,—  
Говорят уста Иисуса:  
«Ты падешь во прах, увидев  
В саване твою жену!»

Не прошу пощады Неба!  
Пусть желѣзо насъ разсудитъ!»

И тогда суровый голосъ  
Грянулъ съ неба голубого:  
«Воинъ, ты убавишь спеси,  
Какъ войдешь въ предѣлы смерти!»

Илерми, суровый воинъ,  
Слышитъ: треснулъ полъ во храмѣ;  
Видитъ — пламя подъ ногами...  
Тутъ кровавою сѣкирой  
Отрубилъ себѣ онъ руку  
И ее, съ перчаткой вмѣстѣ,  
Гнѣвно бросилъ въ стѣну храма.  
И сказалъ, азергаясь въ пламя:  
«Раньше годы храмъ разрушать,  
Чѣмъ сойдетъ перчатка съ камня.  
Стѣны эти пылью стануть,  
Не истлѣветъ кость руки —  
До тѣхъ варъ, пока на смѣну  
Не придутъ иные люди,  
Что предъ смертью не отступать,  
Не робѣютъ предъ могилой!»

Шпоры бьютъ коня по ребрамъ,  
Пламя шлемъ златой скрываетъ...  
Но блеститъ на сбромъ камень  
Сталь перчатки и понынѣ.

М. Горький  
Ред. Третьяков.

«ИЛЕРМИ».

Страница из сборника с подписью М. Горького.



Илерми, смельчак безумный,  
Бьет коня тяжелой плетью,  
Быстро скачет вон из храма,  
Видит: умерла супруга!  
Он вскричал у ложа смерти:  
«Я найду жену другую,  
Лучше этой, краше этой!»

Илерми, суров и гневен,  
К алтарю отважно скачет,  
Говорит бесстрашный рыцарь:  
«Не таков я, как другие!  
Не жалею я о прошлом,  
Я несусь вперед, как буря!»

И в ответ ему с угрозой  
Златоризый образ молвил:  
«Ты узнаешь жалость, воин,  
Как твой сын ума лишится!»

Илерми, безумно храбрый,  
Бьет копьём о камень пола,  
Мчится бурей в чисто поле,  
Видит: сын его безумен!  
Он схватил свою секиру,  
Поразил секирой сына,  
Распластал его средь поля,  
Диким голосом воскликнул:  
«Я рожу другого сына,  
Лучше будет, чем погибший!»

Илерми, орлу подобный,  
Чрез окно во храм ворвался,  
Конь его на богомольцев  
Дышит огненным дыханьем,  
Очи молниями брызжут,  
Но еще страшней сам рыцарь,  
В стременах стоит железных.  
«Не таков я, как другие!  
Не прошу пощады Неба!  
Пусть железо нас рассудит!»

И тогда суровый голос  
Грянул с неба голубого:  
«Воин, ты убавишь спеси,  
Как войдешь в пределы смерти!»

Илерми, суровый воин,  
Слышит: треснул пол во храме;  
Видит — пламя под ногами...  
Тут кровавою секирой  
Отрубил себе он руку  
И ее, с перчаткой вместе,  
Гневно бросил в стену храма.  
И сказал, ввергаясь в пламя:  
«Раньше годы храм разрушат,  
Чем сойдет перчатка с камня.  
Стены эти пылью станут,  
Не истлеет кость руки —  
До тех пор, пока на смену  
Не придут иные люди,  
Что пред смертью не отступят,  
Не робеют пред могилой!»

Шпоры бьют коня по ребрам,  
Пламя шлем золотой скрывает...  
Но блестит на сером камне  
Сталь перчатки и поныне.



## ПРИМЕЧАНИЯ

---



## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

### ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Андреева* — М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы, изд. 3. М., «Искусство», 1968.
- Архив Г<sub>1</sub>-XIII* — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладьянскому, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. М. Горький и сын. Письма. Воспоминания, 1971.
- В С* — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.
- Г и его время* — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.
- Г и Короленко* — М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. Переписка, статьи, высказывания. М., Гослитиздат, 1957.
- Г, Материалы* — М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934; т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941.
- Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.
- Г Чтения*, 1940—1966 — Горьковские чтения, 1937—1938. М., Изд-во АН СССР, 1940; Горьковские чтения, 1964—1965. М., Изд-во АН СССР, 1966.
- ЖЗ* — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X — XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XIV, XVI, XVII, 1916.
- Каролин* — Н. Е. Петропавловский-Каролин. Собрание сочинений в 2 томах. М., 1899.
- К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

- Коцюбинский* — М. М. Коцюбинский. Собрание сочинений в 4 томах. М., Гослитиздат, 1965.
- ЛБГ* — Личная библиотека М. Горького.
- ЛЖТ*<sub>I-IV</sub> — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.
- Лит Насл* — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Луначарский* — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.
- Овчаренко* — А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. М., 1965.
- ПТ* — первопечатный текст.
- Пр ЖЗ* — текст ЖЗ с авторской правкой для издания К, хранящийся в Архиве А. М. Горького.
- Сб Зи* — «Сборник товарищества „Знание“».
- Стасов* — В. В. Стасов. Письма к родным, т. III, ч. II. М., 1962.

Одиннадцатый том настоящего издания составляют рассказы, очерки, наброски, стихотворения, написанные Горьким в период с конца 1907 г. по январь 1917 г. После первой публикации «Три дня», «Кража», «Пожар» и четвертый рассказ из цикла «Жалобы», под заглавием «Урядник Крохалев», включались автором в *ЖЗ*, а также в *К. В. К.* автором включались и другие произведения из цикла «Жалобы», а также «Н. Е. Каронин-Петропавловский», «М. М. Коцюбинский», («Легенда о Муканне»), «Легенды о Тамерлане».

Остальные произведения настоящего тома, частью опубликованные при жизни автора, в собрания сочинений и авторизованные сборники не входили.

Двенадцать произведений, помещенных в настоящем томе, при жизни автора не публиковались.

В том включены два перевода, осуществленные Горьким, — из Янки Купалы и из Эйно Лейно.

Основные принципы распределения произведений в настоящем издании положены в предисловии от Института (см. т. I, стр. 5—10).

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *М. М. Бондарюк* («Утро»); *И. И. Вайнберг* («Жалобы», «Пожар», «Федор Дядин», «Последний день», «Барышня и дурак», «Средство против семейных драм», «Из дневника»); *Л. А. Евстигнеева* («Всё то же», «Ярмарка», «...На реке раздался...», «Дядя Витя», «Когда бездейственная тишь...»); *В. А. Максимова* («Три дня»); *М. Г. Петрова* («Н. Е. Каронин-Петропавловский», «М. М. Коцюбинский», («О Стасове»)); *Ф. Н. Пицкель* («Кража», «Воробышко», «Случай с Евсейкой», «Самовар», «Письмо», «Мальчик», «Несогласный»); *В. Ю. Троицкий* («Легенда о Муканне»), «Легенды о Тамерлане», «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», «Евгений! Дарю тебе сию тетрадь...»,



«Читают Пушкина...», <«Наброски к роману о российском Жане Вальжане, добродетельном каторжнике»>, «Рыжая, как ржавое железо...», «День сгоревший хоропя...», «Ветер в окно стучится...», «В Финляндии», «Иду межой среди овса...» и переводы из Янки Купалы «А кто там идет...» и Эйно Лейно «Илерми»; *Р. П. Пантелеева* («Записная книжка»).

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*; в технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, участвовала *И. И. Соколова*.

## ЖАЛОБЫ

(Стр. 7)

Впервые напечатано в журнале «Современник», 1911, № 1, стр. 13—28; № 3, стр. 3—15; № 5, стр. 290—303; № 9, стр. 3—12. В связи с конфискацией январского номера журнала, опубликованный в нем первый рассказ цикла был перепечатан под названием «Новый рассказ Максима Горького» в газете «Руль», 1911, № 274, 31 января, и № 275, 3 февраля, со следующим примечанием: «Рассказ этот написан для нового журнала „Современник“, издаваемого А. В. Амфитеатовым при ближайшем участии М. Горького, и даже был включен в состав 1 №, но журнал этот тотчас же по выходе был конфискован. Печатаем рассказ полностью». Одновременно с публикацией в «Современнике» «Жалобы» были напечатаны за границей в издательстве И. П. Ладыжникова четырьмя отдельными книжками без обозначения года.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись (АМ<sub>2</sub>) с незначительной правкой и подписью автора под каждым рассказом (ХПГ-13-1-1). Перед текстом каждого рассказа рукой Горького написано заглавие «Жалобы», по в первом и третьем рассказах заглавие зачеркнуто. На машинопис — типографские пометки чернилами. Машинопись послужила оригиналом набора для Л. Первый ее экземпляр, очевидно, был послан для набора в «Современник».

2. Цензурный экземпляр печатного текста первого рассказа с заглавием «Жалоба I. (Эпизод из японской войны)» — листы из т. X ЖЗ(ЦЭ). На шмуцтитуле красными чернилами резолюция военного цензора С. Недачна: «Рассказ к печати не может быть разрешен. 4. XI. 1914 г.» Весь текст цензор зачеркнул синим карандашом (ЦД-6-22).

3. Печатный текст четвертого рассказа, вырванный из т. XVI ЖЗ, под заглавием «Урядник Крохалев» и с подзаголовком «Рассказ учителя» (ХПГ-45-3-1). Видно, текст рассказа был подготовлен автором для К, но остался неиспользованным.

4. Отдельные книжки «Жалоб» в издании Л с небольшой авторской правкой черными и красными чернилами (кроме первого рассказа), типографские пометки карандашом — оригинал набора для К (ХПГ-13-1-2).

Печатается по К со следующими исправлениями:

Стр. 8, строка 30: «точно усталый раздевался» вместо «точно усталый, раздеваться» (по АМ<sub>2</sub>, Л).

Стр. 17, строка 7: «Я повторяю» вместо «Я повторю» (по ПТ, газ. «Руль», ЦЭ).

Стр. 25, строки 34—35: «эспроприации» вместо «экспроприации» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ, Л).

Стр. 26, строка 14: «пзволите видеть» вместо «пзвольте видеть» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ, Л).

Стр. 26, строка 26: «архангеля» вместо «архангела» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ).

Стр. 31, строка 28: «звания» вместо «знания» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ, Л).

Стр. 45, строка 11: «драгоценна» вместо «драгоценная» (по смыслу).

Стр. 61, строка 4: «хмурится» вместо «хмурился» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ, газ. «Руль»).

Стр. 62, строка 8: «брат, а?», вместо «брат?» (по АМ<sub>2</sub>, ПТ).

Цикл «Жалобы» был задуман Горьким, вероятно, еще в 1907 г. Первоначально автор предполагал написать три рассказа. Очевидно, об этом замысле и идет речь в письме М. Ф. Андреевой (конец октября — начало ноября 1907 г.) К. П. Пятницкому, в котором сообщается о намерении Горького «написать три рассказа небольших от первого лица». «Судя по тому, что он рассказывал мне, — писала Андреева, — всё страшно интересно и очень „ко времени“, как он сам говорит» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-3-7-77). Подтверждением того, что в письме М. Ф. Андреевой шла речь о замысле «Жалоб», служат слова самого Горького из его письма А. В. Амфитеатрову (ноябрь 1910 г.). «Одних „жалоб“, должно быть, три будет...» — писал он, делаясь своими планами (Г-30, т. 29, стр. 142).

Непосредственно к работе над «Жалобами» писатель приступил в 1910 г. В середине ноября первый рассказ был отправлен Амфитеатрову для журнала «Современник». Рассказом Горький остался недоволен. «С офицером я не сладил, — писал он Амфитеатрову, — не удалось развернуть с достаточной ясностью путаницу в его ошеломленных испугом мозгах» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-84).

Несмотря на большую занятость («Работы у меня — леса»: писатель в это время работал над второй частью «Жизни Матвея Кожемякина», задумал цикл «По Руси» — см.: Г-30, т. 29, стр. 142), Горький намеревался вскоре выслать продолжение цикла: «Если дело пойдет — дам еще жалобу купца, коя, думаю, будет более забавна и не столь груба» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-84).

В конце ноября — первых числах декабря 1910 г. Горький сообщал Амфитеатрову: «Ппшу, как сумасшедший. Когда дам вторую „Жалобу“? Вероятно — к марту, апрелю, не позднее» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-79). Редактор «Современника», видимо, торопил писателя и требовал определенности в сроках. Горький, будучи сильно занят, избегал давать какие-либо гарантии (там же, ПГ-рл-1-25-94). Лишь в середине января он сообщил, что, возможно, «Жалобу II» успеет дать к марту

(там же, ПГ-рл-1-25-96). К началу февраля работа над рассказом была почти закончена (там же, ПГ-рл-1-25-103), в середине месяца рукопись была выслана Амфитеатрову. И на этот раз Горький остался недоволен своим произведением. В марте 1911 г., в ответ на похвальный отзыв редактора, он писал: «Отзыв Ваш о „Жалобе“, хотя и лестен, но несправедлив, эта штука мне не удалась: пальцев в ней нет, хорьковой морды и маленького страшка» (там же, ПГ-рл-1-25-106).

В первой декаде мая Горький закончил рассказ «Жалоба III» и через В. С. Миролюбова отправил рукопись Амфитеатрову (там же, ПГ-рл-1-25-145). В конце июля автором была выслана Миролюбову рукопись четвертой «Жалобы» (см.: Г-30, т. 29, стр. 173).

При печатании «Жалоб» в издательстве Л Горький следил за тем, чтобы книги этого издания не опережали выход соответствующих номеров журнала «Современник», во-первых, из-за приоритета, который имеет в данном случае журнал, во-вторых, как считал Горький, вообще «неудобно появление в иностранной печати произведения, еще не вышедшего в России» (цит. по письму М. Ф. Андреевой Б. Н. Рубинштейну.— Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-1-5). Горький лично извещал Рубинштейна, когда можно пускать в продажу тот или иной рассказ «Жалобы» в зависимости от выхода номеров «Современника». Так, например, он писал ему 2(15) декабря 1910 г. по поводу первого рассказа: «...„Жалобы“ <...> подождите пускать в продажу» (там же, ПГ-рл-37-19-1). А летом 1911 г. указывал: «Третья „Жалоба“ в России уже вышла, Вы можете пускать в продажу Ваше издание» (там же, ПГ-рл-37-19-5). В конце декабря 1910 г., узнав о появившейся в «Киевской мысли» информации, что «на днях» в Берлине выйдут «Жалобы» (корреспондент привел обширные выдержки из рассказа), Горький принял самые решительные меры, чтобы предупредить выход берлинского издания до появления журнальной публикации (там же, КГ-п-2-1-67; ПТЛ-4-1-5; ПТЛ-4-1-6). 22—24 декабря (4—6 января) он писал Амфитеатрову: «Сейчас получил письмо по поводу „Жалобы“. Рассказ не вышел и не выйдет до появления в России. В Берлин послан нагоняй, дабы впредь они не сообщали рецензентам, чего не надобно» (там же, ПГ-рл-1-25-94). К этому следует добавить, что уже после выхода первого рассказа в Л у автора возникло сомнение: «...есть ли резон издавать подобные очерки за границей», учитывая их специфичность (там же, ПГ-рл-37-19-2).

«Жалобы» печатались Ладыжниковым по машинописи — АМ<sub>2</sub>. Оригинал набора для ПТ, т. е. для текста «Современника» (АМ<sub>1</sub>), не сохранился. Вероятнее всего, он был идентичен АМ<sub>2</sub>. Это подтверждается тем, что многие авторские исправления в АМ<sub>2</sub> учтены как в журнальной публикации, так и в издании Л и, следовательно, вносились в оба экземпляра (см. варианты).

Тем не менее между обеими публикациями имеются некоторые различия. Часть их не существенна и является скорее всего результатом корректорского или редакторского вмешательства. Более существенные различия объясняются, видимо, тем,

что, помимо идентичной для обоих экземпляров вычитки и правки, каждый из них (главным образом *АМ<sub>1</sub>*) дополнительно просматривался перед отправкой в печать автором, вносящим в машинопись новые исправления.

Наиболее значительна третья группа разпочтений — цензурные (или редакторские) пзятия в *ПТ*, где оказались вычеркнутыми следующие места текста:

*Стр. 57, строки 23—29*: «Тогда говорят ему: „Вот тебе *с* мне — поверят, а вам — нет“».

*Стр. 59, строки 24—27*: «...и за убийство — награда *с* богу служит...»

*Стр. 61, строки 12—14*: «...он — от Евангелия отвечает, дескать — я ничего не знаю, а вот Христос, оп так говорпл... да!»

*Стр. 61—62, строки 38—2*: «Отягчплл меня, вот! *с* А не донесу — мне покажут...»

*Стр. 62, строки 40—41*: «Что вы делаете с людьми, будь вы прокляты? Опомнитесь!»

По поводу последней купюры в журнале Горький писал Амфитеатрову: «...в IX-ой книге вычеркнута заключительная фраза IV-ой „Жалобы“ <...> чем я гарантирован, что не дождусь более крупных нарушений моего права печатать то, что я хотел бы видеть напечатанным, и не печатать того, что для печати мною не предназначалось?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-139. См. также письмо Горького сыну, написанное около 13(26) ноября 1911 г. — *Архив ГХИИ*, стр. 105). В ответном письме от 10 (23) ноября 1911 г. редактор объяснял: «Заключительную фразу IV-ой Жалобы струсил почему-то подписать Быков, бывший в то время в маразме от дикого страха, под влиянием 500 р. штрафа за VIII книгу и предстоящих тюремных уз за VI, арест которой утверждсн. Певина <издатель журнала „Современник“> эта штука привела в такое негодование, что оп хотел было уже „выставить“ Быкова, а меня просил объяснить Вам, в чем дело, что я и сделал бы при свидании, которое между нами предполагалось. Но поездка в Парпж и дальнейшие происшествия <...> выдернули у меня это пз головы, за что я пзвиняюсь весьма» (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-117).

К журнальной редакции Горький больше не возвращался (она осталась боковой), и все последующие издания готовились автором по тексту *Л*.

В 1913 г. предполагалась публикация «Жалоб» — всех четырех рассказов — в № 1 журнала «Пробуждение» или выпуск их в качестве приложения к журналу. 2(15) августа 1912 г. редактор-издатель «Пробуждения» Н. В. Корецкий обратился к Горькому с просьбой разрешить выпуск сборника рассказов в качестве приложения к журналу. Переслав письмо Корецкого Ладыжникову, Горький указал: «Предложите ему „Жалобы“, их как раз четыре» (*Архив ГЧИИ*, стр. 207; см. также стр. 326). 27 октября (9 ноября) 1912 г. Ладыжников уведомлял Горького: «...переговорпл также с Корецким, условился с ним, что оп возьмет для приложения к журналу „Пробуждение“ в 1913 г. или

„Жалобы“, или „Мордовка“...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-7). Предполагавшееся издание не было осуществлено.

В 1914 г. первый рассказ цикла предполагалось напечатать в т. X ЖЗ, но произведение было запрещено военной цензурой.

Четвертый рассказ («Урядник Крохалев») Горький редактировал при подготовке его для т. XVI ЖЗ (одновременно в этом виде рассказ был перепечатан в журнале «Жизнь для всех», 1916, № 10—11, стлб. 1121—1130). Авторская правка здесь, в общем незначительная, в отдельных случаях совпадает с позднейшей редактурой для К, которая, однако, велась по тексту Л.

В ЖЗ цензурой была вычеркнута фраза: «А прикажут — пали! — он убьет!» (стр. 57, строка 23), и слова: «ежели служебный человек убьет» (стр. 59, строка 25). Купюры были отмечены строкой отточий.

Новой — стилистической — авторской правке подверглись «Жалобы» (за исключением первого рассказа) при подготовке их для К.

Читатели, критика встретили появление «Жалоб» с большим интересом. А. В. Амфитеатров 1 (14) марта 1911 г. писал Горькому: «Спасибо большущее за „Жалобы“! Отличная штука!» (Архив А. М. Горького, КГ-п-2-1-78). Однако приветствуя первый и второй рассказы, к третьей «Жалобе» он отнесся более критически: «Эта „Жалоба“, — писал он автору 14 (27) мая 1911 г., — нравится мне гораздо менее двух первых, особенно второй. Субъективного много вложили Вы в уста неподходящие, а тона субъективности последовательно выдержать не решились. От этого вещь вышла пегая, неопределенная и как бы робкая: производит такое впечатление, будто не действующее лицо, но автор боится сказать что-то, рвущееся у него из души, — откроет рот, вот-вот отрежет, аи смолчал... пауза... и опять пошел разговор „вообще“» (там же, КГ-п-3-1-86).

Один из ранних печатных откликов на «Жалобы» появился в газете «Утро России» еще до выхода в свет журнала «Современник» с первым рассказом цикла. Рецензент причислил «Жалобы» к тому роду беллетристической публицистики, к какому относятся «Записки из подполья». Главную заслугу Горького он видел в том, что писатель «сумел „подслушать“ и правдиво запечатлеть жалобы „среднего ошарашенного человека“» («Утро России», 1911, № 5, 8 января). Однако смысл этих жалоб рецензент столковывал произвольно, приписывая многие мысли персонажа самому автору.

С ожесточенными нападками на Горького выступил В. П. Буренин. Отождествляя мысли «мнимого офицера» с взглядами автора<sup>1</sup>, критик утверждал, что писатель «не верит в парод», не любит его и т. п. («Новое время», 1911, № 12550, 18 февраля).

---

<sup>1</sup> Горький не раз решительно протестовал против попыток приписывать ему слова и мысли его героев. В частности, в конце 1910 г., в связи с появлением в «Киевской мысли» выдержек из

Два отклика на «Жалобы» появились в «Нижегородском листке» за подписью: А. Ум—ский (А. Дробыш-Дробышевский). «В жалобах русских за границей,— писал рецензент,— автор старается обрисовать нашу смятенную, запутанную жизнь...» По поводу второго рассказа: «Очерк написан живо, многое в нем метко определено, но впечатлению мешает слишком большой субъективизм автора, накладывающий свой штемпель на фигуру торговца» («Нижегородский листок», 1911, № 92, 6 апреля).

Позиция А. Ум—ского более отчетливо выражена во второй рецензии. Критика не удовлетворила фигура адвоката и авторская точка зрения на демократические силы в третьей «Жалобе»: «Адвокату этому уже ничто не интересно, ко всему он относится скептически, тогда как его горничная, к которой приходят фельдшерница и секретарь какого-то рабочего союза, вместе читают, учатся, рассуждают, полны стремлений к жизни и невольно относятся к адвокату отрицательно, как к лишнему человеку». По мнению рецензента, «получается неверная перспектива. Беда в том, что теперь у нас не отдельные „лишние люди“, а устала, изверилась вся масса народная, и только отдельные люди стараются, чтобы совсем не потухло пламя» («Нижегородский листок», 1911, № 183, 9 июля).

Критик из либерально-буржуазного «Вестника Европы» С. А. Адрианов охарактеризовал «Жалобы» как «правоучительные рассказы для иллюстрации и популяризации идей социализма». «И, конечно,— утверждал Адрианов,— весь рассказ имеет целью доказать, что всякий человек — в глубине души социалист, и стоит только заработать его сознанию, как он непременно окажется социалистом, хотя бы даже и сам того не подозревал. Социалистическая пропаганда есть только раскрытие человеку глаз на его собственную природу: вот отчего пропаганда эта непреборима. Так верует сейчас Горький и хочет и нас заставить веровать так же, а для того пишет рассказы, весьма благонамеренные, но наивные, лишенные всякой художественности, как всё узко-тенденционное и догматическое» («Вестник Европы», 1911, кн. 4, стр. 388).

Не раскрыл подлинного смысла «Жалоб» и А. А. Измайлов — критик либерально-буржуазного толка. Анализируя четвертый рассказ в большой статье о современной литературе, он отмечал «определенный поворот» Горького «в сторону чистой публи-

---

первой «Жалобы», он писал Б. Н. Рубинштейну о недопустимости подобных публикаций и указывал на недобросовестность рецензента, приписавшего автору слова героя. Письмо Горького не сохранилось, но о содержании его можно судить по следующим словам из письма М. Ф. Андреевой до 10 (23) января 1911 г. тому же адресату: «Затем в письме его <Горького> было сказано, что г-н рецензент не особенно внимательно прочел рассказ и приписал автору совершенно несвойственное ему действие — „жалобу на русский народ“, т. к. А. М. всегда считал и говорил об этом неоднократно, что жалуются — только — слабые...» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-1-6).

цистики». Если раньше писатель «только уснащал свою беллетристику публицистикой», то «сейчас он соскальзывает прямо-таки на жанр Глеба Успенского» («Новое слово», 1911, № 12, стр. 116). Критик находил известное сходство между четвертой «Жалобой» и очерком Г. Успенского «Неизлечимый», в котором дан тип провинциального дьячка, ищущего ответы на многие «проклятые вопросы» и кончающего запоем. Критик высоко оценивает рассказ Горького, в котором изображена «дикая и странная Россия с дикой и странной душой „неизлечимых“» (там же, стр. 117).

С глубоким анализом «Жалоб» выступил в бакинском марксистском журнале «Современная жизнь» Стивин (С. Шаумян).

Статья Стивина написана как отповедь сотрудникам бакинских либерально-буржуазных газет С. Айвазову и Гр. Старцеву, которые в своих статьях и рецензиях, вызванных «Жалобами», «Мордовкой», «До полного!» («Романтик»), пытались представить Горького «жалующимся», «разочарованным и хнычущим» писателем, «клеветущим на рабочих, на социализм». Стивин решительно опроверг попытку увидеть в офицере с его высказываниями о русском народе и социализме рупор идей автора. «И вот, — писал он, — выступает Старцев, который отождествляет Горького с этим офицером, уверяет читателя, что устами офицера говорит сам Горький... И — о, прония судьбы! — Старцев ополчается на защиту социализма, на защиту русского мужика и рабочего от нападок и от клеветы Горького» («Современная жизнь», 1911, № 1, 26 марта, стр. 3). Подобные «критики», подчеркивал Стивин, «говоря о рабочем писателе Горьком, как и вообще обо всем, что касается рабочих, никак не могут обойтись, сознательно или бессознательно, — без лжи, без передержек, без клеветы» (там же, стр. 4). И отмечал, что вражда к Горькому со стороны буржуазной печати вызвана тем, что «сделавшись кумиром официальной читающей публики, он пришел, в своем естественном развитии, к рабочим, к которым он принес свой художественный талант, стал с ними под одно знамя, сделался их певцом и бытописателем» (там же, стр. 2).

Отношение Стивина к новому произведению Горького не было безоговорочно положительным. Он напоминал читателям о том, что марксистская критика в свое время отмечала «недостаточно принципиальную выдержку Горького, отсутствие в нем ясного и последовательного марксистского мышления». «В данном случае» это выразилось, по мнению критика, «в неправильном, чисто народническом понимании Горьким роли и значения интеллигенции». Но это, подчеркивал он, несколько не колеблет мысли о том, что Горький был и остается певцом революционного пролетариата. Статья заканчивалась словами: «И при всем том Горький составляет красу и гордость пролетарской литературы! <...> Рабочие с гордостью могут заявить: „Да, Горький наш! Он наш художник, наш друг и соратник в великой борьбе за освобождение труда!“» (там же, стр. 7).

Стр. 7. ...он участвовал в последней кампании... — Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 годов.



Стр. 14. ...отступление из-под Мукдена...— Крупные сражения во время русско-японской войны произошли 6—25 февраля 1905 г. в районе г. Мукдена. После упорных боев командующий сухопутными силами генерал А. Н. Куропаткин, в связи с угрозой окружения главных сил русской армии, отдал приказ об отходе.

Стр. 17. Об этом ведь писалось много.— Русско-японская война получила широкое отражение не только в периодической печати, но и в литературе 1905—1907 годов: «Рассказы о войне» В. Вересаева и его же записки «На войне», напечатанные в сборниках товарищества «Знание» и затем вышедшие отдельной книгой (СПб., 1908), очерки Г. Эрастова «Отступление» («Сборник товарищества „Знание“, кн. XIII, 1906), Г. Белорецкого «Без идеи. Из рассказов о войне» (1906), «Дневник во время войны» Н. Гарина («Новости дня», 1904, май — октябрь) и др.

Стр. 18. ... *finie l'alliance* ∞ *alliанс* — существует.— Имеется в виду франко-русский военно-политический союз, сложившийся в 1891—1893 годах (в декабре 1893 г. договор был ратифицирован русским и французским правительствами). Просуществовал до 1917 г.

Стр. 23. *Вспомните провокаторов...*— В период первой русской революции и особенно после ее поражения приобрело широкую огласку разоблачение действовавших в эсеровской партии агентов охраны: Н. Ю. Татарова, члена эсеровского ЦК, приговоренного эсерами к смерти и убитого в 1906 г.; Е. Ф. Азефа, тоже члена ЦК и руководителя боевой организации партии эсеров, который был окончательно разоблачен в 1908 г. Партийный суд приговорил Азефа к смерти, но он успел скрыться. Умер в 1918 г. в Берлине.

Стр. 23. ...кто виноват в эпидемии самоубийств?— В период реакции, наступившей после поражения революции 1905—1907 годов, по стране прокатилась волна самоубийств. Сообщения о них были полны газеты. В середине мая 1910 г. Горький писал Е. П. Пешковой:

«Мне приходится писать много писем самоубийцам, т. е. кандидатам в самоубийцы. Невыносимо противный народ. Пишут, приблизительно, все одно и то же: „Хочу кончить с собой, мне 21 г., ненавижу людей, ни во что не верю — что вы скажете на это?“

Сожмешься в комок со зла и с тоской, отвечаешь им и думаешь — несчастная Русь!..

Вообще — не всеело. Из России пахнет гнилью, смертью, разложением.

Мне не жалко тех, кто не верит в будущее, но болит душа за людей, чью веру юную отравляет постепенно яд неверия» (*Архив ГИХ*, стр. 93).

Эпидемия самоубийств вызвала в те годы острые споры о ее причинах. Кадеты и либералы винили во всем революцию, черносотенцы, вроде В. В. Розанова, добавляли, что виновата также «черствость сердец» современной молодежи. Некоторые бур-

жуазные идеологи причину самоубийств видели в «розни, которая существует в нашей семье как обычное явление между двумя поколениями: отцов и детей» («Новое слово», 1911, № 9, стр. 35).

Истинные причины эпидемии самоубийств вскрыли большевики. Профессиональный революционер С. П. Спандарян объяснял их «атмосферой смерти», созданной в стране господствующими классами и называемой ими «успокоением», «нормальной жизнью» (статья «Нужен выход», 1910 г. Цит. по изданию: С. С п а н д а р я н. Статьи, письма, документы. Ереван, 1940, стр. 176). Н. К. Крупская писала, что «первенствующую роль играет в этом отношении российская действительность, гнетущая действующая на психику детей» («Свободное воспитание», 1910—1911, № 10, стр. 4). Горький в статье «О современности» также перенес решение злободневной проблемы на социально-политическую почву. Писатель утверждал, что трагедию самоубийств породило противоречие между «детьми» и «отцами» как противоречие между теми, кто всё еще рвется «вперед к счастью», и теми, кто пошел назад, отрекаясь от «целей, идей, идеалов» великого прошлого (см.: *Очаренко*, стр. 295—296).

Об «эпидемии самоубийств» Горький писал также в одной из статей цикла «Издалека» (1912). В 1931 г. он вспоминал об этом в статье «О самоубийствах» (*Архив ГХИ*, стр. 138—144, 321—322).

Стр. 23. *«Ни в чем они между собою не согласны...»* — Возможно, вольная передача текста из Лаврентьевской летописи: «...и не бе в них правды, и вьста род на род, [и] быша в них усобице, и восвати почаше сами на ся» («Памятники истории Киевского государства IX—XII вв.», Л., 1936, стр. 29).

Стр. 24. *Мы не сами-то идем — нас нужда ведет...* — Эту песню Горький цитирует и в письме к М. М. Коцюбинскому от 7 (20) ноября 1910 г. (*Г-30*, т. 29, стр. 139).

Стр. 25. *«Союз русских людей»* — монархическая, черносотенная организация «Союз русского народа», возникшая в октябре 1905 г.

Стр. 25. *В шестом году это с ним случилось, когда пошли экспроприации...* — Речь идет об экспроприациях в период первой русской революции, которые производились максималистами и другими анархистствующими группами в столице и в провинции. После разгрома организованного революционного движения в 1906 г. эти экспроприации стали вырождаться в бандитизм.

Стр. 26. *...на стенке Николай Святитель, Мир Ликийских...* — Николай Мирликийский (в просторечии Николай Чудотворец) — христианский святой, согласно церковной легенде, жил во второй половине III — первой половине IV веков и был архиепископом города Мира Ликийские в Италии; канонизирован в 787 г.

Стр. 27. *...чай лежит Поповский и Боткиных...* — К. С. Попов — владелец чайных плантаций в Чакове близ Батуми. Крупными чаеоторговцами были Боткины — дед и отец известного

«западника» В. И. Боткина (1811—1869), который с 1853 г. являлся главой фирмы.

Стр. 27. *...община тут затрещала...*— См. примеч. к стр. 50.

Стр. 28. *...он как иностранный капитал прет на нас...*— В начале XX в., и особенно в 1908—1913 годах, удельный вес иностранного финансового капитала в наиболее крупных акционерных коммерческих банках России сильно возрос. В. И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», говоря о господстве иностранного капитала в петербургских банках, указывал, что этот капитал распределялся следующим образом: французские банки — 55%, английские — 10%, немецкие — 35% (см.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 350).

Стр. 29. *...около Успеньева дня...*— «Успение богородицы» — день смерти богородицы, один из основных праздников христианства. На Руси Успенев день (15 августа по ст. ст.) отмечался обрядами, приуроченными к уборке урожая.

Стр. 31. *...а деньги о — всё! Тут и скот, и дом, и раб, и жена...*— Рассказчик использует фразеологию одной из библейских заповедей (Библия. Вторая книга Моисеева, гл. 20, стих 17).

Стр. 36. *...насыкался...*— от «насыкаться» (ряз.) — покушаться, порываться.

Стр. 38. *...был я членом общества грамотности...*— Это общество было организовано в 1895 г. при Министерстве народного просвещения. В его работе участвовали многие либерально настроенные интеллигенты.

Стр. 38. *...в народном доме...*— Народные дома — культурно-просветительные учреждения, создававшиеся в конце XIX — начале XX веков в ряде городов по инициативе интеллигенции. Так, в 1903 г. был создан Народный дом в Нижнем Новгороде. Горький принимал активное участие в его работе. В 1905 г. Нижегородский народный дом использовался для революционной агитации и пропаганды.

Стр. 44. *...рычат торжествующие свиньи...*— Выражение «торжествующая свинья» — из очерков Н. Щедрина «За рубежом» (гл. 7); этот гротескный образ стал символом политической реакции, воинственной мещанской пошлости.

Стр. 44. *...возлюби ближнего твоего, как самого себя...*— Библия, Третья книга Моисеева, гл. 19, стих 18; Евангелие от Матфея, гл. 22, стих 39.

Стр. 44. *...не пожелай другому того, чего не желаешь себе...*— Евангелие от Матфея, гл. 7, стих 12; Евангелие от Луки, гл. 6, стих 31.

Стр. 44. *Ищите и обряцете...*— Евангелие от Матфея, гл. 7, стих 7; Евангелие от Луки, гл. 11, стих 9.

Стр. 46. *Покуда на груди земной...*— Из стихотворения А. А. Фета «Еще люблю, еще томлюсь...» (1890).

Стр. 50. *...начинали разговаривать о эволюции театра...*— Имеется в виду поворот, связанный с постановкой на

сцене Московского Художественного театра К. С. Станиславским и Л. А. Сулержицким в конце 1907 г. пьес Л. Андреева «Жизнь Человека» и К. Гамсуна «Драма жизни», а также со сценической деятельностью Вс. Мейерхольда. «Вчера, — писал рецензент „Голоса Москвы“ в связи с постановкой „Жизни Человека“, — Художественный театр открыл и показал нам новый стиль в театре, новые формы театрального искусства, повел нас смело, твердо, уверенно на новый путь сценического творчества. Подражание жизни, воспроизведение ее на сцене, театр как подобие действительности со всеми ее мелочами, со всей беспредельностью ее обстановочности — на этом поставлен крест» («Голос Москвы», 1907, № 288, 13 декабря). См. об этом специальный сборник: «Театр. Книга о новом театре» (СПб., изд. «Шиповник», 1908), подвергнутый всестороннему анализу и критике А. В. Луначарским в рецензии «Книга о Новом театре» («Образование», 1908, № 4). Не прошло и года после указанных выше премьер, как Станиславский констатировал в письме к Л. Я. Гуревич от 5 (18) ноября 1908 г.: «Мы вернулись к реализму <...> Все другие пути — ложны и мертвы. Это доказал Мейерхольд» (цит. по кн.: Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма. М., 1954, стр. 578).

Стр. 50. ...о законе 9-го ноября... — 9 ноября 1906 г. был обнародован «высочайший» указ о дополнении некоторых положений действующего закона, касающегося крестьянского землевладения и землепользования. В 1909 г. проект закона в дополненном и измененном виде был одобрен Думой и Государственным советом. На основании этого закона, каждый домохозяин мог навсегда закрепить за собой те участки мирской земли, которые были предоставлены ему общиной во временное пользование. При этом выделявшиеся из общины хозяева могли требовать, чтобы их отрезки общинной земли в разных местах были сведены в один участок — хутор или отруб. Закон 9 ноября ущемлял интересы общинного землепользования, нанес сильный удар сельской общине.

Стр. 50. ...о развитии хулиганства. — Господствующие классы и их идеологи и публицисты, вроде Д. Мережковского, Э. Гиппиус, Л. Философова, Н. Бердяева и пр., клеветнически утверждали, что хулиганство порождено освободительным движением народа. Горький в «Заметках о мещанстве» (1905), в статьях «О цинизме» (1908) и «Разрушение личности» (1909) раскрыл природу хулиганства как одного из проявлений аморализма и контрреволюционных настроений одичалого мещанина (см.: Г-30, тт. 23 и 24).

Стр. 52. ...в этом наилучшем из миров... — Выражение Панглоса из повести Вольтера «Кандид» («Все события связаны неразрывно в лучшем из возможных миров»).

Стр. 52. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»... — слова Ионафана, сына израильского царя Саула. — Библия. Первая книга Царств, гл. 14, стих 43.

Стр. 56. У синего моря урядник стоит... — Четверостишие принадлежит В. А. Гиляровскому (1853—1935). В одном из писем

Л. Андреева Горькому приводится этот экспромт Гиляровского, имевший большой успех и быстро распространившийся в списках (*Лит Насл.*, т. 72, стр. 226).

Стр. 57. ...и — орет: «*Офеня, ступай в монастырь!*» — Пародийное использование слов Гамлета, обращенных к Офелии («Гамлет», акт III, сцена 1).

Стр. 57. ...бремя и — неудобобосимое... — Несколько видоизмененное евангельское выражение (Евангелие от Луки, гл. 11, стих 46).

Стр. 61. ...несть власти, аще не от бога. — Евангелие. Послание апостола Павла к римлянам, гл. 13, стих 1; Евангелие от Иоанна, гл. 19, стих 11.

## Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

(Стр. 63)

Впервые, под заглавием «Писатель», напечатано в журнале «Современник», 1911, № 10, стр. 3—19, до слов: «Удивительно светел был этот человек...» (стр. 81). В переработанном и дополненном виде включено в книгу: М. Г о р ь к и й. Воспоминания. Берлин, Verlag «Kniga», 1923.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись первой редакции с пометами и подписью Горького и с правкой, перенесенной другим лицом с не дошедшего до нас экземпляра, — АМ (ХПГ-35-5-2). По всей вероятности, этот экземпляр был послан в 1911 г. в Общество любителей русской словесности.

2. Фотокопия автографа заключительных страниц произведения (со слов: «Удивительно светел был этот человек...»), относящаяся к 1923 г., — ФА (ХПГ-35-5-3). Автограф хранится в Австрийской национальной библиотеке.

3. Машинопись с авторской правкой, послужившая оригиналом набора для книги «Воспоминания», — Пр Н (ХПГ-35-5-1).

Печатается по тексту книги: М. Г о р ь к и й. Воспоминания, К — со следующими исправлениями:

Стр. 64, строка 8: «вымораживают ему душу» вместо «вымораживают его душу» (по АМ).

Стр. 65, строка 19: «с его большим, замученным лицом» вместо «с его большим, замученным лицом» (по АМ).

Стр. 71, строка 37: «вы рассказали» вместо «вы рассказы-вали» (по АМ и ПТ).

Стр. 71—72, строки 41—2: «Может быть, именно потому вот, что жил и — ничего! — все ходят как будто по скользкому месту...» вместо «Все ходят как будто по скользкому месту...» (по АМ и ПТ).

Стр. 72, строка 28: «книгу ко всему миру» вместо «книгу по всему миру» (по АМ).

Стр. 74, строка 27: «Отец всё говорит» вместо «Отец говорит» (по АМ и ПТ).

Стр. 78, строка 33: «а просто пулю пустит в лоб себе» вместо «а просто пулю в лоб себе» (по АМ и ПТ).

Стр. 80, строка 26: «колошни» вместо «колония» (по АМ, ПТ, Пр II).

Стр. 80, строка 30: «ражпй мужчпна» вместо «рыжий мужчпна» (по АМ).

Стр. 80, строка 34: «однн из двух стульев» вместо «один из стульев» (по АМ и ПТ).

Стр. 81, строка 11: «чуждым» вместо «чужим» (ФА и Пр II).

В середине (конце) мая 1908 г. Горький сообщил К. П. Пятницкому: «Я собираюсь написать некую дидактическую вещь на тему „О задачах русского писателя“, — для сего надо бы мне знать, сколько еще сборников выходит до осени? <...> Я уже не успею? „Сочинение“ мое займет листа 1<sup>1/2</sup>—2. Не измените плана, отложу свое до осени, надеюсь, от этого оно не проиграет» (Архив ГИВ, стр. 253).

Следы замысла Горького есть в публицистике и письмах, относящихся к 1908—1910 годам, а также в статье «Разрушение личности», где «старый писатель» противопоставлен современным «вождям и пророкам»: Горький сравнивает годы реакции с 80-ми годами, когда свирепствовали «повальные эпидемии ренегатства». «„Радикалы“ превращались в „непротивленцев“, „культурники“ в „никудышников“, — п один из честнейших русских писателей, святой человек Николай Елпидифорович Петропавловский-Каронин говорил, конфузливо потирая руки:

— Чем им поможешь? Ничем не поможешь! Потому что как-то не жалко их, совсем не жалко!» (Г-30, т. 24, стр. 56).

Отголоски захватившей Горького темы ощутимы и в письме к Л. Н. Андрееву, написанном между 16 (29) августа и 8 (21) октября 1911 г.: «Русский писатель должен быть личностью священной, в России нечему удивиться, некому поклониться, кроме как писателю, — русский писатель каждый раз, когда его хотят обнять корыстные или грязные руки, должен крикнуть: „Прочь, я сам знаю, кто я есть в моей земле!“» (Г-30, т. 29, стр. 193).

Задумав противопоставить «современному литератору» настоящего русского писателя, «честного бойца, великомученика правды ради» (Г-30, т. 24, стр. 66), Горький не сразу остановился на личности Каронина; в это время он не раз вспоминал Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, Гаршина. Окончательный выбор определился не только тем, что Горький был лично знаком с Карониным, но и тем, что в 1912 г. исполнялось 20 лет со дня смерти этого писателя.

Каронин привлекал Горького и как писатель-подвижник, и как человек редкой душевной чистоты. Являясь, по выражению Горького, «одним из творцов „священного писания“ о русском мужике», видным представителем народничества, С. Каронин (псевдоним Н. Е. Петропавловского, 1853—1892) был свободен от многих народнических иллюзий, от прекраснодушной веры в общину, в крестьянский «мир», видел социальные противоречия

в жизни деревни. В ряде произведений он нарисовал правдивую картину разложения пореформенной деревни.

Сын бедного сельского священника, Н. Е. Петропавловский-Каронин в 1871 г. покинул Самарскую семинарию, чтобы заняться самообразованием в нелегальных народнических кружках. Летом 1874 г. участники кружка «ушли в народ», а в августе того же года Каронин был арестован. После трех с половиной лет одиночного заключения он фигурировал в качестве обвиняемого на «Процессе 193-х», но был оправдан. 26 февраля 1879 г. был вновь арестован и осужден на два года тюремного заключения в одиночной камере. В эти годы он начал свою литературную деятельность.

В 1881 г. Каронин был отправлен в сибирскую ссылку, где провел 5 лет в тяжелых условиях. Лишь летом 1886 г. он смог переехать (под строгий надзор полиции) в Казань, где пробыл до марта 1887 г. Именно в этот период Горький мог видеть его у С. Г. Сомова. В начале мая Каронин переселился в Пермь, затем в Екатеринбург; с 28 октября 1887 г. переехал в Нижний Новгород, где прожил до 11 июня 1889 г.

В конце 1887 и в 1888 году Горький не был в Нижнем Новгороде. В ранней редакции произведения он датирует свою нижегородскую встречу с Карониным «весною 88 или 89 г.», но в 1923 г. изменяет дату на осень 89 г. (забыв исправить в последующем тексте выражение «майское утро»), ошибочно полагая, что возвратился в Нижний после первого странствия не весной, а осенью 1889 г.

Между тем с октября 1888 — до апреля 1889 г. Горький служил сторожем и весовщиком на Грязе-Царицынской железной дороге. В то время М. Е. Адауров, возглавлявший товарный отдел Грязе-Царицынской железной дороги, в своей борьбе с хищениями грузов решил опереться на политических ссыльных, которых приглашал на работу. Многие студенты, исключенные из высших учебных заведений Казани во время студенческих волнений в декабре 1887 г., оказались среди «адауровцев», в том числе и Е. Н. Чириков, служивший конторщиком на нефтяных складах. «Адауровцы» организовали нелегальный кружок, собиравшийся на квартире у Чиркова и М. Я. Началова. В него входил и В. Я. Старостин-Маненков (см. *Г и его время*, стр. 181—182, а также воспоминания Афанасия Чуева. — Архив А. М. Горького, МоГ-13-12-1, 2, 3, 4). Кроме того, члены кружка предполагали издавать газету, неофициальным редактором которой они решили пригласить живущего в Нижнем Каронина. 12 февраля 1889 г. Каронин, вызванный Адауровым для переговоров, выехал в Борисоглебск; договоренность была достигнута, но издание газеты не было разрешено властями.

«Ночной сторож» и «хранитель брезента» Алексей Пешков посещал кружок Началова, был знаком со всей колонией «адауровцев», с Чириковым, тогда уже сотрудничавшим в провинциальной прессе, со Старостиным-Маненковым. Последний дал Пешкову рекомендательное письмо к Каронину на случай неудачи предполагаемой беседы с Толстым, у которого юноша хотел

просить совета и материальной помощи для устройства земледельческой колонии. В апреле 1889 г. Пешков покинул Царицын и «через Тамбов, Тулу и Москву», как значилось в ранней редакции воспоминаний о Каронине, направился в Нижний Новгород, куда и прибыл в конце апреля. 11 июня того же года Каронин, получив приглашение газеты «Саратовский дневник», переехал с семьей в Саратов, где и скончался от туберкулеза горла 12 мая 1892 г. Следовательно, нижегородские встречи Горького с Карониным могли происходить весной, точнее, в мае — начале июня 1889 г.

Начало работы над воспоминаниями о Каронине относится к сентябрю 1911 г.. «Пишу сейчас о Каронине», — сообщал Горький Е. П. Пешковой (*Архив ГИХ*, стр. 122)<sup>1</sup>. Непосредственным толчком для начала работы, по-видимому, послужило письмо председателя Общества любителей российской словесности А. Е. Грузинского от 11 (24) сентября 1911 г., в котором говорилось о предстоящем 22 октября праздновании 100-летия со дня основания Общества: «Мы очень бы хотели получить какой-либо Ваш отрывок, главу, сцену, очерк — что хотите <...> Прочтено будет приличествующим образом — об этом я позабочусь» (*Архив А. М. Горького*, КГ-п-24-1-1). 20 сентября (3 октября) Горький отвечал: «Спасибо за лестное предложение и доброе Ваше письмо; желание Ваше постараюсь исполнить: к празднику Общества что-нибудь пришлю. Недавно встретился с одним курьезным и печальным явлением, может быть, изложу его, а м. б., напишу о Николае Елпидифоровиче Петропавловском <...> Сообщите, что намерены вы сделать с очерком после того, как он будет прочтен?» (там же, ПГ-рл-12-4-1). В ответном письме от 6 (19) октября Грузинский сообщил, что Общество не собирается издавать сборник. «Вы, — писал он, — совершенно вольны располагать Вашей вещью». Но просил выслать произведение заблаговременно, чтобы можно было подобрать чтеца (там же, КГ-п-24-1-2).

Видимо, уже 30 сентября (13 октября)<sup>2</sup> Горький писал А. В. Амфитеатрову, редактору журнала «Современник»: «Засим: 22-го октября в Москве „в торжественном по случаю столетия существования заседании Общества любителей русской словесности“ <...> будут, вероятно, прочитаны мои воспоминания о Каронине — это около печатного листа; если хотите — я пришлю вам рукопись, м. б., годится для „Современника“. Вы скажете мне об этом — т. е. годится или нет — вполне откровенно. Не подойдет ли к ноябрьской книге?» (там же, ПГ-рл-1-25-129). «Посылайте мне немедленно Каронина, — отвечал

---

<sup>1</sup> При публикации письмо датировано серединой сентября, однако переписка Горького с Грузинским заставляет предполагать, что написано оно после 20 сентября (3 октября).

<sup>2</sup> Дата устанавливается по встречному письму Амфитеатрова, ответившего сразу 2 (15) октября 1911 г. (письмо с Капри пришло в Феццано на второй день).



Амфитеатров 2 (15) октября 1911 г., — конечно, в ноябрьскую книжку, лучше и желать нельзя» (там же, КГ-п-3-1-113). Горький послал рукопись «одновременно с посылкой Обществу любителей российской словесности», как сообщал он И. А. Белоусову (Архив ГҮИ, стр. 99).

Воспоминания о Кароине успели попасть в октябрьскую книжку журнала. А 25—26 октября (7—8 ноября) Горький послал заявление о выходе из «Современника», просил снять свое имя из анонсов о подписке (Г-30, т. 29, стр. 201). 1(14) ноября 1911 г. Амфитеатров отвечал: «Для октября я, конечно, не мог это сделать, так как отказное письмо Ваше получил, как вы знаете, 9 ноября/27 октября, когда вся книга была отпечатана (да в ней и Ваша статья)...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-115).

В сопроводительном письме Грузинскому Горький писал: «Посылаю рукопись, очень прошу: сохранить от вездесущих газетчиков, дабы они преждевременно не опубликовали <...> Сообщите, пригоден ли очерк мой для целей Ваших» (там же, ПГ-рл-12-4-2). Грузинский отвечал 24 октября, уже после юбилея, на котором сам читал воспоминания Горького: «Пишу столько же с тем, чтобы выразить свои личные чувства, сколько по поручению публики <...> всем очень и очень пришлось по душе то, что Вы прислали. Это так близко и существенно касается русской литературы, так живо и тепло рисует человека, наконец, здесь, кроме характеристики личной, так много общих мыслей о русском человеке и русском писателе, что всё вместе действует очень сильно. Я от всех только и слышал кругом одни хорошие, растроганные отзывы <...> Огромное Вам спасибо» (там же, КГ-п-24-1-3).

В газетных корреспонденциях также сообщалось об успешном чтении нового произведения Горького (см.: «Утро России», 1911, № 244, 23 октября; «Русские ведомости», 1911, № 244, 23 октября; «Русское слово», 1911, № 244, 23 октября).

И. А. Белоусов писал Горькому 25 октября (7 ноября) 1911 г.: «Давно, давно от литературных произведений я не испытывал того возвышающего дух чувства, какое я испытывал, слушая Ваши воспоминания на торжественном заседании Общества любителей российской словесности 22 октября <...> Спла Вашего произведения оказалась при сравнении с тем, что читали на вечере<sup>1</sup>. Только один Иван Бунин — подошел к Вам...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-8-7-9).

В. Е. Чехихин-Ветринский сообщал Горькому 24 ноября (7 декабря) 1911 г.: «Слышал в Общ. любителей 22 октября Вашего „Писателя“ — пишите еще Ваши воспоминания, о Чехове, Толстом и иных!» (Архив А. М. Горького, КГ-п-86-2-2).

«Вашу статью о Кароине, — сообщал Д. Н. Овсяннико-

---

<sup>1</sup> П. Н. Сакулин прочел на вечере «Суходол» И. А. Бунина, А. М. Федоров — отрывок из романа Л. Н. Андреева «Сашка Жегулев», П. Д. Боборыкин — отрывок из романа «Туда, туда...», Е. Н. Чириков — рассказ «Волшебник».

Куликовский 11(24) декабря 1911 г., — прочитал я с великим удовольствием и думаю утилизировать ее (в одной из дальнейших глав „Истории интеллигенции“)» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 139). Политический эмигрант, в прошлом народовец, Ф. В. Волховский, судившийся вместе с Карониным по «Процессу 193-х», писал Горькому из Лондона: «Как богато награжден Петропавловский за свой крестный путь тем, что нашел в Вас своего портретиста! Как редко выпадает человеку на долю — явиться перед другими людьми <...> в таком настоящем живом и лучистом от любви образе» (Архив А. М. Горького, КГ-п-17-16-2).

В журнальной критике отзывы о «Писателе» были немногочисленны. С. Э. (Э. А. Серебряков) в обзоре «Среди журналов» отмечал: «Рассказ „Писатель“ написан очень тепло. Очевидно, Каронин произвел глубокое и благоприятное впечатление на душу молодого Горького» («Вестник знания», 1911, № 11, стр. 1040). Более глубоко в замысел автора проник Д. Л. Тальников. В статье «О честном писателе» он писал: «Перед русским читателем и личность старого писателя эпохи барства стояла как личность высокоблагородная, светлая и честная. С великим служением литературы правде художественной сочетался и образ писателя как правдолюбца и борца за правду <...> М. Горький недавно — именно в наши дни гибели этой прекрасной читательской мечты о писателе — вспомнил один такой трогательный образ „писателя“ — Н. Е. Петропавловского-Каронина...» («Современный мир», 1914, № 3, стр. 37, 40).

В начале 1922 г. Горький работал над книгой «Среди интеллигенции», которая замыслилась как IV часть автобиографического цикла (после «Монх университетов»). Центральное место в ней должен был занимать В. Г. Короленко. Описывая события 1887—1889 годов, Горький рассказал, в частности, о своей казанской встрече с Карониным, о которой не упоминалось в «Писателе», и дал несколько иное освещение фигуры Каронина, нежели в «Писателе» (см. «Время Короленко» и «В. Г. Короленко» в т. XVI наст. изд.).

В процессе работы над автобиографическим циклом у Горького возникло желание переработать и дополнить «Писателя», что и было осуществлено в начале 1923 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-29). Горький заново отредактировал все произведения, дописал заключительную часть его (от слов: «Удивительно светел был этот человек...») и до конца и дал ему новое название — «Н. Е. Каронин-Петропавловский».

Воспоминания о Каронине были высоко оценены А. В. Луначарским, который писал в 1931 г.: «... вот — прекрасный портрет, который сразу открывает вам внутреннюю сущность этого изумительного, в самом великом, в самом нашем, в самом материалистическом смысле слова *святого* человека <...> Вот он — подвижник-интеллигент; вот он — тип лучшего среди лучших в разном мире...» (*Луначарский*, т. 2, стр. 95).

Стр. 63. *Осенью 89 г.*...— Встречи с Карониным происходили не осенью, а весной 1889 г. (см. примечания на стр. 541).

Стр. 63. ...*провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова.*— В. Я. Старостин-Маненков (ум. в 1896 г.) сатирически изображен и в рассказе Горького «Сторож». В письме к И. А. Груздеву от августа 1933 г. Горький причислял его к «странствующим рыцарям народничества», к тем, кто были особенно «активными деятелями провинциальной печати, корреспондировали, воспитывали корреспондентов, редактируя их рукописи, и вообще „хранили заветы“». Было бесполезно убеждать их в том, что теоретическое оружие их притупилось, заржавело, к бою не пригодно, хотя и оглушает» (*Г-30*, т. 30, стр. 313—314).

Стр. 63. ...*двух телеграфистов и одной барышни.*...— Имеются в виду Д. В. Юрин (1864—1894), телеграфист станции Крутая, И. В. Ярославцев (1869—1895), телеграфист станции Кривая Музга, и М. З. Басаргина, дочь начальника станции Крутая (*Г и его время*, стр. 193, 199, 633—635).

Стр. 63. ...*Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком.*...— Свою встречу с Чириковым Горький описал в наброске, датированном началом 20-х годов: «Впервые я встретился с ним в 89 году, в Царицыне, на нефтяной станции Нобеля. Я шел 12 верст пешком, до кожи промок на осеннем дожде, устал и был жестоко оскорблен „начальством“. Ночевать мне было негде. Встретив меня весьма нелюбезно, Чириков предложил мне лечь в углу, на полу грязной комнате, которую я сделал еще более грязной» (*Архив ГХИ*, стр. 216).

Стр. 64. ...*«дондеже есмь»*...— Псалтырь, псалмы 103, стих 33, и 145, стих 2.— «Буду петь богу моему, доколе есмь».

Стр. 64. ...*познакомился с рассказом «Мой мир»*...— Первые напечатаны в журнале «Русская мысль», 1888, №№ 2—4. Повесть эта, в которой Каронин дал «ход своим народническим пристрастиям» (Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. II. М., 1958, стр. 279), должна была поддержать в юноше Пешкове намерение «сесть на землю». Здесь и далее Горький ссылается на собрание сочинений Каронина (см.: Условные сокращения — *Каронин*).

Стр. 64. *Высокая черная женщина.*...— Гражданская жена писателя, В. М. Петропавловская, по первому мужу Линькова, с которой Каронин познакомился в Петербурге в апреле 1878 г. В. М. Линькова в то время вернулась с фронта русско-турецкой войны, где была сестрой милосердия, и поступила на акушерские курсы Медико-хирургической академии; она имела двух дочерей; старшей, Саше, в 1878 г. было 9 лет.

Стр. 66. ...*Хотите, значит, сесть на землю?*...— 25 апреля (7 мая) 1889 г. Горький писал Л. Н. Толстому: «...несколько человек, служащих на Г.-Ц. ж. д. <...> увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством <...> И вот мы решились прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, к<ото>рая, говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли» (*Г-30*, т. 28, стр. 5). Мысль о земледельческом труде еще долгое

время не оставляла Горького. 3 (15) октября 1895 г. он писал об этом и В. Г. Короленко (см. там же, стр. 15—16).

Стр. 66. *Я как раз вот описываю историю одной колонии...*— Речь идет о повести «Борская колония», напечатанной в «Русской мысли», 1890, №№ 4 и 6.

Стр. 67. *Общество имеет с от этих преувеличений...*— Здесь приведены в несколько измененном виде слова Грубова, одного из членов Борской колонии (Каронин, т. 2, стр. 70).

Стр. 67. *Что идеального в том...*— См. там же, стр. 76. Здесь, как и в других случаях, Горький цитирует с небольшими отклонениями от текста.

Стр. 68. *Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним...*— В произведении «Время Короленко» Горький писал, что «не решался показать» свой «философический труд» — поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба» больному Каронину и показал ее В. Г. Короленко (Г-30, т. 15, стр. 6). Об этом Горький рассказывал и в письме к Е. С. Короленко в декабре 1925 г.: «Кажется, в 89 г. я принес В. Г. свою поэму „Песнь старого дуба“. В ту пору я был уже лично знаком с Карониным, встречал Мачтета и Н. Н. Златовратского, но почему-то у меня не возникло желания показать „труд“ мой ни одному из них» (Г-30, т. 29, стр. 449—450).

Стр. 68. *...проговорила знаменитое стихотворение...*— Имеются в виду строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Ночное небо так угрюмо...» (1865):

Одни зарницы огневые,  
Воспламеняясь чередой,  
Как демоны глухонемые,  
Ведут беседу меж собой.

Стр. 68. *...Кто по земле ползет, шипя на всё змею...*— Из стихотворения А. Н. Апухтина «Графу Л. Н. Толстому» (1877).

Стр. 69. *...на Откосе, около Георгиевской башни...*— Георгиевская башня нижегородского Кремля расположена на высоком волжском берегу, на склоне которого разбит парк, под названием Откос, — место прогулок нижегородцев. У башни начинается Георгиевский съезд, соединяющий Верхневолжскую набережную с Нижневолжской.

Стр. 69. *...молится на Балахну, на запад?* — Балахна — уездный город Нижегородской губ.; Балахнинский уезд примыкал к Нижнему Новгороду в его западной части и был хорошо виден с высокого окского берега.

Стр. 71. *«Время это было вот какое...»*— Цитата из рассказа «На границе человека» (1889) (Каронин, т. 2, стр. 607); в рассказе отразился интерес Каронина к жизни низов общества.

Стр. 72. *Развозжу баварский квас.*— Так называлось пиво. О своей работе в пивном складе в 1889 г. Горький упоминает также в произведениях «Страсти-мордасти» (1917), «Время Короленко» (1922).

Стр. 73. ...автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталом, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.— И. А. Куцевский (1847—1876), автор романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871), работал матросом, грузчиком, разносчиком апельсинов, жил в почлежках; начал литературную деятельность в конце 1860-х годов, попал в больницу, где в поисках заработка написал «этнографический очерк» и послал его, видимо, в «Современник» (см. «Маленькие рассказы. Очерки, картинки и легкие наброски И. Куцевского». СПб., 1875, стр. 31—35). С тех пор Куцевский стал печататься в петербургской прессе. Летом 1870 г. он вновь попал в больницу, где написал «Негорева».

Стр. 73. ...*Оверин, которому земля  $\infty$  кажется  $\infty$  думающим существом...*— См.: И. А. Куцевский. Николай Негорев..., ч. I, гл. VIII.

Стр. 74. ...«*Самоубийца*».— См. «Неизданные рассказы И. А. Куцевского». СПб., 1882. Рассказ цитируется по этому изданию.

Стр. 75. ...*стихотворец Кроль*...— Н. И. Кроль (1823—1871) первоначально примыкал к школе «чистой поэзии»; в 60-е годы сблизился с демократическими кружками и печатал стихи в «Искре», «Деле», «Русском слове» и других журналах.

Стр. 75. ...*один из честнейших писателей наших однажды громко заявил...*— Имеется в виду Н. А. Добролюбов и его стихотворение «Милый друг, я умираю...» (1861).

Стр. 76. ...«*Вскую шаташася языцы*»...— Псалтырь, псалом 2, стих 2: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»

Стр. 78. *Гомилетика* — раздел богословия, посвященный методике проповедничества (от греч. homileo — общаться с людьми).

Стр. 78. ...«*Есть такая точка зрения...*»; «*это и не жизнь...*» — Цитаты из главы XIV «Трудного времени» (Полное собрание сочинений В. А. Слепцова. СПб., 1903, стр. 314, 312).

Стр. 78. ...*Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник»*...— Н. Д. Ильин в «Дневнике толстовца» (М., 1892) полемизировал с религиозно-нравственным учением Л. Н. Толстого, ставя под сомнение честность и искренность Толстого. Несколько позднее автор «Дневника» попал под суд за финансовые махинации и бежал из России (см. о нем в кн.: В. В. Стасов. Николай Николаевич Ге. М., 1904, стр. 331—346).

Стр. 78—79. ...*М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном обозрении»*...— Имеются в виду статьи М. А. Новоселова, печатавшиеся в начале 900-х годов в журнале православной церкви «Миссионерское обозрение», в частности, в связи с отлучением Толстого от церкви — «Открытое письмо графу Толстому от бывшего его единомышленника по поводу ответа на постановление святейшего синода» («Миссионерское обозрение», 1901, № 6).

Стр. 79. *Написать — можно...*— См. рассказ Кароннипа «Учитель жизни» (1891).

Стр. 79. ...книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра... — Книги английского социолога и философа Г. Спенсера («Основные начала», «Основания биологии», «Основания психологии», «Основания социологии» и «Основания этики») неоднократно издавались в России начиная с конца 1860-х годов. Полемике со Спенсером была посвящена известная работа Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (1869). Книга немецкого физиолога и философа В. Вундта (1882—1920) «Основы физиологической психологии» издавалась несколько раз, начиная с 1880 г. Немецкий философ Э. Гартман (1842—1906) был известен по книге «Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного доктора философии Эдуарда фон Гартмана». Изложение А. А. Козлова. Вып. 1—2. М., 1873 и 1875. Точное название книги А. Шопенгауэра (1788—1860) — «Свобода воли и основы морали». СПб., 1886.

Стр. 79. ...прочтете Хемницерову басню «Метафизик», — в ней всё ясно. — Горький неоднократно обращался к этой басне для высмеивания метафизической философии, отрывающей «мысль от дняния». В статье «О пьесах» (1933) он писал: «О том, чем занимались и занимаются философы, кратко, но вполне разумительно рассказал баснописец Иван Хемницер в басне „Метафизик“. Суть этой басни такова. Некто молодой человек, гуляя в поле и размышляя „о начале всех начал“, свалился в яму, откуда своими силами вылезти не мог. Ему бросили веревку, по он тотчас же поставил вопрос: „Веревка — что такое?“ Ему сказали, что философствовать о веревке как „вещи в себе“ — не время, — вылезай. Но он спросил: „А время — что?“ Тогда его оставили в яме, где он и по сей день рассуждает: необходима ли вселенная, и если необходима, то — зачем?» (Г-30, т. 26, стр. 409—410).

Стр. 80. ...«Познай самого себя»... — надпись на фронте древнегреческого храма Аполлона в Дельфах; изречение это заняло важное место в философии Сократа и позже распространилось как крылатое выражение в латинской формуле: «Nosce te ipsum».

Стр. 80. ...имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду... — В ноябре 1889 г. Горькому предстоял призыв в солдаты. Во «Времени Короленко» Горький рассказал, что незадолго до призыва он познакомился с офицером, обещавшим взять его в топографическую команду, отправляющуюся на Памир. Однако медицинская комиссия забраковала юношу («Дырявый, пробито легкое насквозь!»), а заявление о желании пойти добровольцем в эту команду топографов было отклонено ввиду неблагонадежности (после первого ареста в октябре 1889 г. Горький был отдан под негласный надзор полиции).

Стр. 81. ...«кающихся дворян». — Ставшее крылатым выражением, впервые употребленное Н. К. Михайловским в цикле «Из литературных и журнальных заметок» (апрель 1874) для характеристики Д. И. Писарева и героини повести В. А. Слепцова «Трудное время» (Н. К. Михайловский. Сочинения в 6-ти томах. Т. 2. СПб., 1896, стлб. 647). Впоследствии с большим основанием применялось к героям Л. Толстого и др.

Стр. 81. ...«*между молотом и наковальной*» — крылатое выражение, идущее от названия романа Ф. Шпильгагена «Между молотом и наковальной» (1869; в том же году вышел в русском переводе).

Стр. 81. *Есть — мужик и — мужик...* — Из произведения А. К. Толстого «Поток-богатырь» (1873).

Стр. 82. ...«*правды-справедливости*». — В статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький назвал Н. К. Михайловского, которому принадлежат эти слова, «изобретателем двух правд: „правды-истины“ и „правды-справедливости“» (*Г-30*, т. 24, стр. 476). «Неутомимую жажду „правды-справедливости“ и стремление воплотить эту правду в жизнь Горький отмечал у В. Г. Короленко (*Г-30*, т. 15, стр. 50). Сам Михайловский под правдой-истиной подразумевал познание действительности, а под правдой-справедливостью — стремление к идеалу (см.: Н. К. Мих а й л о в с к и й. Сочинения, т. I. СПб., 1896, стр. III).

### ТРИ ДНЯ

(Стр. 84)

Впервые напечатано отдельной книгой: М. Горький. Три дня. Рассказ. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag <1912><sup>1</sup>, и, без подзаголовка, в журнале «Вестник Европы» (*ВЕ*), 1912, № 4, стр. 61—90, и № 5, стр. 3—46.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись с авторской правкой — АМ (ХПГ-46-16-1).

2. Текст из восемнадцатого тома *ЖЗ*, правленный автором для *К* (ХПГ-46-16-2).

3. Машинописный текст фрагментов вариантов к третьей главе (ХПГ-46-16-3).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 93, строка 26: «в полукольце» вместо «в полукольцо» (по *АМ*, *ПТ*, *ЖЗ*).

Стр. 94, строка 4: «люди округи» вместо «люди округа» (по *АМ* и *ВЕ*).

Стр. 115, строка 26: «дитё» вместо «дитя» (по *АМ* и *ВЕ*).

Стр. 116, строка 1: «приторно-ласково» вместо «притворно-ласково» (по *АМ* и *ВЕ*).

Стр. 119, строка 10: «храпень» вместо «хрипень» (по *АМ*, *ПТ*, *ВЕ*, *ЖЗ*).

Стр. 128, строка 20: «жестко» вместо «жестоко» (по тем же источникам).

Стр. 141, строка 15: «вызывала» вместо «вызвала» (по *АМ*, *ПТ*, *ВЕ*).

Стр. 144, строка 1: «не знай» вместо «не знаю» (по *АМ*, *ПТ*, *ВЕ*, *ЖЗ*).

<sup>1</sup> Уже 1(14) марта 1912 г. автор подарил это произведение в отдельном издании Ладыжникову М. М. Коцюбинскому (см.: *Г-30*, т. 29, стр. 229).

Стр. 144, строки 17—19: «— Ой, девоньки, *с* работы!»  
восстановлено по АМ, ПТ, ВЕ, ЖЗ (см. контекст).

Стр. 147, строка 6: «спорая» вместо «скорая» (по АМ, ПТ, ВЕ, ЖЗ).

Стр. 150, строка 33: «ручьём кровь течет по жилам» вместо «ручьём течет по жилам» (по ВЕ).

Стр. 153, строки 1—2: «виду не подает» вместо «виду не подаст» (по ВЕ).

Произведение закончено в начале января 1912 г. 11 (24) или 12 (25) января Горький сообщал В. С. Миролюбову: «...посылаю рукопись на две книжки: в первой — 3 главы, во второй — 3» (Г-30, т. 29, стр. 216). Через два или три дня рукопись была отправлена И. П. Ладыжникову (письмо Горького Б. Н. Рубинштейну. — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-19-15).

Первоначально «Три дня» предназначались для вновь организуемого журнала «Заветы», который редактировали Миролюбов и В. М. Чернов. 12 (25) января 1912 г. Горький сообщал Е. П. Пешковой: «Написал небольшую повесть для нового с.-р. журнала; то-то будут меня лаять за участие в нем! Мне самому участие это не очень по душе, но — м<ожет> б<ыть>, удастся, хоть отчасти, осуществить мою мечту о создании общероссийского журнала, который ознакомил бы общеперскую интеллигенцию друг с другом и культурной деятельностью всех племен государства» (Архив ГТХ, стр. 133).

Первый номер журнала «Заветы» должен был выйти в конце января 1912 г., о чем сообщалось в «Одесских новостях» (1912, № 8625, 20 января). В числе произведений, включенных в номер, названо и «Три дня». Но это произведение Горького в «Заветах» не появилось. Когда рукопись «Трех дней» уже была отослана в редакцию «Заветов», Горький получил письмо от Р. В. Иванова-Разумника, — тот спрашивал: «...приемлемо ли для Вас близкое участие в журнале, литературно-критическая часть которого будет продолжением и развитием взглядов моих последних книг...» (Г, Материалы, т. III, стр. 86). Предполагая, что Иванов-Разумник, к тому времени прославившийся своими нападениями на марксизм, имеет в виду «Заветы», Горький 12 (25) или 13 (26) января написал резкое письмо самому Иванову-Разумнику, закончив его словами: «Копию этого письма я посылаю Чернову и Миролюбову вместе с просьбой возвратить мне мою рукопись и сотруднику журнала не считать меня» (Г-30, т. 29, стр. 218). В отправленном в тот же день письме Чернову и Миролюбову Горький, резко отозвавшись об Иванове-Разумнике как историке общественных течений, писал: «От сотрудничества с ним отказываюсь, рукопись мою прошу возвратить» (там же, стр. 219). Как выяснилось, Горький смешал два издания — журнал Иванова-Разумника, организуемый в Петербурге, и журнал «Заветы» — в Москве, что и разъяснил ему Миролюбов в письме от 16 (29) января 1912 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-51-6-10). После этого Горький послал телеграмму с разрешением сдать рукопись в набор, о чем свидетельствует письмо Миролюбова Горькому от



30 января (12 февраля), в котором говорится: «Телеграмму получил. Рукопись послал в январскую книгу 3 главы...» (там же, КГ-п-51-6-11). Но в феврале Горький изменил свое решение и отдал рассказ в журнал «Вестник Европы», уведомив об этом редактора Д. Н. Овсяннико-Куликовского письмом от 29 февраля (13 марта) 1912 г.: «Если Вам еще не передали, то на днях передадут рукопись моего рассказа „Три дня“, о чем и спешу известить Вас» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 145). В другом письме (конец февраля) Горький писал Овсяннико-Куликовскому: «...„Три дня“ посланы мною потому, что вещь, которую я начал писать для „Вестника Европы“, мне не удалось бы кончить к сроку, указанному мною, и я отложил ее на осень...» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 147)<sup>1</sup>.

Текст «Трех дней» в журнале отличается от текста берлинского издания рядом различий, главным образом стилистического характера, — Горький, видимо, вносил изменения в первоначальную редакцию. В 1915 г., включая «Три дня» в *ЖЗ*, автор вновь подверг текст стилистической правке, а в 1922 г. по тексту т. XVIII *ЖЗ* Горький правил «Три дня» для *К*. Эта редакция значительно отличается от предыдущих: сделаны не только большие сокращения и стилистическая правка, но внесены существенные смысловые изменения в характеристику отдельных персонажей, особенно Николая Назарова и Рогачева (см. варианты).

Ознакомившись с новым произведением Горького еще в рукописи, Овсяннико-Куликовский сообщал автору, что «Три дня» ему «очень и очень понравились, как по замыслу, так и по исполнению» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 145).

Рассказ понравился и М. М. Коцюбинскому. 15 (28) мая 1912 г. он писал Горькому из Чернигова: «Здесь зачитываются Вашим рассказом „Три дня“. Даже кислого, разочарованного в современной литературе читателя рассказ захватывает. А мне это так приятно, как будто я сам написал „Три дня“» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 354).

А. М. Коллонтай, видная участница революционного движения, писала Горькому (не ранее конца мая 1912 г.): «Вы один из тех немногих писателей-современников, которых не только чтить и ценить, но и любить за то большое настоящее, неповторимое, что дают их создания даже при неизбежных случайных отклонениях творческого маятника. Сколько раз, читая Ваши работы последнего времени, „Кожемякина“, „Три дня“, хотелось Вам написать, сказать, как любишь Ваше творчество за то „настоящее“, что оно дает...» (Архив А. М. Горького, КГ-од-1-2Л-4).

С одобрением встретил начало публикации нового произведения А. А. Измайлов. Тип крестьянина в «Трех днях», утверждал

---

<sup>1</sup> «Заветам» Горький дал другой рассказ — «Рождение человека», который был напечатан в первом номере журнала, вышедшем в апреле 1912 г.

критик, «можно почти без натяжки назвать современным». («Новое слово», 1912, № 6, стр. 126, 128). Однако окончание произведения разрушило, по мнению Измайлова, «надежды читателя найти здесь какую-либо новую беллетристическую проблему о народе или новый, выдвинутый уже сегодняшним днем, крестьянский тип» (там же, 1912, № 7, стр. 119).

Н. М. Коробка отнес «Три дня» к числу выдающихся явлений текущей беллетристики, но отнес потому, что рассказ будто бы «заставлял крепнуть надежду, что в творчестве Горького начинается новый <...> период: писатель «вновь начинает видеть жизнь не сквозь призму доктрины» («Запросы жизни», 1912, № 20, 18 мая, стр. 1206).

У представителей реакционной печати вызвал негодование сам факт появления горьковского произведения на страницах «Вестника Европы» — органа «аристократов интеллигенции», как писал А. Басаргин. В обычной для него манере названный критик заявлял, что «Три дня» — это «форменное безобразие» («Московские ведомости», 1912, № 109, 12 мая).

В 1915 г., в связи с выходом т. XVIII ЖЗ, критика высоко оценивала художественные достоинства рассказа. «В „Трех днях“, — писал А. Кратов, — изображается жизнь крестьян, чуть-чуть затронутых просвещением, но по существу первобытно грубых и жестоких. Все лица как живые, и чувствуется в авторе большой знаток крестьянской жизни <...> В художественном отношении это, после „Детства“, может быть лучшее из всего, написанного Горьким за последние 5 лет...» («Новый журнал для всех», 1915, № 10, стр. 62).

Стр. 85. *Ой, девицы-девушки-и, ой!* — один из вариантов популярного зачина в русских народных песнях о несчастной любви девушки.

Стр. 102. *Грушники* — продавцы пареной груш. О грушниках Горький рассказывает в письме к Груздеву от 12 марта 1936 г. (*Архив ГХИ*, стр. 356).

Стр. 130. *Финик?* — Здесь — игра слов (finis — конец лат.).

Стр. 131. *Шлёха* (просторечие) — распутная или лешивая женщина, лгунья, клеветница.

Стр. 136. *Христе милостивый со святыми упокой иде же нет печали и вздыхания...* — Из заупокойной службы православной церкви. Требник, изд. Московской Патриархии, 1956, л. 135.

Стр. 145—146. *Что есть человек, яко помниши его, или сын человек...* — Псалтырь, псалом 8, стих 5.

Стр. 146. *Первую кафизму читает...* — Первый из двадцати отделов Псалтыря.

Стр. 154. *Да постыдятся вси кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах свои-их...* — Псалтырь, псалом 96, стих 7.

Стр. 155. *«Ложь конь во спасение»* — Псалтырь, псалом 32, стих 17: «ненадежен конь для спасения».

## КРАЖА

(Стр. 159)

Впервые напечатано в журнале «Просвещение», 1913, № 6, стр. 3—19. Под заглавием «Лука Чекин» помещено в книге: «Привіт Іванові Франкові в сороколїтте його письменської праці. 1874—1914». — «Літературно-науковий збірник». Львів, 1916 (Сб ИФ).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинопись (М), послужившая оригиналом набора для ЖЗ (ХПГ-35-11-1).

2. Печатный текст рассказа из ЖЗ, не содержащий правки, оригинал набора для К.

Печатается по М со следующими исправлениями:

Стр. 161, строка 7: «Работать всегда лучше» вместо «Работать всего лучше» (по ПТ и Сб ИФ).

Стр. 161, строка 24: «сотрясло сердце Луки» вместо «сотрясало сердце Луки» (по ПТ и Сб ИФ).

Стр. 163, строка 19: «всегда пьяная, немножко безумная жизнь» вместо «всегда пьяная, всегда безумная жизнь» (по Сб ИФ).

Стр. 164, строка 38: «торчали над водою» вместо «торчали под водою» (по Сб ИФ).

Стр. 166, строка 18: «еще больше смягчала его» вместо «еще более смягчала его» (по ПТ и Сб ИФ).

Стр. 166, строки 30—31: «и всё исчезало» вместо «и всё исчезло» (по ПТ и Сб ИФ).

Стр. 168, строка 39: «деревья все склонились» вместо «деревья все склонялись» (по ПТ и Сб ИФ).

Стр. 177, строка 9: «Ты чего отбросил» вместо «Ты чего бросил» (по ПТ и Сб ИФ).

Начало работы над рассказом относится, по-видимому, к осени 1912 г., когда готовился во Львове сборник, посвященный сорокалетию литературной деятельности Ивана Франко, исполнявшемуся в мае 1914 г. Возможно, что с просьбой принять участие в сборнике обратился к Горькому М. Коцюбинский (член юбилейного комитета) еще в начале 1912 г., во время своего пребывания на Капри. 9 (22) октября 1912 г. он писал Горькому: «Решаюсь напомнить Вам (Вы сами просили об этом) обещание Ваше прислать какую-нибудь вещь для юбилейного сборника в честь Франко. Как раз наступило время...» (Коцюбинский, т. 4, стр. 360). 20 октября (2 ноября) Горький ответил: «Рассказ во Львов на днях пошлю, он уже готов, да всё нет времени отделать окончательно» (Г-30, т. 29, стр. 278).

В мае 1913 г. Горький получил официальное обращение юбилейного комитета с сопроводительным письмом В. М. Гнатюка от 6 (19) мая 1913 г. «Пишу к Вам еще под свежим, тяжелым впечатлением смерти незабвенного Мих. Мих. Коцюбинского, — сообщил Гнатюк. — Покойный обещал обратиться к Вам, г. Буvinу и г. Короленку с просьбой принять участие в юбилейном

сборнике в честь Ивана Франко, приготавливаемом у нас во Львове и имеющем вскоре, через два-три месяца, начаться печатанием. Но тяжелая болезнь, по-видимому, не позволила Михайлу Михайловичу выполнить свое обещание, так как Комитет по составлению сборника не получил до сих пор ни от кого из Вас ответа. Поэтому я решаюсь взять на себя смелость лично просить Вас от имени Комитета не отказать в присылке для сборника хотя бы небольшой вещицы, всё равно, беллетристического или какого иного содержания <...> Комитет был бы Вам крайне обязан, если бы Вы, кроме этого, взяли на себя труд переговорить относительно участия в сборнике с гг. Буниным и Короленком <...> Статьи будут печататься в оригинале, следовательно, в данном случае по-русски» (Архив А. М. Горького, КГ-п-20-11-1).

Рассказ Горький послал во Львов вскоре по получении этого письма. 23 мая (5 июня) 1913 г., сообщая Короленко о просьбе Гнатюка, Горький писал: «Просят об участии в деле этом, кроме Вас, — Ив. Бунина, которому я написал уже и обещание которого дать стихи — имеется. Я тоже послал рассказ» (Г-30, т. 29, стр. 307).

В переписке Горького с Буниным сборник, посвященный И. Франко, упоминается в августе-сентябре 1912 г. Так, около 18 (31) августа 1912 г. Горький спрашивал Бунина: «Помните, — Вы обещали дать рассказ для сборника в честь Франко? Срок — до конца октября...» (Г Чтения, 1961, стр. 67). 28 сентября (11 октября) Бунин отвечал: «В сборник Франко шлю стихи на днях» (там же, стр. 69). Однако стихов Бунина в сборнике нет.

По всей вероятности, одновременно с отправкой рассказа во Львов или несколько раньше он был послан в журнал «Просвещение». Выход сборника, посвященного Ивану Франко, задержался из-за условий военного времени.

В 1915 г. Горький внес в рассказ небольшие исправления стилистического характера, готовя его для т. XVI ЖЗ. Эти исправления отражены в М. Цензура сделала в издании ЖЗ две купюры (выделенное курсивом заменено цензорскими отточиями):

Стр. 159, строки 7—8: «Три года с лишком Лука терся в денщиках у пьяного поручика Слепухина...»

Стр. 163, строки 17—19: «...в тесной квартире поручика текла неустанно какая-то странно пестрая, всегда пьяная, немножко безумная жизнь...»

При подготовке К текст рассказа не редактировался Горьким и указанные цензурные изъятия не были восстановлены.

Стр. 165. *Шабала* — пустомеля.

Стр. 168. ...до *Исады-пристанки*. — Пристань, расположенная на правом берегу Волги, недалеко от города Макарьева.

Стр. 168. *Наша жизнь коротка*... — Популярная студенческая песня. Автор не установлен. Текст ее см.: «Русские песни. Составил И. Н. Розанов». М., Гослитиздат, 1952, стр. 349.

## М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

(Стр. 178)

Впервые напечатано на украинском и русском языках в журнале «Літературно-науковий вісник». <Київ>, 1913, № 6, червень, стр. 385—396, а также в журнале «Вестник Европы» (ВЕ), 1913, № 7, стр. 323—329.

В Архиве А. М. Горького хранятся гранки очерка (ХПГ-35-10-1), напечатанного в виде предисловия к сборищу рассказов: М. М. К о ц ю б и н с к и й. То, что записано в книгу жизни. Берлин, изд. Е. А. Гутнова, 1923. Эти гранки, на которых рукою Горького написано заглавие и вычеркнуто одно место, а И. П. Ладжиниковым проведена правка и сделаны технические пометы, послужили оригиналом набора для книги: М. Г о р ь к и й. Воспоминания. Verlag «Kniga». Berlin, 1923.

Печатается по тексту этой книги с исправлениями:

*Стр. 179, строка 24:* «щенилась» вместо «ощенилась» (по ПТ и ВЕ).

*Стр. 179, строка 29:* «еще не рожавшей», вместо «еще не родившей» (по ПТ и ВЕ).

*Стр. 180, строки 37—38:* «мне только и хорошо на Капри» вместо «мне только хорошо на Капри» (по ВЕ и письму Коцюбинского).

*Стр. 181, строка 26:* «гуцулы-номады» вместо «гуцуловы громады» (по ПТ, ВЕ и письму Коцюбинского).

*Стр. 181, строка 27:* «Если бы вы знали» вместо «Если бы знали» (по тем же источникам).

*Стр. 182, строка 7:* «ненужными даже, и как-то совестно» вместо «ненужными, и даже как-то совестно» (по тем же источникам).

*Стр. 182, строки 13—14:* «стихотворений в прозе» вместо «произведений в прозе» (по ПТ и ВЕ).

*Стр. 182, строка 18:* «И не так нужно писать» вместо «И не так жутко писать» (по ПТ и ВЕ).

*Стр. 183, строки 35—36:* «уложили в клинику» вместо «уложили в комнатку» (по ПТ, ВЕ и письму Коцюбинского).

*Стр. 184, строка 2:* «и даже в этот день» вместо «даже в этот день» (по ВЕ).

*Стр. 184, строки 21—22:* «поэзия непрерывной смены форм» вместо «поэзия непрерывной смены формы» (по ПТ и ВЕ).

*Стр. 185, строки 1—2:* «редкий цветок отцвел, ласковая звезда погасла» вместо «редкий цветок, ласковая звезда погасла» (по ПТ и ВЕ).

За десять лет до первой встречи Горького и Коцюбинского, в декабрьской книжке журнала «Жизнь» за 1899 г. появился рассказ Коцюбинского «Ради общей пользы» — первый перевод на русский язык произведения этого писателя. Горький уже в то время делал немало для того, чтобы познакомить русского читателя с украинской литературой. Много позднее, в 1933 г., он признавался в одном из писем: «...я питал „влеченье, род недуга“ к литературе Украины» (Г-30, т. 30, стр. 295).

9 (22) апреля 1909 г. Коцюбинский, перед отъездом на Капри,

просил В. Г. Короленко дать ему рекомендательное письмо к Горькому (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 253—254). 15(28) апреля Короленко написал такое письмо: «По старой памяти позволяю себе рекомендовать Вашему вниманию Михаила Михайловича Коцюбинского, талантливого украинского писателя и моего знакомого. По состоянию здоровья ему тоже придется жить на Капри, и он просил меня облегчить ему знакомство с Вами» (*Г и Короленко*, стр. 58—59).

2 (15) июня 1909 г. приехавший на Капри Коцюбинский посетил Горького и тогда же в письме поделился своими впечатлениями с А. И. Аплакшиной: «Длинный визит у Горького, с 2 до 11 часов вечера, напряженная беседа на темы, интересующие нас обоих... Он меня знает по литературе и, оказалось, ценит. Сам он живой, интереснейший человек, говорит нервно, иногда слезы блещут на глазах, когда волнуется...» (*ЛЖТ II*, стр. 81—82). Пробыв на Капри до 27 июня (10 июля), Коцюбинский постоянно виделся с Горьким, присутствовал на чтении повести «Лето», принимал участие в прогулках и поездках Горького (там же, стр. 82—85). Возвратившись на Украину, Коцюбинский послал в августе 1909 г. Горькому интересующие его книги об украинской литературе и фольклоре, сопроводив посылку письмом: «...у меня столько хороших воспоминаний о Капри, что я до сих пор живу ими. Меня так и тянет назад, на остров чудес, на виллу Spinola» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 271). Горький отвечал 15 (28) сентября: «А попросту скажу — очень я доволен, что встретил Вас, и большую симпатию вызвали Вы в душе моей! Уж извините, коли это „объяснение в любви“ покажется Вам грубоватым или неуместным» (*Г-30*, т. 29, стр. 98).

Коцюбинский еще дважды бывал на Капри: в июне-июле 1910 г. и в ноябре 1911 — марте 1912 годов. В июне 1910 г. Горький писал С. Я. Елпатьевскому, уговаривая его приехать на Капри: «Засим — превосходное лицо имеет душа Михайлы Коцюбинского, чудесное лицо!» (*Архив Г VII*, стр. 90). 2 (15) июля 1910 г. Коцюбинский рассказал в письме к М. И. Жуку о своей каприйской жизни: «Я очень близко сошелся с Горьким, видимся почти ежедневно; когда я долго не прихожу, он заходит за мной, гуляем, сидим вместе и ведем бесконечные беседы на литературные темы. Иногда он читает свои новые вещи или рассказывает о своих планах, о будущих трудах. Он и его семья так заботятся обо мне, так много делают для меня, что я чувствую горячую благодарность» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 292).

Свои каприйские впечатления Коцюбинский описал в рассказе «Сон», напечатанном по рекомендации Горького в журнале «Современник» (1912, № 5). Получив рукопись рассказа, А. В. Амфитеатов писал Горькому 30 ноября (13 декабря) 1911 г.: «Коцюбинскому каприоты должны поставить монумент при жизни на соборной площади или, по крайней мере, назначить ему пожизненную пенсию: так заманчиво расписал он Вашу „выспу“<sup>1</sup> в своем „Сне“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-122).

<sup>1</sup> Wyspa — остров (польск.).

По инициативе Горького издательство «Знание» выпустило в 1910—1911 годах два тома произведений М. Коцюбинского в переводе на русский язык; третий том вышел в 1914 г. в «Книгоиздательстве писателей» (Москва). «Книжку Вашу прочитал с большим наслаждением, с душевной радостью», — писал Горький в декабре 1910 г. по поводу первого тома (Г-30, т. 29, стр. 149).

Горький привлек Коцюбинского к сотрудничеству в журнале «Заветы», который замыслился «как попытка объединения литераторов всех национальностей» (там же, стр. 214). В том же году он предлагал В. В. Вересаеву выпускать в «Книгоиздательстве писателей» не только сборники современной русской литературы, но и национальные сборники, в частности — украинский (там же, стр. 248).

На смерть Коцюбинского, последовавшую 12 (25) апреля 1913 г., Горький откликнулся телеграммой, адресованной жене писателя: «Большого человека потеряла Украина, — долго и хорошо будет она помнить его добрую работу» (Г-30, т. 29, стр. 300). Текст другой телеграммы Горького: «Смертен человек, народ бессмертен. Глубокий мой поклон народу Украины» — был написан на ленте, которую несли вместе с венками за гробом Коцюбинского (там же).

Воспоминания о Коцюбинском Горький написал в конце мая 1913 г. Незадолго до этого, 19 апреля (2 мая), он сообщал редактору «Вестника Европы» Д. Н. Овсяннику-Куликовскому: «Очень ушибла меня смерть М. М. Коцюбинского, знал я, что он болен тяжело, знал и видел это, а все-таки — обидно, что так рано ушел от жизни этот славный человек, этот лирик, любивший землю какой-то особенной, как бы женской любовью» (Г-30, т. 29, стр. 301). Вскоре Горький получил письмо одного из редакторов «Літературно-наукового вісника» О. Олеса, датированное 18 апреля (1 мая): «М. М. Коцюбинский нередко рассказывал мне о своих встречах с Вами на Капри, и из его слов я мог заключить, что между вами были хорошие, добрые отношения. От имени всей редакции позвольте теперь обратиться к Вам с большой просьбой: не согласились бы Вы написать для нашего журнала хоть страничку своих воспоминаний о Мих. Мих.? Смерть его — это громадная для нас утрата, и Ваши слова о нем прозвучали бы утешением <...> Ваши воспоминания будут напечатаны на украинском языке» (Архив А. М. Горького, КГ-п-55-5-3).

Горький ответил согласием, как явствует из следующей телеграммы О. Олеса, доставленной на Капри 19 мая (1 июня) 1913 г.: «Редакция нетерпением ждет вашей статьи. Благоволите уведомить, когда высылаете рукопись». На этой телеграмме Горький написал ответ, тогда же отправленный: «Занят работой сборнику Франко, Вам вышлю рукопись через неделю» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-29-19-1).

В последних числах мая, когда воспоминания были написаны, Горький послал их не только «Літературно-науковому

віснику», но и «Вестнику Европы», так как еще в марте Овсяннико-Куликовский обратился к нему с просьбой: «Я лично (и думаю, — многие) высоко ценю также Ваши литературные воспоминания. Сужу по очерку о Петропавловском-Каронине. Если бы, кроме беллетристики, Вы дали нам что-нибудь в этом роде — мы были бы очень рады и признательны» (Г, *Материалы*, т. III, стр. 154). В письме к Овсяннико-Куликовскому от конца мая 1913 г. Горький сообщал: «Посылаю несколько страниц моих воспоминаний о М. М. Коцюбинском, человеке, любимом мною. Воспоминания эти предназначены для „Л(итературно)-и(аукового) вісника“ и будут напечатаны по-украински. Но, может быть, это не помешает Вам поместить их и в „Вестнике Европы», ибо наша публика знает рассказы Коцюбинского и, вероятно, ей небезынтересно будет узнать кое-что о личности автора» (Г-30, т. 29, стр. 307—308). 4 (17) июня Овсяннико-Куликовский уведомил автора: «Только что получил (в редакции) Вашу статью о Коцюбинском, прочитал и сдал в набор, для июльской книги. Статья превосходная! Редакция Вам очень благодарна...» (Г, *Материалы*, т. III, стр. 157). 6 (19) июня ответил Горькому и О. Олесь: «Горячо благодарим Вас за статью. Пойдет она в 6-й книжке журнала в переводе и оригинале» (Архив А. М. Горького, КГ-п-55-5-1).

В 1923 г. Горький провел стилистическую правку воспоминаний, готовя их в качестве предисловия к сборнику М. М. Коцюбинского «То, что записано в книгу жизни», а затем внес в текст еще несколько исправлений для своей книги «Воспоминания», К, 1923.

Стр. 178. «Прекрасное — это редкое», — говорили Гонкуры. — Из какого произведения взята эта цитата, установить не удалось. Впервые Горький сослался на это высказывание в рассказе «Соловей» (1895): «Красиво только редкое, сказал один из Гонкуров...» (см. наст. изд., т. II, стр. 572). К тому времени в России было переведено лишь три романа старшего брата, Эдмона Гонкура: «Братья Земганно», «Фостен» и «Шери» (см. «Библиографический указатель переводной беллетристики». СПб., 1897), однако в них подобного выражения нет. Нет его и в «Дневнике братьев Гонкур» (СПб., 1898), хранящемся в ЛБГ.

Стр. 179. ...во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиеро Сеттимо... — В период итальянской революции 1848—1849 годов Сицилия выступала с требованием конституции и полной независимости от Неаполитанского королевства. 25 марта 1848 г. Руджиеро Сеттимо (1778—1863) был избран президентом Сицилии. В сентябре 1848 г. неаполитанский король Фердинанд II (1810—1855) начал военные действия против Сицилии, подвергнув варварской бомбардировке г. Мессину, за что и получил прозвище «короля-бомбы». Восставшая Сицилия героически оборонялась, и лишь 25 апреля 1849 г. город Палермо был занят войсками Фердинанда II, причем Руджиеро Сеттимо последним покинул город.



Стр. 180. *«Чувствую себя неважно...»* — Из письма Коцюбинского от 9 (22) сентября 1910 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 299).

Стр. 181. *...на портрете Жука...* — Украинский художник и писатель М. И. Жук (1883—1964) написал два портрета Коцюбинского, в 1907 и в 1909 году. Горький говорил о последнем, оригинал которого хранится в Государственном литературно-мемориальном музее М. М. Коцюбинского в г. Чернигове.

Стр. 181. *...по пути к Arka Naturale...* — Одно из любимых Горьким мест для прогулок в горах Капри, где выветрившаяся горная порода образовала естественную арку. В фондах Музея А. М. Горького хранятся многочисленные фото Arka Naturale, сделанные Ю. А. Желябужским и Н. Е. Буренным.

Стр. 181. *...о благотворной работе загубленной ныне «Просвіти».* — «Просвіта» — культурно-просветительские народные общества, существовавшие на Украине с 1870-х годов. В 1906 г. Коцюбинский организовал Черниговское отделение «Просвіти», в котором был избран председателем. В отличие от обществ в других городах, где работа ограничивалась культурно-просветительской, а зачастую и националистической пропагандой, Коцюбинский использовал Черниговское отделение для революционной агитации. В сентябре 1908 г. он был исключен из общества черниговским губернатором за выступление против украинских националистов и черносотенцев на XIV археологическом съезде, посвященном тысячелетию Чернигова. В декабре 1908 г. Коцюбинский писал В. М. Гнатюку: «...дела общества пришли в полный упадок: одни испугались и спрятались так, что о них ни слуху ни духу, другие заняты болтовней или работают в других обществах» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 250).

Стр. 181. *«Всё время провожу в экскурсиях...»* — Из письма Коцюбинского от 16 (29) июля 1911 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 328—334).

Стр. 181. *Гуцуль-номады* — группа украинской народности, живущая в Карпатах и сохраняющая своеобразие языка, обычаев, одежды. Описана в рассказе Коцюбинского «Тени забытых предков» (1912).

Стр. 181. *«Не утерпел я...»* — Из письма от 27 августа (9 сентября) 1910 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 298).

Стр. 182. *«Мои рассказы всегда кажутся мне...»* — Из письма от 19 декабря 1910 (1 января 1911) г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 313).

Стр. 182. *«Самотный»* — лучшее из трех стихотворений в прозе... — В русском переводе известно под названием «Одиночество». В цикл стихотворений в прозе «Из глубины» первоначально входили три стихотворения: «Облака» (1903), «Усталость» (1903) и «Одиночество» (1904). Позднее было присоединено четвертое — «Сон» (1904).

Стр. 182. *Жаль маю до землі...* — Из стихотворения в прозе М. М. Коцюбинского «Усталость» (1903).

Стр. 182. *Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх»!* — Рассказ «Смех» впервые напечатан в сборнике «Нова Громада», 1906, кн. II.

Стр. 183. *«Должен сознаться...»* и *«Почти ничего не удалось...»* — Из письма Коцюбинского от 11 (24) марта 1911 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 324—325).

Стр. 183. *«...работа так утомляет меня...»* — Коцюбинский вынужден был служить статистиком в Черниговской губернской земской управе. Лишь за два года до смерти он получил пожизненную стипендию от «Украинского литературного общества», а тем самым и возможность заниматься только литературным трудом.

Стр. 183. *«...вилла в четыре комнаты за 65 лир...»* — Весной 1911 г. М. Ф. Андреева писала Коцюбинскому: «Знаете ли, что нашлась такая вилла „Эспозито“ с чудеснейшим видом, очень хорошей обстановкой, в четыре комнаты — за 65 лир в месяц со всем прибором, причем белье очень хорошее, а сама хозяйка — ей-богу, не преувеличиваю — ангел во плоти» (*Андреева*, стр. 195).

Стр. 183. *«Плохо мне, дорогой А. М. ...»* — Из письма Коцюбинского от 9 (22) октября 1912 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 359).

Стр. 183. *...из клиники Образцова...* — Клиника киевского профессора-терапевта В. П. Образцова (1851—1920).

Стр. 183. *«Перевели меня, наконец, в Киев...»* — Из письма Коцюбинского от 26 октября (8 ноября) 1912 г. (там же, стр. 360).

Стр. 184. *...огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка...* — В письме от 26 октября (8 ноября) 1912 г. Коцюбинский сообщал: «Вчера было мне очень плохо, огорчила смерть близкого человека — Н. В. Лысенко» (там же). Украинский композитор Н. В. Лысенко умер 24 октября (6 ноября) 1912 г.

Стр. 184. *...солидно вооруженный знанием естественных наук...* — Образование Коцюбинского ограничилось начальным училищем. В 1891 г. он сдал экзамен на звание пародного учителя. С 1892 по 1897 г. работал в филлоксерной комиссии, которая вела борьбу с вредителями виноградников в Бессарабии и Крыму. Эта работа обогатила Коцюбинского сведениями из области естественных наук.

Стр. 184. *«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого».* — Из письма Коцюбинского от 7 (20) декабря 1910 г. (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 311). 7 (20) ноября Горький, получив телеграмму (ложную) о смерти Толстого, писал Коцюбинскому: «Заревел я отчаяннее и целый день плакал — первый раз в жизни так мучительно, неутешно и много <...> так переволновался, что опять кровохарканье возобновилось <...> Теперь живу в напряженном ожидании вестей из России о нем, душе нацип, генип народа» (*Г-30*, т. 29, стр. 137).

## 〈ЛЕГЕНДА О МУКАННЕ〉

(Стр. 186)

Впервые напечатано в газете «Дочь», 1915, № 79, 22 марта, вместе с двумя произведениями о Тамерлане, под общим заго-

ловком «Рассказы». Указанные произведения о Тамерлане в последующей публикации («В помощь пленным русским воинам». Литературный сборник под редакцией Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова. М., 1916) появились под общим заголовком «Легенды о Тамерлане»; это и определило название, данное редакцией произведению о Муканне.

Печатается по тексту газеты.

Основным источником произведения явилась, по-видимому, книга венгерского историка Армина Вамбери «История Бохары, или Трансоксании с древнейших времен до настоящего...» (том первый. СПб., 1873). Экземпляр этой книги сохранился в ЛБГ. В книге содержатся эпизоды из жизни «лжепророка Моканны», весьма близкие к эпизодам «Легенды о Муканне».

Вамбери, однако, не дал объективного изображения ни восстания «людей в белых одеждах», ни их вождя. Между тем массовое восстание «одетых в белое» имело прогрессивное значение (см.: «История Узбекской ССР», т. I, кн. 1. Ташкент, 1955, стр. 164—173; Б. Г. Гафуров. История таджикского народа, т. I. М., 1955, стр. 164—168. Ср. также: А. Ю. Якубовский. Восстание Муканны — движение людей в белых одеждах.— «Советское востоковедение», кн. V. 1948).

Кроме книги Вамбери, Горький мог, видимо, пользоваться и другими источниками, в частности, сказкой «Ватек» английского писателя-романтика Уильяма Бекфорда, «Сборником восточных повестей, рассказов, легенд и сказаний» (СПб., 1895), Кораном (см.: Л. Н. Ульрих. Самаркандские легенды Горького.— *Г Чтения*, 1962, стр. 205—207).

Стр. 186. ...*Мокайма* — Муканна (арабск.— закрытый покрывалом); подлинное имя: Хашим ибн-Хахим (ум. ок. 783 или 785).

Стр. 187. *Хандагар* — Кандагар, город и провинция, ныне находящиеся на территории южного Афганистана.

Стр. 187. *Моисей* — библейский пророк и законодатель; ему приписывается «Пятикнижие» — первые пять книг Библии.

## ЛЕГЕНДЫ О ТАМЕРЛАНЕ

(Стр. 189)

Впервые напечатаны в газете «День», 1915, № 79, 22 марта, вместе с легендой о Муканне, под общим заголовком «Рассказы». Позднее опубликовано в книге: «В помощь пленным русским воинам». Литературный сборник под редакцией Н. В. Давыдова и Н. Д. Телешова. М., 1916, стр. 55—58.

В Архиве А. М. Горького хранится выправленная и подписанная автором машинопись — АМ (ХПГ-36-2-1), послужившая оригиналом набора для сборника «В помощь пленным русским воинам».

Печатаются по тексту названного сборника с исправлением по АМ: «И долго спустя» (стр. 189, строка 22) вместо «А долго спустя».

«Легенды о Тамерлане» тематически и по использованным источникам связаны со сказаниями о Тимуре в «Сказках об Италиш». Материал для них Горький, по-видимому, черпал из книги венгерского историка Армина Вамбери «История Бохары, или Трансоксании с древнейших времен до настоящего...» (том первый. СПб., 1873), а также из других книг о Тамерлане. Ему, например, была известна книга Рюи Гонзалеса де Клавихо «Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403—1406 годах», изданная в 1881 г., перевод и ред. И. И. Срезневского. В 1911 г. Горький писал о ней Амфитеатрову: «О Тамерлане есть чудесная книга Гонзалеса Клавихо, изданная Академией. Серьезный парень был этот посол и умел много видеть» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-99). Пользовался Горький и книгой: Л. Л я н г э. Жизнь Тимура. Ташкент, 1890. В ЛБГ сохранилась книга «Гюлистан <„Цветник роз“> — творение шейха Мослихудида Саади Ширазского». М., 1882. Первая легенда о Тимуре имеет черты сюжетного сходства с рассказом 24-м из «Гюлистана». Сравнения «Легенд о Тамерлане» с историческими сочинениями см. в ст.: К. Д. М у р а т о в а. Сказки об Италиш.— Г, Материалы, т. IV; Л. Н. У л ь р и х. Самаркандские легенды Горького.— Г Чтения, 1962.

Стр. 189. *Великий Хромой, Тимур-хан* — Тамерлан (1336—1405), основатель Среднеазиатской империи, «великий эмир». Образованное им государство существовало в 1370—1405 годах. Тимур был хромым. Слово «ленг», приставленное к его имени персами, означает «хромой». Имя же Тимур в переводе с тюркского означает «железо». Отсюда прозвище Железный Хромец.

Стр. 190. *Хороссан* — область Средней Азии, включавшая часть современной Туркменской ССР, Афганистана и Пакистана; входила во владения Тимура.

## ПОЖАР

(Стр. 193)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Вестник Европы», 1915, № 5, стр. 5—29. В том же году, готовя т. XVI ЖЗ, Горький провел небольшую правку рассказа; этот текст послужил оригиналом набора для К. Он хранится в Архиве А. М. Горького (ХПГ-45-3-1). В 1916 г. рассказ был перепечатан журналом «Жизнь для всех» (№ 6, стр. 609—634) в редакции, подготовленной для ЖЗ.

Печатается по тексту т. XVI ЖЗ со следующими исправлениями:

Стр. 194, строки 26—27: «ручьи сердито трепали» вместо «ручьи трепали» (по ПТ).

Стр. 196, строка 7: «другая рука в кармане» вместо «другая в кармане» (по ПТ).

Стр. 210, строка 17: «летит облаком, густо и быстро» вместо «летит густо, облаком, густо и быстро» (по ПТ).

Стр. 210, строка 26: «Дом, переживший» вместо «Дом, проживший» (по ПТ).

Стр. 216, строка 29: «Мы, говорят» вместо «Мы, говорит» (по К, см. также контекст).

Стр. 218, строка 24: «Темной, тесно уставленной» вместо «Тесной, тесно установленной» (по ПТ).

В 1933 г., в связи с сорокалетием литературной деятельности Горького, одно из советских издательств решило выпустить сборник рассказов писателя в «Юбилейной школьной серии». Об этом И. А. Груздев писал 22 марта того же года Горькому: «Мне поручена ГИХЛом редакция книги Ваших рассказов для „Школьной серии“. Туда входят рассказы: „Челкаш“, „Озорник“, „Кирилка“ и „Пожары“. Как мне сказали, состав установлен Вами. И вот относительно последнего рассказа я боюсь допустить ошибку: идет ли речь о „Пожарах“, помещенных в „Заметках из дневника“, или же о рассказе 1915 года „Пожар“, начинающемся словами: „Наша улица — Мало-Суетинская“ и т. д.» (Архив ГХЛ, стр. 311). Горький ответил 13 апреля 1933 г.: «Книжка для детей составлена неудачно, но я не знаю, как можно сделать лучше. „Пожары“ 22 г. целиком не годятся детям и могут соблазнить на поджог. Поместите лучше „Пожар“ 15-го. Тоже слабая вещь» (там же, стр. 321).

Для отзывов критики о рассказе «Пожар» характерны положительная оценка его изобразительной силы и стремление рассматривать его в связи с общей «панорамой» творчества Горького в годы, последовавшие за поражением первой русской революции. Однако новый этап литературной деятельности Горького, отмеченный углублением его реализма, расширением сферы художественного исследования российской действительности, острым, хотя и более сдержанным, строгим по форме изображением тех социальных противоречий и духовных брожений, которые свидетельствовали об изжитости старых «устоев», о назревании революции, — этот новый этап истолковывался зачастую одно-сторонне и тенденциозно.

На страницах либерального «Вестника Европы» со статьей «Творчество Горького последних лет» выступил М. Королицкий. Признавая «яркое и самобытное дарование» писателя, критик не мог также не признать, что «идеология Горького, общая концепция его тревожного и протестующего мирозерцания осталась <...> та же». Вместе с тем Королицкому, которому импонировала классическая формула либеральной интеллигенции: «Наше время — не время великих задач, хотелось бы доказать, что теперь и в творчестве Горького «яркая непримиримость значительно смягчена» («Вестник Европы», 1916, книга 5, стр. 403—405). И в рассказе «Пожар», как думается критику, печаль Горького о социальном неустройстве — «не та, старая, вулканическая»,

и «томление — не то, в котором было столь много пламенного, динамического элемента» (там же, стр. 409).

Если в статье Королицкого сквозит желание увидеть писателя-революционера сторонником мирного обновления, то меньшевистская газета «Рабочее утро», не обольщаясь такими надеждами, смыкалась с буржуазно-респектабельным «Вестником Европы» в отрицательном отношении к «тревожному и протестующему мирозерцанию» Горького. Выступивший на страницах «Рабочего утра» И. Н. Кубиков, признавая, что «писательская индивидуальность М. Горького определилась окончательно», что это — «большой писатель и краса русской литературы», критикует Горького за то, что он «на три четверти неисправимый романтик», что у него будто бы чувство «превалирует над размышлением». Эти черты Кубиков пытается найти и в рассказе «Пожар». Рассказ написан «рукой умелого и опытного художника», но Горький здесь, как утверждает Кубиков, идеализирует «огненную стихию», которую критик, судя по всей логике его статьи, толкует расширительно, в социально-политическом плане. Он считает необходимым предостеречь писателя от «преклонения» «перед силой пожара», «разрушающим огнем». «Жажда видеть жизнь красивой и одухотворенной теперь же, немедленно, — пишет Кубиков о Горьком, — настолько велика, что писатель поет гимн разрушающей людское благосостояние стихии». Кубиков противопоставляет «жаркой песне свободы и мести» — «медленную, но плодотворную работу», направленную к «сплочению масс в единый общественный организм, полный солидарности и братских чувств» («Рабочее утро», 1915, 19 ноября, № 5).

Более объективная оценка «Пожара» дана в неподписанной рецензии, опубликованной в «Журнале журналов». Рецензент отзывался о «Пожаре» как о произведении, которое «носит все черты, характеризующие творчество последнего периода Горького. Во всех последних своих произведениях Горький явно умышленно снял „многоцветные одежды“ свои — с одной стороны, как будто опасаясь, что многоцветность лишает рисунок строгой точности и правдивости, а с другой, как будто желая сказать этим, что его, народного писателя, не влекут больше яркие одежды романтизма, а нужна ему одна только простая, будничная, суровая правда».

Несмотря на слишком резкое противопоставление новых произведений Горького ранним, рецензент сумел оценить автора «Пожара» как писателя «истинно народного», как «правдолюбца» и притом «правдолюбца-художника, который умеет, сохраняя неуклонную и беспощадную правдивость рисунка, не удовлетворяться внешней правдой, а высмотреть за ней и показать нам еще и невидимую внутреннюю истину». Однако рецензент считает, что «смешно было бы глубокомысленно доискиваться (...) символического смысла очерка». Это правдивая картина, в которой запечатлена «вся уездная Русь» («Журнал журналов», 1915, № 5, стр. 21—22).

## 〈О СТАСОВЕ〉

(Стр. 223)

Впервые напечатано в сборнике: «Незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову». СПб., Книгоиздательство «Прометей», <1910>.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью Горького, посланная в 1907 г. С. А. Венгеру и служившая оригиналом набора для первой публикации — АМ (ХПГ-41-6-1).

Печатается по тексту АМ, не имеющему заголовка. Заглавие «О Стасове», по-видимому, дано редактором сборника Венгеровым.

Написано между 9 (22) и 16 (29) октября 1907 г. В письме от 30 августа (12 сентября) 1907 г. С. А. Венгеров обратился к Горькому с предложением принять участие в сборнике, посвященном памяти В. В. Стасова, умершего 10 (23) октября 1906 г.: «Сборник имеет целью разносторонне осветить благородную личность пламенного истолкователя русского искусства <...> Последние годы Вы часто встречались с В. В., и не сомневаюсь в том, что этот замечательный старик-богатырь оставил в Вашей памяти симпатичное воспоминание <...> Всем известно, что Вы были очень дружны с В. В. Он, во всяком случае, всюду — и в печати, и устно — с любовью говорил о Вас...» (Г, Материалы, т. III, стр. 109).

«Я пришлю Вам, — отвечал Горький 9 (22) октября<sup>1</sup>, — небольшую заметку о В. В., через неделю-две, — так будет хорошо? Вы не указали срока, когда нужно послать рукопись. За предложение Ваше — сердечное спасибо, — мне радостно будет вспоминать о встречах с Владимиром Васильевичем, который и в старости своей любил жизнь, людей, искусство горячеей любовью юности, той редкой любовью, которую так жадно ищешь в людях, и — нет ее!» (Г-30, т. 29, стр. 28). Еще до получения ответа от Венгерова Горький 16 (29) октября отправил Венгеру машинопись с запиской: «Посылаю несколько строк о В. В. Стасове: торопился написать, ибо на днях снимаюсь с места и — еду. За краткость — извините!» А на следующий день Горький

<sup>1</sup> Письма Горького к Венгеру от 1907 г. опубликованы в кн.: Г, Материалы, т. III, с неточными датами.

писал: «Будьте добры, Семен Афанасьевич, заменить последний лист моей статейки приложенным здесь, а прежний — порвать и бросить. Извиняюсь за беспокойство» (Г, *Материалы*, т. III, стр. 111).

Посланный вздонок лист не сохранился в архиве С. А. Венгерова. Другой экземпляр произведения Горький тогда же в октябре 1907 г., отправил И. П. Ладыжникову с распоряжением: «Заметку о Стасове в архив» (*Архив ГУИ*, стр. 168). Однако Архив А. М. Горького этим экземпляром не располагает.

Еще до личного знакомства с Горьким Стасов принял участие в «академическом инциденте». 29 декабря (ст. ст.) 1901 г. он выдвинул кандидатуру Горького в почетные академики. После отмены, по распоряжению царя, выборов Стасов сообщил брату о предполагаемом выходе из Академии Короленко и Чехова: «Это был бы факт важный, исторический, общеевропейский — протест против полицейского нынешнего бешенства» (*Стасов*, стр. 116). А 10 (23) марта 1903 г. Стасов писал Л. Н. Толстому: «...я взял да ушел вон из нашей Академии. Там всё мне не нравилось, конечно, всего более история папа с Горьким. Я вовсе не поклонник Горького <...> Но поступки с ним мне мало нравились» («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906». Л., 1929, стр. 303—304).

О первой встрече с Горьким Стасов рассказал в письме к брату от 24 августа (6 сентября) 1904 г.: «16 августа вдруг письмо <...> от Репина: зовет нас к себе <...> в Куоккалу, на среду 18-го: у него будет днем целое музыкальное собрание <...> Но главное всего то, что 18-го у Ропина будет Максим Горький, который <...> желает со мной познакомиться <...> Пока приготавлилось всё к „концерту“ (очень порядочному), мы втроем (Репин, Горький и я) гуляли по громадному саду <...> и тут произошло наконец большущее мое знакомство с Горьким. Кажется, он вначале что-то чуждался меня <...> Но скоро всё переменялось <...> и он сделался настоящим самим собою. А сам собою он — прелестный, пречудесный. Всё, что я про него читал и слышал, — всё глупейший вздор, выдумка и ложь. Он вышел совсем другой, и прехороший, преприятный, прелестный малый, — только мало разговорчив (иной раз, вдруг!) <...> Мы почти обо всем одинаково думали — оба» (*Стасов*, стр. 235—237).

Вскоре Горький посетил Стасова на его даче в Парголово, а затем неоднократно встречался с ним в Петербурге. 15 (28) сентября Стасов писал дочери: «Еще недавно я мало знал сочинения Горького. Мало их читал, доверяя газетам и критикам, и потому был наполовину против Горького. Но теперь для меня всё переменялось. Я его всего прочел, лично с ним познакомился и теперь считаю его великим писателем (незвизрая на многие его недочеты, ошибки, погрешности и промахи); считаю его вместе с тем чудным человеком, одним из умнейших и глубочайших людей России и одним из крупнейших и оригинальнейших наших талантов» (там же, стр. 247). А 23 ноября (6 декабря) в письме к Н. Б. Нордман он восклицал: «...я вот теперь 3-й месяц плаваю в восторге —



от Горького! Что за чудная натура! Что за чудная голова! Что за поэзия! Что за сила духа и художества! Что за простота и правдивость формы!!!» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. III. М.—Л., 1950, стр. 74).

Стр. 224. ...*рассказывая мне о Рибейре...*— Имеется в виду испанский живописец Хозе Рибера (1588—1652).

Стр. 224. ...*одна из его родственниц постоянно сидела в тюрьмах...*— племянница Стасова, Е. Д. Стасова (1873—1966), один из старейших членов Коммунистической партии, участница революционного движения с 1898 г.

Стр. 225. *Многое в исканиях современных художников было чуждо В. В. ...*— Стасов был сторонником и пропагандистом реалистического искусства передвижников. Художники, группировавшиеся вокруг «Мира искусства», не пользовались его симпатиями (см., в частности, статьи: «Нищие духом», 1899; «Подворье прокаженных», 1899; «Две декадентские выставки», 1903; «Наши нынешние декаденты», 1906).

## ФЕДОР ДЯДИН

(Стр. 227)

Впервые напечатано в книге: «Литературно-художественный сборник издательства „Непогасшие огни“», кн. 1. Екатеринбург, 1910, стр. 9—21.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Машинописный текст (первый экземпляр) с правкой и подписью автора ( $AM_1$ ). Заглавие «Солдат» написано рукой Горького (ХПГ-47-7-2).

2. Машинопись (не первый экземпляр), озаглавленная «Федор Дядин», с правкой неустановленного лица ( $M_2$ ), носящей характер вычитки после машинки (ХПГ-47-7-4).

3. Машинопись (не первый экземпляр), с правкой и подписью автора ( $AM_3$ ); заглавие («Федор Дядин. набросок») написано рукой Горького и подчеркнуто волнистой чертой (ХПГ-47-7-1).

4. Машинопись с правкой неустановленного лица —  $M_4$  (ХПГ-47-7-3).

Печатается по  $AM_3$  со следующими исправлениями:

Стр. 227, строка 11: «вслед ему» вместо «вслед ей» (по смыслу).

Стр. 237, строка 12: «Сознался ты» вместо «Сознаешься ты» (по  $M_4$ ).

Возможно, рассказ был задуман еще в 1906—1907 годах, одновременно с такими произведениями, как «Патруль» и «Из повести» («Солдаты»). Первое упоминание о работе над ним относится к январю 1908 г. Оно носило название «Солдат». Писал его Горький одновременно с «Исповедью» и произведением под названием «Из повести».

В начале 1908 г. И. П. Ладыжников готовил в Берлине издание книжки из двух произведений Горького под названием «Солдаты» (см. примеч. в т. VI наст. изд., стр. 495—500). Писатель намеревался включить в сборник и набросок «Федор Дядин». В конце января 1908 г. он писал Ладыжникову: «Хотите издавать „Солдат“? Если можно — подождите с месяц времени, — у меня начат еще небольшой рассказец на эту тему, но я кончу его после той вещи, к(ото)рую пишу сейчас». Впрочем, тут же он добавил: «Не настаиваю, делайте, как Вам удобнее» (Архив Г<sub>VII</sub>, стр. 175).

Книжка «Солдаты» в берлинском издании Ладыжникова вышла в свет не позднее лета 1908 г., но без этого рассказа, — вероятно, потому, что работа над «Федором Дядиным» затянулась и была завершена только в середине июля 1908 г. Об этом можно судить по письму М. Ф. Андреевой Ладыжникову от 10 (23) июля (1908 г.):

«Ал(ексей) Мак(симович), — сообщала она, — опять засел за повесть, но все-таки хоть па ловлю рыбную ездит, так что запой не полный. Пишет для безработного издания...» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-2-1-21).

Сразу же по окончании рассказа он был отослан в Швейцарию Г. Брошэ — президенту Международного комитета для помощи безработным. Трудно сказать, что собой представляла высланная машинопись, — возможно, это был первый экземпляр АМ<sub>3</sub>.

Одновременно Горький выслал машинопись рассказа Ладыжникову:

«Дорогой Иван Павлович, — писал он, — посылаю рассказец, написанный для сборника в пользу безработных и уже посланный мною Брошэ.

М. б., Вы пристроите эту вещь где-нибудь» (Архив Г<sub>VII</sub>, стр. 184).

Как явствует из этого письма, «Федор Дядин» был написан для сборника, подготовленного в пользу безработных. Горький принимал активное участие сначала в организации «Лозаннского комитета помощи русским безработным рабочим» (1906 г.), затем в работе «Международного комитета помощи безработным рабочим России».

Один из организаторов и секретарь второго Комитета, К. П. Злинченко, впоследствии рассказал в своих мемуарах:

«В 1907 году Международный комитет решил издавать литературно-художественные сборники, для чего и было основано издательство „Труд и свобода“.

Когда было собрано достаточно литературного материала от крупных, в большинстве социалистических, писателей Европы и Америки, Комитет обратился к Горькому с просьбой принять участие в этих сборниках и взять на себя редакцию русского сборника. Горький ответил (в августе 1907 г.):

«...», Укажите крайний срок выхода сборника — я пришлю рассказ.

Взять на себя редакцию—не могу, не имею времени и — главное — опыта» («Красная новь», 1928, № 6, стр. 171).

И далее Злинченко писал:

«Алексей Максимович проявил свое активное участие в работе издательства Международного комитета предоставленном для его литературно-художественных сборников двух рассказов: „Солдаты“, напечатанного уже в берлинском издательстве Ладьяникова, и „Федор Дядин“, написанного специально для сборников.

Рукопись рассказа „Федор Дядин“ после напечатания была отослана в архив Второго Интернационала» (там же).

«Литературно-художественный сборник» издательства «Непогасшие огни», где впервые был опубликован «Федор Дядин», вышел в первой половине ноября 1909 г., хотя на титуле значится 1910 г. Сообщения о выходе сборника появились в «Биржевых ведомостях» (веч. вып.), 1909, № 11416, 14 ноября, и в газете «Новая Русь», 1909, № 316, 17 ноября.

В 1910 г. рассказ был опубликован на немецком языке в сборнике «Международного Комитета помощи безработным рабочим» — «Freiheit und Arbeit. Kunst und Literatur sammlung». На последней странице обложки указывались названия сборников, выходивших на русском и французском языках. Французский сборник носил название «Labeur et Liberté», а русский — «Nicht erloschene Feuer» (т. е. «Непогасшие огни»).

Опубликованный в русском сборнике текст «Федора Дядина» имеет различия как с сохранившимися машинописными текстамп ( $AM_1$  и  $M_2$ ), так и незначительные различия с двумя более поздними вариантами ( $AM_3$  и  $M_4$ ) (см. варианты). Отличается от первой публикации и машинописных вариантов также немецкий текст рассказа в издании «Freiheit und Arbeit». Французским сборником редакция не располагает. Наиболее близки к первой публикации и немецкому изданию тексты  $AM_3$  и  $M_4$ .

«Федор Дядин» был отнесен критикой к «излюбленной в последние годы Горьким категории рассказов с антиполицейской тенденцией» (А. И. <Измайлов А. А.> Новый рассказ Горького. — «Биржевые ведомости», веч. вып., 1909, № 11416, 14 ноября). Измайлов сравнивал этот рассказ с горьковской «Тюрьмой»: «Тот же гимн человеческой свободе, дерзающей восстать против рабства, та же апофеоза человеческой мысли и слова, побеждающих железо и камень тюрьмы». Но критик отдавал предпочтение рассказу «Тюрьма», который, по его мнению, «ярче, сильнее и глубже „Федора Дядина“». «Со стороны художественной, — писал критик, — надо отметить приподнято-книжный язык заключенного. Он говорит, как пишет. Это создает фальшь и диссонанс» (там же).

В том же духе писал о рассказе петербургский корреспондент «Русского слова» (1909, № 264, 17 ноября).

Сам Горький отнесся к рассказу «Федор Дядин» противоречиво, но придавал ему известное значение. Так, в середине 1935 г. в письме Я. Б. Гамарнику он, обсуждая и критикуя план и материалы хрестоматии для красноармейцев и краснофлотцев,

рекомендовал, хотя и с оговорками, «Федора Дядина» в раздел литературы о солдатах и матросах: «Советую,— писал он,— отказаться от плохого, надуманного очерка Бахметьева, заменив его хотя бы „Федором Дядиным“...» (*Архив ГХ*, кн. 1, стр. 388).

## ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КАЛАБРИИ И СИЦИЛИИ

(Стр. 238)

Впервые напечатано в переводе на немецкий язык отдельной книгой: «Im zerstörten Messina von Dr. M. Wilhelm Meyer und Maxim Gorki». Berlin, Verlag I. Ladyschnikow, 1909. Перевел очерк Горького Август Шольц. Вслед за тем появилось и первое русское отдельное издание: М. Горький и В. Мейер. Землетрясение в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1908 г. СПб., изд. т-ва «Знание», 1909. Книга включала «Землетрясение в Калабрии и Сицилии» Горького и статью «В разрушенной Мессине» В. Мейера. На вкладном листе книги значится: «Весь доход с настоящего издания поступает в пользу пострадавших от землетрясения».

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись части главы 3 со слов: «Зачем я пережил всех своих детей, дочь моя?..» — стр. 282, и всей главы 4 — оригинал набора с правкой неустановленного лица, типографскими пометками, значительной авторской правкой и подписью: М. Горький. Спрт, 15/28 января 1909 г. (ХПГ-31-5-2).

2. Рукописная авторская вставка в текст к русскому изданию с надписью рукой неустановленного лица: «К русскому манускрипту „Мессина“» (ХПГ-31-5-3).

3. Фотоснимки к произведению, пронумерованные и частично подписанные Горьким (ХПГ-31-5-1).

Печатается по тексту книги, изданной «Знанием».

«Землетрясение в Калабрии и Сицилии» — непосредственный отклик Горького на землетрясение, разразившееся 15 (28) декабря 1908 г. в южной Италии — Калабрии и Сицилии.

Получив известия о бедствии, писатель сразу же выехал на место катастрофы и пробыл там несколько дней. В письме И. И. Скворцову-Степанову он сообщал: «Здесь творятся ужасы: раненые, трупы, сумасшедшие! Но — какой великолепный народ итальянцы, как они умеют работать, как изумительно развито у них чувство солидарности, собственного достоинства. Молодцы!» (*Архив А. М. Горького*, ПГ-рл-39-11-1. Ср. *Архив ГХ* III, стр. 53—54).

Вскоре после землетрясения в русских газетах появилось воззвание Горького: «Ужасное несчастье постигло страну — учительницу культурного мира. Посильной помощью в день горя проявите благодарность за великие уроки, данные этой страной народам и всему миру. Прошу все газеты — провинциальные

и столичные — перепечатать. Письма и деньги можно адресовать: Италия, Капри, Горькому. Горький» («Биржевые ведомости», 1908, № 10871, 20 декабря).

За этим воззванием последовало еще несколько (см., например: «Раннее утро», 1908, № 337, 31 декабря).

В альманахе «Messina e Reggio», изданном Итальянским обществом писателей, Ассоциацией ломбардских журналистов и Синдикатом миланских корреспондентов в пользу оспротевших после землетрясения, была помещена фотография автографа Горького:

«Печаль бесполезна, и не нужны слезы, жизнь — борьба.

Да возникнет к жизни здоровый человеческий гнев и разбудит в людях энергию мысли и воли и поведет их по пути слияния всех в единую силу. Ей же дано покорить всё враждебное человечеству.

*М. Горький».*

(Архив А. М. Горького. Фонд П. Цветеремича, № 1599/6, л. 3).

На имя Горького поступали пожертвования из многих городов России.

Итальянская общественность высоко оценила деятельность Горького по организации помощи пострадавшим от землетрясения. Газета «Биржевые ведомости» сообщала 8 (21) января 1909 г.: «Если итальянцы относились до сих пор к жившему среди них Максиму Горькому с уважением, то сейчас, при том участии, которое наш писатель принимал в бедствии Италии, эти отношения граничат с любовью». 22 февраля (7 марта) 1909 г. Горький получил письмо от президента Комитета в пользу пострадавших во время землетрясения в Калабрии и Сицилии, синдика коммуны Капри — Фредерико Серена, который выражал Горькому «глубочайшую благодарность» («Современный мир», 1910, № 6, отд. II, стр. 123).

В первые же дни после землетрясения Горький решил написать и срочно выпустить книгу о нем. 19 декабря 1908 г. (1 января 1909 г.) он запрашивал К. П. Пятницкого:

«Дорогой друг — не найдете ли возможным объявить подписку на мою книгу по поводу землетрясения в Сицилии и Калабрии, книга с иллюстрациями, цена р. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2; доход *весь в пользу пострадавших?*

Если — да, сделайте это скорее, книгу уже пишу.

Нужны деньги.

Собирайте, если можете» (Архив Г<sub>IV</sub>, стр. 269).

О том же Горький писал и И. П. Ладъжинкову. В письме от 1 (14) января 1909 г. он спрашивал: «Что Вы не отвечаете по поводу книги о землетрясении? Она почти готова. Думаю приложить к ней статью Мейера...» (Архив Г<sub>VII</sub>, стр. 184—185). И через несколько дней ему же: «Посылаю начало книги о землетрясении — девять страниц. Я почти кончил ее, требуются некоторые изменения и поправки. О Мейере сообщу на днях; его статья листа 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2, он дает ее в собственность. Ввиду его

участия, мне кажется, книгу необходимо озаглавить так: В. Мейер и М. Горький. „Землетрясение...“ и т. д. Статью его я пошлю Вам в подлиннике, а Вы, как советует Ал. Ал. Богданов, — передайте ее Никитичу <Л. Б. Красину> для перевода на русский язык и немедленно пошлите мне перевод...» (там же, стр. 135).

Первые страницы Горький тут же передавал перепечатывать М. Ф. Андреевой. «...печатаю книгу о землетрясении, и ужасно устаю, и болят руки, т. к. приходится очень торопиться», — рассказывала в письме М. Ф. Андреева (письмо А. Н. Тихонову, конец декабря 1908 г. — начало января 1909 г. — Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-26-19).

2 (15) января 1909 г. Горький уведомлял Е. П. Пешкову: «Почти кончил книгу о землетрясении, не знаю, как идет подписка на нее, но думаю, пойдет хорошо, судя по тому, что денег присылают» (*Архив ГИХ*, стр. 60).

Книга была завершена 12 (25) января 1909 г. «Только что, — сообщил Горький в этот день Е. П. Пешковой, — окончил с землетрясением — вышло плохо, — но лучше сделать — нет времени!» (там же, стр. 61). В это же время он извещал Ладыжникова:

«Посылаю статью Мейера и его разрешение: можете печатать ее на всех языках, но обязательно рядом с моими статьями — это его условие. Заголовок, как я писал:

#### Д-Р В. МЕЙЕР И М. ГОРЬКИЙ.

„Землетрясение в Сицилии, Калабрии“ *Архив ГИИ*, стр. 187).

Писатель уделил много внимания подбору иллюстраций к будущей книге. В феврале 1909 г. он писал в издательство «Знание» С. П. Боголюбову: «Дорогой Семен Павлович! — все фотографии первого присыла Броджи <...> Говорят они сами за себя и — на мой взгляд — надписей не требуют. Мне удалось достать их с большим трудом, ибо Броджи — единственный фотограф, которому разрешено было снимать в первые дни катастрофы...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-5-72).

8 (21) февраля 1909 г. Пятницкий телеграфировал Горькому о посылке корректуры «Землетрясения» (там же, КГ-п-64-1-24). 17 февраля (2 марта) Горький ответил: «...корректуру получил <...> Снимки очень хороши. Распределите их так, чтобы некоторые вошли в статью Мейера. Какие — всё равно. На всякий случай посылаю еще 4 маленьких снимка и 3 побольше» (*Архив ГИИ*, стр. 270). А через несколько дней ему же телеграфировал: «Снимки Мейера отправлены Берлин, печатать, если не удорожат книгу слишком <...> научную часть статьи дайте проверить специалисту» (там же, стр. 271).

В начале марта Горький вернул корректуру в издательство «Знание». «Корректур „Землетр<ясения>“ тоже просмотрена и отправлена, — писал он С. П. Боголюбову. — Пересылая снимки, сделанные очень хорошо, я добавил к ним два или три новых» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-5-58).

Уверенный, что книга выйдет из печати очень быстро, Горький в относящемся к марту 1909 г. письме обращается с просьбой к Боголюбову — отдать хорошему переплетчику три экземпляра «Землетрясения...» и послать ему на Капри для подарка В. Мейеру (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-5-58). В письме от 16 (29) марта он извещал Е. П. Пешкову, что книга его выйдет «на днях» (*Архив Г I X*, стр. 65). Между тем выход книги в «Знании» и в Берлине задерживался. Горький неоднократно просил ускорить ее выпуск. В конце марта (в начале апреля) 1909 г. он запрашивал Ладыжникова: «В какой фазе дело с книгой о землетрясении? Как Вы решили издавать ее?» И добавил, что в «Знании» «книга о землетрясении» выходит «на днях» (*Архив Г VII*, стр. 91).

Судя по сохранившейся переписке, в мае по настоянию В. Мейера Ладыжников вынужден был приостановить работу над книгой и обратиться к Горькому с просьбой согласовать отдельные места «Землетрясения» со статьей В. Мейера и перед печатанием ознакомить Анджелиса, рассказ которого использовал Горьким, с соответствующим местом книги. Горький ответил на эту просьбу отказом: «Рассказ Анджелиса был уже прочитан ему, Мейер об этом знает. Исправлять теперь я не стану, — об этом Мария Федоровна сказала Мейеру...» (*Архив Г VII*, стр. 195).

Но и после этого книга не появлялась ни в Берлине, ни в Петербурге.

Как явствует из переписки Ладыжникова и Пятницкого, выпуск книги задерживался из-за того, что иллюстрации не были готовы в срок, а ранее — из-за некоторой нераспорядительности издателей. Горький продолжал настаивать, чтобы издатели поторопились. «Вы пишете: „Знание“ задержало выход книги, „Знание“ пишет то же самое о Вас, — замечал он в письме Ладыжникову от 15—16 (28—29) июля. — О, милостивые государи в Германии и России! Чувствую я, как прокисает кровь моя, и вообще — не очень великолепно мне на сей планете» (*Архив Г VII*, стр. 196). А в письме, датированном не позднее 25 июля (7 августа), сообщал ему же: «...вместе с Вашим письмом получил письмо Боголюбова, который вполне подтверждает сказанное Вами. Таким образом, ясно, что задержкой выхода книги я обязан деятельности Константина Петровича» (там же, стр. 196).

В августе 1909 г. наконец вышло берлинское издание «Землетрясения». 31 августа (13 сентября) 1909 г. Горький сообщил Е. П. Пешковой: «Вышла на немецком языке Мессина, — печатали семь месяцев и забыли указать, что доход с издания поступает в пользу пострадавших. Небрежность дикая, я, конечно, весьма зол. В газетах будут писать, что я и на катастрофах деньги наживаю» (*Архив Г I X*, стр. 73—74).

В «Знании» же книга всё еще не была готова. 19 (31) августа 1909 г. Ладыжников с удивлением писал Боголюбову:

«Сейчас получил из Капри от Алексея Максимовича следующую телеграмму: „«Знание» просит прислать рисунки, сделайте пожалуйста. Пешков“.

Решаю, что дело идет опять же о рисунках „Мессины“, которые я уже посылаю Вам раз. Посылаю еще, и опять заказным письмом) (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-78-1).

Лишь к середине сентября издательство «Знание» закончило работу над книгой и подготовило ее к выпуску в свет. 14 (27) августа Пятницкий записал в своем дневнике: «Кончаю работу по книге о „Землетрясении“...» (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1909, л. 46).

Задержка с выпуском книги, несомненно, сказалась на ее продаже. Еще 10 (23) июня Горький, расстроенный этой задержкой, писал Боголюбову: «Землетрясение мое провалилось. Это ужасно угнетает меня» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-5-65). «По подсчету на 1 октября, — сообщал после выхода книги Боголюбов Пятницкому, — „Землетрясение“ продано 1804 экз (емпляра). На книгу совсем нет спроса» (там же, П-ка «Зн», 8-1-45).

В печати появились заметки о выходе книги. «Под свежим впечатлением ужасной катастрофы, постигшей Италию, М. Горький написал книгу, художественно отражающую в себе как самое событие, так и настроение Италии после него. К книге, озаглавленной „Землетрясение в Калабрии и Сицилии“ (изд. „Знание“), приложена статья известного профессора В. Мейера, освещающая катастрофу с научной точки зрения, а также многочисленные рисунки в тексте и на отдельных листах. Книга появится в свет в конце сентября» («Речь», 1909, № 266, 28 сентября). Другая газета писала о книге: «Новым в книге Горького является описание того чувства братской солидарности, которое объединило весь итальянский народ, потрясенный страшным бедствием» («Русские ведомости», 1909, № 221, 27 сентября).

Деньги, пожертвованные русскими к этому времени, а также врученные за книгу, Горький намеревался передать «на нужды народных школ» (письмо М. Горького и М. Ф. Андреевой от 29 января (11 февраля) 1910 г. к Д. Чена и С. Алерамо. — *Архив Гүлп*, стр. 243). Но затем было решено, как это советовала С. Алерамо, «пожертвовать всю сумму на создание детского приюта в одном из местечек Калабрии» (письмо С. Алерамо М. Горькому и М. Ф. Андреевой от 9 (22) марта 1910 г. — там же, стр. 244). По поводу этого решения Д. Чена писал Горькому и М. Ф. Андреевой 12 (25) марта 1910 г.: «Дорогие друзья, это прекрасный акт, который свидетельствует о большой симпатии к Италии и станет символом солидарности наших стран» (там же, стр. 245).

«Землетрясение в Калабрии и Сицилии» Горький не включал в свои собрания сочинений и не перепечатывал. Но когда в ноябре 1927 г. народный комиссар здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко обратился к нему с просьбой принять участие в альманахе, доход с которого предназначался «для помощи пострадавшим от землетрясения», постигшего в 1927 г. Крым (Архив А. М. Горького, КГ-од-2-20-2), Горький ответил: «...вот что я рекомендовал бы Вам: в 9-м году „Знание“ издало книгу „Землетрясение в Италии“. В книге две статьи: В. Мейера — „Ура-



ния" и мой очерк. Сократите его и напечатайте. Современной публике очерк этот незнаком, да и вообще книга мало известна, потому что ее опоздали выпустить в свет» (там же, ПГ-рл-38-20-9). Совет писателя был исполнен. Начало произведения (под заголовком «Землетрясение») до слов: «Капитан парохода „Вашингтон“...» перепечатано в издании: «Писатели в Крыму. Литературный альманах». М., издание Комитета содействия борьбе с последствиями землетрясения в Крыму при Наркомздраве РСФСР, 1928, стр. 144—152.

Книга «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», встреченная сочувственно демократическим читателем, вызвала острые споры в критике. Одним из первых откликнулся писатель-зналивец С. С. Кондурушкин. 16 (29) сентября 1909 г. он писал Горькому: «Только вчера прочитал Вашу книгу „Землетрясение в Калабрии и Сицилии“. Дорогой Алексей Максимович! — потрясающая книга, и в то же время поднимающая человеческий дух, зовущая к жизни и радостной борьбе. Это уже секрет Вашего духа — рассказывать такие ужасы, часто в кавычках, и в то же время не поникнуть головой, сообщить свое настроение» (Архив А. М. Горького, КГ-п-37-2-10).

Положительная оценка была дана книге в «Известиях книжных магазинов издательства М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии» (1909, № 10, стр. 179—180).

Несмотря на специфическое содержание и назначение, книга «Землетрясение в Калабрии и Сицилии» стала вскоре рассматриваться критиками в общем контексте творчества Горького, получая оценку в соответствии с партийными пристрастиями тех, кто писал о ней. Рецензент из буржуазных «Биржевых ведомостей», утверждая, что книга будет иметь большой успех в Италии, но не в России, писал:

«...не думаю, чтобы эта книга была тою, которой ждет от Горького русский читатель для того, чтобы снова вернуть ему свое внимание <...> это — не из тех книг, которые ударяют по сердцам и переходят в историю <...> В патуре Горького много романтизма. И он описывает виденное и слышанное, как беллетрист-романтик. К великому сожалению, это *слишком литература!* <...> Иногда в бесхитростном рассказе вовсе не книжного человека гораздо больше силы, чем в размеренном и пышном повествовании обер-литератора. И там, где Горький отрешается от своего несколько повышенного стиля и передает чей-либо беспретенциозный рассказ, — там он производит наибольшее впечатление <...> Положительно, вводная глава в книгу, дающая общую картину народного бедствия, есть самая слабая часть книги <...> Несравнимо лучше остальное в книге. Горький собрал разнородные показания очевидцев, проконтролировал их, взвесил спокойным, метким умом и передает хорошим русским языком.

Отсюда можно взять не одну страницу, хотя бы в хрестоматии, как образчик живой и красочной описательной прозы» («Биржевые ведомости», 1909, № 11410, 11 ноября).

Еще более уязвимой показалась книга М. А. Славинскому, рецензенту из «Вестника Европы». Он назвал первую главу «бледной и вялой сравнительно с последующими, в которых приводятся подлинные слова и впечатления пострадавших». Резкое недовольство Славинского вызвали отзывы Горького о «гг. русских литераторах», которые «обнаружили скверную тенденцию прикрывать кровь народа слоями грязи». Рецензент, несомненно, знал, что Горький метил в тех, кто глумился над революцией 1905 г. и ее героями. И тем не менее утверждал: «М. Горький ни с того ни с сего обрушивается на всю русскую интеллигенцию и на всех русских литераторов <...> Кто или что внушило М. Горькому эти по существу своему ложные слова о русских литераторах и о русской интеллигенции? Очевидно, прекрасное „далеко“ способствует помутнению глаз, уменьшает чуткость сердца...» («Вестник Европы», 1909, № 12, стр. 875—876).

По существу, с этим утверждением Славинского солидаризировался меньшевистский критик В. П. Крапихфельд, заявлявший, что Горький впал здесь «в грех гипертрофированной мрачности» (В л. К р а п и х ф е л ь д. Праздник любви у М. Горького...— «Современный мир», 1910, № 3, отд. II, стр. 113). Но основной порок книги критик видел в том, что писатель якобы, разделяя иллюзию классового мира, проповедует борьбу *всех* групп, сословий, классов за светлое будущее человечества и покидает классовую точку зрения. «Всему человечеству посулил он близость нового „Возрождения“» (там же, стр. 110). Крапихфельд так перетолковал одну из мыслей Горького: чем дальше, тем больше будут сближаться социальные слои в единой борьбе против стихий. Между тем, как отмечал один из исследователей очерка, «рассказывая о „единении“ итальянцев в дни землетрясения, Горький несколько раз оговаривается: „в тот день“, „в сей день“, на минуту забывая о социальных пропастях, глубоко вырытых между ними исторической необходимостью. Другими словами, писатель хорошо сознает, что данное „единение“ — на несколько дней, а затем вновь вступят в действие законы классового общества» (Овчаренко, стр. 277). Другой порок очерка Крапихфельд видел в том, что Горький будто бы считает Мессину в социальном отношении значительнее Французской революции 1789—1793 годов. Тенденциозно приписывая Горькому слова одного из итальянцев, критик заявлял: «Горький провозгласил хвалу землетрясению. Для него дни, пережитые Италией после стихийной катастрофы, оказываются значительнее и выше по результатам, чем дни Великой французской революции» («Современный мир», 1910, № 3, отд. II, стр. 114).

В январе 1911 г. Горький писал А. Н. Тихонову:

«В. Крапихфельд, конечно, скучен и дает слишком часто — ежемесячно — много основанной сомневаться в его уме. Но как обежишь сей камень преткновения на пути начинающего литератора? В одном месте — он, в другом — под иною кличкой, тоже он.

У Тертуллиана сказано о Крапихфельдах: „Судят музы-

кантов, не зная музыки“, — но ведь они отцов церкви не читают, а и прочитав, не поверят, что это про них» (*Г Чтения*, 1959, стр. 17).

Положительно оценил «Землетрясение в Калабрии и Сицилии» Александр Блок: «Максим Горький и профессор Вильгельм Мейер написали очень неприятную книгу, посвященную, главным образом, живому описанию всего виденного и слышанного в Мессине и Калабрии в несчастный канун этого года <...> Любой факт, сообщаемый этой книгой, производит впечатление неизгладимое и безмерно превосходящее все выдуманные ужасы современных беллетристов, которыми питаемся преимущественно мы, жители столиц; как бы, при внезапной вспышке подземного огня, явилось лицо человечества <...> Написано на нем было одновременно, как жалок человек и как живуч, силен и благороден человек. И всё это без подкраски, без ретуши». Передавая далее содержание книги, Блок особенно подчеркивал те места, которые говорят о величии воли и разума человека. В целом книгу Блок назвал «доброй и простой» («Речь», 1909, № 294, 26 октября).

Стр. 238. *Накануне катастрофы...* — «Город Мессина был объят сном после трех веселых праздничных дней. К концу ясной тихой ночи на 28 декабря, в 5 час. 35 мин. пополудни, — время установлено вполне точно, ибо в момент землетрясения остановились все часы, — раздались страшные подземные удары, их было несколько в течение 42 секунд. Через 42 секунды от города Мессины остались одни развалины...» («Вокруг света», 1909, № 2, 11 января, стр. 31).

Стр. 245. *«Вашингтон»* — по всей вероятности, пароход американского флота «City of Washington».

Стр. 245. *...на ферри-боте...* — «Сообщение между Мессиной, С(анто) Джованни и Реджио обыкновенно поддерживалось посредством так называемых ferry-boat (англ.), т. е. паровых паромов, перемещавших целые поезда...» (К. Б о г д а н о в и ч. Землетрясение в Мессине и Сан-Франциско. СПб., 1909, стр. 7).

Стр. 245. *Реджио* — Реджио-ди-Калабрия, центр южной области Италии.

Стр. 246. *...здания муниципии и отеля «Тринаклия».* — Крупнейшие здания в Мессине, разрушенные при первом же подземном толчке. «Беглецы сообщают, — писала одна из русских газет, — что гостиница „Тринаклия“ разрушена, а служащие и 90 постояльцев гостиницы погибли» («Русское слово», 1908, № 292, 17 декабря).

Стр. 248. *«Слага»* — линейный корабль Балтийского флота, команда которого приняла участие в оказании помощи пострадавшей Мессине. Он входил в отряд русских кораблей под флагом контр-адмирала Литвинова. Медицинскую помощь пострадавшим оказывала группа под руководством старшего врача Н. А. Новикова.

Стр. 248. *Одна оперная певица...* — Газета «Одесские новости» в статье «Катастрофа в Италии (рассказ оперной пе-

вицы)» писала: «Венгерская певица Паула Коралек, гастролировавшая в Мессине накануне злосчастной ночи и теперь с переломанными руками лежащая в палермском госпитале, передает ужасы, пережитые ею в ту ночь...». Далее следует текст, близкий к приведенному Горьким («Одесские новости», 1908, № 7704, 30 декабря). Рассказ Паулы Коралек был опубликован также в газете «Речь», 1908, № 317, 24 декабря.

Стр. 249. ...на палубе «Пьемонта»...— «Piemonte» — броненосный крейсер итальянского военного флота.

Стр. 250. ...рассказ одного из уцелевших докторов Мессины...— Речь идет, вероятно, о докторе Джузеппе Кондо. В статье «Рассказы спасшихся» газета «Биржевые ведомости», 1908, № 10870, 20 декабря, писала о прибывших «пешими из Мессины» докторе Джузеппе Кондо и Фортунато Эспозито.

Стр. 250. *Печальный опыт 1905 года*...— Имеется в виду землетрясение в Калабрии и Сицилии 8 сентября 1905 г.

Стр. 251. *Via Marina* (в переводе: Морская дорога) — улица в Мессине.

Стр. 258. *Там уже были три русских судна и одно английское*...— Русские военные корабли «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров» и английский броненосец «Sutley». В рапорте начальника балтийского отряда контр-адмирала Литвинова говорилось: «Одновременно со мной, несколько раньше, подошел к Мессине и стал на якорь идущий с юга английский крейсер „Sutley“» («Новое время», 1909, № 11789, 6 января).

Стр. 258. ...*префекта Мессины*.— Газета «Русское слово» со ссылкой на итальянскую газету «Ога» сообщала: «...из состава городского совета Мессины остался в живых лишь прежний мэр Дариго и заседатель Ладзардо» («Русское слово», 1908, № 292, 17 декабря).

Стр. 259. ...*раздается тоненький голосок: «Мария!»* — Этот рассказ приводили некоторые русские газеты, например, «Московские ведомости», 1908, № 301, 31 декабря.

Стр. 259 и 261. «*Королева Елена*», «*Виктор Эмануил*» — линейные флагманские корабли итальянского флота «Regina Elena» и «Vittorio Emanuele».

Стр. 261. ...*король с королевою*...— Виктор Эмануил III (вступил на престол в 1900 г., отрекся от престола 9 мая 1946 г.) — последний король Италии. Елена — королева Италии; воспитывалась в Смольном институте в Петербурге.

Стр. 264. ...*пришли два французские броненосца*...— «Verité» и «Justice». По прибытии русской эскадры на рейде вскоре «оказались <...> французские броненосцы „Verité“ и „Justice“...» («Новое время», 1909, № 11789, 6 января).

Стр. 267. *Палаццо Реале* — королевский дворец; стал собственностью государства после освободительного похода Гарибальди в Сицилию в 1860 г.

Стр. 269. ...*тех ворах и разбойниках* *о* занимались газетью. — О мародерах и бандитах сообщали русские газеты, например, «Русское слово», 1908, № 293, 18 декабря, и № 298, 24 декабря; «Московский листок», 1908, № 292, 17 декабря;

«Наша газета», 1909, № 1, 1 января; «Речь», 1908, № 321, 30 декабря.

Стр. 270. *Коммуна* — местное правительственное учреждение и территория, подведомственная муниципалитету.

Стр. 271. «*Mattino*» — консервативная газета.

Стр. 272. ...*как это делалось в Сан-Франциско в 1906 г.*... — Имеются в виду меры, связанные с землетрясением в Сан-Франциско в сентябре 1906 г.

Стр. 273. *Вильгельм Мейер* — Мейер Макс Вильгельм (1853—1910), профессор астрономии, швейцарец. Много лет жил на о. Капри. Автор ряда книг по природоведению. На русский язык переведены его сочинения: Мпроздание. Астрономия в общепонятном изложении. СПб., 1900; Жизнь природы. Картины физических и химических явлений. СПб., 1905; Происхождение мира. М., 1907; Законы небесной системы. СПб., 1908; Вселенная, ч. I и II. СПб., 1910, и др.

Стр. 273. ...*пять больших и наилучше осведомленных газет...* — «*Corriere della Sera*» — одна из самых крупных буржуазных газет; «*Mattino*» — см. примеч. к стр. 271; «*Roma*» — монархическая газета; «*Tribuna*» — газета буржуазно-радикального направления; «*Avanti!*» — орган Итальянской социалистической партии (газета основана в 1896 г.).

Стр. 273. ...*усердные указания русских корреспондентов о на промахи итальянской администрации.* — См., в частности: «Итальянцы пришли на помощь лишь на четвертый день, в количестве, совершенно недостаточном <...> Привезенные на место катастрофы итальянские войска выказали полную растерянность, а иногда прямо-таки преступную халатность» («Новое время», 1908, № 11782, 17 декабря); «Итальянские власти с самого начала отнеслись с удивительным хладнокровием к случившемуся цардному бедствию и обнаружили поразительное отсутствие распорядительности и инициативы...» («Русское слово», 1908, № 302, 31 декабря).

Стр. 274. ...*во дни о сызранских пожаров...* — *Сызранские пожары* — пожар в городе Сызрани 13 сентября 1838 г., уничтоживший 572 дома (см. В. Э. К р а с о в с к и й. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372—1901. Симбирск, 1901, стр. 77).

Стр. 275. ...*щедрые похвалы гг. русских корреспондентов по адресу тех русских, которые работали на месте несчастья.* — Русские газеты широко освещали помощь, оказываемую русскими моряками пострадавшим от землетрясения в Мессине. «Биржевые ведомости», например, поместили обширную заметку «Подвиги русских в Сицилии» (№ 10890, 3/16 января 1909 г.); подобного же рода информация содержится в статье С. Елпатьевского «Землетрясение в Сицилии и Калабрии» («Русские ведомости», № 3, 4/17 января 1909 г.). «Русское слово» в № 294 от 19 декабря 1908 г. сообщало: «Наши моряки с крейсера „Адмирал Макаров“ принимали деятельное участие в спасении погибавших. Они извлекли из-под развалин более 300 раненых, около 400 пострадавших были взяты на корабль для ухода за ними».

Стр. 275. ...что и сделано ими в выражениях, способных удовлетворить самое требовательное честолюбие.— Итальянская пресса с благодарностью откликнулась на самоотверженную и бескорыстную помощь русских моряков. Так, официальное телеграфное агентство Стефани сообщало: «Трудно представить себе нечто более героическое, чем поступок русских моряков. Бесстрашное поведение их офицеров и матросов еще более выделялось при их скромности и сердечной простоте. Всё это так укрепило симпатии итальянцев к России, что об этом можно говорить, как о настоящем политическом событии» (цит. по ст.: Н. Н. Орлова. А. М. Горький и мессинская трагедия.— «Ученые записки Горьковского государственного педагогического института им. М. Горького», вып. 67, 1968, стр. 218—219).

Стр. 277. *Синдик Неаполя* — мэр города.

Стр. 277. ...по распоряжению *Джиолитти*...— Джолитти (Giolitti) Джованни (1842—1928), премьер-министр Италии.

Стр. 277. *«Иона»* — «Иона», паровое судно английской коммерческой компании.

Стр. 278. ...с аппаратом *Маркони*...— Радиотелеграфный аппарат Маркони (1874—1937), итальянского инженера, одного из изобретателей беспроволочного телеграфа.

Стр. 280. *Вы помогли нам в Чемульпо*...— Имеется в виду помощь, оказанная команде «Варяга» по возвращении его на рейд после битвы при Чемульпо 26 января 1904 г. во время русско-японской войны. «Когда умолк шум моторов, раздались стоны раненых, призывавших на помощь. Тотчас же были спущены многочисленные шлюпки с помощью. Первый явившийся с санитарной помощью был итальянский медик с „Эльбы“» («Бой при Чемульпо крейсера 1-го ранга „Варяг“ и канонерской лодки „Кореец“. Составил Д. С. Истомин <Н. Н. Филиппов>». СПб., 1904, стр. 22).

Стр. 280. *Пьемонт* — область на севере Италии с центром в крупном промышленном городе Турине.

Стр. 283. *Указывалось с гневом на недостаточную подготовку судов флота к помощи*...— См. примечание к стр. 273.

Стр. 283. ...несчастие разразилось на праздниках...— Понедельник 28 декабря 1908 г. должен был быть первым рабочим днем после трех праздников: Рождества, праздника Сан-Стефано и воскресенья.

Стр. 284. *Чочара* — жителяница сельской местности в области Лацио.

Стр. 284. *Секции* — районы города Рима.

Стр. 284. *Пинчио* — Пинчо, парк, разбитый на одноименном холме, традиционное и любимое место отдыха римлян.

Стр. 285. *Клуб циклистов* — т. е. велосипедистов (от итальянского *ciclista* — велосипедист).

Стр. 287. ...*Эренталей* и *Титтони*...— Барон *Эренталей* (1854—1912) — министр иностранных дел Австро-Венгрии в 1906—1912 годах, один из вдохновителей экспансии на Балканах, подготовивший аннексию Боснии и Герцеговины в 1908 году. *Титтони* Томмазо (1855—1931) — министр иностранных дел

Италии. 5 сентября 1908 г. Эренвальд встретился с Титтони в Зальцбурге, где велись переговоры о взаимовыгодных уступках в агрессивной политике Австро-Венгрии и Италии на Балканах.

Стр. 287. *Джиованни Чена* (1870—1917) — итальянский поэт и прозаик, редактор общественно-политического журнала «Новая антология». На русский язык был переведен его роман «Gli ammonitori» («Предостерегающие», 1903) из жизни итальянской бедноты (опубликован под названием «Ценою жизни» в журнале «Мир божий», 1905, №№ 6—9).

Стр. 290. «...Россия, которая торопится организовать противоавстрийскую балканскую конференцию Турция, будирующая нашего посланника». — В связи с боснийским кризисом, возникшим в 1908—1909 годах на Балканах, Россия выступила с заявлением, что насильственное отторжение Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины подлежит рассмотрению международного совещания. В то же время стало известно, что министр иностранных дел Италии Томмазо Титтони пытался получить согласие Англии на морскую демонстрацию против Австро-Венгрии. В декабре 1908 г., выступая в скупщине, министр иностранных дел Сербии Милованович резко осудил Австро-Венгрию; последняя, по сообщениям газет, потребовала публичного извинения (см., напр., «Русские ведомости», 1908, № 298, 24 декабря). Осложнения между Австро-Венгрией и Турцией проявились, в частности, в отношении к австро-венгерскому послу в Турции Паллавицини, который после «различных инцидентов» вынужден был заявить министру иностранных дел Тевфик-паше протест (см.: «Новое время», 1908, № 11778, 22 декабря).

Стр. 291. *...несчастия русских на крайнем востоке.* — Война России с Японией (1904—1905), которая означала «не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 10, стр. 252).

Стр. 291. *...культурной страны.* — Речь идет об Австро-Венгрии.

Стр. 293. *...времен испанского главенства.* — В XIII веке Сицилия, в XIV — Сардиния и в XV — королевство Неаполитанское находились под властью арагонских королей; в последующие два века Испания владела рядом областей Италии.

Стр. 298. *...в год войны с Испанией.* — Испанско-американская война на Кубе, в Порто-Рико и на Филиппинских островах (1898) была развязана США с целью овладения вест-индской территорией Испании и приобретения военно-морской базы на Тихом океане.

Стр. 298. *...общества Красного и Зеленого Креста.* — Общество помощи гражданам, пострадавшим в дни войны, и общество помощи раненым и больным (см.: Fernando P a l a z z i. Novissimo dizionario della lingua italiana m 1. Milano, 1946).

Стр. 306. *«Ломбардия»* — итальянский броненосный крейсер.

Стр. 307. *Бертоллини* — Петро Бертоллини (1859—1920), министр общественных работ в кабинете Джолитти.

Стр. 313. *...до распоряжения «Национального патронажа».* — В Риме образовался центральный комитет, который при-

нимает частные пожертвования и организует помощь уцелевшим жертвам катастрофы. Председателем комитета состоит герцог Д'Аоста» («Биржевые ведомости», 1908, № 10870, 20 декабря).

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

(Стр. 315)

Впервые начало рассказа (до слов «Доктор Рушников...», стр. 321) в ранней редакции напечатано в газетах «Киевская мысль», 1912, № 69, 9 марта, и «Рязанская жизнь», 1912, № 82, 8 апреля, под названием «Начало рассказа». Полностью рассказ впервые опубликован в «Свободном журнале», 1918, № 3-4, март, стр. 3—12, и затем — с небольшими исправлениями — в журнале «Огонек», 1923, № 32, 4 ноября.

Печатается по тексту журнала «Огонек» с исправлением по тексту «Свободного журнала»: «а людей» (стр. 318, строка 2) вместо «и людей».

Стр. 318. *Тушар-Ляфос*, «Летопись круглого окна». — Полное название книги французского писателя Жоржа Тушара-Ляфоса (1780—1847) — «Летопись круглого окна. Хроника частных апартаментов двора и гостинных Парижа при Людовике XIII, Людовике XIV, Регентстве, Людовике XV и Людовике XVI», тт. 1—4. СПб., 1873—1875.

Стр. 319. *Вам нравится, то есть, Помпадур?* — Маркиза де Помпадур (Жанна Антуанетта Пуассон, 1721—1764), фаворитка французского короля Людовика XV.

Стр. 320. *...когда читали манифест.* — Имеется в виду манифест 17 октября 1905 г., обещавший дать народу «незыблемые основы гражданской свободы».

Стр. 327. *...madame Дюбарри* — Мария-Жанна Дюбарри (1746—1793), любовница французского короля Людовика XV.

Стр. 327. *Диана де Пути* — Диана де Пуатье (1499—1566), любовница французского короля Генриха II.

Стр. 328. «С холодным вниманьем посмотришь вокруг...» — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).

## ВОРОБЬИШКО

(Стр. 333)

Впервые напечатано в сборнике: «Голубая книжка». Сказки М. Горького — Саши Черного — К. Милля. Рисунки И. Бродского — В. Фалилеева. СПб., 1912, стр. 7—14 (вышел в нач. 1913 г.); отдельным изданием: М. Г о р ь к и й. Воробьишко. Пг., изд-во «Парус», 1917.

Печатается по тексту «Голубой книжки».



Замысел сказки восходит, по-видимому, к 1909 г. и связан с перепиской Горького со «Школой шалунов». «Школа шалунов» — маленький детский сад, созданный в 1907 г. бакинскими революционерами. Руководила им. А. И. Радченко, которая впоследствии рассказывала о своих воспитанниках:

«Раз им вздумалось поставить настоящую детскую пьесу-сказку, их коллективное сочинение <...> Спектакль был поставлен платный и дал, если не ошибаюсь, 15 рублей с копейками дохода.

Как раз в это время случилось Мессинское землетрясение, о котором знали старшие дети <...> Один чрезвычайно горячий гражданин мира, 7—8-летний Витя, и внес предложение отдать заработанные коллективным трудом деньги мессинским детям <...> Остальные с жаром подхватили его мысль. Они знали о горячем участии Горького в ликвидации несчастия, знали и историю самого Горького и чрезвычайно им интересовались. Было решено именно через него передать деньги по назначению. Составили коллективное сопроводительное письмо с двенадцатью подписями и с приложением своей общей фотографии и с гордостью отослали свои 15 рублей.

Дело, насколько мне помнится, было в январе-феврале 1909 г. 25 апреля получился ответ Горького, написанный собственной рукой с приложением для каждого „шалуна“ по открытке с чудесными видами острова Капри <...> Ребята, вне себя от радости, тут же сели ему писать ответные письма, уже каждый сам по себе» (А. Радченко. Максим Горький и «Школа шалунов». — «Народный учитель», 1927, № 1, стр. 13—14).

Один из юных корреспондентов Горького просил его: «Напиши нам рассказ про Воробышко. И еще напиши нам какой-нибудь выдуманный рассказ, чтобы мальчик удил рыбу» (Архив А. М. Горького, ДПГ-16-94-2). В ответном письме Горький обещал: «Я попытаюсь написать для вас сказку...» (Г-30, т. 29, стр. 106).

В августе 1912 г. на Капри жил поэт Саша Черный (А. М. Гликберг). Вернувшись в Петербург осенью того же года, он писал Горькому: «Был у Фалилеева <...> Мы с ним будем стряпать к Рождеству детский рассказ. Очень хочу наладить детский сборник, и если Вы мне поможете, я справлюсь. Помните тех воробьев, которых Вы мне читали? Можно их у Вас попросить, Алексей Максимович?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-85-5-1).

В ответ Горький послал Саше Черному две сказки — «Воробышко» и, по-видимому, «Случай с Евсейкой». В начале января 1913 г. Саша Черный, сообщив Горькому о высылке гонорара за «Воробышко», уведомил его, что вторая сказка «не могла войти в сборник „Голубая книжка“ по возрасту, так как книжка для малышей, дошкольников». «Сборник, — писал Саша Черный, — еще не вышел, жду со дня на день; <...> Вторую сказку возвращаю Вам в этом же письме» (там же, КГ-п-85-5-2).

Перенздание сказки отдельной книжкой в издательстве

«Парус» было связано с горьковским планом создания большой библиотеки детской литературы (см. ниже примеч. к сказке «Самовар»).

## СЛУЧАЙ С ЕВСЕЙКОЙ

(Стр. 336)

Впервые напечатано в иллюстрированном приложении для детей к газете «День», 1912, № 84, 25 декабря, стр. 10—11. Перепечатывалось в журнале «Северное сияние», 1919, № 3-4.

В Архиве А. М. Горького хранится подписанная автором машинопись, по-видимому, оригинал набора для журнала «Северное сияние» (ХПГ-46-20-1).

Печатается по тексту «Северного сияния». На стр. 336, строки 4—5, вставлены выпавшие слова: «если рыба, капризная, не клюет» (по ПТ).

Замысел сказки, по-видимому, восходит к 1909 г. и связан с перепиской, завязавшейся у Горького с бакинским детским садом «Школа палунов».

В октябре или ноябре 1912 г. Горький посылал сказку Саше Черному для публикации в «Голубой книжке», но для этого сборника сказка не подошла (см. выше примеч. к сказке «Воробышко»).

2(15) декабря 1912 г. А. В. Амфитеатров обратился к Горькому с письмом: «„День“ по моей инициативе дает, вместо обычного рождественского номера с глупыми рассказами, номер, написанный русскими писателями для детей <...> Моя мысль дать нечто такое соединенными силами, что явилось бы хоть однажды противодействием кисло-сладким „Задушевному Словам“ и огодтелости „Галчонка“. Дайте что-нибудь, пожалуйста! У Вас пригодных для того отрывков, наверное, найдется много, да время есть и новую небольшую вещицу написать, если захотите <...> Рукопись нужна между 10(23)—15(28). Телеграфируйте, дадите ли и, по возможности, когда» (Архив А. М. Горького, КГ-п-3-1-148).

В ответ Горький между 3(16) и 9(22) декабря 1912 г. выслал Амфитеатрову «Случай с Евсейкой» (там же, ПГ-рл-1-25-178).

В письме от 10(23) декабря Амфитеатров извещал Горького: «Сказку получил и отослал. Она прелестная» (там же, КГ-п-3-1-149). Спустя некоторое время Амфитеатров просил Горького предоставить сказку «Случай с Евсейкой» итальянскому журналу «Егоиса». Горький ответил в письме, написанном между 29 декабря 1912 г. и 4 января 1913 г. (11—17 января 1913 г.): «„Евсейка“ переводится уже Марией Федоровной и будет напечатан в „Primaavera“, — для „Егоиса“ я дам что-нибудь другое» (там же, ПГ-рл-1-25-151).

В журнале «Северное сияние» сказка напечатана с небольшими авторскими исправлениями (см. варианты).

После выхода номера журнала «Северное сияние» со сказкой «Случай с Евсейкой» рецензент, подписавшийся инициалом А., отмечал:

«Свою задачу -- давать разнообразный беллетристический и научно-популярный материал — юный журнал для детей выполняет удовлетворительно. Книжка открывается прелестной сказкой М. Горького „Случай с Евсейкой“ <...> От сказки веет юмором и ароматом моря, которое так хорошо изучил М. Горький во время своих мытарств на заре своей жизни» («Вестник литературы», 1919. № 9, стр. 7).

Стр. 336. *Дом, — не тележка у бабушки Якова...* — Источная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Дядюшка Яков».

Стр. 340. *Тщетно тщится щука / Ущемить леца!* — Эти строки Горький использует также в «Дяде Вите» (см. стр. 488).

## САМОВАР

(Стр. 341)

Впервые напечатано в сборнике: «Елка». Книжка для маленьких детей. Составили Александр Бенуа и К. Чуковский. Под редакцией Александра Бенуа, М. Горького. Пг., изд-во «Парус», 1917 (вышла в конце января 1918 г.), стр. 5—9.

В Архиве А. М. Горького имеется беловой автограф без заглавия, с несколькими вычерками (ХПГ-45-8-1). На странице 5 — шуточный автопортрет с датой: 1913.

Печатается по тексту сборника с исправленным по автографу: «Вон на ней какие пятна!» (стр. 341, строка 26) вместо «Вот на ней какие пятна!»

Замысел сказки, возможно, восходит к 1909 г. и связан с перепиской Горького со «Школой шалунов» (см. примечания к сказке «Воробышко»). В одном из своих писем детям Горький писал: «С какой большой радостью повидался бы я с вами, милые дети, как бы славно мы поиграли и сколько мог бы я рассказать вам забавнейших вещей. Я хотя и не очень молод, но не скучный парень и умею недурно показывать, что делается с самоваром, в который положили горячих углей и забыли налить воду» (Г-30, т. 29, стр. 105—106).

В автографе, после текста сказки, подписанного Горьким, рядом с шутливым автопортретом написано: «При сем прилагается портрет автора с носом и в сапогах». И далее:

«Рассказ  
этот  
— с портретом автора —  
собственноручно и нарочно  
написан им  
для  
тети Жениных  
утят  
Таты, Лели и Бобы,  
чтобы

они любили меня,  
 потому что  
 хотя  
 я  
 человек невидимый,  
 но могу писать  
 разные рассказы  
 о тараканах,  
 самоварах,  
 дедушках домовых,  
 слонах  
 и прочих насекомых.

Да! И будьте вы, все трое, здоровы.  
 И не сердитесь друг на друга,  
 а то я вам задам перцу!  
 Дядя Алексей,  
 личность очень страшная».

Сказка была послана детям Евгении Федоровны Павловой-Спльванской, сестры М. Ф. Андреевой. *Тата* — Евгения Владимировна Нечаева (р. 1906); *Леля* (точнее Ляля) — Елена Владимировна Куклина (р. 1905); *Боба* — Борис Владимирович Павлов-Сильванский (1907—1937).

Для сборника «Елка» автор значительно переработал сказку (см. варианты).

Подготовка «Елки» была частью большого плана Горького по созданию библиотеки детской литературы. К. И. Чуковский, привлеченный в 1916 г. Горьким к этой работе, рассказывал: «...я пришел к нему в издательство „Парус“, и мы (вместе с Александром Бенуа) стали составлять под его руководством гигантский и, как мне казалось тогда, совершенно нереальный список лучших детских книг всего мира, которые необходимо в ближайшее время издать <...> К сожалению, в то время эта программа так и осталась мечтой. Были изданы всего лишь несколько книг, — в том числе „Вильгельм Телль“, „Айвенго“ и ныне несправедливо забытая „Елка“ <...> она почти никому не известна, а между тем это первая детская книга, которую проредактировал Горький <...> В ней были иллюстрации Репина, Лебедева, Замирайло, Валентины Ходасевич, А. Радакова, Юрия Анненкова, Добужинского, Александра Бенуа и Сергея Чехонина <...> много материала для нее добыл Горький. Он даже, несмотря на болезнь (у него в эту зиму болела нога), ездил в Финляндию к Репину, чтобы попросить рисунков для этого сборника. Репин охотно предоставил Горькому висевшую в „Пенатах“ тарелку с изображением одного придурковатого юноши. Она воспроизведена в „Елке“ на 35-й странице. Репинский рисунок побудил Алексея Максимовича пересказать для нашего сборника сказку про Иванушку-дурачка» (К о р н е й Ч у к о в с к и й. Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. Воспоминания. М., 1940, стр. 131, 133, 136).

Другой участник этого сборника, Н. Венгров, вспомнил: «Во время империалистической войны нам пришла в голову мысль устроить „утро для маленьких“ <...> Мы пригласили Алексея Максимовича прийти на этот утренник. Он пришел, и сам вдруг захотел рассказать ребятам новую свою сказку „Самовар“. Алексей Максимович стоял на эстраде высокий, смущенно покашлял, потом сел за столик и на разные голоса стал читать. Было это и для детей и для нас большой, радостной неожиданностью...» («Литературная газета», 1956, № 64, 31 мая).

В конце марта 1928 г. А. Н. Тихонов по поручению издательства «Федерация» писал Горькому: «Нам бы очень хотелось выпустить несколько Ваших рассказов для детского возраста. Сюда могли бы войти: „Самовар“, легенда о Данко — горящем сердце, одна или две итальянские сказки и легенда о матери и Тимур-ленге» (Архив А. М. Горького, КГ-п-77-1-12). Отвечая Тихонову, Горький 21 апреля 1928 г. писал: «Для детей „Самовар“ рядом с „Данко“ и „Матерью“ — не нравится мне. Или Вы предполагаете выпустить это отдельными книжками? Тогда, кроме „Самовара“, следовало бы дать еще что-нибудь, напр., о мальчике, который удил рыбу» (*Г Чтения*, 1959, стр. 59).

Стр. 344. *Даже кит ночью спит...* — Чуковский в своих воспоминаниях о Горьком рассказывает:

«Горького я впервые увидел в Петрограде зимою 1915 года. Спускаясь по лестнице к выходу в одном из громадных домов, я засмотрелся на играющих в вестибюле детей. В это время в парадную с улицы легкой и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке. Лицо у него было сердитое и даже как будто злое. Длинные усы его обледенели (на улице был сильный мороз), и от этого он казался еще более сердитым. В руке у него был тяжелый портфель огромных, невиданных мною размеров.

Детей звали спать. Они распались, не шли. Человек глянул на них и сказал, не замедляя шагов:

Даже кит  
Ночью спит!

В эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз. Взглянув на меня, он опять насупился и мрачно зашагал по ступеням» (*ВС*, стр. 565).

## ПИСЬМО

(Стр. 347)

Впервые напечатано в один и тот же день в газетах «Борисоглебское эхо», 1915, № 95, 29 ноября, и «Камско-Волжская речь», 1915, № 265, 29 ноября.

18 ноября 1915 г. в «Камско-Волжской речи» в заметке «От редакции» сообщалось: «Редакцией „Камско-Волжской речи“

приобретены два нигде еще не напечатанных рассказа Максима Горького: „Письмо“ и „Счастье“<sup>1</sup>. Один из этих рассказов будет помещен в „Камско-Волжской речи“ в конце ноября, другой — в декабре.

В газете «Борисоглебское эхо» публикация сопровождается пометкой: «(Соб<ственность> „Бор. эхо“). Перепечатка воспрещается».

Видимо, каждая из газет обладала своим оригиналом.

Печатается по тексту газеты «Борисоглебское эхо» с исправлениями по «Камско-Волжской речи»:

*Стр. 348, строка 5:* «страдание» вместо «страдания».

*Стр. 348, строка 11:* «Орет, визжит оно» вместо «Орать визжать оно».

*Стр. 349, строка 3:* «и, снова остановясь» вместо «снова остановись».

## МАЛЬЧИК

(Стр. 350)

Впервые напечатано в журнале «Отечество» (Пг.), 1915, № 8 (вышел в марте), стр. 10—11, и затем в книге: «Щит». Литературный сборник под редакцией Леонида Андреева, Максима Горького и Федора Сологуба, М., 1915 (вышел в сентябре); изд. 2 и 3—1916. Вместе с одним из рассказов цикла «В большом городе» вошло, без заглавия, под римской цифрой I, в книгу: М. Г о р ь к и й. Дет. Рассказы. Пг., изд-во З. И. Гржебина, 1919.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Правленные автором гранки рассказа, предназначавшегося для «Сборника рассказов и статей о евреях»<sup>2</sup>, который подготавливался к изданию в начале 1930-х годов, но не вышел (ХПГ-42-16-5).

2. Машинопись с авторской правкой — АМ (ХПГ-10-1-1) — оригинал набора рассказа для книги: М. Г о р ь к и й. Избранные произведения. М.—Л., Изд-во детской литературы, 1936. В заметке «От издательства» сказано: «Настоящее издание избранных произведений М. Горького было задумано и в значительной части подготовлено к печати еще при жизни Алексея Максимовича...» Книга была сдана в производство 7 августа 1936 г.

Печатается по АМ.

Номер журнала «Отечество», в котором напечатан рассказ, был посвящен национальному вопросу. В заметке «От редакции» говорилось: «С горячей верой мечтаем мы о будущем России, о счастье всех народов, населяющих необъятные пространства нашей родины». Текст рассказа в журнальной публикации подвергся цензурному вмешательству: были изъяты и заменены

<sup>1</sup> См. цикл «По Русь», т. XIV наст. изд.

<sup>2</sup> Авторское заглавие в гранках не сохранилось.

отточнем слова: «в эти скорбные дни страдания и кровавых обид, падающих на седую главу древнего народа, творца богов и религии»<sup>1</sup>.

После первой публикации Горький трижды редактировал рассказ. Публикация в книге «Дети» отличается от первых двух публикаций несколькими разночтениями.

Через несколько лет Горький обратился к рассказу, готовя свои произведения для *К.* 10 августа 1923 г. он уведомлял П. П. Крючкова: «Возвращаю „Рассказы“, а „Мальчика“ печатать не нужно, вещь эта — исковеркана цензурой <...> Черновика у меня, конечно, нет» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-27). Однако в начале 1930-х годов Горький вернулся к рассказу «Мальчик» в связи с подготовкой «Сборника рассказов и статей о евреях». Гранки этого сборника, сохранившиеся не полностью, включают рассказы «Дети», «Погром», статьи и другие материалы. Судя по переписке Горького с И. А. Груздевым, работа над сборником протекала в 1931—1933 годах. В письме от 26 июля 1931 г. Груздев писал Горькому: «Если я не ошибаюсь, П. П. Крючков просил выслать Ваши рассказы на тему о евреях, не вошедшие в собр(ание) сочинений. Запоздал с их перепечаткой...» (Архив ГХИ, стр. 276). 3 марта 1933 г. Горький в письме из Сорренто сообщал: «Посылаю <...> гранки статей о евреях. На мой взгляд, если эту книжку нужно издавать, то в нее следует прибавить рассказ „Каин и Артем“, поместив его за „Погромом“» (там же, стр. 307). В гранках Горький существенно отредактировал рассказ «Мальчик» (см. варианты). Наконец, автор подверг рассказ правке в машинописи, предназначавшейся для книги: М. Г о р ь к и й. Избранные произведения. М.—Л., Изд-во детской литературы, 1936.

Стр. 350. ...я собирал детей нашей улицы и с утра уводил их в поле, в лес... — Об этом Горький рассказывает и в письме «Школа шалунов» (*Г-30*, т. 29, стр. 106).

Стр. 353. ...в эти скорбные дни страдания и кровавых обид... — Имеются в виду репрессии, которым подверглось в начале империалистической войны еврейское население западных областей России, обвиненное в предательстве и шпионаже; царское правительство пыталось таким образом снять с себя ответственность за неудачные военные операции и направить недовольство народных масс по ложному руслу.

## ВСЁ ТО ЖЕ

(Стр. 354)

Впервые напечатано в книге: «Скрижаль». Сборник первый. Пг., 1918, стр. 59—130. Отрывок из повести — с абзаца «Сын бан-

<sup>1</sup> Этот текст сохранен в книге «Щит». В 30-х годах он был Горьким отредактирован (см. в наст. томе стр. 353, строки 24—25).

ковского служащего...» (стр. 386), кончая «с улыбкой в сердце» (стр. 393) — появился в газете «Новая жизнь» — (НЖ), 1917, № 210, 24 декабря; другой отрывок — с абзаца «Ему вспомнилось...» (стр. 419) и до конца произведения — в той же газете, 1918, № 85, 9 мая.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью автора — АМ (ХПГ-6-4). Машинопись наборная, со следами типографской краски и пометами наборщиков. Датирована автором: «1915-й».

Печатается по АМ со следующими исправлениями:

Стр. 393, строка 7: «ко мне пожалуйста!» вместо «ко мне, пожалуйста!» (по ПТ и НЖ).

Стр. 400, строка 4: «надорванным голосом» вместо «подорванным голосом» (по смыслу).

Стр. 412, строка 4: «под закрытыми окнами» вместо «под закрытым окном» (по смыслу).

Автор датировал повесть 1915 г., но работа над ней могла быть начата раньше.

Действие происходит в годы столыпинской реакции, когда определенная часть интеллигенции, разочаровавшись в революционных идеалах, по словам Горького, проходила «сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы <...> было удобно и материально и внутренне» (Г-30, т. 26, стр. 94). «Средний человек», со средними способностями, Смагин ощущает растерянность при всяком новом повороте событий. Он поэтому явно пасует в спорах с Коптевым, выражающим идеологию «хозяев жизни».

В период работы над повестью Горький писал С. В. Малышеву (июнь 1915 г.): «Особенно обидно за свою интеллигенцию, так все вялы, так ленивы, неаккуратны, недеятельны — отчаяние!» (Г-30, т. 29, стр. 337). В годы первой мировой войны писатель настойчиво напоминал о двух типах мысли и поведения: пассивном и активном, — о двух отношениях к миру — созерцательно-пассивном и деятельно-революционном (см., например, в наст. томе «Из дневника», стр. 471—472).

В «Письме к монархисту» Горький заметил: «...я всегда писал и пишу об одном — о том, как вредно пассивное отношение к жизни, как необходимо для нас деятельное отношение к ней...» («Русская иллюстрация», 1915, № 31, стр. 13).

Последний этап работы над повестью «Всё то же» — 1917 г. Е. Д. Зозуля, вспоминая о своих встречах с Горьким в первые месяцы после Февральской революции, свидетельствовал: «Он тогда написал повесть под названием „Всё то же“ и конфузливо говорил о ней, что не может еще писать о новом, а пишет о старом, всё о „том же“» («Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком». М. — Л., 1928, стр. 311).

Готовя повесть для сборника «Скрижаль» (1918 г.), Горький сделал несколько стилистических поправок и вычеркнул одно из рассуждений Щукина (см. варианты).

Повесть осталась неоконченной (см. ниже примечания



к «Ярмарке»). Тема, затропутая в пей, была впоследствии развита в романе «Жизнь Клима Самгина», отдельные образы которого близки персонажам повести.

Ст р. 362. *Проходное свидетельство* — особое удостоверение личности, выдававшееся полицией на время пути лицам, отправляемым в ссылку.

Ст р. 369. *Паморха* (северное, диалектное) — пасмурная погода.

Ст р. 370. ...*со всем прочим вавилонством*. — Намек на библейское сказание о вавилонском столпотворении (Библия. Книга бытия, гл. 11, стихи 3—10). Здесь в смысле — неразбериха, греховная суеда.

Ст р. 370. ...*союз истинно русских людей* — черносотенная монархическая организация «Союз русского народа».

Ст р. 373. «*Князь Серебряный*» — исторический роман А. К. Толстого, вышедший в 1862 г.

Ст р. 373. «*Кудеяр*» — исторический роман Н. И. Костомарова (1817—1885) «Кудеяр. (Историческая хроника)». СПб., 1882. 25 февраля 1929 г. Горький писал П. Х. Максимова: «...Костомаров — беллетрист и даже талантливый, но историей занимался по недоразумению. Испортив свой талант на „истории“, написал плохой исторический роман, кажется — „Кудеяр“» (Г-30, т. 30, стр. 127).

Ст р. 373. *Казанцев* Н. В. (1849—1904) — реакционный беллетрист; роман «Против течения» написан им в 1888 г.

Ст р. 373. *Салиас* — Салиас де Турнемир Е. А. (1841—1908), автор исторических романов «Пугачевцы», «Петербургское действо», «Вольнодумцы» и др.

Ст р. 380. *Ой, настало времечко счастливое...* — Несколько измененные слова из народной песни о взятии Сибири Ермаком «Как было при старом при царе при Иване Васильевиче». Записана в Орловской губернии от старика-раскольника («Песни, собранные П. В. Киреевским», ч. 2, вып. 6. М., 1864, стр. 42). Эта песня процитирована в книге Иосифа Сенигова «Народное воззрение на деятельность Иоанна Грозного» (СПб., 1892), которая хранится в ЛБГ.

Ст р. 380. *Никита Романов* — боярин Никита Романович Романов (ум. 1585), дед царя Михаила Федоровича; в 1584—1585 годах участвовал в управлении государством. О том, как Иван Грозный наградил Никиту Романова за спасение царского сына, рассказывается в исторических песнях (В. Ф. Миллер. Исторические песни русского народа. Пг., 1915, стр. 260—264, 281—285, 303—304).

Ст р. 380. *А вот тебе грамота охранная...* — Слова из исторической народной песни XVI в. об Иване Грозном и его сыне «Да в старые годы, прежняя». Известна также под заглавием «Никите Романовичу дано село Преображенское». — «Исторические песни XIII—XVI веков». М.—Л., 1960, стр. 387. Песня входила в сборник Кпрши Данилова (СПб., 1904, стр. 142) и в названную в предыдущем примечании книгу Миллера (стр. 413).

Стр. 380. ...*даже дворяне, и те супротив Николай Павлыча за Константина встали!* — Имеется в виду восстание декабристов.

Стр. 383. *Било* — доска, в которую били, сигнализируя об опасности, пожарах и т. п.

Стр. 386. ...*когда наступил бурный год возмущения всех здоровых сил страны...* — Имеется в виду Первая русская революция 1905 г.

Стр. 394. *Хеопсова пирамида* — пирамида египетского фараона Хуфу (Хеопса) (начало 3-го тысячелетия до н. э.), крупнейший памятник мировой архитектуры.

Стр. 402. ...*Думу придумали, а делов никаких Думой не надумано...* — Государственная дума была создана царским правительством в ходе Первой русской революции с целью отвлечь народные массы от революционной борьбы. Весь думский период (1906—1917) доказал бессиле I, II, III и IV Государственных дум в решении серьезных государственных проблем.

Стр. 403. ...*некоторые, как граф Толстой, восставали против женского...* — В таких произведениях, как «Крейцера соната», «Послесловие к „Крейцеровой сонате“», «Дьявол» и др., Л. Толстой в своей проповеди христианской аскетической жизни доходил до отрицания «плотской любви» как греха и «дьявольского» наваждения, исходящего от женщины.

Стр. 411. *«Не велит Маше за реченьку ходить»* — народная бытовая песня (см.: А. М. В а с н е ц о в. Песни Северо-Восточной России. Песни, величания и причеты. М., 1894, стр. 118—119).

Стр. 411. *«Полоса ль ты моя, полоса»* — стихотворение Всеволода Крестовского, ставшее популярной песней (см.: сб. «Русские народные песни». М., 1957, стр. 468).

Стр. 414. *Гляжу ль я безмолвно на черную шаль...* — Неточная цитата из романа «Черная шаль» (слова Пушкина, музыка А. Н. Верстовского).

Стр. 416. *Стонет сизый голубочек...* — Романс Ф. М. Дубянского на слова И. И. Дмитрщева.

Стр. 416. *Я-а-й не помню, когда девушкой была...* — перепев популярной «Песни» Е. П. Гребенки («Молода еще девица я была»), см.: Сочинения Е. П. Гребенки, т. V. СПб., 1862, стр. 130.

Стр. 417. *Куплю на три копейки я спичек...* — По-видимому, один из вариантов песни «Любила меня моя мать, обожала» (см. «Сборник новейших русских песен „Бродяга“». М., 1909, стр. 92).

Стр. 418. ...*ужас — погуще, пострашней того, арзамасского ужаса, который однажды пережил Лев Толстой...* — Имеется в виду признание Л. Н. Толстого в письме к С. А. Толстой от 4 сентября 1869 г.: «Третьего дня в ночь я почевал в Арзамассе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впослед-

ствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 83. М., 1938, стр. 167). Об «арзамасском» ужасе Толстого Горький вспоминает в очерке «Городок», которым открываются «Заметки из дневника. Воспоминания» (см. т. XVII наст. изд.). Рисуя застойную обывательскую жизнь Арзамаса, Горький пишет: «Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни — „арзамасский“, мордовский ужас...» (Г-30, т. 15, стр. 132).

Стр. 419. *Занапрасно, мальчик, ходишь...* — несколько измененная строка песни «Понапрасну, Ванька, ходишь!» (см. «Сказки и песни Белозерского края». М., 1915, стр. 472).

Стр. 421. *Тихон Задонский* — Тимофей Савельевич Кириллов (1724—1783), церковный писатель; с 1769 г. жил в Задонском монастыре. В 1861 г. причислен к «лику святых».

## ЯРМАРКА

(Стр. 425)

Впервые — не полностью — напечатано в книге: «Пред рассветом». Сборник для народа. Под редакцией М. Горького и Вл. Розанова. Пг., <1918>, стр. 31—48. Конец произведения, с абзаца «Яблони зацвели», напечатан в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957, стр. 61—63.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф — ЧА со значительной авторской правкой (ХПГ-48-11-1). Сохранился также небольшой отрывок (беловой автограф) с подписью «М. Горький», соответствующий строкам 17—21 стр. 443 («Завела тебя к нам судьба *с* кто хошь для тебя буду...»). По-видимому, этими словами кончалась первая редакция произведения.

Печатается по ЧА.

Произведение можно условно датировать 1915—1918 гг. на том основании, что наборная машинопись повести «Всё то же» датирована Горьким: «1915-й», а «Ярмарка» представляет собою эпизод этой повести, созданный, по-видимому, позже. Более детально развивая одну линию повести «Всё то же», «Ярмарка» углубляет характеристику главного героя Смагина. Ироническая дискредитация Смагина в «Ярмарке» становится более отчетливой.

Стр. 425. *Падог* — посох, палка.

Стр. 429. *Головка* — головная повязка, платок, косынка.

Стр. 431. *Гречневик* — мягкая войлочная шляпа.

Стр. 434. *Не красива я, бедна...* — один из вариантов популярной народной песни, возникшей на основе стихотворения И. З. Сурикова (1841—1880) «Сиротой я росла...» (см.: И. З. Суриков и поэты-суриковцы». Б-ка поэта, большая серия. М.—Л., 1966, стр. 103—104).

## НЕСОГЛАСНЫЙ

(Стр. 446)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 85, 25 марта. Перепечатывалось в журнале «Жизнь для всех», 1917, № 2, и в книге: М. Горький. Весельчак. Воспоминания. Berlin, J. Laduschnikow Verlag (год не обозначен).

В Архиве А. М. Горького хранится заметка: «Курнашев помер неожиданно, пришел от обедни в жаркий день июня, выпил три кружки квасу со льдом и на четвертый день, разбухши, лежал на столе, в переднем углу зала, в своем старом, темном доме» (*Архив ГVI*, стр. 181).

Возможно, что эта заметка связана с работой Горького над рассказом.

После публикации в «Киевской мысли» автор не правил рассказ. Разпочтения текста в журнале «Жизнь для всех» и в сборнике «Весельчак» незначительны и, по-видимому, не являются результатом авторского редактирования (см. варианты).

«Несогласный» печатается по тексту газеты с исправлением опечаток.

Стр. 446. *Малез* (диалектизм) — пятно на теле.

Стр. 450. «*Молитва Девы*» — пьеса для фортепиано польского композитора Теклы Бондаржевской (1834—1861).

Стр. 450. *Бывал я на прениях о вере...* — Со времен «раскола» (вторая половина XVII в.) в России, наряду со старообрядчеством, возникло множество религиозных сект. Официальная церковь вела борьбу со старообрядчеством и сектантством при помощи особых миссий (внутреннее миссионерство) и «церковных братств». С 1880-х годов в Москве, на Нижегородской ярмарке, в Казани и других местах начали практиковаться диспуты-собеседования с отступившими от православия. «Прения о вере» происходили и среди самих сектантов и старообрядцев.

Стр. 456. «*Кто не может жить в обществе...*» — Из трактата Аристотеля «Политика». Ср.: «...человек, по природе своей, существо политическое; кто живет, в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, вне государства, тот или сверхчеловек, или существо, недоразвитое в нравственном отношении» (А р и с т о т е л ь. Политика. Перевод с греч. С. А. Жебелева. М., 1911, стр. 7).

## БАРЫШНЯ И ДУРАК

(Стр. 457)

Впервые напечатано в журнале «Солнце России», 1916, № 358 (52), декабрь, стр. 3, 6.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой и подписью автора — АМ (ХПГ-1-6). Заглавие написано рукой

Горького. Машинопись содержит также типографские пометки карандашом. По-видимому, она послужила оригиналом набора для «Солнца России».

Печатается по *АМ*.

Стр. 461. *Что он ходит за мной...*— Из стихотворения А. В. Кольцова «Песня» (1842).

## СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕМЕЙНЫХ ДРАМ

(Стр. 462)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, № 159, 8 июня.

Печатается по тексту газеты.

## ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 471)

Впервые напечатано в «Журнале журналов», 1917, № 1, стр. 5.

В Архиве А. М. Горького хранится авторизованная машинопись с правкой автора — *АМ* (ХПГ-33-4-1).

Печатается по тексту первой публикации с исправлениями по *АМ*:

*Стр. 471, строка 11:* «заставляет она» вместо «заставляет».

*Стр. 471, строки 28—29:* «и, утвердив на ней...» вместо «и утвердить на ней...»

### III

#### «...НА РЕКЕ РАЗДАЛСЯ...»

(Стр. 475)

Впервые напечатано в газете «Литературная Россия», 1968, № 13, 22 марта.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф со значительной авторской правкой и набросок, относящийся к этому произведению, — на листе бумаги небольшого формата — ЧА (ХПГ-49-6).

Печатается по ЧА.

Написано на Капри, судя по содержанию — в 1907—1908 г. В разговоре Эраста Петровича с Ниной упоминается убийство министра — очевидно, министра внутренних дел В. К. Плеве в 1904 г., причем говорится, что это событие (как видно из первоначальных вариантов) произошло примерно за четыре года до встречи дяди и племянницы. Набросок близок по содержанию к статьям Горького «Письмо А. Галлену», «О Союзе русского народа», «О цинизме», «Разрушение личности», «О Финляндии» (1907—1908).

Во втором рассказе цикла «Солдаты» («Из повести»), напечатанном в 1908 г., содержатся строки, текстуально близкие к следующему абзацу наброска, зачеркнутому в рукописи: «Сосны были подобны медным струнам арфы — в стройной неподвижности стволов, в живом сверкании золотых капель смолы на красноватой коре чувствовалось тугое напряжение роста. Их крепкий запах сытно напоил воздух и ощущался в нем ясно, точно звук. Деревня, облитая солнцем, казалась одетой в парчовые ткани, избы опускались в пышные сизые тени и мягкие, уже багряные лучи солнца, солома крыш блестела тусклым золотом, красно горели стекла окон». Этот вычерк, более поздний, чем основная правка рукописи, мог быть сделан не позже 1908 г.

Набросок связан с такими неоконченными произведениями Горького, как «Жизнь г. Платона Ильича Пенкина», «Меня зовут Яков Иванович», в центре которых — образ человека, напуганного революцией 1905 года и круто уходящего направо.

В письме к А. Н. Тихонову в 1907—1908 годах Горький выражал возмущение по поводу «словотечения», которым заболела русская литература после 1905 года, и объяснял его «дряблостью души» и «волнениями, кои ее коснулись». «Реагировать на них здоровым анализом, мощным синтезом, реагировать нормально — нет сил, по есть много страха, много непонимания, есть опреде-

ленное ощущение опасности, жажда избежать ее, и отсюда — разрывается нищая силой, дряблая душа, изношенная, изжитая, неверующая и слепая, разрывается и истекает словами» (*Г-30*, т. 29, стр. 83—84).

В последних словах как бы намечены контуры образа Эраста Петровича, от страха проклинаящего революцию и революционных борцов.

Эраст Петрович, как многие либеральные помещики, не желает замечать, что события 1905 г. коренным образом изменили психологию русского крестьянина. В апреле 1906 г. Горький говорил в интервью корреспонденту американских газет: «...русский крестьянин больше не то темное существо, каким он был 30 лет тому назад, когда он отчаянно бился в борьбе со злом, значение и размеры которого он лишь смутно представлял себе. Он прошел период развития, из которого вышел окрепшим, с ясной целью, которая ранее была ему неизвестна» (*Г и революция 1905 г.*, стр. 390).

Стр. 478. *Мирбо* — Октав Мирбо (1850—1917), французский писатель. В годы реакции в России были популярны его романы «Сад пыток», «Дневник горничной», «Себастьян Рок».

Стр. 478. «*Семейная хроника*» — произведение С. Т. Аксакова (1856).

Стр. 481. ...*когда убили министра?* — По-видимому, намек на убийство министра внутренних дел В. К. Плеве (1846—1904). Убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

Стр. 483. *Морально бессильное...* — Характеристику русского правительства, подобную этой, см. также в «Письме А. Галлену» (*Г-30*, т. 24, стр. 21), в статье «О цинизме», в «Письме монархисту» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 54—55).

## «ДЯДЯ ВИТЯ»

(Стр. 486)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 54—59.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись с правкой И. П. Ладыжникова (ХПГ-11-4-1), по-видимому, предназначавшаяся для печати, но при жизни автора не опубликованная.

Печатается по этой машинописи.

По содержанию произведение может быть датировано 1907—1912 годами. Улавливается его связь с «Русскими сказками», большинство которых написано в 1912 г., со сказкой «Случай с Евсейкой» (1912) и публицистическими выступлениями Горького 1908—1912 годов. В частности, пародийное четверостишие «Ах, Иуда, злой Иуда...» связано с многочисленными высказываниями Горького, направленными против писателей, провозгласивших

культ Иуды. Так, в статье «О современности» Горький с возмущением цитировал строки из стихотворения А. Рославлева «Иуде», напечатанного в журнале «Образование» (вошло в сб. А. Рославлева «В башне», Стихи. Книга первая. СПб., 1907, стр. 75)<sup>1</sup>.

Произведение имеет характер злободневного фельетона. Мечты «дяди Вити» о юмористическом журнале, его рассуждения о необходимости «смешить людей» напоминают отчасти высказывания писателя-юмориста А. Т. Аверченко. В предисловии к «Рассказам для выздоравливающих» он писал, что юмор должен лечить, и рекомендовал свои рассказы в качестве «лекарства», видя в них «много шуму, веселья, беззаботности, бодрости и молодой дерзновенной силы» (А. А в е р ч е н к о. Рассказы для выздоравливающих. СПб., <1912>, стр. 4). Проповедь жизнерадостного юмора характерна для программы еженедельника «Сатирикон», первый номер которого вышел в 1908 г.

Однако едва ли можно рассматривать фельетон «Дядя Витя» как пародию на сатириконцев и их лидера Аркадия Аверченко. Сатирический образ «дяди Вити» шире: он направлен против бульварной прессы, которая в годы столыпинской реакции приняла особенно циничный характер. «Развенчивая» образ революционера, «уличная» сатира потакала вкусам обывателя. По этому поводу Горький писал в статье «Разрушение личности»: «На Руси великой пародился новый тип писателя,— это общественный шут, забавник жадного до развлечения мещанства, он служит публике, а не родине, и служит не как судия и свидетель жизни, а как нищий приживал — богатому. Он публично издевается сам над собой <...> видимо, смех и ласка публики дороже для него, чем уважение ее» (*Г-30*, т. 24, стр. 68). Цитируя строки «Ах, Иуда, злой Иуда» в рабочей «Правде труда», М. С. Ольминский воскликнул: «Понятно, что иудиним душам <...> такое остроумие было как раз по сердцу; для них уже не было вопроса: продать или не продать? — а оставался только вопрос, как бы продать подороже...» («Доктябрьская „Правда“ об искусстве и литературе». М., 1937, стр. 85).

Стр. 488. *Полишинель* — комический персонаж французского и итальянского народного театра, остроумный насмешник; лицо его обычно покрыто белым гримом.

Стр. 488. *Тщетно тщится щука...* — Это стихотворение Горький использовал также в сказке «Случай с Евсейкой».

Стр. 490. *Журфиксы* (франц.) — дни приемов.

Стр. 490. «*Прибежали в избу дети*» — первая строка стихотворения А. С. Пушкина «Утопленник» (1828).

---

<sup>1</sup> См. также письмо Горького Л. Андрееву от 11 (24) апреля 1912 г. (*Лит Насл.*, т. 72, стр. 338).



Стр. 490. *Мы все учились понемногу...* — строка из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. первая, строфа V).

Стр. 491. *...от этой революции...* — Имеется в виду Первая русская революция 1905 года.

### «ЕВГЕНИЙ! ДАРИЮ ТЕБЕ СИЮ ТЕТРАДЬ...»

(Стр. 492)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, стр. 171.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (Дп-Г-кн-5-23-1) — надпись на первом листе альбома, подаренного Горьким, по всей вероятности, Е. Г. Кякшту (1894—1956), племяннику М. Ф. Андреевой.

Печатается по автографу.

### УТРО

(Стр. 493)

Впервые напечатано в книге: «Описание рукописей М. Горького, вып. 1. Художественные произведения». М.—Л., 1936, стр. 234—238.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись, правленная и подписанная автором (ХПГ-47-4-1) — АМ.

Печатается по АМ.

В ноябре 1910 г. Горький получил письмо от семилетнего Ильи Френкеля (позднее — советский писатель Илья Львович Френкель, род. в 1903). Под впечатлением недавней смерти Л. Н. Толстого, мальчик писал: «Милый Максим Горький! Все писатели умерли, ты один живой. Пришли мне сказку и письмо. Целую тебя, твой Илюша» (Архив А. М. Горького, ДПГ-13-72-1). Горький вскоре после получения этого письма послал своему юному корреспонденту сказку «Утро» и письмо (см. Г-30, т. 29, стр. 151—152).

### «ЧИТАЮТ ПУШКИНА...»

(Стр. 496)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, стр. 171.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-52-26). Печатается по автографу.

Развернутую характеристику А. С. Пушкина Горький впервые дал в лекции, прочитанной группе русских рабочих в 1909 г.

на Капри: «...великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, первого реалистического романа „Евгений Онегин“, автор лучшей нашей исторической драмы „Борис Годунов“, — поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы» (Г-30, т. 24, стр. 96).

В письмах своим корреспондентам Горький постоянно советовал читать и изучать Пушкина.

### <НАБРОСКИ К РОМАНУ О РОССИЙСКОМ ЖАНЕ ВАЛЬЖАНЕ, ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ КАТОРЖНИКЕ>

(Стр. 497)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Материалы и исследования, т. III. М.—Л., 1941, стр. 375—378.

В Архиве А. М. Горького хранятся материалы к неосуществленному замыслу романа, в свое время переданные писателем В. А. Десницкому (ХПГ-45-21-1-20).

«За год до смерти, — рассказывал Десницкий, — Алексей Максимович передал мне конверт со вложенными в него заметками, писанными его рукой на листках бумаги разного размера, и двумя газетными вырезками.

— Возьми, посмотри когда-нибудь. Может быть, что и сделаешь из этого. Задумал написать роман о российском Жане Вальжане. Не написал и не буду никогда. А темочка занятая. Наш — совсем другой. Бродяга он. Интересно, — со всякими людьми сталкивается, в гуще жизни замешан. Был такой — Рябинин, беглый каторжник, его еще ни к слову ни к городу патриархом вся Руси называли. Мне много рассказывали о нем. Да и сам я, думается, видел его. Помнишь, у меня в повести в иконную лавку приходит старичок Александр Васильев, — это и был Рябинин. Вот тут в газетной вырезке его жизнь рассказана.

Кто-то помешал нашей беседе, и Алексей Максимович не сказал, в чем, кроме внешней общности сюжета, выразилась бы его перекличка с В. Гюго, как и в каком направлении была бы разработана М. Горьким тема о добродетельном каторжнике <у В. Гюго — Жан Вальжан в романе „Отверженные“>. Не пришлось вернуться к этой теме и в наших позднейших беседах» (Г, Материалы, т. III, стр. 361).

В публикацию, осуществленную Десницким, попали все материалы, находившиеся в конверте. Между тем из 20 листков с набросками и двух газетных вырезок, находившихся в конверте, лишь две записи (ХПГ-45-21-1, 2) и газетные вырезки можно отнести по содержанию к замыслу романа.

Из публикуемых в настоящем томе — первый набросок (ХПГ-45-21-1) представляет собой запись на полях газетной заметки о беглом каторжнике. Второй, служащий продолжением первого, состоит из многочисленных заметок на обеих сторонах

отдельного листа бумаги. К этим материалам Горький, как видно, не раз возвращался. Первоначальный текст, написанный черными чернилами, был позже дополнен пометами на полях, затем заметками и отдельными фразами, вписанными красным, а позже синим карандашами. Наконец, самыми последними по времени были, видимо, записи и заметки простым карандашом и обозначения — красным карандашом другого оттенка.

Печатаются по автографам.

Замысел романа о российском Жана Вальжане, добродетельном каторжнике, возник, по всей вероятности, в 1914 г. К этому времени относятся хранящаяся в Архиве А. М. Горького вырезка из газеты «Донь» (№ 254 от 19 сентября) под названием «Каторжанин — „патриарх всея Руси“», в которой изложена история каторжника П. В. Рябинина:

«История Жана Вальжана, трогательно написанная Виктором Гюго в романе „Отверженные“, почти повторилась с пермским каторжником Рябиным.

В 1873 году в Верхотурском уезде, Пермской губернии, на Высимо-Уткинском заводе была убита жена управляющего заводом, богатая женщина г-жа Соловьева. Убийцами ее оказались муж Соловьевой, экономка ее Лебедева и служащий завода, молодой человек, Пав. Вас. Рябинин. Их судили, и суд приговорил: Лебедеву на 12 лет каторжных работ, а С. Соловьева и Рябинина по 10 лет. Соловьев умер в тюрьме, а Лебедева и Рябинин были отправлены на каторгу. Дорогой Рябинин встретил одного бродягу, с которым уговорились за 25 рублей переменитьсь именами. Бродяга, по имени Степан, пошел за Рябинина на каторгу, а Рябинин бежал.

Долго он скитался. Однажды ему пришла мысль вступить в секту „божьих странников“, бегунов. Эту мысль Рябинин привел в исполнение. Вступив в секту, он переименовал свое имя и стал зваться Александром Васильевичем. О побеге каторжника Рябинина было сообщено полиции всех городов, его искали, но он, как говорится, словно в воду канул.

Время шло. Неглупый, развитой „Александр Васильевич“ скоро познал правую веру „божьих странников“ и стал начетчиком. Имя его делалось известным среди последователей секты. Александр Васильевич обзавелся собственностью: у него около Перми ватная фабрика, а в Данилово, Ярославской губернии, мукомольная мельница.

Прошло сорок лет. Александр Васильевич у бегунов достиг сана „патриарха всея Руси“. Он — красивый старец с большой седой бородой. Около двух лет тому назад до Ярославской сыскной полиции дошло, что владелец мукомольной мельницы в Даниловском уезде — беглый каторжник. За ним следили, но задержать его не удавалось.

Недавно Александр Васильевич ехал из Ветлуги на одном из пароходов общества „Самолет“. Он направлялся в Москву с несколькими лицами. Об этом узнал и. д. начальника Ярослав-

ского сыскного отделения Ф. А. Мамаев <...> Александр Васильевич как-то узнал, что его ищут. Услышав стук в дверях своей каюты, он сразу почувствовал недоброе и, открыв окно каюты, пытался через него скрыться, но это не удалось. У окна стояли вооруженные агенты. Александру Васильевичу ничего не оставалось, как сдаться, что он и сделал, сознавшись, что он беглый с каторги Рябинин. Его арестовали и отправили в тюрьму».

На полях этой заметки и сделана Горьким первая запись.

Самой заметке о беглом каторжнике Горький придавал особое значение. 6 ноября 1914 г. он обратился к судебному следователю П. Н. Малянтовичу, много занимавшемуся делами сектантов и раскольников, со следующим письмом:

«Дорогой Павел Николаевич!

Такая досада, — заметку „Дня“ об аресте купца-бегуна я потерял! Засунул куда-то и не могу найти <...>

Очень прошу Вас, похлопочите! Я думаю, что дело об этом человеке — вкусно для прокуратуры и о нем говорят. Знаю, что у Вас времени мало. Но — м. б., кто-либо из помощников ваших возьмется найти следователя, в руках коего это дело? Если встретятся расходы — я оплачу. Пожалуйста!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-25-38-2).

Рябининым Горький интересовался не только потому, что еще в отрочестве встречался с ним, о чем и рассказал в повести «В людях». Писатель всегда интересовался историей раскола, ролью различных религиозных сект в стихийном движении масс, никогда, однако, не преувеличивая значение русского сектантства. В письме Е. П. Пешковой от 17 февраля 1896 г. Горький сообщал: «Вчера <...> ко мне пришел Прохоров — хлыст, о котором писалось у нас в газете. Его только что выпустили из тюрьмы — он просидел в ней четыре месяца в самых ужасных условиях — и вот пришел ко мне познакомиться и побеседовать. Это очень почтенный, умный и богатый купец — он интересен мне как сектант, и мы с ним просидели до четырех часов утра» (Архив А. М. Горького). В 1901 году в Оленино к Горькому приходили штундисты (Архив Г<sub>IV</sub>, стр. 57). К этому времени относится замысел пьесы, о которой Горький писал К. П. Пятницкому: «Понимаете: сектант-мистик, сектант-рационалист, деревня — косная, деревня грамотная, мышьяк, снохач, кулак, зверство, тьма, и в ней — огненные искры стремления к новой жизни» (Архив Г<sub>IV</sub>, стр. 43).

Материалы к роману о русском Жане Вальжане накапливались исподволь. К фактам, известным Горькому задолго до прочтения заметки о беглом каторжнике, следует отнести все упоминания о событиях и лицах, связанных с Нижним Новгородом (Головастикова, Салабанова, Котельникова, Святухин, Болотова, Сироткина и др.). Из биографии Горького хорошо знакома фамилия нижегородской купчихи Салабановой, в иконописной мастерской и иконной лавке которой в начале 1883 г. он работал. Именно здесь встретился он и с беглым каторжником-сектантом Рябининим. Среди лиц, проживавших в Нижнем Новгороде, значились и Котельниковы, жившие недалеко от упоминаемого

в набросках к роману купца 1-й гильдии, городского головы Д. В. Сироткина. О Сироткине Горький знал и раньше. В письме Пятницкому от 22—23 января 1901 г. он, в частности, сообщал: «Публика здесь страшно возмущена одним из ваших мировых судей, тем, который судил Д. В. Сироткина, нашего купца, избитого дворниками у вас. Кто этот мировой? Ну, фигура!.. Сироткин — очень порядочный малый, один из депутатов, подававших царю петицию от 49 000 сектантов, петицию о восстановлении „закона 5-го мая 1883 г.“, очень важного для сектантов, ибо он расширяет агитацию и пропаганду вероучений» (*Архив Г<sub>IV</sub>*, стр. 18).

В 1904 г. в Нижнем Новгороде была убита Юлия Андреевна Болотова (урожденная Вялова), владелица магазина золотых и серебряных вещей. В ее доме собирались сектанты-хлысты. Убийство не сопровождалось ограблением и, видимо, было вызвано какими-то другими причинами («Волгарь», 1904, № 98, 12 апреля). Горький знал Болотову, интересовался ее «делом». Он писал Е. П. Пешковой: «О Болотовой узнал из телегр(аммы) „Нового врем(ени)“» (*Архив Г<sub>V</sub>*, стр. 112). Был знаком он и с судебным приставом нижегородского суда А. И. Святухиным.

Упоминаемый в заготовках Гудим-Левкович в 1914 г. исполнял обязанности ревизора движения. Имя сыщика — еврей Германа встречается в позднейшем письме С. Д. Протопопова Горькому от 14 июля 1930 г. Вспоминая об обыске у одного из общих знакомых, Протопопов писал: «...был обыск: ротмистр Осипов, тов(арищ) пр(окурора) Каффаров, сыщик Герман и сыщик Богородский...» (*Архив А. М. Горького, КГ-п-61-8-9*).

Что касается упоминаемого в набросках «защитника скопцов» А. И. Урусова, то заметка о высылке его из Москвы была помещена еще в 1873 г. в приложении к книге: Ф. В. Л и в а н о в. Раскольники и острожники, т. IV. СПб., 1873, стр. 489—493.

Как полагал Десницкий, «замысел романа успел выйти из стадии предварительной подготовки материала»; писатель «намечает лиц, к которым нужно обратиться за справками о деталях», и, одновременно, «как бы отвлекаясь от реальных персонажей, он уже намечает черты будущих героев романа, создает заготовки для обрисовки художественных образов» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 362—363).

Такой же характер носят указания на различные книги. Например, намечено использование «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля и выражено отрицательное отношение к нему одного из персонажей («книга — вредная, оголяет мысли»). В набросках названы книги, которые могут подсказать направление в разработке сюжета. Среди них сочинения А. С. Пругавина. Наряду с другими книгами о старообрядчестве и сектантстве, они хранятся в ЛБГ; в них Горьким сделаны пометки. В книгах Пругавина немало страниц посвящено и сектантам-бегунам, подробно рассказывается о главе бегунов — Никаноре (А. С. П р у г а в и н. Раскол внизу и раскол вверх. СПб., 1882, стр. 5—12). Особенно много помет в книгах: А. Щ а

п о в. Земство и раскол. СПб., 1862; Н. Я. А р и с т о в. Афанасий Прокофьевич Шапов. (Жизнь и сочинения). СПб., 1883. Есть пометки также в книге: А р с е н и й. Истинность старообрядствующей иерархии, <год не указан>. В набросках Горьким упомянуты: И р и н е й, е п и с к о п Л в о я с к и й. Пять книг против ересей. М., 1871; История болгар. Сочинение профессора пражского университета д-ра Константина Иосифа Иречека. Одесса, 1878. В последней повествуется, в частности, о возникновении секты богомилов (см. стр. 227—230, 560).

Горький не написал романа о русском Жане Вальжане. Более того, по утверждению Десницкого, для писателя «этот замысел далеко еще не был ясен. Вполне определился только интерес к развитию сюжета на фоне показа религиозных движений в среде русского народа в годы после первой русской революции» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 367).

### «ДЕНЬ СГОРЕВШИЙ ХОРОНЯ...»

(Стр. 501)

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 203.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-51-9). Перед текстом авторская помета — «IV».

Печатается по автографу.

Судя по содержанию, написано в 1914—1917 годах.

### «ИДУ МЕЖОЙ СРЕДИ ОВСА...»

(Стр. 503)

Впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 202.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-51-18). Печатается по автографу.

### «РЫЖАЯ, КАК РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО...»

(Стр. 504)

Беловые списки стихотворений «Рыжая, как ржавое железо...», «Ветер в окно стучится...», «В Финляндии» («Под медным оком злой луны...»), «Иду межой среди овса...» хранились Горьким в конверте с надписью: «Личное». Названные стихотворения, судя по почерку, бумаге, орфографии, были переписаны Горьким набело в 1918 — начале 1920 годов и объединены в стихотворный

дикл. О последнем свидетельствует авторская нумерация произведений. Содержание, а также некоторые косвенные данные позволяют предполагать, что эти стихотворения, так же как стихотворения «День сгоревший хороня...», «Хочет дико гром орудий...», «Когда бездейственная тишь...», были написаны в годы первой мировой войны, когда Горький жил в Мустамяках (Финляндия).

Стихотворение «Рыжая, как ржавое железо...» впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 203. Сделанный автором позднейший список стихотворения (ХПГ-58-8) помечен цифрой «III», вероятно, обозначающей порядковый номер среди других, пронумерованных Горьким стихотворений, написанных на отдельных листках клетчатой бумаги.

Печатается по автографу.

### «ВЕТЕР В ОКНО СТУЧИТСЯ...»

(Стр. 505)

Впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 202.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ХПГ-51-6). Перед текстом авторская пометка «V».

Печатается по автографу.

Стр. 505. «Нет, только тот, кто знал / Свиданья жажду...» — Из романа П. И. Чайковского на слова В. Гёте «Mignon» («Nur wer die Sehnsucht kennt») в переводе Л. Мея, впервые напечатанном в «Сыне отечества», 1858, № 2, стр. 33.

### «КОГДА БЕЗДЕЙСТВЕННАЯ ТИШЬ...»

(Стр. 506)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, стр. 173.

В Архиве А. М. Горького хранится автограф стихотворения (ХПГ-51-23).

По содержанию стихотворение связано с каприйским периодом жизни писателя («И у волны морской стойшь...»). На этом основании датируется периодом между 1906 и 1913 годами.

Печатается по автографу.

## В ФИНЛЯНДИИ

(Стр. 507)

Впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1940. № 8, стр. 203.

Стоящая перед текстом стихотворения цифра «X», вероятно, обозначает порядковый номер стихотворения среди других, написанных также на отдельных листочках клетчатой бумаги. В альбоме Поляковой-Гиршман (ХПГ-52-4-2) оно датировано 10/II 1919. Видимо, это дата записи. В этой записи стихотворение озаглавлено Горьким «В Финляндии».

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф стихотворения (ХПГ-52-4). Перед текстом авторская пометка: «X».

2. Фотокопия автографа стихотворения (ХПГ-52-4-2). Подлинник находится в Лондоне.

Печатается по фотокопии автографа.

## ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

(Стр. 508)

Печатается впервые. Ранее публиковался набросок стихотворения «Хочет дико гром орудий...» (*Архив ГVI*, стр. 172). В Архиве А. М. Горького хранится автограф (ГЗ-17-3).

Записи относятся к 1910 г. и к первым месяцам мировой войны 1914—1918 гг. Самая ранняя запись сделана в апреле 1910 г., в Неаполе, следующие — в сентябре того же года, во время путешествия Горького по средней Италии. Итальянские заметки, при всей их отрывочности, дают некоторый материал для ознакомления с художественными вкусами и увлечениями Горького. К этому времени писатель увлекся коллекционированием медалей, что и отразилось в первой записи.

Несколько заметок относятся к поездке Горького в Киев и Москву осенью 1914 г. Одна из них, по-видимому, воспроизводит разговор с московским извозчиком, позднее нашедший отражение в книге Горького «Заметки из дневника. Воспоминания» (см. наст. изд., т. XVII).

Среди «творческих заготовок» много стихотворных; наиболее значительны из них наброски к «Балладе о графине Эллен де Курси» (см. наст. изд., т. III, стр. 560—561) и стихотворение о войне «Хочет дико гром орудий...»

Тексты печатаются в том порядке, в каком они расположены в записной книжке.

Стр. 508. *Catenacci — Arnaud o математик.* — Запись о приобретении Горьким медалей Катеначчи — Арно в Неаполе. Датируется 1910 годом (не ранее 16/29 апреля) на основании записей К.П. Пятницкого в записной книжке (Архив А. М. Горь-



кого, МоГ-11-8-1) и в Дневнике (там же, Д-Пят, 1910, стр. 168). В. Катеначчи и Л. Арно — итальянские медальеры, работавшие вместе. Обычно лицевая сторона медали исполнялась Катеначчи, оборотная — Арно, но некоторые медали принадлежат одному Катеначчи. В коллекции Горького сохранилось 18 медалей Катеначчи, в том числе перечисленные в комментируемой записи.

Летом 1910 г. Горький познакомил со своей коллекцией физика А. В. Цингера. 20 сентября (3 октября) 1910 г. Цингер писал Горькому: «Вы показывали мне свою коллекцию медалей, среди которых мой специальный интерес возбудили медали-работы Катеначчи, изображающие великих итальянских физиков: Архимеда, Галилея и Флавио Джойя. Такой же специальный интерес возбудила во мне еще висящая у Вас на стене деревянно-мозаичная картинка, изображающая Архимеда. С Вашего разрешения и одобрения Юрий Андреевич <Желябужский> обещался тогда снять для меня фотографии со всех этих достопримечательностей. Пробовали ли делать эти снимки? Вышло ли что-нибудь? Есть ли надежда мне получить эти снимки, которые были бы для меня теперь крайне ценны и нужны, даже независимо от того, что напоминали бы Ваш прекрасный Капри?» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-12-21-8).

Стр. 508. *Вико* — медаль, выпущенная в 1845 г., к VII научному конгрессу в Неаполе, с портретом итальянского философа *Джамбаттиста Вико* (1668—1744); хранится в Музее-квартире Горького в Москве, опись кабинета, № 425. *Бернини* — медаль в память итальянского скульптора *Пьетро Бернини* (1562—1629); хранится там же, № 399. *Фома Аквинат* — медаль в память о средневековом итальянском теологе *Фоме Аквинском* (1225—1274). Исполнена одним Катеначчи (там же, № 394). *Антон(ио) Дженовезе* — медаль в память итальянского философа и экономиста *Антонио Дженовези* (1713—1769) — там же, № 402. *Александр?* — медаль в память *Александра* (1461—1523), итальянского законоведа и археолога, — там же, № 396. *Д. Коттуни* — медаль в память неаполитанского анатома и врача *Доменико Коттуни* (1736—1822). Исполнена одним Катеначчи (там же, № 426). *Aquaeductus Cottunnii* — проток в каменной части височной кости, впервые описанный Коттуни в сочинении «De aquaeductibus auris humanae internaе». *Троттола Мединди* — медаль в память Троттолы (там же, № 401). ...*математик* — возможно, медаль в память *Франческо Мауроло* (1494—1575), прозванного «вторым Архимедом» за выдающиеся работы в области физико-математических наук (там же, № 397).

Стр. 508. *Corso dei Tintori*... — Заметка сделана, по-видимому, во время пребывания Горького во Флоренции между 18 и 26 сентября (1 и 9 октября) 1910 г. *Corso dei Tintori* — улица во Флоренции (см.: Ек. Д о л г о в а. Флоренция и ее окрестности, ч. I. М., 1911, стр. 152).

Стр. 508. *Звезды, точно золотые пчелы*... — наброски стихотворения. Датируются осенью 1914 г. — по содержанию. Использовано в рассказе «Знахарка» («Заметки из дневника. Вос-

поминация», т. XVII), но в прозаической форме: «...и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды».

Стр. 508—509. *Неужели славянская литература заслуживает с маслом не тонет.* — Заметки сделаны, видимо, в Москве, после возвращения из Киева, т. е. в 1914 г., не ранее 19 ноября ст. ст. (см.: ЛЖ Т<sub>II</sub>, стр. 457—459).

К этим записям примыкают по содержанию заметки на отдельном листке: «Разговор с извозчиком в Москве — о немцах:

— В воде масло не тонет. Мало, да удалы.

Киев. Госпиталь. Клингер. Скорая помощь. *В вагоне* (Архив А. М. Горького, ГЗ<sub>XXVII</sub>-16-42).

Стр. 509. [*По желанию публики...*]. Датируется — по содержанию — осенью 1914 г.

Стр. 509. *Томашевский с терапевт.* — Запись связана с поездкой Горького осенью 1914 г. в Киев, где, по-видимому, состоялось знакомство его с киевскими врачами и общественными деятелями С. П. Томашевским (1854—1916) и Ф. Г. Яновским (1860—1928).

Стр. 509. *Муравьи говорили мне с Смешно.* — Наброски. Датируются предположительно осенью 1914 г. — по связи с другими набросками.

Стр. 509—510. *Хочет дико гром орудий с клубы дыма.* Датируется — по содержанию — осенью 1914 г. Отдельные строки наброска являются очевидно, первоначальными вариантами к стихотворению «Облаков изорванные клочья...», включенному Горьким в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» (см. наст. изд., т. XVII).

Стр. 510—511. *Огни городов в ночи... с смешон, как старый Дон-Кихот.* — Записи датируются предположительно (по связи с другими набросками) осенью 1914 г.

Стр. 511. *М-те, сказал он покорно...* — Набросок к «Балладе о графине Эллиен де Курси», написанной в 1896 г., но позже перерабатывавшейся Горьким (см. наст. изд., т. III, стр. 160—165 и 560—561).

Стр. 512. *Купить мадонн с В S-Croce.* — Запись сделана во Флоренции между 18 и 26 сентября (1 и 9 октября) 1910 г., во время путешествия Горького в Специю. На следующий день после отъезда писателя с Капри, т. е. 19 сентября (2 октября) 1910 г., М. Ф. Андреева сообщила А. В. Амфитеатрову:

«Алексей Максимович поехал к Вам наконец. Выехали они вчера: А. М., Юрий, Катя и Зина; мои дети едут учиться в Петербург, а Алексей Максимович с Зиной проводят их до Флоренции, пробудут там дней 5 и тронутся в путь к Вам (...)

Сейчас они во Флоренции, останутся в Hotel Helvezia. Это где-то около дворца Сфорца. Если хотите — можно будет ему написать туда на имя Zinovi Peschcoff'a, так как усиленно будут стараться, чтобы в городе не знали о приезде самого Алексея Максимовича» (Андреева, стр. 185—186).

Стр. 512. *Джотто* — Джотто ди Бондоне (1266?—1337), итальянский художник, провозвестник Возрождения. Имеется

в виду его монументальная «Мадонна на троне», исполненная для церкви «Всех святых» во Флоренции. *Дуччио* — Дуччо ди Буонинсеня (ок. 1255—1319), итальянский художник, глава сиенской школы живописи. Имеется в виду его «Мадонна Руччела». *Чимабуэ* — Чимабуэ Ченни ди Пепо (ок. 1240—ок. 1302), флорентийский художник. Рядом с названными произведениями Джотто и Дуччо экспонирована его «Мадонна на троне». Эти три произведения, составившие в свое время эпоху в живописи, помещены в первом зале галереи Уффици (Флоренция). В дальнейшем Горький глубже познакомился с творчеством названных художников. В Архиве А. М. Горького на отдельном листке сохранилась следующая заметка:

«*Джиотто.* — Падуя. Часовня Скровенья. *Ассизи. Жизнь св. Франциска*».

Жебар — считает его инициатором мистицизма в живописи. Много сомнений» (Архив А. М. Горького, ГЗ<sub>ХХIV</sub>-15-9).

*Джованни Беллини* (1430—1516) — наиболее известный живописец из семьи венецианских художников Беллини, «живописец мадонн». Горький имеет в виду «Богоматерь со святыми» (Уффици). *Мазаччио* — Томазо ди Джованни ди Симоне Гвиди (1401—1428), выдающийся флорентийский живописец раннего Возрождения. Основной его труд — роспись капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мариа дель Кармине во Флоренции. *Учелли* — Паоло Учелло (Паоло ди Доно, 1396—1475), флорентийский художник. «*Потоп*» — фреска Учелло в церкви Санта Мариа Новелла (Флоренция). *Франческа Пиетро* — Пьеро делла Франческа (1420—1492), художник умбрийской школы, автор трактата «О живописной перспективе». Основное его произведение — цикл фресок, иллюстрирующих легенду о животворящем кресте, в церкви Сан-Франческо в Ареццо. «*Смерть и погребение Адама*» и «*Видение Константина*» — «Сновидение Константина Великого», — фрески Пьеро делла Франческа в церкви Сан-Франческо в Ареццо. *S-Croce* — Санта Кроче (церковь святого Креста), францисканская готическая церковь XIII в. во Флоренции, является национальным пантеоном.

Стр. 512. *Tempio Malatestino* ∞ *С. Микеля, Лукка.* — Записи сделаны, видимо, во время пребывания во Флоренции, между 18 и 26 сентября (1 и 9 октября) 1910 г., по пути в Специю. *Tempio Malatestino* — храм Сан-Франческо или, как его называют, храм Малатеста, — архитектурный памятник Римины. Пьеро делла Франческа украсил храм фреской «Малатеста перед Сан Саджисмондо». *Боттичелли...* — Сандро Боттичелли (Алессандро Филиппеппи — 1444—1510), флорентийский художник. Основные работы его собраны в Уффици (Флоренция). *Успение — в Глазго.* — В музее Глазго хранятся два произведения Боттичелли «Благовещение» и «Мадонна с младенцем, св. Иоанном и двумя ангелами» (см. *L'opera completa del Botticelli*. Rizzoli Editore. Milano, 1968. 119). *Августин* — «Святой Августин за писанием своих сочинений», фреска Боттичелли в церкви «Всех святых» во Флоренции. *Филиппино Липпи* (1457—1504) — флорентийский художник, ученик Боттичелли. *Есфирь* — «История

Эсфири» Филиппино Липпи, изображенная на досках свадебного сундука (галерея Торриджани во Флоренции). *Тинторетто*, Джакомо Робусти (1518—1594) — венецианский художник, мастер монументально-декоративной живописи, портретист. «*Тайная вечеря*» — картина, написанная Тинторетто в 1592 г., находится в Соборе г. Лукки. *Фасады ∞ Лукка* — архитектурное искусство Лукки было тесно связано с искусством Пизы, но в Лукке пизанская архитектура получила особую нарядность и выразительность. Примером являются фасады Собора (Duomo) и церкви Сан Микеле XII—XIII вв. Горький, побывав в Лукке 27—28 сентября (10—11 октября) 1910 г., писал из Феццано Е. П. Пешковой: «Ехал я сюда через мертвый, крайне интересный город Пизу и ночевал в Лукке — городе удивительно милом, полно какой-то грустной лирики» (Архив Г<sub>1</sub>х, стр. 97).

Стр. 512. *Пиза. Площадь Дуомо ∞ в соборе.* — Горький посетил Пизу 26 сентября (9 октября) 1910 г. В этот день он писал А. В. Амфитеатрову: «Мы уже в Пизе, лазили на башню, смотрели Гоццоли, завтра в Лукку, а оттуда к Вам» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-78). В истории Италии Пиза играла большую роль уже в XI—XII веках. Наиболее известный памятник этой эпохи — Дуомо — Пизанский собор из белого мрамора, фасад которого украшен колоннами. Рядом с собором — баптистерий (крестильня) XII—XIII веков и знаменитая наклонная башня, опоясанная мраморной колоннадой. *Кампанилла* (итал.) — колокольня. *Сиена.* — Горький пробыл в Сиене с 6(19) до 8(21) октября 1910 г. Сиена более других городов Италии сохранила средневековый облик. «Удивительный город Сиена, — писал он Е. П. Пешковой 6 (19) октября 1910 г. — <...> Узкие улицы, старинные палаццо, дивной красоты площади и — тишина!» (Архив Г<sub>1</sub>х, стр. 98). *Дуомо* — сиенский собор в готическом стиле (конец XIII в.), один из самых прославленных памятников Италии. *Palazzo pubblico.* — Этот дворец с его высокой сторожевой башней (Torre della Mangia) явился не только высшим достижением искусства XIII—XIV веков, но и образцом для городского строительства в более позднее время. *Мадонна Дуччо в соборе.* — Имеется в виду главная часть огромной иконы Дуччо «Богоматерь с младенцем Христом, окруженная ангелами и святыми». Хранится в Опера дель Дуомо в Сиене.

Стр. 512. *Уффици ∞ Вазари.* — Заметка связана с посещением галереи Уффици во Флоренции между 19 и 26 сентября (2 и 9 октября) 1910 г. *1111 Мантенья* — Андреа Мантенья (1431—1506), художник и гравер, представитель падуанской школы. Под № 1111 в Уффици значится одно из лучших его творений — «Триптих». *1302 Гоццоли* — Гоццоли Бенедикто (1420—1497), флорентийский художник. Под номером 1302 хранится работа Гоццоли «Снятие со креста. Обручение святой Екатерины и святые Антоний и Бенедикт». *310 Джентиле* — Джентиле да Фабриано (ок. 1370—1427), умбрийский живописец. Под № 1310 значится работа Джентиле «Мария Магдалина, святой Николай, Иоанн Предтеча и Георгий Победоносец». *1300 Пиеро Франческа.* — Под этим номером хранится станковое произведение

Пьеро делла Франчески — портреты герцога Федерико да Монтефельтро и его жены Баттисты Сфорца. 1269—281, т. е. 1269 и 1281. Под названными номерами — портреты Александра Медичи и Лаврентия Великолепного, исполненные Джорджо Вазари (1511—1574), итальянским живописцем, архитектором и первым историком западноевропейского искусства.

Стр. 512. *Б. Куперштейн.*— Запись сделана в Киеве в октябре — ноябре 1914 г., после знакомства с неким Борисом Куперштейном, в судьбе которого Горький и М. Ф. Андреева приняли участие, за что Куперштейн благодарил их в письме от 18 марта 1915 г. (Архив А. М. Горького, КГ-рзв-4-5-1).

Стр. 512. *И грустные осенние цветы...*— Датируется предположительно осенью 1914 г.— по связи с другими набросками и заметками.

## IV

### ЯНКА КУПАЛА.— «А КТО ТАМ ИДЕТ...»

(Стр. 515)

Впервые напечатано в журнале «Современный мир», 1911, № 2, стр. 208, в статье «О писателях-самоучках».

Печатается по тексту журнала.

В ноябре 1910 г. Горький писал А. С. Черемнову: «Кстати спрошу Вас: знаете Вы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янко Купала? Я недавно познакомился с ними — нравятся! Просто, задушевно и, видимо, поистине — народно.

У Купала есть небольшая поэмка „Адвечная песня“ — вот бы перевести ее на великорусский язык!» (*Г-30*, т. 29, стр. 144).

Положительный отзыв Горького об «Адвечной песне» содержится также в его письме к М. М. Коцюбинскому от 7 (20) ноября 1910 г. (см. *Г-30*, т. 29, стр. 138—139).

Горький сам перевел произведение Янки Купалы и поместил его в своей статье «О писателях-самоучках», предварив публикацию замечанием:

«Я обращаю внимание скептиков на молодую литературу белорусов — самого забитого народа в России, — на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты „Наша нива“. Позволю себе привести песню, изданную недавно „Нашей нивой“, слова написаны белорусским поэтом Янком Купалой».

Свой перевод Горький сопроводил оговоркой: «Прошу Янка Купалу извинить мне дурной перевод его красноречивой и суровой песни». О самом же произведении сказал: «Чтобы уяснить себе глубокий смысл этой песни, — которая, может быть, на время станет народным гимном белорусов, — читателю следовало бы посмотреть „Нашу пиву“ — она много интересного скажет ему» («Современный мир», 1911, № 2, стр. 208; *Г-30*, т. 24, стр. 135).

В советских изданиях это произведение белорусского поэта печатается в переводе Горького.

### ЭЙНО ЛЕЙНО. — ИЛЕРМИ

(Стр. 516)

Впервые напечатано в книге: «Сборник финляндской литературы». Под редакцией В. Брюсова и М. Горького. Пг., изд-во «Парус», 1917. Подпись: Г. И. Тюнни.

А. Н. Тимонен предположил, что Тюнни принадлежит лишь подстрочник, перевод же осуществлен Горьким (см.: М. Г о р ь к и й. Стихотворения. М.—Л., 1963. стр. 292—293). Догадка Тимонена подтвердилась. В экземпляре «Сборника финляндской литературы», хранящемся в ЛБГ, писатель зачеркнул фамилию Тюнни и написал над зачеркнутым: «М. Горький».

Печатается по тексту «Сборника финляндской литературы».

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Капри, 1910 г. . . . .	4
«Жалобы». Шмуцтитул из г. X Собрания сочинений М. Горького в издании «Жизнь и знание» с заключе- нием цензора . . . . .	11
«Жалобы». Страница с правкой М. Горького для изда- тельства «Книга» . . . . .	39
«Федор Дядин». Страница машинописного текста с прав- кой М. Горького . . . . .	229
«Самовар». Страница автографа . . . . .	343
«Ярмарка». Часть первой страницы автографа . . . . .	427
«Наброски к роману о российском Жане Вальжане...» Страница автографа . . . . .	499
«Илери». Страница из сборника с подписью М. Горь- кого . . . . .	518



## СОДЕРЖАНИЕ

### I

	Текст	Примечания
Жалобы . . . . .	7	527
Н. Е. Кароппи-Петропавловский . . . . .	63	538
Три дня . . . . .	84	548
Кража . . . . .	159	552
М. М. Коцюбинский . . . . .	178	554
<Легенда о Мукаппе> . . . . .	188	559
Легенды о Тамерлане . . . . .	189	560
Пожар . . . . .	193	561

### II

<О Стасове> . . . . .	223	564
Федор Дядин. <i>Набросок</i> . . . . .	227	566
Землетрясение в Калабрии и Сицилии . . . . .	238	569
Последний день. <i>Рассказ</i> . . . . .	315	581
Воробышко . . . . .	333	581
Случай с Евсейкой . . . . .	336	583
Самовар . . . . .	341	584
Письмо . . . . .	347	586
Мальчик. <i>Рассказ</i> . . . . .	350	587
Всё то же. <i>Повесть</i> . . . . .	354	588
Ярмарка. <i>Из повести «Всё то же»</i> . . . . .	425	592
Несогласный . . . . .	446	593
Барышня и дурак. <i>Рассказ</i> . . . . .	457	593
Средство против семейных драм. <i>Тема для романа</i>	462	594
Из дневника . . . . .	471	594

### III

«...На реке раздался...» . . . . .	475	595
«Дядя Витя» . . . . .	486	596
«Евгений! Дарю тебе сию тетрадь...» . . . . .	492	598

Утро . . . . .	493	508
«Читают Пушкина...» . . . . .	496	508
〈Наброски к роману о российском Жане Вальжане, добродетельном каторжнике〉 . . .	497	509
«День сторевший хороня...» . . . . .	501	603
«Иду межой среди овса...» . . . . .	503	603
«Рыжая, как ржавое железо...» . . . . .	504	603
«Ветер в окно стучится...» . . . . .	505	604
«Когда бездейственная тишь...» . . . . .	506	604
В Финляндии . . . . .	507	605
Записная книжка . . . . .	508	605

#### IV

Янка Купала.— «А кто там идет...» . . . . .	515	611
Эйно Лейно.— Илерми. <i>Баллада</i> . . . . .	516	611
<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> . . . . .	<b>521—612</b>	
Условные сокращения . . . . .	<b>523</b>	
Вступительная заметка . . . . .	<b>525</b>	
Список иллюстраций . . . . .	<b>613</b>	

*Печатается по решению  
Президиума Академии наук СССР  
и Комитета по печати  
при Совете Министров СССР*

\*

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Л. М. ЛЕОНОВ** (главный редактор),  
**Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ**, **Б. А. БЯЛИК**, **С. С. ЗИМИНА**,  
**Г. М. МАРКОВ**, **А. И. МЕТЧЕНКО**, **А. С. МЯСНИКОВ**,  
**В. С. НЕЧАЕВА**, **В. В. НОВИКОВ**,  
**А. И. ОВЧАРЕНКО** (зам. главного редактора),  
**В. М. ОЗЕРОВ**, **Б. Л. СУЧКОВ**, **Е. Б. ТАГЕР**,  
**К. А. ФЕДИН**, **М. Б. ХРАПЧЕНКО**, **В. Р. ЩЕРБИНА**

Тексты подготовили и комментарии составили:  
*М. М. Бондарюк, И. И. Вайнберг, Л. А. Евстигнеева,  
В. А. Максимова, М. Г. Петрова, Ф. Н. Пицкель,  
В. Ю. Троицкий, Р. П. Пантелеева*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор одиннадцатого тома *М. Б. Козьмин*

\*

Редакторы издательства *А. И. Корчагин* и *М. Б. Покровский*  
Оформление художника *Н. А. Седельникова*  
Технические редакторы *А. П. Ефимова* и *О. М. Гуськова*  
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

\*

Сдано в набор 4/1 1971 г. Подписано к печати 5/VIII 1971 г.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 1. Усл. печ. л. 18,96.  
Уч.-изд. л. 29,9. Тираж 299 300 экз. 1-й завод (1—150 000).  
Тип. зак. № 1713. Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука»  
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Москва, М-54, Валовал, 28*

11-50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»